ОЦИЯ И ГРАЖД. ВОЙНА
САНИЯХ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕ

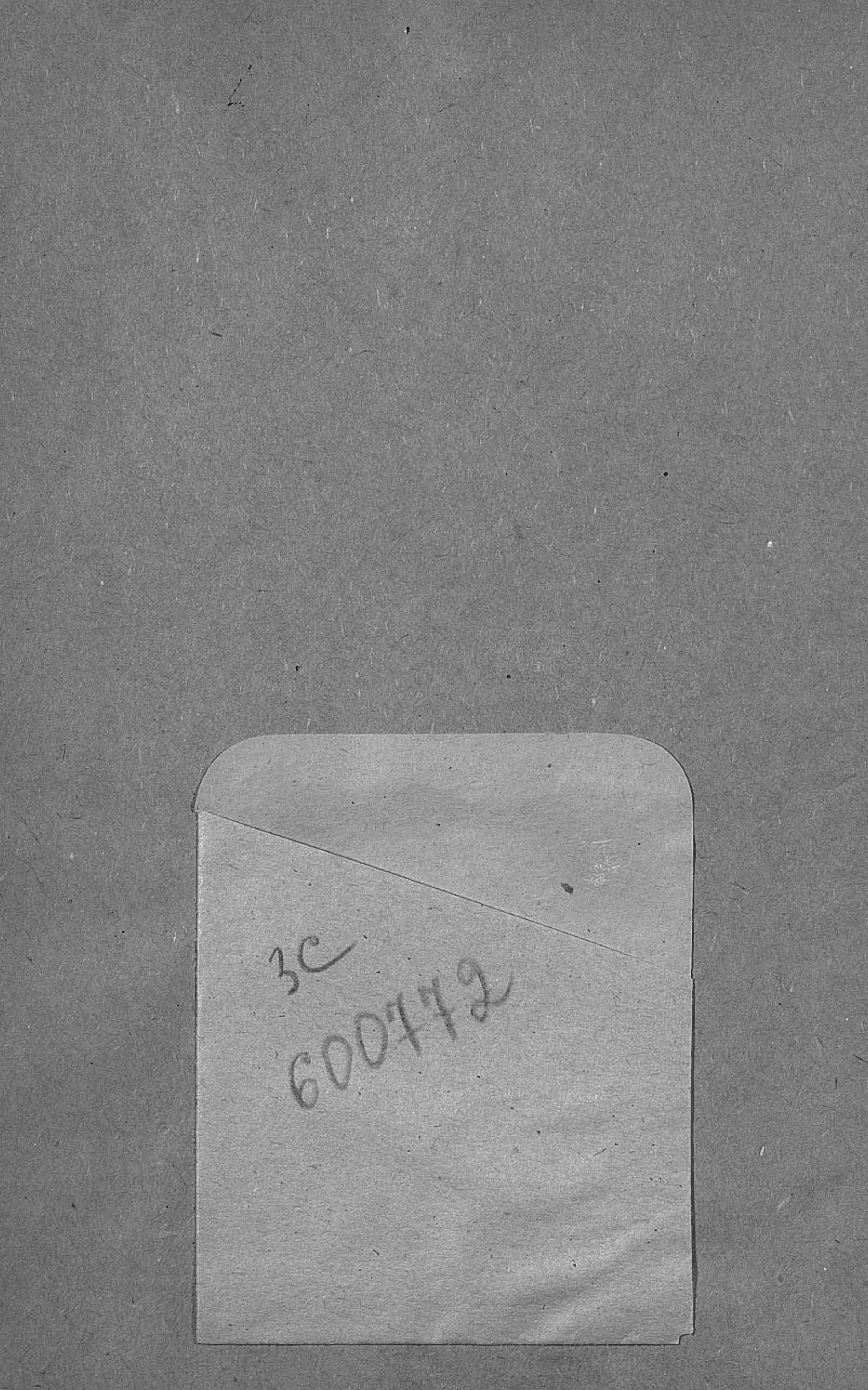
ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

МЕМУАРЫ

РОДЗЯНКО, МИЛЮКОВ, КЕРЕНСКИЙ, ШУЛЬГИН, ДЕНИКИН, ЛУКОМСКИЙ, ПЕШЕХОНОВ И ДР.

Составил С. А. АЛЕКСЕЕВ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО


3C
600772

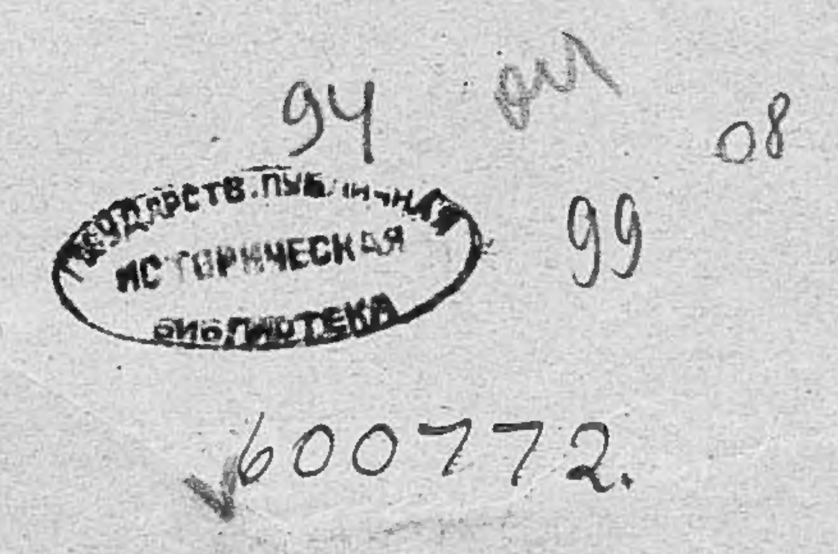
РЕВОЛЮЦИЯ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
В ОПИСАНИЯХ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ

ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Составил С. А. АЛЕКСЕЕВ
С предисловием и примечаниями
А. И. УСАГИНА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА ⋆ 1925 ⋆ ЛЕНИНГРАД





Гиз. № 7466. Главлит № 23031. Напеч. 5.000 экз.

1-я Образцовая типография. Госиздата Москва, Пятницкая, 71.

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ.

Настоящая книга открывает серию томов, в которых будут воспроизведены наиболее ценные материалы белогвардейской мемуарной литературы о революции, в изобилии появившиеся заграницей. Первый том серии посвящается Февральской революции. Несмотря на свой довольно внушительный объем, он не мог, разумеется, охватить всю белогвардейскую литературу, посвященную Февралю. В интересах читателя здесь собран только совершенно новый для него материал, и в книгу не вошли произведения, уже переизданные в Советской России, безотносительно к их ценности. Так, не включена по этой причине весьма интересная статья Набокова „Временное Правительство". Отчасти по той же причине не использованы многотомные „Записки" Суханова, которые к тому же совершенно выходят из рамок задуманной серии. Наконец, и из остальной литературы о Февральской революции выбрано лишь наиболее ценное и интересное, при чем избранный материал подвергся некоторым сокращениям, при которых, однако, сохранено все существенное и представляющее общественный интерес.

Это, конечно, понижает значение настоящего сборника для ученого исследователя, но не уменьшает его ценности, как собрания живого, конкретного материала для изучения социальных сил и классовой борьбы во время Февральской революции. Нашему учащемуся-общественнику сборник даст обильный материал для применения методов марксистской диалектики к анализу одной из интереснейших исторических эпох. А широкую читающую публику он познакомит с тем, как переживались революционные события в стане контр-революции. Это — тоже немаловажная задача, имеющая большое воспитательно-политическое значение. Ведь одно дело — „теоретические" („со стороны") разъяснения контр-революционной и противонародной природы белогвардейщины, и совсем другое дело — ознакомление с живыми человеческими документами, с собственными рассказами ее героев.

С. А. АЛЕКСЕЕВ.

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Воспоминания деятелей белого движения о Февральской революции вполне заслуживают того, чтобы познакомить с ними самые широкие круги нашего советского читателя. В этих белогвардейских „мемуарах“ с редкой отчетливостью и наглядностью выявляется противонародная „душа“ наших врагов. Если еще есть возможность с предубеждением отнестись к большевистской оценке белого движения, как „пристрастной“, „тенденциозной“, „однобокой“ и т. д., то совершенно нельзя со спокойной совестью отмахнуться от тех признаний и самооценок, которыми переполнены белогвардейские „мемуары“. Это — в полном смысле слова обвинительный акт против всего анти-советского движения. Акт тем более неотразимый и убийственный, что он написан не прокурором, а самими обвиняемыми. С откровенностью, доходящей подчас до цинизма, рассказывают они на протяжении сотен страниц о бесчисленных преступлениях своих против народа.

Эти лицемерные „печальники“ и „радетели“ народа выступают здесь перед ним в своем натуральном, почти ничем не прикрытом виде.

* * *

Теперь, когда боровшиеся против нас имущие классы благодаря октябрьскому перевороту потеряли все то, что они еще сумели сохранить во время Февральской революции, среди них имеется не мало охотников всяческого прославления Февраля.

Между тем, еще задолго до февральского переворота эти теперешние горячие его хвалители усиленно работали над его предотвращением. С самого начала войны вся так называемая русская „общественность“, не только цензовая, буржуазно-помещичья, но и демократическая, за исключением лишь большевиков и левых меньшевиков и эсеров „интернационалистского“ толка, объединилась в единодушном порыве бескорыстной помощи и поддержки правительству Николая Романова.

„В заседании 26 июля (1914 г.), — пишет Родзянко, — все партийные перегородки пали... Члены Думы признали необходимость войны до победного конца во имя чести и достоинства дорогого отечества, дружно объединились между собой в этом сознании и решили всемерно поддерживать правительство“.

Правда, это трогательное единение думского „народа“ с своим правительством продолжалось недолго. Между ними, как известно, возникли вскоре трения, а затем даже некоторая размолвка. Но была ли виновата в этом „общественность“? Нет, вина целиком лежала на самом правительстве, подозрительно отталкивавшем протянутую руку.

Родзянко очень хорошо, с подкупающей наивной простоватостью, характеризует причины размолвки.

„Тяжел был трагизм создавшегося положения. Горишь желанием помочь, а бескорыстная помощь ваша отвергается без существенных оснований. В этом духе правительство продолжало свою политику, и мало-по-малу одушевление, охватившее все слои русского народа, стало сменяться сначала равнодушием к делу войны, а затем — подозрительностью к власти. Возник жгучий вопрос: может ли война быть выиграна усилием одного правительства, способно ли оно на это?“

Конечно, насчет равнодушия к „делу войны“, сказано чересчур сильно. Родственные Родзянкам „слои русского народа“, несмотря на все чинимые им препятствия и обиды, не переставали энергично поддерживать войну и ура-патриотические настроения. Но правительственные непримиримость и подозрительность к „общественности“ действительно способствовали расцвету всяких неурядиц и безобразий. Могло ли такое положение не преисполнить верноподданной тревогой и скорбью объединившуюся в едином патриотическом порыве „общественность“? Ведь она же ясно видела, как говорит Родзянко несколько дальше, что на этой почве „назревало такое недовольство, которое верными шагами вело народ к революционным эксцессам“.

Здесь именно, в этом страхе перед назревающими революционными „эксцессами“, и лежит основная причина трагической для нее же самой оппозиционности Гос. Думы. Все это открыто и простосердечно признается самим Родзянкой.

„Все чувствовали, что мы идем к политической гибели, и естественно, что напряженное чувство сопротивления такой опасной политике подсказывало чувство оппозиционное, чувство возмущения и сопротивления“.

Немного дальше, описывая так называемое „историческое заседание“ Гос. Думы (1 ноября 1916 г.), где было

произнесено не мало „противоправительственных“ речей, он пишет:

„Как бы ни относиться к речам, произнесенным тогда с кафедры Думы, нельзя увидеть там желание свержения власти, но указание на необходимость перемены лиц и системы управления, — не желание переворота..., но лишь сердечную боль и печалование о судьбах России, могучей и еще сильной, но неумело управляемой.“

Такой „сердечной болью и печалованием“ о царской России насквозь пропитано все цитируемое произведение Родзянки. Ведь это не что иное, как кровью сердца написанная верноподданническая повесть о „сверхчеловеческих усилиях удержать назревающий взрыв“.

Такими же настроениями проникнуты произведения и других авторов. Они тоже повествуют с „сердечной болью“ о своей тщетной борьбе с назревавшей революцией.

Вот например, видный деятель „прогрессивного блока“ кн. Мансырев. Он специализировался во время войны на так называемой работе „на оборону“ и, движимый страхом перед назревающими „эксцессами“, разработал целую „программу действия“ на предмет борьбы с ними путем использовывания „патриотических настроений“.

„При неизбежной критике промахов и недочетов правительства, — гласит его „программа“, — направлять растущее негодование не в сторону требования теперь же всяческих программных свобод (кавычки Мансырева), а исключительно в сторону требований более решительной, реальной и деятельной помощи нашей армии... Таким путем можно было бы, не идя против растущего оппозиционного настроения — это было в данное время немыслимо, — направить его по патриотическому пути и, в противовес социалистическим группам, создать из непримыкающих к ним слоев группу прогрессивно-национальную“.

Здесь все прекрасно, в этой замечательной программе действий наших прогрессистов, для которых даже требование свобод, обещанных их же собственной партийной программой, являлось делом совершенно недопустимым и нетерпимым. Оппозиционные настроения, оказывается, „приемлются“ только потому, что открытая борьба с ними немыслима. А вся показная оппозиционность требуется лишь для того, чтобы свести на-нет, растворив в шовинистическом угаре всякие проявления народного недовольства.

Еще „художественнее“ изложена эта прогрессивно-патриотическая „идеология“ у Шульгина.

„Признав справедливым нарастающее неудовольствие, попытаться ввести его в наименее резкие, в самые приемлемые формы... Другими словами, недовольство масс, которое легко могло перейти в революцию, подменить недовольством Думы... Наша цель была, чтобы массы оставались покойными, так как за них говорит Дума..."

Трудно сказать яснее и... циничнее!

„Мне казалось,— развивает дальше эту мысль Шульгин,— что мы—такая цепь, знаете, когда солдаты берутся за руки. Конечно, нас толкают в спину и заставляют двигаться вперед. Но мы упираемся. Держим друг друга за руки и не позволяем толпе прорваться... Бог его знает, если бы мы не сделали этой цепи, может быть, уже давно толпа прорвалась бы... не забудьте, что цепь все время кричит: „все для войны"... И этот наш вопль обращен одинаково к обеим сторонам: от армии мы требуем „всех жертв", а от правительства — „хоть немного жертвы".

Увы! правительство было неспособно даже на „немного жертв". Вдохновляемая группировавшимся вокруг императрицы и ее „друга" — Распутина придворным кружком „верховная власть" была глуха даже к родственным увещеваниям влиятельнейших членов своей семьи. Все представления, все предупреждения таких особ, как Павел Александрович Романов, оставались безрезультатными. Николай II категорически отказывался облагодетельствовать без лести преданную ему „оппозицию его величества" (так выразился однажды Милюков в Гос. Думе) даже такой совершенно обглоданной костью, как „министерство доверия".

И все же... И все же, как признается Шульгин, оппозиционные думцы „были прежде всего лойяльным элементом". И все же „протест против того пути, которым шел государь... пути — к пропасти", переплетался у них с „уважением к престолу".

По авторитетному утверждению Шульгина, вся работа Думы прошла под этим знаком. И это безусловно верно. Ибо и такие „революционные" действия, как убийство Распутина и подготовка дворцового переворота, были насквозь пропитаны все тем же беззаветным уважением к престолу. Это был не бунт против него, а попытки принудительного спасения, насильственного совлечения его с грозившего неминуемой гибелью пути.

Шульгин так и пишет об убийстве Распутина: „это была попытка спасти монархию старо-русским способом: тайным насилием..." И вполне правильно считает его, „актом глубоко монархическим."

Также мыслит и герой этого „акта“ Пуришкевич, задающий Шульгину раздраженный вопрос: „так по-вашему Распутин не причиняет зла монархии?“

А участие в этом убийстве представителей высшей аристократии и членов „царствующего дома“, так сказать, официально удостоверяет его монархический характер приложением фамильной печати. К этому следует еще добавить интересное показание Палей о „хорошем настроении государя“ и о догадках ее мужа Павла Романова (отца одного из убийц) насчет „внутренней радости, которую тот (государь) испытывал, освободившись, наконец, от присутствия Распутина“.

Но в конце концов, во всем этом непосредственно замешанными были лишь несколько представителей высшей аристократии, и убийство Распутина, вообще, не может быть поставлено в счет так называемой общественности. Значительно иначе обстоит дело с подготовкой „мартовского“ дворцового переворота. Здесь главными действующими лицами, если откинуть союзных дипломатов, были виднейшие представители именно этой дворянско-буржуазной „общественности“.

Сведения, сообщаемые о заговоре против Николая II авторами печатаемых здесь воспоминаний, довольно смутны и отрывочны. Так, Милюков ограничивается лишь упоминанием о двух кружках, из которых один активно подготовлял переворот, разрабатывая его подробности, а другой обсуждал вопрос о роли Думы после переворота. В первом тесном кружке принимал участие будущий корниловец ген. Крымов; во втором —„некоторые члены бюро прогрессивного блока с участием некоторых земских и городских деятелей“. Вот и все. Более точных сведений об участниках заговора историк Милюков не дает.

Этот пробел несколько восполняет Деникин. Он называет имена некоторых участников одного кружка, группировавшегося вокруг Гучкова: Савич, Крупенский, Бобринский, ген. Поливанов и представители офицерства, во главе с ген. Гурко. Кружок вначале открыто работал на оборону, но впоследствии возбудил подозрение в младотурецких замыслах, т.-е. в подготовке дворцового переворота. Подозрения эти были, однако, не вполне основательны, так как, напр., Гурко, предупреждал Николая об опасности и, стало быть, не принимал участия в заговоре. Из видных военных, по словам Деникина, были осведомлены Алексеев, Брусилов и Рузский, но сочувственно отнеслись к заговору лишь двое последних.

Называет еще некоторые имена кн. Палей. „Английское посольство, — пишет она, — по приказу Ллойд-Джорджа,

сделалось очагом пропаганды. Либералы кн. Львов, Милюков, Родзянко, Маклаков, Гучков и др. находились там постоянно. Именно в английском посольстве и было решено оставить законные средства и стать на путь революции".

Правда, кн. Палей — не особенно надежная свидетельница, но нельзя не признать, что называемые ею либералы вполне подходят под осторожное милюковское определение: „некоторые члены бюро прогрессивного блока"... „некоторые земские и городские деятели". Кроме того это показание в значительной мере подтверждается рассказом Шульгина об одном конспиративном собрании в конце января 1917 г.

„Тут были все, — говорит он. — Во-первых, члены бюро прогрессивного блока и другие видные члены Думы: Милюков, Шингарев, Ефремов, кажется, Львов, Шидловский, кажется, Некрасов... Кроме того, были деятели Земгора. Был и Гучков, кажется, князь Львов (глава первого состава Вр. Правительства, *А. У.*), Д. Щепкин и еще разные, которых я не знал".

С какой целью были собраны эти „некоторые" думские и земгорские деятели, Шульгин не понял в точности, но из его рассказа можно заключить что это было не что иное, как расширенное заседание одного из упоминаемых Милюковым заговорщицких кружков.

Итак, дворцовый заговор охватывал почти всех видных руководителей буржуазно-помещичьей „общественности". Но ограничивался ли он только этими черносотенными и либеральными защитниками монархии? Оказывается, нет. Оказывается к этому заговору обновления монархии заменой плохого Николая „хорошим" Михаилом были причастны и думские „демократы" из трудовой группы.

Это с достаточной определенностью устанавливается рассказом Станкевича, которому „в конце января месяца пришлось в очень интимном кружке встретиться с Керенским." Вот о чем совещались там эти ответственные представители „демократии".

„Речь шла о возможностях дворцового переворота; к возможностям народного выступления все (в том числе и Станкевич с Керенским? *А. У.*) относились определенно отрицательно, боялись, что раз вызванное народное массовое движение может попасть в крайне левые русла, и это создаст чрезвычайные трудности в ведении войны. Даже (даже! *А. У.*) вопрос о переходе к конституционному режиму вызвал серьезные опасения и убеждение, что новой власти нельзя будет обойтись без суровых мер для поддержания порядка и недопущения пораженческой пропаганды. Но

(прекрасное „но“! *А. У.*) это не колебало общей решимости покончить с безобразиями придворных кругов и низвергнуть Николая. В качестве кандидатов на престол назывались различные имена, но наибольшее единодушие вызвало имя Михаила Александровича (Романова), как единственного кандидата, обеспечивающего конституционность правления“.

Итак, наши „вожди демократии“ проявили полное единодушие с либерально-черносотенной братией в следующих первейшей важности пунктах. Во-первых, нужно во что бы то ни стало вести войну. Во-вторых, необходим дворцовый переворот. В-третьих, Россия должна быть конституционной монархией во главе с Михаилом Романовым. В-четвертых, для поддержания „порядка“, могущего быть нарушенным в связи с этим переворотом, необходимы „суровые меры“. В-пятых, ни в коем случае нельзя допускать „народных выступлений“.

На этом можно покончить с описанием „сверхчеловеческих усилий“, совершенных руководителями цензовой и демократической „общественности“ для предотвращения революции и спасения монархии.

Здесь все ясно и договорено до конца. В подготовке дворцового переворота, долженствовавшего завершить собою оппозиционную деятельность думцев, не было решительно ничего похожего на революцию. Наоборот, это как и все прочее, было „актом глубоко монархическим“, „высоко патриотическим“ (в милюковско-бьюкененовском понимании этого слова) и безусловно антиреволюционным и антинародным.

И в этой работе по спасению гибнувшей монархии, в этом заговоре против народа и революции на-ряду с самыми отпетыми монархистами принимали посильное участие также и будущие „вожди“ революционной демократии.

* * *

Несмотря на все эти мероприятия, подкрепленные милюковско-хабаловскими прокламациями и хабаловско-протопоповскими пулеметами на чердаках домов,—революция все же разразилась.

Не все, однако, сразу поняли, в чем дело. Одни, вроде Станкевича, занятые своей патриотической „фортификацией“, ничего, вообще, не видели и не слышали. Другие, из высших светских сфер, подобно Карабчевскому, хотя кое-что и видели, но „ничего не подозревали“ и продолжали „отдыхать“ в „чуждой треволнениям“ обстановке театров и фешенебельных ресторанов. Третьи, во главе

с Николаем и Александрой Романовыми, видели во всем лишь происки и интриги думцев и аристократической оппозиции и до самого последнего момента твердо уповали на милость божию и преданность царю войск и народа.

По свидетельству Мансырева, начавшимся еще 23 февраля волнениям не придавали особенного значения и „широкие думские круги“, продолжавшие свою „нормальную“ работу.

Но когда уже обнаружилась победа революции, всех их охватила „полная растерянность“. Тот же Мансырев рассказывает, как „даже наши думские социалисты... три — четыре трудовика и эс-деки Бурьянов и Хаустов недоумевали вместе с нами... слышались вздохи и короткие реплики, вроде: „дождались“ или же откровенный страх за свою особу“.

Подоплеку этой всеобщей растерянности с присущей ему циничной откровенностью вскрывает Шульгин: „Мы способны были, — пишет он, — в крайнем случае безболезненно пересесть с депутатских кресел на министерские скамьи... под условием, чтобы императорский караул охранял нас... Но перед возможным падением власти, перед бездонной пропастью этого обвала у нас кружилась голова и немело сердце“...

Вот еще интересное свидетельство Станкевича о том, каковы были „главенствующие настроения не только в сравнительно правых группах“.

„Официально торжествовали, словословили революцию, кричали „ура“ борцам за свободу, украшали себя красными бантами и ходили под красными знаменами... Все говорили „мы“, „наша“ революция, „наша“ победа и „наша“ свобода. Но в душе, в разговорах наедине, — ужасались, содрогались и чувствовали себя плененными враждебной стихией, идущей каким-то неведомым путем... Говорят, представители прогрессивного блока плакали по домам в истерике от бессильного отчаяния...“

Враждебная стихия, ужасная и непонятная, вырвавшаяся из тайников какого-то совершенно чужого мира, — вот чем представлялась революция не одним лишь „правым группам“, вот что объединило их какой-то безмолвной круговой порукой друг с другом.

„Даже люди, много лет враждовавшие, — говорит Шульгин, — почувствовали вдруг, что есть нечто, что всем одинаково опасно, грозно, отвратительно... Это нечто была улица... уличная толпа... Страх перед улицей загнал в одну коллегию Шульгина и Чхеидзе“.

Эта убийственная характеристика думских „революционеров“ далеко не преувеличена. В большей или меньшей степени, все представленные в Думе партии отдавали дань этому страху перед „уличной толпой“.

Страх перед революционной улицей, лежавший в основе всей оппозиционной и заговорщицкой работы политических деятелей Думы, в эти дни народного восстания достиг своего высшего предела. Но и значительно позднее, когда уже до известной степени „порядок“ был восстановлен, этот страх улицы не давал спать многим отменным „демократам“, оказывая сильное влияние на их политику.

Чрезвычайно любопытны в этом отношении воспоминания Пешехонова, который посвящает „уличным толпам“ специальную главу. Его, по собственному признанию, даже при виде самой безобидной, имеющей „совершенно невинные цели“, толпы — „всякий раз охватывала тревога“ и вообще, ему „толпы причиняли массу беспокойства и хлопот“...

Для полноты картины я позволю себе привести здесь небольшую, но весьма пикантную выдержку из сухановских „Записок о революции“.

Дело было в ночь с 1 на 2 марта в Таврическом дворце.

„В комнате 41-й было почти пусто. На диване сидела жена Керенского, Ольга Львовна, кажется с Зензиновым. Керенский уселся рядом, поджав ноги и злобно продолжая свою речь...

Развал полный во всем.. Никакого руководства и никакой власти... Солдатня прет отовсюду, и нет никаких сил удержать ее. Конечно, начнутся погромы, убийства, голодные бунты... Я предвижу самый страшный конец всему.

„Вот, начинается!.. Слышите? — истерически продолжал он, привставши с места и прислушиваясь к шуму шагов и топоту десятков ног, начавшемуся снова в соседних залах. — Слышите? Начинается утро, опять ползут сюда какие-то толпы, какие-то люди, без всякого дела, неизвестно зачем! Опять будет праздная толпа слоняться весь день, не работая и мешая“.

Этот красноречивый „крик души“ не нуждается в комментариях. Но не мешает добавить, что и сам Суханов до некоторой степени разделял подобные настроения. По крайней мере, в данном случае он не берется утверждать, чтобы Керенский „во всем был абсолютно неправ“.

Если даже в социалистах Керенском и Суханове „праздная толпа“ вызывала раздражение, то можно представить, как себя чувствовал правый фланг шульгинской „коллегии“.

„Пулеметов! Пулеметов — вот чего мне хотелось. Ибо я чувствовал, что только язык пулеметов доступен уличной толпе, и что только он, свинец, может загнать обратно в его берлоги, вырвавшегося на свободу страшного зверя. Увы — этот зверь был... Его величество русский народ...“

„Умереть? Пусть. Лишь бы не видеть отвратительное лицо этой гнусной толпы, не слышать этих мерзостных речей, не слышать воя этого подлого сброда!

Ах, пулеметов сюда, пулеметов!..“

„Николай I повесил пять декабристов, но если Николай II расстреляет пятьдесят тысяч „февралистов“, то это будет задешево купленное спасение России. Это будет значить, что у нас есть государь, что у нас есть власть“.

Какая бездна ненависти, безграничной, неистовой ненависти рабовладельца в этих бесстыдно-циничных откровенностях Шульгина! Распоясавшийся „зубр“ не стесняясь называет все вещи своими собственными именами.

Да, он ненавидит, безумно ненавидит вырвавшийся на свободу народ. Да, именно народ... „Его величество русский народ“. С ним, вышедшим из подчинения народом, только один разговор — разговор пулеметов. Пусть пятьдесят, пусть сколько угодно тысяч жертв, — лишь бы укротить, лишь бы обуздать „взбунтовавшуюся Россию“, лишь бы восстановить свою власть, власть рабовладельцев.

Здесь полностью предвосхищена „идеология“ будущих „освободителей“ страны от большевизма: Колчака в Сибири и на Урале, эсеровских учредиловцев на Волге, чайковцев на Севере, деникинцев и врангельцев на Юге, „народогвардейцев“ Валико Джугели в Грузии. Каждый посвоему, они все тогда делали одно общее дело пулеметной расправы с вырвавшимся на свободу народом. Страх перед ним и ненависть к нему в дни гражданской войны действительно сплотили воедино и единомышленников Шульгина и партийных друзей Чхеидзе.

Этот единый противонародный фронт впервые отчетливо наметился в июльские дни, когда перед временным правительством встала угроза пролетарской революции. Но и в дни февраля, когда даже среди большевиков лишь очень немногие помышляли о республике Советов, — уже тогда рабовладельческая шульгинская „идеология“ пользовалась правами гражданства и среди так называемой социалистической демократии.

Вот, напр., „хороший“ — по отзывам солдат — офицер и еще более хороший демократ — „трудовик“ Станкевич. Он, правда, не вопит о пулеметах и не требует расстрела пятидесяти тысяч „февралистов“. Больше того, он „через

пять минут“ после победы революции самоотверженно „присоединяется к ней“. Но посмотрите, какими красками описывает этот господин народное восстание:

„На улицах немолчно, повсюду, повидимому, беспричинно и бесцельно, происходила стрельба из пулеметов, винтовок и револьверов. Казалось, винтовки стреляли сами собой. Казалось, громадные запасы взрывчатого вещества, накапливаемые против противника, приобрели свойство взрываться сами собой в тылу, раня и убивая кого попало. И запасы противо-человеческой ненависти вдруг раскрылись и мутным потоком вылились на улицах Петрограда в формах избиения городовых, ловли подозрительных лиц, в возбужденных фигурах солдат, катающихся бешено на автомобилях“.

Вот и все, что увидал „на улицах“ будущий член соглашательского Исполкома Петроградского Совета. Чем это „восприятие“ революции отличается от шульгинских воплей об „отвратительном лице“ „гнусной толпы“?

Или вот вам еще будущий вождь „зеленых“ эсер Воронович. Каким бесконечным барским презрением к бунтующей солдатской черни пропитаны его „записки“. С какой бесподобной грацией рассказывает он о своих демократически-бескровных расправах с „сопляками“, — артиллеристами, стремившимися вовлечь в движение другие части. Как и Станкевич, он тоже, конечно, „присоединяется“ к революции... „через пять минут“ после ее победы и даже делается председателем местного Совета.

* * *

Страх, ненависть, презрение, лицемерие... Такова квинтэссенция „революционной идеологии“, объединившей в одну „коллегию“ Шульгина и Чхеидзе. Но дело не ограничивалось, конечно, только „идеологией“; ей сопутствовала и соответствующая „революционная“ практика.

Практически для этой „коллегии“ вопрос стоял так:

„...Надо было заставить кого-то повиноваться себе, чтобы посредством повинующихся раздавить нежелающих повиноваться... Немедля ни одной минуты.... один решительный полк, на который мы могли бы твердо опереться, и один решительный генерал...“

Такова, как всегда, четкая, ясная и... циничная формулировка Шульгина. По какому-то странному недоразумению он утверждает, что этого не только никто не мог выполнить, но и „почти никто не понимал“. С первым нельзя не согласиться. Второе же фактически совершенно неверно. Лидеры думских прогрессистов не только понимали это, но и пытались осуществить.

Сам же Шульгин страницей дальше упоминает о том что „нечто в этом роде пришло в голову через несколько дней члену Гос. Думы казаку Караулову“, задумавшему „арестовать всех“ и „объявить себя диктатором“. Номер не прошел вследствие явно враждебного отношения даже наиболее „надежных“ солдат к такому предприятию.

Но Караулов был далеко не одинок в своих усмирительно-диктаторских поползновениях. К ним причастна вся верхушка думского „прогрессивного“ блока, поставившая их на очередь не „через несколько дней“, но еще тогда, когда не вполне выяснилась победа восстания. По словам Лукомского, Родзянко еще 26 февраля просил „венценосца“ на-ряду с назначением „ответственного“ министерства о присылке в Петроград „надежных частей“. А 27-го Родзянко, Дмитрюков, Савич и Некрасов, — три октябриста и один кадет, — имели совещание с вызванным ими из Гатчины Михаилом Романовым.

„Великому князю, — рассказывает Родзянко, — было во всей подробности доложено положение дел в столице и было указано, что еще возможно спасти положение: он должен был явочным порядком принять на себя диктатуру над городом Петроградом...“

Эту диктатуру Михаила предполагалось подкрепить необходимыми „реформами“, в роде „ответственного министерства“ и силой „еще непоколебленных в смысле дисциплины частей Петроградского гарнизона“. Но Михаил Романов не проявил необходимой энергии и решительности. „И таким образом в этом отношении попытка Гос. Думы потерпела неудачу“ — меланхолически заканчивает Родзянко свой рассказ.

Была еще одна „попытка“, тоже потерпевшая неудачу в самом же начале. Но на этот раз виновниками неудачи оказались сами думцы. Это было на так называемом „частном совещании“ членов Гос. Думы в полуциркульном зале Таврического дворца в памятный день 27 февраля. Широкой публике мало известны подробности этого исторического заседания. Наиболее ответственные его участники хранят молчание о том, что там говорилось. Ни Милюков, ни Родзянко ничего не сообщают о содержании произносившихся там речей. Даже словоохотливый Шульгин отделывается довольно туманными замечаниями, ссылаясь на запамятование.

Однако же, на этом заседании говорились весьма интересные речи и делались весьма достопримечательные предложения. О них сообщают Шидловский и Мансырев. Вот как рисуется ими картина этого совещания.

Дело началось с речи Родзянки, доложившего Думе, что „медлить с подавлением бунта невозможно“, и что

необходимо „обсудить положение и наметить меры к прекращению беспорядков“. Вот как была формулирована главой Думы ее задача.

Милюков сознательно извращает действительность, когда в своей „Истории Революции“ изображает дело так, как будто бы речь шла лишь о предотвращении попытки правительства „направить на восставших войска, оставшиеся верными ему“ и о предупреждении угрозы „настоящих сражений“ (см. стр. 174 настоящего сборника). Если верить ему, именно эту и только эту цель преследовала сделанная около полудня „двоякая попытка (со стороны социалистов и со стороны Думы) ввести движение в определенное русло“. Сваливая в одну кучу Временный Комитет Гос. Думы и Временный Исполком Совета, Милюков пытается создать у читателей впечатление единства целей этих двух учреждений. Он скромно умалчивает при этом,—повидимому, в интересах исторической правды,—что упомянутая „попытка“ носила совершенно противоположный характер в понимании Думы и понимании Совета. Совет стремился закрепить победу восстания, Дума же и Милюков в том числе работали над тем, чтобы ее ликвидировать. Это во всяком случае —„две большие разницы“.

Если г. Милюкову угодно задним числом украшать себя и прочих думцев красными бантиками, то пусть он послушает дальнейший рассказ Мансырева, подтверждаемый в главном и Шидловским.

„Первым высказывается Н. В. Некрасов (товарищ Милюкова по партии. *А. У.*), в общем представлении — крайний левый между кадетами и неизменно кокетничающий с трудовиками. Он соглашается, что положение очень серьезно и что поэтому президиум Думы (в который входил и он сам) должен не медля ни минуты ехать к председателю совета министров кн. Голицыну и, указав на одного из популярных генералов, напр., Поливанова или Маниковского,— просить о наделении их диктаторскими полномочиями для подавления бунта“.

Вот каково было истинное отношение думских и партийных единомышленников Милюкова к попыткам правительства пустить в ход „верные“ войска, которых у него почти уже не было. Вот какими способами и вот в какое вполне „определенное русло“ хотели они „ввести“ движение.

Правда, это предложение встретило критику и, в конце концов, не было принято Думой. Но по каким причинам

и по каким соображениям? Вот, не угодно ли полюбоваться на доводы Караулова.

Он, видите ли, „совершенно не понимает“ Некрасова и не желает ехать к правительству, которое сама же Дума „уже полгода честит дураками, негодяями и даже изменниками“.

„... Просить помощи...—восклицает он,—у кого? Ведь вы слышали, что они все перепугались и попрятались; что же, кн. Голицына из-под кровати будем мы вытаскивать? Надобно, чтобы мы сами перестали болтать, а что-либо сделали; сумеем,—хорошо, а не сумеем,—тогда нас надобно всех отсюда вон“.

Правительства уже нет, защищать нас некому. Один выход: самим взяться за дело подавления революции. Вот смысл возражения Караулова против поездки к Голицыну. Опять, тоже как небо от земли далеко от изображения дела Милюковым.

Если и этого еще недостаточно, чтобы заставить Милюкова расстаться с его революционными украшениями, то не угодно ли ему стать на очную ставку с самим собой. Пусть Милюков-историк послушает Милюкова-политика.

Что говорил этот последний на „совещании“ Думы 27 февраля, когда на него, по словам Мансырева, „устремлялись с упованием все взоры“?

Он возражал и против поездки к правительству („бесполезно,—они сами выпустили из рук власть“) и против взятия власти Думой. Главный довод был такой:

„Мы уже потому не можем принимать никаких решений, что размер беспорядков нам неизвестен, так же как неизвестно и то, на чьей стороне стоит большинство местных войск, рабочих и общественных организаций“. Милюков предлагал собрать предварительно точные сведения обо всем этом. Он получил достаточно убедительный ответ раньше еще, чем кончил свою речь. Прибежавший Керенский сообщил о приближении „громадных толп народа и солдат“. А через несколько минут они сами явились в Таврический дворец, сделав излишними разговоры о том, „на чьей стороне большинство“.

Можно, конечно, допустить, что тогда Милюкову действительно не ясна была картина восстания. Можно даже предположить, что он не был осведомлен насчет настроения не только войск, с самого начала движения открыто проявлявших свое сочувствие революции, но и рабочих. Однако совершенно невероятно, чтобы в этом блаженном неведении он пребывал и во время писания своей „Истории“. Но допустим и это. Все же остается несомненным то обстоятельство, что Милюковым тогда руководила мысль, весьма

далекая от стремления защитить восставших от верных правительству войск. Он больше всего боялся того, как бы при излишней поспешности не сыграть в руку революции, как бы не „возглавить“ движение, которое, быть может, еще можно подавить.

Увы! уже тогда это было делом совершенно безнадежным!

Так кончилась вторая попытка думцев организовать расправу с восстанием. Не имевшая под собой никакой реальной почвы, кроме страха и ненависти к революции, она легко была сорвана появлением восставших в стенах Думы.

Было бы излишним останавливаться на тех мерах подавления восстания, которые принимались или предполагались самим царизмом и преданными ему генералами. Это — вещи вполне естественные, и в основном известные широкой публике. Но безусловно следует упомянуть еще об одном неосуществившемся проекте подобного рода, главными действующими лицами которого были Михаил Романов и... все тот же П. Милюков.

Здесь мы предоставим слово самому автору „Истории Революции“. Вот как излагает он речь Милюкова на конспиративном совещании думских лидеров с Михаилом Романовым 3 марта. Решался вопрос, „отрекаться“ или не отрекаться Михаилу.

„П. Н. Милюков просил и получил, вопреки страстному противодействию Керенского, слово для второй речи. В ней он указал, что хотя и правы утверждающие, что принятие власти грозит риском для личной безопасности великого князя и самих министров, но на риск этот надо итти в интересах родины, ибо только таким образом может быть снята с данного состава лиц ответственность за будущее. К тому же вне Петрограда (надежды на „местные войска“ к этому времени окончательно уже выветрились. *А. У.*) есть полная возможность собрать военную силу, необходимую для защиты в. князя. Поддержал П. Н. Милюкова один А. И. Гучков“.

Кратко, но вполне ясно: еще один проект вооруженного подавления революции.

„Совет принять престол,— справедливо указывает Шульгин,— означал в эту минуту:

— На коня! На площадь!

Принять престол сейчас — значило: во главе верного полка броситься на социалистов и раздавить их пулеметами“.

* *
*

Впрочем, здесь дело обстояло несколько сложнее. Речь шла не только о подавлении восстания, но и о спасении монархии. Она нужна была нынешнему „эрдеку“ — „республикан-

скому демократу“ то ж,—как надежная опора „революционного“ Временного Правительства. Без этой опоры сие последнее представлялось ему лишь „утлой ладьей“, легко могущей „потонуть в океане народных волнений“.

Как, однако, вообще стоял вопрос о монархии перед шульгинской „коллегией“?

„Чтобы спасти... чтобы спасти... надо или разогнать всю эту сволочь (и нас вместе с ними) залпами, или...

Надо отречься от престола...

Ценой отречения спасти жизнь государю... и спасти монархию“...

Увы! надежды на разгон залпами у большинства „коллегии“ отцвели, не успевши расцвесть. Оставался только второй путь, путь „отречения“. На него и встали.

„Быть может, пожертвовав монархом, удастся спасти монархию...

Так, бесформенная, еще сама себя не сознающая, родилась мысль об отречении Николая II в пользу малолетнего наследника“...

И родилась, как правильно утверждает Шульгин, не у одного только него.

Она родилась и у Родзянки, заявившего ген. Рузскому, что это—„единственный исход“, и полагавшего, что „эта комбинация, вне всякого сомнения, была бы принята (кем?), и волнения, по всей вероятности, в значительной мере были бы успокоены“.

Родилась и у Милюкова, уже 2 марта говорившего на публичном митинге о предполагаемом „отречении“ Николая и о „регентстве“ Михаила.

Родилась и у Гучкова, предлагавшего на конспиративном совещании 1 марта: „поставить их (Совет) перед совершившимся фактом“ и „дать России нового государя“, чтобы „под этим новым знаменем собрать то, что можно собрать... для отпора“.

Родилась и у всего думского „комитета“.

„Во всех предшествовавших (выступлению Милюкова. *А. У.*) обсуждениях,—говорит Милюков,—в о п р о с э т о т с ч и т а л с я р е ш е н н ы м с о о б щ а в том именно смысле, как это излагал П. Н. Милюков“.

Все это, поскольку речь идет о лидерах „прогрессивного блока“, вещь—вполне понятная и естественная. Но интересно то, что в заговоре против республики—ибо речь шла о том, чтобы поставить страну перед „совершившимся фактом“ воцарения „нового государя“—принимал весьма горячее участие и „сам“ Керенский.

Авторы печатаемых в этом сборнике воспоминаний, к сожалению, ничего не говорят о роли Керенского в „отре-

чении“ Николая Романова. Но в „Записках“ Суханова имеется на этот счет весьма интересное свидетельское показание:

Дело было 1 марта. Родзянко, собираясь, согласно решению думского комитета, ехать к Николаю II за „новым государем“, просил Исполком Совета дать ему поезд. Исполком огромным большинством постановил отказать. Но не прошло полчаса, как в комнату влетел Керенский.

„На его лице было отчаяние, как будто произошло что-то ужасное.

— Что вы сделали? Как вы могли! — заговорил он прерывающимся трагическим шопотом. — Вы не дали поезда!.. Родзянко должен был ехать, чтобы заставить Николая подписать отречение, а вы сорвали это... Вы сыграли на руку монархии, Романовым. Ответственность будет лежать на вас!..

Керенский задыхался и, смертельно бледный, в обмороке или полу-обмороке, упал в кресло“.

Суханов, на которого эта сцена произвела „отвратительное впечатление“, полагает, что Керенский в данном случае являлся лишь „бессознательным орудием и рупором Милюковых и Родзянок“. Возможно, что это — так. Но хорош же „революционный вождь“ и будущий глава „демократического“ Временного Правительства, которого его коллеги в первые же дни революции смогли провести на такой прогнившей насквозь Романовской мякине!

А ведь дело было яснее ясного.

„Я знал, — рассказывает Шульгин, — что в случае отречения в наши руки революции как бы не будет (подчеркнуто самим Шульгиным. *А. У.*). Государь отречется от престола по собственному желанию, власть перейдет к регенту, который назначит новое правительство. Государственная Дума, подчинившаяся указу о роспуске и подхватившая власть только потому, что старые министры разбежались, — передаст эту власть новому правительству.

Юридически революции не будет“.

Разумеется, не только юридически, но и фактически не было бы революции, если бы этот план осуществился. Неудачу его Шульгин склонен приписать „наличию Гиммеров, Нахамкесов и приказа № 1“. Едва ли это верно. Против них в распоряжении „Комитета“, как мы только что видели, было вполне достаточное противоядие в виде „наличия“ Керенского. Но что мог поделать он против народных масс, не желавших ничего слышать о сохранении монархии под каким бы то ни было соусом?

Милюков сердито сетует на Николая II, оказавшего плохую „услугу родине“ решением передать „престол“ не

малолетнему Алексею, а Михаилу. Этим будто бы он „вновь открывал вопрос о монархии в такую минуту, когда этот вопрос только и мог быть решен отрицательно“. Нам кажется, что почтенный эрдек зря гневается на своего монарха. Тот враждебный отклик, который встретило выступление Милюкова на митинге 2 марта, достаточно убедительно показывает, что и милюковская постановка вопроса о монархии была так же совершенно неприемлема для масс, как николаевская. Вопрос о монархии был ими решен отрицательно уже в первый день революции.

Вскоре это стало ясно всем... кроме опять-таки все того же нынешнего главы „республиканских демократов“ П. Н. Милюкова.

„Принимая в соображение настроение революционных элементов...,— пишет Родзянко,— для нас было совершенно ясно, что великий князь (Михаил Романов) процарствовал бы всего несколько часов, и немедленно произошло бы огромное кровопролитие в стенах столицы, которое бы положило начало общегражданской войне.

Для нас было ясно, что великий князь был бы немедленно убит и с ним все сторонники его, ибо верных войск уже тогда в своем распоряжении он не имел и поэтому на вооруженную силу опереться не мог“.

Эту вполне правильную оценку положения Родзянко довел до сведения „его высочества“, и тому ничего не осталось иного, как „благородно“ отказаться от своих „прав“ на престол. Так кончилась черносотенная затея спасения монархии.

Керенский ухитрился тогда не понять этой монархической комедии „отречения“ и публично умилился благородством „его высочества“. А Милюков, повидимому, и до сих пор ничего не понимает, поскольку всерьез говорит, что именно представителями Думы на этом конспиративном совещании, а не восставшим народом на улице был „в сущности решен вопрос о монархии“.

Вынужденная окончательно сдать и эту свою позицию, контр-революция сосредоточила все свои силы на так называемом „возглавлении“ революции. Подготовка к сему „революционному“ акту началась с первых же дней переворота. Думский „Комитет“ вполне правильно рассудил, что „взятие“ им власти нисколько не повредит спасению монархии, а даже скорее будет для этого полезно. На этот счет мы имеем немало ценных признаний в воспоминаниях Родзянки. Но, как всегда, гораздо яснее и отчетливее вопрос поставлен у Шульгина. Еще в тот момент, когда Родзянко был

во власти верноподданных колебаний и сомнений, Шульгин вполне правильно наметил тактическую линию контр-революции.

„Положение ясно. Может быть два выхода: все обойдется — государь назначит новое правительство — мы ему сдадим власть... А не обойдется, так если мы не подберем власть, то подберут другие, те, которые выбрали уже каких-то мерзавцев на заводах... Берите, ведь, наконец, чорт их возьми, что же нам делать, если императорское правительство сбежало так, что собаками их не сыщешь“!..

И дальше — те же самые положения в „уточненном“ виде.

„Пусть думают, что власть взята Государственной Думой... Они сразу не разберутся, что Государственная Дума сама по себе не может быть властью — для них это будет звучать... Для них это лозунг — „Государственная Дума“... И для России тоже... Это звучит в провинции... Они будут верить несколько дней... Здесь будет некоторое время распоряжаться „комитет“ Гос. Думы... Пока решится вопрос о государе...“

Вот именно: нужно испробовать все средства для спасения монархии, а пока, чтобы выиграть время, хотя бы на несколько дней усыпить „их“ внимание кажущимся „присоединением“ Думы к революции. Пройдет — хорошо, а не пройдет — „возглавление“ пригодится в дальнейшем. Такова была тактика думского Комитета, диктовавшаяся ему правильно понятыми задачами контр-революции в обстановке народного восстания.

Чрезвычайно комично, поэтому, звучат жалобы Н. Суханова на „предательство“ думцев, одной рукой подписывавших „договоры“ с Советом, а другой — писавших проекты „высочайших“ манифестов. Этот тогдашний „идейный руководитель“ Совета грозно требует ответа от членов Комитета Гос. Думы:

„Спрашивается, от чьего имени была организована поездка в Псков Гучкова и Шульгина? Если от имени Вр. Комитета Гос. Думы, то известно ли было о ней его членам Керенскому и Чхеидзе? Если им было об этом известно, то почему не было доведено до сведения Исп. Комитета?— Т.-е. до каких пределов буржуазных кругов шло предательство интересов демократии? Или—до каких пределов простиралось легкомыслие иных демократов?..“

Вот именно! До каких пределов простиралось легкомыслие и наивность подобных Суханову демократов, доверившихся „обязательствам“ думского комитета, и всячески способствовавших его „возглавительным“ планам? Неужели не было у них более достойной задачи, чем стремление

во что бы то ни стало „навязать“ власть и защиту „интересов демократии“ насквозь монархическим буржуазным кругам из думского Комитета?

Если бы Милюков более объективно относился к историческим фактам и менее усердно фальсифицировал в известных ему целях историю революции, то именно здесь, а не в „отречении“ Михаила, он должен был бы обнаружить „первую капитуляцию русской революции“ и источник ее „последующих ошибок“.

* *
*

Итак: революция „возглавлена“, монархия с прискорбием душевным сдана в архив. Утлая ладья Милюкова, во образе руководимого им Временного Правительства, напутствуемая благословением Совета, выплыла, наконец, из думской гавани в „океан народных волнений“. Благоприятный ветер всяких „постольку—поскольку“ сулил ей на первых порах вполне благополучное плавание.

Однако были и неблагоприятные предзнаменования. В те дни, когда только велись приготовления к отплытию, и еще не всем было ясно, что придется плыть именно на утлой ладье, а не на оборудованном по последнему европейскому образцу конституционно-монархическом дредноуте, — уже тогда перед думской контр-революцией встал во весь свой рост вопрос об армии.

„Главное — армия, армия! Все пропало, если развал начнется в армии...“ — писал Шульгин.

Он как и все прочие „прогрессивно“ враждебные революции думцы, страстно мечтал о том, чтобы „мерами исключительной жестокости привести солдат к повиновению“, вполне справедливо полагая, что только таким путем можно „восстановить обычный порядок жизни и поставить правительство, не „доверием страны облеченное“, а опирающееся на настоящую гвардию“...

Но вместо „настоящей гвардии“, которая могла бы по рецепту Шульгина „одной рукой приводить в христианский вид деморализованную армию, другой — удерживать в границах повиновения бунтующееся население...“ — были лишь „мятежные“ полки, которые сами бунтовали вместе с населением. Были уставшие от войны и все свои надежды возлагавшие на революцию войска, были Советы солдатских депутатов, были солдатские комитеты, было недоверие и даже вражда к „старорежимному“ офицерству и генералитету. Наконец, был знаменитый „приказ № 1“, эта хартия солдатских вольностей, испортившая так много крови не одним лишь „прогрессивным“ контр-революционерам из Временного Правительства. Этого действительно революцион-

ного своего акта испугалась и „советская демократия“, тогда еще шедшая по линии левого „циммервальдского“ меньшевизма. Исполнительный Комитет отрекся от него после первого же нажима думцев, задолго до того, как буржуазная печать прокричала на весь мир о его гибельности и темном происхождении[1]).

На думскую контр-революцию, подготовлявшую для страны „нового монарха“, опубликование этого приказа произвело, разумеется, потрясающее впечатление. Весь Комитет, рассказывает Шульгин, был „в большом волнении“ Родзянко „бушевал“, ругая его авторов мерзавцами и предателями. У Шульгина же „в глазах помутилось“, и он „почувствовал, как чья-то коричневая рука сжала сердце“. Ведь для них узаконение революционных солдатских вольностей означало „конец армии“, т.-е. конец всяким надеждам „снова прибрать расшатавшиеся части к рукам“, как изволит выражаться в своих воспоминаниях ген. Лукомский, а стало быть конец „всего“.

В воспоминаниях Родзянко, Шульгина и Мансырева имеется не мало интересных описаний борьбы думцев за армию. Думским Комитетом и Временным Правительством делалось все от них зависящее для приведения армии „в христианский вид“. И безусловно вздорны нападки „военных“ Деникина, Лукомского и Смирнова на бесхарактерность, соглашательство и попустительство штатских властей. Эти бравые „рубаки“, воспитанные на беспрекословной „субординации“ низших по чину высшим, со свойственной таким людям тупой ограниченностью, естественно, не могли видеть никаких других причин развала армии, кроме зловредной агитации и попустительства начальства. На самом же деле штатское начальство в лице Временного Правительства не только не попустительствовало, а подчас само обвиняло военных в попустительстве.

М. И. Смирнов рассказывает о весьма любопытном „qui pro quo“ (недоразумении), происшедшем на этой почве с бу-

---

[1]) Одним из важнейших средств борьбы было излюбленное контр-революцией оружие лжи и клеветы. Усиленно распространялись басни о „немецком происхождении“ приказа. В действительности же все пункты его были приняты на заседании Совета, а потом специальной комиссией был составлен текст. Вот как это было.

„За письменным столом сидел Н. Д. Соколов и писал. Его со всех сторон облепили сидевшие, стоявшие и навалившиеся на стол солдаты, и не то диктовали, не то подсказывали Соколову то, что он писал... Никакого порядка и никакого обсуждения не было, говорили все — все, совершенно поглощенные работой, формируя свое коллективное мнение безо всяких голосований... Окончив работу, поставили над листом заголовок: „приказ № 1“. (Суханов „Записки о революции“, кн. I). Интересно с этим сопоставить не столь умные, сколь злобные „догадки“ авторов печатаемых в этом сборнике произведений.

дущим „верховным правителем“ России Колчаком. Сей бравый адмирал, жаждавший такого „порядка“ во флоте, что „будто революции не было“, с самого начала вел энергичную борьбу с правительственным „соглашательством“, не останавливаясь даже перед форменными ультиматумами. А когда благодаря этому тупому адмиральскому усердию дело дошло до матросского „бунта“, то он сам оказался обвиненным Временным Правительством в „допущении явного бунта“ и был вызван „для доклада“ в Петроград. Комично звучат жалобы оскорбленных в самых „лучших“ контр-революционных чувствах адмиралов Колчака и Смирнова на это „явно нелепое“ обвинение со стороны Временного Правительства, которое само де „возглавило бунт и делало все от него зависящее, чтобы этот бунт углубить“.

Оскорбившая Колчака телеграмма была подписана, между прочим, и Керенским. Она требовала от заместителя Колчака контр-адмирала Лукина „восстановления порядка“ и сообщала о посылке комиссии для расследования обстоятельств „бунта“ и наказания „виновных“. Это было не первым и не последним „усмирительным“ подвигом Керенского. И, разумеется, не один лишь Керенский из числа вождей „советской демократии“ того времени подвизался на этом поприще. В воспоминаниях того же Смирнова мы встречаем рассказ о похождениях эсдека-оборонца Тулякова, приезжавшего в Севастополь „устраивать революцию“, а вместо этого — надо полагать, под влиянием поразившего его „порядка и спокойствия“ — ездившего по частям, где он „произносил патриотические речи, призывая матросов слушаться своих офицеров“. А в „Записках“ эсера Вороновича дается, так сказать, полное наглядное руководство демократического „прибирания к рукам“ всякого рода „сопляков“ военного и штатского происхождения. Рекомендуемые в нем, и проверенные Вороновичем на практике, приемы „успокоения“ и „прибирания“ в общем довольно просты: требуется хорошим обращением войти в доверие своей (или какой-нибудь другой) части, а затем, эксплоатируя это доверие, профессиональное самолюбие солдат (так сказать, их „честь мундира“), привычку к „дисциплине“ и т. д. и т. п., — пользоваться ею, как послушным орудием для приведения прочих частей в „христианский вид“. Это в сущности, — уже знакомый нам шульгинский рецепт. Отличие лишь то, что, согласно „руководству“ Вороновича, „меры исключительной жестокости“ необязательны и во многих случаях с успехом могут заменяться „отеческим“ принуждением, хитрыми уловками, демагогическими речами и приспособлением к настроениям солдат. Обо всем этом почти с шульгинской —

выражаясь мягко — „откровенностью“ эсер Воронович рассказывает в поучение „русской интеллигенции“.

В большинстве случаев руководимая меньшевиками и эсерами тогдашняя „советская демократия“ добровольно шла по такому пути, всячески облегчая „утлой ладье“ контрреволюции борьбу с солдатской „стихией“. А когда она изредка артачилась и отказывалась принимать участие в работе по подрубанию сука, на котором сидела, — то на нее оказывали „моральное“ давление. И в большинстве случаев достигали успеха. Так было, наприм., в истории с „приказом № 1“, о чем подробно рассказано у Шульгина, а впоследствии с введением смертной казни на фронте.

Не только „старорежимный“ генералитет, но также Вр. Правительство и эсеро-меньшевистский Совет усердно работали над восстановлением старой, послушной имущим классам армии. И не их вина, если она все же „разложилась“ и не дала себя использовать в качестве слепого орудия расправы с „взбунтовавшейся Россией“.

Борьба за овладение армией была лишь одной из важнейших форм борьбы с так называемой „анархией“, под которой понимались как отдельные стихийные проявления революционной самодеятельности масс, так и вся революция в целом. Потерпев неудачу в попытках подавить восстание в самом начале, контр-революция повела против нее правильную осаду. „Возглавление“ революции Вр. Правительством явилось началом этой осады.

Прежде всего требовалось прикрыть тыл. Для этого необходимо было пойти на известное соглашение с Советом. Правда, как говорит Шульгин, „всем было ясно, что вырастающее двоевластие представляет грозную опасность“, и „в сущности вопрос стоял — или мы (Дума) или они (Совет)“.

Но с другой стороны приходилось учитывать, что „мы“ не имели никакой реальной силы. Ее заменял дождь телеграмм, выражавших сочувствие Гос. Думе. „Они“ же не имели еще достаточно силы. Хотя в их руках была бесформенная масса взбунтовавшегося Петроградского гарнизона, но в глазах России происшедшее сотворилось „силою Гос. Думы“. Надо было сначала этот престиж подорвать, чтобы можно было нас ликвидировать“.

Подрыв „престижа“ был бы концом для всех надежд контр-революции. Этого можно было бы избежать лишь дружественными отношениями с Советом. Нужно было добиться того, чтобы он не только не подрывал незаслуженно установившегося в стране революционного „престижа“ Думы, но, наоборот, всячески его укреплял. Благо-

даря „легкомыслию иных демократов“ из Совета, эта задача была разрешена без особых затруднений. Совет сам пришел к думскому Комитету с поклоном и с просьбой „княжити и володети нами“ для наведения порядка в революционной стране. Само собой разумеется, дело обошлось не без демократических условий со стороны Совета, но за то думской контр-революции обещалось то, что ей было нужно больше, чем воздух: престиж „революционного правительства“.

За это не жалко было дать довольно хорошую цену. Прежде всего можно было принять в свою компанию Керенского. На этот счет существовали довольно определенные планы еще до революции. Его хотели „вырвать у революции“, чтобы иметь „с собой“, а не „против себя“. Очень хорошо о „пользе“ Керенского говорит Родзянко: „Керенский должен был быть введен в состав кабинета по требованию демократических элементов, *без соглашения с которыми не было никакой возможности водворить даже подобие порядка и создать популярную власть*“. Сколько-нибудь настоятельных требований со стороны демократии о введении Керенского в правительство, правда, не было. Более того, Керенскому пришлось прямо-таки „изнасиловать“ Совет, чтобы добиться хотя бы неофициального молчаливого согласия на это. Но все же через посредство Керенского установилась довольно прочная „смычка“ Временного Правительства с Советом, а через него — и со всей демократией. Он, употребляя выражение Шульгина, был очень удобным „мостом“ между этими двумя „головами“. Удобным, конечно, для контр-революционной „головы“, которая широко пользовалась им для воздействия на Совет.

Затем, кроме приглашения Керенского, можно было выбросить другую подачку демократии в виде всяких демократических обещаний и посулов плоть до Учредительного Собрания, избранного по всем правилам „четыреххвостки“. Ведь, в сущности, они ни к чему не обязывали, а „престиж“ подымали очень сильно. Насколько „серьезно“ относились „думцы“ к таким обещаниям, — можно видеть хотя бы из рассказа Родзянко о том, как он „успокаивал“, взволнованных вопросом о республике и земле солдат „ссылкой на то, что все эти вопросы подлежат разрешению не представителя Гос. Думы и не Вр. Правительства, а Учредительного Собрания“. Какая, в самом деле, удобная вещь — этот учредительный „барин“, который когда-то приедет и как-то все рассудит! И какое прекрасное средство не только для укрепления престижа, но и для связывания революционной активности масс! Им пользовались, по мере надобности, все

любители „порядка“, начиная с Родзянки, и кончая социалистами, подобными Вороновичу.

Обеспечивая необходимыми уступками тыл, Вр. Правительство усиленно работало над укреплением своих основных позиций. С первых же дней революции началась рассылка всякого рода комиссаров и уполномоченных. „Их много было..., — говорит Шульгин. — Ведь, всюду, всюду требовалось, все учреждения умоляли прислать члена Гос. Думы“. Так как последних нехватило, то использовали и „местных деятелей“, конечно, соответствующего социального положения и политических взглядов. В Лужский „военный комитет“, например, как рассказывает Воронович, при содействии члена Думы Лебедева (один из „комиссаров“) был „выбран“ председателем ген. Беляев, брат арестованного народом царского военного министра. В том же Лужском уезде, по словам Вороновича, „комиссаром был назначен бывший председатель земской управы, местный помещик, пользовавшийся неважной репутацией среди крестьян“.

И здесь эсеро-меньшевистская „демократия“ шла вольно или невольно на помощь укреплявшим свои позиции имущим классам. Где можно, правительственных комиссаров поддерживали своим авторитетом, где нельзя, там, как в Луге, подыскивали более подходящих, таких, которые могли бы проводить политику правительства, не вызывая возмущения масс. Интересно отношение этих демократов к Советам. Вот, например, „народный социалист“ Пешехонов, которого не Вр. Правительство, а Совет поставил комиссаром Петроградского района. Как смотрел он на местный районный Совет? Он видел в нем „наиболее опасного конкурента“. Чтобы от него „избавиться“, он „вызвал к себе“ депутатов от рабочих, и в результате его мероприятий „на Петроградской стороне этот совет оказался состоящим при мне (т.-е. при Пешехонове. *А. У.*), в качестве совещательного органа“. Одним словом, получилось нечто вроде думской конституции, в которой роль неограниченного самодержца выполнял „демократ“ Пешехонов, а в положении фактически лишенной всяких прав Думы оказывался Совет рабочих депутатов.

Или, вот, еще эсер Воронович. Правда, созданный им в Луге Совет не „состоял“ при нем, а лишь возглавлялся им. Но полюбуйтесь, как он оценивает значение Совета.

„Я был уверен, что несколько энергичных и пользующихся авторитетом людей смогут сразу изменить положение и заставить эту „вольницу“ подчиниться разумным распоряжениям. Поэтому я изъявил горячее участие в пропаганде созыва Совета“.

Для него Совет был не революционным органом, а лишь одним из тех орудий, с помощью которых он заставлял „сопляков“ подчиняться его „разумным распоряжениям“. В спорах с „предубежденной“ против Совета интеллигенцией этот „сторонник“ Советов ссылался на то, что „в первый период революции не было других органов, которые, подобно Советам, могли бы импонировать массам... что только Совет мог установить в Луге тот порядок, которому так завидуют...“ О том, каков был установленный Вороновичем с помощью „импонировавшего“ населению Совета „порядок“, можно судить по тому, что и „цензовая земская управа стояла также на той точке зрения, что участие Совета в организации крестьянства было необходимо...“ Наконец, руководимый Вороновичем Совет „и не помышлял претендовать на захват власти в деревне“, рассматривая себя, как учреждение, которое впоследствии должно будет уступить место земскому и городскому самоуправлению.

Вот вам еще один „советский“ человек, более высокого „чина“ — член Петроградского Исполкома трудовик Станкевич. Совет для него, это — „собрание полуграмотных солдат... фирма, услужливо прикрывавшая полное безначалие“. Более всего на свете его беспокоит вопрос: „удержит ли Совет движение, когда он начнет требовать (от солдат)“? В Совет этот господин попал в качестве депутата от офицеров на предмет „борьбы с анархией в самом ее гнезде“.

Ни буржуазии, ни эсеро-меньшевистской „демократии“, как известно, не удалось все же настолько укрепить контрреволюцию, чтобы оказалась возможной кровавая расправа с „бунтующим“ народом. Но охотников взять на себя роль палача революции было не мало. Так, напр., по словам Смирнова, командир Черноморской пехотной дивизии грозил разогнать Петроградский Совет. Того же подвига жаждал и знаменитый ген. Крымов, будущий участник Корниловского мятежа. „Я предлагал им (Вр. Правительству),— говорил он Деникину,— в два дня расчистить Петроград одной дивизией,— конечно, не без кровопролития... Ни за что: Гучков не согласен, Львов за голову хватается: „Помилуйте, это вызвало бы такие потрясения. Будет хуже“.

Результаты произведенной впоследствии Корниловым, в сотрудничестве с тем же Крымовым, попытки „расчистить“ революцию показали, что Гучков и Львов гораздо правильнее оценивали положение, чем бравые „рубаки“— Крымов и Корнилов. Вышло действительно хуже для них,— корниловский мятеж выковал борцов октябрьских баррикад.

В руках любителей „порядка“ было еще одно сильное оружие борьбы с „анархией“, это — война. На продолжении ее настаивали союзники, требовавшие, как упоминает Лукомский, „активных действий“ на русско-немецком фронте. В ней были заинтересованы и наши имущие классы, мечтавшие о расширении российских владений, захвате „проливов“ и новых рынков на Ближнем Востоке. Все это делало их горячими поборниками „войны до победного конца“. Но помимо подобного рода „патриотических“ соображений, еще „умысел другой тут был“. Как рассказывает Лукомский, „теплилась надежда, что, может быть, начало успешных боев изменит психологию массы, и возможно будет начальникам вновь подобрать вырванные из их рук возжи“.

Эта надежда, „теплившаяся“ вначале лишь в сердцах генералитета и буржуазных членов Вр. Правительства, вскоре была усвоена и руководимым меньшевиком Церетели Петроградским Советом. В начале мая им было выпущено воззвание к армии, которое по словам всегда патриотично настроенного Станкевича, „звучало так воинственно, что из армии приезжали делегаты специально для того, чтобы удостовериться, не подложно ли воззвание“. Причина этой „воинственности“ лежала, как правильно отмечает тот же Станкевич, в соображениях не только внешней, но и внутренней политики.

„Надо было дать армии дело: надо найти действительно убедительные мотивы к наведению порядка и дисциплины... Конечно, быть может, лучшим выходом было бы в смысле внутренней политики, если бы наступление начал сам противник. Но он не наступал. Значит, надо было двинуться на него и ценою войны на фронте купить порядок в тылу и в армии“.

Это шульгински-циничное признание „демократа“ Станкевича рисует нам эсеро-меньшевистских руководителей тогдашнего Совета в их натуральном виде. Эти господа в своей боязни „толпы“ и „анархии“ докатились до того, что ради „порядка“ сознательно готовили „представляемому“ ими народу кровопускание на фронте. Они хотели утопить революцию не только в ура-победном угаре тыла, но и в крови десятков и сотен тысяч солдат.

„Как дошли они до жизни такой“, до такого бесстыдного предательства революции? Здесь дело не обошлось без просвещенного содействия союзных социалистов. О том, что те посланы своими правительствами и являются простыми агентами английского и французского империализма, не знали лишь политические младенцы. И все же, как признается Станкевич, „горячие призывы Тома... и рассуди-

тельная энергия Гендерсона", говоривших о необходимости разгромить Германию, „производили свое впечатление".

Настаивая „на начале активных действий на нашем фронте", союзный империализм с Милюковыми и Терещенками вел „деловые" переговоры, торгуясь о размерах платы за поставляемое ими пушечное мясо, а с Церетели и Керенским разговаривал через „своих" социалистов, запугивая немецкой и большевистской опасностью.

„Немецкая опасность" фактически была лишь мифом и... удобным орудием контр-революционной агитации. Она в сущности мало беспокоила не только Совет, но и Врем. Правительство. Зато все сильнее давала себя чувствовать „опасность" большевистская. Призрак Октября, хотя еще очень и очень неясный, рождал уже смутную тревогу в сердцах и Милюкова, и Церетели. Первого он побуждал к более „активной" политике, второго — к большей податливости и уступчивости притязаниям буржуазии и к более резкому противодействию рабоче-солдатской „анархии".

„Странным образом,— пишет Станкевич,— из выступления солдатских и рабочих масс в Петрограде (20 и 21 апреля), из протестов против излишней воинственности правительства Комитет (Совета) сделал обратные выводы: сам Комитет стал воинственным. Непосредственно за апрельским выступлением и в связи с ним начались в большинстве Комитета психологические сдвиги, которые привели к полному приятию войны".

На самом деле здесь не было ничего странного. Это была вполне естественная реакция мелкого буржуа (главенствовавшего тогда в Совете во образе эсеро-меньшевистского блока) против обнаружившихся перед его испуганным взором перспектив дальнейшего углубления революции.

Чтобы закончить характеристику „революционной" деятельности Вр. Правительства, скажем несколько слов об отношении его к Николаю Романову после „отречения". Оно было вполне в духе общей политики Милюковых и Родзянок. „Старый деспот, доведший Россию до полной разрухи", как рекомендовал Милюков Николая II в своем выступлении 2 марта, рассматривался ими, не как государственный преступник и враг народа, а как уволенный в отставку с мундиром и пенсией сановник. Второго марта произошло „отречение", 3 марта Совет высказался за арест царской семьи. Но лишь 8 марта, после вторичного „представления", Вр. Правительство объявило, наконец, арестованной бывш. императрицу и распорядилось доставить в Царское Село разгуливавшего тем временем по фронту Николая Романова.

Здесь тоже была проявлена к царской семья величайшая предупредительность. „Тюремщиком“ к ней был назначен вполне „свой“ человек — „бывший гвардейский офицер полка ее величества, лично известный царю и царице“, лейб-улан Коцебу. И Карабчевский, и Палей, и Вырубова очень тепло отзываются об этом своем „давнем, хорошем знакомом“. „Своим внимательным отношением к положению царственных пленников он был вполне на месте“, с удовлетворением отмечает Карабчевский. Вырубова, знавшая Коцебу с детства, тоже „была рада“ ему „так как у него было скорее доброе сердце, и он любил их величества“.

Это, пожалуй, еще было бы с пол-беды, если бы Коцебу все же выполнял элементарные обязанности по отношению к арестованным. Но оказывается — так по крайней мере аттестует его Палей — „Коцебу, к своей чести занял это место („тюремщика“ б. царя) только для того, чтобы притти на помощь заключенным и смягчить по возможности их существование. Он пропускал к ним письма, не просмотренные цензурой, передавал известия, сообщенные по телефону, украдкой покупал им то, в чем они нуждались и т. д...“. Т.-е. фактически арест был сведен почти на-нет, так как благодаря „благородству“ Коцебу и глядевшего на это сквозь пальцы Вр. Правительства, Николай Романов имел полную возможность сношений с внешним миром. К этому „благородству“ был причастен и Керенский, который сместил Коцебу только тогда, когда все „ему перестали доверять“, и то лишь за тем, чтобы заменить таким же „мягким и деликатным“, но стоящим еще „вне подозрений“ Коровниченко.

Вся эта более чем странная для республиканца и социалиста Керенского „деликатность“ к б. царю становится вполне понятной, если принять во внимание страстное желание Вр. Правительства переправить Николая Романова за границу, где он мог бы под охраной своих царственных родственников строить козни против революции.

Для будущих руководителей и „идеологов“ белогвардейских авантюр и интервенции было весьма не вредно сохранить до поры до времени в безопасном месте и „старого деспота“ и его молодых „преемников“...

Так в феврале „спасали“ страну от революции послеоктябрьские спасатели ее от большевиков...

А. УСАГИН.

М. В. РОДЗЯНКО.

Государственная Дума и Февральская 1917 года революция [1]).

Общественные настроения до войны.

Государственная Дума.

Считаю совершенно необходимым остановиться сначала, хотя бы и в кратких чертах, на деятельности Государственных Дум до войны. Без такого разъяснения не может быть правильного суждения о роли Государственной Думы IV созыва в дальнейшей жизни страны и, главным образом, в перевороте 27 февраля.

Я не коснусь кратковременной деятельности I и II Государственных Дум; скажу только, что задачи, поставленные себе Государственной Думой III созыва, были следующие: укрепление расшатанной неудачной войной военной мощи России, возможное исправление поколебавшегося финансового положения государства и экономических производительных сил страны и засим восстановление внутреннего порядка и закономерности во всем.

Стремление к достижению поставленных себе целей проходит красной нитью через все постановления Государственной Думы. Государственные Думы I и II созывов, в силу кратковременности своего существования, не могли оставить значительный след в этой области: их работы не успели даже дойти до рассмотрения бюджета. Но Государственные Думы III и IV созывов сделали все, что могли сделать в этом направлении.

---

[1]) „Архив русской революции". Т. VI. Берлин. 1922 г. Из настоящей статьи, принадлежащей перу председателя последней IV Государственной Думы, исключено скучное и никому ненужное вступление, объясняющее причины, побудившие его „оглянуться назад на все, содеянное нами", т.-е. написать свои воспоминания. Кроме того, из отдела „Общественные настроения до войны", заключающего в себе поверхностный обзор „оппозиционного настроения русского общества", начиная с царствования Екатерины II, исключена первая часть, как повествующая о слишком отдаленном времени и не заключающая в себе ничего нового. В остальной части статьи частью выброшены лишь для сбережения времени читателя нудные историко-философические рассуждения автора, чисто обывательского характера, и кое где—пересказ давно всем известных событий, но сохранен весь сколько-нибудь свежий фактический материал. *Ред.*

За все время существования Государственной Думы не было ни одного случая отказа в открытии кредита на военные надобности: давалось всегда все без отказа, часто давалось даже больше, чем требовали. Против военного кредита вотировали лишь завзятые оппозиционеры, да и то в самом незначительном количестве.

Народное представительство — Государственная Дума — основой своей работы положила убеждение в необходимости вести страну путем эволюции, но не революции, к развитию либеральных реформ.

Но правительство осталось глухо к этому правильному пониманию своих задач Государственной Думы и продолжало упорно стоять на принципе: „сначала успокоение, а потом реформы". Уместно будет сказать, что Государственный Совет стал на ту же точку зрения и усердно помогал правительству тормозить всякие начинания Государственной Думы, направленные к проведению в жизнь необходимых либеральных реформ. Покойный П. А. Столыпин не раз горько жаловался мне на то, что при создавшемся положении вещей управлять государством и законодательствовать невозможно. „Что толку в том,—говорил он,—что успешно проведешь хороший закон через Государственную Думу, зная вперед, что в Государственном Совете его ожидает неминуемая пробка". И действительно, можно привести целый ряд хорошо продуманных и успешно проведенных через Государственную Думу законов, насущно необходимых для страны, но которые никогда не увидели жизни из-за упорной оппозиции в Государственном Совете. Нельзя не удивляться этой непонятной позиции нашей верхней палаты, прекрасно знавшей, что революционные волны 1905 года вовсе не утихли, а только просочились вглубь народной толщи.

Государственная Дума хорошо понимала, что путь революционный приведет к таким потрясениям государственного организма, которые грозили бы целости государства, но вне Государственной Думы, несомненно, уже тогда шла революционная работа, весьма интенсивная, как это мы и увидим ниже.

Громадное большинство членов Государственной Думы было вполне солидарно с мыслью, высказанной во II Думе председателем совета министров П. А. Столыпиным в его обращении в одной из речей к левому крылу Думы: „Вам нужны великие потрясения, а нам нужна великая и сильная Россия". Однако с кончиной Столыпина в правительственных кругах стало одолевать крайне правое течение, стремившееся сократить и принизить значение народного представительства. По крайней мере, в докладе своем импера-

тору Николаю II, даже еще в 1915 году, во время войны, тогдашний министр внутренних дел Маклаков совершенно открыто указал на необходимость такой меры, и при этом докладе я лично видел собственноручное письмо к министру императора Николая II, в котором он писал, что эти соображения Маклакова им, императором, одобряются и разделяются. Даже вполне законопослушная и трезво относящаяся к делу государственного строительства III Государственная Дума была взята под подозрение, и правящие круги всячески старались в чем только возможно умалять ее значение и достоинство. Так, например, в дни празднования Отечественной войны 1812 г. в Москве Государственная Дума, как таковая, не была приглашена к участию в торжествах памяти народной войны, а был приглашен только председатель ее именным приглашением, тогда как Государственный Совет был приглашен, как учреждение, в полном своем составе.

При прощальной аудиенции перед роспуском III Государственной Думы император Николай II не был благосклонен к Государственной Думе в прощальном своем слове, обращенном к ней, и Дума разъехалась, огорченная и оскорбленная, не чувствуя за собой никакой вины и ожидавшая иного к себе отношения верховной власти.

Наступившая вслед за этим избирательная кампания ясно обнаружила решимость правительства добиться состава Государственной Думы исключительно из правых партий, для чего были пущены в ход всевозможные средства, применяемые с большою изобретательностью правительством В. Н. Коковцева, и на все прогрессивно мыслящее было воздвигнуто форменное гонение. В этих целях было сделано через обер-прокурора св. синода В. К. Саблера основательное давление на духовенство. Правительствующий сенат сыпал, как из рога изобилия, одно разъяснение за другим, в целях сокращения круга избирателей. Но, несмотря на это, большинства в Думе правительство все ж не добилось, что стало сразу ясным при избрании председателя Государственной Думы из партии октябристов значительным большинством голосов. Настроение всех партий от октябристов и левее их было чрезвычайно повышенное, можно даже сказать озлобленное к правительству, но и внутренний разлад в самой Думе получился такой, что более месяца Государственная Дума не в состоянии была избрать товарищей своего председателя, не имея возможности сговориться на кандидатах. Если к этому прибавить, что слухи о предстоящем перевороте, в смысле превращения Думы из законодательной в законосовещательную, слухи о возможности роспуска ее, ввиду невозможности достигнуть соглашения

между партиями даже в выборе президиума, стали распространяться все шире и шире, то прямая опасность авторитету народного представительства вставала для нас во весь рост, как реальная действительность.

Партия народной свободы, подвергшаяся наибольшим предвыборным гонениям, явно клонилась к союзу с крайними левыми элементами [1]), и опасность появления чисто революционных настроений в недрах самой Государственной Думы зрела не по дням, а по часам. Это обстоятельство, в свою очередь, грозило самому существованию Государственной Думы, что повело бы к неизбежным революционным волнениям в стране. При таких условиях партия октябристов, как центральная, увидела необходимость, путем переговоров и взаимных уступок, достигнуть при помощи соглашения прочного, достаточно многочисленного большинства, способного отстоять народное представительство от всяких на него покушений как со стороны правительства, так и со стороны своих собственных крыльев—правого и левого. Были начаты переговоры в соединенных заседаниях руководителей разных фракций Думы с целью привлечь влиятельную в стране кадетскую партию к соглашению и предотвратить ее союз с социалистическими группами. Имелось в виду также оторвать возможно большее число членов Думы от крайнего правого воинствующего крыла. Переговоры, однако, затянулись. Главным тормозом было упорное требование к.-д. партии о включении в программу соглашения еврейского вопроса целиком. При этом нужно по справедливости заметить, что г.г. кадеты были более правоверными, чем сами евреи, представители которых лично заявляли, что при создавшемся положении вещей, по их мнению, следует отсрочить жгучий еврейский вопрос и отнюдь не ставить его резко-программно. Не знаю, повлияли ли они на руководителей кадетской фракции Государственной Думы. Но все же центральные партии находили, что при создавшемся соотношении сил вопрос этот надлежало бы оставить открытым, а к.-д. партия упорно стояла на своем. Все же, в конце концов, соглашение на основе уступок состоялось, было подписано представителями партий и собрало значительное и устойчивое большинство Государственной Думы, получившее название прогрессивного блока думских партий. Возникновение этого блока было встречено крайне враждебно как правительством, так равно и крайним левым и крайним правым крылом Го-

[1]) Под „крайними левыми элементами“ Родзянко подразумевает правых меньшевиков, эс-эров, „народных социалистов“ и трудовиков. Склонностью к союзу с большевиками и даже меньшевиками и эс-эрами-интернационалистами кадетская партия никогда не страдала. *Ред.*

сударственной Думы. И надо признаться, что прогрессивный блок должен был быть одинаково нетерпимым для всех этих элементов. Разрушив уже возникавшее соглашение партии народной свободы с социалистическими революционными кругами [1]) и отмежевавшись от не менее опасных для молодого еще русского народного представительства крайних правых кругов, прогрессивный блок вводил работу законодательного учреждения в нормальный эволюционный темп, имея достаточную силу парализовать всякие революционные попытки как справа, так и слева. Не могло это соглашение радовать и правительство, так как оно вынуждало его считаться с прочно спаянным прогрессивным большинством Государственной Думы, чем разрушалась вся упорная предвыборная работа правительства, стремившегося к созданию послушного ему большинства в Государственной Думе.

Значение прогрессивного блока было чрезвычайно. Соглашение это, создав прочное прогрессивное большинство, возвращало Государственной Думе ее поколебленный было авторитет, делало возможным планомерную работу законодательного учреждения и исключало возможность случайных голосований в существенных вопросах законодательства.

Программа блока была впервые открыто заявлена с думской кафедры в ответ на декларацию председателя совета министров И. Л. Горемыкина, сменившего на этом посту В. Н. Коковцева.

Особенно выпуклое значение наличия прогрессивного блока думских фракций сказалось при объявлении войны.

Блок отказался от лица входящих в его состав партий на время войны от проведения каких бы то ни было своих программ и всю свою работу решил направить в помощь правительству в исключительно трудные времена войны. Впоследствии прогрессивный блок всеми возможными мерами боролся против пораженческого движения, несомненно, насажденного в России германским шпионажем и агентурой [2]).

Из изложенных мною обстоятельств его возникновения ясно видно, что прогрессивный блок в Государственной Думе явился последствием необходимости самообороны и борьбы с нарождающимся революционным движением в стране. Только полною неосведомленностью общества об

---

[1]) Речь идет о соглашении кадетов с право-социалистическими партиями на почве совместной борьбы против назревавшей революции во имя „обороны отечества“. Нужно быть отпетым черносотенцем, чтобы считать такого рода „социалистические круги“ революционными. *Ред.*

[2]) Это грязно-клеветническое измышление было главнейшим орудием борьбы черносотенных „прогрессистов“ типа Родзянки (да и одних ли их!) со всеми противниками империалистской войны. *Ред.*

этих причинах и можно объяснить себе все кривотолки и несправедливые нападки, которые сыпались на него со всех сторон.

В весеннюю сессию 1914 г. в Государственной Думе прошел законопроект о большой военной программе, которая, выполненная в два года, то-есть к 1917 году, делала нашу армию и численно и по снаряжению значительно сильнее германской.

С момента утверждения этого закона верховной властью для нас, членов Государственной Думы, стала ясной неизбежность в самом ближайшем будущем вооруженного столкновения с Германией, которая не могла ждать нашего военного усиления [1]).

С этого же момента революционная агитация, несомненно германского происхождения [2]), среди рабочих разных заводов усилилась до чрезвычайных размеров. Хотя она явно существовала и раньше, но особенно усилилась с начала 1914 года.

Благодаря попустительству правительства, препятствий эта пропаганда не встречала, и, кроме указанных мотивов, упорно сеялась преступная идея пораженчества, успеху которой способствовала неуверенность русского общества в том, что правительство способно довести войну до победного конца.

Петроград в 1914 году, перед самой войной, был объят революционными эксцессами. Эти революционные эксцессы, возникшие среди рабочего населения Петрограда, часто влекли вмешательство вооруженной силы; происходили демонстрации, митинги, опрокидывались трамвайные вагоны, валились телеграфные и телефонные столбы, устраивались баррикады.

Все это происходило во время посещения России представителем дружественной нам державы—президентом Французской республики Пуанкарэ.

Волнения в столице были настолько сильны, что президент вынужден был ездить по городу в сопровождении значительного военного конвоя. То же самое, хотя, разумеется, в меньшем масштабе, происходило и на местах. Велась энергичная агитация среди крестьян на почве земельных отношений, и нельзя не отметить силы и влияния этой агитации. Землевладельцы должны хорошо помнить те условия, в которые были поставлены они, ввиду частых волне-

---

[1]) Правительство и Дума, как видим, сознательно провоцировали войну. *Ред.*

[2]) Опять клеветнический выпад. „Прогрессивные“ „патриоты“ органически не могут без грязных инсинуаций и зубовного скрежета говорить о революции. *Ред.*

ний сельских рабочих и их постоянных забастовок в горячую пору. Справедливое стремление к увеличению площади своей пахатной земли получило совершенно неправильное направление под влиянием той же агитации, и назвать состояние умов русской деревни в то время спокойным было бы большой ошибкой.

Однако за несколько дней до объявления войны, когда международное политическое положение стало угрожающим, когда маленькой братской нам Сербии могущественной соседкой Австрией был предъявлен известный всем и неприемлемый для нее ультиматум, как волшебством сметено было революционное волнение в столице.

Объявление войны и общественные настроения.

Аграрные и всякие волнения в деревне сразу стихли в эти тревожные дни, и как велик был подъем национального чувства,—красноречиво свидетельствуют цифры: к мобилизации явилось 96% всех призываемых,—явились без отказа и воевали впоследствии на славу.

Настроение было далеко не революционное, а чисто патриотическое и воодушевленное. А между тем, в течение трех лет войны это настроение так изменилось, что обеспечило громадный успех вспыхнувшей революции.

Каким же образом произошла эта перемена и что было причиной коренного изменения настроения масс, где надо искать корень зла?

Война и правительство.

В самом начале войны правительство стало на совершенно ложную точку зрения. В целях укрепления монархического начала и престижа царской власти правительство полагало, что войну должно и может выиграть одно оно, царское правительство, без немедленной организации народных сил в целях объединения всех в великом деле войны. Правительство считало, что можно выиграть эту кампанию путем приказа и повеления и тем самым доказать, что царское правительство стоит на надлежащей высоте понимания народной воли. Таково было, по крайней мере, мое впечатление из бесед с лицами, занимавшими крупные правительственные места, стоявшими тогда во главе управления страной. Я смело утверждаю, что в течение трехлетней войны это убеждение правительства не изменилось ни на иоту.

Ошибочная точка зрения неправильно понятых своих государственных задач, постоянное опасение, как бы путем организации народа не создать почву для революционных очагов, и было роковой и коренной ошибкой всей внутренней политики нашего правительства: не было в правительстве необходимого доверия к народу. В этой позиции, занятой правительством, кроются все причины, с моей точки зрения, дальнейших ошибок, допущенных в ведении войны и приведших нас к катастрофе. Правительство на первых же порах не отдало себе ясного отчета в том объеме, который может принять мировая война.

Правительство не хотело понять, что во всех главных отраслях и вопросах народного хозяйства, без коренной перемены направления внутренней политики в смысле доверия к здравому смыслу русских граждан, оно не в состоянии будет одолеть тех небывалых еще запросов и той грандиозной работы, которая требует от него создания колоссальнейшей армии, необходимой, однако, для спасения государства.

Влияние Распутина.

К этому надо прибавить, что влияние Распутина, этого оракула императорской четы, стало все более и более возрастать за это время, и с ним, или, вернее, с его кружком, считались все министры. Распутин и его кружок впоследствии приобрели такое значение, что только по его совету и указанию назначались министры и должностные лица. Влияние его можно объяснить чрезмерно мистическим настроением императрицы, имевшей неограниченное влияние на своего супруга. Неизвестность исхода войны, опасность для династии в случае поражения заставляли царицу прибегать к воображаемому дару пророчества Распутина, чтобы попытаться поднять завесу над загадочным будущим [1]). Лично Распутин в вопросах войны держался чрезвычайно двусмысленно. Его речи по поводу войны, которые передавались из уст в уста, носили неопределенный, неясный характер, но скорее с оттенком пораженчества и, несомненно, ясно выраженной симпатией к Германии.

Война и Государственная Дума.

Но для нас, членов Государственной Думы, вопрос был ясен. Нам, близко и подробно ознакомленным со всем ходом дипломатических переговоров, предшествовавших войне,

---

[1]) Справедливость этого мнения находит себе подтверждение в изданных письмах императрицы Александры Феодоровны.

со всеми обстоятельствами, приведшими к ней, было совершенно ясно, что дело идет о продолжительной и упорной борьбе, что вопрос идет о принципиальной борьбе германцев со славянами, что скоро и быстро война эта кончиться не может, так как Германия, несомненно, еще издавна лелеяла безумную надежду стать владычицей мира в полном объеме и смысле этого слова.

Неправильная позиция, занятая правительством, внушала уже тогда опасение, что оно не справится с поставленной ему гигантской задачей, а, руководствуясь лишь слепой целью поддержания престижа своей власти во что бы то ни стало и видя везде несуществующую еще и в зародыше революцию, оно, несомненно, наделает массу ошибок.

К борьбе с возникшей немедленно после объявления войны немецкой пропагандой правительством не было ничего ни организовано ни подготовлено. Старая привычка только повелевать и думать, что в том напряженном состоянии, в котором находилась страна, можно ограничиться приказом и требованием бессознательного исполнения, сыграла свою гибельную роль. Этой неправильной постановкой внутренней политики правительство посеяло само первые семена возникшей потом революции. Несмотря на неоднократные указания Государственной Думы, правительство оставалось к ним глухим и продолжало проводить в жизнь указанную точку зрения. А между тем факты указывали совершенно иной путь для внутренней политики. Государственная Дума была созвана 26 июля 1914 года по настоянию ее председателя и только после личного доклада о сем императору Николаю II. В этом историческом заседании не было партий [1]). Это тем более знаменательно, что на партийной почве раньше этого бывали споры, доходящие до эксцессов, до скандалов, и председателю Государственной Думы нужно было пускать в ход всю полноту своей власти, чтобы добиться хоть внешнего спокойствия и внешнего порядка.

В заседании 26 июля все партийные перегородки пали, все без исключения. Члены Думы признали необходимость войны до победного конца во имя чести и достоинства дорогого отечества, дружно объединились между собой в этом сознании и решили всемерно поддерживать правительство.

Без различия национальностей все поняли, что война эта—народная, что она должна быть таковой до конца и что поражение невыносимого германского милитаризма

[1]) Явная неправда. Не только большевики, но и часть меньшевиков во главе с Чхеидзе определенно отмежевались от ура-победного шовинизма думского большинства и от „всемерной поддержки“ царского правительства. Впрочем, немного дальше Родзянко сам признает это. *Ред.*

является безусловно необходимым. Только один депутат (Чхеидзе) позволил себе выступить апологетом пораженчества, хотя и в туманных и неясных намеках. Он встретил, однако, суровый отпор своей непатриотической речи в Государственной Думе.

Правительство и Государственная Дума.

Правительство осталось, однако, глухо к этому внушительному уроку. Свою точку зрения—подозрение в революционности страны,—ни на чем не основанную, оно проводило даже в мелочах.

Я не буду утруждать внимание читателей перечислением многочисленных фактов, доказывающих такое мое утверждение, но один из них настолько характерен, что я не могу не поделиться с вами.

В начале войны, приблизительно в ноябре 1914 года, я был вызван в ставку верховным главнокомандующим Николаем Николаевичем, который заявил мне буквально следующее: „Я в безвыходном положении,—армия без сапог, помогите". Я ответил великому князю, что это дело, несомненно, можно быстро наладить, но для этого нужно обратиться к общественным организациям, которые близко знают производительные силы своего района. Великий князь назвал цифру требуемого количества сапог, сравнительно небольшую: четыре миллиона пар. Эта цифра казалась мне совершенно ничтожной. Но, желая оставаться вполне корректным, я испросил у великого князя письменное удостоверение, что указанное количество сапог необходимо, и с этим документом в руках явился в Петроград с заранее обдуманным планом действий. Для того, чтобы собрать съезд представителей общественных организаций, надо было обратиться за разрешением его к тогдашнему министру внутренних дел Маклакову. И вот какой разговор произошел между мною и министром внутренних дел. Когда я ему изложил обстоятельства дела и предъявил письменное заявление великого князя, министр ответил нижеследующее: „Я **не могу** дать вам разрешения на созыв такого съезда; это будет нежелательной и всенародной демонстрацией в том направлении, что в снабжении армии существуют непорядки. Кроме того, я **не хочу** дать этого разрешения так как, под видом поставки сапог, вы начнете делать революцию". И сколько я ни убеждал министра, что русская Государственная Дума, действующая с согласия, ведома и пожелания великого князя верховного главнокомандующего, не может быть заподозрена, в особенности во время народ-

ной войны, в желании сделать революцию, Маклаков упорно стоял на своем, и мы расстались в озлоблении друг на друга.

Тяжел был трагизм создавшегося положения. Горишь желанием помочь, и бескорыстная помощь ваша отвергается без существенных оснований. В этом духе правительство продолжало свою политику, и мало-по-малу одушевление, охватившее все слои русского народа, стало сменяться сначала равнодушием к делу войны, а затем подозрительностью к власти. Возник жгучий вопрос: может ли война быть выиграна усилием одного правительства, способно ли оно на это?

Правительство и мобилизация страны на нужды военного времени.

Последствия такого отношения правительства к усилиям общества помочь общей беде, помочь общими усилиями и потушить разгорающийся пожар — скоро обнаружили себя.

Военно-артиллерийское ведомство, не желая, повидимому, доверять русской промышленности и не давая поэтому промышленности объединиться в прочные организации, очевидно, из страха какого-то революционного движения, заказы свои делало заграницей. Но результаты от этого были для нас очевидны. Доблестные союзники сами не были подготовлены к войне. У них все, что только было возможно, было мобилизовано для своих собственных военных нужд, и на русские заказы оставалось слишком мало производительных сил для срочного исполнения заказов, а дело велось в таких пределах, чтобы только грубо не нарушить принятых на себя условий и обязательства. На нашу долю оставались только отбросы, которые опять-таки, за отсутствием надлежащего тоннажа, так как перевозка и доставка в Россию возможна была только через замерзающие северные порты, — опаздывали и прибывали чрезвычайно неаккуратно и, что всего хуже, создали вокруг заказов в России целую армию авантюристов, разобраться в доброкачественности которой артиллерийскому ведомству не представлялось никакой возможности. Зачастую заказы отдавались в нежелательные и даже недобросовестные руки. Но так как правительство было убеждено, что заказы придут своевременно, то в ожидании их поступления оно разрешало тратить снаряды, находившиеся в наличности в армии в ограниченном количестве. Заказы из-за границы, однако, не приходили в срок, и положение получилось такое, что к весне 1915 года снарядов оказалось минимальное количество, и армия буквально голодала в этом отношении.

Армия тогда сражалась почти голыми руками. При поездке моей в Галицию на фронт весной 1915 года я был свидетелем, как иногда отбивались неприятельские атаки камнями, и даже было предположение вооружить войска топорами на длинных древках.

Внутренняя политика правительства.

Не лучше обстояло дело и в политике правительства по отношению к народностям, входящим в состав Российского государства. Наиболее ярким примером такого отношения является историческое знаменитое воззванне к полякам, выпущенное верховным главнокомандующим великим князем Николаем Николаевичем в самом начале войны. Воззвание это обещанием самостоятельности Польше в целях примирения Польши с Россией в их вековом споре имело целью привлечь окончательно симпатии как русских, так и зарубежных поляков к России и объединить все славянские национальности против их общего врага. Воззвание это было, несомненно, санкционировано верховной властью и составлено при участии министра иностранных дел Сазонова.

Однако, после обнародования упомянутого документа, рядом министров крайних правых течений была подана Николаю II докладная записка об опасности сделанного воззвания к полякам, ввиду возможности расчленения государства и откола от него Царства Польского. Повидимому, Николай II внял этому представлению, ибо министром вн. дел была дана соответствующая инструкция варшавскому губернатору в смысле желательности некоторого охлаждения возбужденного национального чувства поляков. Поляки всполошились. Последовал целый ряд депутаций от национальных общественных учреждений Польши в Петроград. Они приходили ко мне и умоляли меня объяснить Николаю II, насколько гибельны могут быть последствия от такой двойственной политики. Я должен был испросить всеподданнейший доклад для этого дела, но со стороны императора Николая II встретил отрицательное и даже враждебное отношение. „Мы, кажется, поторопились" — сказал он.

Примером полной бесхозяйственности правительства может служить совершенно напрасная гибель скота, реквизируемого для продовольствия армии.

Реквизиция шла без всякого плана и соответствия с потребностями армии в мясе. Забранный у населения скот соединялся в громадные гурты, которые передвигались за армией без плана и руководства и часто попадали поэтому не в

назначенную для продовольствия местность, не находили там ни пастбищ ни корма, ни достаточного водопоя. Если при этом принять во внимание расстройство транспорта, то само собою разумеется, что ни о каком правильном снабжении гуртов скота для армии не могло быть и речи. Гибель скота от голода, болезни и недостаточного ветеринарно-гигиенического надзора исчислялась тысячами голов и нанесла населению неисчислимые убытки. Само собою разумеется, что это не могло ускользнуть от народного внимания и что малая заботливость правительства о сохранении народного богатства и не довольно бережливое отношение к интересам жителей, ненужная и преступная растрата государственного хозяйства не могли усилить, а, напротив, ослабляли с каждым днем доверие к государственной власти и даже раздражали против нее. То же самое наблюдалось и в отношении конского состава.

Вести дальше страну по этому пути было просто опасно— это означало бы привести ее к опасной катастрофе. Общество живо это чувствовало, и его, конечно, охватывали беспокойство и тревога. Из этого состояния умов постепенно назревало убеждение, что правительство неспособно выиграть войну, и стало вместе с тем очевидно для всех, что последствием поражения будет порабощение России Германией и все сопряженные с ним тяжелые экономические последствия. Все чувствовали, что мы идем к политической гибели, и естественно, что напряженное чувство сопротивления такой опасной политике подсказывало чувство оппозиционное, чувство возмущения и сопротивления тем правительственным действиям, которые не объединяли все производительные силы страны, а разъединяли их и приводили в состояние неспособности к плодотворной работе, ослабляя энергию и народный творческий дух. Возрастало неудовольствие и на почве все большего и большего увеличения дороговизны предметов первой необходимости. Население негодовало ввиду усиленных наборов солдат, призываемых без видимой необходимости, что, в свою очередь, вызывало сокращение рабочих рук на местах. Но власть продолжала оставаться глухой к растущему неудовольствию населения и ко всем представлениям, которые постоянно делала Государственная Дума в этом направлении.

Тактика председателя Государственной Думы.

Таким образом, война продолжалась среди указанного мною хаоса, который достиг своего апогея в апреле 1915 года, когда был сделан прорыв на фронте нашей армии на Сане, когда армия Радко Дмитриева, сражаясь

против сильнейшего в десять раз кулака Макензена, превосходящего наши силы не только численностью, но в значительной степени и снабжением, имела лишь всего по три снаряда на орудие и по двадцати пяти патронов на винтовку. Незадолго до этой катастрофы на фронте я был в Галиции и, в частности, во Львове, и был там как раз в то время, когда во Львов прибыл император Николай II. Мне пришлось быть свидетелем всех местных торжеств по случаю приезда нашего государя, во время которых я был удостоен приглашения к высочайшему столу.

После обеда государь сказал мне: „Думали ли вы, Михаил Владимирович, что мы встретимся здесь?“ — „Нет, ваше величество, я не думал и, при настоящих создавшихся условиях, очень сожалею, что вы, государь, решились предпринять эту поездку“. — „Почему?“ — „Потому что через три недели Львов, вероятно, будет обратно занят немцами и наша армия будет оттеснена от занятых позиций“. — „Вы, Михаил Владимирович, всегда меня пугаете и говорите мне только неприятные вещи“. — „Я, ваше величество, не осмелился бы доложить вам неправды. Я был на фронте и удивляюсь верховному главнокомандующему, как он допустил вас приехать сюда при теперешнем положении вещей. Земля, на которую вступил русский монарх, не может быть дешево отдана обратно; но на ней будут пролиты потоки крови, а удержаться на ней мы не сможем“.

К сожалению, я оказался пророком, и события пошли с головокружительной быстротой. Положение наше с каждым днем ухудшалось: был отдан Львов, было общее отступление в Польше, и постепенно наши доблестные войска все больше и больше оттеснялись на восток. В это время я из Галиции поехал в ставку верховного главнокомандующего и здесь, к великой радости, увидел, что, наконец, верховная власть склонна итти на уступки и готова призвать к сотрудничеству в делах войны все общественные элементы. Была, наконец, получена возможность привлечь новые свежие силы страны к делу обороны и спасти Россию от окончательного разгрома.

В ставке я указал его величеству, что все, что в целях обороны государства должно быть сделано, нуждается в немедленном его утверждении. И, наконец, получил предварительное согласие на привлечение общественных элементов в дело обороны государства.

Император Николай II внял на этот раз голосу народных представителей. Были уволены пять министров, наиболее враждебно настроенных к народному представительству, с военным министром Сухомлиновым во главе, и призваны были к власти наиболее популярные государствен-

ные деятели, и после сформирования кабинета была созвана Государственная Дума в августе 1915 г.

Но одновременно с этими разумными и полезными начинаниями император Николай II предпринял шаг, который, по моему мнению, положил начало деморализации армии и был первым толчком к сознательному революционному настроению в стране. Этим шагом было решение императора Николая II отстранить великого князя Николая Николаевича от верховного командования и принять на свою ответственность это командование.

Русский царь добровольно и без всякой надобности брал на себя ответ в случае дальнейших военных неудач, и кто же был бы в этом случае его судья? Революция дала грозный и кровавый ответ на этот вопрос.

Председатель Государственной Думы испросил немедленно всеподданнейший доклад и всеми силами старался отговорить императора от этого намерения, но он оставался неумолим. После доклада председатель Государственной Думы отправил письменный мотивированный доклад по этому делу его величеству, но и это не помогло, и царь своего решения не изменил.

Особое совещание по обороне государства.

В виду катастрофы на фронте, основной и главной задачей должна была быть забота об обеспечении армии боевым снаряжением и предметами снабжения. В этих целях было основано Особое Совещание по обороне, в которое вошли: члены законодательных палат, представители промышленности, представители финансового мира и соответствующие представители от ведомств разного типа. Результаты работ Особого Совещания сказались довольно скоро. Уже в середине 1915 года Совещание вполне сорганизовалось: были привлечены к делу обороны все живые реальные силы страны, создался Военно-Промышленный Комитет (центральный) с отделами на местах, объединивший все заводы и всю русскую промышленность. Таким образом, все, что могло работать в деле обороны, укрепления, снабжения и снаряжения армии, было поставлено на ноги, фронт в скором времени был засыпан ящиками со снарядами и патронами.

Итак, вот что значит правильный шаг правительства в деле сплочения живых реальных сил страны во имя общей цели, вот что значит отрешиться от неправильной мысли, что войну может выиграть правительство одно, без участия реальных творческих народных сил.

Результаты превзошли самые смелые ожидания. Интенсивная работа русской промышленности и ее развитие возбуждали нескрываемое удивление иностранцев и дали возможность Особому Совещанию, в свою очередь, крайне критически отнестись к существующим контрактам и заказам снарядов за границей, а это, конечно, в значительной мере явило возможность сокращения нашей задолженности союзникам.

Совещание по обороне и правительство.

Государственная Дума, собранная в августе месяце для того, как император Николай II указывал в своем рескрипте председателю совета министров, чтобы в трудную годину жизни государства услышать мнение земли, была внезапно и без видимых причин распущена. Само собой разумеется, что роспуск Государственной Думы по непонятным причинам, ничем не вызванный с ее стороны, создал сугубое раздражение и озлобление против правительства. Возвращаясь к Особому Совещанию по обороне, нельзя не отметить, что деятельность его была не по нутру правящим кругам. Вторжение живого общественного элемента в замкнутые формы бюрократического строя раздражало правящие круги. Тысячи препон, мелочей и трений тормозили работу, их приходилось преодолевать с большими затруднениями, и на это уходила чуть ли не треть всей энергии работающих в Особом Совещании.

Правительство как бы задалось целью создать во что бы то ни стало оппозицию даже в среде Особого Совещания по обороне. Получилось убеждение, что идея необходимости революции ни кем иным так обязательно не была внушаема всем и каждому, как самим правительством.

Диктатура в тылу.

В половине 1916 года в ставке возникло предположение, что все возрастающее неустройство тыла требует экстраординарных мер, и видным лицом штаба верховного главнокомандующего был составлен проект об учреждении единоличной диктатуры для тыла армии в виде облеченного чрезвычайными полномочиями лица, которому должны были подчиняться все учреждения как правительственные, так и общественные, по типу главноуполномоченного по санитарной части (принц Ольденбургский). Когда известие о таком проекте дошло до председателя Государственной Думы и до ее членов,—у нас, естественно, возникла тревога, что учреждение такой диктатуры еще более затормо-

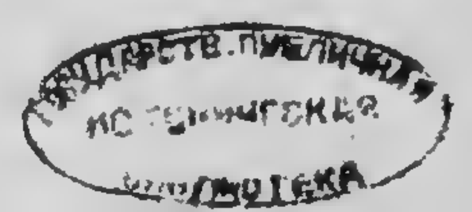
зит и запутает дело, создавая параллельно две диктатуры— верховного главнокомандующего на фронте и диктатуру в тылу. Были поэтому исчерпаны все средства для того, чтобы убедить императора от такого шага отказаться. К сожалению, попытка в этом направлении увенчалась успехом только наполовину: проект был на первых порах отвергнут императором Николаем II, но бывший председателем совета министров Штюрмер использовал его при содействии и влиянии темных безответственных сил, окружавших императора, а именно—Распутина и его присных. Негласно, секретным указом, верховная власть диктаторские права указанного мною выше типа возложила на него, Штюрмера, как председателя совета министров. Штюрмер, облеченный столь обширными полномочиями, оказался сразу же в коллизии с Особым Совещанием по обороне, остановил несколько его постановлений, уже утвержденных военным министром. Это вызвало, в свою очередь, в членах особого совещания, незнакомых еще с секретным указом верховной власти, тревогу и недоумение, которое в конце концов вылилось в бурное объяснение с военным министром, и опять-таки вместо планомерной и плодотворной работы создался прецедент для бесконечных подозрений, недоумений и трений.

Одновременно с этим появился и другой секретный указ, которым из состава совета министров выделился так называемый малый совет министров под председательством министра путей сообщения Трепова, в котором Штюрмер не участвовал. Малый совет министров находился в коллизии с большим советом и, конечно, ничего путного из этого не выходило. Когда я узнал об этом секретном указе и сообщил это товарищам, то после обсуждения дела мне было поручено переговорить об этом со Штюрмером.

Результат разговора оказался благоприятным, и через некоторое время малый совет министров был упразднен.

Особое Совещание по обороне было, как я уже отметил, встречено неособенно сочувственно не только правительством, но и ставкой верховного главнокомандующего.

Другой инцидент, в котором Особому Совещанию пришлось выдержать борьбу со ставкой, произошел при следующих обстоятельствах. Из ставки было прислано сообщение, на заключение Особого Совещания, что английское главное командование вступило в ставку со следующим предложением: в виду того, что от действий германских подводных лодок утрата тоннажа торгового флота союзников весьма значительна, английское правительство предлагает весь русский торговый флот, находящийся в свободных морях, передать ему в его распоряжение и ведение, причем англий-



ское морское министерство заявляло, что известный процент русских судов будет всегда обслуживать русские заказы, а остальное будет посвящено общим интересам. Ставка в своем извещении давала понять, что она готова согласиться с этим предложением, усматривая в нем гарантию большего порядка и планомерности в деле морских перевозок, в виду того, что распоряжение каботажным флотом будет сосредоточено в одних руках. Двуличие этого предложения бросалось, однако, в глаза. Ясно было всем членам Особого Совещания, что для русских нужд оставлены будут поддонки каботажного флота и что под видом общей пользы Англия просто-на-просто стремится наложить свою тяжелую руку на русское государственное достояние. Являлся вопрос, вернется ли оно нам, принимая в соображение нашу задолженность союзникам. Являлся и другой вопрос,—в каком виде этот зарождающийся наш торговый флот был бы нам сдан, ибо понятно, что чужие корабли были бы поставлены английским морским министерством на самые опасные места. Это коварное предложение возмутило Особое Совещание и встретило в нем такой резкий отпор и критику, что представители английского посольства являлись к председателю Государственной Думы с объяснениями и заявлениями о своей лойяльности.

Особое Совещание так шумело по этому поводу, что, в конце концов, английское командование взяло свое предложение обратно.

Россия и союзники.

Небезынтересно будет упомянуть об отношениях союзников к России вообще и, в частности, к правительству и Государственной Думе.

В начале 1916 года состоялся съезд делегатов иностранных держав в Петрограде, и отзывы этих представителей о настроении и общих событиях России представляют глубокий исторический интерес. По словам отдельных делегатов, неопределенность положения страны и общее недовольство правительством считались неблагополучным признаком для общего дела борьбы с Германией. Конечно, неправильные соотношения правительства и общества в России могли вызвать охлаждение иностранцев и сомнение в благополучном исходе войны. Да и у самих русских уже появилось некоторое чувство безнадежности, и все же, несмотря на все указания, несмотря на все вопли о необходимости дружной работы правительства с общественными элементами,—идея эта, хотя бы во имя упрочения доверия союзников к России, не получила осуществления, и, конечно,

продолжение такого настроения правящих кругов являлось крайне опасным для успешного окончания войны. Пораженческое движение в это время подняло голову, и выступления в этом направлении разного вида агитаторов стали учащаться. Отзывы отдельных лиц иностранных делегаций о положении дел в России и отношении к ней союзных держав чрезвычайно характерны. При посещении Государственной Думы делегаты говорили: „Французы горячо и искренно относятся к Государственной Думе и представительству русского народа, но не к правительству. Вы заслуживаете лучшего правительства, чем какое у вас существует". На совещании конференции с союзниками делегаты-иностранцы выражали свои мысли по поводу того, насколько они поражены единением всего русского народа и общества. „Это трогательное единение всей России,—сказал в одной из своих речей французский депутат, — имеет своею единственной целью достижение победы, и перед ним можно только преклониться". Но не такого мнения были иностранцы о наших министрах.

Когда я задал одному из них вопрос, какое впечатление на него произвел председатель совета министров, то он ответил буквально: „Это—народное бедствие". На такой же мой вопрос о другом министре—военном—последовал ответ: „Это — катастрофа". Другой представитель французского правительства, которому я задал при его отъезде вопрос: „Как вы оцениваете состояние умов в России (это было в январе 1916 года), скажите откровенно мне ваше впечатление о всем виденном вами в России",—ответил, сделавшись сразу серьезным и вдумчивым: „Г-н председатель, нужно быть очень богатым экономически, а морально быть очень уверенным в себе и верить в эту экономическую и моральную мощь свою, чтобы пребывать в такой исключительный момент в состоянии сладкой и безмятежной анархии, в которой находится российское правительство и русское общество; сознательно или нет—я этого решить не берусь". Считаю здесь необходимым, говоря о союзниках, решительно опровергнуть взводимое на почтенного английского посла сэра Бьюкенена обвинение, что он был душою переворота и революции и своей деятельностью воодушевлял и помогал революционным элементам России. Это—совершенная неправда и клевета на глубоко всеми уважаемого политического деятеля; так же точно неправда и клевета—уверение, что с английскими агентами члены Государственной Думы имели сношения и подготовляли революцию [1]).

[1]) Как известно, они подготовляли дворцовый переворот, чтобы предупредить революцию. Но революция сама предупредила их. См., например, у Милюкова. *Ред.*

Государственная Дума IV созыва состояла преимущественно из умеренных элементов, и все предыдущее изложение настоящего труда свидетельствует, что большинство ее, объединившееся в прогрессивный блок, боролось именно с революционными течениями. Умеренные элементы в Государственной Думе более всего боялись, что накопленное в стране неудовольствие может легко вылиться в крайне нежелательные формы.

И надобно признать, что постепенное изменение настроения из патриотического в революционное и глухое недовольство коренились именно в недоверии всех мыслящих русских кругов к своему государственному аппарату, который, очевидно, стоял не на высоте своего задания и не мог справиться с теми тяжелыми обстоятельствами, которые разрешить выпало на его долю.

Дезорганизация власти.

Обязанностью народных представителей являлось, таким образом, в это время стремление к изменению отношения правительства к народу и общественным силам с целью побудить его пойти на путь объединения с отечественными производительными силами и сделать все возможное в этой области. Но шло ли правительство навстречу ему? Я смело утверждаю, что нет. Чем дальше развивалась война, тем суровее и беспощаднее, если можно так выразиться, становилось отношение правительства к обществу. Правительству везде снилась и грезилась возникающая революция и, вместо того, чтобы усмирить и успокоить взволнованные небывалыми жертвами и тяжкими сомнениями умы населения, правительство делало, вероятно, бессознательно, все возможное к тому, чтобы еще больше возбудить к себе всеобщее неудовольствие и заслуженное к себе недоверие.

Невероятно быстрая и ничем не вызванная перемена и перетасовка министров получила характер системы и членом Государственной Думы Пуришкевичем с кафедры громко была метко охарактеризована „министерской чехардой". Ясно, что быстрая перемена глав ведомств наносила непоправимый ущерб планомерному течению дел, внося в работу ведомств сумбур.

Как назначались, например, министры, столь быстро сменявшие друг друга? На этот вопрос я отвечу их собственными словами. Когда на пост премьера был назначен Иван Логгинович Горемыкин, я спросил его: „Как вы, Иван Логгинович, при ваших преклонных годах, решились принять такое ответственное назначение?" Горемыкин, этот без-

упречно честный государственный деятель и человек, ответил мне, однако, буквально следующее: „Ах, мой друг, я не знаю почему, но меня вот уж третий раз вынимают из нафталина". Когда князь Голицын получил назначение председателем совета министров, я его спросил: „Как вы, почтенный князь, идете на такой пост в столь тяжелое время, не будучи совершенно подготовлены к такого рода деятельности". Князь Голицын буквально ответил следующее: „Я совершенно согласен с вами. Если бы вы слышали, что я наговорил сам о себе императору; я утверждаю, что если бы обо мне сказал все это кто-либо другой, то я вынужден был бы вызвать его на дуэль". Возможен ли был при этих условиях порядок?

На почве жгучего страха за будущее родины, на почве все возрастающего хаоса в транспорте, на почве все возрастающей дороговизны предметов первой необходимости, на почве ненужных наборов воинов, отрывающих рабочие руки от необходимой работы внутри страны, причем все эти неурядицы падали главным образом всей тяжестью на низшие слои народа, на неимущее население,—назревало такое недовольство, которое верными шагами вело народ к революционным эксцессам. Могло ли при видимом неустройстве народного хозяйства, при видимой, очевидной неспособности правительства создать более или менее нормальные условия для того, чтобы, хотя бы сносно, но возможно было бы переносить тяготы войны и сопряженные с ней жертвы, могло ли отношение населения быть благожелательным к правительству и даже к верховной власти, и могла ли Государственная Дума, несмотря на свои сверхчеловеческие усилия, удержать назревающий взрыв? Я смело утверждаю и беру на себя ответственность за эти слова, что Государственная Дума IV созыва сделала все от нее зависящее для того, чтобы удалить все эти возникшие недоразумения. Но голос ее никогда ни верховной властью ни правительством в достаточной мере не был услышан. Судите поэтому сами, насколько обвинение, падающее на Государственную Думу, в том, что она возглавила, подготовила, воодушевила и осуществила революцию,—справедливо.

Деморализация армии.

Когда совершился переворот, и так называемое углубление революции привело к тому, что страсти разнуздались и все дурные инстинкты выплыли наружу, получилось трагическое по своим тяжким последствиям для государства разложение армии, которая отказалась воевать и, под влия-

нием преступной агитации, ушла с фронта, обнажив его для противника, который не имел уже никаких препон для вторжения в страну. Впоследствии всю вину за эти прискорбные события взвалили на плечи Государственной Думы IV созыва; обвинения эти отчасти получили популярность и были приняты на веру, без критического и внимательного отношения к правдивости подобных слухов. Признаюсь откровенно, я всегда с болью в сердце выслушивал эти обвинения, потому что направление, в котором работала Государственная Дума в течение десяти лет, как это видно из изложенных выше моих сообщений, и существо этой работы по отношению к родной отечественной армии вполне противоречат такому обвинению.

Да, это тяжелое и незаслуженное обвинение. Поэтому надлежит обратиться к фактам, которые в достаточной мере могут осветить создавшееся положение.

С самого начала войны порядок укомплектования войск на фронте был установлен следующий: внутри империи были созданы так называемые запасные батальоны, время от времени, по мере надобности посылавшие различного вида пополнения на фронт в составе маршевых рот. Эти запасные батальоны, достигавшие иногда небывалой цифры от 12 до 19 тысяч человек в каждом, были очень недостаточно оборудованы надежными инструкторами: кадровое офицерство почему-то задерживалось на фронте, и лучшие опытные бойцы оставались в действующей армии в пылу огня.

Между тем, частыми, усиленными наборами призывался под знамена в запасные батальоны необученный и совершенно сырой материал, который еще требовал тщательной и внимательной обработки, а сверх того требовалась разумная пропаганда в целях внушения призванным смысла и значения войны, а также объема долга и обязанностей, сопряженных с этим для призываемых на службу.

Ничего этого не было. Запасные батальоны или поручались совершенно неопытным офицерам или лицам, далеко незнакомым с порядком обучения войск, или даже таким, которые стремились избежать службы на фронте, и таким образом не представляли собой надлежащий пример боевых опыта и доблести и знания современных условий войны.

Таким образом, вышеупомянутые запасные батальоны, о роли которых в перевороте я буду говорить впоследствии, были, если можно так выразиться, предоставлены самим себе без надлежащего надзора, без надлежащей инспекции, были плохо обставлены в материальном отношении, нуждались в обмундировке, продовольствии и даже оружии. Там, в самых недрах этих запасных батальонов, будущих бой-

цов на фронте, возникло глухое брожение и недовольство на почве разных недочетов, и там же к тому же работала во всю германская и революционная пропаганда.

Наборы и пополнения этих запасных батальонов производились без достаточно продуманной системы, без должного внимания к сохранению рабочих сил на местах, которые были необходимы для успешной работы в тылу. И если принять во внимание хронический недостаток винтовок, то нужно признать, что запасные батальоны представляли собой зачастую просто орды людей недисциплинированных и мало-по-малу развращаемых искусными агитаторами германского производства [1].

Самая система призыва населения, оставшегося дома, к исполнению воинской повинности, как я уже говорил, не имела никакого плана и, не считаясь с хозяйственными условиями тыла, зачастую возбуждала этим вредное для дела недовольство населения. Так, например, призыв под знамена в 1916 г. был объявлен в конце июня месяца в самый разгар уборки хлебов и только по настойчивому ходатайству председателя Государственной Думы перед верховной властью был перенесен на осенние месяцы. Но тем не менее набор был объявлен, смущение среди населения, работавшего на полях, было внесено. Конечно, такая мера отозвалась, с одной стороны, гибельно на успехах полевых работ, а с другой,—подорвала доверие к власти, не считающейся с насущнейшими надобностями экономического быта страны.

Между тем, точного подсчета общего числа призванных на службу не было, и различные учреждения, ведающие эту отрасль, утверждали разные цифры, которые разнились между собою на миллион и больше людей.

Ставка считала меньше призванных, мобилизационный отдел военного министерства—значительно больше, и, наконец, подсчет, сделанный по поручению Особого Совещания по обороне, после неудачного набора в рабочую пору, установил третью цифру, расходящуюся с двумя первыми.

Ставка имела основания требовать все новые наборы, что ясно видно из следующих обстоятельств.

---

[1]) Родзянко и здесь верен себе в стремлении во что бы то ни стало опорочить революцию. Конечно, вполне возможно, что помимо революционной пропоганды велась также „работа“ германского штаба. Но нужно быть безнадежным „патриотом“ и отъявленным ненавистником революции, чтобы ставить ей в счет вредную для нее же самой агитацию немецких шпионов. Ибо последняя в случае успеха могла привести лишь к усилению дезертирства или к разрозненным военным бунтам и к кровавым расправам с ними. Для революции это было бы не менее опасным, чем подготовлявшийся думцами и союзниками дворцовый переворот. *Ред.*

Я не хочу порочить нашу доблестную армию, а тем более доблестнейшее офицерство, которое кровью своею стяжало себе неувядаемую, бессмертную, всемирную славу, но справедливость требует указать, что симптомы разложения армии были заметны и чувствовались уже на второй год войны. Так, например, в период 1915 и 1916 гг. в плену у неприятеля было уже около 2 миллионов солдат, а дезертиров с фронта насчитывалось к тому же времени около полутора миллионов человек. Значит, отсутствовало около 4 миллионов боеспособных людей, и цифры эти красноречиво указывают на известную степень деморализации армии.

Но это явление указывает и на то, что с ним не было достаточной борьбы и против него не принимались достаточно решительные и суровые меры. Дисциплина, очевидно, расшатывалась, и чувство долга по отношению к родине не развивалось и не укреплялось в достаточной мере в призываемых.

По подсчету, сделанному одним из членов Государственной Думы, получилось такого рода соотношение: число убитых из состава солдат выразится 15%, но по отношению к офицерству этот процент выразится цифрой 30%, а раненых еще больше.

Таким образом, по соотношению состава офицеров и солдат—убитых офицеров во время войны было в два раза больше.

Процентное отношение пленных ко всему солдатскому составу выражается цифрой около 20%, между тем как по отношению к офицерам это % обозначение выражается 3%.

Дезертиров офицеров не было вовсе.

В полевых боях убыль здоровых солдат и раненых в палец была очень значительна.

Пополнения, посылаемые из запасных батальонов, приходили на фронт с утечкой в 25% в среднем, и, к сожалению, было много случаев, когда эшелоны, следующие в поездах, останавливались в виду полного отсутствия состава эшелона, за исключением начальника его, прапорщиков и других офицеров.

Здесь не место глубоко анализировать причины этих прискорбных и мрачных обстоятельств, но мне необходимо было осветить истинное положение и настроение армии для того, чтобы, когда я буду говорить о полном разложении, последовавшем после переворота, которое инкриминируется всецело Государственной Думе, иметь возможность сослаться на то, что предшествовавшие события вовсе не служили доказательством полной скованности и строгой дисциплины в армии. Кроме этого, я с большим огорчением должен констатировать, что далеко не всегда распоряжения высшего командного состава были на высоте своего положения.

Как это ни странно сказать, но брожение в армии в 1916 г. началось именно с победных боев, так как в конце концов составилось убеждение, что все нечеловеческие усилия воинов и принесенные ими жертвы оказались в сущности безрезультатны и бесплодны в виду неумелых и неудачных распоряжений, которые критиковались на все лады.

Кампания могла и должна была быть окончена тогда же полной победой, именно тогда, в этот период начинавшегося наилучшего снабжения армии людскими пополнениями и предметами боевого снабжения: почетный славный мир мог быть куплен ценою этих жертв и этого последнего напряжения народной энергии, а, между тем, этого-то достигнуто и не было.

Воздушная разведка была плохо поставлена.

На весь гвардейский корпус приходилось только 4 аэроплана. По докладу моему в Особом Совещании по обороне был резко поставлен вопрос о несовершенстве военной авиации и была учреждена особая авиационная комиссия. Коренная реформа организации авиационного дела была решена, но достигнуто это решение было только в 1916 г. А между тем, в боях на Стоходе целые эскадрильи неприятельских аэропланов появились над нашими резервами и снижались чуть не на 500 метров, безнаказанно расстреливая их из пулеметов.

Брожение в армии началось на почве недовольства высшим командным составом. Впоследствии недовольство это перенеслось на доблестное, ни в чем неповинное младшее офицерство и своим последствием имело ужасное пролитие дорогой нам офицерской крови.

Незадолго до переворота прибыла в Петроград группа офицеров с генералом Крымовым во главе. Между прочим, генерал Крымов заявил мне: „Так дальше итти нельзя. Благодаря полному отсутствию связи в распоряжениях и строго продуманного плана, назначению на высшие посты в армии без разбора, наши блестящие успехи сводятся на-нет, и в армии, в ее солдатском составе растет недовольство и недоверие к офицерству вообще и начальству в частности, и, таким образом, армия постепенно разлагается и дисциплине грозит полный упадок. Легко может быть, что при таких условиях солдаты откажутся итти вперед и, что всего ужаснее, под влиянием преступной агитации, с которой никто не борется и которой не умеют положить предел, армия в течение зимы может просто покинуть окопы и поле сражения. Таково грозное, все растущее настроение в полках".

Генерал Крымов, ныне покойный, покончил сам с собой во время прискорбных событий, имевших место

в августе 1917 г. Я не посмел бы приписать ему то чего он не говорил, да и те офицеры, которые сообщали все это, живы еще, и я смело могу сослаться на них, и они удостоверят, что именно такое настроение и брожение в армии было.

Из сказанного ясно, что почва для окончательного разложения армии имелась налицо еще задолго до переворота, когда о нем еще не говорили громко и когда никто и не думал в правящих сферах, что революция так близка и так быстро наступит в столь ближайшем будущем.

Таковы были события, предшествовавшие перевороту. Позволю себе причины переворота, обусловливавшие его и его вызвавшие, разбить на четыре категории: *к первой и самой главной категории я отношу чрезмерное усиление влияния темных безответственных сил, окружавших и завладевших волею и мыслью верховной власти.*

Безответственные силы и германский штаб.

Влияние Распутина и всего кружка, окружавшего императрицу Александру Федоровну, а через нее—на всю политику верховной власти и правительства, возросло до небывалых пределов.

Я не обинуясь утверждаю, что кружок этот, несомненно, находился под воздействием нашего врага и служил интересам Германии. Иначе нельзя себе объяснить беспричинного удаления действительно полезных государственных деятелей, которые в 1915 году, после погрома в Галиции, были призваны к власти в силу требования общественного мнения и которые, при известном разумном направлении своей деятельности, в полном согласии с общественными силами страны могли бы, несомненно, довести страну до победы. Стоило появиться на высшем государственном посту талантливому и честному деятелю, как сейчас же из распутинских сфер начиналось на него гонение, и он бывал удаляем со стремительной быстротой и без объяснения причин. А если такое лицо имело несчастье сделаться популярным в общественных кругах, то участь его была заранее предрешена. Чьей-то невидимой рукой упорно, всеми возможными способами, вносилось в народ взаимное раздражение и недоверие, и все попытки соединить правящие круги с обществом терпели неизбежную неудачу. Кому же это было на руку? Только Германии. Кто руководил такой преступной политикой? Распутинский кружок. Связь и аналогия стремлений настолько логически очевидны, что сомнений во взаимодействии германского штаба и распутинского

кружка для меня, по крайней мере, нет: это не подлежит никакому сомнению [1]).

Германский император предпринимал и другие шаги, чтобы привлечь на свою сторону видных общественных деятелей. Он подсылал к ним разных предателей России из пленных и оставшихся добровольно в Германии русских, в целях убедить заключить сепаратный мир. И я подвергся такому нападению, но, после принятых мною сразу крутых мер, эти попытки больше не повторялись.

Это трагическое явление, выросшее на почве печальной русской действительности, сложное, темное и недостаточно изученное, — в результате оказалось гибельным для православной церкви и для царствующей династии, а главным образом, для государства, потому что оно растлило народную душу и народные верования.

Вторая категория причин, обусловивших наше государственное крушение, заключается в том, что неумелые и несогласованные распоряжения власти привели к окончательной разрухе экономических условий жизни населения, оставшегося в тылу; главным образом, расстроился транспорт, засим финансы, обнаружилась общая бесхозяйственность, отсутствие достаточной заботливости о пленных и раненых, выходящих из лазаретов, не создана была организация борьбы с возрастающей спекуляцией, которая сама по себе есть явление отрицательное и которая вызвала небывалое вздорожание предметов первой необходимости.

К третьей категории причин, вызвавших легкость, с которой совершился переворот, я отношу начавшееся разложение армии, о котором я только что говорил.

Наконец, четвертая причина революции была чрезвычайная и во всем двойственность правительственной внутренней политики.

Эта система иметь два лика донельзя раздражала русское общество, так как никто заранее не знал, как поступит завтра правительство, — так ли, как сегодня, или совсем наоборот. В искренность заявлений правительства русское общество поэтому перестало верить, зная, что оно меняло свой курс с поразительной легкостью. Так было с обращением к полякам, с отношением к Государственной Думе, с одной стороны будто бы благожелательным, с другой — явно враждебным. Так было с рядом существенных вопросов, уже мною перечисленных.

---

[1]) Это предположение гораздо правдоподобнее излюбленных Родзянкой и другими «прогрессистами» басен о связи революционеров с германским штабом. Работой в придворных кругах последний мог с гораздо меньшими усилиями добиться гораздо больших результатов, чем пропагандой среди войск и рабочих. *Ред.*

Все эти явления, вызывавшие негодование, одновременно подтачивали доверие страны к государственной власти, не умеющей наладить государственную жизнь, и лишали уверенности в завтрашнем дне и в победном исходе кампании.

Я утверждаю, что при совокупности этих причин, если бы и не было революции, война была бы проиграна и был бы, по всей вероятности, заключен сепаратный мир, быть может, не в Брест-Литовске, а где-нибудь в другом месте, но, вероятно, еще более позорный, ибо результатом его являлось бы экономическое владычество Германии над Россией [1]).

Последние попытки.

Я уже раньше указывал, что умеренные партии не только не желали революции, но просто боялись ее. Различным думским фракциям было ясно, что революция во время разгара войны неизбежно приведет к развалу и разложению России. В частности, партия народной свободы, как стоящая на левом фланге умеренных групп и поэтому имевшая больше всех точек прикосновения с революционными партиями страны, была озабочена надвигающейся катастрофой больше всех. Очевидно было, что если революционная волна разыграется в революционный шторм, то наиболее консервативным элементом и поэтому правым крылом оказалась бы партия к.-д., так как все, стоящее правее кадет, должно было быть неизбежно сметено. Положение партии кадетской в этом случае становилось бы крайне тяжелым, ибо на нее, очевидно, были бы направлены все удары и громы развивающегося революционного вихря. Кадеты прекрасно сознавали это и предчувствовали, что они, в свою очередь, будут с большой жестокостью сброшены с арены политической борьбы. И, тем не менее, однако, мы все понимали, что курс, принятый правительством, еще с большей вероятностью приведет к краху государства. Поэтому решение сказать громко правду в законных рамках учреждения Государственной Думы представлялось последним средством, могущим образумить как верховную власть, так и призванное к власти правительство.

При таком положении настроения государства во всех его слоях Государственная Дума увидела для себя необходимость выйти из пассивного положения, ею занятого, ис-

---

[1]) С этим утверждением нельзя не согласиться. Но оно бьет самого же Родзянку и прочих любителей клеветнических басен о якобы германском происхождении революции. И еще сильнее бьет тех, кто на Брест-Литовском отступлении Советской власти пытался нажить себе политический капиталец. *Ред.*

черпав все средства воздействия в деле поворота государственной политики правительства на разумный путь.

В том, что в этот момент Государственная Дума стояла на правильном пути, можно привести, как доказательство, постановление московского губернского собрания.

Это же подтверждается и резолюцией председателей губернских земских управ:

Милостивый государь
Михаил Владимирович!

Председатели губернских земских управ, собравшиеся в Москве 25 октября для обсуждения продовольственного дела, сочли своим долгом подвергнуть обсуждению общее тревожное политическое положение страны. Вот итоги их единодушного мнения. Год тому назад на сентябрьском собрании уполномоченных губернских земств представители земской России, в сознании своей ответственности и долга перед родиной, указывали на гибельность созданного правительством разъединения власти с народом. Высказывавшиеся тогда опасения получили теперь осуществление, и правительственная политика дала свои роковые плоды. Могучий патриотический подъем всей страны остался неиспользованным властью.

Правительство не пошло даже на совместную работу с Государственной Думой, которая являла собою яркое отражение охватившего слои населения единодушия. За все время войны правительство пребывало сперва в скрытой, а затем в нескрываемой явной борьбе с народным представительством и всеми организованными общественными силами. Пожар мировой войны все более разгорается, ставя перед Россией новые сложные задачи. В то же самое время осложняется и наша внутренняя жизнь. Страна переживает последовательно острое расстройство в области транспорта, производства необходимых для населения предметов и, наконец, даже продовольствия. Разъединенные, противоречивые, лишенные определенного плана и мысли действия и распоряжения правительственной власти неуклонно увеличивают общую дезорганизацию всех сторон государственной жизни. На местах все эти распоряжения вызывают чувство недоумения, раздражения, а иногда и прямого возмущения и озлобления. Все распоряжения высшей власти как бы направлены к особой цели еще больше запутать тяжелое положение страны. Такой характер высшего управления явно проявляется в продовольственном вопросе, принимающем все более острое и опасное положение. Такой же характер носят условия, в которые поставлено за последние полгода производство мобилизации.

Осуществление целого ряда мероприятий, связанных с нуждами войны, невольно приводит к выводу о допускаемой правительством не только бесцельной, но и прямо преступной растрате людских и материальных сил страны.

Беспрерывная смена министров и высших должностных лиц государства в таких условиях, в которых она происходит, в связи с постоянным изменением проводимой этими лицами политики ведет к прямому параличу власти. Не пощажена даже и область международных отношений, с которой отныне окончательно связана участь России, та область, где нужна наибольшая твердость и устойчивость, где особенно нужен государственный опыт и прежде всего искренняя, не вызывающая в стране никаких подозрений, преданность интересам родины. Под влиянием всего этого в стране вполне созрело сознание, что стоящее у власти правительство не в силах успешно заключить войну и подготовить предстоящую ее ликвидацию с соблюдением истинных интересов России. Происходящая в правительстве частичная смена лиц не вносит изменений в общий правительственный курс. Она лишь в корне дезорганизует власть и подрывает последние остатки ее авторитета. Но этого

мало. Мучительные, страшные подозрения, зловещие слухи о предательстве и измене, о тайных силах, работающих в пользу Германии и стремящихся путем разрушения народного единства и сеяния розни подготовить почву для позорного мира, перешли ныне в ясное сознание, что вражеская рука тайно влияет на направление хода наших государственных дел. Естественно, что на этой почве возникают слухи о признании в правительственных кругах бесцельности дальнейшей борьбы, своевременности окончания войны и необходимости заключения сепаратного мира. Таково глубокое тревожное сознание, которое объединило всех собравшихся в Москве председателей губернских земских управ при обсуждении современного положения России. С негодованием отвергая всякую мысль о бесславном и гибельном для будущих судеб России мире, они видят и долг чести, и залог спасения родины в неуклонном продолжении войны до конечной победы рука об руку с теми народами, которые вместе с нами ополчились за право и свободу. Земские люди исполнены веры в конечный успех бранного подвига русской армии. Но они явно сознают, что главная опасность нынешнего положения не во вне, а внутри страны. Сознание грозности настоящего положения и ответственности за судьбу родины должно стать источником дальнейшего напряжения всех народных сил и ее спасения. Начало войны и период послегалицийского отступления показали, чего может достигнуть русский народ, сознавший надвигающуюся на Россию опасность. Председатели губернских земских управ пришли к единодушному убеждению, что стоящее у власти правительство, открыто подозреваемое в зависимости от темных и враждебных России влияний, не может управлять страной и ведет ее по пути гибели и позора, и единогласно уполномочили меня в лице вашем довести до сведения членов Государственной Думы, что в решительной борьбе Государственной Думы за создание правительства, способного объединить все живые народные силы и вести нашу родину к победе, земская Россия будет стоять заодно с народным представительством.

Примите уверение в искреннем уважении и преданности

князь Львов.

Тогда же я получил и письмо от Главноуполномоченного Всероссийского Союза Городов:

Октября 31 дня 1916 г.
Москва.

Милостивый государь
Михаил Владимирович.

Тревога и негодование все больше охватывают Россию.

Зловещие настроения, сменившие недавний высокий подъем духа, создаются не потому, что страна обессилена в борьбе, что в ней изменилось представление об ее историческом долге, а потому, что мероприятия правительства привели ее к невозможности в должной мере поддержать борющуюся армию, и достижение ее исторических задач становится все более затруднительным.

Россия полна неисчерпаемых духовных и материальных сил, несокрушима воля ее в единении с доблестными союзниками победить врага; свой долг перед будущим она сознает так же глубоко и свято, как знает его и исполняет ее самоотверженная геройская армия.

Сознание этого долга чуждо, однако, тем, кто, пользуясь безответственностью, из побуждений, враждебных России, скрываясь в безответственности и действуя самозванно, парализует своим злонамеренным влиянием власть. Это сознание долга подавлено у тех, кто, случайно появляясь у власти в этой беспримерной борьбе, не сумел проявить ни одного высокого порыва, который мог бы внушить бодрость народу, призвать его к подвигу, дать ему

возможность хотя бы поверить, что лица, стоящие у власти, служат интересам России.

Между тем, с каждым новым днем исчезает вера, рассеиваются надежды. С каждым новым днем становится очевиднее, что враждебные интересам России влияния претворяются в систему сложных мероприятий. Эти влияния направляют все усилия на борьбу с Россией и ее общественностью, на разъединение сил страны, ослабление ее мощи и создание неодолимых препятствий к тому, чтобы армии в полной мере была оказана должная помощь в великой ее борьбе.

В обществе невольно зреет сознание, что бесчисленные меры, которыми разрушается снабжение продовольствием населения и армии, являются последствием не только неумения и непонимания, но и результатом действий, направленных к тому, чтобы вызвать острую борьбу классов, разрушить единство земской и городской России и расстройством тыла затруднить продолжение борьбы.

Международная политика находится в сфере тех же губительных влияний. Преступная медленность, проявленная в польском вопросе, бросила Россию в новую опасность и поставила перед ней новые затруднения.

Среди этих явлений страну терзают зловещие слухи, что готовится постыдный мир, что принесенные страной бесчисленные жертвы и затраченные усилия напрасно погибают.

Мир без полной победы невозможен для России. Мир без согласия доблестных союзников — бесчестен. Замышляющие такой мир готовят предательство и измену.

Власть не может оставаться в руках тех, кто не умеет одолеть темных, враждебных России влияний и организовать все живые силы страны на борьбу с врагом. Главный Комитет Всероссийского Союза Городов поручил мне просить вас довести до сведения Государственной Думы, что наступил решительный час, — промедление недопустимо, должны быть напряжены все усилия к созданию, наконец, такого правительства, которое в единении с народом доведет страну к победе.

Главноуполномоченный Всероссийского Союза Городов

М. Челноков.

Здесь уместно сказать несколько слов о том, каким образом был в это тревожное время назначен министром внутренних дел бывший товарищ председателя Государственной Думы А. Д. Протопопов, назначение которого вызвало массу осложнений и раздражений. А. Д. Протопопов, бывший уездный, а засим губернский предводитель дворянства в Симбирской губернии, был членом III Государственной Думы и числился в партии октябристов, примыкая скорее к ее левому, более прогрессивному крылу. Таковых же политических убеждений он держался и в IV Думе. Когда депутация членов Государственной Думы и Государственного Совета в 1916 году должна была посетить союзные страны, во главе оной был поставлен А. Д. Протопопов, как товарищ председателя Государственной Думы, и успешно справился со своей задачей. Ничто не предвещало в нем такой быстрой перемены фронта, какая последовала в весьма скором будущем. Уже при возвращении депутации в Россию Протопопов имел в Стокгольме тайную и загадочную беседу и невыясненные тогда сношения с неким г. Варбур-

гом, немецким агентом. Тайна его беседы с Варбургом, однако, обнаружилась очень быстро и стала достоянием печати. Полного освещения обстоятельств этой беседы, ее сущности и политического значения, ее причин и последствий не удалось достигнуть, и дело так и осталось в тумане. Тем не менее, не имея еще никаких доказательств о каких бы то ни было замыслах г. Протопопова, я позволил себе указать на него, как на желательного министра торговли в предполагавшемся тогда министерстве адмирала Григоровича, долженствовавшего сменить на посту премьера Штюрмера. Но дело это не состоялось. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что Протопопов вызван помимо меня в ставку, якобы для доклада о своей поездке за границу, но вместе с тем ведет и таинственные переговоры с Штюрмером и всем распутинским кружком! Протопопов в это время явно избегал меня, и мне с трудом удалось добиться с ним свидания и решительного разговора. Протопопов сознался, что ему предложен пост министра внутренних дел и что он решил его принять. Возмущению моему не было границ на основании следующих обстоятельств. Принятие товарищем председателя Государственной Думы поста министра внутренних дел в министерстве Штюрмера, после того, как Дума только что высказала свое резко отрицательное отношение к премьеру и признала громко направление его политики вредным для государства, и после того, как Протопопов подписал резолюцию прогрессивного блока думских партий, являлось предательством Государственной Думы с его стороны, а явный и резкий поворот его от исповедываемых им прогрессивных убеждений в лагерь крайней реакции не сулил ничего хорошего в переживаемое тревожное время. Все это было мною определенно высказано г. Протопопову и предъявлено было официальное требование от предложенной ему кандидатуры решительно отказаться. Но Протопопов был непоколебим, и мы расстались врагами. Правительство Штюрмера хорошо знало, что делало, выдвигая и настаивая на кандидатуре Протопопова. Этим назначением предполагалось скомпрометировать Государственную Думу. Последней оставался только один выход, это — сразу стать в полную оппозицию к новому министру. Дальнейшие события ясно показали, в какую бездну вреда государство было приведено этим назначением.

Перед открытием сессии осенью 1916 г. председатель Государственной Думы собрал совещание из представителей партий, входящих в состав прогрессивного блока, и, изложив им в подробностях создавшееся грозное положение вещей и близость неминуемого общего взрыва, пред-

ложил попытаться еще раз предотвратить его, что, конечно, составляло во время кровопролитнейшей войны священную обязанность Государственной Думы. Доложив собравшимся в подробностях все доклады, сделанные мною императору Николаю II, я просил членов Думы притти мне на помощь. Мне было ясно, что моих предупреждений недостаточно, и я указал на необходимость испросить коллективный доклад у верховной власти в составе собравшихся представителей партий, в присутствии которых я бы вновь повторил все свои доводы и указания на необходимость уступок, а присутствующие члены Думы поддержали бы при этом мои слова своими речами. Несомненно, что это было бы внушительным и авторитетным актом и усилило бы авторитет председателя Государственной Думы. Но этому воспротивились представители кадетской партии в лице ее лидера, члена Думы Милюкова, который находил, что такое действие было бы актом неконституционным, и увлечение формой, в ущерб существу дела, одержало верх. А между тем всем было ясно, что революция во время войны приведет неизбежно сперва к разложению армии, а потом и государства. Представители кадетской партии считали, что надлежит все высказать публично с думской трибуны и выждав результаты такого шага, предпринять иные меры.

Ввиду полного разногласия в данном вопросе, предложение мое осталось открытым вопросом, и коллективный доклад императору не состоялся. Мне уже впоследствии стало известно, что группа членов Думы националистов добилась частной аудиенции у государя императора, докладывала ему, в свою очередь, о тревожном положении страны, но успеха не имела.

Памятуя о своем долге избранников народа, несущих ответственность перед ним за свои действия, Государственная Дума решила громко высказать правду перед страной.

Предварительно состоялся доклад об истинном положении дел Николаю II, но предостережение это оказалось недостаточным, чтобы переменить курс политики правительства.

И в историческом заседании 1 ноября 1916 года все было гласно и громко сказано. Как бы ни относиться к речам, произнесённым тогда с кафедры Государственной Думы, можно увидеть в них только боль за судьбу России, дорогого нашего отечества; нельзя увидеть там желание свержения власти, но указание на необходимость перемены лиц и системы управления,—не желание переворота и стремление к тем ужасам, которые являются конечным результатом всякой революции, но лишь сердечную боль и печалование о судьбах России, могучей и еще сильной, но неумело упра-

вляемой. Наши стенографические отчеты доказывают, что я прав.

Мало-по-малу в конце 1916 г. волнение среди низших слоев населения, наиболее обездоленного войной и всевозможными ненужными лишениями, дороговизна, отсутствие предметов первой необходимости и предметов питания—дошли до своего апогея. А к этому прибавилась еще жестокая политика министра внутренних дел Протопопова, который стремился разогнать Государственную Думу, который направлял свои стрелы и громы на все мыслящее в России, который производил давление на Земский и Городской союзы.

Все, даже дворянские общества, тоже громко заявившие, что так дальше итти нельзя, было взято под подозрение.

Протопопов громко проповедывал, что роспуск Думы есть единственное средство для умиротворения страны.

Не ужас ли должен был обуять при виде происходившей вакханалии, которая начала разыгрываться?

Можно ли было оставаться безучастным зрителем при виде разрушения государства?

Итак, решение свое сказать правду Государственная Дума привела в исполнение в исторических ноябрьских заседаниях 1916 г., а засим в заседаниях 14 февраля 1917 г.

Очевидно, что все было исчерпано, но все меры, принимаемые Государственной Думой для дружного взаимодействия с правительством в интересах государства, оказались напрасными.

А между тем, продовольственный вопрос в столице принимал все более и более острые формы: подвоз продуктов сокращался до минимума, и злонамеренные люди, пользуясь этим обстоятельством, всячески настраивали все слои населения Петрограда во враждебном отношении к правительству и вели сознательно к возникновению самого ужасного бунта—голодного. Между тем, Государственная Дума хорошо помнила и понимала известную всем поговорку, что нельзя перепрягать лошадей, когда переезжаешь реку вброд.

Все старания Государственной Думы не возбуждать, а успокаивать население были бесплодны, и вывести застрявший воз на сухое прочное место—оказалось задачей не по силам.

Между тем, упорные слухи о роспуске Государственной Думы только подливали масла в огонь.

Рабочие многочисленных заводов Петрограда решили-было произвести демонстрацию в защиту Государственной Думы, а начальник штаба верховного главнокомандующего того времени прямо заявил, что я должен испытать все

средства для того, чтобы предотвратить императора Николая II от роспуска Государственной Думы, так как, если Государственная Дума будет распущена, то легко возможен отказ армии сражаться.

Но тогда же председатель совета министров в одной из бесед с председателем Государственной Думы показал ему находящиеся в его распоряжении три указа, подписанные императором Николаем II, без обозначения, однако, даты их обнародования. Первый указ был о полном роспуске Думы и назначении новых выборов, второй указ—о роспуске Государственной Думы до окончания войны, и третий указ—о роспуске Государственной Думы на неопределенное время. Каждым из этих указов Государственная Дума лишалась возможности доводить всю истинную правду до верховной власти.

Таким образом, уничтожался последний оплот источника правды и точного освещения состояния умов государства.

Видя такое положение вещей и отлично понимая, что в случае роспуска Государственной Думы вся страна будет отдана в руки Протопопова, Распутина и компании, что протеста ни от кого уже последовать не может, что дело идет, несомненно, к сепаратному миру и позору России, я оказался вынужденным искать ту организацию общественного характера, которую упразднить и заставить молчать невозможно по самому существу дела. Я остановился на дворянских собраниях и вызвал телеграммами в Петроград из Москвы губернского предводителя дворянства Базилевского и председателя съезда объединенного дворянства Самарина, его товарищей, князя Куракина и В. П. Карпова, и петроградского губернского предводителя Сомова. Разъяснив им положение вещей и возможность моего ареста и высылки, я просил в этом случае их стать на страже интересов родины и взять на себя долг бороться с теми оскорблениями, которые, несомненно, выпадут на ее долю.

Представители дворянства вполне разделили мою точку зрения и поняли мои опасения. Они признали, что необходимо создать такое ядро людей независимых, которое, в случае разгона Думы, должно стать на страже интересов и достоинства России.

Они признали, что дворянство, которое нельзя ни упразднить ни разогнать, обязано, в случае роспуска Думы, встать во главе движения для блага родины и борьбы с предателями ее. В силу такого решения А. Д. Самарин испросил аудиенцию у императора и еще раз должен был попытаться изложить всю правду о нарастающих событиях, и было решено на 19 января созвать съезд объединенного

дворянства для вторичного обсуждения создавшегося положения вещей. Кроме этого, из Москвы ко мне прибыли от земского союза князь Львов, М. В. Челноков от союза городов, А. Ив. Коновалов от съезда промышленников и фабрикантов, как представители союзов. Положение, по их мнению, было таково, что надо признать, что катастрофа уже наступила, и для спасения отечества от гибели нужны экстраординарные меры. Они требовали, чтобы я приехал в Москву на их общий съезд и стал во главе движения в том смысле, чтобы еще раз гласно выразить желание о спасении страны. По их мнению, надо было ясно и твердо сказать свое правдивое слово, не страшась ответственности и репрессий. Но, ввиду открытия Государственной Думы 14 февраля, я не счел возможным исполнить их желания.

Исторические дни.

Волнения начались на почве отсутствия продовольствия. Но это было предлогом, а об истинных причинах все возрастающего народного негодования я уже достаточно говорил.

По имевшимся в моем распоряжении сведениям, волнения, возникшие в столице, стали быстро передаваться в другие города.

Уже 25 февраля 1917 года волнения в столице дошли до своего апогея. Утром мне дали знать, что часть заводов, расположенных на Выборгской стороне и на Васильевском острове, забастовала и толпы рабочих двинулись по направлению к центру столицы.

Я объехал эти части города и убедился в том, что работы действительно прекращены, что возмущение народа, преимущественно в лице рабочих женского пола, дошло до крайней степени и что действительно толпы рабочих приближаются к центру столицы, в каких целях—мне еще неизвестно.

Волнение уже охватило заречную часть города. Возвращаясь назад через Литейный мост, я увидел, что набережные, как Французская, так и остальные, уже заняты отрядами войск, и тогда в моей голове созрел план немедленно добиться созыва совета министров и настоять перед ним, чтобы в этом заседании были представители законодательной палаты, земского и городского самоуправления, дабы совместными усилиями выработать те меры, которые могли бы, хотя и временно, успокоить взволнованное население столицы.

В этих целях я посетил министра земледелия Риттиха, взял его с собой и поехал к генералу Беляеву, бывшему

тогда военным министром. Изобразив ему положение дел, я указал, что это—не простое волнение, что это начинается настоящая революция и что надлежащие энергичные меры должны быть приняты безотлагательно. Я убедил военного министра своими доводами, и он сейчас же поехал к председателю совета министров князю Голицыну, откуда по телефону дал мне знать, что желаемое мною совещание будет в этот же день, 25 числа, собрано в Мариинском дворце и что мне предоставляется право пригласить всех лиц общественных организаций, которых я сочту нужным.

Таким образом, была еще раз сделана попытка спасти положение и принять необходимые для успокоения рабочих меры в смысле снабжения продовольствием.

Совещание о продовольствии состоялось 25 февраля вечером и постановило, по настоянию представителей от общественных организаций, передать дело продовольствия в руки городского самоуправления и земства по принадлежности.

Вот как официозная пресса отметила это событие:

„Совещание пришло к единственному заключению о немедленной передаче заведывания продовольственным делом в Петрограде петроградскому городскому общественному управлению (т.-е. Городской Думе). Дабы юридически оформить такую передачу, экстренное совещание пришло к соглашению между представителями законодательных учреждений и правительством, что в порядке думской инициативы будет возбуждено в Государственной Думе соответствующее законодательное предположение о расширении на время войны полномочий городских общественных управлений в смысле предоставления им права урегулирования продовольственного дела. Означенное законодательное предположение предоставляется провести в спешном порядке. В полном соответствии с одобренными правительством предположениями привлечь население к заботам о продовольствии, вечером 25 февраля в центральном военно-промышленном комитете собралась продовольственная комиссия в составе представителей больничных касс, кооперативов и выборных от рабочих. Неожиданно в заседание явился пристав Литейной части с сильным нарядом полиции и солдат и предъявил бумагу о задержании всех присутствующих на заседании. Устраивайте сколько угодно продовольственных обывательских комитетов, полиция будет их арестовывать. Вот и все решение вопроса, по поводу которого правительство, Дума и Совет готовы были прийти к единодушию“.

Вот газетное сообщение. Но для членов Думы было ясно, что этими арестами искусственно раздувается пламя вспыхнувшей искры.

Рассмотрение закона в спешном порядке, однако же, продолжалось 26 февраля, но участь Думы тогда уже была предрешена, и указ о перерыве занятий был подписан.

25 февраля я по телефону в Гатчину дал знать великому князю Михаилу Александровичу о происходившем и о том, что ему сейчас же нужно приехать в столицу, ввиду нарастающих событий.

27 февраля великий князь Михаил Александрович прибыл в Петроград, и мы имели с ним совещание в составе председателя Государственной Думы, его товарища Некрасова, секретаря Государственной Думы Дмитрюкова и члена Думы Савича. Великому князю было во всей подробности доложено положение дел в столице и было указано, что еще возможно спасти положение: он должен был явочным порядком принять на себя диктатуру над городом Петроградом, понудить личный состав правительства подать в отставку и потребовать по телеграфу, по прямому проводу, манифеста государя императора о даровании ответственного министерства.

Нерешительность великого князя Михаила Александровича способствовала тому, что благоприятный момент был упущен.

Вместо того, чтобы принять активные меры и собрать вокруг себя еще непоколебленные в смысле дисциплины части петроградского гарнизона, великий князь Михаил Александрович повел по прямому проводу переговоры с императором Николаем II, получил в своих указаниях полный отказ, и, таким образом, в этом отношении попытка Государственной Думы потерпела неудачу.

При этой беседе с великим князем и вышеназванными членами Государственной Думы присутствовал и председатель совета министров князь Голицын. Несмотря на все убеждения в том, что ему надлежит выйти в отставку, что это облегчит государю императору разрешение назревающего и все возрастающего конфликта, князь Голицын оставался неумолимым в своем решении, объяснив, что в минуту опасности он своей должности не оставит, считая это позорным бегством, и этим только еще больше усложнил и запутал создавшееся положение.

В ночь с 26 на 27 февраля мною был получен указ о перерыве занятий Государственной Думы, и, таким образом, возможности мирного улажения возникающего конфликта был положен решительный предел, и тем не менее Дума подчинилась закону, все же надеясь найти выход из запутанного положения, и никаких постановлений о том, чтобы не расходиться и насильно собираться в заседании, не делала.

Беспорядки начались с военного бунта запасных батальонов Литовского и Волынского полков. Рано утром началась в районе расположения этих полков перестрелка, и мне по телефону дали знать, что командир Литовского батальона (фамилию забыл) убит взбунтовавшимися солдатами и убито еще два офицера, а остальные г.г. офицеры арестованы. С трудом удалось успокоить взволнованные части эти и убедить их выпустить арестованных офицеров. Таким образом, революция началась с военного бунта тех самых запасных батальонов, о печальном состоянии которых я писал выше.

Злоба озверевших людей сразу направилась на офицеров, и так далее шло, как по трафарету, во всех бунтах и волнениях в полках впоследствии.

Среди дня 27 февраля произошли первые бесчинства: был разгромлен окружный суд и главное артиллерийское управление, а также арсенал, из которого было похищено около 40 тысяч винтовок рабочими заводов, которые сейчас же были розданы быстро сформированным батальонам красной гвардии.

Толпы народа, вооруженные чем попало, стали появляться тут и там на улицах города; вечером того же дня значительные толпы инсургентов запрудили уже собою улицы столицы, кое-где происходили беспорядки, столкновения между ними и вызванными частями войск.

Правительство заседало в Мариинском дворце, но никакого распоряжения, никакого распорядка, никакой попытки к подавлению в самом корне начинающихся беспорядков им сделано не было, потому что правительством, в буквальном смысле слова, овладела паника. Насколько велика была паника и растерянность, видно из следующего обстоятельства: при известии о движении толпы на Мариинский дворец в нем были потушены все огни и собрано некоторое количество оставшихся еще верными правительству войск для того, чтобы сопротивляться.

Однако, нападений не было, и, по словам одного из членов правительства, когда снова зажгли огонь, то он, к своему удивлению, оказался под столом. Мне кажется, что такой, несколько анекдотичный рассказ лучше всего может характеризовать настроение правительства в смысле полного отсутствия руководящей идеи для борьбы с возникающими бесчинствами.

На улицах, между прочим, начиналась форменная резня [1]), и ночь была проведена чрезвычайно тревожно.

---

[1]) Это утверждение в значительно большей мере характеризует „настроение" Родзянки, чем действительное положение дел; его „паника и растерянность" были не меньшими, чем и у членов правительства. *Ред.*

27 февраля председатель совета министров князь Голицын уведомил меня, что он подал в отставку, как и все члены правительства.

Таким образом, создалось такое безвыходное положение, перед которым меркли все самые широкие революционные идеи [1]).

При наличии военных действий и войны, при необходимости самого строгого порядка и самого ответственного исполнения правительством своих обязанностей, при наличии нарождавшейся революции — в столице не оказалось центральной власти. Из ставки никаких распоряжений от императора Николая II не поступало, и город Петроград был предоставлен нарождающейся безбрежной анархии.

Как я уже говорил, был разгромлен арсенал, горел окружный суд, горели и разгромлялись все полицейские участки, и от власти никаких указаний и распоряжений, что делать, не было. Государственной Думе ничего не оставалось другого, как взять власть в свои руки и попытаться хотя бы этим путем обуздать нарождавшуюся анархию и создать такую власть, которую бы послушались все и которая способна была прекратить нарождающуюся беду.

Конечно, можно было бы Государственной Думе отказаться от возглавления революции, но нельзя забывать создавшегося полного отсутствия власти и того, что при самоустранении Думы сразу наступила бы полная анархия и отечество погибло бы немедленно.

Дума была бы арестована и перебита в полном составе бунтующими войсками, и власть сразу очутилась бы у большевиков, а между тем Думу надо было беречь хотя бы как фетиш власти, который все же сыграл бы свою роль в трудную минуту.

Председатель Государственной Думы еще 26 числа послал государю императору телеграмму:

„Положение серьезное. В столице—анархия. Правительство парализовано. Транспорт продовольствия и топлива пришел в полное расстройство. Растет общественное недовольство. На улицах происходит беспорядочная стрельба. Части войск стреляют друг в друга. Необходимо немедленно поручить лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство. Медлить нельзя. Всякое промедление смерти подобно. Молю бога, чтобы в этот час ответственность не пала на венценосца“.

Но царь не внял предупреждению главы народного представительства. 27 февраля председателем Государственной

[1]) Родзянко, повидимому, имеет в виду „революционную идею“ ответственного министерства. Возможно также, что речь идет о предполагавшемся дворцовом перевороте. *Ред.*

Думы была отправлена еще более категорическая телеграмма государю императору:

„Положение ухудшается. Надо принять немедленные меры, ибо завтра уже будет поздно. Настал последний час, когда решается судьба родины и династии“.

Но и на эту телеграмму председатель Государственной Думы ответа не получил. Уже здесь, в Сербии, я еще раз получил от бывшего тогда начальника почтового управления г. Похвиснева уверение, что мои обе телеграммы были в точности доставлены по адресу. Только 28 февраля генерал Рузский уведомил, что государь император, наконец, решился даровать стране ответственное министерство и поручает председателю Государственной Думы сформирование кабинета.

Этим манифестом, однако, положение запуталось еще более, ибо, пока происходили сомнения и колебания императора Николая II, события шли своим чередом и разрешения от него не ожидали.

Временный Комитет Государственной Думы.

Уже 27 февраля был образован Временный Комитет Государственной Думы для сношения с населением и для приведения расшатанных устоев в нормальное состояние, который обратился к населению со следующим воззванием:

„Временный Комитет членов Государственной Думы при тяжелых условиях внутренней разрухи, вызванной мерами старого правительства, нашел себя вынужденным взять в свои руки восстановление государственного и общественного порядка. Сознавая всю ответственность принятого им решения, Комитет выражает уверенность, что население и армия помогут ему в трудной задаче создания нового правительства, соответствующего желаниям населения и могущего пользоваться его доверием“.

Между тем, вышеупомянутый манифест возвращал все происшедшее в старое русло, вернуть же вспять бурное революционное течение манифестом уже не представлялось возможным.

С другой стороны, председателю Государственной Думы оставить Государственную Думу без головы, приняв в свои руки власть исполнительную, представлялось тоже совершенно невозможным, так как Дума была временно распущена, и выбирать ему заместителя было невозможно [1]).

[1]) Верноподданный Родзянко, „беря в свои руки власть“, в то же время и мысли не допускал о том, чтобы ослушаться „высочайшего“ указа о роспуске Думы. „Возглавлять революцию“ он мог, только стоя перед „его величеством“ на коленях. *Ред.*

Отречение Николая II.

Вследствие этого председатель Государственной Думы вынужден был отклонить предложение, переданное ему через генерала Рузского, и заявить, что при настоящем положении дел единственный исход для императора Николая II — это отречься от престола в пользу сына.

Я утверждаю совершенно категорически, что эта комбинация, вне всякого сомнения, была бы принята, и волнения, по всей вероятности, в значительной мере были бы успокоены. Тем не менее, император Николай II не поверил указаниям председателя Государственной Думы и запросил своего начальника штаба и всех главнокомандующих фронтами о том, каково их мнение по поводу указаний, сделанных ему председателем Государственной Думы.

Телеграммы эти имелись в моем распоряжении, и, если не уничтожены в Петрограде, где они находятся, то, вероятно, документально можно будет восстановить то последующее, о чем я буду говорить.

Ответы командующих фронтами и начальника штаба верховного главнокомандующего были получены императором Николаем II в тот же день. Все лица, запрошенные им, единогласно ответили, что для блага родины его величеству нужно отказаться от престола.

Привожу из доклада о поездке своей в армию одного из членов Думы записанный со слов генерала Рузского рассказ о последних словах отрекшегося императора: он снял с себя фуражку, стал перед образом, который был в углу вагона, перекрестился и сказал: „Так господу богу угодно, и мне надо было давно это сделать“. Подписывая поданное генералом Рузским отречение и отдавая ему текст подписанный, он сказал: „Единственный, кто честно и беспристрастно предупреждал меня и смело говорил мне правду, был Родзянко“, и с этими словами повернулся и вышел из вагона. Привожу эти слова, для меня дорогие и знаменательные, не для самовосхваления, а как доказательство, что от царя ничего не было скрыто.

Для получения подлинного отречения императора Николая II председателем Государственной Думы, который не имел возможности ни на один шаг оставить столицу по сумме разных причин, были командированы член Государственного Совета А. И. Гучков и член Государственной Думы Шульгин. Лица эти, прибыв в ставку в Псков, явились к государю и получили уже готовое отречение в пользу великого князя Михаила Александровича.

Отречение было подписано 2 марта 1917 года.

Здесь уместно самым категорическим образом отвергнуть и опровергнуть все слухи о том, что командированными лицами производились какие-то насильственные действия, произносились угрозы с целью побуждения императора Николая II к отречению.

Дневник царя не оставляет в этом никаких сомнений, и я с негодованием отвергаю все эти слухи, распускаемые крайними элементами[1]), о наличии подобных действий со стороны лиц, безупречных по своему прошлому за время своей государственной деятельности.

Таким образом, верховная власть перешла якобы к великому князю Михаилу Александровичу, но тогда же возник для нас вопрос: какие последствия может вызвать такая совершенно неожиданная постановка вопроса и возможно ли воцарение Михаила Александровича, тем более, что в отказе за сына от престола в акте отречения не сказано ни слова.

Прежде всего, по действующему закону о престолонаследии царствующий император не может отказаться в чью-либо пользу, а может этот отказ произвести лишь для себя, предоставляя уже воцарение тому лицу, которое имеет на то законное право, согласно акта о престолонаследии.

Таким образом, при несомненно возрастающем революционном настроении масс и их руководителей, мы, на первых же порах, получили бы обоснованный юридический спор о том, возможно ли признать воцарение Михаила Александровича законным. В результате получилась бы сугубая вспышка со стороны тех лиц, которые стремились опрокинуть окончательно монархию и сразу установить в России республиканский строй.

По крайней мере, член Государственной Думы Керенский, входивший в состав Временного Комитета Государственной Думы, без всяких обиняков заявил, что если воцарение Михаила Александровича состоится, то рабочие города Петрограда и вся революционная демократия этого не допустят.

Итти на такое положение вновь воцаряемому царю, очевидно, в смутное, тревожное время было совершенно невозможно. Но что всего существенней—это то, что, принимая в соображение настроения революционных элементов, указанные членом Государственной Думы Керенским, для нас было совершенно ясно, что великий князь процарствовал бы всего несколько часов и немедленно произошло бы огромное кровопролитие в стенах столицы, которое бы положило начало общегражданской войне.

Для нас было ясно, что великий князь был бы немедленно убит и с ним все сторонники его, ибо верных войск

[1]) Речь идет о крайних правых, обвинявших Родзянку в „крамоле".

уже тогда в своем распоряжении он не имел и поэтому на вооруженную силу опереться бы не мог. Великий князь Михаил Александрович поставил мне ребром вопрос, могу ли я ему гарантировать жизнь, если он примет престол, и я должен был ему ответить отрицательно [1]), ибо, повторяю, твердой вооруженной силы не имел за собой. Даже увезти его тайно из Петрограда не представлялось возможным: ни один автомобиль не был бы выпущен из города, как не выпустили бы ни одного поезда из него. Лучшей иллюстрацией может служить следующий факт: когда А. И. Гучков вместе с Шульгиным вернулись из Пскова с актом отречения императора Николая II в пользу своего брата, то Гучков отправился немедленно в казармы или мастерские железнодорожных рабочих, собрал последних и, прочтя им акт отречения, возгласил: „Да здравствует император Михаил!“, но немедленно же он был рабочими арестован с угрозами расстрела, и Гучкова с большим трудом удалось освободить при помощи дежурной роты ближайшего полка. Несомненно, что были и сторонники великого князя Михаила, и его воцарение означало бы начало гражданской войны в столице. Возбуждать же гражданскую войну, при наличии войны на фронте и ясного понимания нами, что гражданская война вызовет такую смуту в тылу, которая лишит действующую армию необходимого подвоза пищевых и боевых припасов,—на это мог решиться только Ленин, но не Государственная Дума, задача которой рисовалась в этот ужасный момент не в возбуждении страстей, а в умиротворении и приведении взволнованного моря народной жизни в должное успокоение. Такой мерой было, несомненно, отречение императора Николая II и воцарение царевича Алексея Николаевича при регентстве вел. князя Михаила Александровича.

Но упущение времени смерти невозвратной подобно, и было уже поздно. В революционную эпоху события мчатся с такой головокружительной быстротой, что то, что еще сегодня представлялось возможным, завтра делается уже невозможным к осуществлению. Так было и в этом случае.

Восставшее население столицы уже признало, что Государственная Дума приняла на себя власть, и поэтому пришлось ограничиться избранием Временного Комитета из состава Государственной Думы, которому и поручены были дальнейшие мероприятия по умиротворению столицы и страны.

---

[1]) Вот действительная причина отказа Михаила от „престола“. Нужно воистину быть Керенским, чтобы даже мысли не допустить о возможности у „его высочества“ таких чисто шкурных соображений и в истерическом экстазе расшаркаться перед его „благородством“. *Ред.*

Временный Комитет Государственной Думы и Петроградский Совет Рабочих Депутатов.

Должен здесь отметить, что в силу своего партийного состава Государственная Дума принуждена была во Временный Комитет избирать представителей разных течений, и эта неоднородность состава Временного Комитета, как мы это увидим дальше, послужила значительным тормозом к его авторитету и к возможности, опираясь на реальную силу, принимать надлежащие меры к водворению порядка.

Гибельный недостаток, который красной нитью проходит через всю деятельность созданного Временным Комитетом Государственной Думы Временного Правительства, обнаружился на первых же порах. Когда обсуждался вопрос о том, надлежит ли Государственной Думе сразу вступить во всю полноту государственной власти ввиду революционного настроения, член Государственной Думы Керенский на требования председателя Государственной Думы в случае положительного разрешения вопроса предоставить в его руки полную власть во всем объеме и безусловно слепое повиновение всем его распоряжениям заявил, что он признает это условие необходимым, но может ему подчиниться постольку, поскольку он не связан с состоянием его в должности товарища председателя Совета Рабочих Депутатов.

Итак, в зародыше уже новая власть получила первородный грех—это двоевластие.

28 февраля Петроградский Совет Рабочих Депутатов выпустил воззвание:

„Старая власть довела страну до полного развала, а народ—до голодания. Терпеть больше стало невозможно. Население Петрограда вышло на улицу, чтобы заявить о своем недовольстве. Его встретили залпами. Вместо хлеба царское правительство дало народу свинец.

Но солдаты не захотели итти против народа и восстали против правительства. Вместе с народом они захватили оружие, военные склады и ряд важных правительственных учреждений.

Борьба еще продолжается, она должна быть доведена до конца. Старая власть должна быть окончательно низвергнута и уступить место народному управлению. В этом спасение России.

Для успешного завершения борьбы в интересах демократии народ должен создать свою собственную властную организацию.

Вчера, 27 февраля, в столице образовался Совет Рабочих Депутатов из выборных представителей заводов и фа-

брик, восставших воинских частей, а также демократических и социалистических партий и групп.

Совет Рабочих Депутатов, заседающий в Государственной Думе, ставит своей основной задачей организацию народных сил и борьбу за окончательное упрочение политической свободы и народного правления в России.

Совет назначил районных комиссаров для установления народной власти в районах Петрограда.

Приглашаем все население столицы немедленно сплотиться вокруг Совета, образовать местные комитеты в районах и взять в свои руки управление всеми местными делами.

Все вместе общими силами будем бороться за полное устранение старого правительства и созыв Учредительного Собрания, избранного на основе всеобщего, равного, прямого и тайного избирательного права".

Вы видите, что в этом воззвании демократические слои и наиболее революционные элементы призывались к исключительному единению и повиновению своему выборному органу—Совету Рабочих Депутатов. Исполнительный Комитет Совета Рабочих Депутатов, конечно, существовал, хотя тайно, без перерыва, начиная с 1905 года, и своей агитационной деятельности не прекращал [1]).

Изложенное мною должно убедить всякого, даже предубежденного против Государственной Думы, что последняя совершенно не была внутри себя подготовлена к вспыхнувшей революции и для воплощения таковой не имела никакого плана и никакой организации.

Революция подготовлялась и организовалась вне стен Таврического дворца в среде Исполнительного Совета Рабочих Депутатов, который имел, несомненно, определенные директивы и действовал по заранее тонко и всесторонне обдуманному плану, выдвигая впереди себя Государственную Думу как бы в виде народного революционного знамени. Вихрь революционной вспышки сыграл ему в руку, а слабость и нерешительность созданного Государственной Думой Временного Правительства, как будет видно из дальнейшего изложения, только способствовали дальнейшему, как принято выражаться, углублению революции. Даже зданием и помещением Государственной Думы сразу же в первый день овладели вооруженные рабочие, чему воспротивиться было уже невозможно. Но, повторяю, однообразие плана, руководимого Советом Рабочих Депутатов, ска-

[1]) В действительности, конечно, никакого тайного Исполнительного Комитета Совета между 1905 и 1917 г.г. не существовало. Не существовало также и „заранее обдуманного плана" (см. несколько ниже). *Ред.*

зывалось и в провинции и в городах, что подтверждается целым рядом документальных данных.

Фактически же 27 февраля партия социалистов овладела петроградским гарнизоном и сделалась хозяйкой положения по этой причине, но до поры до времени скрывала свою игру. Наиболее крайние революционные элементы, расточая целый букет посул о грядущих благах путем завоевания их революцией, хотя не задумывались над вопросом, выполнимы ли эти посулы или нет, тем не менее имели громадный успех и этим путем привлекали к себе массы, и войска гарнизона, и рабочих.

Но колебаться было уже поздно да и невозможно, ввиду поступавших тревожных известий о волнениях, начинавшихся в провинции. Председатель Государственной Думы должен был силой вещей решиться на возглавление Государственной Думой государственной власти.

Еще считаю нужным подчеркнуть, что именно в это самое время члены Временного Комитета, избранного Государственной Думой, Чхеидзе и Керенский, сразу стали на знаменательную платформу—„постольку-поскольку“, и двоевластие это проявилось на первых же порах.

Повторяю еще раз, двоевластие красной нитью проходило через все действия созданного в дальнейшем Временного Правительства, которое проявило слабость и бесхарактерность, не сумело справиться с этим двоевластием и подчинить себе, своей верховной власти, все оттенки политической мысли.

Временное Правительство.

Таким образом, в силу обстоятельств, носящих, несомненно, характер force majeur [1]), конструкция власти в первые же дни революционной эпохи создалась такая: Временный Комитет Государственной Думы, избранный с самых первых часов начала революционного движения, явился источником верховной власти.

Составляя и назначая правительство, бесспорно, на законном праве, как единственный преемственный источник власти и как орган, замещающий министров в случае их ухода, он основал свое право на данном ему полномочии народного представительства.

Полнота власти исполнительной была передана Комитетом Временному Правительству, и Временное Правительство было признано не только всей Россией, но и иностранными державами. Хотя, по первой мысли императора Николая II, сформирование первого ответственного мини-

[1]) Непреодолимой силы.

стерства он предполагал поручить председателю Государственной Думы, но, как я объяснил это выше, принять это поручение я не мог по разным властным причинам, и, кроме того, партия кадет решительно воспротивилась моему министерству, о чем лидер их заявил председателю думской фракции земцев-октябристов. Без участия же кадетской партии образовать устойчивый кабинет было невозможно. Причины были следующие: князь Львов одним из последних указов императора Николая II был назначен председателем первого ответственного перед палатами совета министров и таким образом носил на себе преемственность власти, делегированной ему от лица еще несверженной верховной власти[1]), к тому же, учитывая популярность князя Львова, как руководителя деятельности Всероссийского Земского Союза, и приемлемость его кандидатуры для всех политических групп, выбор председателя правительства остановился на нем. Все остальные министры были избраны из популярнейших общественных деятелей, каковыми являлись: Милюков, Шингарев, Гучков, Годнев, как бессменный работник по контрольным вопросам, Владимир Львов — знаток церковных вопросов, постоянный председатель комиссии Государственной Думы по церковным делам, Терещенко—крупный финансовый и популярный деятель в Киеве, и, наконец, Керенский, который должен был быть введен в состав кабинета по требованию демократических элементов, без соглашения с которыми не было никакой возможности водворить даже подобие порядка и создать популярную власть.

Указанный мною только что зародыш двоевластия проявился на первых же порах, и позволительно задать себе вопрос, была ли Государственная Дума вообще, а в частности ее председатель, облечена тем полным доверием и той полнотой власти, которая рисовалась на местах, в провинции, не преувеличено ли было в стране представление о могуществе над толпой Государственной Думы и не было ли уже в столице на первых же порах такого тайного лозунга среди революционной демократии, в силу которого на первый план выдвигалась Государственная Дума только как щит, долженствующий прикрыть дальнейшие революционные действия?

Позволяю ответить на этот вопрос несколькими чрезвычайно характерными фактами: 27 февраля, т.-е. в первый день переворота, неизвестно по чьему распоряжению, сол-

---

[1]) „Лойяльного" Родзянку, естественно, волновал вопрос о „законности" и „преемственности" новой власти. Но и гораздо более „революционные" думцы были не чужды этого. В частности „сам" Керенский весьма кичился „преемственным" (от Николая II!) происхождением своей власти. См. его „Гатчину". *Ред.*

даты петроградского гарнизона начали производить аресты, и одним из первых приведенных в Думу арестованных сановников старого режима был председатель Государственного Совета И. Г. Щегловитов. Он был приведен ко мне группою солдат, мне совершенно неизвестных, кажется, Преображенского полка, если память не изменяет мне, и когда я, пораженный этим произволом, для которого не сделано было никакого распоряжения, пригласил И. Г. Щегловитова пожаловать ко мне в кабинет, солдаты наотрез отказались выдать его мне, объяснив, что они отведут его к Керенскому или в Совет Рабочих Депутатов. Когда я попробовал проявить свой авторитет и строго приказал немедленно подчиниться моему распоряжению, то солдаты сомкнулись вокруг своего пленника и с самым вызывающим, дерзким видом показали мне на свои винтовки, после чего, без всяких обиняков, Щегловитов был уведен неизвестно куда.

Лозунги социальной революции.

Инцидент этот послужил первым поводом к столкновению между мною и Советом Рабочих Депутатов, но он был улажен в виду того, что выпустить И. Г. Щегловитова на свободу — значило бы подвергнуть его просто-на-просто самосуду толпы, а потому он был временно задержан в министерском павильоне Государственной Думы, а впоследствии, распоряжением Временного Правительства, был препровожден в Петропавловскую крепость.

2 марта в Государственную Думу к ее председателю явился Семеновский полк в полном своем составе, но с малым числом офицеров, после моей приветственной речи устроил мне шумную овацию, проводил с криками „ура“ в мой кабинет, где в это время собрался Временный Комитет Государственной Думы.

Но немедленно выступивший после моей речи оратор, член Государственной Думы Чхеидзе, стремился опорочить речь председателя Государственной Думы и посоветовал семеновцам вновь потребовать меня, дабы я точно и определенно высказал свои взгляды по поводу учреждения в России демократической республики и разрешения вопроса о земле. Когда я пришел в зал к Семеновскому полку, настроение солдат было уже совсем не то, каким было прежде, а, напротив, было чрезвычайно агрессивным. Тем не менее, удалось полк, взволнованный речью члена Думы Чхеидзе, успокоить ссылкой на то, что все эти вопросы подлежат разрешению не представителя Государственной Думы и не Временного Правительства, а Учредительного Собрания.

3 марта явившийся тоже демонстративно в Государственную Думу 2-й флотский экипаж держал себя еще более агрессивно, и офицеры, его приведшие, в большинстве случаев юные, только что произведенные мичманы, произносили тут же, в зале, зажигательные речи, причем один из них в моем присутствии без всяких обиняков заявил, что меня нужно, как заведомого буржуя, расстрелять, что, повидимому, матросы были не прочь исполнить.

И только благодаря вмешательству других офицеров, изобразивших матросам всю нелепость их поведения по отношению к Государственной Думе и ее председателю, мне удалось избежать в этот момент расстрела [1]).

Таким образом, из этих трех фактов можно вывести заключение, что авторитет и полнота власти Государственной Думы и ее председателя, в столице, по крайней мере, стояли не так высоко, как казалось с места.

Из приведенных мною примеров ясно видно, что уже 27 февраля сформировавшийся Совет Рабочих Депутатов, присоединивший к себе еще название Солдатских Депутатов, имел определенную программу действий в смысле превращения политически-национального переворота в социальную революцию [2]), основанную на беспощадной классовой борьбе под лозунгом углубления революции. Его целью уже тогда, очевидно, была жестокая борьба с буржуазией во имя победы пролетариата и водворения его владычества, и, конечно, проводимые впоследствии кровью и железом в жизнь социалистические учения большевиков были в некоторой степени исповедуемы и этой частью революционной демократии, зараженной теориями интернационализма.

Точно так же очевидно и то, что успехи социалистических партий были обязаны абсолютной солидарности с ними и готовности поддерживать их везде и всегда тех запасных батальонов, о которых я говорил уже, а в частности батальонов петроградского гарнизона. Создавая эти батальоны без надлежащего за ними надзора, правительство создало в сущности вооруженный народ, который в полной своей разнузданности и выполнил кровавые дела.

Руководители движения не считались вовсе с национальными запросами России, но вели свое дело осторожно, идя как бы в союзе с буржуазными элементами в деле подавления

---

[1]) Судя по тому, что даже Щегловитов был лишь арестован, а не расстрелян, позволительно усумниться в серьезности угрожавшей Родзянке опасности. Скорее всего почудившийся Родзянке „расстрел“ был плодом его испуга. *Ред.*

[2]) Такой „программы“ у Совета тогда, конечно, не было. Да и не могло быть ввиду преобладания в нем меньшевиков и эс-эров. Здесь мы опять имеем дело с простым испугом. *Ред.*

нарождающейся анархии и приведения страны к порядку. Эту скрытую цель Временный Комитет и Временное Правительство не уяснили себе в достаточной степени и своевременно не поставили вопрос ребром, о чем будет сказано ниже.

Достаточно упомянуть здесь, что производимые в столице якобы самочинные аресты совершались без ведома Временного Комитета Государственной Думы и его распоряжения.

Временный Комитет неоднократно объявлял о незакономерности таких арестов, но они продолжались с поразительной планомерностью, причем производившими их воинскими чинами постоянно указывалось имя члена Государственной Думы Керенского, как руководителя их действий.

Волнение в обществе было чрезвычайно и порождало невероятное количество затруднений.

Собравшийся, если память мне не изменяет, 3 марта офицерский состав петроградского гарнизона в числе около ста тысяч (?!) [1]) человек, в здании Собрания Армии и Флота, вынес самые резкие резолюции до требования ареста императора Николая II; их многочисленная депутация явилась ко мне ночью во Временный Комитет с целью поддержать свои резолюции, и с трудом удалось успокоить взволнованную до невозможности публику. В то же время начались агрессивные действия и настроения солдат против своих офицеров, образовалась группа офицеров-республиканцев, и революционное движение стало принимать все более и более острый и сложный характер.

В скором времени вспыхнул Кронштадтский бунт, известный всем по своему кровопролитному характеру, и, не взирая на численное превосходство петроградского гарнизона над кронштадтским, Временное Правительство ничего сделать с этим бунтом не могло, так как части петроградского гарнизона не соглашались итти усмирять своих взбунтовавшихся товарищей.

Номинальный характер власти Временного Правительства.

Мало-по-малу Совет Рабочих Депутатов, присоединивший к себе имя и Солдатских Депутатов, развивался все более и более, получая поддержку из провинции, главным образом, из запасных батальонов, находящихся на местах, о которых я говорил выше.

---

[1]) Трудно сказать, откуда взял Родзянко такую фантастическую цифру, превосходящую в три раза даже число хлестаковских курьеров. Повидимому, здесь просто „опечатка“. На самом деле на собрании было 1.000—2.000 челов. *Ред.*

Приобретая моральную силу и авторитет в глазах революционной демократии, а вернее сказать, рабочего пролетариата в столице и на местах, он немедленно приступил к изобличению Государственной Думы вообще и ее председателя в частности в контр-революционности и повел атаку на Временное Правительство.

На чем же основывалось такое обвинение Государственной Думы в контр-революционности со стороны революционной демократии? Как я уже говорил, Государственная Дума не хотела революции во время войны, отлично понимая, что переменить государственный и связанный с ним общественный строй, произвести это потрясение и благополучно довести войну до конца—такое действие выше сил и энергии какого бы то ни было народа. Но, как видите, сила хода исторических событий оказалась сильнее нашей воли, и Государственная Дума была вовлечена и невольна связана с революцией. Революция пришла снизу, помимо Думы. Но пока дело шло о спасении России, пока революция базировалась на сознании необходимости во что бы то ни стало достигнуть победы, страна могла оправдать позицию, занятую народным представительством. Но когда классовые интересы и классовая борьба под лозунгами углубления революции стали затушевывать национальный интерес, затемнять величие родины, ввергая ее в бездну несчастий и позора, и когда ее вели по пути отказа защищать честь, достоинство и целость родины, когда приходилось ответить на вопрос: за революцию и против России или, обратно, за Россию и против революции, то, конечно, Государственная Дума не могла поступить иначе, как отвергнуть такой вопрос, и потому прослыла очагом контр-революции.

Таким образом, вместо согласованных действий Временного Правительства со всеми слоями населения, получалось резко и характерно выраженное двоевластие.

Член правительства Керенский, занимавший тогда пост министра юстиции, состоял одновременно и товарищем председателя Совета Рабочих и Солдатских Депутатов и не только получал директивы отсюда, но вынужден был на первых порах постоянно являться на собрания Совета, давать объяснения и, естественно, в качестве причастного к этой организации лица, вносить полученные директивы и требовать их проведения в недрах Временного Правительства.

Здесь уместно будет дать хотя бы краткую характеристику А. Ф. Керенского, этого яркого и гибельного для России государственного деятеля. А. Ф. Керенский для меня, хорошо его знающего, был совершенно ясен. В высшей степени беспринципный человек, легко меняющий свои

убеждения, мысли, не глубокий, а, напротив, чрезвычайно поверхностный, он не представлял для меня типа серьезного государственно-мыслящего человека. Его речи в Государственной Думе, всегда нервно-истеричные, были в большинстве случаев бессодержательны, в виде фейерверка громких, звонких фраз, и невсегда даже соответствовали его внутреннему настроению. Так, например, в начале лета 1916 г., когда стало очевидным, что Государственной Думе нет больше дела, и члены Думы стали поговаривать, что пора бы распустить их на каникулы по домам, Керенский разразился громовой речью по адресу своих товарищей членов Думы. Он упрекал их в нежелании положить свои труды на пользу родины, укорял их в том, что они будто бы готовы судьбу отчизны отдать в бесконтрольное распоряжение бездарного, развращенного правительства, сыпал на их головы упреки в измене и угрожал народным гневом. Речь была страстная, горячая и стремительная. Я председательствовал в это время, и, когда А. Ф. Керенский кончил, я, передав председательствование своему товарищу, направился к выходу из зала заседания. Здесь меня встретил Керенский и сказал: „Когда же, наконец, Михаил Владимирович, вы нас распустите? Пора и по домам, нам больше делать нечего". Когда же я высказал ему свое несказанное удивление по поводу несоответствия таких слов с содержанием только что произнесенной им речи, я получил в ответ такие слова: „Одно дело кафедра, где требуется подчинение партийным лозунгам, чтоб нанести удар врагам, а другое—это существо дела, обсужденное беспристрастно". В этом ответе Керенский сказался весь во всем своем существе. Я смело утверждаю, что никто не принес столько вреда России, как А. Ф. Керенский. Любитель дешевых эффектов, рисующийся демагогическими принципами, Керенский был всегда двуличен, заигрывал со всеми политическими течениями и не удовлетворял решительно никого, — безвольный, без всяких твердых государственных принципов, бесспорно, тайно покровительствовавший большевикам [1]). Ведь несомненно, кроме того, что Керенский способствовал ввозу в Россию в запечатанных, для видимости только, вагонах того букета главарей большевизма, которые, добившись, при помощи главным образом тех же револю-

[1]) Это, конечно, неправда. Керенский органически не в состоянии был не только покровительствовать большевикам, но даже и „заигрывать". Если ему все же приходилось в силу необходимости терпеть большевиков и мириться с ними, то ведь и Родзянке также приходилось мириться с революцией. Было бы смешно обвинять его за это в тайном покровительстве ей. *Ред.*

ционизированных запасных батальонов власти, залили кровью и покрыли позором всю матушку Россию. Это он, несомненно, из тайного сочувствия к большевикам, но, быть может, и в силу иных соображений, побудил Временное Правительство согласиться на этот преступный акт. Керенский не мог не понимать, к чему поведет эта свобода проповеди коммунизма и анархии, и, тем не менее, не принял мер к ограждению родины от ее растлевающего влияния. Комментарий тут излишен [1]).

Хотя Керенский и балансировал во все стороны, однако же справедливость требует напомнить, что некоторое время он был всеобщим оракулом, вождем и любимцем. Им увлекались все, веря его заманчивым обещаниям, из которых он, однако же, ни одного не выполнил.

Так же точно и Временное Правительство неожиданно для меня оказалось тоже не чуждо влияния Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, обнаружив сильный крен в его сторону. Сразу по своем вступлении во власть оно стало как бы игнорировать Временный Комитет Государственной Думы, но чутко прислушивалось к мнениям и прениям Совета Рабочих и Солдатских Депутатов. Была даже учреждена специальная комиссия, называющаяся контактной, для согласованности действий. Однако, никаких мер для связи своих действий с Временным Комитетом Государственной Думы Правительство не приняло.

Ошибки Временного Правительства.

21 апреля состоялось выступление некоторых частей петроградского гарнизона, выразившееся в уличных манифестациях с плакатами, на которых было написано: „Долой Милюкова! Долой Временное Правительство!".

Коренная и роковая ошибка князя Львова, как председателя совета министров, и всех его товарищей заключалась в том, что они сразу же в корне не пресекли попытку поколебать вновь созданную власть, и в том, что они упорно не хотели созыва Государственной Думы, как антитезы Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, на которую, как носительницу идеи верховной власти, правительство могло бы всегда опираться и вести борьбу с провозглашенным принципом углубления революции, знаменующим на самом деле лишь развитие национально-политической революции в социально-интернациональную.

---

[1]) Эта гневная тирада тоже не требует комментария. Однако необходимо еще раз отметить, что Родзянко сильно преувеличивает „вину" Керенского во всем этом. *Ред.*

А, между тем, в конце концов, необходимость в такой конструкции власти была признана, и, распустив Государственную Думу, правительство Керенского создало Совет Российской Республики при Временном Правительстве, который вскоре пал под давлением и пулеметами большевиков. Поэтому совершенно непонятно, почему правительство князя Львова на первых же порах отшатнулось и старалось отмежеваться от Государственной Думы, тогда еще весьма популярной в стране и обладавшей всеми возможностями быть буфером для правительства при напоре на него чрезмерно революционного течения.

Временное Правительство оказалось, таким образом, однобоким и, под настойчивым напором гласной кафедры Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, имевших свой печатный орган, не имело, с другой стороны, опоры в более умеренных элементах страны, не создало такого учреждения, вокруг которого эти умеренные элементы могли бы объединиться и дать Временному Правительству надежную точку опоры.

Временному Правительству пришлось танцовать на одной левой ноге, не имея фундамента под правой, а поэтому оно, очевидно, и потеряло равновесие, было вовлечено в водоворот все возрастающего революционного настроения столицы и удержаться на своих принятых позициях—умиротворения страны и доведения ее до Учредительного Собрания,—конечно, не было уже в силах.

Вот та грубая ошибка, которую совершил князь Львов в силу своего безволия, а также и умеренные элементы, входившие тогда в состав руководителей внутренней жизни страны.

Мог ли бороться с таким явлением Временный Комитет Государственной Думы?

Несколько выше мною было указано, что фактически 27 февраля 1917 года реальной силой войска завладели социалистические партии, скрывая, однако, до поры до времени это обстоятельство и прикрываясь Государственной Думой, как временным щитом. Но в таком же точно положении оказалось буржуазное Временное Правительство, потому что войска петроградского гарнизона поддерживали его постольку, поскольку его деятельность была согласована с Советом Рабочих и Солдатских Депутатов. Таким образом, при нежелании созданного Временным Комитетом Правительства считаться с первым, Комитету, не обладавшему уже силой штыка, оставался только один путь борьбы— платонические протесты, на которые Временное Правительство перестало даже обращать внимание, хотя само оно оказывалось бессильным при напоре на него с левой сто-

роны. Между тем, влияние Совета Рабочих и Солдатских Депутатов возрастало очень быстро, распространяясь преимущественно среди армии и рабочих классов. Так, все прибывающие из армии депутаты, являясь сначала к председателю Государственной Думы, шли засим в Совет Рабочих и Солдатских Депутатов и с невероятной легкостью усваивали его теории и миросозерцание, возвращаясь в армию уже сторонниками Совета. Явление это было повальное и принесло свои пагубные плоды, расшатав в корне дисциплину в войсках.

Для широкой публики остается невыясненным вопрос, почему Государственная Дума как бы стушевалась на первых же порах и не проявила достаточной жизненности, не собираясь в заседания и не продолжая своей законодательной работы.

Причины этого явления довольно сложны и лежат, с одной стороны, в самой сущности революционного переворота, а с другой—находят себе объяснение отчасти в неподготовленности членов Государственной Думы к упорному сопротивлению в революционной борьбе и в сущности отношений к вопросу о созыве Государственной Думы в данный момент различных думских фракций.

Не надо забывать, что Государственная Дума 26 февраля указом императора Николая II была распущена и занятия ее прерваны на неопределенный срок одновременно с Государственным Советом.

Таким образом, юридически при действующей конституции Государственная Дума собраться не могла, но, когда Временному Комитету Государственной Думы, как то разъяснено выше, пришлось возглавить начавшееся революционное движение и взять всю власть в свои руки, явился естественный вопрос, что и акт отречения императора Николая II с передачей верховной власти великому князю Михаилу Александровичу и отречением от нее последнего должны состояться в публичном заседании Государственной Думы.

Государственная Дума, таким образом, явилась бы носительницей верховной власти и органом, перед которым Временное Правительство было бы ответственным. Таков был проект председателя Государственной Думы. Но этому проекту решительно воспротивились, главным образом, деятели кадетской партии, а с нею, само собой разумеется, и все левое крыло Государственной Думы. Как ни настаивал председатель Государственной Думы на необходимости созыва Государственной Думы, юристы кадетской партии резко возражали ему на основании следующих аргументов: во-первых, говорили они, при созыве Государствен-

ной Думы является юридическая необходимость и созыва Государственного Совета, если считать, что действующая конституция остается в силе. С их точки зрения, однако, невозможно было бы подвести обоснованного юридического фундамента под такое толкование. Во-вторых, деятели кадетской партии считали, что созыв Государственной Думы явился бы сам по себе бесцельным, так как Государственная Дума в составе своем, несомненно, была буржуазная и сделалась бы объектом атаки в целях ее свержения со стороны крайних элементов для учреждения национального или иного собрания, более демократического и более подходящего к революционному настроению страны. В-третьих, указывалось, что при настоящем положении страны должно быть правительство, обладающее абсолютной полнотой власти до права законодательствовать включительно, так как события, сопровождающиеся революционными эксцессами, могли бы потребовать принятия экстраординарных мер, и необходимость в этом случае санкции Государственной Думы, как это проектировал председатель Государственной Думы, с их точки зрения, тормозила бы только планомерную деятельность правительства, направленную к упорядочению дела войны и внутренней жизни государства. Форма опять победила существо. Деятели кадетской партии просто не хотели иметь действующую Думу, чтобы пользоваться во всей полноте своею властью.

При таких условиях председатель Государственной Думы не мог принять на себя ответственность созыва Государственной Думы и признал более правильным выждать время, когда—для него было ясно, по крайней мере, ясным казалось —Временное Правительство будет вынуждено обратиться к Государственной Думе для того, чтобы в ней найти опору против чрезмерного развития революционных эксцессов. Но Временное Правительство на первых же порах слишком преувеличивало значение своей популярности, силы и влияния своей власти, а потому ошибочно не использовало популярности Государственной Думы и вовсе не учло того обстоятельства, что крайние революционные демократические и социалистические круги на самом деле отнюдь не намерены были предоставить всю полноту власти Временному Правительству, состоящему в большинстве своем из буржуазных элементов, и что атака на него воспоследует в ближайшие дни.

Считаю теперь уместным сказать несколько слов о том, насколько обвинение Государственной Думы в том, что она на первых порах революции развратила армию, по существу своему справедливо.

Приказ № 1.

Прежде всего я буду говорить об истории пресловутого приказа № 1 [1]).

Установилось довольно твердое убеждение [2]), что этот приказ № 1 написан и издан Государственной Думой или, вернее, Временным Комитетом ее и был издан за подписью Военного Министра Гучкова. Но простое сопоставление исторических дат разрушает в корне обвинение и подозрение.

Приказ № 1 появился утром 2 марта [3]) 1917 года, когда Временное Правительство, в состав которого вошел, как военный министр, Гучков, еще не существовало; оно было

---

[1]) Приказ № 1.

1 марта 1917 года.

По гарнизону Петроградского Округа. Всем солдатам гвардии, артиллерии и флота для немедленного и точного исполнения, а рабочим Петрограда для сведения:

1. Во всех ротах, батальонах, полках, парках, батареях, эскадронах и отдельных службах разного рода военных управлений и на судах военного флота немедленно выбрать комитеты из выборных представителей от нижних чинов вышеуказанных воинских частей.

2. Во всех воинских частях, которые еще не выбрали своих представителей в Совет Рабочих Депутатов, избрать по одному представителю от рот, которым и явиться с письменными удостоверениями в здание Государственной Думы к 10 часам утра 2 сего марта.

3. Во всех своих политических выступлениях воинская часть подчиняется Совету Рабочих и Солдатских Депутатов и своим комитетам.

4. Приказы военной комиссии Государственной Думы следует исполнять только в тех случаях, когда они не противоречат приказам и постановлениям Совета Рабочих и Солдатских Депутатов.

5. Всякого рода оружие, как-то: винтовки, пулеметы, бронированные автомобили и прочее, должны находиться в распоряжении и под контролем районных и батальонных комитетов и ни в коем случае не выдаваться офицерам, даже по их требованиям.

6. В строю и при отправлении служебных обязанностей солдаты должны соблюдать строжайшую воинскую дисциплину, но вне службы и строя, в своей политической, общегражданской и частной жизни солдаты ни в чем не могут быть умалены в тех правах, коими пользуются все граждане.

В частности вставание во фронт и обязательное отдание чести вне службы отменяется.

7. Равным образом отменяется титулование офицеров: ваше превосходительство, благородие и т. п., и заменяется обращением: господин генерал, господин полковник и т. д.

Грубое обращение с солдатами всяких воинских чинов и в частности обращение с ними на „ты" воспрещается, и о всяком нарушении сего, равно как и о всех недоразумениях между офицерами и солдатами последние обязаны доводить до сведения ротных комитетов.

Настоящий приказ прочесть во всех ротах, батальонах, полках, экипажах, батареях и прочих строевых и нестроевых командах.

Петроградский Совет Рабочих и Солдатских Депутатов.

[2]) Речь идет опять о крайних правых, перед которыми оправдывается Родзянко. *Ред.*

[3]) В воинские части он был сообщен еще 1-го марта. *Ред.*

сформировано днем 2 марта, и декрет об его сформировании Правительствующему Сенату был опубликован Временным Комитетом за моею подписью лишь 3 марта.

Таким образом, Гучков, как военный министр, такого приказа подписать не мог.

Что же касается до Государственной Думы, то из пред'идущего моего сообщения ясно видно, что отношение Думы к армии было вовсе не таково, чтоб задаваться целью ее разрушить.

Наконец, ведь совершенно очевидно, что если Дума возглавляла революцию, то ей прежде всего необходима была бы строго дисциплинированная и послушная армия, а не орда диких разнузданных людей, непризнающих ни властей, ни авторитетов. Разложение и уничтожение боеспособности армии могло быть на руку тем, для кого сильная, скованная армия представляла внушительную угрозу, т.-е. Германии, и вот почему я ни одной минуты не сомневаюсь в немецком происхождении приказа № 1 [1]).

Вечером 1 марта в созданную при Временном Комитете Военную Комиссию под председательством члена Думы Энгельгардта явился неизвестный солдат от лица избранных представителей петроградского гарнизона, потребовавший выработки приказа, регулирующего на новых основаниях взаимоотношения офицера и солдата, на что Энгельгардт ответил резким отказом, указав на то, что Временный Комитет находит недопустимым издание такого приказа.

Тогда солдат этот заявил полковнику Энгельгардту: „Не хотите, так мы и без вас обойдемся".

В ночь с 1 на 2 марта приказ этот был напечатан в огромном количестве экземпляров распоряжением Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, которому абсолютно подчинялись рабочие всех типографий Петрограда, и неизвестным Временному Комитету распоряжением был разослан на фронт.

Когда это дошло до сведения Временного Комитета —Временного Правительства еще тогда не существовало,— Комитетом было сделано постановление о том, что этот приказ считается недействительным и незаконным.

Произошло крупное объяснение с Советом Рабочих и Солдатских Депутатов, и в результате этот последний

---

[1]) Сомневаться или не сомневаться в правдоподобности клеветнических измышлений – это, конечно, дело совести самого Родзянки. Фактически установлено лишь то, что приказ № 1 был продуктом коллективного творчества самих солдат. Окончательная же редакция его принадлежит специально для этого выбранной Советом комиссии во главе с Н. Д. Соколовым. *Ред.*

выпустил в одном из номеров своих „Известий“ другой приказ, в котором объявлялось для всеобщего сведения, что приказ № 1 обязателен только для петроградского гарнизона и войск Петроградского Военного Округа.

Но, конечно, вредное дело было сделано.

Благодаря чрезвычайно активной работе, направленной уже тогда против Временного Комитета Государственной Думы, я не могу с уверенностью утверждать, что распоряжение Временного Комитета, аннулирующее силу и значение приказа № 1, было своевременно напечатано и своевременно получено на фронте.

В книге г. Клод Анэ „Русская революция“, изданной в Париже в 1918 году, мы находим следующее заявление одного из главных деятелей Совета Рабочих и Солдатских Депутатов г. Иосифа Гольденберга: „Приказ № 1 не был ошибкой, это была необходимость. Это не есть редакция Соколова, это есть выражение единогласной воли Совета Рабочих и Солдатских Депутатов. В тот день, когда мы создали революцию, мы поняли, что если мы не разрушим прежнюю армию, то она в свою очередь раздавит революцию. Нам надо было выбирать между армией и революцией. Мы не колебались: мы выбрали последнюю и применили, смею сказать, гениальным образом необходимые средства“.

Поэтому самым решительным, самым категорическим образом заявляю, что ни Временный Комитет, ни Государственная Дума решительно не при чем в его издании, а, наоборот, принимались все возможные в то время и зависящие от них меры к аннулированию его значения и даже к уничтожению, и что Гучков никогда такого приказа не подписывал.

По всей вероятности, участие Гучкова в издании приказа № 1 смешивают с участием его в до-нельзя ошибочном и вовсе ненужном учреждении военной комиссии генерала Поливанова, результат работы которой вылился в пресловутой декларации прав солдата. Но опять-таки Гучков повинен только в учреждении вредной комиссии генерала Поливанова, но когда революционное течение взяло в этой комиссии верх и получился прискорбный результат, Гучков отказался подписать декларацию—создался министерский кризис; Гучков вышел в отставку, и декларация была подписана Керенским.

Действующая армия и Государственная Дума.

Тем не менее, Временный Комитет Государственной Думы учел возможные последствия издания этого приказа, и вследствие этого немедленно были сформированы партии

из членов Государственной Думы и откомандированы в действующую армию на фронт для того, чтобы путем личных бесед с солдатами и офицерами разъяснить смысл и существо происшедших в столице событий, значение совершившегося переворота и те обязанности, которые новая форма правления возлагает на действующую армию.

Точного и ясного понимания настроения действующей армии и отношения ее к перевороту мы еще составить себе не могли, за отсутствием сведений и быстротой развивавшихся событий, *но самый факт, что все командующие фронтами, начиная с великого князя Николая Николаевича, посоветовали императору Николаю II отречься от престола, служил достаточным показателем, что к перевороту, совершившемуся в Петрограде, относятся в армии положительно, а то, что проект текста отречения был составлен в ставке и послан императору во Псков*, ярко подтверждает эту мысль.

О том, как относилась Государственная Дума, ее Временный Комитет и председатель, лучше всего можно судить по нижеследующим документам. 27 февраля мною были сказаны следующие слова 9-му запасному кавалерийскому полку в конце речи: „Приглашаю вас, братцы, помнить, что воинские части только тогда сильны, когда они в полном порядке и когда офицеры находятся при своих частях. Православные воины, послушайте моего совета. Я—старый человек, я вас обманывать не стану,—слушайте офицеров, они вас дурному не научат и будут распоряжаться в полном согласии с Государственной Думой. Да здравствует Святая Русь!“

На Московском Государственном Совещании в августе 1917 года в обращении моем к правительству были сказаны г. Керенскому такие слова: „Ваша вина, это—дезорганизация армии, которая не сумела противостоять неприятельскому натиску. Причина этой дезорганизации—не в войсках. Я видел, как наша армия без ружей отбивалась от вооруженного неприятеля лопатами и топорами, а теперь эти герои оказываются преисполненными страха. Неужели правительство не имело силы, а если имело, то почему не употребило ее для того, чтобы остановить преступную агитацию, которая развратила нашего солдата и сделала его небоеспособным“.

В резолюции IV Государственной Думы на том же Московском Совещании в пункте 2-м говорится: „Для достижения указанных целей боеспособность армии должна быть установлена в кратчайший срок путем полного устранения политики из армии вплоть до избрания Учредительного Собрания. Необходимо восстановление дисциплинарной власти начальников, ограничение деятельности комитетов

исключительно хозяйственными функциями, проведение прав солдата и гражданина, строгое соответствие его гражданских и военных обязанностей, предоставление верховному главнокомандующему возможности осуществить во всем объеме права, предоставленные ему законом, необходимые для единого руководства делом армии".

Если к этому прибавить, что армия еще задолго до переворота носила в себе признаки разложения, о чем я говорил раньше, то быстрота, с которою это разложение фактически совершилось, станет понятной.

Революция сразу смела все традиционные устои в армии, не успев создать новые, и спустила вековое политическое знамя. Солдаты, видя это и не ощущая цели дальнейшей борьбы, просто потянулись домой в виду начавшихся смут в тылу и, конечно, под влиянием преступной пропаганды. Это самовольное обратное шествие по домам шло преступной и кровавой дорогой.

Все, что было возможно для пресечения этих явлений, Государственной Думой было сделано, но еще раз повторяю, что развитие революционного настроения среди пролетариата приняло такие формы, бороться с которыми уже не представлялось возможным, не имея поддержки в вооруженной силе, которая, выбитая из колеи, отказалась повиноваться Государственной Думе и Временному Правительству. Исторический ход событий остановить было невозможно.

Активная и упорная работа элементов, враждебных Государственной Думе, принесла свои обильные плоды, и значение Государственной Думы, не имеющей уже опоры ни в войсках, ни во Временном Правительстве, было сначала мало-по-малу поколеблено и в народных массах, а затем начало бледнеть и терять свое значение.

В период наибольшего развития революционного движения, когда оно достигло зенита—высшей точки своего проявления,—Государственная Дума, как элемент законности и порядка, а не разрушения, должна была уступить место более активным и агрессивным элементам революции.

Я не буду более утомлять внимания читателей развитием и объяснением тех обстоятельств и событий, которые привели наше отечество к настоящему положению. Из изложенного ясно видно, что иного хода событий ожидать было нельзя...

В. В. ШУЛЬГИН.

Дни [1]).

Предпоследние дни конституции.

Итак,— вот...

Хоровод „мятежных душ“, неудовлетворенных жизнью, любовью. В поисках за „ключами счастья“ одни из них ударяются в мистицизм, другие—в разврат... Некоторые—и в то и в другое... Увы, они танцуют на вершинах нации... свой ужасный „danse macabre“ [2])... Этот своеобразный „журавель“ начала века — grand rond [3]) или, лучше сказать, cercle vicieux [4]) вьется круговым рейсом через столицу: от дворцов к соборам, от соборов к притонам и обратно. Этот столичный хоровод естественно притягивает к себе из глубины России, с низов, родственные души... Там, на низах, издревле, с незапамятных времен ведутся эти дьявольские игрища, где мистика переплетается с похотью, лживая вера—с истинным развратом... Что же удивительного, что санкт-петербургская гирлянда, мистически-распутная, притянула к себе Гришку Распутина, типичного русского „хлыста“?... Вот на какой почве произошло давно-жданное слияние интеллигенции с народом!.. Гришка включился в цепь и, держа в одной руке истеричку-мистичку, а в другой — истеричку-нимфоманку, украсил балет Петрограда своей двуликой фасой—кудесника и сатира...

---

[1]) Печатаемые ниже очерки Шульгина мы заимствуем из издаваемого за границей П. Струве журнала «Русская Мысль» (1922 — 23 г.). Они разбиты автором на три части, посвященные важнейшим „дням“ печальной памяти витте-столыпинской „конституции“: „первым“ (1905 — 1906 г.), „предпоследним“ (1916 — 1917 г.) и „последним“ (конец февраля, начало марта 1917 г.). Непосредственный интерес для нас имеют лишь вторая и третья части, относящиеся к февральской революции и предшествующим ей событиям. Ими и ограничиваемся мы в этом сборнике. Но и здесь, в целях уменьшения размеров книги, пришлось сделать некоторые сокращения. Они почти целиком падают на вторую часть („предпоследние дни“). Из всего этого обширного вступления мы оставляем лишь его заключительную часть, где Шульгин, подводя итоги предыдущему, дает меткую и довольно верную характеристику распутинщины. *Ред.*

[2]) Чумный танец. *Ред.*

[3]) Большой круг. Одна из фигур кадрили. *Ред.*

[4]) Порочный круг. *Ред.*

Ужас в том, что хоровод этот пляшет слишком близко к престолу... можно сказать, у подножия трона... Благодаря этому Гришка получил возможность оказать свое странное влияние на некоторых великих княгинь... Эти последние ввели его к императрице...

Хлыст не обязан быть идиотом... Хлыст может быть и хитрым мужиком... Гришка прекрасно знал, где каким фасом своего духовного обличья поворачиваться...

Во дворце его принимали, как святого старца, чудодейственного человека, предсказателя...

„Скажи мне, кудесник, любимец богов"...

Императрица во всякое время дня и ночи дрожала над жизнью единственного сына.

Кудесник очень хорошо все понял и ответил:

— Отрок Алексей жив моей грешной молитвой... Я, смиренный Гришка, послан богом охранять его и всю царскую семью: доколе я с вами, не будет вам ничего худого...

„Грядущие годы таятся во мгле—
Но вижу твой жребий на светлом челе"...

И никто не понял, когда этот человек переступил порог царского дворца, что это пришел тот, кто убивает...

Он убивает потому, что он двуликий...

Царской семье он обернул свое лице „старца", глядя в которое царице кажется, что дух божий почивает на святом человеке... А России он повернул свою развратную рожу, пьяную и похотливую, рожу лешего-сатира из Тобольской тайги... И из этого — все...

Ропот идет по всей стране, негодующий на то, что Распутин в покоях царицы...

А в покоях царя и царицы — недоумение и горькая обида... Чего эти люди беснуются?... Что этот святой человек молится о несчастном наследнике?... О тяжело-больном ребенке, которому каждое неосторожное движение грозит смертью — это их возмущает?! За что?.. Почему?!..

Так этот посланец смерти стал между троном и Россией... Он убивает, потому что он двуликий... Из-за двуличья его обе стороны не могут понять друг друга... Царь и Россия с каждым часом нарастающей обиды в сердце ведут друг друга за руку в пропасть...

Это было во дворце в. князя Николая Михайловича на набережной... Большая, светлая комната, не имевшая определенного назначения, служившая одновременно и кабинетом и приемной... Иногда тут даже завтракали совершенно интимно,—за круглым столиком...

Так было и на этот раз. За кофе в. князь заговорил о том, для чего он нас собственно позвал, —Н. Н. Львова и меня.

— Дело обстоит так... Я только что был в Киеве... И говорил с вдовствующей императрицей... Она ужасно обеспокоена... Она знает все, что происходит, и отчасти после разговора с ней я решился... Я решился написать письмо государю... Но совершенно откровенно... до конца... Все-таки я значительно старше, кроме того, мне ничего не нужно, я ничего не ищу, но не могу же я равнодушно смотреть... как мы сами себя губим!... Мы ведь идем к гибели... В этом не может быть никакого сомнения... Я написал все это... Но письма не пришлось послать... Я поехал в Ставку и говорил с ним лично. Но, так сказать, чтобы это было более определенно... к тому же, я лучше пишу, чем говорю... я просил разрешения прочесть это письмо вслух... И я прочел... Это было первого ноября...

В. князь стал читать нам это письмо.

Что было в этом письме?... Оно было написано в сердечных родственных тонах,—на „ты"... В нем излагалось общее положение и серьезная опасность, угрожающая трону и России. Много места было уделено императрице. Была такая фраза: „Конечно, она не виновна во всем том, в чем ее обвиняют, и, конечно, она тебя любит"... Но... но страна ее не понимает, не любит, приписывает ей влияние на дела,— словом, видит в ней источник всех бед...

Государь выслушал все до конца. И сказал:

— Странно... Я только что вернулся из Киева... Никогда, кажется, меня не принимали, как в этот раз...

На это в. князь ответил:

— Это, быть может, было потому, что вы были одни с наследником... Императрицы не было...

В. князь стал рассказывать еще. Много ушло из памяти — боюсь быть не точным.

В конце концов, Львов спросил:

— Как вы думаете, ваше высочество,—произвели впечатление ваши слова?

В. князь сделал характерное для него движение.

— Не знаю... может быть... боюсь, что нет... Но все равно... Я сделал... я должен был это сделать...

— Вы уезжаете?

Я уезжал в Киев. Пуришкевич остановил меня в Екатерининском зале Таврического дворца. Я ответил:

— Уезжаю.

— Ну, всего хорошего...

Мы разошлись, но вдруг он остановил меня снова.

— Послушайте, Шульгин, вы уезжаете, но я хочу, чтобы вы знали... Запомните: 16 декабря...

Я посмотрел на него. У него было такое лицо, какое у него уже раз было, когда он мне сказал одну тайну.

— Запомните 16 декабря...

— Зачем?

— Увидите... Прощайте...

Но он вернулся еще раз.

— Я вам скажу... Вам можно... 16-го мы его убьем...

— Кого?

— Гришку!

Он заторопился и стал мне объяснять, как это будет. Затем:

— Как вы на это смотрите?

Я знал, что он меня не послушает. Но все же сказал:

— Не делайте...

— Как?! почему?

— Не знаю... Противно...

— Вы белоручка, Шульгин!

— Может быть... Но может быть и другое... Я не верю во влияние Распутина.

— Как?!

— Да так... Все это вздор. Он просто молится за наследника. На назначение министров он не влияет [1]). Он хитрый мужик...

— Так по-вашему Распутин не причиняет зла монархии?

— Не только причиняет, а он ее убивает.

— Тогда я вас не понимаю...

— Но ведь это ясно. Убив его, вы ничему не поможете... Тут две стороны. Первая, это—то, что вы сами назвали „чехардой министров". Чехарда происходит или потому, что некого назначать, или, кого ни назначишь, все равно никому не угодишь, потому что страна помешалась на людях „общественного доверия", а государь как раз к ним доверия не имеет... Распутин тут не при чем... Убьете его,— ничто не изменится...

— Как не изменится?..

— Да так... Будет все по-старому... Та же „чехарда министров". А другая сторона, это—то, чем Распутин убивает: этого вы не можете убить, убив его... Поздно...

— Как не могу? Извините, пожалуйста!.. А что же, вот так сидеть?!... Терпеть этот позор?! Ведь вы же понимаете, что это значит! Не мне говорить, не вам слушать! Монархия гибнет!... Вы знаете, я не из трусливых... Меня не запугаешь... Помните вторую Государственную Думу?.. Как тогда ни было скверно, а я знал, что мы выплывем!..

---

[1]) Это, повидимому, не вполне искреннее утверждение Шульгина опровергается опубликованной Центрархивом перепиской Николая и Александры Романовых. *Ред.*

Но теперь... теперь я вам говорю, что монархия гибнет, а с ней мы все, а с нами — Россия!... Вы знаете, что происходит?! В кинематографах запретили давать фильму, где показывалось, как государь возлагает на себя георгиевский крест. Почему?.. Потому, что как только начнут показывать — из темноты голос: „царь-батюшка с Егорием, а царица-матушка с Григорием!"..

Я хотел что-то сказать. Он не дал:

— Подождите! Я знаю, что вы скажете... Вы скажете, что все это неправда, про царицу и Распутина... Знаю, знаю, знаю!!! Неправда, неправда, неправда!!! Но не все ли равно, я вас спрашиваю?! Подите, — доказывайте!.. Кто вам поверит? Вы знаете — Кай Юлий был не дурак: „и подозрение не должно касаться жены Цезаря"... А тут не подозрение... тут...

Он вскочил:

— Так сидеть нельзя! Все равно! Мы идем к концу! Хуже не будет. Убью его, как собаку... Прощайте!..

Когда наступило 16 декабря, они его действительно убили...

Это была попытка спасти монархию старо-русским способом: тайным насилием...

Весь XVIII век и начало XIX прошли под знаком дворцовых переворотов. Когда „случайности рождения" (выражение Ключевского) подвергали опасности „самую совершенную форму правления — единодержавие", какие-то люди, окружавшие престол, исправляли „случайности рождения" тайным, насильственным способом... При этом иногда обходилось без убийств, иногда нет...

В начале XX века эти люди стали мельче... На дворцовый переворот их не хватило... вместо этого они убили Распутина...

Цели это, конечно, не достигло. Монархию это не могло спасти потому, что распутинский яд уже сделал свое дело... Что толку убивать змею, когда она уже ужалила...

Но при всей его бесцельности убийство Распутина было актом глубоко-монархическим.

Так его и поняли...

Когда известие о происшедшем дошло до Москвы (это было вечером) и проникло в театры, публика потребовала исполнения гимна.

И раздалось, может быть, в последний раз в Москве: „Боже, царя храни"...

Никогда эта молитва не имела такого глубокого смысла...

Год—1917. Месяцы—январь-февраль. Чисель не помню.

Я получил в Киеве тревожную телеграмму Шингарева: он просил меня немедленно вернуться в Петроград.

Кажется, я приехал 8 января. В этот же день вечером Шингарев пришел ко мне.

— В чем дело, Андрей Иванович?

— Да вот! плохо! Положение ухудшается с каждым днем... Мы идем к пропасти... Революция, это—гибель, а мы идем к революции... Да и без революции все расклеивается с чрезвычайной быстротой... С железными дорогами опять катастрофически плохо... Они еще кое-как держались, но с этими морозами... Морозы всегда понижают движение, — а тут как на грех — хватило!... График падает. В Петрограде уже серьезные заминки с продовольствием... Не сегодня-завтра не станет хлеба совсем... В войсках недовольство. Петроградский гарнизон ненадежен. Меж тем, как вы знаете, наше военное могущество, техническое, выросло, как никогда... Наше весеннее наступление будет поддержано невиданным количеством снарядов... Надо бы дотянуть до весны... Но я боюсь, что не дотянем...

— Надо дотянуть...

— Но как? Зашло так далеко, пропущены все сроки; я боюсь, что если наша безумная власть даже пойдет на уступки, если даже будет составлено правительство из этих самых людей доверия, то это не удовлетворит... Настроение уже перемахнуло через нашу голову, оно уже левей прогрессивного блока... Придется считаться с этим... Мы уже не удовлетворим... Уже не сможем удержать... Страна уже слушает тех, кто левей, а не нас... Поздно...

— Чтобы додержаться, придется взять разгон... Знаете, на яхте... когда идешь, скажем, левым галсом, перед поворотом на правый галс надо взять еще левей, чтобы забрать ход... Если наступление будет удачно, мы сделаем поворот и пойдем правым галсом... Чтобы иметь возможность сделать этот поворот, надо забрать ход. Для этого, если власть на нас свалится, придется искать поддержки расширением прогрессивного блока налево...

— Как вы себе это представляете?

— Я бы позвал Керенского.

— Керенского? В качестве чего?

— В качестве министра юстиции, допустим... Сейчас пост этот не имеет никакого значения, но надо вырвать у революции ее главарей... Из них Керенский — все же единственный... Гораздо выгоднее его иметь с собой, чем против

себя... Но ведь это только гадание на кофейной гуще... Реально ведь никаких нет признаков, что правительство собирается, говоря попросту, позвать нас?

— Реально — никаких... Но напуганы все сильно... Там большое смятение... Надо быть ко всему готовым.

Ко мне пришел один офицер.

— Зная вас, я хочу вас предупредить.

— О чем?

— О настроении петроградского гарнизона... Вы не смотрите на то, что на каждой площади и улице они „печатают“ на снегу... С этой стороны за низ взялись... Но этим их не переделаешь... Вы знаете, что это за публика? Это маменькины сынки![1]). Это все те, кто бесконечно уклонялись под всякими предлогами и всякими средствами. Им все равно, лишь бы не итти на войну... Поэтому вести среди них революционную пропаганду — одно удовольствие... Они готовы к восприятию всякой идеи, если за ней стоит мир. А кроме того, и объективные причины есть для неудовольствия. Люди страшно скучены. Койки помещаются в три ряда, одна над другой, как в вагоне третьего класса. А ведь все они имеют удобные квартиры здесь. И вот, беснуются. Пойдет к себе домой и приходит совершенно красный. Для чего их тут держат? Это — самый опасный элемент. Чуть что — они взбунтуются. Вот помяните мое слово. Гнать их надо отсюда как можно скорей.

Был морозный ясный день. Едучи в Думу, я действительно чуть ли не на каждой улице видел эти печатающие шеренги. Под руководством унтер-офицеров они маршировали взад и вперед, приладонивая снег деревянными, автоматическими движениями.

Теперь я смотрел на них с иным чувством.

И вспомнилось мне, как еще в 1915 году жаловались мне на одну дивизию, набранную в Петрограде. Ее иначе не называли, как „С.-Петербургское беговое общество“. Куда ни пошлют ее в бой, она непременно убежит.

Я не помню хорошенько, когда это было. Кажется, в конце января. Где? Тоже не помню... Где-то на Песках. Эта была большая комната. Тут были все. Во-первых, члены бюро прогрессивного блока и другие видные члены Думы: Милюков, Шингарев, Ефремов, кажется, Львов, Шид-

---

[1]) Это, конечно, сущий вздор, имеющий целью опорочить революционно настроенные части. В подавляющем большинстве они состояли из ратников II разряда и старших возрастов I разряда. Конечно, немало было и «маменькиных сынков» буржуазного и аристократического происхождения. Но их меньше всего могли прельщать революционные идеи. *Ред.*

ловский, кажется, Некрасов... Кроме того, были деятели Земгора. Был и Гучков, кажется, князь Львов, Д. Щепкин и еще разные, которых я знал и не знал.

Сначала разговаривали — „так“, потом сели за стол... Чувствовалось что-то необычайное, что-то таинственное и важное. Разговор начался на ту тему, что положение ухудшается с каждым днем и что так дальше нельзя... Что что-то надо сделать... Необходимо сейчас же... Необходимо иметь смелость... чтобы принять большие решения... серьезные шаги...

Но гора родила мышь... Так никто не решился сказать... Что они хотели? Что думали предложить?

Я не понял в точности... Но можно было догадываться... Может быть, инициаторы хотели говорить о перевороте сверху, чтобы не было переворота снизу. А может быть, что нибудь совсем другое.

Во всяком случае — не решились... И, поговорив, разъехались... У меня было смутное ощущение, что грозное близко... А эти попытки отбить это огромное были жалки... Бессилие людей, меня окружавших, и свое собственное, в первый раз заглянуло мне в глаза. И был этот взгляд презрителен и страшен...

Н. сказал мне, что он хотел бы поговорить со мной наедине, доверительно... Я пригласил его к себе.

Он пришел. У него на моложавом лице всегда были большие розовые пятна, не знаю — от чахотки или от здоровья.

Он начал издалека. Но я его понял. Он зондировал меня насчет того, о чем воробьи чирикали за кофе в каждой гостиной, т.-е. о дворцовом перевороте... Я знал, что бесформенный план существует, но не знал ни участников, ни подробностей. Впрочем, слышал я о так называемом „морском“ плане. План этот состоял в том, чтобы пригласить государыню на броненосец под каким-нибудь предлогом и увезти ее в Англию, как будто по ее собственному желанию. По другой версии, уехать должен был и государь, а наследник должен был быть объявлен императором. Я считал все эти разговоры болтовней.

Н. говорил о том, что государственный корабль в опасности и, можно сказать, гибнет, и что поэтому требуются особые, исключительные меры для спасения экипажа и драгоценного груза.

— Если бы вам были предложены такие исключительные, из ряда вон выходящие меры для спасения экипажа и груза,— а ведь вместе они составляют русский народ, — пошли ли бы вы на эти совершенно невмещающиеся в обыденные

рамки, совершенно экстренные меры, пошли ли бы вы на них для спасения родины?

Я ответил не сразу, потому что понял сразу. Мне вдруг вспомнилось, как однажды Столыпин произнес свою знаменитую фразу: „Никто не может отнять у русского государя священное право и обязанность спасать в дни тяжелых испытаний богом врученную ему державу“... Я вспомнил, как бешено обрушились на Столыпина тогда кадеты за эту „неконституционную“ фразу. Теперь они же, кадеты, или один из них, предлагают для спасения этой же державы меры, настолько менее конституционные сравнительно с третьим июня, насколько шлюпка меньше броненосца.

Наконец, я ответил вопросом:

— Вы читали Жюль-Верна?

— Читал, конечно, но что именно?...

— Это неважно, потому что я не уверен, что это из Жюль-Верна... Во всяком случае, это—теория моряков.

— Какая теория?

— Две теории... Или, вернее, две школы. Одна школа, это „суденщики“, а другая—„шлюпочники“...

— Объясните...

— Это касается морских бедствий... кораблекрушений... „Шлюпочники“ утверждают, что когда корабль терпит так называемое „кораблекрушение“, то надо пересаживаться на шлюпки и этим путем искать спасения.

— Это понятно... А „суденщики“?..

— А „суденщики“ говорят, что надо остаться на судне...

— Да ведь оно гибнет!...

— Все равно... Они говорят, что из десяти случаев в девяти шлюпки гибнут в море...

— Но один шанс все же остается.

— Они говорят, что один шанс остается и у гибнущего корабля, потому не стоит беспокоиться...

— А вывод?

— Вывод тот, что я принадлежу к школе „суденщиков“, а потому останусь на судне и в шлюпки пересаживаться не хочу...

Он помолчал.

— В таком случае забудем этот разговор.

— Забудем...

Однажды, это было, кажется, в феврале, рано утром ко мне пришли неожиданные посетители: один был бывший министр, другой—товарищ министра.

П. Н. был единственным из министров, который одинаково был любезен и „двору“, и „общественности“. Он был умен, ловок, очень тактичен, по убеждениям — консер-

ватор, но понимал мудрость латинской поговорки: „bis dat, qui cito dat“ [1]). Сделав, в сущности, пустяковые уступки по своему министерству, он стал весьма популярен и мог претендовать на то, что пользуется „общественным доверием“... Если бы его несколько месяцев тому назад назначили премьером, быть может, ему удалось бы поладить с Государственной Думой. [2])

— Вы знаете,—начал он,—мои воззрения: конечно, я не либерал... Те, что так думают, очень ошибаются. Но есть вещи, и вещи... Есть положения, когда просто невыгодно упрямиться. Программа Государственной Думы, т.-е. прогрессивного блока, — ведь она в сущности очень приемлема...

— Вздор! Пустяки!—сказал товарищ министра.—Все это, конечно, можно дать без всякого колебания государства Российского...

— За исключением одного пункта, — сказал министр.— Это о власти. Вы понимаете,—тут заупрямились... Я сказал государю все... Я объяснил, что мы все, наша семья, традиционно преданы престолу. Но что мы всегда были— земщина. Что я отнюдь не либерал, но считаю, что с „земщиной“ нужно считаться. В особенности теперь, во время войны. И что Дума, олицетворяющая „земщину“, стоит на строго патриотической позиции. Что она взяла на свои плечи всю тяжесть лозунга — „война до победного конца“... И что правительству надо итти с Думой и что поэтому я прошу отставки... Словом, все, что можно было сказать... Со мной лично были в высшей степени милостивы... Но... но это безнадежно... то-есть, безнадежно — насчет власти...

— Поймите, Шульгин, что в этом все,—сказал товарищ министра.—Все в этом пункте, все в том, что вы хотите, чтобы правительство было из лиц общественного доверия, другими словами, от „блока“. Здесь вся загвоздка! А что касается остальной вашей программы, так только проведите ее через Думу, все будет принято правительством...

— В той же части вашей программы,—сказал министр,— которая может быть проведена правительством собственной властью, то она, например, по ведомству народного просвещения, уже осуществлена. Впрочем, вы очень деликатно выразились об этом вопросе...

— „Вступление на путь постепенного ослабления“. Кто это выдумал? Это почти гениально,—сказал товарищ министра.

— Но что касается вопроса о власти,—сказал министр,— увы!—здесь стенка!.. И вот, смысл нашего посещения ниже-

[1]) Вдвойне дает, кто быстро дает.

[2]) Речь идет, повидиму, о бывшим министре народного просвещения Игнатьеве. *Ред.*

следующий... Мы, В. М. и я, достаточно вас знаем... Если Милюков и другие могут иметь какие-то мотивы, старые навыки борьбы с властью quand même [1]), то вы, конечно, преследуете одну цель — благо родины... А это значит, в данную минуту, как-нибудь довести войну до конца, потому что иначе...

— Иначе России—конец,—сказал товарищ министра.

— И вот, если дело не выходит, — продолжал министр,— если стенка,—как быть? Мы хотели вам сказать: не обостряйте отношений... Ведь все равно, в лоб не возьмете...

— Шульгин, вы знаете, как дети, когда „играют“, вдруг заупрямятся все... и вот зашли в тупик: ни тот ни другой не уступают. Вдруг один кричит: „Я умнее!“ и уступает... И разрешен тупик, и продолжается игра... Крикните: „Я умнее“ и уступите... Вернее—отступите, на время, хотя бы... Вы правы, вы совсем правы... Мы с вами согласны во всем... Но если нельзя...

Они сидели против меня честные и встревоженные... сильно встревоженные.

— Положение плохое,— сказал министр... До чего мы дойдем?

— Доиграемся!—сказал товарищ министра.

Я отвечал:

— Вы знаете, я состою в „Совещании по государственной обороне“. У нас сейчас столько снарядов, сколько никогда не было. Маниковский недавно объяснил: если взять расчет по Вердену (ту норму, сколько в течение пяти месяцев верденское орудие выпускало снарядов в сутки) и начать наступление по всему фронту, т.-е. от Балтийского моря до Персии, то мы можем по всему фронту из всех наших орудий поддерживать верденский огонь в течение месяца... У нас сейчас на складах тридцать миллионов полевых...

— Великолепно,—сказал товарищ министра.

— Весной, повидимому, начнется всеобщее наступление... Есть все шансы, что оно будет удачно... Если это будет так, то тогда вообще все спасено,—можно хоть прогнать Государственную Думу...

— И прогонять не придется, потому что на радостях все забудется.

— Значит, весь вопрос—продержаться два-три месяца... Не допустить взрыва... Потому что, если наступление будет неудачное, взрыв все равно будет.

— Будет,—сказал товарищ министра.

— Весьма возможно...—сказал министр.

---

[1]) Во что бы то ни стало. *Ред.*

— Непременно будет. Я недавно из Киева... Люди с ума сошли. Вы знаете, Киев достаточно черносотенный... И вот, меня ловили за рукава люди самые благонамеренные: „когда же, наконец, вы их прогоните?". Это они про правительство... И вы знаете, еще хуже стало, когда Распутина убили... Раньше все валили на него... А теперь поняли, что дело вовсе не в Распутине. Его убили, а ничего не изменилось. И теперь все стрелы летят прямо, не застревая в Распутине... Итак, надо выиграть время... Два-три месяца...

— Это так,—сказал министр,—но как же это сделать?

— Вот тут-то и начинается вопрос. Было два пути... Первый путь — это Думу свести на-нет. Правительство могло это сделать, не созывая ее. Может быть, и сама Дума могла это сделать, так сказать, отступив, предоставив правительству самому стать лицом к лицу с нарастающим неудовольствием России.

— Нет,—сказал товарищ министра,—этого Дума не могла сделать. Если большинство так бы и сделало, левые и кадеты подняли бы крик, только в гораздо более резкой форме.

— Вот в том-то и дело... В 1915 году во время великого отступления, когда созвали Думу, для нас, правого крыла, стал вопрос: или стать на сторону правительства, конечно, виноватого в непредусмотрительности и в бездарности, или же, признав справедливым нарастающее неудовольствие, попытаться ввести его в наименее резкие, в самые приемлемые формы... Другими словами, недовольство масс, которое легко могло бы перейти в революцию, подменить недовольством Думы... Наша цель была, чтобы массы оставались покойными, так как за них говорит Дума... Таким образом и создался прогрессивный блок. Этим шагом мы приковали кадет к минимальной программе... Так сказать, оторвали их от революционной идеологии, свели дело к пустякам. Но кадеты, с другой стороны, вовлекли нас в борьбу за власть... Мы хотели стать между улицей, и я бы сказал — между армией, в которой сильнейшее недовольство на „тыл", то-есть на правительство,—и властью... Мы хотели успокоить армию, что ее никто не предаст, и что о ней позаботятся, так как на страже ее интересов стоит Дума. Когда я уезжал с фронта в 1915 году, это был всеобщий голос: „Поезжайте и позаботьтесь, чтобы не было Мясоедовых и Сухомлиновых, а были снаряды... Мы не хотим умирать с палками в руках". Все это я говорю к тому, чтобы объяснить, почему мы избрали этот путь... Путь, так сказать, „суда" вместо „самосуда". Путь парламентской борьбы вместо баррикад...

— А вы не думаете, что так вы скорее дойдете до баррикад?

— Вот в этом-то и вопрос. Что мы — сдерживаем или разжигаем?.. Мне всегда казалось, что сдерживаем. Мне казалось, что мы такая цепь, знаете, когда солдаты берутся за руки. Конечно, нас толкают в спину и заставляют двигаться вперед. Но мы упираемся. Держим друг друга за руки и не позволяем толпе прорваться... Так мы идем, упираясь, а нас давят в спину, уже полтора года... Бог его знает, если бы мы не сделали этой цепи, может быть, уже давно толпа прорвалась бы... Не забудьте, что цепь все время кричит: „Все для войны“... И этот наш вопль обращен одинаково к обеим сторонам: от армии мы требуем „всех жертв“, а от правительства—„хоть немного жертвы“... Успокаивает ли это или разжигает? Кто знает? Мне кажется,—все-таки успокаивает. Ведь смотрите:.. до сих пор ни одного покушения. А помните 1905 год? Тогда дождило бомбами!... Теперь ни одного бунта, — пока... А помните, тогда?.. Теперь наиболее бунтарским образом повели себя те, кто убили Распутина: они совершили первый и единственный пока акт террора. Значит, можно предполагать, что буйный элемент до известной степени считается и не делает, пока она говорит. Додержимся ли? Будем надеяться, что додержимся. А если не додержимся?.. А если не додержимся, тогда...

— Тогда — конец! А потому, — даже принимая вашу схему,—не обостряйте...

— Да, конечно... Не думаю, чтобы и в планы кадет входило бы обострять. Ведь они знают: головы жирондистов оказались в одной корзине с монархистами.

— Они дают себе отчет в этом?

— Вполне... Они боятся революции. Ведь они три года кричали: „Все для войны“. А, следовательно, в случае революции это им припомнится. Жребий был брошен в 1915 году. А теперь, что бог даст. Впрочем, разумеется, я буду, насколько могу, умерять блок, но если вы можете — действуйте там...

Государственная Дума должна была возобновить свою сессию в начале февраля. Ко дню ее открытия ожидали выступлений. Главным образом опасались рабочих. Кажется, 10 февраля — появилось открытое письмо П. Н. Милюкова к рабочим Петрограда. В этот день, а, может быть, днем раньше или позже появился „приказ“ генерала Хабалова, градоначальника Петрограда. Странным образом оба эти документа оказались не так далеко один от другого. Аргументация местами совпадала („во имя Родины“) и оба они, лидер оппозиции и градоначальник, требовали от рабочих сохранения спокойствия.

Но, повидимому, тут было нечто более глубокое, чем то, что могло зависеть от коллективной воли рабочих или даже падало, и то, что падало, чувствовало сильнее подточенность индивидуальных замыслов их вожаков. Что-то подточенное и неизбежность падения, чем те рабочие, которые должны были быть последним порывом ветра, свалившим трехсотлетнее дерево. Милюков и Хабалов махали на них руками, приказывая: noli tangere [1]),—очевидно, чувствуя, что они могут свалить власть, хотя, повидимому, сами рабочие были менее уверены в своих силах.

Это ощущение близости революции было так страшно, что кадеты в последнюю минуту стали как-то мягче.

Перед открытием Думы по обыкновению составляли формулу перехода. Написать ее сначала поручили мне. Я написал сразу, так сказать, не исправляя, и было это не столько формула перехода, сколько вылилось на бумагу то, что я чувствовал. Это было стенание на тему: „до чего мы дошли"... И помню, была такая фраза: „в то время как акты террора совершаются принцами императорской крови"... Заключение было, что требуются героические усилия, чтобы спасти страну.

Формула показалась всем слишком резкой. Милюков сказал, что она написана прекрасно, но признал, наравне с другими, что в настоящую минуту такая формула нежелательна. Я, разумеется, не настаивал. Приняли формулу Милюкова, более скромную...

Дума открылась сравнительно спокойно, но при очень скромном внутреннем самочувствии всех.

Затем центр тяжести перешел в бюджетную комиссию.

Там шел вопрос о хлебе. Я не помню хорошенько, в чем было дело, но помню, что сильно насиловали наши убеждения. Если не ошибаюсь, вопрос шел о „твердых ценах". Мы считали твердые цены источником расстройства государства. Это вообще была киевская точка зрения, которую с особенным упорством отстаивал А. И. Савенко [2]). О том, как Киев боролся спокон веков с социалистическими замашками, будет когда-нибудь, надеюсь, отмечено. Но в данном случае мы, в конце концов, должны были уступить, чтобы не расстраивать блока и не уменьшать поступательной силы решения, которое было бы все равно принято. Я, помню, употребил тогда такое сравнение:

— Если человек хочет прыгнуть в пропасть — надо всеми силами удерживать его. Но если ясно, что он все равно

---

[1]) Не смей трогать.
[2]) Националист. *Ред.*

прыгнет — надо подтолкнуть его, потому что, может быть, в этом случае он допрыгнет до другого края.

Это было, быть может, последнее заседание Государственной Думы. Шел все тот же вопрос о хлебе. На этом деле блок раскололся. Правая сторона поддерживала правительство, считая его план разверстки правильным. Левое крыло, очевидно, полагая, что не может быть „ничего доброго из Назарета“, отвергало предложение правительства. Милюков сказал речь — против, Шульгин — за. Товарищ министра А. А. Риттих говорил убедительно, горячо, только очень нервно, слишком нервно. Он умолял не губить дела.

С внешней стороны было все, как всегда. Но на самом деле было иначе.

Тревога и грусть были разлиты в воздухе. Во время речи Милюкова, возражения Шульгина и убеждений Риттиха и во время других речей чувствовалось, что все это не нужно, запоздало, не важно...

Из-за белых колонн зала выглядывала Безнадежность... Она шептала:

— К чему? Зачем? Не все ли равно?

В кулуарах Думы говорили в этот день, что А. А. Риттих после речи, придя к себе, в „павильон министров“, — разрыдался...

---

26 февраля.

В этот день утром неожиданно ко мне пришел Петр Бернгардович Струве. Он был взволнован и полубольной, но предложил мне двигаться к Маклакову.

— У Василия Алексеевича мы узнаем. И Дума рядом...

В воздухе уже была разлита такая степень тревоги, что невозможно было сидеть дома: надо было быть там. Это я чувствовал и раньше и в особенности почувствовал, когда пришел Петр Бернгардович.

Мы пошли. Был морозный день, ясный... Ни одного трамвая, — трамваи стали, и ни одного извозчика. Нам надо было итти пешком к Таврическому дворцу — это верст пять. Петр Бернгардович еле шел, я вел его под руку.

На улицах было совершенно спокойно, но очень пусто. И было это спокойствие неприятно, ибо мы отлично знали, отчего стали трамваи, отчего нет извозчиков. Вот уже три дня в Петрограде не стало хлеба. И этот светлый день был „затишьем перед бурей“, которая где-то пряталась за этими удивительными мостами и дворцами, таилась и накоплялась... Накоплялась не то на Невском, невидимом отсюда, не то вон там, на Выборгской стороне, около Финляндского вокзала...

Нева была особенно красива в этот день... Мы остановились передохнуть, опершись на парапет Троицкого моста... Расцвеченная солнцем перспектива набережных говорила о том, „что сделано“, но от этого становилось только жутче, потому что, законченная в своей красоте, она ничего не могла ответить на вопрос: „что сделается?“..

Василий Алексеевич спешил: его вызывали к Покровскому. Н. И. Покровский, министр иностранных дел, разумный и честный, был человек наиболее приемлемый „для думских сфер“. Маклаков же был самый умеренный из кадет и самый умный. Он был наиболее приемлем для „правительственяых сфер“. Вместе с тем он не был „патриотом прогрессивного блока“, вследствие своей всегдашней оппозиции Милюкову. Маклаков был тот человек, который мог стать связующим звеном между Думой и правительством. Его приглашение к Покровскому могло обозначать многое. В ожидании его возвращения мы пошли в Таврический Дворец.

В комнате № 11, как всегда, заседал блок, вернее, бюро прогрессивного блока. Председателем был Шидловский, Сергей Илиодорович. От кадет — Милюков и Шингарев, прогрессисты в это время уже ушли, от левых октябристов—Шидловский, от октябристов-земцев—граф Капнист (маленький, т.-е. Димитрий Павлович), а от центра, кажется, Владимир Львов, от националистов-прогрессистов — Половцев 2-й и я.

Хотя окна большие, но в три часа уже темно. За столом, крытым зеленым бархатом, мы сидели при свете настольных ламп, с темными абажурами. Сколько раз уже так сидели!

Я не помню, что обсуждалось... Но я чувствовал, что делается что-то не то... Я много раз уже это чувствовал.

Мы все критиковали власть... Но совершенно неясно было, что мы будем отвечать, если нас спросят: „Ну, хорошо, la critique est aisée [1]) — довольно критики, теперь пожалуйте сами! Итак, что надо делать?“.. Мы имели „великую партию блока“, в которой значилось, что необходимо произвести некоторые реформы, но все это совершенно не затрогивало центрального вопроса: „Что надо сделать, чтобы лучше вести войну?“

Я неоднократно с самого основания блока добивался ясной практической программы. Сам я ее придумать не мог, а потому пытал своих „друзей слева“, но они отделывались

---

[1]) Критика легка. *Ред.*

от меня разными способами, а когда я бывал слишком настойчив, отвечали, что практическая программа состоит в том, чтобы добиться „власти, облеченной народным доверием“. Ибо эти люди будут толковыми и знающими и поведут дело. Дать же какой нибудь-рецепт для практического управления невозможно; „залог хорошего управления — достойные министры“, — это и на Западе так делается.

Тогда я стал добиваться, кто эти достойные министры. Мне отвечали, что пока об этом неудобно говорить, что выйдут всякие интриги и сплетни, и что это надо решать тогда, когда вопрос станет, так сказать, вплотную.

Но сегодня мне казалось, что вопрос уже стал „вплотную“. Явственно чувствовалась растерянность правительства. Нас еще не спрашивали: кто? Но чувствовалось, что каждую минуту могут спросить. Между тем, были ли мы готовы? Знали ли мы, хотя бы между собой, — кто? Ни малейшим образом.

Поэтому я сделал следующее предложение, приблизительно в таких словах:

— Хотя это может показаться неловким, неудобным и так далее, но наступило время, когда с этим нельзя считаться. На нас лежит слишком большая ответственность. Мы вот уже полтора года твердим, что правительство никуда не годно. А что, если „станется по слову нашему“? Если с нами, наконец, согласятся и скажут: „Давайте ваших людей“? Разве мы готовы? Разве мы можем назвать, не отделываясь общей формулой, „людей, доверием общества облеченных“, конкретных, живых людей... Я полагаю, что нам необходимо теперь уже, что это своевременно сейчас, — составить для себя, для бюро блока, список имен, т. е. людей, которые могли бы быть правительством.

Последовала некоторая пауза. Я видел, что все почувствовали себя неудобно. Слова попросил Шингарев и выразил, очевидно, мнение всех, что пока это еще невозможно. Я настаивал, утверждая, что время уже пришло; но ничего не вышло, никто меня не поддержал и списка не составили. Всем было „неловко“... И мне тоже...

Таковы мы... русские политики. Переворачивая власть, мы не имели смелости, или, вернее, спасительной трусости подумать о зияющей пустоте... Бессилие, свое и чужое, снова взглянуло мне в глаза насмешливо и жутко!..

По окончании заседания мы вышли в Екатерининский зал. В дверях я столкнулся с Маклаковым. Мы шли вместе, разговаривая о том, что с Покровским ничего особенного не вышло.

В это время в другом конце зала показался Керенский. Он по обыкновению куда-то мчался, наклонив голову и неистово размахивая руками. За ним, догоняя, старался Скобелев.

Керенский вдруг увидел нас и, круто изменив направление, пошел к нам, протянув вперед худую руку... для выразительности.

— Ну что же, господа-блок? Надо что-то делать! Ведь положение-то... плохо. Вы собираетесь что-нибудь сделать?

Он говорил громко, подходя. Мы сошлись на середине зала.

Кажется, до этого дня я не был оффициально знаком с Керенским. По крайней мере, я никогда с ним не разговаривал. Мы все же были в слишком далеких и враждебных лагерях. Поэтому для меня этот его „налет" был неожиданным. Но я решил им воспользоваться.

— Ну, если вы так спрашиваете, то позвольте, в свою очередь, спросить вас: по вашему-то мнению, что нужно? Что вас удовлетворило бы?

На изборожденном лице Керенского промелькнуло вдруг веселое, почти мальчишеское выражение.

— Что?.. Да в сущности немного!.. Важно одно: чтобы власть перешла в другие руки.

— Чьи?—спросил Маклаков.

— Это безразлично. Только не бюрократические!

— Почему не бюрократические?—возразил Маклаков. Я именно думаю, что бюрократические... только в другие, толковее и чище... Словом, хороших бюрократов. А эти „облеченные доверием "ничего не сделают!

— Почему?

— Потому, что мы ничего не понимаем в этом деле. Техники не знаем. А учиться теперь некогда...

— Пустяки! Вам дадут аппарат. Для чего же существуют все эти bureau и sous-sécrétaires?!. [1]).

— Как вы не понимаете,—вмешался Скобелев, обращаясь преимущественно ко мне,—что вы имеете д...д...д... доверие н...н...н...народа...

Он немножко заикался.

— Ну, а что еще надо?—спросил я Керенского.

— Ну, еще там,—он мальчишески, легкомысленно и весело махнул рукой,—свобод немножко. Ну там—печати, собраний и прочее такое...

— И это все?

— Все пока... Но спешите... спешите...

Он помчался, за ним—Скобелев...

---

[1]) Канцелярии и делопроизводители. *Ред.*

Куда спешить?

Я чувствовал их, моих товарищей по блоку, и себя... Мы были рождены и воспитаны, чтобы под крылышком власти хвалить ее или порицать... Мы способны были в крайнем случае безболезненно пересесть с депутатских кресел на министерские скамьи... Под условием, чтобы императорский караул охранял нас...

Но перед возможным падением власти, перед бездонной пропастью этого обвала у нас кружилась голова и немело сердце.

Бессилие смотрело на меня из-за белых колонн Таврического дворца. И был этот взгляд презрителен до ужаса..

27 февраля 1917 г.

Было девять часов утра... Неистово звонил телефон...

— Allo!

— Вы, Василий Витальевич?.. Говорит Шингарев... Надо ехать в Думу... Началось...

— Что такое?

— Началось... Получен указ о роспуске Думы... В городе волнение... Надо спешить... Занимают мосты... Мы можем не добраться... Мне прислали автомобиль. Приходите сейчас ко мне... Поедем вместе...

— Иду...

Это было 27 февраля 1917 года. Уже несколько дней мы жили на вулкане... В Петрограде не стало хлеба — транспорт сильно разладился из-за необычайных снегов, морозов и главное, конечно, из-за напряжения войны... Произошли уличные беспорядки... Но дело было, конечно, не в хлебе... Это была последняя капля... Дело было в том, что во всем этом огромном городе нельзя было найти несколько сотен людей, которые бы сочувствовали власти... И даже не в этом... Дело было в том, что власть сама себе не сочувствовала... Не было в сущности ни одного министра, который верил бы в себя и в то, что он делает...

Класс былых властителей сходил на-нет... Никто из них не способен был стукнуть кулаком по столу... Куда ушло знаменитое Столыпинское „не запугаете"?.. Последнее время министры совершенно перестали даже приходить в Думу... Только А. А. Риттих самоотверженно отстаивал свою „хлебную разверстку".

Но, придя в павильон министров после своей последней речи, он разрыдался.

Мы жили с А. И. Шингаревым в одном доме на Большой Монетной, № 22, на Петроградской стороне... Это

далеко от Таврического дворца... Надо переехать Неву... Последнее время жизнь уже так расхлябалась в Петрограде, что вопрос о сообщениях стал серьезным для тех, кто, как Шингарев и я, не имели своей машины...

Мы поехали... Шингарев говорил...

— Вот ответ... До последней минуты я все-таки надеялся— ну вдруг просветит господь бог,—уступят... Так нет... Не осенило—распустили Думу... А ведь это был последний срок... И согласие с Думой, какая она ни-на-есть—последняя возможность... избежать революции...

— Вы думаете, началась революция?

— Похоже на то..

— Так ведь это конец.

— Может быть, и конец... а, может быть, и начало...

— Нет, вот в это я не верю. Если началась революция,— это конец.

— Может быть... Если не верить в чудо... А вдруг будет чудо!.. Во всяком случае, Дума стояла между властью и революцией... Если нас по шапке, то придется стать лицом к лицу с улицей... А ведь... А ведь в сущности надо было продержаться еще два месяца...

— До наступления?

— Конечно. Если бы наступление было неудачно—все равно революции не избежать... Но при удаче...

— Да, при удаче—все бы забылось.

Мы выехали на Каменноостровский... Несмотря на ранний для Петрограда час, на улицах было масса народу... Откуда он взялся? Это производило такое впечатление, что фабрики забастовали... А может быть, и гимназии... а может быть, и университеты...

Толпа усиливалась по мере приближения к Неве... За памятником „Стерегущему“, не помещаясь на широких тротуарах, она движущимся месивом запрудила проспект...

Автомобиль стал...

Какие-то мальчишки, рабочие, должно быть, под предводительством студентов, распоряжались...

— Назад, мотор! Проходу нет!

Шингарев высунулся в окошко.

— Послушайте. Мы—члены Государственной Думы. Пропустите нас—нам необходимо в Думу.

Студент подбежал к окошку.

— Вы, кажется, господин Шингарев?

— Да, да, я—Шингарев... пропустите нас.

— Сейчас.

Он вскочил на подножку.

— Товарищи, пропустить! Это члены Государственной Думы,—товарищ Шингарев.

Бурлящее месиво раздвинулось,—мы поехали... Со студентом на подножке. Он кричал, что это едет „товарищ Шингарев“, и нас пропускали. Иногда отвечали:

— Ура товарищу Шингареву!

Впрочем, ехать студенту было не долго. Автомобиль опять стал. Мы были уже у Троицкого моста. Поперек его стояла рота солдат.

— Вы им скажите, что вы в Думу,—сказал студент И исчез... Вместо него около автомобиля появился офицер Узнав, кто мы, он очень вежливо извинился, что задержал.

— Пропустить. Это члены Государственной Думы...

Мы помчались по совершенно пустынному Троицкому мосту. Шингарев сказал...

— Дума еще стоит между „народом“ и „властью“... Ее признают оба... берега... пока...

На том берегу было пока спокойно... Мы мчались по набережной, но все это давно знакомое казалось жутким... Что будет?

На Шпалерной мы встретились с похоронной процессией... Хоронили члена Государственной Думы М. М. Алексеенко... Жалеть ли или завидовать?..

Выражение „лица Думы“, этого знакомого фасада с колоннами, было странное... Такой она была в 1907 году, когда я в первый раз увидал ее... В ней и тогда было что-то... угрожающее...

Но швейцары раздели нас, как всегда... Залы были темноваты. Паркеты поблескивали, чуть отражая белые колонны...

Стали съезжаться... Делились вестями,—что происходит... Рабочие собрались на Выборгской стороне... Их штаб—вокзал, повидимому... Кажется, там идут какие-то выборы, летучие выборы, поднятием рук... Взбунтовался полк какой-то... Кажется, Волынский... Убили командира... Казаки отказались стрелять... братаются с народом... На Невском баррикады...

О министрах ничего неизвестно... Говорят, что убивают городовых... Их почему-то называют „фараонами“...

Стало известно, что огромная толпа народу—рабочих, солдат и „всяких“—идет в Государственную Думу... Их тысяч тридцать.

С. И. Шидловский созвал бюро прогрессивного блока... И вот мы опять собрались в той самой комнате № 11, где

собирались всегда, где принимались решения... Решения, которые привели к этому концу, вернее, не сумели предупредить этого конца.

Шидловский, Шингарев, Милюков, Капнист II-ой, Львов В. Н., Половцев, я... еще некоторые... Ефремов, Ржевский, еще кто-то... Все те, кто вели Думу последние годы... И довели...

Заседание открылось... Открылось под знаком того, что надвигается тридцатитысячная толпа... Что делать?..

Я не помню, что говорилось. Но помню, что никто не предложил ничего заслуживающего внимания... Да и могли ли предложить? Разве эти люди способны были управлять революционной толпою, овладеть ею? Мы могли под защитой ее же штыков говорить власти всякие горькие и дерзкие слова, и, ведя „конституционную", т. е. словесную борьбу, удерживать массу от борьбы действием...

— Мы будем бороться с властью, чтобы армия, зная, что Государственная Дума на страже, могла спокойно делать свое дело на фронте, а рабочие у станков могли спокойно подавать фронту снаряды... Мы будем говорить, чтобы страна молчала...

Этими словами я сам изложил смысл борьбы в своей речи 3 ноября 1916 года...

Но теперь словесная борьба кончилась... Она не привела к цели... Она не предотвратила революции... А, может быть, даже ее ускорила... Ускорила или задержала?

Роковой вопрос повис над всеми нами, собравшимися в комнате № 11... Но не все его ощущали... Не все понимали свое бессилие... Некоторые думали, что и теперь еще мы можем что-то сделать, когда масса перешла „к действиям"... И что-то предлагали... Сидя за торжественно-уютными, крытыми зеленым бархатом столами, они думали, что „бюро прогрессивного блока" так же может управлять взбунтовавшейся Россией, как оно управляло фракциями Государственной Думы.

Впрочем, я сказал, когда до меня дошла очередь...

— По-моему, наша роль кончилась... Весь смысл прогрессивного блока был—предупредить революцию и тем дать власти возможность довести войну до конца... Но раз цель не удалась... А она не удалась, потому что эта тридцатитысячная толпа, это — революция... Нам остается одно... Думать о том, как кончить с честью...

Мы, конечно, ничего не решили в коммнате № 11...

Потом было заседание в кабинете председателя Думы... Это было заседание старейшин... Тут были представители всех фракций, а не только фракций прогрессивного блока...

Председательствовал Родзянко...

Шел вопрос, как быть... С одной стороны, императорский указ о роспуске (прекращение сессии), а с другой — надвигающаяся стихия...

В огромное, во всю стену кабинета, зеркало отражался этот взволнованный стол... Мощный затылок Родзянки и все остальные... Чхеидзе, Керенский, Милюков, Шингарев, Некрасов, Ржевский, Ефремов, Шидловский, Капнист, Львов, князь Шаховской... Еще другие...

Вопрос стоял так: не подчиниться указу государя императора, т.-е. продолжать заседания Думы, — значит стать на революционный путь... Оказав неповиновение монарху, Государственная Дума тем самым подняла бы знамя восстания и должна была бы стать во главе этого восстания со всеми его последствиями...

На это ни Родзянко, ни подавляющее большинство из нас, вплоть до кадет, были совершенно неспособны... Мы были прежде всего лойяльным элементом... В нас уважение к престолу переплелось с протестом против того пути, которым шел государь, ибо мы знали, что это—путь к пропасти... Поэтому вся работа Думы прошла под этим знаком... При докладах царю все, кто зависели или были вдохновляемы Думой, всегда твердили одно и то же: этот путь ведет династию к гибели... Открыто же в своих речах в Думе — мы бранили министров... При этой травле, однако, не переходили конституционной грани и не затрогивали монарха... Это было основное требование Родзянки и большинства Думы, которому должны были подчиниться все... Только раз Милюков прочел какую-то цитату из газеты по-немецки, в которой говорилось о „кружке молодой государыни"... Но это был выплеск, отклонение от основного пути...

Я не помню, что говорилось. Но помню решение: „Императорскому указу о роспуске подчиниться,— считать Государственную Думу не функционирующей, но членам Думы не разъезжаться и немедленно собраться на „частное совещание".

Чтобы подчеркнуть, что это—„частное совещание" членов Думы, а не заседание Государственной Думы, как таковой, решено было собраться не в большом Белом зале, а в „Полуциркульном"...

Он едва вместил нас: вся Дума была налицо. За столом были Родзянко и старейшины. Кругом сидели и стояли, столпившись, стеснившись, остальные... Встревоженные,

взволнованные, как-то душевно прижавшиеся друг к другу... Даже люди, много лет враждовавшие, почувствовали вдруг, что есть нечто, что всем одинаково опасно, грозно, отвратительно... Это нечто была улица... уличная толпа... Ее приближавшееся дыхание уже чувствовалось... С улицей шествовала та, о которой очень немногие подумали тогда, но очень многие, наверное, ощутили ее бессознательно. Потому что они были бледные с сжимающимися сердцами... По улице, окруженная многотысячной толпой, шла смерть...

Этой трепещущей, сгрудившейся около стола старейшин человеческой гуще, втиснутой в „полуциркульную" рамку зала, Родзянко доложил, что произошло... И поставил вопрос: „что делать"?

В ответ на это то там, то здесь, то справа, то слева просили слова взволнованные люди и что-то предлагали... Что?...

Я не знаю. Не помню. „Что-то"... Кажется, кто-то предложил Государственной Думе объявить себя властью... Объявить, что она не разойдется, не подчинится указу... Объявить себя Учредительным Собранием... Это не встретило, не могло встретить поддержки... Кажется, отвечал Милюков... Во всяком случае, Милюков говорил, рекомендуя осторожность, рекомендуя не принимать слишком поспешных решений, в особенности, когда мы еще не знаем, что происходит, и так ли это, как говорят, что старая власть пала, что ее больше нет, когда мы вообще еще не разобрались в обстановке и не знаем, насколько серьезно, насколько прочно начавшееся народное движение...

Кто-то говорил и требовал, чтобы Дума сказала, с кем она: со старою властью или с народом? С тем народом, который идет сюда, который сейчас будет здесь и которому надо дать ответ.

В эту минуту около дверей заволновались, затолпились, раздался какой-то повышенный разговор, потом расступились, и в зал вбежал офицер...

Он перебил заседание громким заскакивающим голосом:

— Господа члены Думы, — я прошу защиты!.. Я — начальник караула, вашего караула, охранявшего Государственную Думу... Ворвались какие-то солдаты... Моего помощника тяжело ранили... Хотели убить меня... Я едва спасся... Что же это такое? Помогите...

Это бросило в взволнованную человеческую ткань еще больше тревоги.

Кажется, Родзянко ответил ему, что он в безопасности — может успокоиться...

В эту минуту заговорил Керенский.

— Происшедшее подтверждает, что медлить нельзя!.. Я постоянно получаю сведения, что войска волнуются... Они выйдут на улицу... Я сейчас еду по полкам!.. Необходимо, чтобы я знал, что я могу им сказать. Могу ли я сказать, что Государственная Дума с ними, что она берет на себя ответственность, что она становится во главе движения?..

Не помню, получил ли ответ Керенский... Кажется, нет... Но его фигура вдруг выросла в „значительность" в эту минуту... Он говорил решительно, властно, как бы не растерявшись... Слова и жесты были резки, отчеканены, глаза горели...

— Я сейчас еду по полкам...

Казалось, что это говорил „власть имеющий"...

— Он у них — диктатор... — прошептал кто-то около меня.

Кажется, в эту минуту, а может быть раньше, я попросил слова...

У меня было ощущение, что мы падаем в пропасть. Бессознательно я приготовился к смерти. И мне, очевидно, хотелось сказать нам всем эпитафию, сказать, что мы умираем такими, как жили.

— Когда говорят о тех, кто идет сюда, то надо прежде всего знать, — кто они? Враги или друзья?.. Если они идут сюда, чтобы продолжать наше дело — дело Государственной Думы, дело России, если они идут сюда, чтобы еще раз с новой силой провозгласить наш девиз: „все для войны", — то тогда они наши друзья, тогда мы с ними... Но если они идут с другими мыслями, то они друзья немцев... и нам нужно сказать им прямо и твердо: вы — враги, мы не только не с вами, мы против вас!

Кажется, это заявление произвело некоторое впечатление, но не имело последствий... Керенский еще что-то говорил... Он стоял, готовый к отъезду, решительный, бросающий резкие слова, чуть презрительный...

Он рос... Рос на начавшемся революционном болоте, по которому он привык бегать и прыгать, в то время, как мы не умели даже ходить.

Кто-то предложил в горячей речи, что всем членам Думы в это начавшееся тяжелое время нужно сохранить полное единство, — всем, без различия партий, для того, чтобы препятствовать развалу. А для того, чтобы руководить членами Думы, необходимо выбрать комитет, которому вручить „диктаторскую власть"... Все члены Думы обязаны беспрекословно повиноваться комитету...

Это предложение в этой взволнованной, напуганной атмосфере встретило всеобщую поддержку... Диктатура есть функция опасности: так было — так будет...

С большим единодушием, подавляющим числом голосов были избраны, слева направо:

Чхеидзе — социал-демократ.
Керенский — трудовик.
Ефремов — прогрессист.
Ржевский — прогрессист.
Милюков — кадет.
Некрасов — кадет.
Шидловский Сергей — левый октябрист.
Родзянко — октябрист-земец.
Львов Владимир — центр.
Шульгин — националист (прогрессист).

В сущности это было бюро прогрессивного блока с прибавлением Керенского и Чхеидзе. Это было расширение блока налево, о котором я когда-то говорил с Шингаревым, но, увы! — при какой обстановке произошло это расширение!..

Страх перед Улицей загнал в одну „коллегию" Шульгина и Чхеидзе...

А Улица надвигалась и вдруг обрушилась...

Эта тридцатитысячная толпа, которой грозили с утра, оказалась не мифом, не выдумкой от страха...

И это случилось именно, как обвал, как наводнение... Говорят (я не присутствовал при этом), что Керенский из первой толпы солдат, поползших на крыльцо Таврического дворца, попытался создать „первый революционный караул"...

— Граждане солдаты, великая честь выпадает на вашу долю — охранять Государственную Думу... Объявляю вас первым революционным караулом!..

Но этот „первый революционный караул" не продержался и первой минуты... Он сейчас же был смят толпой...

Я не знаю, как это случилось... Я не могу припомнить... Я помню уже то мгновение, когда черно-серая гуща, прессуясь в дверях, непрерывным врывающимся потоком затопляла Думу...

Солдаты, рабочие, студенты, интеллигенты, просто люди... Живым, вязким человеческим повидлом они залили растерянный Таврический дворец, залепили зал за залом, комнату за комнатой, помещение за помещением...

С первого же мгновения этого потопа, отвращение залило мою душу, и с тех пор оно не оставляло меня во всю длительность „великой" русской революции.

Бесконечная, неисчерпаемая струя человеческого водопровода бросала в Думу все новые и новые лица... Но сколько их ни было — у всех было одно лицо: гнусно-животно-тупое или гнусно-дьявольски-злобное...

Боже, как это было гадко!.. Так гадко, что, стиснув зубы, я чувствовал в себе одно тоскующее, бессильное и потому еще более злобное бешенство.

— Пулеметов!

Пулеметов — вот чего мне хотелось. Ибо я чувствовал, что только язык пулеметов доступен уличной толпе и что только он, свинец, может загнать обратно в его берлоги вырвавшегося на свободу страшного зверя...

Увы — этот зверь был... Его Величество русский народ!..

То, чего мы так боялись, чего во что бы то ни стало хотели избежать, уже было фактом. Революция началась.

С этой минуты Государственная Дума, собственно говоря, перестала существовать. Перестала существовать даже физически, если так можно выразиться: Ибо эта ужасная человеческая эссенция, эта вечно снующая, все заливающая до последнего угла толпа солдат, рабочих и всякого сброда — заняла все помещения, все залы, все комнаты, не оставляя возможности не только работать, но просто передвигаться... Своим бессмысленным присутствием, непрерывным гамом тысяч людей она парализовала бы нас даже в том случае, если бы мы способны были что-нибудь делать... Ведь и найти друг друга в этом море людей было почти невозможно...

Впрочем, еще некоторое время продержался так называемый „Кабинет Родзянки“. Все остальные комнаты и залы, в том числе, конечно, огромный Екатерининский зал, были залиты народом... Кабинет Родзянки еще пока удавалось отстаивать, и там собирались мы — „комитет Государственной Думы“.

Комитет Государственной Думы был создан первоначально для руководства членами Государственной Думы, которые обязались ему повиноваться.

Но сейчас же стало ясно, что его обязанности будут шире... Со всех сторон доходили вести, что власти больше нет, что войска взбунтовались, но что все они — „за Государственную Думу“... Что вообще „революционная“ столица за Государственную Думу... Это давало надежды как-нибудь, быть может, овладеть движением, стать во главе его, не дать разыграться анархии.

Поэтому в первый же набросок о задачах Комитета было включено, что Комитет образовался для поддержания порядка в столице и для „сношений с учреждениями и лицами“.

Меня лично в эти минуты больно мучил вопрос: что будет с фабриками и заводами? Не разрушит ли „революционный народ“ все те приспособления, машины, станки и оборудования, которые с такой энергией воззвал к жизни генерал Маниковский по приказанию „Особого совещания по государственной обороне“. Поэтому, по моему предложению, первое обращение, которое выпустил Комитет, — был призыв беречь фабрики, заводы и все прочее...

Затем обсуждалось положение...

Положение!..

Покрывая непрерывный рев человеческого моря, в кабинет Родзянки ворвались крикливые звуки меди...

Марсельеза...

Вот мы где! Вот каково „положение“!

Contre le joug de la tyrannie
L'étendart sanglant est levé [1])

Доигрались. Революция по всей „французской форме“!

Aux armes, citoyens!
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons, qu'un sang impur
Abreuve vos sillons... [2])

Чья „нечистая кровь“ должна пролиться? Чья?

„Ура“, такое, что казалось, нет ему ни конца, ни края, залило воздух какою-то темною, дурманною жидкостью...

Стихло...

Долетают какие-то выкрики...

Это речь?.. Да...

И опять... Опять это ни с чем несоизмеримое „ура“. И на фоне его резкая медь выкрикивает свои фанфарные слова:

Entendez vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats:
Ils viennent jusque dans vos bras
Egorger vos fils, vos compagnes [3])

---

[1]) Против ига тирании
Поднято кровавое знамя. *Ред.*

[2]) К оружию граждане,
Составляйте свои батальоны,
Вперед, вперед, пусть нечистая кровь
Зальет наши поля... *Ред.*

[3]) Вы слышите, как по деревням
Ревут эти свирепые солдаты:
Они идут с целью убить в ваших объятиях
Ваших сыновей и ваших подруг. *Ред.*

Я помню во весь этот день и следующее — ощущение близости смерти и готовности к ней...

Умереть? Пусть.

Лишь бы не видеть отвратительное лицо этой гнусной толпы, не слышать этих мерзостных речей, не слышать воя этого подлого сброда!

Ах, пулеметов — сюда, пулеметов!..

Но пулеметов у нас не было. Не могло быть.

Величайшей ошибкой, непоправимой глупостью всех нас было то, что мы не обеспечили себе никакой реальной силы. Если бы у нас был хоть один полк, на который мы могли твердо опереться, и один решительный генерал, — дело могло бы обернуться иначе.

Но у нас ни полка, ни генерала не было... И более того — не могло быть...

В то время в Петрограде „верной" воинской части уже или еще не существовало...

Офицеры? О них речь впереди. Да и никому в то время „опереться на офицерские роты" в голову не приходило...

Кроме того...

Кроме того, хотя я, конечно, был не один, который так чувствовал, т.-е. чувствовал, что это конец... Чувствовал острую ненависть к революции с первого же дня ее появления... я ведь имел хорошую подготовку... я ненавидел ее смертельно еще с 1905 года... Хотя я, конечно, был не один... но все же нас было немного... Почти все еще не понимали, еще находились в... дурмане...

Нет, полка у нас не могло быть...

Полиция?

Да, пожалуй...

Но ведь разве мы-то сами были к чему-нибудь такому годны? Разве мы понимали?.. Разве мы были способны в то время „молниеносно" оценить положение, предвидеть будущее, принять решение и выполнить за свой страх и риск?..

Тот между нами, кто это сделал бы, — был бы Наполеоном, Бисмарком или Столыпиным... Но между нами таких не было...

Да, под прикрытием ее штыков мы красноречиво угрожали власти, которая нас же охраняла...

Но говорить со штыками лицом к лицу... Да еще с взбунтовавшимися штыками?..

Нет, на это мы были неспособны.

Беспомощные,—мы даже не знали, как к этому приступить... Как заставить себе повиноваться? Кого? Против кого? И во имя чего?

Меж тем, в сущности в этом был вопрос... Надо было заставить кого-то повиноваться себе, чтобы посредством повинующихся раздавить не желающих повиноваться...

Не медля ни одной минуты...

Но этого почти никто не понимал... И еще менее мог кто-нибудь выполнить...

На революционной трясине привычный к этому делу танцовал один Керенский...

Он вырастал с каждой минутой...[1])

Революционное человеческое болото, залившее нас, все же имело какие-то кочки... Эти „кочки опоры", на которых нельзя было стоять, но по которым можно было перебегать,— были те революционные связи, которые Керенский имел: это были люди, отчасти связанные в какую-то организацию, отчасти не связанные, но признававшие его авторитет. Вот почему на первых порах революции (помимо его личных качеств как первоклассного актера [2]) — Керенский сыграл такую роль... Были люди, которые его слушались... Но тут требуется некоторое уточнение: я хочу сказать, были вооруженные люди, которые его слушались. Ибо в революционное время люди — только те, кто держит в руках винтовку. Остальные, это — мразь, пыль, по которой ступают эти „винтовочные".

Правда, „вооруженные люди Керенского" не были ни полком, ни какой-либо „частью", вообще — ничем прочным. Эти были какие-то случайно сколотившиеся группы... Это были только „кочки опоры"... Но все же они у него были, и это было настолько больше наличности, имевшейся у нас, всех остальных, насколько нечто больше нуля...

Кому я, например, мог что-нибудь приказать? Своим же — членам Государственной Думы? Но ведь они не были

[1]) Шульгин повидимому, сам не подозревает, насколько метка и убийственна для Керенского такая характеристика. Именно болотная неоформленность и неосознанность классовых противоречий в первый период революции дали возможность Керенскому вырасти во много раз выше его естественного роста. Но именно потому он так сразу сморщился и съежился, как только дело дошло до решительного столкновения основных враждующих классов. *Ред.*

[2]) Актерским талантам Керенского отдают должное все авторы воспоминаний. В оценке величины этих талантов, однако, они расходятся: большинство видит в Керенском лишь заурядного провинциального актера. Повидимому, они ближе к истине, чем Шульгин. *Ред.*

вооружены. А если бы были? Неужели можно было составить батальон из дряхлых законодателей?

По психологии, наступившей через год (время Корниловской эпопеи), может быть, и можно бы было. Тогда председатель Государственной Думы и несколько ее членов сделали Корниловский поход. Но 27 февраля 1917 года? Я убежден, что если бы сам Корнилов был членом Государственной Думы, — ему это не пришло бы в голову.

Впрочем, нечто в этом роде пришло в голову через несколько дней члену Государственной Думы казаку Караулову. Он задумал „арестовать всех" и объявить себя диктатором. Но когда он повел такие речи в одном наиболее „надежном" полку, он увидел, что если он не перестанет, то ему самому не сдобровать... Такой же прием ожидал каждого из нас... Кому мог приказать Милюков? Своим „кадетам"? Это—народ невинтовочный...

А у Керенского были какие-то маленькие зацепки... Они не годились ни для чего крупного. Но они давали какую-то иллюзию власти. Это для актерской, легко воспламеняющейся и самой себе импонирующей натуры Керенского было достаточно... Какие-то группы вооруженных людей пробивались к нему сквозь человеческое месиво, залившее Думу, искали его, спрашивали, что делать, как „защищать свободу", кого схватить?.. Керенский вдруг почувствовал себя „тем, кто приказывает"... Вся внешность его изменилась... Тон стал отрывист и повелителен...

„Движенья быстры"...

Я не знаю, по его ли приказанию, или по принципу „самозарождения", но по всей столице побежали добровольные жандармы „арестовывать"... Во главе какой-нибудь студент, вместо офицера, и группка „винтовщиков" — солдат или рабочих, чаще тех и других... Они врывались в квартиры, хватали „прислужников старого режима" и волокли их в Думу.

Одним из первых был доставлен Щегловитов, председатель Государственного Совета, бывший министр юстиции, тот министр, при котором был процесс Бейлиса [1]) (— не потому ли он был схвачен первым?). Тут в первый раз Керенский „развернулся".

Группка, тащившая высокого седого Щегловитова, пробивалась сквозь месиво людей, и ей уступали дорогу, ибо

[1]) Один из позорнейших процессов царизма, преследовавший цель очернить евреев в глазах христиан, обвинив их в убийствах с религиозной целью христианских мальчиков. Судебными властями, вдохновляемыми Щегловитовым, были пущены в ход невероятнейшие гнусности. Процесс вызвал всеобщее возмущение и окончился скандальным провалом правительства. *Ред.*

поняли, что схватили кого-то важного... Керенский, извещенный об этом, резал толпу с другой стороны... Они сошлись...

Керенский остановился против „бывшего сановника“ с видом вдохновенным:

— Иван Григорьевич Щегловитов — вы арестованы

Властные, грозные слова... „Лик его ужасен“.

— Иван Григорьевич Щегловитов... ваша жизнь в безопасности... Знайте: Государственная Дума не проливает крови.

Какое великодушие... „Он прекрасен“...

В этом сказался весь Керенский: актер до мозга костей, но человек с искренним отвращением к крови в крови.

Ecclesia abhorret sanguinem [1])

Так говорили отцы-инквизиторы, сжигая свои жертвы...

Так и Керенский, сжигая Россию на костре „свободы“, провозглашал:

— Дума не проливает крови...

Но, как бы там ни было, лозунг был дан. Лозунг был дан, и дан в форме декоративно драматической, повлиявшей на умы и сердца...

Скольким это спасло тогда жизнь!

Комитет Государственной Думы все заседал, что-то вырабатывая. Было уже поздно... Мне ужасно захотелось есть. И притом надо было посмотреть, что делается... Я стал пробиваться к буфету.

Все было забито народом. В большом Белом зале (зал заседаний Государственной Думы) шел непрерывный митинг... В огромном Екатерининском — стояли, как в церкви... В Круглом, около входа — непрерывный водоворот. И из вестибюля еще и еще лила струя людей... Казалось, им не может быть конца...

Чтобы пробиться, куда мне было нужно, надо было включиться в благоприятный человеческий поток... Иначе никак нельзя было... Так должны были мы передвигаться — мы, хозяева, члены Государственной Думы. Я толкался среди этой бессмысленной толпы, своим нелепым присутствием парализовавшей всякую возможность что-нибудь делать... Тоска и бешенство бессилия терзали меня...

Наконец, поток вынес меня в длинный коридор, который через весь корпус Думы ведет к ресторану... Я двигался

---

[1]) Церковь питает отвращение к крови. *Ред.*

медленно; в одном месте застрял... Что бы не видеть хоть минуту всех этих гнусных лиц, я отвернулся к окну... Увы! — там, там еще хуже... Сплошная толпа серо-рыжей солдатни и черноватого штатско-рабочеподобного народа залила весь огромный двор и толкалась там... Минутами толпу прорезали кошмарные огромные животные, ощетиненные и оглушительно-рычащие... Это были автомобили-грузовики, набитые до отказа революционными борцами... Штыки торчали во все стороны, огромные красные флаги вились над ними... Какое отвращение...

Вдруг кто-то, стоявший рядом со мной, сказал что-то. Я посмотрел на него. Это был солдат. Хмурый, как и я, он смотрел в окно. Потом повернулся ко мне. Лицо у него было какое-то „не в себе". Встретившись со мною глазами и, очевидно, что-то сообразив, он сказал, как бы продолжая то, что он бормотал:

— А у вас тут — нет? В Государственной Думе?

Сначала я подумал, что он, наверное, просит папирос... Но вдруг понял, что это другое...

— Чего — нет? Что вы хотите?

Он смотрел в окно... Мазал пальцем по стеклу... Потом сказал нехотя:

— Да офицеро́в...

— Каких офицеров?

— Да каких-нибудь... Чтоб были подходящие...

Я удивился. А он продолжал, чуть оживившись...

— Потому как я нашим ребятам говорил: не будет так ладно, чтоб совсем без офицеров... Они, конечно, серчают на наших... Действительно, бывает... Ну, а как же так совсем без них? Нельзя так... Для порядку надо бы, чтоб тебе был офицер... Может, у вас в Государственной Думе найдутся какие — подходящие?

На всю жизнь остались у меня в памяти слова этого солдата. Они искали в Думе „подходящих офицеров". Не нашли... И не могли найти... У Думы „своего офицерства" не было... Ах, если бы оно было... Если бы оно было, хотя бы настолько подготовленное, насколько была мобилизована „противоположная сторона"... Тогда борьба была бы возможна...

А „противоположная сторона" не дремала. Во всем городе, во всех казармах и заводах шли „летучие выборы"... От каждой тысячи по одному... Поднятием рук... Выбирали солдатских и рабочих депутатов... „Организовывали" массу... То-есть, другими словами, работали над тем, чтобы подчинить ее себе...

А мы? Мы весьма плохо подозревали, что это делается, и во всяком случае не имели понятия о том, как это делается, и безусловно не имели никакого плана и мысли, как с этим бороться...

В буфете, переполненном, как и все комнаты, я не нашел ничего: все съедено и выпито до последнего стакана чаю... Огорченный ресторатор сообщил мне, что у него раскрали все серебряные ложки...[1]).

Это было начало: так „революционный народ“ ознаменовал зарю своего „освобождения“. А я понял, отчего вся эта многотысячная толпа имела одно общее неизреченно-гнусное лицо: ведь это были воры — в прошлом, грабители — в будущем... Мы как раз были на переломе, когда они меняли фазу... Революция и состояла в том, что воришки перешли в следующий класс: стали грабителями.

Я пошел обратно. В входные двери все продолжала хлестать струя человеческого прилива. Я смотрел на них и думал: „опоздали, голубчики, — серебро уже раскрали“... Как я их ненавидел! Старая ненависть, ненависть 1905 года бросилась мне в голову...

В одной проходной небольшой комнате был клубок людей, чего-то особенно волновавшихся... Центром этого клубка был человек в зимнем пальто и кашнэ, несколько растрепанный, седой, но еще молодой. Он что-то кричал, а к нему приставали. Вдруг он увидел как бы якорь спасения, очевидно, узнал кого-то. Этот кто-то был Милюков, пробивавшийся через толпу куда-то, белый как лунь, но чисто выбритый и „с достоинством“. Человек, слегка растрепанный, бросился к сохранившемуся Милюкову.

— Павел Николаевич! Что они от меня хотят? Я полгода был в тюрьме, меня вот оттуда вытащили, притащили сюда и требуют, чтобы я стал „во главе движения“. Какого движения?! Что происходит? Я ведь ничего не знаю... Что такое? Что от меня нужно?

Я не слышал, что ответил ему Милюков... Но когда последний проплывал мимо меня, освободившись, я спросил его, — кто этот человек.

---

[1]) Это показание думского ресторатора стоит в полном противоречии с многочисленными свидетельствами об исключительной честности и бескорыстности „толпы“ в дни революции. Нет никакого основания верить ресторатору на слово, так как в подобных случаях виновными в покраже обыкновенно оказываются сами же жалобщики. Инцидент во всяком случае весьма характерен для умонастроений самого Шульгина. *Ред.*

— Разве вы не знаете? Это Хрусталев-Носарь... [1]).

В это же мгновение какой-то удивительно противный, сухой, маленький, бритый, с лицом, как бывает у куплетистов скверных шантанов, протискался к Милюкову:

— Позвольте вам представиться, Павел Николаевич, ваш злейший враг...

Он сказал свою фамилию и исчез, а Милюков сказал мне:

— Этого вы, наверное, не знаете... Это—Суханов-Гиммер, журналист...

— Почему он ваш „злейший враг“?

— Он—„пораженец“... Злостный „пораженец“ [2])...

Я не помню. Может быть, кто-нибудь помнит... В газетах того времени, вероятно, есть подробности... У меня от этого дня осталась в памяти только эта толпа, залившая Таврический дворец каким-то серым движущимся кошмаром, кошмаром говорящим, кричащим, штыками торчащим, порой извергающим из желтых труб марсельезу...

В этой толпе, незнакомой и совершенно чужой, мы себя чувствовали, как будто нас перенесли вдруг в совсем какое-то новое государство и иную страну. Если иногда попадалось знакомое лицо, то его приветствовали так, как люди встречают соотечественников на чужбине и притом на враждебной чужбине...

К вечеру, кажется, стало известно, что старого правительства нет... Оно попросту разбежалось по квартирам... Не было оказано никакого сопротивления... В этот день, если не ошибаюсь, никого не арестовали из министров... Правительство ушло, как будто даже раньше, чем кто-либо этого потребовал.

Не стало и войск... То-есть, весь гарнизон перешел на сторону „восставшего народа“... Но вместе с тем войска как будто стояли „за Государственную Думу“... Здесь начиналось смешение... Выходило так, что и Государственная Дума „восстала“, и что она—„центр движения“... Это было неверно... Государственная Дума не восставала... Но это

---

[1]) Председатель первого Совета Рабочих Депутатов в Петербурге (Ленинграде) в 1905 г. Вместе с Троцким по суду был сослан за это в Сибирь, откуда бежал за границу. В эмиграции отошел от революционной деятельности. В начале войны, движимый „патриотическими“ чувствами, вернулся в Россию, но был арестован и предан суду за побег из ссылки. Благодаря его странному поведению возникло подозрение в сумасшествии. Однако судебная экспертиза признала его здоровым. Февральская революция освободила Хрусталева из тюрьмы. *Ред.*

[2]) Суханов никогда не был настоящим „пораженцем“. Это —„интернационалист“-пацифист, лишь мечтающий о прекращении войны, но не борющийся за превращении ее в войну гражданскую, в революцию против господствующих классов. *Ред.*

паломничество солдат на „поклонение Государственной Думе“ создавало двусмысленное положение...

Родзянко то и дело вызывали на крыльцо, потому что та или иная „часть“ пришла приветствовать Государственную Думу... Родзянко выходил, говорил о верности родине и о спасении России... Его слова пропускали мимо ушей, но в Думе видели новую власть — это было ясно...

И ужас был в том, что этот ток симпатий к Государственной Думе, принимавший порой трогательные формы, нельзя было использовать, нельзя было на него опереться...

Во-первых, потому, что мы не умели этого сделать...

Во-вторых, потому, что эти приветствовавшие — приветствовали Думу, как символ революции, а вовсе не из уважения к ней самой...

В-третьих, потому, что во-всю работала враждебная рука, которая отнюдь не желала укреплять власть Государственной Думы, стоявшей на патриотической почве... Это была рука будущих большевиков.

В-четвертых, потому, что эти войска были уже не войска, а банды вооруженных людей без дисциплины и почти без офицеров...

И тем не менее...

И тем не менее, когда стало очевидно, что правительства больше нет, стало ясно и другое: что без правительства нельзя быть и часу. И что поэтому...

И что поэтому „Комитету Государственной Думы“, к которому начали бросаться со всех сторон за указаниями, приходится взвалить на себя шапку Мономаха...

Родзянко долго не решался. Он все допытывался, что это будет — бунт или не бунт?

— Я не желаю бунтоваться. Я не бунтовщик, никакой революции я не делал и не хочу делать. Если она сделалась, то именно потому, что нас не слушались... Но я не революционер. Против верховной власти я не пойду. Не хочу идти. Но с другой стороны, ведь правительства нет. Ко мне рвутся со всех сторон... Все телефоны обрывают. Спрашивают, что делать. Как же быть? Отойти в сторону? Умыть руки? Оставить Россию без правительства? Ведь это Россия же, наконец!.. Есть же у нас долг перед родиной?!. Как же быть? Как же быть?

Спрашивал он и у меня. Я ответил, совершенно неожиданно для самого себя, совершенно решительно.

— Берите, Михаил Владимирович. Никакого в этом нет бунта. Берите, как верноподданный... Берите, потому что держава Российская не может быть без власти... И если

министры сбежали, то должен же кто-то их заменить... Ведь сбежали? Да или нет?

— Сбежали... Где находится председатель совета министров — неизвестно. Его нельзя разыскать... Точно так же и министр внутренних дел... Никого нет... Кончено!..

— Ну, если кончено, так и берите. Положение ясно. Может быть два выхода: все обойдется — государь назначит новое правительство — мы ему и сдадим власть... А не обойдется, так если мы не подберем власть, то подберут другие, те, которые выбрали уже каких-то мерзавцев на заводах... Берите, ведь, наконец, чорт их возьми, что же нам делать, если императорское правительство сбежало так, что собаками их не сыщешь!..

Я вдруг разозлился. И в самом деле. Хороши мы, но хороши и наши министры!.. Упрямились, упрямились, довели до чорт знает чего, и тогда сбежали, предоставив нам разделываться с взбунтовавшимся стотысячным гарнизоном, не считая всего остального сброда, который залепил нас по самые уши... Называется правительство великой державы. Слизь, а не люди...

С этой минуты во мне произошел какой-то внутренний перелом... Я стал искать выхода... Какого-нибудь выхода...

До поздней ночи продолжалось все то же самое. Митинг в Думе и хлещущая толпа через все залы. Прибывающие части с марсельезой. Звонки телефонов. Десятки, сотни растерянных людей, требовавших ответа, — что делать... Кучки вооруженных, приводивших арестованных... К этому надо прибавить писание „воззваний“ от Комитета Государственной Думы и отчаянные вопли Родзянко по прямому проводу в ставку с требованием немедленно на что-нибудь решиться, что-то сделать, действовать...

Увы! Как потом стало известно, в этот день государыня Александра Федоровна телеграфировала государю, что „уступки необходимы“.

Эта телеграмма опоздала на полтора года. Этот совет должен был быть подан осенью 1915 года. „Уступками“ надо было расплатиться тогда за великое отступление „без снарядов“. Уплатить по этому счету и предлагало большинство 4-й Государственной Думы. Но тогда уплатить за потерю двадцати губерний отказались... Теперь же... Теперь же, кажется, было поздно... Цена „уступкам“ стремительно падала... Какими уступками можно было бы удовлетворить это взбунтовавшееся море?..

Кажется, этой ночью Дума вроде как бы вооружилась... Толпа схлынула... Но какой-то солдатский табор ночевал

в Думе... В сенях стояли пулеметы... Учреждена была, кажется, должность коменданта Государственной Думы... Под утро, выбившись из сил, мы дремали в креслах в полукруглой комнате, примыкающей к кабинету Родзянки—в „кабинете Волконского"... Просыпаясь от времени до времени, я думал о том, что можно сделать?.. Где выход, где выход?..

Я отчетливо понимал и тогда, как и теперь, как и всегда, сколько я себя помню, что без монархии не быть России. И мысль вертелась: как спасти монархию... Монархию, которая по тысячам причин, и, может быть, больше всего собственными руками, приготовила себе гибель. И должно быть в эту бессонную ночь пришла мысль, которая, правильная или нет — об этом будет судить история — свелась к следующему:

Быть может, пожертвовав монархом, удастся спасти монархию...

Так, бесформенная, еще сама себя не сознающая, родилась мысль об отречении императора Николая II в пользу малолетнего наследника... Разумеется, родилась не у одного меня...

В эту же ночь, если не ошибаюсь, одну из комнат (бюджетной комиссии) занял „исполком совдепа" [1]... Это дикое в то время название обозначало: „исполнительный комитет совета солдатских и рабочих депутатов"...

Кошмарная ночь... Где мы? Что собственно происходит? До какой степени развала уже дошли? Что с Россией? Что с армией? Знают ли уже? Если не знают, то завтра узнают... Как примут? Что произойдет?

Нужен центр! Нужен во что бы то ни стало какой-то фокус... Не то все разбредется... все разлетится... будет небывая анархия... А главное — армия, армия! Все пропало, если развал начнется в армии... А он непременно начнется, если сейчас, сейчас же не будет кому повиноваться... Нельзя допустить, чтобы там произошло, как здесь,—взбунтовавшиеся солдаты без офицеров... Надо, чтобы туда дошло готовое решение... Пусть думают, что власть взята Государственной Думой... Они сразу не разберутся, что Государственная Дума сама по себе не может быть властью — для них это будет звучать... Для них это лозунг—„Государственная Дума"... И для России тоже... Это звучит в провинции... Они будут верить несколько дней... Здесь будет некоторое время распоряжаться „комитет Государственной Думы"... Пока решится вопрос о государе...

---

[1]) Шульгин путает. Это „дикое" название вошло в употребление значительно позднее. *Ред.*

О государе. Да, вот это главное, самое важное... Может он царствовать? Может ли? О, как это узнать, как? Нет... не может... Все это, что было... Кто станет за него? У него — никого, никого... Распутин всех съел, всех друзей, все чувства... нет больше верноподданных... есть скверноподданные и открытые мятежники... последние пойдут против него — первые спрячутся... Он один... хуже, чем один... Он—с тенью Распутина... Проклятый мужик!.. Говорил Пуришкевичу — не убивайте, вот он теперь мертвый — хуже живого... Если бы он был жив, теперь бы его уби и хоть какая-нибудь отдушина. А то — кого убивать? Кого? Ведь этому проклятому сброду надо убивать, он будет убивать — кого же?

Кого?.. Ясно...

Нет, этого нельзя. Надо спасти, надо.

Чтобы спасти... чтобы спасти... надо или разогнать всю эту сволочь (и нас вместе с ними) залпами, или...

Надо отречься от престола...

Ценой отречения спасти жизнь государю... и спасти монархию...

Если подавить бунт можно, то и слава богу. Это сделают не только без нас, но и против нас...

Николай I повесил пять декабристов, но если Николай II расстреляет пятьдесят тысяч „февралистов", то это будет задешево купленное спасение России...

Это будет значить, что у нас есть государь, что у нас есть власть... Но если не удастся? Если для этого ни полков, ни полковников не найдется?..

Тогда... тогда—отречение... царствовать будет малолетний царь... значит—регент. Регент? Кто? Михаил Александрович? Да, кажется... Потом верховный главнокомандующий... Ну, великий князь Николай Николаевич, конечно...

Затем... Затем—правительство... Но кто?

Кто? В сущности... в сущности—некого... Ломали, ломали копья, а для кого — неизвестно... Ну, Милюков, Шингарев, конечно... Затем Керенский... Да, Керенского необходимо... Он самый деятельный... сейчас... Актер? Да, кажется... Все равно... Талантливый актер. На первых порах это—главное... Его одного слушают... Да и нужно — для левых. Родзянко? Родзянко пойдет только в премьеры, а в премьеры нельзя, не согласятся левые и даже кадеты... Пусть остается председателем Думы... А будет Дума? Что-то не похоже... В сущности мы в плену... Ах, проклятая гуща... Неужели завтра возобновится весь этот кошмар?.. Надо вздремнуть...

Хоть минутку покоя, пока их нет... их... кого? Революционного сброда... то-есть я хотел сказать — народа... да, Его Величества народа... о как я его ненавижу!..

28 февраля.

Наступил день второй, еще более кошмарный... „Революционный народ“ опять залил Думу... Не протиснуться... Вопли ораторов, зверское ура, отвратительная марсельеза... И при этом еще бедствие — депутации... Неистовое количество людей от неисчислимого количества каких-то учреждений, организаций, обществ, союзов, я не знаю чего, желающих видеть Родзянко и в его лице приветствовать Государственную Думу и новую власть... Все они говорят какие-то речи, склоняя „народ и свобода“... Родзянко отвечает, склоняя „родина и армия“... Одно не особенно клеится с другим, но кричат „ура“ неистово. Однако, кричат „ура“ и речам левых... А левые склоняют другие слова... „Темные силы реакции, царизм, старый режим, революция, демократия, власть народа, диктатура пролетариата, социалистическая республика, земля трудящимся“ и опять — свобода, свобода, свобода — до одури, до рвоты... Всем кричат „ура“. Некоторые начинают уже приветствовать и „Совет Солдатских и Рабочих Депутатов“... Его исполнительный комитет сидит у нас под боком... Мы ясно чувствуем, что это — вторая власть... Впрочем, Керенский и Чхеидзе избраны и там: они вошли в исполком... Они служат мостом между этими двумя головами. Да, получается нечто двуглавое, но отнюдь не орел. Одна голова кадетская, а другая еще детская, но по всем признакам — от „вундеркинда“, т.-е. наглая и сильно горбоносая... Впрочем, и от „кавказской обезьяны“ есть там доля порядочная...

Полки попрежнему прибывают, чтобы поклониться. Все они требуют Родзянко... Родзянко идет, ему командуют „на караул“; тогда он произносит речь громовым голосом... Кричат „ура“!.. Играют марсельезу, которая режет нервы... Михаил Владимирович очень приспособлен для этих выходов: и фигура, и голос, и апломб, и горячность... При всех его недостатках он любит Россию и делает, что может, т.-е. кричит изо всех сил, чтобы защищали родину... И люди загораются, и вот оглушительное „ура“... Но сейчас же вслед за этим выползает какая-нибудь „кавказская обезьяна“ или еще похуже, и говорит пораженческие мерзости, разжигая злобу и жадность... У них через каждое слово—„помещики, царская клика, Распутин, крепостники, опричники, жандармы“... И им тоже кричат „ура“, да, да,—кричат, и напрасно Михаил Владимирович себя обольщает, что

Государственная Дума взяла власть. Вздор. Болото кругом. Ни на что нельзя опереться... Это оглушительное „ура", это — мираж. Ведь я знаю, чему они так рады... Потому что надеются не пойти на фронт. Почти все части без офицеров... Где офицеры?

Тем не менее, „Комитет Государственной Думы" работает в этот день во-всю... Правительства нет, все брошено... Весь огромный механизм остановлен на полном ходу, остановлен и обезглавлен... Всеобщий развал неминуем, если не принять самых экстренных мер... Положение таково, что многих старых бюрократов нельзя оставить... Часть их даже арестована добровольными сыщиками и притащена сюда... Часть бежала... Часть надо заменить, потому что... Ну, потому что их не удержать. Кем заменить? Кто имеет авторитет—реальной силы ведь нет?.. Кто?

И решили посылать членов Государственной Думы... „комиссарами"... То-есть временно „исполняющими должность сановников"... Никто не смел отказываться... Ведь все обещали беспрекословное повиновение „Комитету Государственной Думы"... И не было случая отказа... Мы назначали такого-то туда-то, Родзянко подписывал, и человек ехал. Из крупных назначений и удачных было назначение члена Думы инженера Бубликова комиссаром в „пути сообщения". Он сразу овладел железными дорогами. Может быть, он и сделал кое-какие ошибки, но благодаря ему железные дороги не стали. Не помню остальных — их много было... Ведь всюду, всюду требовалось, все учреждения умоляли „прислать члена Государственной Думы". Авторитет их был высок еще... Чем дальше от Таврического дворца, тем обаяние Государственной Думы было сильнее и воспринималось пока, как власть...

Но здесь... Здесь росло противодействие... Противодействие этого проклятого исполкома, который опирался на всю эту толпу, залепившую Государственную Думу... Ах, если бы у нас был хоть один верный полк, чтобы вымести отсюда всю эту банду и занять караулы... Но полка нет... И офицеров нет...

Еще одним бедствием были аресты... Целый ряд членов Думы занят исключительно тем, чтобы освобождать арестованных... Еще славу богу, что дан лозунг: „Тащи в Думу, там разберут"... Дума обратилась в громадный участок... С тою только разницей, что раньше в участок таскали городовые, а теперь тащут городовых... Их по преимуществу... Многих убили—„фараонов"... Большинство при-

волокли сюда... Остальные прибежали сами, спасаясь, прослышав, что „Государственная Дума не проливает крови“... За это Керенскому спасибо. Пусть ему зачтут это когда-нибудь. Жалкие эти городовые, сил нет на них смотреть. В штатском, переодетые, испуганные, приниженные, похожие на мелких лавочников, которых обидели, стоят громадной очередью, которая из дверей выходит во внутренний двор Думы и там закручивается... Они ждут очереди быть арестованными... Но, говорят, некоторые герои до сих пор сражаются... Отдельные сидят по крышам с механическими ружьями и отстреливаются... Или это все вздор — эти пулеметы на крышах?.. Не разберешь, кто их туда послал, и даже были ли они там... Во всяком случае, какая невероятная ошибка правительства была разбросать полицию по всему городу... Надо было всех собрать в кулак и выжидать... Когда все части взбунтовались бы, потеряли дисциплину — стройному кулаку их легко было бы раздавить... Но кто это мог сообразить? Протопопов? Александр Дмитриевич? Министр внутренних дел с прогрессивным параличом? А ведь мы же сами его и подсунули... Ведь он был товарищем председателя Государственной Думы... Это положение ведь и был тот трамплин, с которого он прыгнул в министры...

Как все это ужасно!

Арестованных масса. Арестовали и некоторых членов Думы... Кабинет Родзянко мы еще удерживаем... Сюда мы стараемся сконцентрировать арестованных, которых можно немедленно освободить...

Я не помню точно, когда это было. Но это было в кабинете Родзянко. Я сидел против того большого зеркала, что занимает почти всю стену. Вся большая комната была сплошь набита народом. Беспомощные, жалкие — по стеночкам примостились на уже сильно за эти дни потрепанных креслах и красных шелковых скамейках—арестованные. Их без конца тащили в Думу. Целый ряд членов Государственной Думы только тем и занимались, что разбирались в этих арестованных. Как известно, Керенский дал лозунг: Государственная Дума не проливает крови. Поэтому Таврический дворец был прибежищем всех тех, кому угрожала расправа революционной демократии. Тех, кого нельзя было выпустить, хотя бы из соображений их собственной безопасности, направляли в так называемый „павильон министров“, который гримасничающая судьба сделала „павильоном арестованных министров“. В этом отношении между Керенским, который главным образом „ведал“ арестным домом, и нами установилось немое соглашение.

Мы видели, что он играет комедию перед революционным сбродом, и понимали цель этой комедии. Он хотел спасти всех этих людей. А для того, чтобы спасти, надо было делать вид, что, хотя Государственная Дума не проливает крови, она „расправится“ с виновными...

Остальных арестованных (таковых было большинство), которых можно было выпустить, мы передерживали вот тут, в кабинете Родзянко. Они обыкновенно сидели несколько часов, пока для них изготовлялись соответственные „документы“. Кого тут только не было...

Исполняя 1001 поручение, как и все члены комитета, я как-то, наконец, выбившись из сил, опустился в кресло в кабинете Родзянко против того большого зеркала... В нем мне была видна не только эта комната, набитая толкающимися и шныряющими во все стороны разными людьми, но видна была и соседняя, „кабинет Волконского“, где творилось такое же столпотворение. В зеркале все это отражалось несколько туманно и несколько картинно...

Вдруг я почувствовал, что из кабинета Волконского побежало особенное волнение, причину которого мне сейчас же шепнули:

— Протопопов арестован!

И в то же мгновение я увидел в зеркале, как бурно распахнулась дверь в кабинете Волконского и ворвался Керенский. Он был бледен, глаза горели, рука поднята... Этой протянутой рукой он как бы резал толпу... Все его узнали и расступились на обе стороны, просто испугавшись его вида. И тогда в зеркале я увидел за Керенским солдат с винтовками, а между штыками — тщедушную фигурку с совершенно затурканным, страшно съежившимся лицом... Я с трудом узнал Протопопова...

— Не сметь прикасаться к этому человеку!

Это кричал Керенский, стремительно приближаясь, бледный, с невероятными глазами, одной поднятой рукой разрезая толпу, а другой, трагически опущенной, указывая на „этого человека“...

Этот человек был „великий преступник против революции“—„бывший“ министр внутренних дел.

— Не сметь прикасаться к этому человеку!

Все замерли. Казалось, он его ведет на казнь, на что-то ужасное. И толпа расступилась... Керенский пробежал мимо, как горящий факел революционного правосудия, а за ним влекли тщедушную фигурку в помятом пальто, окруженную штыками... Мрачное зрелище...

Прорезав „кабинет Родзянки“, Керенский с этими же словами ворвался в Екатерининский зал, битком набитый солдатами, будущими большевиками и всяким сбродом...

Здесь начиналась реальная опасность для Протопопова. Здесь могли наброситься на эту тщедушную фигурку, вырвать ее у часовых, убить, растерзать, — настроение было накалено против Протопопова до последней степени.

Но этого не случилось. Пораженная этим странным зрелищем — бледным Керенским, влекущим свою жертву, — толпа раздалась перед ними...

— Не сметь прикасаться... к этому человеку!

И казалось, что „этот человек“ вовсе уже и не человек...

И пропустили. Он прорезал толпу в Екатерининском зале и в прилегающих помещениях и довел до павильона министров... А когда дверь павильона захлопнулась за ними — дверь охраняли самые надежные часовые — комедия, требовавшая сильного напряжения нервов, кончилась, Керенский бухнулся в кресло и пригласил „этого человека“.

— Садитесь, Александр Дмитриевич.

Протопопов пришел сам. Он знал, что ему угрожает, но он не выдержал „пытки страхом“. Он предпочел скрыванию, беганию по разным квартирам, отдаться под покровительство Государственной Думы.

Он вошел в Таврический дворец и сказал первому попавшемуся студенту:

— Я — Протопопов...

Ошарашенный студент бросился к Керенскому, но по дороге разболтал всем, и к той минуте, когда Керенский успел явиться, вокруг Протопопова уже была толпа, от которой нельзя было ждать ничего хорошего. И тут Керенский нашелся. Он схватил первых попавшихся солдат с винтовками и приказал им вести за собой „этого человека“.

В этот же день Керенский спас и другого человека, против которого было столько же злобы. Привели Сухомлинова. Его привели прямо в Екатерининский зал, набитый сбродом. Расправа уже началась. Солдаты уже набросились на него и стали срывать погоны. В эту минуту подоспел Керенский. Он вырвал старика из рук солдат и, закрывая собой, провел его в спасительный павильон министров. Но в ту минуту, когда он его впихивал за дверь, наиболее буйные солдаты бросились со штыками... Тогда Керенский со всем актерством, на какое он был способен, вырос перед ними:

— Вы переступите через мой труп!

И они отступили...

В этот день дела испортились в полках. Хотя почти все части, которые являлись в Государственную Думу, были

без офицеров, но все же до сих пор открытых враждебных действий против офицерства, как такового, не наблюдалось. А сегодня это началось. И по телефону и личные делегации из разных петроградских полков стали просить, чтобы приехать повлиять на солдат, которые вышли из повиновения и стали угрожать. Комитет Государственной Думы немедленно занялся этим. Сначала послали желающих независимо от их левизны. Поехали те, кто чувствовал себя в силах говорить с толпой, главным образом, звонкий голос... Они поехали, вернулись через некоторое время в очень хорошем настроении. Так, помню, в один из полков послали одного правого националиста, человека искреннего и с убедительными нотками в его несколько бочковатом басе. Он вернулся.

— Да ничего... Хорошо. Я им сказал,—кричат „ура". Сказал, что без офицеров ничего не будет, что родина в опасности. Они кричали „ура". Обещали, что все будет хорошо, они верят Государственной Думе...

— Ну, слава богу...

Только вдруг зазвонил телефон...

— Откуда? Алло?

— Как? Да ведь только что у вас были... Все же кончилось очень хорошо... Что? Опять волнуются? Кого? Кого-нибудь полевее? Хорошо. Сейчас пришлем.

Посылаем Милюкова. Милюков вернулся через час. Очень довольный.

— Да вот... Они немного волнуются. Мне кажется, что с ними говорили не на тех струнах... Я говорил в казарме с какого-то эшафота. Был весь полк, и из других частей... Ну, настроение очень хорошее. Меня вынесли на руках...

Но через некоторое время телефон зазвонил снова и отчаянно.

— Алло! Слушаю! Такой-то полк? Как, опять? А Милюков?.. Да они его на руках вынесли... Как? Что им надо? Еще левей?.. Ну хорошо. Мы пришлем трудовика...

Мы послали, кажется, Скобелева. Он на время успокоил. Затем, кажется, посылали кого-то из эс-деков [1]... Затем?

Затем офицерство стало разбегаться. Их жизни угрожала опасность. Часть покинула казармы, часть со страха сбежала в Государственную Думу...

День прошел, как проходит кошмар. Ни начала, ни конца, ни середины—все перемешалось в одном водоворота. Депутации каких-то полков; беспрерывный звон телефона,

[1] Странное противопоставление эс-деков Скобелеву. Член Думы Шульгин не может не знать, что Скобелев—тоже эс-дек (меньшевик). *Ред.*

бесконечные вопросы, бесконечное недоумение—„что делать?“; непрерывное посылание членов Думы в различные места; совещания между собою; разговоры Родзянко по прямому проводу; нарастающая борьба с исполкомом Совдепа, засевшим в одной из комнат; непрерывно повышающаяся температура враждебности революционной мешанины, залепившей Думу; жалобные лица арестованных; хвосты городовых, ищущих приюта в Таврическом дворце; усиливающаяся тревога офицерства...— все это переплелось в нечто, чему нельзя дать названия по его нервности, мучительности...

В конце концов, что мы могли сделать? Трехсотлетняя власть вдруг обвалилась, и в ту же минуту тридцатитысячная толпа обрушилась на голову тех нескольких человек, которые могли бы что-нибудь скомбинировать. Представьте себе, что человека опускают в густую-густую, липкую мешанину. Она обессиливает каждое его движение, не дает возможности даже плыть, она слишком для этого вязкая... Приблизительно в таком мы были положении, и потому все наши усилия были бесполезны: это были движения человека, погибающего в трясине... По этой трясине, прыгая с кочки на кочку, мог более или менее двигаться только Керенский...

Ночью толпа понемногу схлынула. Это не значило, что она ушла совсем. Какие-то военные части ночевали у нас в большом Екатерининском зале.

В полутемноте ряд совершенно посеревших колонн с ужасом рассматривает, что происходит. Они, видевшие Екатерину, они, видевшие Думу Народного Гнева, эпоху Столыпина, наконец, неудачные попытки пресловутого „блока“ [1]) спасти положение,—видят теперь Его Величество Народ во всей его красе. Блестящие паркеты покрылись толстым слоем грязи. Колонны обшарпаны и побиты, стены засалены, меблировка испорчена,— в манеж превращен знаменитый Екатерининский зал.

Все, что можно было испакостить, испакощено, и это— символ. Я ясно понял, что́ революция сделает с Россией: все залепит грязью, а поверх грязи положит валяющуюся солдатню...

Я вернулся в кабинет Родзянки, который был еще прибежищем. Там все-таки было немножко лучше, еще не допустили улицу, еще сохранилось кое-что. На ночь осталось ночевать несколько человек — членов Государственной Думы.

[1]) Речь идет о так называемом „прогрессивном блоке“ IV Государственной Думы. *Ред.*

Я улегся на какой-то кушетке. Рядом со мною поместился Некрасов. Он, после Керенского, оказался человеком наиболее приспособленным для скакания по революционному болоту. Он проявлял энергию.

Укладываясь он сказал мне:

— Вы знаете, что в городе еще происходят бои?..

— Как?

— Да... Еще кто-то там держится в Адмиралтействе. На Адмиралтейство идут штурмом. Там, кажется, Хабалов еще сидит... Их можно бы разогнать, если бы запалить из Петропавловской крепости...

— То-есть как запалить? Ведь мы же, слава богу, не делаем революции..

— Ну да... Но видите... Ведь это же невозможно... Ведь власть все равно сбежала... Правительство сейчас, это— Комитет Государственной Думы... Он взял власть в свои руки... Какой же смысл в этом Адмиралтействе?.. Кто там засел и для чего?.. Вот поэтому и неприятно, что Петропавловка не в наших руках...

— Как так...

— Да так... Гарнизон Петропавловской крепости сидит там, и комендант говорит, что он не может, что ему поручено охранять крепость... Ну,— словом, они не с нами...

— То-есть как не с нами?.. Да ведь с кем же мы? Что же мы в самом деле с этой... ну,—словом с „ними"?

— Нет, конечно... Но все же необходимо делать вид... Ведь если нас хоть немного слушаются, то потому, что мы против старой власти...

— Позвольте... Мы были против министров... Но когда же мы были против военной власти? Вы же говорите, что там Хабалов — командуюший войсками.

— Ну да, конечно, происходит путаница... Ведь надо же, чтобы одному кому-нибудь повиновались... Ну, Дума — так Дума... Ну,— словом, кому-нибудь из нас надо поехать в Петропавловскую крепость, чтобы все это уладить. Надо поговорить с комендантом... Вы не поехали бы?..

Я соображал...

Пустить несколько снарядов из Петропавловской крепости в Адмиралтейство — до чего додумался Некрасов!.. Этого именно как раз ни в коем случае нельзя допустить... Стрелять „по Хабалову"... В то время, когда мы употребляем все усилия, чтобы сохранить авторитет офицеров? Что за галиматья?..

И я решил сам поехать в Петропавловскую крепость...

Но пришлось ждать утра... Потому что не были готовы воззвания от Комитета Государственной Думы, которые где-то печатались и которые мне надо было отвезти.

Я иногда засыпал на несколько минут, потом просыпался и в полутемноте видел Родзянковский кабинет и несколько фигур, свалившихся от усталости... Они лежали там и сям в неудобных позах, истомленные, изведенные... Это были современные „властители России"...

1-го марта 1917 года.

Рано утром принесли свеже-пахнувшие типографской краской листки. Их принес кто-то—видимо, офицер, но без погон. Откуда он взялся—не знаю. Некрасов рекомендовал мне взять его с собою, так сказать, для сопровождения... Кроме того, мне дали не то простыню, не то наволоку—это должно было изображать белый флаг... Я вышел на крыльцо,—было холодно и сыро, чуть туманно, но день, кажется, собирался быть солнечным... Несмотря на ранний час, уже было достаточно народу на дворе. Все больше солдаты.

Мне подали автомобиль... Боже мой, неужели мне придется?..

Над автомобилем был красный флаг, и штыки торчали во все стороны... Мой офицер отворил мне дверцу... Ничего не поделаешь...

Стали мелькать знакомые, казавшиеся незнакомыми, улицы... Вот только двое суток прошло, а все кажется новым, как будто прошли годы... Шпалерная... Навстречу нам идут какие-то части с музыкой, очевидно, „на поклон" Государственной Думе... Набережная... Неужели это та самая Нева?.. Бродят какие-то беспорядочные толпы вооруженных людей, рычат и проносятся ощетиненные штыками грузовики... Зачем они несутся?.. Сами не знают, конечно... „За свободу!"...

Вот Троицкий мост... Толпа увеличивается по мере приближения к крепости...

На Каменноостровском, против длинных мостков, которые ведут через канал к крепости,—митинг... Откуда взялись эти люди так рано?

Подъехали к мосткам... Толпа все же не смеет еще проникнуть „туда". Она еще уважает часового... Мой спутник говорит, что надо „махать белым флагом".

Но я отлично вижу в том конце офицера, который явно нас ожидает... Я перед отъездом приказал позвонить из Государственной Думы...

Я иду по мосткам. Он радостно срывается нам навстречу...

— Мы вас так ждали... Ах, как хорошо, что вы приехали... Пожалуйте—комендант вас ждет...

Пройдя по бесконечным коридорам, мне до той поры незнакомым, я нашел коменданта, почтенного генерала. С ним было несколько офицеров...

Я сказал коменданту:

— Я прислан сюда для переговоров... От имени Комитета Государственной Думы... Как вы смотрите на положение вещей, ваше превосходительство?..

Старый генерал заволновался.

— Да вот, видите... Ведь вы должны нас понимать... Пожалуйста, не думайте, что мы против Государственной Думы... Наоборот, мы понимаем, мы очень рады... что в такое время какая-нибудь власть... Мы всецело подчиняемся Государственной Думе, вот я и г. г. офицеры... Но ведь я думаю, для каждой власти, для всякого правительства необходимо сохранить то, что у нас под охраной... У нас, вы знаете, во-первых, царские могилы, потом монетный двор, наконец, арсенал... Ведь вы же подумайте... Это же невозможно, чтоб толпа сюда ворвалась. Это же необходимо охранять для всех, для каждого правительства... Мы не можем то, что нам поручили... мы не можем... мы должны охранять... Это наш долг... присяги...

Я перебил старика...

— Ваше превосходительство, не трудитесь доказывать то, что совершенно ясно для каждого... здравомыслящего человека... Так как вы изволили сказать, что признаете власть Государственной Думы,—то я от имени Государственной Думы — прошу вас и настаиваю... Очень рад, что могу это сделать в присутствии г.г. офицеров... Крепость со всем тем, что в ней есть, должна быть охранена во что бы то ни стало...

Генерал просветлел...

— Ну вот... Теперь все ясно... Теперь мы спокойны... теперь мы знаем, чего держаться... Но вы не согласны были бы оставить письменный приказ?

Я написал от имени Комитета Государственной Думы— приказ коменданту Петропавловской крепости—охранять ее всеми имеющимися в его распоряжении силами и ни в коем случае не пускать толпу на территорию крепости.

Но меня беспокоила одна мысль... Ведь почему Бастилию сожгли? Думали, что в ней политические арестованные, хотя ни одного арестованного в Бастилии тогда уже не было. Как бы не „повторилась история"...

— Скажите, пожалуйста, у вас есть арестованные—политические?

— Нет... есть только одиннадцать солдат, арестованных уже за эти беспорядки...

— Этих вам придется выпустить...

— Сейчас будет сделано.

— Но я не этим интересуюсь... есть-ли политические... которых освобождения могут „требовать"? Вы понимаете меня?

— Понимаю... Нет ни одного... Последний был генерал Сухомлинов... Но и он освобожден несколько времени тому назад...

— Неужели все камеры пусты?

— Все... Если желаете, можете убедиться...

— Нет, мне убеждаться не надо... Но вот те, — там на Каменноостровском — могут не поверить... И поэтому сделаем так: если от меня приедут члены Государственной Думы и предъявят мою записку,—предоставьте им взятьне сколько человек из толпы и покажите им все камеры... Пусть убедятся сами...

— Слушаюсь, но только по вашей записке...

— Да, до свидания...

Мы стали уходить, но ко мне обратились с просьбой несколько офицеров — сказать речь гарнизону, который волнуется...

— Поддержите нас... офицеров... чтобы они знали, что Государственная Дума требует дисциплины...

Во дворе был выстроен гарнизон... Раздалась команда „смирно"...

Я сказал им речь... Я говорил о том, что в то время, когда происходят такие большие события, нужно помнить об одном, — что идет война, что все мы находимся под взглядом врага, который сторожит, чтобы на нас броситься, и, если чуточку ослабеем,—сметет нас... И все пойдет прахом. . И вместо свободы, о которой мы мечтаем,—получим немца на шею... А всякий военнослужащий знает, что армия держится только одним—дисциплиной... Нравится начальник или не нравится, это не имеет никакого значения... об этом про себя рассуждай, у себя в душе, а повинуйся ему не как человеку, а как начальнику... В этом и есть разумная свобода... „Повинуюсь, потому что люблю Родину, и не позволю, чтобы враг ее раздавил". Господа офицеры, с которыми я только что говорил, находятся в полном согласии с Государственной Думой; Государственная Дума в в моем лице отдает приказ защищать крепость во что бы то ни стало!

И так далее в этом роде...

Слушали, повидимому, понимали и даже сочувствовали...

Когда я кончил, кто-то крикнул:

— Ура товарищу Шульгину!..

Но, уходя под это „ура", я очень ясно чувствовал, что дело скверно...

Перейдя мостики, я увидел, что толпа на Каменноостровском страшно увеличилась и возбуждена .. Но тут сопровождающий меня офицер оказался как раз у места. Он

вскочил на автомобиль и, стоя, разразился своеобразной речью, из которой можно было понять, что Петропавловская крепость „за свободу“ и все вообще благополучно... Толпа кричала „ура“. И почему-то пришла в благодушное настроение...

В это время я увидел, что через Троицкий мост несутся к нам несколько грузовиков, угрожающе разукрашенных красными флагами и торчащими штыками... Бешено рыча моторами, они остановились перед мостками, рядом с нашей машиной... Люди были в большом возбуждении, щелкали затворами и кричали:

— Почему она (крепость) красного флага не подняла? Открыть военные действия!..

Мой офицер перескочил с сиденья нашего автомобиля на мотор грузовика и завопил оглушительно:

— Дурачье набитое! Открыть ему „военные действия“! А какого чорта тебе „действия“... когда она бездействует!.. Вот член Государственной Думы!.. Все уже там сделал! Крепость — за свободу! за народ!.. а ему — „военные действия“.. Повоевать захотелось?.. Не навоевались?!..

Он сделал смешную и презрительную рожу. Толпа стала на его сторону...

— Ну, проваливай, „военные действия“!.. Тоже!..

Те смутились. Мой офицер не дал им опомниться...

— Заворачивай!..

„Завернули“ и поехали.

Так я „взял“ Петропавловскую крепость... Некрасов мог быть доволен.

Возвращаюсь в Государственную Думу. Толпа стоит огромная, заняв не только двор полностью, но и Шпалерную... Наш автомобиль с трудом пробивает себе дорогу... Мой офицер кричит:

— Пропустите члена Государственной Думы!..

И пропускают. Теснятся... Мы продираемся сквозь это живое мясо. Я сидел прямо, глядя перед собой... Мне противно было смотреть на них... Бог его знает как,—они это почувствовали... Когда автомобиль застрял в воротах, я разобрал насмешливое замечание:

— Какая величественность во взгляде..

Я предпочел „не услышать“.

Все пространство между крыльями Таврического дворца набито людьми. Рыжевато-серо-черная масса, изукрашенная штыками. Солдаты, рабочие, интеллигенты... Революционный народ...

Господи, чего им надо? Моя машина под протекторатом красного флага пробивается через эту кашу...

Слова богу, наконец, я опять в Таврическом дворце... Слава богу? Да... Да — там, в „кабинете Родзянко“, есть еще близкие люди. Да, близкие, потому что они жили на одной со мной планете. А эти? Эти — из другого царства, из другого века... Эти — это страшное нашествие нео-варваров, столько раз предчувствуемое и, наконец, сбывшееся... Это — скифы. Правда, они с аттрибутами XX века — с пулеметами, с дико рычащими автомобилями... Но это внешнее... В их груди косматое, звериное, истинно-скифское сердце...

Вышел из автомобиля... Пробиваюсь через залы Таврического дворца...

Все то же...

Все та же толпа, все тот же митинг, все то же завывание марсельезы...

Но есть и новое ..

За столиками, примостившись где-нибудь между обшарпанных, когда-то белых колонн, сидят барышни-еврейки, с виду—дантистки, акушерки, фармацевты, и торгуют „литературой“.

Это — маркитантки революции [1])...

В разных комнатах на дверях бумажки с надписями... Какие-то „бюро“, „учреждения“ с дикими названиями... Очевидно, они прочно оседают... они завоевывают Таврический дворец шаг за шагом...

Пробиваюсь в кабинет Родзянки. Но что-же это такое? И тут—„они“!

Где же—„мы“?

— Пожалуйте, Василий Витальевич,—Комитет Государственной Думы перешел в другое помещение...

Вот оно — это „другое помещение“. Две крохотные комнатки в конце коридора, против библиотеки... Где у нас были самые какие-то неведомые канцелярии...

Вот откуда будут управлять отныне Россией...

Но здесь я нашел всех своих. Они сидели за столом, покрытым зеленым бархатом... Посередине — Родзянко, вокруг остальные.. Керенского не было... Но не успел я рассказать, что было в Петропавловке, как дверь «драматически» распахнулась. Вошел Керенский...за ним двое солдат с винтовками. Между винтовками какой-то человек с пакетами.

---

[1]) Это были представительницы партийных организаций. Нет надобности доказывать, что в их работе не было ничего специфически маркитантского. *Ред.*

„Трагически-повелительно“ Керенский взял пакет из рук человека...

— Можете итти...

Солдаты повернулись по-военному, а чиновник просто. Вышли...

Тогда Керенский уронил нам, бросив пакет на стол:

— Наши секретные договоры с державами... Спрячьте...

И исчез также драматически...

— Господи, что же мы будем с ними делать? — сказал Шидловский, — ведь даже шкафа у нас нет...

— Что за безобразие! — сказал Родзянко. — Откуда он их таскает?

Он не успел разразиться: его собственный секретарь вошел поспешно.

— Разрешите доложить... Пришли матросы... Весь гвардейский экипаж... Желают видеть председателя Государственной Думы...

— А чорт их возьми совсем! Когда же я займусь делами? Будет этому конец?

Секретарь невозмутимо переждал бутаду.

— С ними и великий князь Кирилл Владимирович...

— Надо итти, — сказал кто-то..

Родзянко ворча пошел. Был он огромный и внушительный. Нес он в эти дни „свое положение“ самоотверженно. С утра до вечера и даже ночью ходил он на крыльцо или на улицу и принимал „поклонение частей“. Солдаты считали каким-то своим долгом явиться в Государственную Думу, словно принять новую присягу. Родзянко шел, говорил своим запорожским басом колокольные речи, кричал о родине, о том, что „не позволим врагу, проклятому немцу, погубить нашу матушку-Русь“... — все такое говорил, и вызывал у растроганных (на минуту) людей громкое „ура“... Это было хорошо — один раз, два, три... Но без конца и без счета — это была тяжкая обязанность, каторжный труд, который совершенно отрывал от какой бы то ни было возможности работать... А ведь „Комитет Государственной Думы“ пока заменял все... Власть и закон, и исполнителей... Родзянко был на положении председателя совета министров... И вот „положение“... Премьер вместо того, чтобы работать, каждую минуту должен бегать на улицу и кричать „ура“, а члены правительства одни — „берут крепости“, другие — ездят по полкам, третьи — освобождают арестованных, четвертые просто теряют голову, заталкиваемые лавиной людей, которые все требуют, просят, молят руководства...

Я видел, что так не может продолжаться: надо правительство. Надо как можно скорее правительство...

— Куда же деть эти секретные договоры? Это ведь самые важные государственные документы, какие есть... Откуда Керенский их добыл?

— Этот человек был из министерства иностранных дел... Очевидно, видя, что́ делается, он бросился к Керенскому, так как боялся, что не в состоянии будет их сохранить... А Керенский приволок сюда...

— Что за чепуха!.. Так же нельзя. Ну спасли эти договоры, — но все остальное могут растащить... Мало ли по всем министерствам государственно-важных документов... Неужели же все их сюда свалить?

— И куда? Нет не только шкафа, но даже ящика нет в столе... Что с ними делать?

Но кто-то нашелся.

— Знаете что — бросим их под стол... Под скатертью ведь совершенно не видно... Никому в голову не придет искать их там... Смотрите...

И пакет отправился под стол...Зеленая бархатная скатерть опустилась до самого пола... Великолепно. Как раз самое подходящее место для хранения важнейших актов державы Российской...

Полно... Есть ли еще эта держава? Государство ли это, или сплошной, огромный, колоссальный сумасшедший дом?

Опять Керенский... Опять с солдатами. Что еще они тащат?

— Можете итти...

Вышли...

— Тут два миллиона рублей. Из какого-то министерства притащили... Так больше нельзя... Надо скорее назначить комиссаров... Где Михаил Владимирович?

— На улице...

— Кричит „ура“? Довольно кричать «ура»! Надо делом заняться... господа члены Комитета!

Он исчез... Исчез трагически-повелительный...

Мы бросили два миллиона к секретным договорам, т.-е. под стол, — не „под сукно“, а под бархат...

Я подошел к Милюкову, который что-то писал на уголке стола...

— Павел Николаевич...

Он поднял на меня глаза...

— Павел Николаевич, — довольно этого кабака. Мы не можем управлять Россией из-под стола... Надо правительство...

Он подумал.

— Да, конечно, надо... Но события так бегут...

— Это все равно... Надо правительство, и надо, чтобы вы его составили... Только вы можете это сделать... Давайте, подумаем, кто да кто...

Подумать не дали.

Взволнованные голоса в соседней комнате... Несколько членов Государственной Думы — не членов Комитета — вошли, так сказать, штурмом...

— Господа, простите, но так нельзя!.. Надо сделать что-нибудь... В полках бог знает что происходит. Там скоро будут убивать, если не убивают... Надо спасти...

— Кого убивают? Что такое?

— Офицеров... надо помочь... надо!

Конечно, надо помочь... Несколько офицеров было тут же... Растерянные, бледные... Мы спешно послали несколько человек... Поехал и Милюков... Остальные... остальные остались, так сказать, дежурить, ибо было постановлено, что Комитет заседает всегда — не расходится до выяснения положения...

Опять? Что еще такое?

— В Екатерининском зале огромная депутация... Надо, чтобы кто-нибудь к ним вышел... их там обрабатывают левые... Ради бога, господа!

Мы переглянулись...

— Сергей Илиодорович — пойдемте...

Шидловский поморщился, но сказал:

— Иду...

В сотый раз вернулся Родзянко... Он был возбужденный, более того — разъяренный... Опустился в кресло...

— Ну что, как?

— Как? Ну, и мерзавцы же эти...

Он вдруг оглянулся.

— Говорите, их нет...

„Они" это был Чхеидзе и еще кто-то, словом — левые...

— Какая сволочь! Ну, все было очень хорошо... Я им сказал речь... Встретили меня как нельзя лучше... Я сказал им патриотическую речь—как-то я стал вдруг в ударе...— Кричат «ура»! Вижу—настроение самое лучшее... Но только я кончил, кто-то из них начинает...

— Из кого?..

— Да из этих... как их... собачьих депутатов... От исполкома, что ли—ну, словом, от этих мерзавцев..

— Что же они?

— Да вот именно, что же... „Вот председатель Государственной Думы все требует от вас, чтобы вы, товарищи,

русскую землю спасали... Так ведь, товарищи, это понятно... У господина Родзянко есть, что спасать... не малый кусочек у него этой самой русской земли в Екатеринославской губернии, да какой земли!.. А может быть, и еще в какой-нибудь есть... Например, в Новгородской... Там, говорят, едешь лесом, что ни спросишь: чей лес? Отвечают: Родзянковский... Так вот Родзянкам и другим помещикам Государственной Думы есть что спасать... Эти свои владения, княжеские, графские и баронские... они называют русской землей... Ее и предлагают вам спасать, товарищи... А вот вы спросите председателя Государственной Думы, будет ли он так же заботиться о спасении русской земли, если эта русская земля... из помещичьей... станет вашей, товарищи?" Понимаете, вот скотина!

— Что же вы ответили?

— Что я ответил? Я уже не помню, что я ответил... Мерзавцы!..

Он так стукнул кулаком по столу, что запрыгали под скатертью секретные документы...

— Мерзавцы! Мы жизнь сыновей отдаем своих, а это хамье думает, что земли пожалеем. Да будет она проклята, эта земля, на что она мне, если России не будет? Сволочь подлая! Хоть рубашку снимите, но Россию спасите! Вот что я им сказал! [1])

Его голос начинал переходить пределы...

— Успокойтесь, Михаил Владимирович.

Но он долго не мог успокоиться... Потом...

Потом поставил нас „в курс дел"... Он все время ведет переговоры со ставкой и с Рузским... Он, Родзянко, все время по прямому проводу сообщает, что происходит здесь, сообщает, что положение вещей с каждой минутой ухудшается; что правительство сбежало; что временно власть принята Государственной Думой в лице ее Комитета, но что положение ее очень шаткое, во-первых, потому что войска взбунтовались — не повинуются офицерам, а наоборот, угрожают им; во-вторых, потому что рядом с Комитетом Государственной Думы вырастает новое учреждение — именно „исполком", который, стремясь захватить власть для себя,—всячески подрывает власть Государственной Думы, в-третьих, вследствие всеобщего развала и с каждым часом увеличивающейся анархии; что нужно при-

---

[1]) Родзянко, повидимому, искренне думал, что он жалеет Россию, а не землю. Но беда в том, что Россию-то он представлял себе чем-то в роде огромной вотчины „благородного дворянского сословия", во главе с царем. *Ред.*

нять какие-нибудь экстренные спешные меры; что вначале казалось, что достаточно будет ответственного министерства, но с каждым часом промедления—становится хуже; что требования растут... Вчера уже стало ясно, что опасность угрожает самой монархии... возникла мысль, что все сроки прошли и что, может быть, только отречение государя императора в пользу наследника может спасти династию... Генерал Алексеев примкнул к этому мнению...

— Сегодня утром,—прибавил Родзянко,—я должен был ехать в ставку для свидания с государем императором, доложить его величеству, что, может быть, единственный исход—отречение... Но эти мерзавцы узнали... и когда я собирался ехать—сообщили мне, что ими дано приказание не выпускать поезда... Не пустят поезда! Ну как вам это нравится?! Они заявили, что одного меня они не пустят, а что должен ехать со мною Чхеидзе и еще какие-то... Ну, слуга покорный—я с ними к государю не поеду!.. Чхеидзе должен был сопровождать батальон „революционных солдат“!.. Что они там учинили бы!.. Я с этими скот...

Меня вызвали по совершенно неотложному делу...

Это был тот офицер, который ездил со мною „брать Петропавловку“.

— Там неблагополучно... Собралась огромная толпа.. тысяч пять... Требуют, чтобы выпустили арестованных..

— Да ведь их нет...

— Не верят... Я только что оттуда... Гарнизон еле держится... Каждую минуту могут ворваться... Я их успокоил на минутку, сказал, что сейчас еду в Государственную Думу и что кто-нибудь приедет... Но надо спешить...

— Сейчас...

Я сел к столу и стал писать ту записку, о которой условился с комендантом...

Потом,—не знаю уже как и почему—передо мной очутились члены Государственной Думы Волков (кадет) и Скобелев (социалист).

— Господа, поезжайте... Помните Бастилию: она была сожжена только потому, что не поверили, что нет заключенных... Надо, чтоб вам поверили!..

Волков с живыми глазами сильно воспринимал... Скобелев, немножко заикающийся, тоже хорошо чувствовал—я видел.

Я сказал ему:

— Ведь они вас знают... Вы популярны... Скажите им речь.

Они поехали...

Я застал Комитет в большом волнении... Родзянко бушевал:

— Кто это написал?! Это они, конечно, мерзавцы. Это прямо для немцев... Предатели!.. Что теперь будет?

— Что случилось?..

— Вот прочтите.

Я взял бумажку, думая, что это прокламация... Стал читать... и в глазах у меня помутилось... Это был знаменитый впоследствии „приказ № 1".

— Откуда это?

— Расклеено по всему городу... на всех стенках...

Я почувствовал, как чья-то коричневая рука сжала мое сердце. Это был конец армии...

Последствия немедленно сказались... Со всех сторон стали доходить слухи, что офицеров изгоняют, арестовывают... Офицерство стало метаться... Многие, боясь, пробивались в Государственную Думу... помня лозунг „Государственная Дума не проливает крови". Другие стали по чьему-то приглашению собираться в зал Армии и Флота, на углу Литейного и Кирочной... Стало известно, что около 2000 офицеров собралось там и что идет заседание... Настроение большинства „за Государственную Думу" и „за порядок". Третьи увеличили число людей, осаждавших „Комитет Государственной Думы", прося указаний...

С каждым часом настроение ухудшалось... Из различных мест сообщалось о насилии над офицерами ..

Это были решающие минуты... Если бы можно было вооружить собравшихся в зале Армии и Флота офицеров, а главное, если бы можно было на них рассчитывать, т.-е. если бы это были люди, пережившие все то, что они пережили впоследствии, скажем, корниловского закала, если бы кто-нибудь понял значение военных училищ и, главное, если бы был человек калибра Петра I или Николая II,—эта минута могла спасти все... Можно было раздавить бунт, ибо весь этот „революционный народ" думал только об одном,—как бы не итти на фронт... Сражаться он бы не стал... Надо было бы сказать ему, что Петроградский гарнизон распускается по домам... Надо было бы мерами исключительной жестокости привести солдат к повиновению, выбросить весь сброд из Таврического дворца, восстановить обычный порядок жизни и поставить правительство, не „доверием страны облеченное", а опирающееся на настоящую гвардию... Да, на **настоящую гвардию**...

Гвардии у нас не было... Были гвардейские полки... Но чем они отличались от не-гвардейских?.. Тем, что гвардейские офицеры принадлежали к аристократическим фамилиям... Но аристократия далеко не всегда была опорой престола...

Гвардия должна состоять из солдат, не менее офицеров настроенных гвардейски... Поэтому в гвардии должны служить люди не по набору, а добровольно, и за хорошее жалование...

И притом — нельзя пускать гвардию на войну...

Гвардия должна оставаться в полной неприкосновенности, и назначение ее не против врагов внешних, а против врагов внутренних... Сражаться с врагом внешним можно до последнего солдата армии и до первого солдата гвардии.. Гвардия должна быть на случай проигранной войны... Тогда она вступает в действие, одной рукой приводит в христианский вид деморализованную поражением армию, другой — удерживает в границах повиновения бунтующееся население...

Проигранная война всегда грозит революцией... Но революция неизмеримо хуже проигранной войны. Поэтому гвардию нужно беречь для единственной и почетной обязанности — бороться с революцией...

Представим себе, что в 1917 году мы бы имели нетронутую и совершенно надежную в политическом смысле гвардию. Никакой революции не произошло бы. Самое большее, что случилось бы, — это отречение императора Николая II. Затем допустим, что разложившаяся армия бросила бы фронт. Новый император или регент заключил бы мир—пусть невыгодный, но что же делать?.. Затем, при помощи гвардии, восстановил бы порядок повсюду, ибо мы отлично знаем, что взбунтовавшиеся войска неспособны бороться с полками, сохранившими дисциплину... Пусть беспорядки продолжались бы год, два, три...—все равно: власть, опирающаяся на твердую силу, восторжествовала бы, тем более, что с каждым днем анархия надоедала бы...

Итак, быть может, главный грех старого режима был тот, что он не сумел создать настоящей гвардии... Пусть это будет наукой будущим властителям...

Я отвлекся. Продолжаю. Вернулись Волков и Скобелев. Они были возбуждены и довольны.

— Ну, удалось?

— Удалось!.. кажется, теперь уже успокоятся...

— Расскажите...

— Мы застали толпу в сильнейшем возбуждении...

— Большая толпа?..

— Огромная... Весь Каменноостровский сплошь—много тысяч...

— Чего же они хотели?

— Выдачи арестованных... Рвались в крепость... Вы недаром упомянули о Бастилии... Так оно и было...

— Гарнизон?

— Гарнизон еще держался... Но они были страшно перепуганы... не знали, что делать... пустить оружие в ход? Боялись... Да и не знали, будут ли солдаты действовать...

— Что вы сделали?

— Мы, во-первых, заявили, что мы — члены Государственной Думы... Нас приняли хорошо, кричали „ура“. Тогда мы объявили, что пойдем осматривать камеры... И предложили... Словом, захватили с собой так сказать, понятых...

— Ну?

— Предъявили ваш пропуск... Нас очень любезно приняли и водили повсюду...

— Никого нет?

— Никого решительно... Мы тогда вышли к ним... Объяснили, что никого нет... Очень помогал этот офицер ваш — молодец! И потом понятые, конечно. Они тоже говорили, объясняли... Были, конечно, сомневающиеся... Но громадное большинство поняло, что дело чистое... Благодарили, кричали „ура“. Мы им сказали речь. Просили их разойтись по домам... Не затруднять, так сказать, „дела свободы“... Скобелев очень хорошо говорил.

Это, кажется, единственное дело, которым я до известной степени могу гордиться... Петропавловскую крепость с могилами императоров удалось спасти таким маневром. Уцелела „русская Бастилия“, в которой в течение двух веков консервировались „борцы за свободу“, те, которые столько времени сеяли „разумное, доброе, вечное“ и, наконец, дождались всхода своих посевов...

О, скажет вам спасибо сердечное, скажет — русский народ...

Подождите только...

Я не помню. Тут начинается в моих воспоминаниях кошмарная каша, в которой перепутываются: бледные офицеры; депутации; ура; марсельеза; молящий о спасении звон телефонов; бесконечная вереница арестованных; хвосты несчетных городовых; роковые ленты с прямого провода; бушующий Родзянко; внезапно появляющийся, трагически исчезающий Керенский; спокойно-обреченный Шидловский; двусмысленный Чхеидзе; что-то делающий Энгельгардт; весьма странный Некрасов; раздражительный Ржевский... Минутные вспышки не то просветления, не то головокружения, когда доходят вести, что делается в армии и в России... Отклики уже начали поступать; телеграммы, в которых в восторженных выражениях приветствовалась „власть Государственной Думы“...

Да, так им казалось издали... Слава богу, что так казалось... На самом деле—никакой власти не было. Была, с одной стороны, кучка людей, членов Государственной Думы, совершенно задавленных или, вернее, раздавленных тяжестью того, что на них свалилось. С другой стороны — была горсточка негодяев и маниаков, которые твердо знали, чего они хотели, но то, чего они хотели, было ужасно: это было—в будущем разрушение мира, сейчас—гибель России... Приказ № 1, который валялся у нас на столе, был этому доказательством...

Но все-таки что-то надо было делать и во что бы то ни стало надо было ввести какой-нибудь порядок в надвигающуюся анархию. Для этого прежде всего и во что бы то ни стало надо образовать правительство. Я повторно и настойчиво просил Милюкова, чтобы он, наконец, занялся списком министров. В конце концов он „занялся“.

Между бесконечными разговорами с тысячью людей, хватающих его за рукава, принятием депутаций, речами на нескончаемых митингах в Екатерининском зале, сумасшедшей ездой по полкам, обсуждением прямопроводных телеграмм из ставки, грызней с возрастающей наглостью Исполкома—Милюков, присевший на минутку где-то на уголке стола, писал список министров...

И несколько месяцев тому назад, и перед самой революцией я пытался хоть сколько-нибудь выяснить этот злосчастный список. Но мне отвечали, что „еще рано“. А вот теперь... теперь, кажется, было поздно...

— Министр финансов?.. Да, вот видите... это трудно... Все остальные как-то выходят, а вот министр финансов...

— А Шингарев?

— Да нет, Шингарев попадает в земледелие...

— А Алексеенко умер...

Счастливый Алексеенко. Его тело везли в торжественном катафалке навстречу революционному народу, стремившемуся в Таврический дворец...

— Кого же?

Мы стали думать. Но думать было некогда. Ибо звонки по телефону трещали из полков, где начались всякие насилия над офицерами... А терявшая голову человеческая гуща зажимала нас все теснее липким повидлом, в котором нельзя было сделать ни одного свободного движения.

Надо было спешить... Мысленно несколько раз пробежав по расхлябанному морю знаменитой „общественности“, пришлось убедиться, что в общем плохо...

Князь Львов, о котором я лично не имел никакого понятия, а „общественность“ твердила, что он замечательный, потому что управлял „Земгором“, непререкаемо въехал в Милюковском списке на пьедестал премьера...

А кого мы, не-кадеты, могли бы предложить?

Родзянко?

Я бы лично стоял за Родзянко, он, может быть, наделал бы неуклюжестей, но, по крайней мере, он не боялся и декламировал „Родину-Матушку“ от сердца и таким зычным голосом, что полки каждый раз кричали за ним „ура“...

Правда, были уже и такие случаи, что после речей левых тот самый полк, который только что кричал „ура Родзянке“, неистово вопил „долой Родзянку“. То была работа „этих мерзавцев“... Но, может быть, именно Родзянко скорее других способен был с ними бороться... А впрочем—нет. Родзянко мог бы бороться, если бы у него было два-три совершенно надежных полка. А так как в этой проклятой каше у нас не было и трех человек надежных, то Родзянко ничего бы не сделал. И это было совершенно ясно, хотя бы потому, что, когда об этом заикались, все немедленно кричали, что Родзянку „не позволят левые“.

То-есть как это „не позволят“?! Да так. В их руках все же была кой-какая сила, хоть и в полуанархическом состоянии... У них были какие-то штыки, которые они могли натравить на нас. И вот эти, „относительно владеющие штыками“, соглашались на Львова, соглашались потому, что кадеты все же имели в их глазах известный ореол. Родзянко же был для них только „помещик“ екатеринославский и новгородский, чью землю надо прежде всего отнять...

Итак, Львов — премьер... Затем министр иностранных дел—Милюков, это не вызывало сомнений. Действительно, Милюков был головой выше других и умом, и характером. Гучков—военный министр. Гучков издавна интересовался военным делом, за ним числились несомненные заслуги. Будучи руководителем третьей Государственной Думы, он очень много сделал для армии. Он настоял на увеличении вдвое нашего артиллерийского запаса. Он старался продвинуть в армию все наиболее талантливое. Он первый дешифрировал Мясоедова...

Шингарев, как министр земледелия, тоже был признанным авторитетом. Неизвестно, собственно говоря, почему, ибо придирчивая критика реформы Столыпина была не плюс, а минус... Но это в наших глазах. А в глазах кадетских—совсем наоборот.

Прокурор святейшего синода? Ну, конечно, Владимир Николаевич Львов. Он такой „церковник“ и так много что-то „обличал“ с кафедры Государственной Думы...

С министром путей сообщения было несколько хуже, но все-таки оказалось, что инженер Бубликов, он же член Государственной Думы, он же решительный человек, он же приемлемый для левых, „яко прогрессист"—подходит.

Но вот министр финансов не давался, как клад...

И вдруг каким-то образом в список вскочил Терещенко.

Михаил Иванович Терещенко был очень мил, получил европейское образование, великолепно „лидировал" автомобиль и вообще производил впечатление дэнди, гораздо больше, чем присяжные аристократы. Последнее время очень „интересовался революцией", делая что-то в военно-промышленном комитете. Кроме того был весьма богат.

Но почему, с какой благодати он должен был стать министром финансов?

А вот потому, что бог наказал нас за наше бессмысленное упрямство. Если старая власть была обречена благодаря тому, что упрямилась, цепляясь за своих Штюрмеров, то также обречены были и мы, ибо сами сошли с ума и свели с ума всю страну мифом о каких-то гениальных людях, „общественным доверием облеченных", которых на самом деле вовсе и не было...

Очень милый и симпатичный Михаил Иванович, которому, кажется, было года 32,—каким общественным доверием он был облечен на роль министра финансов огромной страны, ведущей мировую войну в разгаре революции?..

Так, на кончике стола, в этом диком водовороте полусумасшедших людей, родился этот список из головы Милюкова, причем и голову эту пришлось сжимать обеими руками, чтобы она хоть что-нибудь могла сообразить. Историки в будущем, да и сам Милюков, вероятно, изобразят это совершенно не так: изобразят, как плод глубочайших соображений и результат „соотношения реальных сил". Я же рассказываю, как было. Тургенев утверждал, что у русского народа „мозги—набекрень". Все наше революционное движение ясно обнаружило эту мозгобекренность, результатом которой и был этот список полуникчемных людей, как приз за сто лет „борьбы с исторической властью"...

Тяжелее и глупее всего было в этой истории положение наше,—консервативного лагеря. Ненависть к революции мы всосали, если не с молоком матери, то с Японской войны. Мы боролись с революцией, сколько хватало наших сил, всю жизнь. В 1905-м мы не задавили. Но вот в 1915-м, главным образом потому, что кадеты стали полупатриотами, нам, патриотам, пришлось стать полукадетами.

С этого все и пошло. „Мы будем твердить—все для войны,—если вы будете бранить власть“... И вот мы стали ругаться, чтобы воевали. И в результате оказались в одном мешке с революционерами, в одной коллегии с Керенским и Чхеидзе.

Нерассказываемый и непередаваемый бежал день... зарываясь в безумие... и грозя кровью...

Вечером додумались пригласить в „Комитет Государственной Думы“ делегатов от „Исполкома“, чтобы договориться до чего-нибудь. Всем было ясно, что вырастающее двоевластие представляет грозную опасность. В сущности вопрос стоял—или мы, или они. Но „мы“ не имели никакой реальной силы. Ее заменял дождь телеграмм, выражавших сочувствие Государственной Думе. „Они“ же не имели еще достаточно силы. Хотя в их руках была бесформенная масса взбунтовавшегося Петроградского гарнизона, но в глазах России происшедшее сотворилось „силою Государственной Думы“. Надо было сначала этот престиж подорвать, чтобы можно было нас ликвидировать. Поэтому мы их позвали, а они—пришли...

Пришло трое... Николай Дмитриевич Соколов, присяжный поверенный, человек очень левый и очень глупый, о котором говорили, что он автор приказа № 1. Если он его и писал, то под чью-то диктовку[1]). Кроме Соколова пришло двое,—двое евреев. Один—впоследствии столь знаменитый Стеклов-Нахамкес, другой—менее знаменитый Суханов-Гиммер, но еще более, может быть, омерзительный...

Я не помню, с чего началось. Очевидно, их упрекали в том, что они ведут подкоп против Комитета Государственной Думы, что этим путем они подрывают единственную власть, которая имеет авторитет в России и может сдержать анархию. Я не помню, что они отвечали, но явственно почему-то помню свою фразу:

— Одно из двух: или арестуйте всех нас, посадите в Петропавловку и правьте сами. Или уходите и дайте править нам.

И помню ответ Стеклова.

— Мы не собираемся вас арестовывать.

---

[1]) Приказ действительно писался под диктовку, но не Германского штаба, как намекает Шульгин, а представителей солдат, совместно с Соколовым вырабатывавших текст приказа. *Ред.*

За этих людей взялся Милюков. С упорством, ему одному свойственным, он требовал от них: написать воззвание, чтобы не делали насилий над офицерами.

Милюков убеждал, умолял, заклинал...

Это продолжалось долго, бесконечно... Это не было уже заседание. Было так... Несколько человек, совершенно изнеможденных, лежали в креслах, а эти три пришельца сидели за столиком вместе с седовласым Милюковым. Они, собственно, вчетвером вели дебаты, мы изредка подавали реплики из глубины прострации...

Керенский то входил, то выходил, как всегда,—молниеносно и драматически. Он бросал какую-нибудь трагическую фразу и исчезал. Но в конце-концов, совершенно изнеможденный, и он упал в одно из кресел...

Милюков продолжал торговаться...

Неподалеку от меня, в таком же рамольном кресле, маленький, худой, заросший, лежал Чхеидзе.

Не помогло и кавказское упрямство. И его сломало...

В это время Милюков с этими тремя вел бесконечный спор насчет „выборного офицерства". В этот спор иногда припутывался Энгельгардт, который, как полковник генерального штаба, считался специалистом военного дела. Милюков доказывал, что выборное офицерство невозможно что его нет нигде в мире и что армия развалится.

Те трое говорили наоборот, что только та армия хороша, в которой офицеры пользуются доверием солдат. В сущности они говорили совершенно то, что мы твердили последние полтора года, когда утверждали: то правительство крепко, которое пользуется доверием народа. Но все думали при этом, что гражданское управление—это одно, а военное—другое. Милюкову это было ясно, но Гиммер не понимал...

Не знаю почему, меня потянуло к Чхеидзе. Я подошел и, наклонившись над распростертой маленькой фигуркой, спросил шопотом:

— Неужели вы в самом деле думаете, что выборное офицерство—это хорошо?

Он поднял на меня совершенно усталые глаза, заворочал белками, и шопотом же ответил со своим кавказским акцентом, который придавал странную выразительность тому, что он сказал:

— И вообще все пропало... Чтобы спасти... чтобы спасти—надо чудо... Может быть, выборное офицерство будет чудо...

Может, не будет... Надо пробовать... хуже не будет... Потому что я вам говорю: все пропало...

Я не успел достаточно оценить этот ответ одного из самых видных представителей „революционного народа“, который на третий день революции пришел к выводу, что „все пропало“, не успел потому, что их светлости Нахамкес и Гиммер милостиво изволили соизволить на написание воззвания, „чтобы не убивали офицеров“ [1])...

Пошли писать. В это время меня вызвали.

В соседней комнате было полным-полно всякого народа. Явственно чувствовалось, как измученная человеческая стихия в качестве последнего оплота бьется в убогие двери „Комитета Государственной Думы“.

Кто-то из членов Думы, кажется, Можайский, схватил меня за рукава:

— Вот, ради бога. Поговорите с этими офицерами. Они вас добиваются...

Взволнованная группка в форме.

— Мы из „Армии и Флота“...

— Что там такое?

— Там собрались офицеры... Несколько тысяч... Настроение такое—наше, словом—„за Государственную Думу“... Вот мы составили резолюцию... Хотим посоветоваться... Еще можно изменить...

Я прочел резолюцию. В общем все было более или менее возможно, принимая во внимание сумасшествие момента. Но были вещи, которые с моей точки зрения и сейчас нельзя было провозглашать. Было сказано, не помню точно что́, но в том смысле, что необходимо добиваться Всероссийского Учредительного Собрания, избранного „всеобщим, тайным, равным“ — словом, по четырехвостке. Я кратко объяснил, что говорить об Учредительном Собрании не нужно, что это еще вовсе не решено.

— А мы думали, что это уже кончено... Если нет, тем лучше, еще бы! чорт с ним...

Они обещали Учредительное Собрание вычеркнуть и провести это в собрании.

— Мы имеем большинство... Как скажете,—так и будет...

---

[1]) Дело здесь, конечно, не в спасении офицеров от поголовного избиения, которым им никто не угрожал, а в восстановлении прежней военной дисциплины и обуздании ненавистной Шульгиным и Милюковым революционной „солдатни“. Вопрос шел о том, вернется ли армия в распоряжение буржуазно-помещичьей клики или окончательно уйдет от нее. Представители Совета не проявили здесь необходимой твердости. *Ред.*

Но они не смогли... Перепрыгнуло ли настроение, или что другое помешало, но, словом, когда я прочел эту резолюцию позже в печатном виде, в ней уже стояло требование Учредительного Собрания.

Это надо запомнить. 1-го марта вечером, т.-е. на третий день революции, самая „реакционная" и самая действенная часть офицерства в столице, ибо таковы были собравшиеся в зале „Армии и Флота", все же находилась под таким гипнозом или страхом, что должна была „требовать" Учредительного Собрания...

Гиммер, Соколов и Нахамкес написали воззвание. „Заседание" как бы возобновилось. Чхеидзе и Керенский в разных углах комнаты лежали в креслах... Милюков с теми тремя — у столика .. Остальные более или менее — в беспорядке.

Началось чтение этого документа...

Он был длинный. Девять десятых его были посвящены тому, — какие мерзавцы офицеры, какие они крепостники, реакционеры, приспешники старого режима, гасители свободы, прислужники реакции и помещиков. Однако в трех последних строках было сказано, что все-таки их убивать не следует...

Все возмутились... В один голос все сказали, что эта прокламация не поведет к успокоению, а, наоборот, к сильнейшему разжиганию. Гиммер и Нахамкес ответили, что иначе они не могут. Кто-то из нас вспылил, но Милюков вцепился в них мертвой хваткой. Очевидно, и он надеялся на свое, всем известное, упрямство, перед которым ни один кадет еще не устоял. Он взял бумажку в руки и стал пространно говорить о каждой фразе, почему она немыслима. Те так же пространно отвечали, почему они не могут ее изменить...

Чхеидзе лежал. Керенский иногда вскакивал и убегал куда-то, потом опять появлялся. К нему вечно рвались какие-то темные личности, явно оттуда — из Исполкома. Очевидно, он имел там серьезное влияние... Может быть, шла торговля из-за списка министров.

Я не помню, сколько часов все это продолжалось. Я совершенно извелся и перестал помогать Милюкову, что сначала пытался делать. Направо от меня лежал Керенский, прибежавший откуда-то, повидимому, в состоянии полного изнеможения. Остальные тоже уже совершенно выдохлись.

Один Милюков сидел упрямый и свежий. С карандашом в руках он продолжал грызть совершенно безнадежный

документ. Против него эти трое сидели неумолимо, утверждая, что они должны квалифицировать социальное значение офицеров, иначе революционная армия их не поймет. Мне ясно запомнились они—около освещенного столика и остальная комната—в полутьме. Этот их турнир был символичен: кадет, уламывающий социалистов. Так, ведь, было несколько месяцев, пока мы, лежащие, не взялись за ум, т.-е. за винтовку.

Мне показалось, что я слышу слабый запах эфира. В это время Керенский, лежавший пластом, вскочил, как на пружинах...

— Я желал бы поговорить с вами...

Это он сказал тем трем. Резко, тем безапелляционно-шекспировским тоном, который он усвоил в последние дни...

— Только наедине!.. Идите за мною!.

Они пошли... На пороге он обернулся:

— Пусть никто не входит в эту комнату...

Никто и не собирался. У него был такой вид, точно он будет пытать их в „этой комнате".

Через четверть часа дверь „драматически" распахнулась. Керенский бледный, с горящими глазами:

— Представители Исполнительного Комитета согласны на уступки...

Те тоже были бледны. Или так мне показалось. Керенский снова свалился в кресло, а трое снова стали добычей Милюкова.

На этот раз он быстро выработал удовлетворительный текст: трое, действительно, соглашались...

Бросились в типографию. Но было уже поздно: революционные наборщики прекратили уже работу. Было два или три часа ночи.

Гиммер, Нахамкес и Соколов ушли. Родзянко опять вызвали на улицу. Пришел какой-то полк, который хотел засвидетельствовать свою верность Государственной Думе. На дворе была вьюга, они шли верст сорок пешком. И в три часа ночи пришли поклониться Государственной Думе. Родзянко пошел с ними разговаривать, и скоро обычный рев донесся оттуда. Очевидно, „Родина-Матушка" подействовала еще раз,—кричали „ура"...

В это время приехал Гучков. Он был в очень мрачном состоянии:

— Настроение в полках ужасное... Я не убежден, не происходит ли сейчас убийств офицеров. Я объезжал лично

и видел... Надо на что-нибудь решиться... И надо скорее .. Каждая минута промедления будет стоить крови... будет хуже, будет хуже...

Он уехал.

Вернувшись, Родзянко без конца читал нам бесконечные ленты с прямого провода. Это были телеграммы от Алексеева из Ставки и Рузского из Пскова. Алексеев находил необходимым отречение государя императора.

Эта мысль об отречении государя была у всех, но как-то об этом мало говорили. Вообще же было только несколько человек, которые в этом ужасном сумбуре думали об основных линиях. Все остальные, потрясенные ближайшим, занимались тем, чем занимаются на пожарах: качают воду, спасают погибающих и пожитки, суетятся и бегают.

Мысль об отречении созревала в умах и сердцах как-то сама по себе. Она росла из ненависти к монарху, не говоря о всех прочих чувствах, которыми день и ночь хлестала нам в лицо революционная толпа. На третий день революции вопрос о том, может ли царствовать дальше государь, которому безнаказанно брошены в лицо все оскорбления, был уже, очевидно, решен в глубине души каждого из нас.

Обрывчатые разговоры были то с тем, то с другим. Но я не помню, чтобы этот вопрос обсуждался Комитетом Государственной Думы, как таковым. Он был решен в последнюю минуту.

В эту ночь он вспыхивал несколько раз по поводу этих узеньких ленточек, которые сворачивал в руках Родзянко, читая. Ужасные ленточки. Эти ленточки были нитью, связывавшей нас с армией, с той армией, о которой мы столько заботились, для которой мы столько заботились, для которой мы пошли на все... Весь смысл похода на правительство с 1915 года был один: чтобы армия сохранилась, чтобы армия дралась... И вот теперь по этим ленточкам надо было решить, как поступить... Что для нее сделать?..

Кажется, в четвертом часу ночи вторично приехал Гучков. Он был сильно расстроен. Только что рядом с ним в автомобиле убили князя Вяземского. Из каких-то казарм обстреляли „офицера"...

И тут собственно это и решилось. Нас был в это время неполный состав. Были Родзянко, Милюков, я — остальных не помню... Но помню, что ни Керенского, ни Чхеидзе не было. Мы были в своем кругу. И потому Гучков говорил совершенно свободно. Он сказал приблизительно следующее:

— Надо принять какое-нибудь решение. Положение ухудшается с каждой минутой. Вяземского убили только потому, что он офицер... То же самое происходит, конечно, и в других местах... А если не происходит этой ночью, то произойдет завтра... И идучи сюда, я видел много офицеров в разных комнатах Государственной Думы: они просто спрятались сюда... Они боятся за свою жизнь... Они умоляют спасти их... Надо на что-то решиться... На что-то большое, что могло бы произвести впечатление... Что дало бы исход... Что могло бы вывести из ужасного положения с наименьшими потерями... В этом хаосе, во всем, что делается, надо прежде всего думать о том, чтобы спасти монархию... Без монархии Россия не может жить... Но, видимо, нынешнему государю царствовать больше нельзя... Высочайшее повеление от его лица—уже не повеление: его не исполнят... Если это так, то можем ли мы спокойно и безучастно дожидаться той минуты, когда весь этот революционный сброд начнет сам искать выхода... И сам расправится с монархией... Меж тем это неизбежно будет, если мы выпустим инициативу из наших рук.

Родзянко сказал:

— Я должен был сегодня утром ехать к государю... Но меня не пустили... Они объявляли мне, что не пустят поезда, чтобы я ехал с Чхеидзе и баталионом солдат...

— Я это знаю, — сказал Гучков.— Поэтому действовать надо иначе... Надо действовать тайно и быстро, никого не спрашивая... ни с кем не советуясь... Если мы сделаем по соглашению с „ними“, то это непременно будет наименее выгодно для нас. Надо поставить их перед совершившимся фактом... Надо дать России нового государя... Надо под этим новым знаменем собрать то, что можно собрать... Для отпора!.. Для этого надо действовать быстро и решительно...

— То-есть—точнее?—Что вы предполагаете сделать?

— Я предлагаю немедленно ехать к государю и привезти отречение в пользу наследника...

Родзянко сказал:

— Рузский телеграфировал мне, что он уже говорил об этом с государем... Алексеев запросил главнокомандующих фронтами о том же. Ответы ожидаются...

— Я думаю, надо ехать, — сказал Гучков.—Если вы согласны и если вы меня уполномачиваете, я поеду... Но мне бы хотелось, чтобы поехал еще кто-нибудь...

Мы переглянулись... Произошла продолжительная пауза, после которой я сказал:

— Я поеду с вами...

Мы обменялись еще всего несколькими словами. Я постарался уточнить: Комитет Государственной Думы признает единственным выходом в данном положении отречение государя императора, поручает нам двоим доложить об этом его величеству и в случае его согласия поручает привезти текст отречения в Петроград. Отречение должно произойти в пользу наследника цесаревича Алексея Николаевича. Мы должны ехать вдвоем, в полной тайне.

Я отлично понимал, почему я еду. Я чувствовал, что отречение случится неизбежно, и чувствовал, что невозможно поставить государя лицом к лицу с „Чхеидзе"...Отречение должно быть передано в руки монархистов и ради спасения монархии.

Кроме того было еще другое соображение. Я знал, что офицеров будут убивать именно за то, что они монархисты, за то, что они захотят исполнить свой долг присяги царствующему императору до конца. Это, конечно, относится к лучшим офицерам. Худшие приспособятся. И вот для этих лучших надо было, чтобы сам государь освободил их от присяги, от обязанности повиноваться ему. Он только один мог спасти настоящих офицеров, которые нужны были, как никогда. Я знал, что в случае отречения в наши руки революции как бы не будет. Государь отречется от престола по собственному желанию, власть перейдет к регенту, который назначит новое правительство. Государственная Дума, подчинившаяся указу о роспуске и подхватившая власть только потому, что старые министры разбежались, — передаст эту власть новому правительству. Юридически революции не будет.

Я не знал, удастся ли этот план при наличии Гиммеров, Нахамкесов и приказа № 1. Но во всяком случае он представлялся мне единственным. Для всякого иного нужна была реальная сила. Нужны были немедленно повинующиеся нам штыки, а таковых-то именно и не было...

В пятом часу ночи мы сели с Гучковым в автомобиль, который по мрачной Шпалерной, где нас останавливали какие-то посты и заставы, и по неузнаваемой, чужой, Сергиевской довез нас до квартиры Гучкова. Там А. И. набросал сколько слов. Этот текст был составлен слабо, а я совершенно был неспособен его улучшить, ибо все силы были на исходе.

2-е марта 1917 года.

Чуть серело, когда мы подъехали к вокзалу. Очевидно, революционный народ, утомленный подвигами вчерашнего дня, еще спал. На вокзале было пусто.

Мы прошли к начальнику станции. Александр Иванович сказал ему:

— Я—Гучков... Нам совершенно необходимо по важнейшему государственному делу ехать в Псков... Прикажите подать нам поезд...

Начальник станции сказал: „слушаюсь“, и через двадцать минут поезд был подан.

Это был паровоз и один вагон с салоном и с спальнями. В окна замелькал серый день. Мы, наконец, были одни, вырвавшись из этого ужаснаго человеческаго круговорота, который держал нас в своем липком веществе в течение трех суток. И впервые значение того, что мы делаем, стало передо мной, если не во всей своей колоссальной огромности, которую в то время не мог охватить никакой человеческий ум, то и по крайней мере в рамках доступности [1])...

Трон был спасен в 1905 году, потому что часть народа еще понимала своего монарха... Во время той войны, также неудачной, эти, понимающие, столпились вокруг престола и спасли Россию...

Спасли те „поручики“, которые командовали „по наступающей толпе — пальба“, спасли те, кто зажглись взрывом оскорбленного патриотизма, — взрывом, который вылился в „еврейский погром“, спасли те „прапорщики“, которые этот погром остановили, спасли те правители и вельможи, которые дали лозунг „не запугаете“, спасли те политические деятели, которые, испросив благословение церкви,—громили словом лицемеров и безумцев...

А теперь?

Теперь не нашлось никого...

Никого... потому что мы перестали понимать своего государя...

И вот...

И вот... Псков...

Станции проносились мимо нас... Иногда мы останавливались... Помню, что А. И. Гучков иногда говорил краткие речи с площадки вагона... это потому, что иначе нельзя было... На перронах стояла толпа, которая все знала... То-есть она знала, что мы едем к царю... И с ней надо было говорить...

---

[1]) Далее Шульгин предается верноподданническим воспоминаниям о бывших встречах с Николаем. Мы опускаем все это длинное отступление от рассказа за исключением лишь одного небольшого отрывка, ярко характеризующего приемы „спасения „трона“ в 1905 г. *Ред.*

Не помню, на какой станции нас соединили прямым проводом с генерал-адъютантом Николаем Иудовичем Ивановым. Он был, кажется, в Гатчине. Он сообщил нам, что по приказанию государя накануне, или еще 28 числа, выехал по направлению к Петрограду... Ему было приказано усмирить бунт... Для этого, не входя в Петроград, он должен был подождать две дивизии, которые были сняты с фронта и направлялись в его распоряжение... В качестве, так сказать, верного кулака ему было дано два баталиона георгиевцев, составлявших личную охрану государя. С ними он дошел до Гатчины... И ждал... В это время кто-то успел разобрать рельсы, так что он, в сущности, отрезан от Петрограда... Он ничего не может сделать, потому что явились „агитаторы“, и георгиевцы уже разложились... На них нельзя положиться... Они больше не повинуются... Старик стремился повидаться с нами, чтобы решить, что делать...

Но надо было спешить... Мы ограничились этим телеграфным разговором...

Все же мы ехали очень долго... Мы мало говорили с А. И. Усталость брала свое... Мы ехали, как обреченные... Как все самые большие вещи в жизни человека, и это совершилось не при полном блеске сознания... Так надо было... Мы бросились на этот путь, потому что всюду была глухая стена... Здесь, казалось, просвет... Здесь было „может быть“... А всюду кругом было—„оставь надежду“...

Разве переходы монаршей власти из рук одного монарха к другому не спасали Россию?

Сколько раз это было...

В 10 вечера мы приехали. Поезд стал. Вышли на площадку. Голубоватые фонари освещали рельсы. Через несколько путей стоял освещенный поезд... Мы поняли, что это—императорский...

Сейчас же кто-то подошел...

— Государь ждет вас...

И повел нас через рельсы. Значит, сейчас все это произойдет. И нельзя отвратить?

Нет, нельзя... Так надо... Нет выхода... Мы пошли, как идут люди на все самое страшное. Не совсем понимая... Иначе не пошли бы...

Но меня мучила еще одна мысль, совсем глупая...

Мне было неприятно, что я являюсь к государю небритый, в смятом воротничке, в пиджаке...

С нас сняли верхнее платье. Мы вошли в вагон.

Это был большой вагон-гостиная. Зеленый шелк по стенкам... Несколько столов... Старый, худой, высокий, желтовато-седой генерал с аксельбантами...

Это был барон Фредерикс...

— Государь император сейчас выйдет... Его величество в другом вагоне...

Стало еще безотраднее и тяжелее...

В дверях появился государь... Он был в серой черкеске... Я не ожидал его увидеть таким...

Лицо?

Оно было спокойно...

Мы поклонились. Государь поздоровался с нами, подав руку. Движение это было скорее дружелюбно...

— А Николай Владимирович?

Кто-то сказал, что генерал Рузский просил доложить, что он немного опоздает.

— Так мы начнем без него.

Жестом государь пригласил нас сесть... Государь занял место по одну сторону маленького четырехугольного столика, придвинутого к зеленой шелковой стене. По другую сторону столика сел Гучков. Я—рядом с Гучковым, наискось от государя. Против царя был барон Фредерикс...

Говорил Гучков. И очень волновался. Он говорил, очевидно, хорошо продуманные слова, но с трудом справлялся с волнением. Он говорил негладко... и глухо.

Государь сидел, опершись слегка о шелковую стену, и смотрел перед собой. Лицо его было совершенно спокойно и непроницаемо.

Я не спускал с него глаз. Он изменился сильно с тех пор... Похудел... но не в этом было дело... А дело было в том, что вокруг голубых глаз кожа была коричневая и вся разрисованная белыми черточками морщин. И в это мгновение я почувствовал, что эта коричневая кожа с морщинками, что это была маска, что это не настоящее лицо государя, и что настоящее, может быть, редко кто видел, может быть, иные никогда, ни разу ни видели...

Гучков говорил о том, что происходит в Петрограде. Он немного овладел собой... Он говорил (у него была эта привычка), слегка прикрывая лоб рукой, как бы для того, чтобы сосредоточиться. Он не смотрел на государя, а говорил, как бы обращаясь к какому-то внутреннему лицу, в нем же, Гучкове, сидящему. Как будто совести своей говорил.

Он говорил правду. Ничего не преувеличивая и ничего не утаивая. Он говорил то, что мы все видели в Петрограде. Другого он не мог сказать. Что делалось в России, мы не знали. Нас раздавил Петроград, а не Россия...

Государь смотрел прямо перед собою, спокойно, совершенно непроницаемо. Единственное, что, мне казалось, можно было угадать в его лице:

— Эта длинная речь — лишняя...

В это время вошел генерал Рузский. Он поклонился государю и, не прерывая речи Гучкова, занял место между бароном Фредериксом и мною... В эту же минуту, кажется, я заметил, что в углу комнаты сидит еще один генерал, волосами черный с белыми погонами... Это был генерал Данилов.

Гучков снова заволновался. Он подошел к тому, что может быть, единственным выходом из положеня было бы отречение от престола.

Генерал Рузский наклонился ко мне и стал шептать:

— По шоссе из Петрограда движутся сюда вооруженные грузовики... Неужели же ваши? Из Государственной Думы?

Меня это предположение оскорбило. Я ответил шопотом, но резко:

— Как это вам могло прийти в голову?

Он понял.

— Ну слава богу—простите... Я приказал их задержать.

Гучков продолжал говорить об отречении...

Генерал Рузский прошептал мне:

— Это дело решенное... Вчера был трудный день... Буря была...

— ... И, помолясь богу...—говорил Гучков...

При этих словах по лицу государя впервые пробежало что-то... Он повернул голову и посмотрел на Гучкова с таким видом, который как бы выражал:

— Этого можно было бы и не говорить...

Гучков кончил. Государь ответил. После взволнованных слов А. И. голос его звучал спокойно, просто и точно. Только акцент был немножко чужой, — гвардейский:

— Я принял решение отречься от престола... До трех часов сегодняшнего дня я думал, что могу отречься в пользу сына, Алексея... Но к этому времени я переменил решение в пользу брата Михаила... Надеюсь, вы поймете чувства отца...

Последнюю фразу он сказал тише...

К этому мы не были готовы. Кажется, А. И. пробовал представить некоторые возражения... Кажется, я просил четверть часа—посоветоваться с Гучковым... Но это почему-то не вышло... И мы согласились, если это можно назвать согласием, тут же... Но за это время столько мыслей пронеслось, обгоняя одна другую...

Во-первых, как мы могли „не согласиться“?.. Мы приехали сказать царю мнение Комитета Государственной Думы... Это мнение совпало с решением его собственным... А если бы не совпало? Что мы могли бы сделать? Мы уехали бы обратно, если бы нас отпустили... Ибо мы ведь не вступили на путь „тайного насилия“, которое практиковалось в XVIII веке и в начале XIX...

Решение царя совпало в главном... Но разошлось в частностях... Алексей или Михаил перед основным фактом — отречением — все же была частность... Допустим, на эту частность мы бы „не согласились“... Каков результат? Прибавился бы только один лишний повод к неудовольствию. Государь передал престол „вопреки желанию Государственной Думы“... И положение нового государя было бы подорвано.

Кроме того, каждый миг был дорог. И не только потому, что по шоссе движутся вооруженные грузовики, которых мы достаточно насмотрелись в Петрограде, и знали, что это такое, и которые генерал Рузский приказал остановить (но остановят ли?), но еще и вот почему: с каждой минутой революционный сброд в Петрограде становился наглее и, следовательно, требования его будут расти. Может быть, сейчас еще можно спасти монархию, но надо думать и о том, чтобы спасти хотя бы жизнь членам династии.

Если придется отрекаться и следующему, — то ведь Михаил *может* отречься от престола...

Но малолетний наследник не может отречься — его отречение недействительно.

И тогда что они сделают, эти вооруженные грузовики, движущиеся по всем дорогам?

Наверное, и в Царское Село летят — проклятые...

И сделались у меня —

„Мальчики кровавые в глазах“...

А кроме того...

Если что может еще утишить волны — это, если новый государь воцарится, присягнув конституции...

Михаил может присягнуть.

Малолетний Алексей — нет...

А кроме того...

Если здесь есть юридическая неправильность... Если государь не может отрекаться в пользу брата... Пусть будет неправильность!.. Может быть, этим выиграется время... Некоторое время будет править Михаил, а потом, когда все угомонится, выяснится, что он не может царствовать, и престол перейдет к Алексею Николаевичу...

Все это, перебивая одно другое, пронеслось, как бывает в такие минуты... Как будто не я думал, а кто-то другой за меня, более быстро соображающий...

И мы „согласились“...

Государь встал... Все поднялись...

Гучков передал государю „набросок“. Государь взял его и вышел.

Когда государь вышел — генерал, который сидел в углу и который оказался Юрием Даниловым, подошел к Гучкову. Они были раньше знакомы.

— Не вызовет ли отречение в пользу Михаила Александровича впоследствии крупных осложнений, в виду того, что такой порядок не предусмотрен законом о престолонаследии?

Гучков, занятый разговором с бароном Фредериксом, познакомил генерала Данилова со мной, и я ответил на этот вопрос. И тут мне пришло в голову еще одно соображение, говорящее за отречение в пользу Михаила Александровича.

— Отречение в пользу Михаила Александровича не соответствует закону о престолонаследии. Но нельзя не видеть, что этот выход имеет при данных обстоятельствах серьезные удобства. Ибо, если на престол взойдет малолетний Алексей, то придется решать очень трудный вопрос, останутся ли родители при нем или придется разлучиться. В первом случае, т. е. если родители останутся в России, отречение будет в глазах тех, кого оно интересует, как бы фиктивным... В особенности это касается императрицы... Будут говорить, что она так же правит при сыне, как при муже... При том отношении, как сейчас к ней, — это привело бы к самым невозможным затруднениям. Если же разлучить малолетнего государя с родителями, то, не говоря о трудности этого дела, это может очень вредно отразиться на нем. На троне будет подрастать юноша, ненавидящий все окружающее, как тюремщиков, отнявших у него отца и мать... При болезненности ребенка это будет чувствоваться особенно остро...

Барон Фредерикс был очень огорчен, узнав, что его дом в Петрограде горит. Он беспокоился о баронессе, но мы сказали, что баронесса в безопасности...

Через некоторое время государь вошел снова. Он протянул Гучкову бумагу, сказав:

— Вот текст...

Это были две или три четвертушки — такие, какие, очевидно, употреблялись в ставке для телеграфных бланков. Но текст был написан на пишущей машинке.

Я стал пробегать его глазами, и волнение, боль и еще что-то сжало сердце, которое, казалось, за эти дни уже лишилось способности что-нибудь чувствовать... Текст был написан теми удивительными словами, которые теперь все знают...

———

Каким жалким показался мне набросок, который мы привезли. Государь принес и его и положил его на стол.

———

К тексту отречения нечего было прибавить... Во всем этом ужасе на мгновенье пробился один светлый луч... Я вдруг почувствовал, что с этой минуты жизнь государя в безопасности... Половина шипов, вонзившихся в сердца его подданных, вырвалась этим лоскутком бумаги. Так благородны были эти прощальные слова... И так почувствовалось, что он так же, как и мы, а может быть, гораздо больше, любит Россию[1])...

———

Почувствовал ли государь, что мы растроганы, но обращение его с этой минуты стало как-то теплее...

———

Но надо было делать дело до конца... Был один пункт, который меня тревожил... Я все думал о том, что, может быть, если Михаил Александрович прямо и до конца объявит „конституционный образ правления", ему легче будет удержаться на троне... Я сказал это государю... И просил его в том месте где сказано „... с представителями народа в законодательных учреждениях, на тех началах, кои будут ими установлены...", приписать: „принеся в том всенародную присягу".

Государь сейчас же согласился.

— Вы думаете, это нужно?

И, присев к столу, приписал карандашом:

„П р и н е с я в т о м н е н а р у ш и м у ю п р и с я г у"... Он написал не „всенародную", а „ненарушимую", что, конечно, было стилистически гораздо правильнее.

Это единственное изменение, которое было внесено...

---

[1]) О том, как „любил" Россию Николай II, в достаточной мере свидетельствует история его царствования. Это была, в лучшем случае, любовь помещика к своей вотчине, при том помещика еще более „дикого", чем Родзянко, Шульгин и др. В этом смысле он действительно „любил" Россию так же, как и они, а может быть и гораздо больше. Что касается „благородных" слов, то Лукомский достаточно красочно рассказал, каких усилий стоило заставить Николая подписать их. *Ред.*

Затем я просил государя.

— Ваше величество... Вы изволили сказать, что пришли к мысли об отречении в пользу великого князя Михаила Александровича сегодня в 3 часа дня. Было бы желательно, чтобы именно это время было обозначено здесь, ибо в эту минуту вы приняли решение...

Я не хотел, чтобы когда-нибудь кто-нибудь мог говорить, что манифест „вырван"... Я видел, что государь меня понял, и, повидимому, это совершенно совпало и с его желанием, потому что он сейчас же согласился и написал „2-го марта, 15 часов", то-есть 3 часа дня... Часы показали в это время начало двенадцатого ночи...

Потом мы, не помню, по чьей инициативе, начали говорить о верховном главнокомандующем и о председателе совета министров.

Тут память мне изменяет. Я не помню, было ли написано назначение великого князя Николая Николаевича верховным главнокомандующим при нас или же нам было сказано, что это уже сделано...

Но я ясно помню, как государь написал при нас указ правительствующему сенату о назначении председателя совета министров...

Это государь писал у другого столика и спросил:

— Кого вы думаете?..

Мы сказали: — Князя Львова...

Государь сказал, как-то особой интонацией, — я не могу этого передать:

— Ах, — Львов? Хорошо — Львова...

Он написал и подписал...

Время по моей же просьбе было поставлено для действительности акта двумя часами раньше отречения, т.-е. 13 часов.

Когда государь так легко согласился на назначение Львова, — я думал: „Господи, господи, ну не все ли равно — вот теперь пришлось это сделать — назначить этого человека „общественного доверия", когда все пропало... Отчего же нельзя это было сделать несколько раньше... Может быть, этого тогда бы и не было"...

Государь встал... Мы как-то в эту минуту были с ним вдвоем в глубине вагона, а остальные были там, ближе к выходу... Государь посмотрел на меня и, может быть, прочел в моих глазах чувства, меня волновавшие, потому что взгляд его стал каким-то приглашающим высказать... И у меня вырвалось:

— Ах, ваше величество... Если-бы вы это сделали раньше, ну хоть до последнего созыва Думы, может быть, всего этого...

Я не договорил...

Государь посмотрел на меня как-то просто и сказал еще проще:

— Вы думаете — обошлось бы?

Обошлось бы? Теперь я этого не думаю... Было поздно, в особенности после убийства Распутина. Но если бы это было сделано осенью 1915 года, то-есть после нашего великого отступления, — может быть, и обошлось бы...

Государь смотрел на меня, как будто бы ожидая, что я еще что-нибудь скажу. Я спросил:

— Разрешите узнать, ваше величество, ваши личные планы? Ваше величество поедете в Царское?

Государь ответил:

— Нет... Я хочу сначала проехать в ставку... проститься... А потом, хотел бы повидать матушку... Поэтому я думаю или проехать в Киев, или просить ее приехать ко мне... А потом — в Царское...

Теперь, кажется, было уже все сделано. Часы показывали без двадцати минут двенадцать. Государь отпустил нас. Он подал нам руку с тем характерным коротким движением головы, которое ему было свойственно. И было это движение, может быть, даже чуточку теплее, чем то, когда он нас встретил...

Мы вышли из вагона. На путях, освещенных голубыми фонарями, стояла толпа людей. Они все знали и все понимали... Когда мы вышли, нас окружили, и эти люди наперебой старались пробиться к нам и спрашивали: „Что? Как?" Меня поразило то, что они были такие тихие, шепчущие... Они говорили как будто в комнате тяжело-больного, умирающего...

Им надо было дать ответ. Ответ дал Гучков. Очень волнуясь, он сказал:

— Русские люди... Обнажите головы, перекреститесь, помолитесь богу... Государь император ради спасения России снял с себя... свое царское служение... Царь подписал отречение от престола. Россия вступает на новый путь... Будем просить бога, чтобы он был милостив к нам...

Толпа снимала шапки и крестилась [1]... И было страшно тихо...

---

[1]) Само собой разумеется, что это была „своя" толпа. Посторонних к царскому поезду не подпускали. *Ред.*

Мы пошли в вагон генерала Рузского. По путям—сквозь эту расступавшуюся толпу.

Когда мы пришли к генералу Рузскому, через некоторое время, кажется, был подан ужин. Но с этой минуты я уже очень плохо помню, потому что силы мои кончились, и сделалась такая жестокая мигрень, что все было, как в тумане. Я не помню поэтому, что происходило за этим ужином, но, очевидно, генерал Рузский рассказывал, как произошли события.

Вот то, вкратце, что произошло до нашего приезда.

28 февраля был отдан приказ двум бригадам, одной снятой с северного фронта, другой с западного, двинуться на усмирение Петрограда. Генералу-адъютанту Иванову было приказано принять командование над этими частями. Он должен был оставаться в окрестностях Петрограда, но не предпринимать решительных действий до особого распоряжения. Для непосредственного окружения ему были даны два батальона георгиевских кавалеров, составлявших личную охрану государя в ставке. С северного фронта двинулись два полка 38-й пехотной дивизии, которые считались лучшими на фронте. Но где-то между Лугой и Гатчиной эти полки взбунтовались и отказались итти на Петроград. Бригада, взятая с западного фронта, тоже не дошла. Наконец, и два батальона георгиевцев тоже вышли из повиновения.

Первого марта генерал Алексеев запросил телеграммой всех главнокомандующих фронтами. Телеграммы эти запрашивали гланокомандующих их мнение о желательности при данных обстоятельствах отречения государя императора от престола в пользу сына. К часу дня второго марта все ответы главнокомандующих были получены и сосредоточились в руках генерала Рузского. Ответы эти были:

1) От великаго князя Николая Николаевича—главнокомандующего Кавказским фронтом.

2) От генерала Сахарова—фактического главнокомандующего Румынским фронтом (собственно, главнокомандующим был король Румынии, Сахаров был его начальником штаба).

3) От генерала Брусилова—главнокомандующего Юго-Западным фронтом.

4) От генерала Эверта—главнокомандующего Западным фронтом.

5) От самого Рузского—главнокомандующего Северным фронтом.

Все пять главнокомандующих фронтами и генерал Алексеев (ген. Алексеев был начальником штаба при государе) высказались за отречение государя императора от престола.

В час дня второго марта генерал Рузский, сопровождаемый своим начальником штаба генералом Даниловым и

Савичем—генерал-квартирмейстером, был принят государем. Государь принял их в том же самом вагоне, в котором через несколько часов было отречение.

Генерал Рузский доложил государю мнение генерала Алексеева и главнокомандующих фронтами, в том числе свое собственное. Кроме того генерал Рузский просил еще выслушать генералов Данилова и Савича. Государь приказал Данилову говорить.

Генерал Данилов сказал приблизительно следующее:

— Положение очень трудное... Думаю, что главнокомандующие фронтами правы. Зная ваше императорское величество, я не сомневаюсь, что если благоугодно будет разделить наше мнение, ваше величество принесете и эту жертву родине...

Савич кратко сказал, что он присоединяется к мнению генерала Данилова.

На это государь ответил очень взволнованно и очень прочувствованно, в том смысле, что нет такой жертвы, которой он не принес бы для России.

После этого была составлена краткая телеграмма, извещавшая генерала Алексеева о том, что государь принял решение отречься от престола. Генерал Рузский взял телеграмму и удалился, но несколько медлил с отправкой ее, так как он знал, что Гучков и Шульгин утром выехали из Петрограда: он хотел посоветоваться с ними особенно по вопросу о том, кто станет во главе правительства. Генерал Рузский не доверял Львову и предпочитал Родзянко.

Гучкова и Шульгина ожидали с часу на час.

Но уже в три часа дня от государя пришел кто-то с приказанием вернуть телеграмму. Тогда же генерал Рузский узнал, что государь передумал в том смысле, что отречение должно быть не в пользу Алексея Николаевича, а в пользу Михаила Александровича. После повторного приказания вернуть телеграмму, телеграмма была возвращена и таким образом послана не была. День прошел в ожидании Гучкова и Шульгина.

Все это, должно быть, тогда же рассказал нам генерал Рузский. Во всяком случае, события этого дня можно считать точно установленными в таком виде, как я их изложил. Позднее это подтвердил мне генерал Данилов, который был лично свидетелем вышеизложенного.

Около часу ночи, а может быть двух, принесли второй экземпляр отречения. Оба экземпляра были подписаны государем. Их судьба, насколько я знаю, такова. Один

экземпляр мы с Гучковым тогда же оставили генералу Рузскому. Этот экземпляр хранился у его начальника штаба, генерала Данилова. В апреле месяце 1917 года этот экземпляр был доставлен генералом Даниловым главе временного правительства, князю Львову.

Другой экземпляр мы повезли с Гучковым в Петроград. Впрочем, обгоняя нас, текст отречения побежал по прямому проводу и был известен в Петрограде почью же...

Мы выехали. В вагоне я заснул свинцовым сном. Ранним утром мы были в Петрограде.

3-е марта 1917 года.

Не помню, как и почему, когда мы приехали в Петроград, на вокзале какие-то люди, которых уже было много, что-то нам говорили и куда-то нас тащили... И из этой кутерьмы вышло такое решение, что Гучкова куда-то потянули, я уже хорошенько не знаю, куда. А мне выпало на долю объявить о происшедшем „войскам и народу". Какие-то люди суетились вокруг меня, торопили и говорили, что войска уже ждут — выстроены в вестибюле вокзала.

Сопровождаемый этой волнующейся группой, я пошел с ними. Они привели меня в то помещение, где продаются билеты, — словом, во входной зал.

Здесь действительно стоял полк или большой батальон, выстроившись на три стороны — „покоем". Четвертую сторону составляла толпа.

Я вошел в это каррэ, и в ту же минуту раздалась команда. Роты взяли на караул, и стало совершенно тихо...

Стало так тихо, как, кажется, никогда еще... У меня очень слабый голос... Но я чувствовал, как каждое слово летит над строем и дальше в толпу, и слышно им было все ясно.

Я читал им „отречение"...

Слова падали... И сами по себе они были, — как это сказать? — вековым волнением волнующие... А тут — в этой обстановке... перед строем, замершим в торжественном жесте, перед этой толпой, испуганной, благоговейно затихшей, они звучали неповторяемо... И я чувствовал, что слова падают, падают во что-то горячее, что могло быть только человеческим сердцем...

„Да поможет господь бог России".

Я поднял глаза от бумаги. И увидел, как дрогнули штыки, как будто ветер дохнул по колосьям... Прямо против меня

молодой солдат плакал. Слезы двумя струйками бежали по румяным щекам...

Тогда я стал говорить... Хорошо ли, плохо — не знаю... Это кто-то другой говорил — кто больше, сильней, горячее меня...

— Вы слышали слова государя... Последние слова... Императора Николая II. Он подал нам всем... пример... нам всем — русским... как нужно... уметь забывать... себя для России... Сумеем ли мы так поступить? Мы... люди разные... разных званий, состояний... занятий... офицеры и солдаты!.. дворяне и крестьяне!.. Инженеры и рабочие!.. Богатые и бедные!.. Сумеем ли мы все забыть для того, что у нас у всех есть единое... общее? А что у нас — общее?.. Вы все это знаете... Это общее — родина... Россия... Ее надо спасать... О ней думать... Идет война... Враг стоит на фронте... Враг неумолимый... который раздавит нас!.. раздавит, если не будем все вместе... Если не будем едины... Как быть едиными? Только один путь... Всем собраться вокруг... нового царя!.. Всем оказать ему повиновение!.. Он поведет нас!.. государю императору... Михаилу... второму!.. провозглашаю... „ура"!!!

И оно взмыло — горячее, искреннее, растроганное...

Под эти крики я пошел прямо перед собой, прошел через строй, который распаялся, и через толпу, которая расступилась, пошел, сам не зная — куда...

И показалось мне на одно короткое мгновение, что монархия спасена...

Я очнулся в каком-то коридоре вокзала... Кто-то из железнодорожных служащих твердил мне что-то, и, наконец, я понял, что Милюков уже много раз добивается меня по телефону...

Я услышал голос, который я с трудом узнал, до такой степени он был хриплый и надорванный...

— Да, это я — Милюков... Не объявляйте манифеста... Произошли серьезные изменения...

— Но как же? Я уже объявил...

— Кому?

— Да всем, кто здесь есть... какому-то полку, народу!.. Я провозгласил императором Михаила...

— Этого не надо было делать... Настроение сильно ухудшилось с того времени, как вы уехали... Нам передали текст... Этот текст совершенно не удовлетворяет... совершенно необходимо упоминание об Учредительном Собра-

нии... Не делайте никаких дальнейших шагов... могут быть большие несчастия...

— Единственное, что я могу сделать, — это отыскать Гучкова и предупредить его... Он тоже где-то, очевидно, объявляет...

— Да, да... Найдите его и немедленно приезжайте оба на Миллионную, 12. В квартиру князя Путятина...

— Зачем?

— Там великий князь Михаил Александрович... и все мы едем туда... пожалуйста, поспешите...

Я спросил кого-то из тех, кто меня почему-то окружали:

— Где Гучков?

— Александр Иванович в железнодорожных мастерских на митинге рабочих! — ответили голоса.

На митинге рабочих... Значит, мне надо сейчас пробраться к нему и вытащить его оттуда... Но как же быть с текстом отречения... Вот я его чувствую под рукой в боковом кармане... И с таким документом на „митинг" к рабочим?.. Войти-то войдешь, — но выйдешь ли?.. Могут отнять, уничтожить... И бог его знает, что еще может быть...

Как быть? Вокруг меня, ни на секунду не оставляя, была толпа людей, следившая за каждым моим движением... Но ни одного — не то что верного, — но просто знакомого лица... Кому передать документ? В это время меня опять позвали к телефону...

— Это я — Бубликов... Я, знаете, на всякий случай послал вам человека... один инженер... совершенно верный... он найдет вас на вокзале... скажет, что от меня... Можете ему все доверить... Понимаете?

— Понимаю.

Через несколько минут из толпы, меня окружавшей, какой-то господин протискался, сказав, что он от Бубликова... Я сказал ему:

— Вас никто не знает... За вами не будут следить... Идите пешком, совершенно спокойно... и донесите... Понимаете?

— Понимаю...

Я незаметно передал ему конверт. Он исчез...

Теперь я мог итти на митинг...

Я насилу втиснулся...

Это была огромная мастерская с железно-стеклянным потолком... Густая толпа рабочих стояла стеной, а там вдали, в глубине был высокий эшафот, то-есть не эшафот, а помост, на котором стоял Гучков и еще какие-то люди...

Я стал пробиваться сквозь толпу, заявляя что у меня „срочное поручение". С трудом я пробился к подножию „эшафота". На помост вела приставная лестница... Я вскарабкался по этой лестнице после целого ряда ссор и объяснений, что у меня „срочное поручение". Когда я вскарабкался, председатель этого собрания, рабочий, который стоял рядом с Гучковым, говорил речь, такого содержания.

— Вот, к примеру, они образовали правительство.., кто же такие в этом правительстве? Вы думаете, товарищи, от народа кто-нибудь? Так сказать, от того народа, кто свободу себе добыл? Как бы не так!.. Вот читайте... князь Львов... Князь...

По толпе прошел ропот... Председатель продолжал:

— Ну, да... Князь Львов... Князь... так вот, для чего мы, товарищи, революцию делали!.. От этих самых князей и графов все и терпели... Вот освободились — и на тебе!.. Князь Львов...

Толпа забурлила... Он продолжал:

— Дальше... Например, товарищи, кто у нас будет министром финансов?.. Как бы вы думали?.. Может быть, кто-нибудь из тех, кто на своей шкуре испытал... как бедному народу живется... и что такое есть — финансы?.. так вот что я вам скажу... Теперь министром финансов будет у нас господин Терещенко... Кто такой господин Терещенко? Я вам скажу, товарищи... Сахарных заводов? Штук десять!.. Земли? — десятин тысяч сто!.. Да деньжонками — миллионов тридцать наберется...

Толпа заволновалась...

Я добрался до Александра Ивановича и тихонько передал ему свой разговор с Милюковым.

— Нам надо уходить отсюда...

— Да, но это не так просто... Они меня пригласили, — я должен им сказать...

— Я попробую добиться от этого председателя, чтобы он дал мне слово не в очередь и заявлю, что у нас очень срочное дело...

В это время председатель уже закончил свою речь под оглушительные рукоплескания... И передал слово кому-то другому, такому же, как и он...

Я пристал к нему, объясняя, что мне надо. Он нетерпеливо от меня отбояривался и твердил — „подождите".

В это время другой оратор распространялся:

— Я тоже скажу, товарищи!.. Вот они поехали... Привезли! Кто их знает, что они привезли... Может быть, такое, что совсем для революционной демократии — неподходящее... Кто их просил?.. От кого поехали? От народа? От Совета Солдатских и Рабочих Депутатов? Нет... От Госу-

дарственной Думы!.. А кто такие — Государственная Дума? Помещики!.. Я бы так советовал, товарищи, что и не следовало бы, может быть, Александра Ивановича даже отсюда и выпускать... Вот бы вы там, товарищи, двери и поприкрыли бы!..

Толпа задвигалась, затрепетала и стала кричать:

— Закрыть двери!..

Двери закрылись... Это становилось совсем неприятным.

В это время председатель сказал тихонько Гучкову, стоявшему с ним рядом:

— Александр Иванович... А вы очень... оскорбитесь... если мы документик-то у вас — того...

Гучков ответил:

— Очень оскорблюсь и этого не позволю... А вы вот дайте мне слово...

А я подумал: „Опоздали, голубчики... Документик-то — „того"! Отослан куда надо"...

В это время неожиданно нам протянули руку помощи. Какой-то человек, по виду рабочий, но с интеллигентным лицом, должно быть, инженер, стал говорить:

— Вот вы кричите „закрыть двери", товарищи... А я вам скажу — неправильно вы поступаете... Потому что вот смотрите, как с ними — вот с Александром Ивановичем — старый режим поступил... Они как к нему поехали? С оружием? Со штыками? Нет... Вот, как стоят теперь перед вами, — так и поехали — в пиджачках-с!.. И старый режим их уважил... Что с ним мог сделать старый режим? Арестовать! Расстрелять!.. Ведь — одни приехали. В самую пасть. Но старый режим, обращая внимание... как приехали! — ничего им не сделал — отпустил... И вот они — здесь... Мы же сами их пригласили... Они доверились — пришли к нам... А за это, за то, что они нам поверили... и пришли так, как к старому режиму вчера ездили, за это вы — что?.. „Двери на запор"... Угрожаете?.. Так я вам скажу, товарищи, что вы хуже старого режима!..

Ах — толпа... В особенности — русская толпа... Подлые и благородные порывы ей одинаково доступны и приходят мгновенно друг другу на смену...

Слова инженера родили обратную волну. Закричали там и здесь:

— Верно. Верно говорит! Что там... Открыть двери!..

Но двери некоторое время сопротивлялись.

Тогда взвыли сотни голосов — уже грозных:

— Открыть двери!!!

Двери открылись.

Стал говорить Гучков. Я не помню что — какие-то успокаивающие слова. Во время его речи мне удалось добиться от председателя обещания дать мне слово вне очереди. Он, наконец, понял, почему это нужно, и когда Гучков кончил, дал мне слово. Я сказал им:

— Вот мы тут рассуждаем о том, о другом: хорош ли князь Львов и сколько миллионов у Терещенко. Может быть — рано? Я прислан сюда со срочным поручением: сейчас в Государственной Думе между Комитетом Думы и Советом Рабочих Депутатов идет важнейшее совещание. На этом совещании все решится. Может быть, так решится, что всем понравится. Так, может быть, и это все, что здесь говорится — зря говорится... Во всяком случае нам с Александром Ивановичем надо немедленно ехать!

— Ну и езжайте... Кто вас держит?

Как раз было время. Мы слезли с Гучковым с эшафота по приставной лестнице и стали пробиваться к выходу. Толпа расступалась — скорее дружелюбно, как бы заглаживая, что хотели „закрыть двери".

Мы вышли на залитый солнцем и морозом день. Когда мы прошли несколько шагов, к нам бросилось несколько офицеров:

— Ну, слава богу...

Они были мне незнакомы. Но один из них прошептал мне на ухо:

— Нам сказали, что вас арестовали там в мастерских... Так вот мы приготовились...

Он показал рукой. На некотором расстоянии, обращенный лицом к дверям мастерских, притаился приземистый зеленый толстоватый бесхвостый ящер на колесиках, — то-есть пулемет...

Эти офицеры, должно быть, были саперы. Это потому я так думаю, что Гучкова сейчас же окружили и просили зайти „на минутку" в саперные казармы, которые „тут же". А. И. пошел.

Он быстро вернулся. В это время откуда-то появился приземистый человек — весь в коже, но не черной, а желтой, как будто бы интеллигентный рабочий. У него висел револьвер на поясе. Кто он был, я не знаю, но, словом, он объявил, что автомобиль подан. Мы пошли, неизменно сопровождаемые откуда-то берущейся толпой. Пошли через вокзал на площадь... На площади перед вокзалом была масса народу... У ступеней перрона стоял автомобиль под огромным красным флагом. Из окон торчали штыки. Кроме того два солдата лежали на двух крыльях автомобиля на животе штыками вперед.

Мы полезли в автомобиль. Человек в желтой коже тоже втиснулся. Он сел против меня, вынул револьвер и сказал шофферу, чтобы ехал. Машина взяла ход, тогда он спросил:

— Куда ехать?

Я ответил:

— На Миллионную, 12...

Он сказал шофферу и прибавил как бы в объяснение:

— Чтобы там не слышали... куда едем...

Я понял, что он наш... Я его больше никогда не видел. Он чего-то боялся. Повидимому, боялся, не преследует ли нас какая-нибудь машина.

Мы неслись бешено. День был морозный, солнечный... Город был совсем странный — сумасшедший, хотя и тихим помешательством... пока.

Трамваи стали; экипажей, извозчиков не было совсем... Изредка неистово проносились грузовики с ощетиненными штыками. Куда? Зачем? С одним из них мы имели „объяснение"... Он отстал после ругани нашего „желтокожего".

Все магазины закрыты... Но самое странное то, что никто не ходит по тротуарам. Все почему-то выбрались на мостовую. И ходят толпами. Главным образом — толпы солдат. С винтовками за плечами, не в строю, без офицеров—ходят толпами без смысла... На улицах не то радостное, не то растерянное недоумение... Чего они хотят? Ничего... Они сами не знают... Празднуют „слободу"... И „что, значит, на фронт уже, товарищи, не пойдем"... Вот это в их глазах твердо написано.

И вот это — ужас... Стотысячный гарнизон — на улицах. Без офицеров! Толпами!.. Значит — конец... Значит дисциплина окончательно потеряна... Армии нет... Опереться не на что.

Машина резала эту бессмысленную толпу... Для чего-то мы крутили по каким-то улицам... Это должно быть знал „желтокожий". Два „архангела" лежали на брюхах на крыльях автомобиля, и их выдвинутые вперед штыки пронзали воздух... Мне все казалось, что они кому-то выколют глаз. На одном углу я заметил единственный открытый магазин: продавали... цветы!.. Как глупо...

Вот Миллионная... Вот знакомый дом с колонками... И тут бродит какая-то солдатня. Автомобиль останавливается где-то, не доезжая... Не хотят „обращать внимание".

Мы идем несколько шагов пешком. Вот двенадцатый номер. Вошли. Внутри — два часовых... Значит, есть какая-то охрана.

Поднялись... Квартира Путятина... В передней — ходынка платья. И несколько шепчущихся. Спрашиваю:

— Кто здесь?

— Здесь... Все члены правительства...

— Когда образовалось правительство?

— Вчера...

— Еще кто?

— Все члены Комитета Государственной Думы... Идите — ждали вас...

— Великий князь здесь?

— Да...

Посредине между ними в большом кресле сидел офицер — моложавый, с длинным худым лицом... Это был великий князь Михаил Александрович, которого я никогда раньше не видел. Вправо и влево от него на диванах и креслах — полукругом, как два крыла только что провозглашенного мною монарха, были все, кто должны были быть его окружением: вправо — Родзянко, Милюков и другие, влево — князь Львов, Керенский, Некрасов и др. Эти другие были: Ефремов, Ржевский, Бубликов, Шидловский, Владимир Львов, Терещенко, кто еще, не помню.

Гучков и я сидели напротив, потому что пришли последними...

Это было вроде как заседание... Великий князь как бы давал слово, обращаясь то к тому, то к другому:

— Вы, кажется, хотели сказать?

Тот, к кому он обращался, — говорил

Говорили о том: следует ли великому князю принять престол или нет. .

Я не помню всех речей. Но я помню, что только двое высказались за принятие престола. Эти двое были: Милюков и Гучков.

Направо от великого князя стоял диван, на котором ближе к великому князю сидел Родзянко, а за ним Милюков

Пять суток нечеловеческого напряжения сказались... Ведь и Наполеон выдерживал только четыре... И железный Милюков, прячась за огромным Родзянко, засыпал, сидя... Вздрагивал, открывал глаза и опять засыпал...

— Вы, кажется, хотели сказать?

Это великий князь к нему обратился.

Милюков встрепенулся и стал говорить.

Эта речь его, если можно назвать речью, была потрясающая...

Головой — белый как лунь, сизый — лицом (от бессонницы), совершенно сиплый от речей в казармах и на митингах, он не говорил, он каркал хрипло...

— Если вы откажетесь... ваше высочество... будет гибель!.. Потому что Россия... Россия потеряет... свою ось... Монарх — это ось... Единственная ось страны!.. Масса, русская масса... вокруг чего... вокруг чего она соберется? Если вы откажетесь... будет анархия!.. хаос... кровавое месиво!.. Монарх — это единственный центр... Единственное, что все знают... Единственное — общее... Единственное понятие о власти!.. пока в России... Если вы откажетесь... будет ужас!.. полная неизвестность... ужасная неизвестность... потому что... не будет... не будет присяги!.. а присяга — это ответ... единственный ответ... единственный ответ, который может дать народ... нам всем... на то, что случилось... это его — санкция... его одобрение... его согласие, без которого... нельзя... ничего... без которого не будет... государства... России!.. ничего не будет...

Белый, как лунь, он каркал, как ворон... Он каркал мудрые, вещие слова... самые большие слова его жизни...

И все же...

И все же он оставался тем, чем он был... Милюковым...

Великий князь слушал его, чуть наклонив голову... Тонкий, с длинным, почти еще юношеским лицом, он весь был олицетворением хрупкости...

Этому человеку говорил Милюков свои вещие слова. Ему он предлагал совершить:

„подвиг силы беспримерной...“

Что значил совет принять престол в эту минуту?

Я только что прорезал Петербург. Стотысячный гарнизон был на улицах. Солдаты с винтовками, но без офицеров шлялись по улицам беспорядочными толпами...

А за этой штыковой стихией — кто?

„Совет рабочих депутатов“ и германский штаб — злейшие враги: социалисты и немцы [1]).

Совет принять престол обозначал в эту минуту:

— На коня! На площадь!

Принять престол сейчас — значило: во главе верного полка броситься на социалистов и раздавить их пулеметами.

[1]) „Германский штаб“ и „немцы“ — обычное пугало либеральных и черносотенных „патриотов“ (см. Милюкова, Родзянки и др.). Дальнейшая история революции и гражданской войны давно сдала его в архив. *Ред.*

Терещенко делал мне какие-то знаки. Я понял, что он просит меня выскользнуть в соседнюю комнату на минуту.

Я сделал это.

— Что такое?

— В. В... Я больше не могу... Я застрелюсь... Что делать, что делать!..

Да, — что делать?.. С ума было можно сойти.

— Бросьте... Успеете... Скажите, есть ли какие-нибудь части?.. на которые можно положиться?..

— Нет... ни одной...

— А вот внизу я видел часовых...

— Это — несколько человек... Керенский дрожит... Он боится... каждую минуту могут сюда ворваться... Он боится, чтобы не убили великого князя... Какие-то банды бродят... Боже мой!..

Мы вернулись...

Керенский говорил:

— Ваше высочество... Мои убеждения — республиканские. Я против монархии!.. Но я сейчас не хочу, не буду... Разрешите вам сказать совсем иначе... Разрешите вам сказать... как русский — русскому! Павел Николаевич Милюков ошибается. Приняв престол, вы не спасете России!.. Наоборот... Я знаю настроение массы!.. рабочих и солдат... Сейчас резкое недовольство направлено именно против монархии... Именно этот вопрос будет причиной кровавого развала!.. И это в то время... когда России нужно полное единство... Перед лицом внешнего врага... начнется гражданская, внутренняя война!.. И поэтому я обращаюсь к вашему высочеству... как русский — к русскому!.. Умоляю вас во имя России принести эту жертву!.. Если эта жертва... Потому что с другой стороны... я не в праве скрыть здесь, каким опасностям вы лично подвергаетесь в случае решения принять престол... Во всяком случае... я не ручаюсь за жизнь вашего высочества!..

Он сделал трагический жест и резко отодвинул свое кресло.

За принятие престола говорил еще Гучков.

Я, кажется, говорил последним. Я сказал:

— Обращаю внимание вашего высочества на то, что те, кто должны были быть вашей опорой в случае принятия престола, то-есть почти все члены нового правительства, этой опоры вам не оказали... Можно ли опереться на других? Если нет, то у меня не хватает мужества при этих условиях советовать вашему высочеству принять престол...

Великий князь встал... Тут стало еще виднее — какой он высокий, тонкий и хрупкий... Все поднялись.

— Я хочу подумать полчаса...

Подскочил Керенский.

— Ваше высочество... Мы просим вас... чтобы вы приняли решение наедине с вашей совестью... не выслушивая кого-либо из нас... отдельно...

Великий князь кивнул ему головой и вышел в соседнюю комнату...

Образовались группы... Я был у окна. Подошел Милюков и что-то стал мне говорить.

Вдруг Керенский с трагическим жестом схватил меня за руку.

— Я не позволю!.. мы условились!.. Никаких сепаратных разговоров! Все сообща!

Глаза у него сверкали. Лицо — повелительное...

Я немного рассердился.

— Александр Федорович! Нельзя ли... другим тоном...

Он вдруг деформировался совершенно... Лицо стало ласковое, умоляющее...

— Ну, дорогой мой, ну, золотой, ну, серебряный, — ну не расстраивайте, не расстраивайте же!

И побежал к другим...

Он был, должно быть, „не в себе"... Мы пожали плечами и продолжали разговор.

Великий князь позвал к себе Родзянко. Против этого почему-то Керенский не протестовал. Родзянко пошел.

Кто-то подошел ко мне и сказал:

— Не грустите... существует легенда: будет царствовать Михаил и при нем буд...

Великий князь вышел... Это было около двенадцати часов дня... Мы поняли, что настала минута.

Он дошел до середины комнаты.

Мы столпились вокруг него.

Он сказал:

— При этих условиях я не могу принять престола, потому что...

Он не договорил, потому что... потому что заплакал...

Керенский рванулся:

— Ваше императорское высочество... Я принадлежу к партии, которая запрещает мне... соприкосновение с лицами императорской крови... Но я берусь... и буду это

утверждать... перед всеми!... да, перед всеми!... что я... глубоко уважаю... великого князя Михаила Александровича!..

Он сорвался и, наскоро одевшись, умчался... Кто-то объяснил мне, что он все время дрожал, что ворвутся... что напряжение очень сильно.

Великий князь ушел к себе. Стали говорить о том, как написать отречение.

Некрасов показал мне набросок, им составленный. Он был очень плох. Кажется, поручили Некрасову, Керенскому и мне его улучшить. Милюков объяснил мне, что накануне Комитет Государственной Думы признал необходимым под давлением слева в той или иной форме упомянуть об Учредительном Собрании.

Княгиня Путятина попросила всех завтракать.

Узкую часть стола занимала сама хозяйка. По правую ее руку — великий князь. По левую посадили меня. Рядом с великим князем был, кажется, князь Львов. Рядом со мной, кажется, Некрасов или Терещенко. Напротив княгини — Керенский. Остальных—не помню.

За завтраком великий князь спросил меня:

— Как держал себя мой брат?

Я ответил:

— Его величество был совершенно спокоен... Удивительно спокоен...

Затем я рассказал все, как было...

После завтрака мы, то-есть те, кто должен был редактировать акт, перешли в другую комнату. Это была детская. Стояли кроватки, игрушки и маленькие парты...

На этих школьных партах и писалось...

Скоро вызвали Набокова и Нольде.

Они, собственно, и обработали более или менее записку Некрасова.

Потому что Некрасов и Керенский то уходили, то приходили.

Керенский все торопил, утверждая, что положение очень трудное.

Однако он же и затевал споры.

Особенно долго спорили о том, кто поставил Временное Правительство: Государственная ли Дума или „воля народа". Керенский потребовал от имени Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, чтобы была включена воля народа. Ему указывали, что это неверно, потому что правительство образовалось по почину Комитета Государственной Думы.

Я при этом удобном случае заявил, что князь Львов назначен государем императором Николаем II приказом правительствующему сенату, помеченным двумя часами раньше отречения. Мне объясняли, что они это знают, но что это надо тщательнейшим образом скрывать, чтобы не подорвать положение князя Львова, которого левые и так еле-еле выносят.

Наконец, помирились на том, чтобы было „волею народа по почину Государственной Думы“, но в окончательном тексте „воля народа“ куда-то исчезла. Как это случилось, не помню.

Наконец, составили и передали великому князю. В это время в детской оставались Набоков, Нольде и я. Через некоторое время секретарь великого князя, не помню его фамилии, высокий, плотный блондин, молодой, в зем-гусарской форме, принес текст обратно. Он передал, что великий князь всюду просит употреблять от его лица местоимение „я“, а не „мы“ (у нас всюду было — „мы“), потому что великий князь считает, что он престола не принял, императором не был, а потому не должен говорить — „мы“. Во-вторых, по этой же причине, вместо слова „повелеваем“, как мы написали, — употребить слово „прошу“. И, наконец, великий князь обратил внимание на то, что нигде в тексте нет слова „бог“ а такие акты без упоминания имени божия не бывают.

Все эти указания были выполнены, и текст переделан. Снова передали великому князю, и на этот раз он его одобрил.

Набоков сел на детскую парту переписывать набело.

За это время все разъехались. Великий князь несколько раз говорил со мной. Говорил, так сказать, попросту. Хотя он не знал меня раньше, но, видимо, инстинктивно чувствовал, что мне династия дорога не только разумом, но и чувством. Великий князь, кроме того, внушал мне личную симпатию. Он был хрупкий, нежный, рожденный не для таких ужасных минут, но он был искренний и человечный. На нем совсем не было маски. И мне думалось:

— Каким хорошим конституционным монархом он был бы...

Увы... Там в соседней комнате писали отречение династии.

Великий князь так и понимал. Он сказал мне:

— Мне очень тяжело... Меня мучает, что я не мог посоветоваться со своими. Ведь брат отрекся за себя... А я, выходит так, отрекаюсь за всех...

Это было часов около четырех дня — у окна, в той комнате, где много ковров и мягких кресел...

К сожалению, от меня совершенно ускользает самая минута подписания отречения... Я не помню, как это было. Помню только почему-то, что Набоков взял себе на память перо, которым подписал Михаил Александрович. И помню, что появившийся к этому времени Керенский умчался стремглав в типографию. (Кто-то еще раз сказал, что могут каждую минуту „ворваться“.)

Через полчаса по всему городу клеили плакаты:

„Николай отрекся в пользу Михаила, Михаил отрекся в пользу народа“.

Я вспоминаю опять все ясно с той минуты, когда я шел домой через Троицкий мост.

Я пять суток не был дома.

За это время...

За это время я присутствовал при отречении двух государей... Когда пять дней тому назад я шел через этот же мост — Россия была империей... Теперь что она?

И не республика, и не монархия... Государственное образование без названия...

Впрочем...

Впрочем, разве уже не одиннадцать с лишним лет мы „без названия“?

Empire constitutionnel sous un Tsar autocrate.

„Конституционная империя под самодержавным царем“.

Так называл Россию международный альманах Гота с 1906 года.

Scheinkonstitutionalismus [1], — говорили немцы...

„Никакой закон не может восприять силы без одобрения Государственной Думы,“ — говорили основные законы.

„Самодержавие мое остается при мне, как и встарь,“ — говорил создавший этот строй государь.

Последний государь...

Вот она — „Русская Конституция“... Началась еврейским погромом и кончилась разгромом династии.

Я оперся на парапет. Закат вычертил за Петропавловкой кровавые плакаты... И я вспомнил...

[1]) Мнимый конституционализм. *Ред.*

Я вспомнил, как в 1905 году, после манифеста 17 октября, за то, что не было в нем равноправия, „жиды“ сбросили царскую корону.

И как жалобно зазвенел трехсотлетний металл, ударившись о грязную мостовую.

И как десятки, сотни, миллионы русских вдруг почувствовали смертельную обиду и страх, бросились, подняли царскую корону и коленопреклоненно вернули ее царю:

„Царствуй на страх врагам...
Царствуй на славу нам“...

И царь царствовал...

Увы...

Прошло одиннадцать лет...

И вот, уже не „жидовскими происками“ стала вновь падать корона

Государственная Дума бросилась подхватить ее из ослабевших рук императора Николая...

И поднесла Михаилу...

Но Михаил не мог принять ее из рук Государственной Думы... Ибо и Дума была уже — ничто...

И корона покатилась...

Жалобно звенит она о гранит мостовых.

Но на этот раз никого не будит этот звон.

Народ не бежит, взволнованный и ужасный, как тогда...

„И казаки на зов Палия
Не налетят со всех сторон“...

И пройдут месяцы, может быть, годы, вернее — долгие годы...

Пока...

Пока зазвучит набат.

Какой это будет год?

Петропавловский собор резал небо острой иглой. Зарево было кроваво...

„Да поможет господь бог России“...

В. Шульгин.

П. Н. МИЛЮКОВ.

Из „Истории второй русской революции“ [1]).

Война и вторая революция.

После однодневной сессии 26-го июля 1914 года, обнаружившей общее патриотическое единодушие партий [2]) в деле обороны страны, правительство решило было не собирать Государственной Думы до ноября следующего года. И только настойчивые заявления депутатов привели к тому, что правительство согласилось созвать Государственную Думу „не позже 1-го февраля“. В промежутке разнеслись слухи о записке правых, которая настаивала на скорейшем заключении мира с Германией для избежания внутренних осложнений. Правительство явно не хотело соблюдать условий молчаливого „перемирия“, на которое шли партии в своем стремлении к единению. При таком уже испортившемся настроении состоялось закрытое совещание членов Государственной Думы с правительством (25-го января 1915 года), в котором впервые народные представители отдали себе ясный отчет в том, что правительство или скрывает действительное положение дел в стране и армии и, следовательно, „обманывает Государственную Думу“, или само не понимает серьезности этого положения — и, следовательно, органически неспособно его улучшить.

С этого дня начался конфликт между законодательными учреждениями и правительством. В заседании 27-го января Государственная Дума возобновила обет „свято хранить духовное единство, залог победы“. Но, во-первых, правительство само себя исключило из этого единства, а, во-вторых, в речах крайних правых и крайних левых, профессора Левашова и Керенского, уже появились ноты, существенно нарушавшие это духовное единство. Оратор левых уже

[1]) Из известной книги Милюкова мы заимствуем §§ 2 и 3 первой главы, представляющие большой интерес в том отношении, что они дают не только «историю», но и впечатления непосредственного участника событий, лидера кадетской партии и министра иностранных дел Временного Правительства первого состава. *Ред.*

[2]) За исключением большевиков и части меньшевиков. *Ред.*

стал на точку зрения социалистов-интернационалистов и требовал скорого мира [1]).

Отступление русских войск из Галиции во второй половине апреля 1915 года подтвердило худшие опасения Государственной Думы и заставило правительство пойти на некоторые уступки. Члены Государственной Думы были введены в особый правительственный комитет, которому были поручены дела по распределению и выполнению военных заказов. Общественные круги добивались большего. Они требовали привлечения общественных сил к обслуживанию нужд войны и сосредоточения этих дел в особом министерстве „снабжения" с известным и пользующимся доверием армии деятелем во главе по примеру Англии и Франции. Они требовали далее созыва Государственной Думы не на короткую однодневную, а на длительную сессию и, наконец, создания правительства, которое могло бы пользоваться общественным доверием. 5-го июня 1915 года эти пожелания были высказаны князем Г. Е. Львовым в совещании уполномоченных от губернских земств и Н. И. Астровым в совещании городских голов, более радикально настроенных. Земский и городской союзы выделили из себя отделы, преобразованные в июле в „главный комитет по снабжению армий".

После упорных настояний общественных кругов и столь же упорного сопротивления правительства Государственная Дума, наконец, была созвана 19 июля на длительную сессию. Правительство понимало, что после всего случившегося оно не может встретиться с Государственной Думой в прежнем составе. Правительство „почистилось". Ушел военный министр [2]), которого вся страна обвиняла в военных неудачах; ушел министр внутренних дел [3]), которого обвиняли в возбуждении внутренней розни. Место Сухомлинова и Маклакова заняли выдвинутые думскими кругами А. А. Поливанов и доброжелательный, но слабый князь Щербатов. Ушли перед самым открытием сессии Щегловитов [4]) и Саблер [5]), замененные кандидатами правых, А. А. Хвостовым и А. Д. Самариным. Но Горемыкин [6]) остался в качестве доверенного лица государя, — а с ним осталось и недоверие общества к власти.

---

[1]) Это по меньшей мере преувеличено. Керенский никогда не стоял на точке зрения интернационалистов и всегда был ярым «оборонцем». *Ред.*

[2]) Сухомлинов. *Ред.*

[3]) Маклаков. *Ред.*

[4]) Министр юстиции. *Ред.*

[5]) Обер-прокурор «святейшего синода», нечто вроде правительственного комиссара духовного ведомства. *Ред.*

[6]) Председатель Совета Министров. *Ред.*

При открытии Государственной Думы в речах ораторов послышались новые тона. Даже националист гр. В. А. Бобринский требовал проявления „патриотического скептицизма ко всему, что предъявит правительство". Внесенная им формула перехода требовала „единения со всей страной правительства, пользующегося полным ее доверием". То же требование варьировалось в речах В. Н. Львова [1]) и Н. В. Савича [1]). А И. Н. Ефремов от имени прогрессистов уже выставил лозунг „ответственного перед народным представительством" министерства. Пишущий эти строки настоял на сохранении более скромной, но зато объединявшей более широкий фронт формулы: „министерства, пользующегося доверием страны", и перечислил те реформы, которые необходимо было ввести немедленно, вопреки заявлению И. Л. Горемыкина, желавшего ограничить деятельность Государственной Думы „только законопроектами, вызванными потребностями войны", в узком смысле.

В первой половине августа все эти стремления, одновременно в Москве и в Петрограде, приняли определенную форму. В Петрограде высказанные думскими ораторами мнения легли в основу платформы „прогрессивного блока" [2]). Четвертая Дума — Дума без определенного большинства, была игралищем власти. Война дала Государственной Думе большинство, — и тем самым поставлен был на твердую почву вопрос об „ответственности" правительства перед этим большинством. Вот почему, когда программа „прогрессивного блока", после долгих обсуждений и споров, была, наконец, опубликована 21 августа, более прогрессивные члены правительства сразу поняли, что самое меньшее, что нужно, — это стать с вновь образовавшимся большинством в определенные отношения.

Момент был решительный. Если бы власть сумела воспользоваться предоставленным ей шансом, то дальнейшего разъединения между правительством и обществом можно было бы надолго избегнуть. Понял это даже и И. Л. Горемыкин и поспешил забежать вперед, пригласив к себе 15 августа лидеров правой части блока, чтобы с их помощью перехватить идею создания большинства и использовать эту идею для поддержки *существующего* правительства.

Неловкий эксперимент не удался. После этого в заседании совета министров мнения разделились. Правое меньшинство поддерживало Горемыкина в мнении, что Государ-

---

[1]) «Октябристы» — лидеры «союза 17 октября». *Ред.*

[2]) Объединял все думские фракции, кроме левых (с.-д. и трудовики) и крайних правых. *Ред.*

ственную Думу надо поскорее распустить. Большинство опасалось осложнений в случае роспуска и решило войти в сношения с представителями блока. Обсудив с ними 27 августа программу прогрессивного блока, эти министры, во главе с Харитоновым, пришли к заключению, что „программа не встречает возражений, но совет министров в нынешнем составе не может ее проводить“. Намек был достаточно ясен. Через день, 29 августа, И. Л. Горемыкин выехал в ставку к государю. Еще через день (31 августа) он вернулся и... сообщил коллегам, что Государственная Дума 3-го сентября должна быть распущена...

Протянутую руку оттолкнули. Конфликт власти с народным представительством и с обществом превращался отныне в открытый разрыв. Испытав безрезультатно все мирные пути, общественная мысль получила толчок в ином направлении. Вначале тайно, а потом все более открыто начала обсуждаться мысль о необходимости и неизбежности революционного исхода.

С своей стороны, не молчали и противники „мнимого конституционализма“ с правой стороны. С роспуском Думы они подняли голову и начали тоже действовать открыто. На заседании совета министров в ставке 17 сентября под председательством государя были приняты решения в духе правого курса. Министра Щербатова сменил А. Н. Хвостов, кандидат крайних правых организаций. В тот же день был уволен в очень резкой форме обер-прокурор А. Д. Самарин, не поладивший с придворными фаворитами из духовных и не соглашавшийся, в угоду им, нарушить церковные каноны. Через месяц ушел А. В. Кривошеин, противник спешного роспуска Государственной Думы. Намечены были к отставке и другие сторонники сближения с прогрессивным блоком. Напротив, снова выдвинулся Щегловитов, открыто заявивший на съезде крайних правых (21 ноября) о своих симпатиях к самодержавию и объявивший манифест 17 октября [1]) „потерянной грамотой“. Обломки провинциальных отделов „союза русского народа“ были восстановлены и принялись за ту же работу, которой занимались в 1905—1907 г.г.: они резко нападали на прогрессивный блок, на городской и земский союзы, видя в оживившейся деятельности общественных организаций подготовку революционного выступления. Под их влиянием назначенная „не позднее 15 ноября“ сессия Государственной Думы была отсрочена без точного указания срока

[1]) Речь идет о манифесте 17 октября 1905 года, «даровавшем» России «конституцию». «В честь» его был создан в скором времени умеренно... «черносотенный» «Союз 17 октября». После ухудшения избирательного закона октябристы» сделались руководящей партией Гос. Думы. *Ред.*

созыва: первый случай за время существования законодательных учреждений. Съезды городского и земского союзов, назначенные на 5-е декабря, были запрещены. Депутация этих союзов, с жалобами на роспуск Государственной Думы и с требованиями „министерства доверия“, не была принята государем.

Настроение Николая Второго характеризуется тем, что еще 23-го августа он принял на себя командование всеми сухопутными и морскими силами. Все попытки (в том числе письмо, подписанное восемью министрами) отговорить царя указанием на опасность и риск занятия этой должности не помогли. Распутин убедил императрицу и императора, что принятие командования в момент, „когда враг углубился в пределы империи“, есть религиозный долг самодержца. Мистический взгляд на свое призвание, поддерживаемый сплотившимся придворным кружком, окончательно парализовал все другие влияния. Отныне все попытки извне указать царю на возрастающую опасность народного недовольства наталкивались на пассивное сопротивление человека подчинившегося чужой воле и потерявшего способность и желание прислушиваться к новым доводам. Ходили слухи, что это состояние умственной и моральной апатии поддерживается в царе усиленным употреблением алкоголя. Отъезд царя на жительство в ставку выдвинул оставшуюся в Петрограде императрицу, посредницу и средоточие всех „безответственных“ влияний. Министры, желавшие укрепить свое положение, начали ездить к императрице с докладами. Шайка крупных и мелких мошенников и аферистов окружила царицу и пользовалась своим влиянием, чтобы за денежную мзду обходить закон и доставлять частные изъятия и льготы: назначение на должности, освобождение от суда, от воинской повинности и т. д. Слухи об этих сделках распространились в обществе и совершенно уронили уважение ко двору. Постоянно слышалось историческое сравнение с „ожерельем королевы Марии-Антуанетты“.

1916-й год, последний перед революцией, не представляет того драматизма политической борьбы, как 1915-й год. Но это только потому, что парламентская борьба уже использовала все свои возможности и остановилась перед тупиком, из которого не было выхода. Позиции были заняты окончательно, и для обеих сторон стало ясно, что примирение невозможно. Общественные круги, которые сдерживались в 1915 году, в ожидании возможного компромисса, теперь окончательно потеряли надежду на мирный исход. Вместе с тем и основное требование „министерства доверия“ уступило место более решительному требованию „ответственного министерства“, т.-е. требованию парламен-

таризма. Мы видели, что в это же время придворным кругам даже „мнимый конституционализм“ начинал казаться опасным опытом, от которого надо отказаться и вернуться к самодержавию.

Кое у кого при дворе, однако, сохранились проблески понимания, что с Государственной Думой нельзя просто расстаться во время войны без опасения взрыва и ослабления боеспособности армии. Настроение высшего командования, несомненно, склонялось в пользу умеренных уступок, которых требовало большинство Государственной Думы в программе прогрессивного блока. И под влиянием этих фактов в течение года было сделано несколько попыток как-нибудь наладить хотя бы внешне-приличные отношения с Государственной Думой. И. Л. Горемыкин после своего разрыва с министрами, поддерживавшими блок, и после небывалого и противоконституционного акта отсрочки сессии Государственной Думы стал невозможен. Поэтому, когда вопрос о созыве Государственной Думы был вновь поднят после рождественских каникул—и когда Горемыкин вновь повел борьбу против ее созыва, на этом сыграли новые любимцы двора. Преемником Горемыкина оказался... Б. В. Штюрмер. Одного этого назначения было достаточно, чтобы охарактеризовать пропасть, существовавшую между двором и общественными кругами. Для двора Штюрмер был приемлем, потому что его лично знали и ему лично верили; кроме того, он получил необходимую санкцию: поддержку Распутина и императрицы. Для общественных кругов Штюрмер был типом старого губернатора, усмирителем Тверского земства. Его личной особенностью была его любовь к деньгам, и из провинции следом за ним тащился длинный хвост пикантных анекдотов о его темных и скандальных способах стяжания. Но... Штюрмер явился в неожиданной роли защитника законодательных учреждений. Через А. Н. Хвостова, нового министра внутренних дел, он вошел в переговоры с отдельными членами Государственной Думы (в том числе и с пишущим эти строки). В переговорах этих для созыва Думы ставилось одно условие: не говорить о Распутине. Конечно, Штюрмер получил ответ, что Государственная Дума интересуется не придворными сплетнями, а политическим курсом правительства, что в Государственной Думе есть хозяин — ее большинство, что у этого хозяина есть определенное мнение о том, что нужно делать для пользы России, и что, вместо тайных переговоров, которые ничего гарантировать не могут, нужно прежде всего определить свое отношение к „прогрессивному блоку“ и к его программе.

Но это как раз было то, чего правительство не хотело. Сессия Думы открылась без всякого соглашения между большинством и правительством. Первое выступление Штюрмера с невнятной, никому не слышной и никого не интересовавшей речью было и его окончательным политическим провалом. Единственный план примирения с Думой, выдвинутый бывшим церемониймейстером, — устройство раута у премьера — провалился еще раньше этого выступления: Штюрмеру дали знать, что к нему не пойдут. А других политических средств в распоряжении этих людей не имелось. Единственное, что могло подействовать — их уход, — конечно, не входило в их виды. Штюрмер не ушел; он остался. Но он сократил до минимума свои отношения с Государственной Думой. Обе стороны засели в своих окопах и перешли к позиционной войне.

В роли политического протагониста фигурировал некоторое время ставленник союза русского народа, А. Н. Хвостов, речистый и шумный депутат, не лишенный житейской ловкости и проявивший вкус к демагогии. Но и эта политическая карьера скоро померкла; Хвостов сделался жертвой не своего политического курса — за это не отставляли, — а той неловкости, с которой он исполнял придворные поручения. Посылка им известного проходимца Манасевича-Мануйлова в Христианию к Илиодору [1]) для покупки рукописи его книги, содержавшей скандальные разоблачения об отношении Распутина к царской семье, кончилась неудачей. Зато стала известна посылка им туда же другого проходимца, некоего газетного сотрудника Ржевского, предлагавшего Илиодору устроить убийство Распутина. Илиодор испугался появления темных людей в своей близости и бежал от русских агентов в Америку, где и издал свою книгу. А о проделке со Ржевским стало известно, когда министр поссорился со своим товарищем, опытным полицейским Белецким [2]), и когда оба стали наперерыв обличать друг друга печатно в прикосновенности к миссии Ржевского. Вот та „политика“, которая теперь велась в России ее руководящими кругами, возбуждая негодование во всех остальных.

С уходом Горемыкина и Хвостова министерские назначения все более теряли политическое значение в широком смысле. Началась, по меткому выражению Пуришкевича, „политическая чехарда“. Один за другим появлялись, пройдя через переднюю Распутина, или „бывшие“, или никому не-

[1]) Видный черносотенный „деятель — монах, подвизавшийся главным образом в Царицыне (после 1905 г.), с появлением Распутина ставший в „оппозицию“ к правительству. *Ред.*

[2]) Директор департамента полиции. *Ред.*

ведомые политически люди, проходили, как тени, на своих постах... и уступали место таким же, как они, очередным фаворитам придворной шайки. При этих сменах прежде всего, конечно, были удалены последние министры, подписавшие коллективное письмо государю о непринятии им должности главнокомандующего. Ушел (17 марта) А. А. Поливанов, замененный честным, но необразованным и совершенно непригодным для этого поста рамоликом Д. С. Шуваевым. А. Н. Хвостова заменил сам Штюрмер, но 10 июля, к общему изумлению, Штюрмер заменил министра иностранных дел С. Д. Сазонова, к великому ущербу для влияния России в союзных странах. Должность „церемониймейстера", которую он занимал когда-то, при полном невежестве не только в дипломатии, но даже и в географии воюющих стран, была его единственным правом на занятие этой должности. Не владея ни предметом, ни дипломатическим языком, он ограничил свою дипломатическую роль молчаливым присутствием при беседах своего товарища Нератова с иностранными послами. После такого назначения — не оставалось ничего невозможного. В публике вспоминали про назначение Калигулой своего любимого коня — сенатором.

Хуже было то, что, кроме смешной стороны, тут была и трагическая. Пишущему эти строки пришлось услышать осенью того же 1916 года от покойного гр. Бенкендорфа, нашего посла в Лондоне, что с тех пор, как Штюрмер стал во главе ведомства, англичане стали с нами гораздо сдержаннее и перестали делать его участником своих секретов. Ходили слухи о германофильских связях Штюрмера и каких-то тайных сношениях его агентов, помимо послов, заграницей. Все это, при общеизвестной склонности правых кругов к сближению с Германией и к возможно скорому выходу из войны, из страха перед грядущей революцией, сообщало правдоподобие слухам и вызывало усиленное внимание к ним в кругах общества, все более широких. Слово „измена" стало передаваться из уст в уста, — и об этом было громко заявлено с кафедры Гос. Думы. Новую пищу эти слухи получили, когда возвращавшийся в Россию председатель русской парламентской делегации, посетившей летом этого года союзные страны, октябрист Протопопов, свиделся в Стокгольме с представителем банкирского дома „Варбург и К-°", обслуживавшего германские интересы, вел с ним разговоры о мире и завел потом через Стокгольм шифрованную переписку. Как-то так случилось, что именно после этого обстоятельства на Протопопова было обращено внимание двора. Через тибетского знахаря Бадмаева он нашел путь к Распутину и к императрице, в то же время

он основывал большую либерально-буржуазную газету „Русская Воля“. Вот был самый желательный кандидат в министры, аппробованный общественными кругами и Думой и в то же время дававший двору всяческие гарантии верности и благонадежности, „полюбивший государя“, по его словам, с первого же свидания. Он-то знал кулисы Гос. Думы и импонировал двору своими личными связями с ее влиятельными членами. Дума была, так сказать, у него в кармане. А что касается народного недовольства, его уверил Белецкий, что оно не так страшно, как кажется, и что даже в случае восстания в столице нетрудно будет с ним справиться, разделив Петроград на кварталы, обучив полицию пулеметной стрельбе и расставив пулеметы на крышах зданий, расположенных в стратегически-важных местах.

Думские круги было поражены состоявшимся в сентябре назначением Протопопова на пост министра внутренних дел. Это был обход с тыла и измена в собственной среде. Конечно, влияния в этих кругах Протопопов никогда не имел и личным доверием и уважением не пользовался. По-дворянски ласковый и обходительный, по-дворянски задолженный, потом получивший на руки большое промышленное дело, он привык вести мелкую политику личных услуг и постоянно становился в положения, при которых правдивость была бы серьезным недостатком и помехой. На вторых ролях и при хорошем руководстве он мог прилично играть роль внешнего представительства: так это и было в заграничной парламентской делегации.

Предоставленный же самому себе и брошенный друзьями, которые от него отшатнулись, он скоро обнаружил все свои отрицательные стороны: свой карьеризм, свое легкомыслие, лживость и умственную ограниченность.

Назначение Протопопова имело, очевидно, целью перебросить мостик между двором и Г. Думой. На деле оно лишь резче подчеркнуло существовавшую между властью и обществом пропасть и еще более обострило и отравило взаимные отношения. На место ничтожеств и открытых врагов, говоривших на разных языках и совершенно чуждых общественным кругам по всему своему мировоззрению, тут явился ренегат, понимавший язык общественности, но готовый воспользоваться этим пониманием во вред ей. Естественно, что пренебрежение и презрение к бывшему товарищу быстро перешло в ненависть, и то, к чему уже привыкли от других, возбуждало особое негодование, когда исходило от своего.

Все элементы взрыва были теперь готовы. Общественное напряжение и нервность достигли крайней степени, когда 1-го ноября собралась Госуд. Дума. Летняя сессия

Госуд. Думы носила деловой характер: Дума обсуждала в комиссиях и в пленуме самые невинные из законопроектов, введенные в программу блока. Обществу эта „органическая работа" не без основания казалась толчением воды в ступе. И было совершенно ясно, что зимняя сессия Г. Думы будет носить совершенно иной, интенсивно-политический характер. Но Дума и правительство уже настолько разошлись, что на этот раз не было сделано никаких приготовлений, чтобы Дума и правительство могли встретиться сколько-нибудь миролюбиво. Штюрмера не убрали до Думы, как в январе убрали Горемыкина. Таким образом Дума получила мишень, в которую могла направлять свои удары.

Но теперь бить только по Штюрмеру представлялось уже совершенно недостаточным. Штюрмер был лишь жалкий фигурант, приспособлявшийся, как и остальные субъекты „министерской чехарды", к тому, что делалось и диктовалось за кулисами. Туда, за эти кулисы, и должен был быть направлен очередной удар. Это было то, чего не понимали ни император, ни Протопопов.

Имена членов придворного кружка, с именем императрицы во главе, были произнесены 1 ноября с думской трибуны пишущим эти строки. Перечисляя один за другим все главнейшие шаги правительства, возбуждавшие общественное недовольство, оратор при каждом случае спрашивал аудиторию: „Глупость это или измена?" И хотя оратор скорее склонялся к первой альтернативе, аудитория своими одобрениями поддерживала вторую. В. В. Шульгин в яркой и ядовитой, по обычаю, речи поддерживал П. Н. Милюкова и сделал практический вывод из его обличений. Речи ораторов этого дня были запрещены для печати, и это устроило им самую широкую рекламу. Не было министерства и штаба в тылу и на фронте, в котором не переписывались бы эти речи, разлетевшиеся по стране в миллионах экземпляров. Этот громадный отзвук сам по себе превращал парламентское слово в штурмовой сигнал и являлся красноречивым показателем настроения, охватившего всю страну. Теперь у этого настроения был лозунг, и общественное мнение единодушно признало 1-е ноября 1916 г. началом русской революции [1]).

---

[1]) Это утверждение нужно понимать весьма „условно". Ибо не кто иной, как выразитель этого „общественного мнения" Милюков, призывал с думской трибуны к предотвращению надвигавшейся революции. То, что Милюков называет здесь „началом русской революции", было простым „бунтом на коленях" думских либералов, напуганных приближением революции и делавших отчаянные усилия, чтобы заставить правительство необходимыми уступками разрядить революционную атмосферу. *Ред.*

Как будто правительство начало, наконец, кое-что понимать. Штюрмер после второго заседания Думы, в котором окончились выступления фракционных ораторов, был уволен после назначения ему преемника. Заседания Думы были приостановлены на неделю для того, чтобы новое правительство могло осмотреться и сделать выводы из сложившегося положения. Наученное опытом общество уже ничего не ожидало, — и было право. Преемником Штюрмера явился А. Ф. Трепов, и этот выбор подтверждал, что власть не хочет искать своих представителей вне тесной среды старых сановников, надежных для нее, но неспособных вызвать к себе никакого общественного доверия. Вслед за другими, Трепов делал попытки найти себе поддержку в Думе и в печати. Но, не располагая, подобно другим, ничем, что могло бы гарантировать серьезную перемену курса, он скоро увидал, что не может рассчитывать на хороший прием. Его даже предостерегали вообще против появления в Думе при этих условиях. Трепов все-таки пришел. Он наткнулся со стороны социалистических депутатов на прием, который вся Дума готовила Протопопову, в случае его появления. Три раза он пытался начать свою речь, и трижды она была заглушена криками со скамей социалистов и трудовиков (19 ноября). Не помог Трепову даже и такой козырь, как оглашение факта, что союзники по договору обязались уступить России Константинополь и проливы.

Правительство давно перестало внушать к себе уважение. Но встреча Трепова показала всей стране, что оно перестало внушать и страх. Не могли внушить страха и новые репрессии Протопопова. Общество притаилось и чего-то ждало. В день окончания сессии, 17 декабря, предостерегая в последний раз правительство, пишущий эти строки говорил, что „атмосфера насыщена электричеством, все чувствуют приближение грозы и никто не знает, куда упадет удар“.

В тот же день 17 декабря удар разразился. Он упал на лицо, которое все считали одним из главных виновников маразма, разъедавшего двор. Странным образом, когда это лицо было устранено, все сразу почувствовали, что совсем не в этом дело, что устранен лишь яркий показатель положения, тогда как зло вовсе не в нем, — и вообще не в отдельных лицах. Был убит Григорий Распутин [1]). Это убий-

[1]) Газетам, сообщавшим об убийстве Распутина, цензура запретила называть его имя. Говорилось поэтому о высокопоставленном „лице“. Такая таинственность еще более заинтриговывала публику, отлично понимавшую, что „лицо“ — это Распутин. *Ред.*

ство, несомненно, скорее смутило, чем удовлетворило общество. Публика не знала тогда во всех подробностях кошмарной сцены в особняке кн. Юсупова, рассказанной потом Пуришкевичем, одним из непосредственных участников убийства. Но она как бы предчувствовала, что здесь случилось нечто принижающее, а не возвышающее, — нечто такое, что стояло вне всякой пропорции с величием задач текущего момента. И убийцы не принадлежали к числу представителей русской общественности. Напротив, они вышли из среды, создавшей ту самую атмосферу, в какой расцветали Распутины. Это был скорей протест лучшей части этой среды против самих себя, выражение охватившего эту среду страха, что вместе с собой Распутины погубят и их. Вся царская семья давно уже порывалась объединиться и объяснить царю, что он ведет Россию и всех своих к гибели. Увы, отдельные объяснения и тут не привели ни к чему, кроме личного разрыва. Теми же пустыми, ничего не говорящими глазами царь встречал августейших, как и простых советчиков.

По крайней мере, этот удар разбудит ли спящих? Поймут ли они, что это, после 1-го ноября, уже второе предостережение и что третьего, быть может, не будет? Общество задавало себе эти вопросы и с возраставшим нетерпением ждало. Оно ничего не дождалось. Рождественские праздники прошли, начался 1917 год, и все с недоумением спрашивали себя: что же дальше? Неужели все этим и ограничится? И что же нужно более сильное, чем то, что уже было? Впечатление, что страна живет на вулкане, было у всех. Но кто же возьмет на себя почин, кто поднесет фитиль и взорвет опасную мину?

В обществе широко распространилось убеждение, что следующим шагом, который предстоит в ближайшем будущем, будет дворцовый переворот при содействии офицеров и войска. Мало-по-малу сложилось представление и о том, в чью пользу будет произведен этот переворот. Наследником Николая II называли его сына Алексея, а регентом на время его малолетства — в. к. Михаила Александровича. Из сообщения М. И. Терещенко после самоубийства ген. Крымова стало известно, что этот „сподвижник Корнилова" был самоотверженным патриотом, который в начале 1917 г. обсуждал в тесном кружке подробности предстоящего переворота. В феврале уже намечалось его осуществление. В то же время другой кружок, ядро которого составили некоторые члены бюро прогрессивного блока с участием некоторых земских и городских деятелей, в виду очевидной возможности переворота, хотя и не будучи точно осведомлен о приготовлениях к нему, обсуждал вопрос о том,

какую роль должна сыграть после переворота Гос. Дума. Обсудив различные возможности, этот кружок также остановился на регентстве в. к. Михаила Александровича, как на лучшем способе осуществить в России конституционную монархию. Значительная часть членов первого состава временного правительства участвовала в совещаниях этого второго кружка; некоторые, как сказано выше, знали и о существовании первого...

Однако, перевороту не суждено было совершиться так, как он ожидался довольно широкими кругами. Раньше, чем осуществился план кружка, в котором участвовал генерал Крымов, переворот произошел не сверху, а снизу, не планомерно, а стихийно [1]).

Как бы то ни было, из объективных фактов с бесспорностью вытекает, что подготовка к революционной вспышке весьма деятельно велась — особенно с начала 1917 года — в рабочей среде и в казармах петроградского гарнизона. Застрельщиками должны были выступить рабочие. Внешним поводом для выступления рабочих на улицу был намечен день предполагавшегося открытия Гос. Думы, 14 февраля. Подойдя процессией к Государственной Думе, рабочие должны были выставить определенные требования, в том числе и требование ответственного министерства. В одном частном совещании общественных деятелей этот проект обсуждался подробно, при чем самым горячим его сторонником оказался рабочий Абросимов, оказавшийся провокатором на службе охраны [2]). На провокацию указывалось и в предостерегающем письме к рабочим П. Н. Милюкова.

Предостережение рабочих относительно возможной провокации на первый раз достигло своей цели. В назначенный первоначально день (14 февраля) выступление рабочих не состоялось [3]). Однако, оно оказалось отложенным не на-

[1]) Далее Милюков, севши на своего излюбленного конька, предается „догадкам" насчет работы немецких шпионов и провокации полиции. Мы опускаем эти явно клеветнические „теории" Милюкова, в котором контрреволюционный буржуазный политик берет верх над «беспристрастным» ученым. Милюкову, как историку, лучше, чем кому-либо другому, конечно, известно, что грандиозные исторические перевороты нельзя объяснять происками шпионов и провокаторов. *Ред.*

[2]) Речь идет о демонстрации, подготовлявшейся меньшевиками-„оборонцами". Так как легенда о немецких шпионах тут совершенно неуместна, то Милюков выезжает на провокаторах. Конечно, провокаторы ничем не брезгали. Но нужно было бы поистине профессорское тупоумие, чтобы выступление рабочих „объяснять" провокацией, если бы Милюков не преследовал здесь своих особых целей. *Ред.*

[3]) Этим заявлением Милюков выдает себя с головой. Все его „догадки" и письма о провокации и шпионах нужны были лишь затем, чтобы предотвратить выступление рабочих и дать возможность „переворотом сверху" разрядить атмосферу. *Ред.*

долго. Уже 23 февраля появились первые признаки народных волнений. 24-го мирные митинги уступили место первым вооруженным столкновениям с полицией, сопровождавшимся и первыми жертвами. 25-го работа фабрик и занятия в учебных заведениях прекратились: весь Петроград вышел на улицу. У городской думы произошло крупное столкновение народа с полицией, а на Знаменской площади, при таком же столкновении, казаки приняли сторону народа, бросились на конную полицию и обратили ее в бегство. Толпа приветствовала казаков; происходили трогательные сцены братанья. 26 февраля, в воскресенье, правительство приготовилось к решительному бою. Центр столицы был оцеплен патрулями, установлены были пулеметы, проведены провода военных телефонов. Это, однако, не устрашило толпу. В громадном количестве, со знаменами, она ходила по улицам, собиралась на митинги, вызывала столкновения, при которых правительством были пущены в ход пулеметы. Чтобы усилить полицию, часть солдат была переодета в полицейские шинели, что вызывало в полках гарнизона чрезвычайное негодование и дало толчок к переходу их на сторону народа. Но движение продолжало быть бесформенным и беспредметным. Вмешательство Гос. Думы дало уличному и военному движению центр, дало ему знамя и лозунг, и тем превратило восстание в революцию, которая кончилась свержением старого режима и династии [1]).

Пять дней революции (27 февраля—3 марта).

Сигнал к началу революции дало опять-таки само правительство. Вечером 26 февраля председатель Г. Думы получил указ об отсрочке сессии, которая должна была открыться 27-го. Члены Гос. Думы, собравшись утром этого дня на заседание, узнали, что они распущены. В непосредственной близости от Таврического дворца в то же время уже начиналось форменное восстание в казармах Волынского и Литовского полков. Движение началось среди солдат и застало офицеров совершенно неподготовленными: одиночные попытки их воспротивиться движению привели к кровавым жертвам. Солдаты в беспорядке пошли к Таврическому дворцу. Одновременно с этим смешанные толпы отправились к арсеналу, заняли его и, захватив оружие, бросились к тюрьмам освобождать арестованных—не только политиче-

[1]) Это явная передержка, недопустимая для сколько-нибудь беспристрастного историка. Поскольку можно говорить о сознательном вмешательстве Думы, оно было направлено к тому, чтобы помешать восстанию превратиться в революцию. Действительным центром революции, давшим ей знамя и лозунг был Совет Р. и С. Д. *Ред.*

ских, но и уголовных, подожгли Литовский замок, Окружный суд, Охранное отделение и т. д.

Правительство пыталось направить на восставших войска, оставшиеся верными ему, и на улицах столицы дело грозило дойти до настоящих сражений. Таково было положение, когда около полудня сделана была двоякая попытка ввести движение в определенное русло. С одной стороны, социалистические партии, подготовлявшие революционные кружки среди солдат, попытались взять на себя руководство движением. С другой стороны, решились стать во главе движения члены Гос. Думы. Гос. Дума как таковая, как законодательное учреждение старого порядка, координированная „основными законами" с остатками самодержавной власти, явно обреченной теперь на слом, была этой старой властью распущена. Она и не пыталась, несмотря на требование М. А. Караулова, открыть формальное заседание. Вместо зала заседаний Таврического дворца, члены Гос. Думы перешли в соседнюю полуциркульную залу (за председательской трибуной) и там обсудили создавшееся положение. Там было вынесено, после ряда горячих речей, постановление не разъезжаться из Петрограда (а не постановление „не расходиться" Г. Думе как учреждению, как о том сложилась легенда). Частное совещание членов Думы поручило вместе с тем своему совету старейшин выбрать временный комитет членов Думы и определить дальнейшую роль Гос Думы в начавшихся событиях. В третьем часу дня совет старейшин выполнил это поручение, выбрав в состав Временного Комитета М. В. Родзянко, В. В. Шульгина (националиста), В. Н. Львова („центр"), И. И. Дмитрюкова (октябрист), С. И. Шидловского (Союз 17 октября), М. А. Караулова, А. И. Коновалова (труд. гр.) [1]), В. А. Ржевского (прогр.), П. Н. Милюкова (к.-д.), Н. В. Некрасова (к.-д.), А. Ф. Керенского (труд.) и Н. С. Чхеидзе (с.-д.) [2]). В основу этого выбора, предопределившего отчасти и состав будущего министерства, положено было представительство партий, объединенных в прогрессивном блоке. К нему были прибавлены представители левых партий, частью вышедших из блока (прогрессисты), частью вовсе в нем не участвовавших (трудовики и с.-д.), а также президиум Гос. Думы. Ближайшей задачей Комитета было поставлено „восстановление порядка и сношение с учреждениями и лицами", имевшими отношение к движению. Решение совета старейшин было затем обсуждено по фракциям и утверждено

[1]) Здесь, повидимому, опечатка. Коновалов был лидером торгово-промышленной группы. *Ред.*

[2]) Меньшевик-интернационалист». *Ред.*

новым совещанием членов Думы в полуциркульном зале. Предложения, шедшие дальше этого, — как-то: немедленно взять всю власть в свои руки и организовать министерство из членов Думы, или даже объявить Думу Учредительным Собранием,—были отвергнуты, отчасти как несвоевременные, отчасти как принципиально неправильные [1]). Из намеченного состава Временного Комитата отказался участвовать в нем Н. С. Чхеидзе и с оговорками согласился А. Ф. Керенский. Дело в том, что параллельно с решениями совета старейшин было решено социалистическими партиями немедленно возродить к деятельности Совет рабочих депутатов, памятный по событиям 1905 года. Первое заседание Совета было назначено в тот же вечер, в 7 часов 27 февраля, причем помещением выбрана, без предварительных сношений с президиумом Г. Думы, зала заседаний Таврического дворца. Помещение Таврического дворца вообще после полудня было уже занято солдатами, рабочими и случайной публикой, и в воззвании 27 февраля, приглашавшем на первое заседание, „Временный Исполнительный Комитет Совета Рабочих Депутатов“ (анонимный) говорил от имени „заседающих в Думе представителей рабочих, солдат и населения Петрограда“. Чтобы урегулировать свой состав, то же воззвание предлагало „всем перешедшим на сторону народа войскам немедленно избрать своих представителей, по одному на каждую роту; заводам избрать своих депутатов по одному на каждую тысячу“ [2]).

К вечеру 27 февраля, когда выяснился весь размер революционного движения, Временный Комитет Г. Думы решил сделать дальнейший шаг и взять в свои руки власть, выпадавшую из рук правительства. Решение это было принято после продолжительного обсуждения, в полном сознании ответственности, которую оно налагало на принявших его. Все ясно сознавали, что от участия или неучастия Думы в руководстве движением зависит его успех или неудача [3]). До успеха было еще далеко: позиция войск не только вне Петрограда и на фронте, но даже и внутри Петрограда и в ближайших его окрестностях далеко еще не выяснилась. Но была уже ясна вся глубина и серьезность переворота, неизбежность которого сознавалась, как мы видели, и ранее; и сознавалось, что для успеха этого

[1]) Это и называется—по Милюкову: дать центр, знамя и лозунг уличному и военному движению и превратить его в революцию. *Ред.*

[2]) Вот этим действительно «восстание превращалось в революцию», и создавался авторитетный руководящий центр. *Ред.*

[3]) В действительности, конечно, «умысел другой тут был“ — имелось в виду удержать движение в приемлемых для „прогрессивного блока“ рамках. Об этом с достаточной откровенностью говорят Родзянко, Шульгин и др. *Ред.*

движения Г. Дума много уже сделала своей деятельностью во время войны — и специально со времени образования прогрессивного блока. Никто из руководителей Думы не думал отрицать большой доли ее участия в подготовке переворота [1]. Вывод отсюда был тем более ясен, что, как упомянуто выше, кружок руководителей уже заранее обсудил меры, которые должны были быть приняты на случай переворота [2]. Намечен был даже и состав будущего правительства. Из этого намеченного состава кн. Г. Е. Львов не находился в Петрограде, и за ним было немедленно послано. Именно эта необходимость ввести в состав первого революционного правительства руководителя общественного движения, происходившего вне Думы, сделала невозможным образование министерства в первый же день переворота. В ожидании, когда наступит момент образования правительства, Временный Комитет ограничился лишь немедленным назначением комиссаров из членов Г. Думы во все высшие правительственные учреждения для того, чтобы немедленно восстановить правильный ход административного аппарата. Необходимые меры по обеспечению столицы продовольствием были приняты особой комиссией, организованной Исполнительным Комитетом Совета Рабочих Депутатов, но под председательством приглашенного Врем. Комитетом Гос. Думы А. И. Шингарева. Руководство военным отделом также взял на себя член Гос. Думы, введенный в состав Врем. Комитета ночью 27 февраля, при окончательном выяснении его функций, полк. Б. Энгельгардт. Личный состав министров старого порядка был ликвидирован арестом их, по мере обнаружения их местонахождения. Собранные в министерском павильоне Гос. Думы, они были в следующие дни перевезены в Петропавловскую крепость [3].

Формальный переход власти к Временному Комитету Г. Думы, с ее председателем во главе, и ликвидация старого правительства чрезвычайно ускорили и упростили дальнейший ход переворота. Одна за другой воинские части, расположенные в Петрограде и в его ближайших окрестностях, уже в полном составе, с офицерами и в полном порядке переходили на сторону Гос. Думы. Члены Гос. Думы разъезжали по казармам, осведомляя гарнизон о совершив

---

[1] Утверждение по меньшей мере рискованное. Как мы видели выше, б. председатель Думы Родзянко все свое произведение посвящает задаче доказать, что Дума в революции не виновата. *Ред.*

[2] Милюков почему-то умалчивает, что речь шла тогда лишь о дворцовом перевороте. *Ред.*

[3] Об этих арестах Милюков пишет так, как будто бы они были делом Думы. В действительности аресты царских сановников производились не только помимо Думы, но часто вопреки ей. *Ред.*

шемся, и части войск в течение следующих дней беспрерывно подходили к Гос. Думе, приветствуемые председателем и членами Временного Комитета. Гос. Дума сделалась центром паломничества. Она сохранила эту роль и после того, как правительство через несколько дней перенесло свои заседания в Мариинский дворец, предоставив Таврический дворец в распоряжение Совета Рабочих и Солдатских Депутатов [1]).

Первые четыре-пять дней работа вновь созданной власти велась день и ночь среди суматохи и толкотни Таврического дворца. Ближайшей задачей Временного Комитета и образуемого им правительства было — выяснить свои отношения к образовавшемуся рядом с ним представительству социалистических партий, заявивших с самого начала претензию представлять демократические классы населения, рабочих, солдат, а затем и крестьянство. С самого же начала „Совет Рабочих и Солдатских Депутатов" поставил и свои особые задачи совершившемуся перевороту. Уже в воззвании 28 февраля он заявил, что „борьба еще продолжается; она должна быть доведена до конца; старая власть должна быть окончательно низвергнута и уступить место народному правлению"; „для успешного завершения борьбы в интересах демократии народ должен создать свою собственную властную организацию". В то время как Временный Комитет Гос. Думы овладел аппаратом высшего управления государством, „Совет Раб. и Солд. Депутатов" более интересовался тем, чтобы взять в свои руки управление столицей. Тем же воззванием назначались „районные комиссары для установления народной власти в районах Петрограда", и население приглашалось „немедленно сплотиться вокруг Совета, организовать местные комитеты в районах и взять в свои руки управление всеми местными делами". Так было положено начало осуществлению „основной задачи" Совета: организации народных сил для борьбы „за окончательное упрочение политической свободы и народного правления в России". Воззвание упоминало также о созыве Учредительного Собрания, избранного на основе всеобщего, равного, прямого и тайного избирательного права".

Брошенные таким образом, независимо от Г. Думы, лозунги были быстро усвоены рабочими и солдатскими массами столицы [2]). Только левая часть Временного Комитета, начиная от к.-д., могла примкнуть к ним, оставаясь верной

[1]) Здесь, как и всюду, Милюков явно преувеличивает роль Думы и ее авторитет, почти совершенно обходя молчанием деятельность Совета, с первого же дня ставшего центром движения. *Ред.*

[2]) Этим заявлением Милюков побивает сам себя, признавая, что не Дума, а Совет дал знамя и лозунги движению. *Ред.*

своим партийным взглядам. Однако же, и со стороны представителей более правых партий возражения не последовало. Скоро оказалось, что они даже готовы были быстрее и дальше итти на уступки, требовавшиеся моментом, чем некоторые представители к.-д. Как бы то ни было, нельзя было медлить с выяснением отношений Временного Комитета к демократическим лозунгам. Необходимо было ускорить и окончательное формирование власти. Ввиду этого, уже 1 марта Временный Комитет наметил состав министров, которому должен был передать свою власть. Во главе первого революционного правительства, согласно состоявшемуся еще до переворота уговору, было поставлено лицо, выдвинутое на этот пост своим положением в российском земстве: кн. Г. Е. Львов, мало известный лично большинству членов Временного Комитета. П. Н. Милюков и А. И. Гучков, в соответствии с их прежней деятельностью в Г. Думе, были выдвинуты на посты министров иностранных дел и военного (а также морского, для которого в эту минуту не нашлось подходящего кандидата). Два портфеля, министерства юстиции и труда, были намечены для представителей социалистических партий. Но из них лишь А. Ф. Керенский дал 2 марта свое согласие на первый пост. Н. С. Чхеидзе, предполагавшийся для министерства труда, предпочел остаться председателем Совета Раб. Депутатов (он фактически не принимал с самого начала участия и во Временном Комитете). Н. В. Некрасов и М. И. Терещенко, два министра, которым суждено было потом играть особую роль в революционных кабинетах, как по их непосредственной личной близости с А. Ф. Керенским, так и по их особой близости к конспиративным кружкам, готовившим революцию[1]), получили министерства путей сообщения и финансов. Выбор этот остался непонятным для широких кругов. А. И. Шингарев, только что облеченный тяжелой обязанностью обеспечения столицы продовольствием, получил министерство земледелия, а в нем не менее тяжелую задачу — столковаться с левыми течениями в аграрном вопросе. А. И. Коновалов и А. А. Мануилов получили посты, соответствующие социальному положению первого и профессиональным занятиям второго — министерство торговли и министерство народного просвещения. Наконец, участие правых фракций прогрессивного блока в правительстве было обеспечено введением И. В. Годнева и В. Н. Львова, думские выступления которых сделали их бесспорными кандидатами на посты государственного контролера и обер-проку-

---

[1]) Речь идет о кружках, подготовлявших дворцовый переворот. *Ред.*

рора синода. Самый правый из блока, В. В. Шульгин, мог бы войти в правительство, если бы захотел; но он отказался и предпочел остаться в трудную для родины минуту при своей профессии публициста.

Вечером 1 марта в соединенное заседание Временного Комитета Думы и Временного Правительства явились представители исполнительного комитета Совета Раб. Депутатов: Н. С. Чхеидзе, Ю. М. Стеклов (Нахамкес), Н. Н. Суханов (Гиммер), Н. Д. Соколов, Филипповский и др., с предложением обсудить те условия, принятие которых могло бы обеспечить вновь образовавшемуся правительству поддержку демократических организаций. Временное Правительство охотно приняло это предложение и вошло в обсуждение прочтенных делегатами пунктов. Прения затянулись далеко за полночь. По настоянию П. Н. Милюкова, делегаты Совета согласились отказаться от пункта, согласно которому „вопрос о форме правления оставался открытым" (в ту минуту в этой скромной форме обеспечивалась возможность разрешения этого вопроса в смысле республики, тогда как Временное Правительство принимало меры к обеспечению регентства Михаила) [1]). По его же требованию, после продолжительных споров они согласились вычеркнуть требование о выборности офицеров, т.-е. отказались от введения в число условий своей поддержки того самого принципа, который уже утром 2 марта они положили в основу знаменитого „приказа № 1". После этих и некоторых других изменений и дополнений предложенный делегатами текст принял следующую форму: „В своей деятельности кабинет будет руководиться следующими основаниями: 1) Полная и немедленная амнистия по всем делам политическим и религиозным, в том числе террористическим покушениям, военным восстаниям, аграрным преступлениям и т. д. 2) Свобода слова, печати, союзов, собраний и стачек, с распространением политических свобод на военнослужащих в пределах, допускаемых военно-техническими условиями. 3) Отмена всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений. 4) Немедленная подготовка к созыву на началах всеобщего, равного, прямого и тайного голосования Учредительного Собрания, которое установит форму правления и конституцию страны. 5) Замена полиции народной милицией с выборным начальством, подчиненным органам местного самоуправления. 6) Выборы в органы местного самоуправления на основе всеобщего, равного, прямого и тайного голосования. 7) Неразоружение и не-

---

[1]) Одно из тех милюковских „знамен", которые Дума хотела навязать движению. *Ред.*

вывод из Петрограда воинских частей, принимавших участие в революционном движении. 8) При сохранении строгой воинской дисциплины в строю и принесении военной службы — устранение для солдат всех ограничений в пользовании общественными правами, предоставленными всем остальным гражданам". За исключением п. 7, имевшего, очевидно, временный характер, и применения начала выбора к начальству милиции в п. 5, все остальное в этом проекте заявления не только было вполне приемлемо или допускало приемлемое толкование, но и прямо вытекало из собственных взглядов вновь сформированного правительства на его задачи [1]). С другой стороны, необходимо отметить, что здесь не заключалось ничего такого, что впоследствии было внесено социалистическими партиями в понимание задачи революционной власти — и что послужило предметом долгих прений и неоднократных разрывов между социалистической и не социалистической частью „коалиционных" кабинетов следующих составов.

С своей стороны, П. Н. Милюков настоял, чтобы и делегаты Совета приняли на себя известные обязательства, а именно, чтобы они осудили уже обнаружившееся тогда враждебное отношение солдат к офицерству и все виды саботажа революции, вроде незаконных обысков в частных квартирах, грабежа имущества и т. д., и чтобы это осуждение было изложено в декларации Совета вместе с обещанием поддержки правительству в восстановлении порядка и в проведении начал нового строя. Оба заявления, правительства и Совета, должны были быть напечатаны рядом, второе после первого, чтобы тем рельефнее подчеркнуть их взаимную связь. Исполняя это желание Временного Комитета, Н. Д. Соколов написал проект заявления. Этот проект, однако, мог быть истолкован в смысле, обратном условленному, и поэтому не удовлетворил комитет. П. Н. Милюков написал тогда другой проект, который с некоторыми изменениями и был принят в следующих словах окончательной декларации совета: „. . . Нельзя допускать разъединения и анархии. Нужно немедленно пресекать все бесчинства, грабежи, врывание в частные квартиры, расхищение и порчу всякого рода имущества, бесцельные захваты общественных учреждений. Упадок дисциплины и анархия губят революцию и народную свободу. Не устранена еще опасность военного движения против революции. Чтобы

[1]) В этом позволительно усомниться, ибо основной задачей Вр. Правительства, как мы только что видели, было „обеспечение регентства Михаила". Единственное, что здесь бесспорно, это — возможность „приемлемых толкований". Последняя и была использована Вр. Правительством самым широким образом. *Ред.*

предупредить ее, весьма важно обеспечить дружную согласованную работу солдат с офицерами. Офицеры, которым дороги интересы свободы и прогрессивного развития родины, должны употребить все усилия, чтобы наладить совместную деятельность с солдатами. Они будут уважать в солдате его личное и гражданское достоинство, будут бережно обращаться с чувством чести солдата. С своей стороны, солдаты будут помнить, что армия сильна лишь союзом солдат и офицеров, что нельзя за дурное поведение отдельных офицеров клеймить всю офицерскую корпорацию".

Когда все эти переговоры были уже закончены, поздно ночью на 2-е марта в комитет приехал А. И. Гучков, проведший весь день в сношениях с военными частями и в подготовке обороны столицы на случай ожидавшегося еще прихода войск, посланных в Петроград по приказанию Николая II. Возражения Гучкова по поводу уже состоявшегося соглашения побудили оставить весь вопрос открытым. Только утром следующего дня по настоянию М. В. Родзянко П. Н. Милюков возобновил переговоры. В течение дня соглашение было обсуждено и принято в Совете, и вечером 2-го марта делегация Совета вновь явилась к П. Н. Милюкову с предложением выработать окончательный текст. Кроме уже принятых пунктов, делегаты настояли на включении фразы: „Временное Правительство считает своим долгом присовокупить, что оно отнюдь не намерено воспользоваться военными обстоятельствами для какого-либо промедления по осуществлению вышеизложенных реформ и мероприятий". Подозрительность, проявленная в этих словах, сказалась также и в тех более чем сдержанных выражениях, в которых декларация Совета давала правительству обещанную поддержку. К приведенной выше части декларации была с этой целью присоединена следующая вступительная часть: „Товарищи и граждане, новая власть, создавшаяся из общественно-умеренных слоев общества, объявила сегодня о всех тех реформах, которые она обязуется осуществить частью еще в процессе борьбы со старым режимом, частью по окончании этой борьбы. Среди этих реформ некоторые должны приветствоваться широкими демократическими кругами: политическая амнистия, обязательство принять на себя подготовку Учредительного Собрания, осуществление гражданских свобод и устранение национальных ограничений. И мы полагаем, что в той мере, в какой нарождающаяся власть будет действовать в направлении осуществления этих обязательств и решительной борьбы со старой властью, — демократия должна оказать ей свою поддержку". Здесь, как видим, не только не отразился тот факт, что текст правительственных „обязательств" в

основе своей составлен самими делегатами Совета, а текст их декларации — Временным Комитетом Гос. Думы, но и принята впервые та знаменитая формула „постольку — поскольку“, которая заранее ослабляла авторитет первой революционной власти среди населения. Хотя Совет и санкционировал post factum [1]) вступление А. Ф. Керенского в правительство, но он и тут продолжал подчеркивать, что правительство принадлежит к „общественно-умеренным“ слоям, т.-е. заранее набрасывал на него подозрение в классовой односторонности. Зародыши будущих затруднений и осложнений уже сказались в этой исходной формулировке взаимных отношений правительства и первой из организаций „революционной демократии“.

Еще не покончив с этими переговорами, Временный Комитет принялся за свою главнейшую очередную задачу, ликвидацию старой власти [2]). Ни у кого не было сомнения, что Николай II более царствовать не может. Еще 26 февраля в своей телеграмме к царю М. В. Родзянко требовал только „немедленного поручения лицу, пользующемуся доверием страны, составить новое правительство“, т.-е. употреблял прежнюю формулу прогрессивного блока. Он прибавлял при этом, что „медлить нельзя“ и что „всякое промедление смерти подобно“, и „молил бога, чтобы в этот час ответственность не пала на венценосца“. Но уже 27-го утром тон 2-й телеграммы был иной: „Положение ухудшается. Надо принять немедленно меры, и б о з а в т р а б у д е т у ж е п о з д н о. Н а с т а л п о с л е д н и й ч а с, к о г д а р е ш а е т с я с у д ь б а р о д и н ы и д и н а с т и и“. На просьбы, обращенные к главнокомандующим фронтами — поддержать перед царем обращение председателя Думы, — Родзянко получил от генералов Брусилова и Рузского ответные телеграммы, что его просьба исполнена. Генер. Алексеев также настаивал, вместе с в. к. Николаем Николаевичем, на „принятии решения, признаваемого нами единственным выходом при создавшихся роковых условиях“, т.-е. на составлении ответственного министерства. В том же смысле составлено было заявление, подписанное великими князьями и доставленное во Временный Комитет Гос. Думы. Но действительно было уже поздно думать т о л ь к о об ответственном министерстве. Нужно было полное и немедленное отречение царя. С целью настоять на нем, Временный Коми-

---

[1]) Задним числом. *Ред.*

[2]) Здесь Милюков опять «передергивает». Главнейшей задачей Думского Комитета была ликвидация не старой власти, а восстания. Комитет всеми мерами стремился к сохранению основы старой власти—монархии, и если последняя все же была ликвидирована, то вовсе не стараниями Комитета и не по его желанию. *Ред.*

тет в ту же ночь, с 1 на 2-е марта, решил отправить к Николаю II делегацию из А. И. Гучкова и В. В. Шульгина. Царь, правда, вызывал М. В. Родзянко, но отъезд из Петрограда председателя Думы в то время, когда только что формировалась новая революционная власть, признан был небезопасным. По мысли Комитета, отказ Николая II должен был последовать в пользу наследника при регентстве Михаила.

Выехав в 3 часа дня 2 марта, А. И. Гучков и В. В. Шульгин в 10 час. вечера были в Пскове и немедленно были приглашены в салон-вагон Николая II. Здесь после речи А. И. Гучкова о необходимости отречения в пользу сына (сидевший рядом с Шульгиным ген. Рузский сказал ему при этом: „это уже дело решенное“), бывший государь ответил спокойно и не волнуясь, со своим обычным видом вежливой непроницаемости: „Я вчера и сегодня целый день обдумывал и принял решение отречься от престола. До 3 час. дня я был готов пойти на отречение в пользу моего сына. Но затем я понял, что расстаться с моим сыном я неспособен. Вы это, я надеюсь, поймете. Поэтому я решил отречься в пользу моего брата“. Ссылка на отцовские чувства закрыла уста делегатов, хотя позволено думать, что в решение царя была и известная политическая задняя мысль. Николай II не хотел рисковать сыном, предпочитая рисковать братом и Россией, в ожидании неизвестного будущего. Думая, как всегда, прежде всего о себе и о своих даже и в эту критическую минуту и отказываясь от решения, хотя и трудного, но до известной степени подготовленного, он вновь открывал весь вопрос о монархии в такую минуту, когда этот вопрос только и мог быть решен отрицательно. Такова была последняя услуга Николая II родине.

Спросив делегатов, думают ли они, что акт отречения действительно успокоит страну и не вызовет осложнений, — и не получив утвердительного ответа, Николай II удалился и в $11^1/_4$ вечера возвратился в вагон с готовым документом. В. В. Шульгин попросил царя внести в текст фразу о „принесении всенародной присяги“ Михаилом Александровичем в том, что он будет править в „ненарушимом единении с представителями народа“, как это было уже сказано в документе. Царь тотчас же согласился, заменив лишь слово „всенародная“ словом „ненарушимая“. Без 10 минут в полночь на 3-е марта отречение было подписано.

За этот день 2 марта, однако же, политическое положение в Петрограде еще раз успело измениться. Изменение это впервые сказалось, когда около 3-х часов дня П. Н. Милюков произносил свою речь о вновь образовавшемся пра-

вительстве в Екатерининском зале Таврического дворца. Речь эта была встречена многочисленными слушателями, переполнившими зал, с энтузиазмом, и оратор вынесен на руках по ее окончании. Но среди шумных криков одобрения слышались и ноты недовольства и даже протеста. „Кто вас выбрал?“ — спрашивали оратора. Ответ был: „Нас выбрала русская революция“; но „мы не сохраним этой власти ни минуты после того, как свободно избранные народом представители скажут нам, что они хотят на наших местах видеть людей, более заслуживающих их доверия“. Так устанавливалась идея преемственности власти, созданной революцией, до Учредительного Собрания. При словах оратора: „во главе мы поставили человека, имя которого означает организованную русскую общественность, так непримиримо преследовавшуюся старым правительством“, те же голоса дважды прерывали речь криками: „цензовую“. П. Н. Милюков ответил им: „да, но единственно-организованную, которая даст потом возможность организоваться и другим слоям русской общественности“. Наконец, на самый существенный вопрос — о судьбе династии — оратор ответил: „я знаю наперед, что мой ответ не всех вас удовлетворит. Но я скажу его. Старый деспот, доведший Россию до полной разрухи, добровольно откажется от престола или будет низложен. Власть перейдет к регенту, в. к. Михаилу Александровичу. Наследником будет Алексей (шум и крики: „это старая династия“). Да, г. г., это старая династия, которую, может быть, не любите вы, и, может быть, не люблю и я. Но дело сейчас не в том, кто что любит. Мы не можем оставить без ответа и без разрешения вопрос о форме государственного строя. Мы представляем его себе как парламентарную и конституционную монархию [1]). Быть может, другие представляют иначе. Но если мы будем спорить об этом сейчас, вместо того чтобы сразу решить вопрос, то Россия очутится в состоянии гражданской войны, и возродится только что разрушенный режим. Этого сделать мы не имеем права... Но, как только пройдет опасность и установится прочный мир, мы приступим к подготовке созыва Учредительного Собрания на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования. Свободно избранное народное представительство решит, кто вернее выразил общее мнение России, мы или наши противники“ [2]).

[1]) Еще одна прекрасная иллюстрация того, с каким „знаменем“ и „лозунгами“ „вмешалась“ Дума в движение. *Ред.*

[2]) Само собой разумеется, что никакого „свободно избранного народного представительства“ страна не увидела бы, если бы милюковские планы спасения монархии осуществились хотя бы наполовину. Но это и было основной задачей милюковской „организованной общественности“. *Ред.*

К концу дня волнение, вызванное сообщением П. Н. Милюкова о регентстве в. к. Михаила Александровича, значительно усилилось. Поздно вечером в здание Таврического дворца проникла большая толпа чрезвычайно возбужденных офицеров, которые заявляли, что не могут вернуться к своим частям, если П. Н. Милюков не откажется от своих слов. Не желая связывать других членов правительства, П. Н. Милюков дал требуемое заявление в той форме, что „его слова о временном регентстве в. к. Михаила Александровича и о наследовании Алексея являются его личным мнением". Это было, конечно, неверно, ибо во всех предшествовавших обсуждениях вопрос этот считался решенным сообща в том именно смысле, как это излагал П. Н. Милюков. Но напуганный нараставшей волной возбуждения Временный Комитет молчаливо отрекся от прежнего мнения.

Как раз в то время, когда происходил этот сдвиг в Петрограде, в Пскове Николай II изменил свое первоначальное решение отречься в пользу сына и „решил отречься в пользу брата". Такая перемена делала защиту конституционной монархии еще более трудной, ибо отпадал расчет на малолетство нового государя, составлявшее естественный переход к укреплению строго-конституционного строя. Те, кто уже согласился на Алексея, вовсе не были обязаны соглашаться на Михаила. И когда, около 3 часов ночи на 3-е марта, до членов правительства, остававшихся в Таврическом дворце, дошли первые слухи об отречении Николая в пользу Михаила, все почувствовали, что этим снова открыт вопрос о династии. Немедленно были осведомлены М. В. Родзянко и кн. Г. Е. Львов. Оба они отправились к прямому проводу в военное министерство, чтобы узнать тотчас по расшифровании точный текст акта об отречении и выяснить возможность его изменения. В то же время были приняты меры, чтобы до окончательного решения вопроса акт об отречении Николая II не был опубликован. На рассвете министры уведомили в. к. Михаила Александровича, ничего не подозревавшего и крайне удивленного случившейся переменой, что через несколько часов они его посетят. Отсутствие Родзянко и Львова, с одной стороны, и ожидание возвращения Гучкова и Шульгина,—с другой, задержали эту встречу. Возвратившегося Шульгина пишущий эти строки успел на станции уведомить по телефону о совершившейся в Петрограде перемене настроения. Но А. И. Гучков уже сообщил железнодорожным рабочим о назначении Михаила и лично сделался свидетелем возбуждения, вызванного этим известием.

Под этими предрассветными впечатлениями состоялось предварительное совещание членов правительства и Вре-

менного Комитета о том, что и как говорить великому князю. А. Ф. Керенский еще накануне вечером в Совете Рабочих Депутатов объявил себя республиканцем и сообщил о своем особом положении в министерстве, как представителя демократии, и об особенном весе своих мнений. Правда, принятая на конференции петроградских социалистов-революционеров 2 марта резолюция говорила еще только о „подготовке Учредительного Собрания пропагандой республиканского образа правления" и санкционировала вступление Керенского, как способ „необходимого контроля над деятельностью Временного Правительства со стороны трудящихся масс". Но в утреннем совещании 3 марта его мнение о необходимости убедить в. к. отречься возымело решающее влияние. Н. В. Некрасов уже успел набросать и проект отречения. На стороне обратного мнения, что надо сохранить конституционную монархию до Учредительного Собрания, оказался один П. Н. Милюков[1]). После страстных споров было решено, что обе стороны мотивируют перед в. к. свои противоположные мнения и, не входя в дальнейшие прения, предоставят решение самому в. князю. Около полудня у в. к. на Миллионной собрались члены правительства: кн. Г. Е. Львов, П. Н. Милюков, А. Ф. Керенский, Н. В. Некрасов, М. И. Терещенко, И. В. Годнев, В. Н. Львов и несколько позже приехавший А. И. Гучков, а также члены Временного Комитета М. В. Родзянко, В. В. Шульгин, И. Н. Ефремов и М. А. Караулов. Необходимость отказа пространно мотивировал М. В. Родзянко и, после него, А. Ф. Керенский. После них П. Н. Милюков развил свое мнение, что сильная власть, необходимая для укрепления нового порядка, нуждается в опоре привычного для масс символа власти. Временное Правительство одно, без монарха, говорил он, является „утлой ладьей", которая может потонуть в океане народных волнений, стране при этих условиях может грозить потеря всякого сознания государственности и полная анархия, раньше чем соберется Учредительное Собрание; Временное Правительство одно до него не доживет и т. д. За этой речью, вопреки соглашению, последовал ряд других речей в полемическом тоне. Тогда П. Н. Милюков попросил и получил, вопреки страстному противодействию Керенского, слово для второй речи. В ней он указал, что хотя и правы утверждающие, что

[1]) Таким образом, теперешний „республиканский демократ" Милюков оказался большим монархистом, чем верноподданнейшие монархисты Родзянко, Шульгин, Львов, и...—как вскоре выяснилось—чем сам предполагаемый монарх Михаил. *Ред.*

принятие власти грозит риском для личной безопасности великого князя и самих министров, но на риск этот надо итти в интересах родины, ибо только таким образом может быть снята с данного состава лиц ответственность за будущее. К тому же вне Петрограда есть полная возможность собрать военную силу, необходимую для защиты в. князя. Поддержал П. Н. Милюкова один А. И. Гучков. Обе стороны заявили, что в случае решения, несогласного с их мнением, они не будут оказывать препятствия и поддержат правительство, хотя участвовать в нем не будут.

По окончании речей великий князь, все время молчавший, попросил себе некоторое время на размышление. Выйдя в другую комнату, он пригласил к себе М. В. Родзянко, чтобы побеседовать с ним наедине. Выйдя после этой беседы к ожидавшим его депутатам, он сообщил им довольно твердо, что его окончательный выбор склонился на сторону мнения, защищавшегося председателем Гос. Думы. Тогда А. Ф. Керенский патетически заявил: „ваше высочество, вы — благородный человек!“ Он прибавил, что отныне будет всюду заявлять это. Пафос Керенского плохо гармонировал с прозой принятого решения. За ним не чувствовалось любви и боли за Россию, а только страх за себя...

Проект отречения, набросанный Н. В. Некрасовым, был очень слаб и неудачен. Решено было пригласить юристов-государствоведов В. Д. Набокова и Б. Э. Нольде, которые и внесли в текст отречения изменения, возможные в рамках состоявшегося решения. Главное место отречения гласило: „принял я твердое решение в том лишь случае воспринять верховную власть, если такова будет воля великого народа нашего, которому и надлежит всенародным голосованием своим через представителей своих в Учредительном Собрании установить образ правления и новые основные законы государства Российского. Призывая благословение божие, прошу всех граждан державы Российской подчиниться Временному Правительству, по почину Государственной Думы возникшему и облеченному всей полнотой власти, впредь до того, как созванное в возможно кратчайший срок на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования Учредительное Собрание своим решением об образе правления выразит волю народа“. Чтобы легче понять, что нового внесено этим актом, приведем главное место отречения имп. Николая. „Заповедуем брату нашему править делами государственными в полном и ненарушимом согласии с представителями народа в законодательных учреждениях на тех началах, кои будут ими установлены, принеся в том

ненарушимую присягу во имя горячо любимой родины. Призываю всех верных сынов отечества к исполнению своего святого долга перед ним повиновением царю в тяжелую минуту всенародных испытаний и помочь ему вместе с представителями народа вести государство Российское на путь победы, благоденствия и славы".

Так совершилась первая капитуляция русской революции[1]). Представители Г. Думы, „Думы третьего июня", в сущности, решили вопрос о судьбе монархии. Они создали положение, дефективное в самом источнике, — положение, из которого должны были развиться все последующие ошибки революции.

---

[1]) Здесь с полной ясностью вскрывается суть той „революции", к которой стремилась Дума свести „уличное и военное движение". Ее важнейшей задачей было спасение монархии. Если это благодаря противодействию народных масс не было выполнено, то тут произошла, конечно, не „капитуляция революции", а нечто совершенно противоположное. *Ред.*

Ген. А. И. ДЕНИКИН.

Очерки русской смуты [1]).

Старая армия и государь [2]).

В августе 1915 года государь, под влиянием кругов императрицы и Распутина, решил принять на себя верховное командование армией. Этому предшествовали безрезультатные представления восьми министров и некоторых политических деятелей, предостерегавших государя от опасного шага. Официальными мотивами выставлялись, с одной стороны, трудность совмещения работы управления и командования, с другой — риск брать на себя ответственность за армию в тяжкий период ее неудачи и отступления... Но истинной побудительной причиной этих представлений был страх, что отсутствие знаний и опыта у нового верховного главнокомандующего осложнит и без того трудное положение армии, а немецко-распутинское окружение, вызвавшее паралич правительства и разрыв его с Государственной Думой и страной, поведет к разложению армии.

Ходила, между прочим, молва, впоследствии оправдавшаяся, что решение государя вызвано отчасти и боязнью кругов императрицы перед все более возраставшей, невзирая на неудачи армии, популярностью великого князя Николая Николаевича...

Этот значительный по существу акт не произвел в армии большого впечатления. Генералитет и офицерство отдавало себе ясный отчет в том, что личное участие государя в командовании будет лишь внешнее, и потому всех интересовал более вопрос:

— Кто будет начальником штаба?

---

1) Из обширных „Очерков русской смуты“ ген. Деникина, вышедших в двух томах (Париж, изд. Поволоцкого) и представляющих собою наполовину мемуары, наполовину же историю русской революции в генеральском освещении, мы заимствуем лишь 3, 6 и 7 главы I тома, посвященные собственно февральскому перевороту и событиям, ему предшествовавшим. *Ред.*

2) Глава III первого тома. *Ред.*

Назначение генерала Алексеева успокоило офицерство. Не всегда достаточно твердый в проведении своих требований в вопросе о независимости ставки от сторонних влияний, Алексеев проявил гражданское мужество, которого так не хватало жадно державшимся за власть сановникам старого режима.

Однажды после официального обеда в Могилеве императрица взяла под руку Алексеева и, гуляя с ним по саду, завела разговор о Распутине.

Несколько волнуясь, она горячо убеждала Михаила Васильевича Алексеева, что он не прав в своих отношениях к Распутину, что „старец—чудный и святой человек", что на него клевещут, что он горячо привязан к их семье, а главное, что его посещение ставки принесет счастье...

Алексеев сухо ответил, что для него это—вопрос, давно решенный, и что, если Распутин появится в ставке, он немедленно оставит пост начальника штаба.

— Это ваше окончательное решение?

— Да, несомненно.

Императрица резко оборвала разговор и ушла, не простившись с Алексеевым.

Этот разговор, по словам Михаила Васильевича, повлиял на ухудшение отношений к нему государя. Вопреки установившемуся мнению, отношения эти, по внешним проявлениям не оставлявшие желать ничего лучшего, не носили характера ни интимной близости, ни дружбы, ни даже исключительного доверия.

Государь никого не любил, разве только сына. В этом был трагизм его жизни — человека и правителя.

Несколько раз, когда Михаил Васильевич, удрученный нараставшим народным неудовольствием против режима и трона, пытался выйти из рамок военного доклада и представить царю истинное освещение событий, когда касался вопроса о Распутине и об ответственном министерстве, он встречал хорошо знакомый многим непроницаемый взгляд и сухой ответ:

— Я это знаю.

Больше ни слова.

Но в вопросах управления армией государь всецело доверялся Алексееву, выслушивая долгие, слишком, быть может, обстоятельные доклады его. Выслушивал терпеливо и внимательно, хотя, повидимому, эта область не захватывала его. Некоторое расхождение случалось лишь в вопросах второстепенных — о назначениях приближенных, о создании им должностей и т. д.

Между тем, борьба Государственной Думы (прогрессивного блока) с правительством, находившая, несомненно,

сочувствие у Алексеева и у командного состава, принимала все более резкие формы. Запрещенный для печати отчет о заседании 1 ноября 1916 г.[1]), с историческими речами Шульгина, Милюкова и др., в рукописном виде распространен был повсеместно в армии. Настроение настолько созрело, что подобные рукописи не таились уже под спудом, а читались и резко обсуждались в офицерских собраниях.

— Я был крайне поражен,— говорил мне один видный социалист и деятель городского союза, побывав впервые в армии в 1916 г.,—с какой свободой всюду, в воинских частях, в офицерских собраниях, в присутствии командиров, в штабах и т. д. говорят о негодности правительства, о придворной грязи. Это—в нашей стране „слова и дела"... Вначале мне казалось, что меня просто провоцируют.

Связь Думы с офицерством существовала давно. Работа комиссии государственной обороны в период воссоздания флота и реорганизации армии после японской войны протекла при деятельном негласном участии офицерской молодежи. А. И. Гучков образовал кружок, в состав которого вошли Савич, Крупенский, граф Бобринский и представители офицерства, во главе с генералом Гурко. Повидимому, к кружку примыкал и генерал Поливанов, сыгравший впоследствии такую крупную роль в развале армии (Поливановская комиссия). Там не было ни малейшего стремления к потрясению основ, а лишь желание подтолкнуть тяжелый бюрократический воз, дать импульс работе и инициативу инертным военным управлениям.

По словам Гучкова, кружок работал совершенно открыто, и военное ведомство первое время снабжало его даже материалами. Но затем отношение Сухомлинова круто изменилось, кружок был взят под подозрение, пошли разговоры о „младотурках"...

После галицийского отступления Государственной Думе удалось, наконец, добиться постоянного участия своих членов в деле правильной постановки военных заказов, а земским и городским союзам—образования „главного комитета по снабжению армий".

Это обстоятельство было также учтено надлежаще в войсках, укрепляя доверие к Государственной Думе и общественным организациям.

---

[1]) Появился в газетах в урезанном виде только в начале января 1917 года.

Но в области внутренней политики положение не улучшалось. И к началу 1917 г. крайне напряженная атмосфера политической борьбы выдвинула новое средство:

— Переворот.

В Севастополь к больному Алексееву приехали представители некоторых думских и общественных кругов. Они совершенно откровенно заявили, что назревает переворот. Как отнесется к этому страна, они знают. Но какое впечатление произведет переворот на фронте, они учесть не могут. Просили совета.

Алексеев в самой категорической форме указал на недопустимость каких бы то ни было государственных потрясений во время войны, на смертельную угрозу фронту, который, по его пессимистическому определению, „и так не слишком прочно держится“, и просил во имя сохранения армии не делать этого шага.

Представители уехали, обещав принять меры к предотвращению готовившегося переворота.

Не знаю, какие данные имел Михаил Васильевич, но он уверял впоследствии, что те же представители вслед за сим посетили Брусилова и Рузского и, получив от них ответ противоположного свойства, изменили свое первоначальное решение: подготовка переворота продолжалась.

Пока трудно выяснить детали этого дела. Участники молчат, материалов нет, а все дело велось в глубокой тайне, не проникая в широкие армейские круги. Тем не менее, некоторые обстоятельства стали известны.

Целый ряд лиц обращался к государю с предостережением о грозившей опасности стране и династии, в том числе Алексеев, Гурко, протопресвитер Шавельский, Пуришкевич, великие князья Николай и Александр Михайловичи и сама вдовствующая императрица.

После приезда в армию осенью 1916 г. представителя Государственной Думы Родзянко, у нас распространилось письмо его к государю: оно предостерегало царя о той громадной опасности, которая угрожает трону и династии благодаря гибельному участию в управлении государством Александры Федоровны.

Одно из подобных „вмешательств“ Родзянки вызвало высочайший выговор, переданный письменно председателю Государственной Думы по приказанию государя ген. Алексеевым. Это обстоятельство, между прочим, весьма существенно отразилось на последующих отношениях этих двух государственных деятелей.

Но никакие представления не действовали.

В состав образовавшихся кружков входили некоторые члены правых и либеральных кругов Государственной Ду-

мы, прогрессивного блока, члены императорской фамилии и офицерство. Активным действиям должно было предшествовать последнее обращение к государю одного из великих князей... В случае неуспеха в первой половине марта предполагалось вооруженной силой остановить императорский поезд во время следования его из ставки в Петроград... Далее должно было последовать предложение государю отречься от престола, а в случае несогласия — физическое его устранение. Наследником предполагался законный правопреемник Алексей, а регентом — Михаил Александрович.

В то же время большая группа прогрессивного блока, земских и городских деятелей, причастная или осведомленная о целях кружка, имела ряд заседаний для выяснения вопроса, „какую роль должна сыграть после переворота Государственная Дума“ [1]). Тогда же был намечен и первый состав кабинета, причем выбор главы его, после обсуждения кандидатур М. Родзянко и князя Львова, остановился на последнем.

Но судьба распорядилась иначе.

Раньше предполагавшегося переворота началась, по определению Альберта Тома, „самая солнечная, самая праздничная, самая бескровная русская революция“...

Революция и армия. — Приказ № 1 [2]).

События застали меня далеко от столицы, в Румынии, где я командовал 8-м армейским корпусом. Оторванные от родины, мы, если и чувствовали известную напряженность политической атмосферы, то не были подготовлены вовсе ни к какой неожиданно скорой развязке, ни к тем формам, которые она приняла.

Фронт был поглощен своими частными интересами и заботами. Готовились к зимнему наступлению, которое вызывало совершенно отрицательное к себе отношение у всего командного состава нашей 4-й армии: употребляли все усилия, чтобы ослабить до некоторой хотя бы степени ту ужасную хозяйственную разруху, которую создали нам румынские пути сообщения. Где-то в Новороссии на нашей базе всего было достаточно, но до нас ничего не доходило. Лошади дохли от бескормицы, люди мерзли без сапог и теплого белья и заболевали тысячами: из нетопленных румынских вагонов, неприспособленных

[1]) Милюков, „История 2-й русской революции“ (стр. 172 настоящего сборника). *Ред.*

[2]) Глава VI первого тома.

под больных и раненых, вынимали окоченелые трупы и складывали, как дрова, на станционных платформах. Молва катилась, преувеличивая отдельные эпизоды, волновала, искала виновных...

Утром 3 марта подали телеграмму из штаба армии „для личного сведения" о том, что в Петрограде вспыхнуло восстание, что власть перешла к Государственной Думе и что ожидается опубликование важных государственных актов. Через несколько часов телеграф передал и манифесты императора Николая II и великого князя Михаила Александровича. Сначала было приказано распространить их, потом, к немалому моему смущению (телефоны разнесли уже весть), задержать, потом, наконец, снова — распространить.

Эти колебания, повидимому, были вызваны переговорами Временного Комитета Государственной Думы и штаба Северного фронта о задержке опубликования актов, ввиду неожиданного изменения государем основной их идеи: наследование престола не Алексеем Николаевичем, а Михаилом Александровичем. Задержать, однако, уже не удалось.

Войска были ошеломлены, — трудно определить другим словом первое впечатление, которое произвело опубликование манифестов. Ни радости, ни горя. Тихое, сосредоточенное молчание. Так встретили полки 14-й и 15-й дивизии весть об отречении своего императора. И только местами в строю непроизвольно колыхались ружья, взятые на караул, и по щекам старых солдат катились слезы [1]...

Спустя некоторое время, когда улеглось первое впечатление, я два раза собирал старших начальников обеих дивизий с целью выяснить настроение войск и беседовал с частями. Эти доклады, личные впечатления, донесения соседних корпусов, которые я читал потом в штабе армии, дают мне возможность оценить объективно это настроение. Главным образом, конечно, офицерской среды, ибо солдатская масса, — слишком темная, чтобы разобраться в событиях, и слишком инертная, чтобы тотчас реагировать на них, — тогда не вполне еще определилась.

Чтобы передать точно тогдашнее настроение, не преломленное сквозь призму времени, я приведу выдержки из своего письма к близким от 8 марта:

---

[1]) Это трогательное повествование о благоговейном молчании армии и горьких слезах старых солдат очень характерно для верноподданнических чувств будущего „освободителя" России и „борца за народоправство". В действительности настроение солдат было, конечно, совершенно иным (см., например, у Лукомского). Ниже Деникин сам сознается, что настроение солдат было ему неизвестно. *Ред.*

„Перевернулась страница истории. Первое впечатление ошеломляющее, благодаря своей полной неожиданности и грандиозности. Но в общем войска отнеслись ко всем событиям совершенно спокойно. Высказываются осторожно, но в настроении массы можно уловить совершенно определенные течения:

1) Возврат к прежнему немыслим.

2) Страна получит государственное устройство, достойное великого народа: вероятно, конституционную ограниченную монархию.

3) Конец немецкому засилию и победное продолжение войны“.

Отречение государя сочли неизбежным следствием всей нашей внутренней политики последних лет. Но никакого озлобления лично против него и против царской семьи не было. Все было прощено и забыто. Наоборот, все интересовались их судьбой и опасались за нее.

Назначение верховным главнокомандующим Николая Николаевича и его начальником штаба генерала Алексеева было встречено в офицерской и солдатской среде вполне благоприятно [1]).

Интересовались, будет ли армия представлена в Учредительном Собрании.

К составу Временного Правительства отнеслись довольно безучастно, к назначению военным министром штатского человека — отрицательно, и только участие его в работах по государственной обороне и близость к офицерским кругам сглаживали впечатление.

Многим кажется удивительным и непонятным тот факт, что крушение векового монархического строя не вызвало среди армии, воспитанной в его традициях, не только борьбы, но даже отдельных вспышек, что армия не создала своей Вандеи...

Мне известны только три эпизода резкого протеста: движение отряда генерала Иванова на Царское Село, организованное ставкой в первые дни волнений в Петрограде, выполненное весьма неумело и вскоре отмененное, и две телеграммы, посланные государю командирами 3-го конного и гвардейского конного корпусов, графом Келлером [2]) и Ханом-Нахичеванским. Оба они предлагали себя и свои войска в распоряжение государя для подавления „мятежа“...

Время шло.

---

[1]) Как мы уже видели, настроение солдат Деникину было мало известно. *Ред.*

[2]) Убит в Киеве в 1918 году петлюровцами.

От частей корпуса стало поступать ко мне множество крупных и мелких недоуменных вопросов.

Кто же у нас представляет верховную власть: Временный Комитет, создавший Временное Правительство, или это последнее? Запросил, не получил ответа. Само Временное Правительство, повидимому, не отдавало себе ясного отчета о существе своей власти.

Кого поминать на богослужении?

Петь ли народный гимн и „спаси, господи, люди твоя“?..

Эти кажущиеся мелочи вносили, однако, некоторое смущение в умы и нарушали установившийся военный обиход.

Начальники просили скорее установить присягу.

Был и такой вопрос: имел ли право император Николай Александрович отказаться от прав престолонаследия за своего несовершеннолетнего сына?...

Скоро, однако, другие вопросы стали занимать войска: получен был первый приказ военного министра Гучкова, с изменениями устава внутренней службы в пользу „демократизации армии“[1]). Этим приказом, на первый взгляд довольно безобидным, отменялись титулование офицеров, обращение к солдатам на „ты“ и целый ряд мелких ограничений, установленных для солдат уставом,—воспрещение курения на улицах и в других общественных местах, посещения клубов и собраний, игры в карты и т. д.

Последствия были совершенно неожиданные для лиц, не знавших солдатской психологии. Строевые же начальники понимали, что, если необходимо устранить некоторые отжившие формы, то делать это надо исподволь, осторожно, а главное, отнюдь не придавая этому характера „завоеваний революции“...

Солдатская масса, не вдумавшись нисколько в смысл этих мелких изменений устава, приняла их просто как освобождение от стеснительного регламента службы, быта и чинопочитания.

Но если все эти мелкие изменения устава, распространительно толкуемые солдатами, отражались только в большей или меньшей степени на воинской дисциплине, то разрешение военным лицам во время войны и революции „участвовать в качестве членов в различных союзах и обществах, образуемых с политической целью“, представляло уже угрозу самому существованию армии.

Ставка, обеспокоенная этим обстоятельством, прибегла тогда к небывалому еще в армии способу плебисцита: всем начальникам, до командира полка включительно, предложено было высказаться по поводу новых приказов.

---

[1]) От 5 марта.

в телеграммах, адресованных непосредственно военному министру. Я не знаю, справился ли телеграф со своей задачей, достигла ли назначения эта огромная масса телеграмм, но все те, которые стали мне известны, были полны осуждения, во всех сквозил страх за будущее армии.

А в то же время военный совет, состоявший из старших генералов, яко бы хранителей опыта и традиции армии, — в Петрограде в заседании своем 10 марта постановил доложить Временному Правительству:

„Военный совет считает своим долгом засвидетельствовать полную свою солидарность с теми энергичными мерами, которые Временное Правительство принимает в отношении реформ наших вооруженных сил, соответственно новому укладу жизни в государстве и армии, в убеждении, что эти реформы наилучшим образом будут способствовать скорейшей победе нашего оружия и освобождению Европы от гнета прусского милитаризма“.

Я не могу после этого не войти в положение штатского военного министра.

Нам трудно было понять, какими мотивами руководствовалось военное министерство, издавая свои приказы. Мы не знали тогда о безудержном оппортунизме лиц, окружавших военного министра, о том, что Временное Правительство находится в плену у Совета Рабочих и Солдатских Депутатов и вступило с ним на путь соглашательства, являясь всегда страдательной стороной.

1-го марта Советом Рабочих и Солдатских Депутатов был отдан приказ № 1, приведший к переходу фактической военной власти к солдатским комитетам, к выборному началу и смене солдатами начальников, — приказ, имеющий такую широкую и печальную известность и давший первый и главный толчок к развалу армии.

Результаты приказа № 1 отлично были поняты вождями революционной демократии. Говорят, что Керенский впоследствии патетически заявил, что отдал бы десять лет жизни, чтобы приказ не был подписан... Произведенное военными властями расследование „не обнаружило“ авторов его. Чхеидзе и прочие столпы Совета Рабочих и Солдатских Депутатов впоследствии отвергли свое участие, личное и членов комитета, в редактировании приказа [1]).

5 марта Совет Рабочих и Солдатских Депутатов отдал приказ № 2 „в разъяснение и дополнение № 1“. Приказ этот, оставляя в силе все основные положения, установленные № 1-м, добавлял: приказ № 1 установил комитеты, но не выборное начальство; тем не менее, все произведенные

[1]) См. примеч. к статье Родзянки, стр. 59. *Ред.*

уже выборы офицеров должны остаться в силе; комитеты имеют право возражать против назначения начальников; все петроградские солдаты должны подчиняться политическому руководству исключительно Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, а в вопросах, относящихся до военной службы — военным властям. Этот приказ, весьма несущественно отличавшийся от № 1, был уже скреплен председателем военной комиссии Временного Правительства...

Генерал Потапов, именовавшийся „председателем военной комиссии Государственной Думы", так говорит о создавшихся взаимоотношениях между Советом Рабочих и Солдатских Депутатов и военным министром: „6 марта вечером на квартиру Гучкова пришла делегация Совдепа в составе Соколова, Нахамкеса и Филипповского (ст. лейтенант), Скобелева, Гвоздева, солдат Падерина и Кудрявцева (инженера) по вопросу о реформах в армии... Происходившее заседание было очень бурным. Требования делегации Гучков признал для себя невозможными и несколько раз выходил, заявляя о сложении с себя звания министра. С его уходом я принимал председательствование, вырабатывались соглашения, снова приглашался Гучков, и заседание закончилось воззванием, которое было подписано от совдепа Скобелевым, от Комитета Государственной Думы—мною и от правительства — Гучковым. Воззвание аннулировало приказы № 1 и № 2, но военный министр дал обещание проведения в армии более реальных, чем он предполагал, реформ по введению новых правил взаимоотношений командного состава и солдат". Эти реформы должна была провести комиссия генерала Поливанова.

Единственным компетентным военным человеком в этом своеобразном „военном совете" являлся генерал Потапов, который и должен нести свою долю нравственной ответственности за „более реальные реформы"...

В действительности же воззвание, опубликованное в газетах 8 марта, вовсе не аннулировало приказов № 1 и № 2, а лишь разъяснило, что они относятся только к войскам Петроградского военного округа. „Что же касается армий фронта, то военный министр обещал незамедлительно выработать, в согласии с Исполнительным Комитетом Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, новые правила отношений солдат и командного состава". Как приказ № 2, так и это воззвание не получили никакого распространения в войсках и ни в малейшей степени не повлияли на ход событий, вызванных к жизни приказом № 1.

Быстрое и повсеместное, по всему фронту и тылу, распространение приказа № 1 обусловливалось тем обстоятельством, что идеи, проведенные в нем, зрели и культиви-

ровались много лет, — одинаково в подпольях Петрограда и Владивостока, как заученные прописи, проповедывались всеми местными армейскими демагогами, всеми наводнившими фронт делегатами, снабженными печатью неприкосновенности от Совета Рабочих и Солдатских Депутатов.

Были и такие факты: в самом начале революции, когда еще никакие советские приказы не проникли на Румынский фронт, командующий 6-й армией генерал Цуриков по требованию местных демагогов ввел у себя комитеты и даже пространной телеграммой, заключавшей доказательства пользы нововведения, сообщил об этом и нам — командирам корпусов чужой армии.

С другой стороны, некоторые солдатские организации отнеслись отрицательно к приказу, считая его провокацией. Так, нижегородский совет солдатских депутатов 4 марта постановил не принимать к исполнению полученную „прокламацию" и призвать войска „повиноваться Временному Правительству, его органам и командному составу".

Мало-по-малу солдатская масса зашевелилась. Началось с тылов, всегда более развращенных, чем строевые части, среди военной полуинтеллигенции — писарей, фельдшеров, в технических командах. Ко второй половине марта, когда в наших частях только усилились несколько дисциплинарные проступки, командующий 4-й армией в своей главной квартире ожидал с часу на час, что его арестуют распущенные нестроевые банды...

Прислали, наконец, текст присяги „на верность службы Российскому государству". Идея верховной власти была выражена словами:

„...Обязуюсь повиноваться Временному Правительству, ныне возглавляющему Российское государство, впредь до установления воли народа при посредстве Учредительного Собрания".

Приведение войск к присяге повсюду прошло спокойно, но идиллических ожиданий начальников не оправдало: ни подъема, ни успокоения в смятенные умы не внесло. Могу отметить лишь два характерных эпизода. Командир одного из корпусов на Румынском фронте во время церемонии присяги умер от разрыва сердца. Граф Келлер заявил, что приводить к присяге свой корпус не станет, так как не понимает существа и юридического обоснования [1]) верховной власти Временного Правительства; не понимает, как можно присягать, повиноваться Львову, Керенскому и прочим опре-

[1]) На вопрос толпы, кто выбрал Временное Правительство, Милюков ответил: „Нас выбрала русская революция".

деленным лицам, которые могут ведь быть удалены или оставить свои посты...

В половине марта я был вызван на совещание к командующему 4-й армией генералу Рагозе. Участвовали генералы Гаврилов, Сычевский и начальник штаба Юнаков [1]). Отсутствовал граф Келлер, не признавший новой власти.

Нам прочли длинную телеграмму генерала Алексеева, полную беспросветного пессимизма, о начинающейся дезорганизации правительственного аппарата и развале армии; демагогическая деятельность Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, тяготевшая над волей и совестью Временного Правительства, полное бессилие последнего, вмешательство обоих органов в управление армией. В качестве противодействующего средства против развала армии намечалась... посылка государственно мыслящих делегатов из состава Думы и Совета Рабочих и Солдатских Депутатов на фронт для убеждения...

На всех телеграмма произвела одинаковое впечатление. Ставка выпустила из своих рук управление армией. Между тем, грозный окрик верховного командования, поддержанный сохранившей в первые две недели дисциплину и повиновение армией, быть может, мог поставить на место переоценивавший свое значение Совет, не допустить „демократизации" армии и оказать соответственное давление на весь ход политических событий, не нося характера ни контрреволюции, ни военной диктатуры. Лояльность командного состава и полное отсутствие с его стороны активного противодействия разрушительной политике Петрограда превзошли все ожидания революционной демократии.

Корниловское выступление запоздало...

Мы составили сообща ответную телеграмму, предлагая решительные меры против чужого вмешательства в военное управление.

18 марта я получил приказание немедленно отправиться в Петроград к военному министру. Быстро собравшись, я выехал в ту же ночь и, пользуясь сложной комбинацией повозок, автомобилей и железных дорог, на 6-ой день прибыл в столицу.

По пути, проезжая через штабы Лечицкого, Каледина, Брусилова, встречая много лиц военных и причастных к армии, я слышал все одни и те же горькие жалобы, все одну и ту же просьбу:

— Скажите им, что они губят армию...

Телеграмма не давала никакого намека на цель моего вызова.

---

[1]) Впоследствии — начальник штаба Петлюры.

Полная, волнующая неизвестность, всевозможные догадки и предположения.

Только в Киеве слова пробегавшего мимо газетчика поразили меня своей полной неожиданностью:

„Последние новости... Назначение генерала Деникина начальником штаба верховного главнокомандующего“...

Впечатление от Петрограда в конце марта 1917 года [1]).

Перед своим отречением император подписал два указа о назначении председателем совета министров кн. Львова и верховным главнокомандующим в. кн. Николая Николаевича. „В связи с общим отношением к династии Романовых“, как говорили петроградские официозы, а в действительности, из опасения Совета Рабочих и Солдатских Депутатов попыток военного переворота, в. кн. Николаю Николаевичу 9 марта было сообщено Временным Правительством о нежелательности его оставления в должности верховного главнокомандующего.

Министр-председатель князь Львов писал: „Создавшееся положение делает неизбежным оставление вами этого поста. Народное мнение решительно и настойчиво высказывается против занятия членами дома Романовых каких-либо государственных должностей. Временное Правительство не считает себя в праве оставаться безучастным к голосу народа, пренебрежение которым могло бы привести к самым серьезным осложнениям. Временное Правительство убеждено, что вы, во имя родины, пойдете навстречу требованиям положения и сложите с себя еще до приезда вашего в ставку звание верховного главнокомандующего“.

Письмо это застало великого князя уже в ставке, и он, глубоко обиженный, немедленно сдал командование генералу Алексееву, ответив правительству: „Рад вновь доказать мою любовь к родине, в чем Россия до сих пор не сомневалась“..

Возник огромной важности вопрос о заместителе... Ставка волновалась, ходили всевозможные слухи, но ко дню моего проезда через Могилев ничего определенного не было еще известно.

23-го я явился к военному министру Гучкову, с которым раньше никогда не приходилось встречаться.

От него я узнал, что правительство решило назначить верховным главнокомандующим генерала М. В. Алексеева. Вначале вышло разногласие: Родзянко и другие были против него. Родзянко предлагал Брусилова... Теперь окончательно решили вопрос в пользу Алексеева. Но, считая его человеком мягкого характера, правительство сочло необходимым

[1]) Глава VII первого тома. *Ред.*

подпереть верховного главнокомандующего боевым генералом в роли начальника штаба. Остановились на мне, с тем, чтобы, пока я не войду в курс работы, временно оставался в должности начальника штаба генерал Клембовский, бывший тогда помощником Алексеева [1]).

Несколько подготовленный к такому предложению отделом „вести и слухи" киевской газетки, я все же был и взволнован, и несколько даже подавлен теми широчайшими перспективами работы, которые открылись так неожиданно, и той огромной нравственной ответственностью, которая была сопряжена с назначением. Долго и искренно я отказывался от него, приводя достаточно серьезные мотивы: вся служба моя прошла в строю и строевых штабах: всю войну я командовал дивизией и корпусом и к этой боевой и строевой деятельности чувствовал призвание и большое влечение; с вопросами политики, государственной обороны и администрации в таком огромном, государственном масштабе не сталкивался никогда... Назначение имело еще одну не совсем приятную сторону: как оказывается, Гучков объяснил генералу Алексееву откровенно мотивы моего назначения и от имени Временного Правительства поставил вопрос об этом назначении до некоторой степени ультимативно.

Создалось большое осложнение: навязанный начальник штаба, да еще с такой не слишком приятной мотивировкой...

Но возражения мои не подействовали. Я выговорил себе, однако, право, прежде, чем принять окончательное решение, переговорить откровенно с ген. Алексеевым.

Между прочим военный министр во время моего посещения вручил мне длинные списки командующего генералитета до начальников дивизий включительно, предложив сделать отметки против фамилии каждого известного мне генерала об его годности или негодности к командованию. Таких листов с пометками, сделанными неизвестными мне лицами, пользовавшимися, очевидно, доверием министра, было у него несколько экземпляров. А позднее, после объезда Гучковым фронта, я видел эти списки, превратившиеся в широкие простыни с 10—12 графами.

В служебном кабинете министра я встретил своего товарища генерала Крымова [2]) и вместе с ним присутствовал

---

[1]) Генерал Клембовский был назначен на эту должность генералом Гурко во время исправления им должности начальника штаба верховного главнокомандующего, когда Алексеев был болен.

[2]) Генерал Крымов — начальник Уссурийской дивизии, потом командир 3 конного корпуса, сыгравший такую видную роль в корниловском выступлении. До революции — один из инициаторов предполагавшегося дворцового переворота.

при докладе помощников военного министра[1]). Вопросы текущие, не интересные. Ушли с Крымовым в соседнюю пустую комнату. Разговорились откровенно.

— Ради бога, Антон Иванович, не отказывайся от должности, — это совершенно необходимо.

Он поделился со мною впечатлениями.

К политическому положению Крымов отнесся крайне пессимистически:

— Ничего ровно из этого не выйдет. Разве можно при таких условиях вести дело, когда правительству шагу не дают ступить совдеп и разнузданная солдатня? Я предлагал им в два дня расчистить Петроград одной дивизией,— конечно, не без кровопролития... Ни за что: Гучков не согласен. Львов за голову хватается: „Помилуйте, это вызвало бы такие потрясения". Будет хуже. На-днях уезжаю к своему корпусу: не стоит терять связи с войсками, только на них и надежда,—до сих пор корпус сохранился в полном порядке; может быть, удастся поддержать его настроение.

Четыре года я не видел Петрограда. Но теперь странное и тягостное чувсто вызывала столица... начиная с разгромленной гостинницы „Астория", где я остановился, и где в вестибюле дежурил караул грубых и распущенных гвардейских матросов; улицы такие же суетливые, но грязные и переполненные новыми господами положения, в защитных шинелях, — далекими от боевой страды, углубляющими и спасающими революцию. От кого?.. Я много читал раньше о том восторженном настроении, которое якобы царило в Петрограде, и не нашел его нигде. Министры и правители, с бледными лицами, вялыми движениями, измученные бессонными ночами и бесконечными речами в заседаниях, советах, комитетах, делегациях, представителям, толпе... Искусственный подъем, бодрящая, взвинчивающая настроение, опостылевшая, вероятно, самому себе фраза и... тревога, глубокая тревога в сердце. И никакой практической работы: министры по существу не имели ни времени, ни возможности хоть несколько сосредоточиться и заняться текущими делами своих ведомств; и заведенная бюрократическая машина, скрипя и хромая, продолжала кое-как работать старыми частями и с новым приводом...

Рядовое офицерство, несколько растерянное и подавленное, чувствовало себя пасынками революции и никак не могло взять надлежащий тон с солдатской массой. А наверхах, в особенности, среди генерального штаба, появился уже новый тип оппортуниста, слегка демагога, игравший

[1]) Филатьев, Новицкий, Маниковский и сенатор Гарин.

на слабых струнках Совета и нового правящего класса, старавшийся угождением инстинктам толпы стать ей близким, нужным и на фоне революционного безвременья открыть себе неограниченные возможности военно-общественной карьеры.

Следует, однако, признать, что в то время еще военная среда оказалась достаточно здоровой, ибо, не взирая на все разрушающие эксперименты, которые над ней производили, не дала пищи этим росткам. Все лица подобного типа, как, например, молодые помощники военного министра Керенского, а также генералы Брусилов, Черемисов, Бонч Бруевич, Верховский, адмирал Максимов и др., не смогли укрепить своего влияния и положения среди офицерства.

Наконец, петроградский гражданин — в самом широком смысле этого слова—отнюдь не ликовал. Первый пыл остыл и на смену явилась некоторая озабоченность и неуверенность.

Повторяю, что и тогда уже, в конце марта, в Петрограде чувствовалось, что слишком долго идет пасхальный перезвон, вместо того, чтобы сразу ударить в набат. Только два человека из всех, с которыми мне пришлось беседовать, не делали себе никаких иллюзий:

Крымов и Корнилов.

С Корниловым я беседовал в доме военного министра, за обедом — единственное время отдыха его в течение дня. Корнилов,—усталый, угрюмый и довольно пессимистически настроенный, — рассказывал много о состоянии петроградского гарнизона и своих взаимоотношениях с Советом. То обаяние, которым он пользовался в армии, здесь—в нездоровой атмосфере столицы, среди деморализованных войск—поблекло. Подойти к их психологии боевому генералу было трудно. И если часто ему удавалось личным презрением опасности, смелостью, метким, образным словом овладеть толпой в образе воинской части, то бывали случаи и другие, когда войска не выходили из казарм для встречи своего главнокомандующего, подымали свист, срывали георгиевский флажок с его автомобиля (финляндский гвардейский полк).

Общее политическое положение Корнилов определял так же, как и Крымов: отсутствие власти у правительства и неизбежность жестокой расчистки Петрограда. В одном они расходились: Корнилов упрямо надеялся еще, что ему удастся подчинить своему влиянию большую часть петроградского гарнизона,—надежда, как известно, не сбывшаяся.

Ген. А. ЛУКОМСКИЙ.

Из воспоминаний [1]).

Первые месяцы революции.

25 февраля/10 марта (1917 г.) была получена из Петрограда телеграмма от военного министра генерала Беляева, что на заводах в Петрограде объявлена забастовка, и что среди рабочих на почве недостатка в столице продуктов начинаются беспорядки.

В телеграмме добавлено было, что меры к прекращению беспорядков приняты и что ничего серьезного нет.

В тот же день была получена вторая телеграмма от генерала Беляева, в которой сообщалось, что рабочие на улицах поют революционные песни, выкидывают красные флаги и что движение разрастается. Заканчивалась телеграмма указанием, что к 26 февраля/11 марта беспорядки будут прекращены.

26 февраля/11 марта генерал Беляев и главный начальник Петроградского военного округа генерал Хабалов уже

---

1) „Архив Русской Революции", том II. Берлин, 1922 г.

В предисловии к воспоминаниям ген. Лукомский дает о себе следующие сведения:

„С ноября 1916 года по апрель 1917 года я был генерал-квартирмейстером верховного главнокомандующего. На этой должности я в ставке был свидетелем всех событий начала революции.

В апреле 1917 года я принял I-й армейский корпус, а с 3 июня 1917 года я был начальником штаба при верховных главнокомандующих Брусилове и Корнилове.

После так называемого „корниловского выступления" я, совместно с Корниловым, Деникиным и другими, был арестован и сидел в Быховской тюрьме.

19 ноября/2 декабря 1917 года, вместе с другими арестованными, бежал на Дон.

Во время гражданской войны я был начальником штаба у генерала Корнилова, а при генерале Деникине был начальником военного управления, помощником главнокомандующего и, с июня 1918 года по январь 1919 года, был председателем особого совещания, исполнявшего функции правительства.

В период генерала Врангеля я был его представителем при союзном командовании в Константинополе".

доносили, что некоторые из войсковых частей, вызванных для прекращения беспорядков, отказываются употреблять оружие против толпы и переходят на сторону бунтующих рабочих и черни, которая начинает присоединяться к рабочим.

Генерал Беляев продолжал успокаивать, сообщая, что все меры для прекращения беспорядков приняты и что он уверен, что они будут подавлены.

Генерал Хабалов сообщал более тревожные данные и просил о присылке подкреплений, указывая на ненадежность петроградского гарнизона.

Председатель Государственной Думы М. В. Родзянко прислал очень тревожную телеграмму, указывая, что начинаются в войсках аресты офицеров, что войска переходят на сторону рабочих и черни, что положение крайне серьезно и что необходима присылка в Петроград надежных частей.

Генерал Алексеев, после доклада государю императору, послал телеграммы главнокомандующим северного и западного фронтов с указанием немедленно приготовить для отправки в Петроград по одной бригаде пехоты с артиллерией и по одной бригаде конницы [1]).

Было указано во главе отправляемых бригад поставить энергичных генералов.

26 февраля/11 марта вечером и утром 27 февраля/12 марта были получены телеграммы от председателя Государственной Думы на имя государя императора, в которых в очень мрачных красках описывалось происходящее в Петрограде и указывалось, что единственный способ прервать революцию и водворить порядок — это немедленно уволить в отставку всех министров, объявить манифестом, что кабинет министров будет ответствен перед Государственной Думой и поручить сформирование нового кабинета министров какому-либо лицу, пользующемуся доверием общественного мнения.

Генерал Алексеев доложил эти телеграммы государю, который приказал вызвать генерал-адъютанта Н. И. Иванова [2]) и поручить ему отправиться в Петроград и принять руководство подавлением мятежа.

Приказано было с генералом Ивановым послать какую-нибудь надежную часть.

Генерал Алексеев вызвал генерала Иванова, передал ему приказание государя и сказал, что вместе с ним из Могилева будет отправлен георгиевский батальон.

---

[1]) По воле Временного Правительства этот бравый генерал и оказался, как известно, первым „революционным“ главковерхом. *Ред.*

[2]) Жил в Могилеве.

Насколько еще не придавалось серьезного значения происходящему в Петрограде, показывает, что с отправкой войск с северного и западного фронтов не торопились, а было приказано лишь „подготовить“ войска к отправке.

Что касается генерала Иванова, то и он, повидимому, считал, что все закончится скоро и мирно, так как поручил своему адъютанту купить в Могилеве провизию, которую собирался отвезти своим знакомым в Петроград.

27 февраля/12 марта, около двенадцати часов, генерала Алексеева вызвал к прямому проводу великий князь Михаил Александрович.

Великий князь сообщил генералу Алексееву те же данные, которые были изложены в телеграммах председателя Государственной Думы, и просил начальника штаба верховного главнокомандующего немедленно доложить государю, что и он считает единственным выходом из создавшегося положения — срочно распустить нынешний состав совета министров, объявить о согласии создать ответственное перед Государственной Думой правительство и поручить сформировать новый кабинет министров или председателю всероссийского земского союза князю Львову, или председателю Государственной Думы Родзянко.

Генерал Алексеев пошел с докладом к государю императору.

Государь выслушал и сказал начальнику штаба, чтобы он передал великому князю, что государь его благодарит за совет, но что он сам знает, как надо поступить.

Вслед за этим была получена новая телеграмма — от председателя совета министров.

Князь Голицын, указывая, что события принимают катастрофический оборот, умолял государя немедленно уволить в отставку весь состав министров. Он указывал, что вообще существующий состав министров теперь оставаться у власти не может, а нахождение в его составе Протопопова вызывает общее негодование и возмущение; что он считает единственно возможным спасти положение и даже спасти династию — только тем, что государь немедленно пойдет на уступки общественному мнению и поручит составить новый кабинет министров, ответственный перед законодательными палатами, или князю Львову или Родзянко.

Генерал Алексеев хотел эту телеграмму послать с офицером для передачи ее государю через дежурного флигель-адъютанта.

Но я сказал генералу Алексееву, что положение слишком серьезно и надо ему итти самому; что, по моему мнению, мы здесь не отдаем себе достаточного отчета в том,

что делается в Петрограде; что, повидимому, единственный выход — это поступить так, как рекомендуют Родзянко, великий князь и князь Голицын; что он, генерал Алексеев, должен уговорить государя.

Генерал Алексеев пошел

Вернувшись минут через десять, генерал Алексеев сказал, что государь остался очень недоволен содержанием телеграммы кн. Голицына и сказал, что сам составит ответ.

— Но вы пробовали уговорить государя согласиться на просьбу председателя совета министров? Вы сказали, что и вы разделяете ту же точку зрения?

— Государь со мной просто не хотел и говорить. Я чувствую себя совсем плохо и сейчас прилягу. Если государь пришлет какой-нибудь ответ, — сейчас же придите мне сказать.

Действительно у генерала Алексеева температура была более 39 градусов.

Часа через два ко мне в кабинет прибежал дежурный офицер и сказал, что в наше помещение идет государь.

Я пошел навстречу.

Спускаясь с лестницы, я увидел государя уже на первой площадке.

Его величество спросил меня:

— Где генерал Алексеев?

— Он у себя в комнате; чувствует себя плохо и прилег. Прошу вас, ваше императорское величество, пройти в ваш кабинет, а я сейчас позову генерала Алексеева.

— Нет, не надо. Сейчас же передайте генералу Алексееву эту телеграмму и скажите, что я прошу ее немедленно передать по прямому проводу. При этом скажите, что это мое окончательное решение, которое я не изменю, а поэтому бесполезно мне докладывать еще что-либо по этому вопросу.

Передав мне, как теперь помню, сложенный пополам синий телеграфный бланк, государь ушел.

Я понес телеграмму начальнику штаба. Телеграмма была написана карандашом собственноручно государем и адресована председателю совета министров.

В телеграмме было сказано, что государь при создавшейся обстановке не допускает возможности производить какие-либо перемены в составе совета министров, а лишь требует принятия самых решительных мер для подавления революционного движения и бунта среди некоторых войсковых частей петроградского гарнизона.

Затем государь указывает, что он предоставляет временно председателю совета министров диктаторские права

по управлению в империи вне района, подчиненного верховному главнокомандующему, а что, кроме того, в Петроград для подавления восстания и установления порядка командируется с диктаторскими полномочиями генерал-адъютант Иванов.

Получалось в Петрограде два диктатора.

Я вновь просил генерала Алексеева итти к государю и умолять изменить решение; указать, что согласиться на просьбу, изложенную в трех аналогичных телеграммах, необходимо.

После некоторых колебаний начальник штаба пошел к государю.

Вернувшись сказал, что государь решения не меняет.

Телеграмма была послана.

Потом в ставке говорили, что, после получения телеграммы от председателя совета министров, государь больше часа говорил по телефону.

Особый телефон соединял Могилев с Царским Селом и с Петроградом.

Так как председателю совета министров государем императором была послана телеграмма, то все были уверены, что государь говорил с императрицей, бывшей в это время в Царском Селе.

До вечера из Петрограда было получено еще несколько телеграмм, указывавших, что положение становится все более и более серьезным.

Главнокомандующему северным фронтом было послано приказание немедленно по подготовке частей, предназначаемых к отправлению в Петроград, их послать по назначению.

Часов в 9 вечера, когда я сидел в своем кабинете, кто-то ко мне постучался, и затем вошел дворцовый комендант генерал Воейков.

Дворцовый комендант сказал мне, что государь приказал немедленно подать литерные поезда [1]) и доложить, когда они будут готовы; что государь хочет сейчас же, как будут готовы поезда, ехать в Царское Село; при чем он хочет выехать из Могилева не позже 11 часов вечера.

Я ответил, что подать поезда к 11 ч. вечера можно, но отправить их раньше 6 ч. утра невозможно по техническим условиям: надо приготовить свободный пропуск по всему пути и всюду разослать телеграммы.

Затем я сказал генералу Воейкову, что решение государя ехать в Царское Село может повести к катастрофи-

---

[1]) Литерными поездами назывались два поезда, всегда отправлявшиеся один за другим при царских поездках. В одном из поездов ехал государь.

ческим последствиям, что, по моему мнению, государю необходимо оставаться в Могилеве; что связь между штабом и государем будет потеряна, если произойдет задержка в пути; что мы ничего определенного не знаем, что делается в Петрограде и Царском Селе, и что ехать государю в Царское Село опасно.

Генерал Воейков мне ответил, что принятого решения государь не изменит, и просил срочно отдать необходимые распоряжения.

Я дал по телефону необходимые указания начальнику военных сообщений и пошел к генералу Алексееву, который уже лег спать.

Разбудив его, я опять стал настаивать, чтобы он немедленно пошел к государю и отговорил его от поездки в Царское Село.

Я сказал, что если государь не желает итти ни на какие уступки, то я понял бы, если б он решил немедленно ехать в особую армию (в которую входили все гвардейские части), на которую можно вполне положиться; но ехать в Царское Село — это может закончиться катастрофой.

Генерал Алексеев оделся и пошел к государю.

Он пробыл у государя довольно долго и, вернувшись, сказал, что его величество страшно беспокоится за императрицу и за детей, и решил ехать в Царское Село.

В первом часу ночи государь проехал в поезд, который отошел в 6 часов утра 28 февраля/13 марта.

Утром 28 февраля/13 марта была получена телеграмма от председателя Государственной Думы, в которой сообщалось, что революция в Петрограде в полном разгаре, что все правительственные органы перестали функционировать, что министры толпой арестовываются, что чернь начинает завладевать положением и что Комитет Государственной Думы, дабы предотвратить истребление офицеров и администрации и успокоить разгоревшиеся страсти, решил принять правительственные функции на себя; во главе Комитета остается он — председатель Государственной Думы.

С этого момента Комитет Государственной Думы принял на себя, так сказать, управление революционным движением.

Но, параллельно с Комитетом Государственной Думы, образовался в Петрограде „Совет Рабочих и Солдатских Депутатов“, который фактически влиял на решения этого Комитета.

Поезд государя дошел до станции „Дно“, но дальше его не пропустили — под предлогом, что испорчен мост.

Государь хотел проехать через Бологое по Николаевской железной дороге, но не пустили и туда.

Создалось ужасное положение: связь ставки с государем потеряна, а государя явно не желают, по указанию из Петрограда, пропускать в Царское Село.

Наконец, государь решил ехать в Псков.

В Псков государь прибыл к вечеру 1/14 марта.

Что собственно побудило государя направиться в Псков, где находился штаб главнокомандующего северного фронта генерала Рузского, а не вернуться в ставку в Могилев?

Объясняют это тем, что в бытность в Могилеве при начале революции он не чувствовал твердой опоры в своем начальнике штаба генерале Алексееве и решил ехать к армии на северный фронт, где надеялся найти более твердую опору в лице генерала Рузского.

Возможно, конечно, и это, но возможно и то, что государь, стремясь скорей соединиться со своей семьей, хотел оставаться временно где-либо по близости к Царскому Селу, и таким пунктом, где можно было иметь хорошую связь со ставкой и с Царским Селом, был именно Псков, где находился штаб северного фронта.

Между тем, отправившийся из Могилева в Петроград с георгиевским батальоном генерал Иванов благополучно 28 февраля/13 марта прибыл в Царское Село. Поезд его никем задержан не был. По прибытии в Царское Село генерал Иванов, вместо того, чтобы сейчас же высадить батальон и начать действовать решительно, приказал батальону не высаживаться, а послал за начальником гарнизона и комендантом города.

В местных частях войск уже начиналось брожение и образовались комитеты; но серьезных выступлений еще не было. Кроме того, некоторые части, как конвой его величества, так и собственный его величества пехотный полк, были еще в массе своей верными присяге.

Слух о прибытии эшелона войск с фронта вызвал в революционно-настроенных частях смущение; никто не знал, что направляется еще за этим эшелоном.

Но скоро стало известным, что ничего, кроме этого единственного эшелона, с фронта не ожидается.

Оставление георгиевского батальона в поезде и нерешительные действия генерала Иванова сразу изменили картину.

К вокзалу стали прибывать запасные части, квартировавшие в Царском Селе, и начали занимать выходы с вокзальной площади и окружать поезд с прибывшим эшелоном.

Местные власти были совершенно растеряны и докладывали генералу Иванову, что они надеются поддержать по-

рядок в Царском Селе; что высадку и какие-либо действия георгиевского батальона они считают опасными.

Если батальон высадится, то произойдет неизбежное столкновение с местными войсками, порядок будет нарушен, и царской семье будет угрожать опасность. Советовали генералу Иванову отправиться обратно.

С подобными же советами и указаниями к генералу Иванову стали прибывать различные лица и из Петрограда.

После некоторых колебаний генерал Иванов согласился, чтобы его эшелон отправили на станцию Дно.

Таким образом, из командировки генерала Иванова в Царское Село и Петроград с диктаторскими полномочиями ничего, кроме скандала, не получилось.

После отъезда государя из ставки, в течение 28 февраля/13 марта и 1/14 марта события в Петрограде развертывались с чрезвычайной быстротой.

В ставке мы получали из Петрограда одну телеграмму за другой, которые рисовали полный разгар революционного движения, переход почти всех войск на сторону революционеров, убийства офицеров и чинов полиции, бунт и убийства офицеров в Балтийском флоте, аресты всех мало-мальски видных чинов администрации.

Волнения начинались в Москве и других крупных центрах, где были расположены запасные батальоны.

Пехотные части, отправленные с северного фронта в Петроград, в Луге были встречены делегатами от местных запасных частей, стали сдавать свои винтовки и объявили, что против своих драться не будут.

От председателя Государственной Думы получались телеграммы, в которых указывалось, что против государя в Петрограде страшное возбуждение и что теперь уже совершенно недостаточно произвести смену министерства и образовать новое, ответственное перед Государственной Думой, а ставится вполне определенно вопрос об отречении государя от престола; что это единственный выход из положения, так как в противном случае анархия охватит всю страну, и неизбежен конец войны с Германией.

В частности, относительно Петрограда указывалось, что только отречение государя от престола может предотвратить почти поголовное избиение офицеров гарнизона и во флоте и разрушение центральных административных аппаратов.

М. В. Родзянко телеграфировал, что посылка войск с фронта ни к каким результатам не приведет, так как войска будут переходить на сторону революционных масс и анархия будет только увеличиваться.

Положение было действительно трудное.

С самого начала, главным образом, вследствие успокоительных телеграмм, получавшихся от военного министра генерала Беляева, не были приняты решительные и достаточные меры для подавления революционного движения, а к 1/14 марта пожар разгорелся настолько сильно, что потушить его было не легко.

Выход, конечно, был.

Это немедленный отъезд государя в район особой армии и отправка в Петроград и Москву сильных и вполне надежных отрядов.

Революционное движение и в этот период потушить было еще возможно.

Но какой ценой?

Представлялось совершенно неоспоримым, что посылка небольших частей из районов северного и западного фронтов никакого результата не даст.

Для того же, чтобы сорганизовать вполне достаточные и надежные отряды, требовалось дней 10—12 (пришлось бы некоторые дивизии снимать с фронта). За этот же период весь тыл был бы охвачен революцией, и наверно начались бы беспорядки и в некоторых войсковых частях на фронте.

Получалась уверенность, что пришлось бы вести борьбу и на фронте и с тылом. А это было совершенно невозможно.

Следовательно, решение подавить революцию силою оружия, залив кровью Петроград и Москву, не только грозило прекращением на фронте борьбы с врагом, а было бы единственно возможным только именно с прекращением борьбы, с заключением позорного сепаратного мира.

Последнее же было так ужасно, что представлялось неизбежным сделать все возможное для мирного прекращения революции — лишь бы борьба с врагом на фронте не прекращалась.

Кроме того, было совершенно ясно, что если б государь решил, во что бы то ни стало, побороть революцию силою оружия и это привело к прекращению борьбы с Германией и Австро-Венгрией, то не только наши союзники никогда этого не простили бы России, но и общественное мнение России этого не простило бы государю.

Это могло бы временно приостановить революцию, но она, конечно, вспыхнула бы с новой силой в самое ближайшее время, — вероятно, в период демобилизации армии, — и смела бы не только правительство, но и династию.

Утром 1/14 марта от председателя Государственной Думы получена была телеграмма, что в Псков, куда выехал со станции „Дно“ государь император, отправляется

депутация от имени Комитета Государственной Думы в составе А. И. Гучкова и В. В. Шульгина, что им поручено осветить государю всю обстановку и высказать, что единственным решением для прекращения революции и возможности продолжать войну является отречение государя от престола, передача его наследнику цесаревичу и назначение регентом великого князя Михаила Александровича.

Главнокомандующий северным фронтом генерал Рузский, с которым об этом уже переговорил М. В. Родзянко, обратился к начальнику штаба верховного главнокомандующего с просьбой высказать по этому вопросу свое заключение и дать ему данные — как к этому вопросу относятся все главнокомандующие фронтов.

Генерал Рузский заявил, что он должен знать всю обстановку к приезду во Псков государя императора.

Он сказал, что государю, вероятно, будет недостаточно выслушать мнение только его, генерала Рузского; хотя он лично и думает, что вряд ли есть какой-либо иной выход из создавшегося положения, кроме того, который будет предложен государю выехавшей из Петрограда депутацией, но ему необходимо точно знать, как на это смотрит начальник штаба верховного главнокомандующего и другие главнокомандующие фронтов.

Генерал Рузский закончил заявлением, что, так как у государя утеряна в данное время связь с армией, то начальник его штаба, на основании Положения о полевом управлении войск, фактически вступил в исполнение обязанностей верховного главнокомандующего и поэтому должен, с точки зрения боевой, дать оценку происходящим событиям.

Генерал Алексеев поручил мне составить телеграмму главнокомандующим фронтов с подробным изложением всего происходящего в Петрограде, с указанием о том, что ставится вопрос об отречении государя от престола в пользу наследника цесаревича с назначением регентом великого князя Михаила Александровича, и с просьбой, чтобы главнокомандующие срочно сообщили по последнему вопросу свое мнение.

Телеграмма была подписана генералом Алексеевым и по прямому проводу передана всем главнокомандующим.

Через несколько времени меня вызвал к прямому проводу главнокомандующий западного фронта генерал Эверт и сказал, что он свое заключение даст лишь после того, как выскажутся генералы Рузский и Брусилов.

Так как мнение генерала Рузского о том, что другого выхода, повидимому, нет, кроме отречения от престола государя императора, было известно, то это мнение главнокомандующего северного фронта я и сообщил генералу

Эверту, сказав, что заключение генерала Брусилова будет ему сообщено.

Вслед за этим из штаба юго-западного фронта передали телеграмму генерала Брусилова, который сообщил, что, по его мнению, обстановка указывает на необходимость государю императору отречься от престола.

Мнение генерала Брусилова было передано генералу Эверту, и он ответил, что, как ему ни тяжело это сказать, но и он принужден присоединиться к мнениям, высказанным генералами Рузским и Брусиловым.

Затем была получена из Тифлиса копия телеграммы великого князя Николая Николаевича, адресованной на имя государя.

Великий князь докладывал государю, что, как это ни ответственно перед богом и родиной, но он вынужден признать, что единственным выходом для спасения России и династии и для возможности продолжать войну является отречение государя от престола в пользу наследника.

Главнокомандующий румынского фронта генерал Сахаров долго не отвечал на посланную ему телеграмму и требовал, чтобы ему были сообщены заключения всех главнокомандующих.

После посланных ему мнений главнокомандующих он прислал свое заключение.

В первой части своей телеграммы, отзываясь очень резко об образовавшемся Комитете Государственной Думе, называя его шайкой разбойников, захвативших в свои руки власть, он указывает, что их надо просто разогнать.

Во второй части телеграммы он говорит, что то, что сказал, подсказывает ему сердце, но разум принужден признать необходимость отречения от престола.

Все заключения главнокомандующих были переданы генералу Рузскому, при чем и генерал Алексеев высказался за отречение государя в пользу наследника

После приезда государя в Псков генерал Рузский доложил ему все телеграммы.

Поздно вечером 1/14 марта генерал Рузский прислал телеграмму, что государь приказал составить проект манифеста об отречении от престола в пользу наследника с назначением великого князя Михаила Александровича регентом.

Государь приказал проект составленного манифеста передать по прямому проводу генералу Рузскому.

О полученном распоряжении я доложил генералу Алексееву, и он поручил мне, совместно с начальником дипломатической части в ставке г. Базили, срочно составить проект манифеста.

Я вызвал г-на Базили, и мы с ним, вооружившись Сводом Законов Российской Империи, приступили к составлению проекта манифеста.

Затем составленный проект был доложен генералу Алексееву и передан по прямому проводу генералу Рузскому.

По приказанию генерала Алексеева, после передачи проекта манифеста в Псков, об этом было сообщено в Петроград председателю Государственной Думы.

От М. В. Родзянко после этого была получена довольно неясная телеграмма, заставившая думать, что и эта уступка со стороны государя может оказаться недостаточной.

2/15 марта, после разговора с А. И. Гучковым и В. В. Шульгиным, государь хотел подписать манифест об отречении от престола в пользу наследника.

Но, как мне впоследствии передавал генерал Рузский, в последнюю минуту, уже взяв для подписи перо, государь спросил, обращаясь к Гучкову, можно ли будет ему жить в Крыму.

Гучков ответил, что это невозможно; что государю нужно будет немедленно уехать за границу.

„А могу ли я тогда взять с собой наследника?"—спросил государь.

Гучков ответил, что и этого нельзя; что новый государь при регенте должен оставаться в России.

Государь тогда сказал, что ради пользы родины он готов на какие угодно жертвы, но расстаться с сыном—это выше его сил: что на это он согласиться не может.

После этого государь решил отречься от престола и за себя и за наследника, а престол передать своему брату Михаилу Александровичу.

На этом было решено, и переделанный манифест был государем подписан [1]).

Перед отречением от престола государь подписал указ об увольнении в отставку прежнего состава совета министров и о назначении председателем совета министров князя Львова.

---

[1]) В стенограмме доклада В. В. Шульгина Комитету Государственной Думы о результате поездки его и Гучкова к государю, об окончательном решении государя отречься в пользу брата излагается не так.

В стенограмме сказано:

„Когда Гучков кончил, заговорил царь. Его голос и манеры были гораздо спокойней и деловитей. Совершенно спокойно, как о самом обыкновенном деле, он сказал: „Я вчера и сегодня целый день обдумывал и принял решение отречься от престола. До трех часов дня я готов был пойти на отречение в пользу моего сына, но затем я понял, что расстаться с моим сыном я неспособен". Тут он сделал очень короткую остановку и продолжал: „Вы это, надеюсь, поймете. Поэтому я решил отречься в пользу брата."

Приказом по армии и флоту и указом правительствующему сенату верховным главнокомандующим государь назначил в. кн. Николая Николаевича.

Все это с курьером было послано в ставку для немедленного распубликования.

Получив телеграмму о том, что государь отрекся от престола в пользу в. кн. Михаила Александровича, в ставке стало ясно, что на этом дело не кончится.

Во-первых, по основным законам о престолонаследии, царь мог отречься только за себя; за своего наследника он отречься от престола не мог.

Во-вторых, приходящие отрывочные и недостаточно ясные телеграммы указывали, что отречение государя вряд ли удовлетворит довлеющий над комитетом Государственной Думы Совет Рабочих и Солдатских Депутатов.

В-третьих, было крайне сомнительным, чтобы Михаил Александрович, по свойствам своего характера, согласился в такую минуту стать императором.

И действительно, из Петрограда была получена телеграмма, что в. кн. Михаил Александрович со своей стороны отрекается от престола.

Председатель Государственной Думы прислал телеграмму, что надо задержать приказ, объявляющий о вступлении на престол в. кн. Михаила Александровича, чтобы не произошло путаницы.

На фронты были посланы подробные разъяснения происходивших событий.

3/16 марта государь вернулся из Пскова в Могилев.

Настроение в ставке было подавленное.

Никто не верил, что новое Временное Правительство, формируемое в Петрограде, с князем Львовым во главе, окажется на должной высоте.

Чувствовалось, что пройден только первый этап революции; что Государственная Дума, до некоторой степени руководившая ходом событий до отречения государя от престола и по почину которой было образовано Временное Правительство, начинает отстраняться, затмеваться новым органом, создавшимся в виде Совета Рабочих и Солдатских Депутатов; чувствовалось, что этот новый орган прежде всего враждебен армии [1]) и вряд ли с образованием Временного Правительства откажется от желания производить дальнейшее углубление революции.

---

[1]) Это, конечно, неправда. К армии у Совета никогда никакой вражды не было. Была лишь вполне справедливая вражда к контр-революционно настроенной части командного состава. Именно об этой „армии“ идет речь ген. Лукомского. *Ред.*

Этот Совет с первых же дней революции посылал на фронт агитаторов, возбуждавших солдат против офицеров и требовавших создания во всех частях войск комитетов, которые захватили бы в свои руки власть.

Началось брожение и в войсковых частях, бывших в Могилеве.

Генералом Алексеевым были посланы телеграммы главнокомандующим фронтами с требованием срочно командировать на узловые станции надежные войсковые части, образовать при них военно-полевые суды и затем, вылавливая агитаторов из поездов, тут же предавать их военно-полевому суду.

Узнав об этом распоряжении генерала Алексеева, Временное Правительство потребовало его отмены[1]).

Желая водворить порядок в Петрограде, еще в период формирования Временного Правительства председатель Государственной Думы просил генерала Алексеева срочно командировать в Петроград на должность главного начальника Петроградского военного округа командира 25 армейского корпуса генерала Корнилова.

Генерал Корнилов был вызван по телеграмме и через несколько дней проехал в Петроград.

На другой день после приезда государя из Пскова, из Киева в Могилев приехала вдовствующая императрица Мария Феодоровна.

Императрица оставалась в Могилеве до отъезда государя в Царское Село.

Государь задерживал свой отъезд из Могилева, и это, повидимому, нервировало Петроград, так как оттуда несколько раз запрашивали о времени, когда государь решил уехать из ставки.

Задерживался ли государь из-за желания продлить свое свидание с матерью императрицей, или просто ему трудно и больно было окончательно решиться ехать в Царское Село и стать узником Временного Правительства — я не знаю; но что государь оттягивал свой отъезд — это верно.

Наконец, государь сказал генералу Алексееву, что он выезжает в Царское Село 8/21 марта.

Об этом была послана телеграмма в Петроград, и оттуда было отвечено, что для сопровождения государя до Царского Села 8/21 марта утром приедут несколько делегатов, командируемых от Временного Правительства.

---

[1]) Под давлением Петроградского Совета. *Ред.*

Перед своим отъездом из Могилева государь пожелал попрощаться со всеми чинами штаба.

По распоряжению генерала Алексеева, все чины штаба верховного главнокомандующего и представители конвоя были собраны в большой зале помещения дежурного генерала.

Государь вошел и, сделав общий поклон, обратился к нам с короткой речью, в которой сказал, что благо родины, необходимость предотвратить ужасы междуусобицы и гражданской войны, а также создать возможность напрячь все силы для продолжения борьбы на фронте — заставили его решиться отречься от престола в пользу своего брата в. кн. Михаила Александровича; но что в. кн. в свою очередь отрекся от престола.

Государь обратился к нам с призывом повиноваться Временному Правительству и приложить все усилия к тому, чтобы война с Германией и Австро-Венгрией продолжалась до победного конца.

Затем, пожелав всем всего лучшего и поцеловав генерала Алексеева, государь стал всех обходить, останавливаясь и разговаривая с некоторыми.

Напряжение было очень большое; некоторые не могли сдержаться и громко рыдали. У двух произошел истерический припадок. Несколько человек, во весь рост, рухнули в обморок.

Между прочим, один старик конвоец, стоявший близко от меня, сначала как-то странно застонал, затем у него начали капать из глаз крупные слезы, а затем, вскрикнув, он, не сгибаясь в коленях, во весь свой большой рост, упал навзничь на пол.

Государь не выдержал: оборвав свой обход, поклонился и, вытирая глаза, быстро вышел из зала.

Перед отъездом из Могилева государь подписал следующее обращение к войскам:

„В последний раз обращаюсь к вам, горячо любимые мною войска. После отречения за себя и за сына моего от престола Российского, власть передана Временному Правительству, по почину Государственной Думы возникшему.

Да поможет ему бог вести Россию по пути славы и благоденствия.

Да поможет бог вам, доблестные войска, отстоять нашу родину от злого врага. В продолжение двух с половиной лет вы несли ежечасно тяжелую боевую службу, много пролито крови, много сделано усилий, и уже близок час, когда Россия, связанная со своими доблестными союзниками одним общим стремлением к победе, сломит последнее

усилие противника. Эта небывалая война должна быть доведена до полной победы[1]).

Кто думает теперь о мире, кто желает его, — тот изменник отечеству, его предатель. Знаю, что каждый честный воин так мыслит. Исполняйте же ваш долг, защищайте доблестную нашу родину, повинуйтесь Временному Правительству, слушайтесь ваших начальников.

Помните, что всякое ослабление порядка службы только на руку врагу.

Твердо верю, что не угасла в ваших сердцах беспредельная любовь к нашей великой родине. Да благословит вас господь бог и да ведет вас к победе святой великомученик и победоносец Георгий".

„Николай".

Ставка, 8/21 марта, 1917 года.

Это обращение государя было немедленно передано во все штабы фронтов для сообщения в войска.

Впоследствии, как мне говорил генерал Алексеев, его упрекали из Петрограда за то, что он позволил себе передать в войска обращение уже отрекшегося от престола императора...

После того как государь с некоторыми лицами свиты сел в поезд, произошел совершенно не нужный и неприятный инцидент.

Г-да делегаты, присланные из Петрограда, по собственному ли почину, или по полученному указанию, произвели поверку всех едущих в поезде и некоторым из них объявили, что они должны выйти из поезда и в Царское Село им ехать не разрешается.

В числе этих лиц, изгоняемых из поезда, были: министр двора граф Фредерикс, дворцовый комендант Воейков и адмирал Нилов.

Все это делалось крайне резко и просто неприлично. Эти господа объявили, что они хозяева поезда и их распоряжения должны исполняться.

Было об этом доложено государю.

Государь махнул рукой и сказал тихим голосом: „Надо исполнить их требование. Пускай теперь делают, что хотят".

Поезд ушел.

---

[1]) „С легкой руки" Николая II этот „патриотический" лозунг сделался чрезвычайно популярным у всех его вольных и невольных душеприказчиков. Вокруг формулы „война до победного конца" объединились все контрреволюционные и оппортунистические элементы, ухватившись за нее, как за сильнейшее противоядие против революции, против ее дальнейшего развития и углубления. *Ред.*

Временным Правительством был обещан государю с семьей свободный выезд за границу.

К несчастью, в это время наследник и великие княжны были больны корью, и всей царской семье пришлось, в качестве арестованных, остаться в Царском Селе.

Но если б даже царская семья могла выехать за границу, то крайне сомнительно, чтобы это было допущено Петроградским Советом Рабочих и Солдатских Депутатов.

Это явствует из того, что, по требованию этого Совета, по указанию Временного Правительства, государь должен был ежедневно, при смене караулов, проходить мимо них, чтобы они видели, что он налицо, что он не сбежал.

Таким образом, государь уже с момента приезда в Царское Село находился под арестом, а в Совете Рабочих и Солдатских Депутатов уже поднимались голоса о необходимости суда над отрекшимся от престола императором.

Впоследствии, когда, вопреки обещанию Временного Правительства, царскую семью отправили не за границу, а, под предлогом вывезти из Царского Села в более безопасное место, повезли в ссылку в Сибирь, — стало ясно, что России не избежать позора расправы озверелых негодяев или наемных убийц с царской семьей.

Вдовствующая императрица уехала в Киев в день, когда государь отправился в Царское Село.

Если не ошибаюсь, 10/23 марта в Могилев приехал в. кн. Николай Николаевич.

Генерал Алексеев и я поехали с докладом в поезд в. князя.

В. князь нас принял и сказал, что он получил письмо от председателя Временного Правительства, в коем кн. Львов указывает, что в. князю по многим соображениям невозможно быть верховным главнокомандующим, и просит его в командование не вступать.

Вместо доклада, мне пришлось написать проект ответной телеграммы от в. князя председателю Временного Правительства о том, что должности верховного главнокомандующего в. князь принимать не будет.

А между тем в. кн. Николай Николаевич, пользовавшийся большой популярностью в армии, был единственный человек, который мог бы железной рукой поддержать дисциплину в армии, не допустить развала и довести войну до конца.

Но, естественно, в. князь представлялся опасным для „завоеваний революции", и недопущения его к занятию поста верховного главнокомандующего надо было ожидать.

Через несколько дней после отъезда в. кн. Николая Николаевича в Могилев приехали члены нового Временного Правительства.

На вокзале, кроме официально встречавших лиц от штаба верховного главнокомандующего, были представители городского самоуправления, состав образовавшегося в Могилеве Совета Рабочих Депутатов, незначительное количество публики и чины железнодорожной стражи.

Поезд подошел.

Генерал Алексеев пошел в министерский вагон. Прошло минут десять, и поочереди стали появляться члены нового правительства и, рекомендуясь (я — такой-то, министр юстиции) обращались к толпе с речью.

Это было и непривычно и просто смешно.

Кто-то из стоявших рядом со мной сказал: „совсем как выход на сцену царей в оперетке Belle Hélène“ [1]).

Верховным главнокомандующим был несколько позже назначен генерал Алексеев, а начальником штаба — генерал Деникин.

После образования Временного Правительства первый острый период революции прошел, и наступил второй, более длительный — период „углубления революции“.

Если он был менее бурный в тылу, то он постепенно становился все более и более бурным на фронте.

Агитация в войсках все более усиливалась.

Руководители ее, находясь в Петрограде в составе Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, а некоторые и в составе Временного Правительства, начали прилагать все усилия к тому, чтобы вытравить из армии все „старорежимные порядки“, а в первую голову — воинскую дисциплину, говоря, что ее надо заменить „сознательной, революционной дисциплиной“.

Как следствие этого, начали всюду образовываться комитеты, стремящиеся захватить власть в свои руки, дисциплина стала расшатываться, начались сначала единичные, а затем все более и более учащавшиеся случаи убийства офицеров и генералов.

Армия стала разваливаться.

Петроградский Совет Рабочих и Солдатских Депутатов выпустил и разослал по телеграфу во все армии приказ (под названием приказ № 1), который в корне подрывал дисциплину, лишая офицерский командный состав какой-либо власти над солдатами.

---

[1]) „Прекрасная Елена“. *Ред.*

В составлении этого приказа принимали участие генерального штаба генерал Потапов [1]) (назвавший себя „первым революционным генералом") и известный „сенатор" (был проведен в сенаторы Керенским) Соколов, впоследствии избитый солдатами, когда он их уговаривал слушать распоряжения Временного Правительства.

Временное Правительство отрицало свое участие в издании этого приказа, но попустительство было явное [2]), так как, во-первых, этот приказ был передан в армии по прямому проводу из управления генерального штаба, а, во-вторых, официальное заявление Временного Правительства о том, что этот приказ от него не исходит, несмотря на настояния генерала Алексеева, появилось с значительным запозданием, и в армиях приказ № 1 был принят как распоряжение правительства и послужил первым решительным толчком к развалу.

В Петрограде в военном министерстве с первых же дней революции выделилась группа молодых офицеров генерального штаба (прозванных „младотурками"), которые, желая выделиться и выдвинуться в период революции, начали проповедывать необходимость радикальной ломки „старых, отживших и нереволюционных" отношений между офицерами и солдатами; требовали введения всюду комиссаров и комитетов, уничтожения погон и проч.

И среди более пожилых, и в генеральских чинах, накануне ярых монархистов, появилось много убежденных республиканцев. Их прозвали „мартовскими эс-эрами".

При военном министерстве была образована особая комиссия для пересмотра уставов и положений и для выработки новых форм отношений между военнослужащими, на замену „старорежимных".

Комиссия эта работала в тесном контакте с Советом Рабочих и Солдатских Депутатов и подобострастно прислушивалась к требованиям, оттуда исходящим.

Председателем этой комиссии был назначен генерал Поливанов, который позорным потворством демагогическим требованиям некоторых членов этой комиссии способствовал развалу армии.

---

[1]) Потапова Лукомский приплетает сюда зря. Он, правда, повинен в кое-каких „преступлениях" против старорежимной дисциплины (см., напр., у Деникина), но в составлении приказа № 1 никакого участия не принимал. *Ред.*

[2]) Конечно, как это видно из воспоминаний Родзянко, Шидловского и др., обвинения в „попустительстве" совершенно не основательны. Для Вр. Правительства приказ № 1 был не менее неприятен, чем и для ген. Лукомского. Оно „честно" боролось против этого приказа, как и против других „эксцессов", как и против революции вообще. Но что же могло оно сделать, не имея у себя реальной силы? *Ред.*

Большинство этих „реорганизаторов“ не понимало, что во время войны нельзя производить таких опытов с армией, и бессознательно шло на поводу у тех, которые сознательно шли на развал дисциплинированной регулярной армии.

Новый военный министр А. И. Гучков говорил, что он примет все меры к поддержанию дисциплины в армии и будет пресекать все попытки к ее развалу.

Но первые же его шаги в качестве военного министра, предпринятые с целью освежения командного состава, были неудачны.

Среди старших начальников были действительно такие, которых надо было убрать; но военный министр принялся за это дело слишком решительно и довольно неосмотрительно.

Был составлен список всех старших начальствующих лиц от командующих армиями до начальников дивизий включительно, и затем г. Гучков предложил нескольким генералам, которым он доверял, поставить против всех помещенных в списке отметки о годности и негодности.

Затем, по соглашению с генералом Алексеевым, было уволено со службы свыше 100 генералов из числа занимавших высшие командные и административные должности.

Это в свою очередь вызвало колоссальное перемещение и на более низких должностях.

В этот период такую операцию производить было рисковано.

Затем г. Гучков ходом событий был увлечен на соглашательский путь с крайними элементами, и кончилось это тем, что, увидя полную свою беспомощность и неминуемую гибель армии, как регулярной силы, он отказался от поста военного министра[1]).

Донесения, поступавшие из армий, указывали, что все постепенно разваливается.

Хуже всего было, конечно, в тыловых частях, в различных тыловых и технических командах и во вновь сформированных дивизиях, в которых был менее прочный офицерский и унтер-офицерский кадр и которые были почти исключительно пополнены из запасных батальонов.

Думать о возможности скоро начать какие-либо активные действия на фронтах было трудно.

Надо было постараться снова прибрать расшатавшиеся части к рукам.

---

[1]) В действительности дело обстояло несколько иначе: не Гучков отказался, а Гучкова „отказали“ рабочие и солдаты Петрограда за явное „соглашательство“ с черносотенным генералитетом, жаждавшим обуздания революции. *Ред.*

Работать в ставке стало трудно и тяжело; чувствовалось полное бессилие задержать ход событий и остановить начавшийся развал армии.

В конце марта я обратился к генералу Алексееву с просьбой освободить меня от должности генерал-квартирмейстера и дать мне назначение в строй.

Я просил дать мне освобождавшийся XI-й армейский корпус. Но в этот же день от главнокомандующего юго-западным фронтом было получено представление о назначении командиром XI-го армейского корпуса другого генерала, и я был назначен командиром I-го арм. корпуса, бывшего на северном фронте.

В начале апреля я отправился к месту моего нового служения.

I-й арм. корпус в это время был отведен в резерв, и штаб корпуса находился в Везенберге.

С первых же дней моего командования я убедился, что придется быть не командиром корпуса, а „главноуговаривающим".

В хорошем виде еще были артиллерийские и инженерные части, в которых, вследствие меньшей убыли во время войны, было много кадровых офицеров и солдат. Дисциплина в этих частях еще держалась.

Что же касается всех трех пехотных дивизий, то они были на пути к полному развалу.

Я ежедневно получал донесения от начальников дивизий, рисовавших положение в самых мрачных красках, указывавших, что образовавшиеся в частях войск комитеты решительно во все вмешиваются; занятий части войск производить не хотели; дисциплинарную власть начальствующие лица применять не могли; комитеты стремились получить в свое распоряжение все экономические суммы частей войск.

Я ежедневно бывал то в одном то в другом полку.

Но кроме планомерных, намеченных мною разъездов по частям войск, мне приходилось почти ежедневно по просьбе то одного то другого из начальников дивизий ездить в полки, в которых возникали те или иные недоразумения.

Мне с большим трудом удавалось сохранить только внешнюю дисциплину в войсках.

Корпус был расквартирован на очень широком пространстве, примыкая на запад к реке Нарове.

Близость Петрограда давала себя чувствовать. Вся выходящая в Петрограде пропагандная литература, в виде всевозможных воззваний, листков и проч., уже на следующий день по выходе была в частях войск моего корпуса.

Почти ежедневно в войсках появлялись пропагандисты, отправляемые из Петрограда.

К концу апреля, с появлением в Петрограде Ленина, пропаганда еще усилилась.

Открытая пропаганда, которую вел Ленин в Петрограде и которой потворствовало Временное Правительство [1]), делала почти невозможным борьбу против нее в войсках.

15/28 мая я получил приказ подготовить корпус к отправке на фронт.

Сейчас же, как в войсках об этом узнали, стали ко мне поступать донесения начальников дивизий, что из полков поступают сведения о том, что солдаты, основываясь на якобы недостаточном для современного боя числе имеющихся в частях пулеметов и недостаточной подготовке к боевой работе недавно прибывших пополнений, заявляют, что раньше присылки двойного, против положенного, числа пулеметов и должной подготовки присланных пополнений они на позицию стать не могут.

Но 1/14 июня началась посадка войск для отправки на фронт, и никаких серьезных недоразумений не произошло.

3/16 июня я получил из ставки, от начальника штаба верховного главнокомандующего генерала Деникина, телеграмму, в которой он мне сообщает, что приказом Временного Правительства я назначен начальником штаба верховного главнокомандующего и мне надо немедленно выехать в Могилев.

Перед этим был получен приказ, что вместо генерала Алексеева верховным главнокомандующим назначен генерал Брусилов.

4/17 июня приехал мой заместитель, и я отправился в Могилев.

Явившись к новому верховному главнокомандующему, я в день моего приезда в Могилев принял от генерала Деникина должность начальника штаба. Генерал Деникин был назначен главнокомандующим западного фронта.

Настроение в ставке было тяжелое.

Новый верховный главнокомандующий генерал Брусилов принял сразу более чем недостойный заискивающий тон по отношению к Могилевскому Совету Рабочих и Солдатских Депутатов.

Этот Совет при генерале Алексееве действовал осторожно и не решался открыто предъявлять каких-либо требований к ставке.

---

[1]) Опять совершенно неосновательное обвинение. Единственно, чему всячески „потворствовало“ Вр. Правительство во главе с Керенским, это — контр-революционной работе Лукомских, Алексеевых, Деникиных и Корниловых. *Ред.*

Поведение генерала Брусилова сразу придало смелости членам Совета, и к верховному главнокомандующему от него поступили определенные требования принять меры к уничтожению „контр-революционного гнезда“ в ставке.

Генерал Брусилов несколько раз собирал у себя членов этого совета, беседовал с ними и заявил, что он сам не допустит в ставке проявления контр-революционного движения и что если у Совета имеются какие-либо конкретные данные, то он просит их ему дать. На основании же голословных обвинений он никого из служащих в ставке удалять не может.

Те обещали представить материал, вполне изобличающий чинов ставки в контр-революционных намерениях и поступках, но так ничего и не представили.

Приехавшему в ставку новому военному министру Керенскому была представлена полная картина того развала, который происходит в армии.

Хотя он и соглашался с необходимостью принять меры для восстановления дисциплины, но категорически высказался против восстановления смертной казни [1]), отмененной в начале революции.

Все еще Временному Правительству, находившемуся под влиянием Петроградского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, мерещилась контр-революция, и оно боялось вернуть командному составу прежнюю власть [2]).

Стремление иметь всюду свой глаз и свое ухо выразилось в насаждении всюду политических комиссаров.

Выбор этих комиссаров часто был очень неудачен.

Помню, как Керенский представлял генералу Брусилову, если не ошибаюсь, капитана Калинина (или Калнина), назначенного комиссаром на западный фронт.

Генерал Брусилов, поздоровавшись с новым комиссаром, спросил его, где он начал службу.

— В такой-то конной батарее.

— Долго ли вы в ней служили?

— Немного больше года.

— А после конной батареи, где протекала ваша служба?

Довольно продолжительное молчание, а затем ответ: нигде.

— Т.-е. как так нигде? я не понимаю. Где же вы были после конной батареи?

— Я был обвинен в политическом преступлении и находился в Сибири в тюрьме, а затем в ссылке.

---

[1]) Впоследствии он, как известно, согласился и с этим. *Ред.*

[2]) В действительности Временное Правительство менее всего боялось контр-революции; если последняя „мерещилась“ ему, то лишь как спасительница от так называемой „анархии“. *Ред.*

— А! но как же вы теперь капитан?

— После революции я, как бывший политический, был из ссылки возвращен и, в сравнение со сверстниками, произведен в капитаны.

Генерал Брусилов ничего не нашелся сказать.

И вот таких „опытных“ политических деятелей Временное Правительство назначало комиссарами!

Что они могли делать иное, как не продолжать развал армии?

Отношение членов временного правительства к явно вредным и преступным элементам видно хотя бы из следующих примеров.

Как-то мне доложили, что в поезде, прибывшем на станцию Могилев из Петрограда, едет какой-то прапорщик, который всю дорогу вел самую возмутительную пропаганду и раздавал в поезде большевистскую литературу, и что этот прапорщик едет на юго-западный фронт.

Я по телефону приказал задержать поезд, арестовать этого прапорщика, произвести дознание и обыск в купэ, в котором он находился.

Дознание подтвердило все, что было мне сообщено, а арестованный прапорщик оказался Крыленко, впоследствии первый верховный главнокомандующий (главковерх) у большевиков.

Он вез целый тюк листовок самого возмутительного содержания.

При обыске у Крыленко оказался „мандат“ от Петроградского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов

Я доложил Брусилову, и было решено Крыленко отправить в штаб юго-западного фронта (там находилась его часть) с предписанием немедленно предать его суду[1]).

В Петроград же было по телеграфу сообщено об этом аресте, чтобы обратить внимание на деятельность Совета Рабочих и Солдатских Депутатов.

Результат получился совершенно неожиданный.

Военное министерство потребовало присылки Крыленко в Петроград; там же, вероятно, под давлением Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, без всякого суда его выпустили на свободу.

Другой случай касается некоего штабс-капитана Муравьева, впоследствии командовавшего у большевиков армией,

---

[1]) Чрезвычайно характерный инцидент, показывающий, насколько прочно чувствовали себя „старорежимные“ генералы, совершенно не считавшиеся ни с революционными завоеваниями, ни с революционными учреждениями. Можно себе представить, как действовали эти господа во „вверенных“ им частях, если даже уполномоченных Совета не стеснялись отдавать за „возмутительную агитацию“ под суд, как будто никакой революции не было. *Ред.*

взявшего Киев и зверски расправившегося там с офицерами.

Этот Муравьев явился в ставку с письмом из военного министерства, в котором просилось отнестись благосклонно к проекту этого господина.

Явившись ко мне, Муравьев доложил, что вследствие развала на фронте теперь начинают там формировать особые ударные части, которые своим примером должны будут увлечь других и, конечно, при будущем наступлении сыграют крупную роль; что и в тылу формируются женские ударные части; но что все это недостаточно, что он решил ходатайствовать об утверждении устава особого общества, которому было бы предоставлено право немедленно приступить к широкому формированию ударных батальонов как на фронте, так и в тылу.

Помимо того, что явно каторжный вид этого Муравьева не внушал никакого доверия, я принципиально не считал правильным допустить какую-то организацию из неизвестных лиц к такой работе.

Кроме того, я считал, что на фронте есть только определенные начальники, и существование, параллельно с ними, какой-то самостоятельной организации невозможно.

Я это высказал Муравьеву.

Он просил разрешения представиться генералу Брусилову, о чем, как он сказал, просит и военный министр

Я сказал, что доложу главнокомандующему.

Генерал Брусилов решил принять Муравьева, но согласился с моим мнением и обещал определенно отказать в его просьбе.

На другой день Муравьев вновь ко мне явился и сказал, что генерал Брусилов дал свое согласие на утверждение устава и даже подписал какое-то удостоверение на имя Муравьева.

Я пошел к генералу Брусилову. Оказалось, что он лишь сказал Муравьеву, что он не будет возражать против организации формирования ударных частей в тылу.

Я стал доказывать, что и это невозможно, что они нам наформируют такие части, которые окончательно погубят фронт.

Генерал Брусилов, в конце концов, со мной согласился и приказал в этом духе написать в Петроград.

В Петроград было написано, но переписка по этому вопросу тянулась еще долго, и Муравьеву военным министерством и впоследствии поручались различные работы.

Много пришлось возиться с вопросом о формировании украинских частей.

Приезжавший в ставку Петлюра [1]) добивался получения разрешения формировать отдельную Украинскую армию.

В этом отношении Временное Правительство поддержало ставку, и было разрешено только постепенно украинизировать несколько корпусов на юго-западном и румынском фронтах, отнюдь не перемещая офицеров.

Генерал Брусилов отлично понимал, что политика, которую проводило Временное Правительство по отношению к армии, ее губила.

Но неправильный тон, им принятый с самого начала, не давал ему возможности резко изменить линию своего поведения.

Он постепенно, путем разговоров с наезжавшим в ставку Керенским и путем подачи записок, старался добиться восстановления прежней власти командного персонала.

Между тем, союзники настаивали на начале активных действий на нашем фронте.

С другой стороны, теплилась надежда, что, может быть, начало успешных боев изменит психологию массы, и возможно будет начальникам вновь подобрать вырванные из их рук вожжи.

На успех надеялись вследствие сосредоточения на фронте значительной артиллерии и считали, что, может быть, при поддержке могущественного артиллерийского огня части пойдут вперед, а победа даст и все остальное [2]).

Наступление было намечено на всех фронтах.

Наиболее сильный удар намечался на юго-западном фронте.

Дабы подбодрить войска и влить в них „революционный порыв", г. Керенский отправился на юго-западный фронт.

После сильной артиллерийской подготовки, 18 июня/1 июля началось наступление, и первоначально успех был.

Но уже через несколько дней выяснилось, что многие части драться не хотят, начались самовольные уходы с позиций, неисполнение боевых приказов.

Частичный успех на фронте VIII-й армии делу не помог.

Прорыв фронта германцами несколько северней участка, где нами наносился главный удар, повлек за собой паническое отступление почти по всему юго-западному фронту.

Только применением суровых мер и массовыми расстрелами дезертиров удалось остановить, в конце концов, войска.

---

[1]) Небезызвестный украинский деятель.

[2]) „Все остальное"... это — контр-революционные планы черносотенного генералитета, мечтавшего о подбирании „вожжей", „жестокой чистке" Петрограда (см. у Деникина) и т. д. *Ред.*

Но при отступлении были потеряны большие артиллерийские склады и значительное количество артиллерии.

Наступление на западном фронте не дало никаких результатов: войска сначала заняли разрушенные артиллерийским огнем германские позиции, а затем отошли в исходное положение.

На северном фронте, все, в сущности говоря, ограничилось артиллерийским огнем.

На румынском фронте сначала был достигнут незначительный тактический успех, но затем мы перешли к обороне.

После неудачного июньского наступления и Временное Правительство поняло, что для поднятия дисциплины и восстановления боеспособности армии нужно принять решительные меры и вернуть престиж и власть командному составу.

Комиссары, бывшие на фронте, с своей стороны присоединили свои голоса к настойчивым требованиям командного состава.

Временное Правительство убедилось, что одними уговорами ничего не поделаешь.

Первым решительным в этом отношении шагом было назначение на пост главнокомандующего юго-западного фронта командующего VIII-й армией генерала Корнилова, проводившего взгляд, что только железная дисциплина может спасти армию.

Г. Керенский на словах соглашался с необходимостью принять решительные и суровые меры для спасения армии, но в действительности колебался и оттягивал разрешение этого вопроса.

Во всяком случае, Временное Правительство не считало возможным совершенно уничтожить комитеты и упразднить комиссаров.

Г. Савинков, который был на стороне более решительных действий для восстановления порядка в армии, также был лишь за ограничение круга деятельности комитетов, но не за их упразднение. Комиссаров он считал нужным сохранить.

В Петрограде 3/16 июля произошло выступление большевиков.

Большая часть петроградского гарнизона осталась на стороне правительства, и выступление большевиков не удалось[1]).

---

[1]) Утверждение явно вздорное: как известно, петроградский гарнизон либо принимал участие в выступлении, либо „в лучшем случае“ оставался нейтральным. *Ред.*

Но, к общему возмущению, Временное Правительство проявило себя после подавления большевистского выступления преступно слабым.

Ленину, которого можно было легко арестовать, дали возможность скрыться.

Арестованного Троцкого (Бронштейна), по приказанию Временного Правительства, из-под ареста освободили.

Предателей и изменников родины, работавших на германские деньги [1]), открыто требовавших прекращения войны и мира „без аннексий и контрибуций", не только не покарали со всей строгостью закона, но дело о них было фактически прекращено, и им предоставлена была возможность вновь начать в Петрограде и в армии их предательски разрушительную работу.

Столь странное и преступное перед родиной попустительство со стороны Временного Правительства по отношению к руководителям большевистского движения объясняется прежде всего слишком тесной связью Временного Правительства с Петроградским Советом Рабочих и Солдатских Депутатов (в числе членов правительства были и такие, как Чернов, члены этого Совета) и страхом перед ним.

А Совет Рабочих и Солдатских Депутатов в своей массе был настроен явно большевистски [2]).

После подавления большевистского выступления военное министерство несколько ускорило темп своей работы по выработке мер, связанных с восстановлением боеспособности армии.

В ставке также был приготовлен перечень мероприятий, без проведения коих в жизнь считалось невозможным сохранить армию, как боевую и дисциплинированную силу.

Первым пунктом в этом перечне было указано на необходимость восстановить смертную казнь в тылу.

Г. Керенский обратился к верховному главнокомандующему с предложением собрать в ставке военный совет, на который пригласить главнокомандующих фронтами и тех генералов, которых генерал Брусилов признает полезным выслушать на заседании. Собрание совета было назначено, если не ошибаюсь, на 18/31 июля.

---

[1]) Излюбленная клевета всех „патриотов", не брезгающих иностранной помощью для борьбы с своим народом, особенно популярна была в „июльские дни", когда были пущены в ход „документы", специально сфабрикованные известным проходимцемм г. Алексинским. *Ред.*

[2]) Это неверно. В июльские дни Совет в своем большинстве еще не был большевистским. Это создавало отрыв и Петроградского Совета и I Съезда Советов от рабочих и солдатских масс столицы, „в своей массе" действительно настроенных большевистски. *Ред.*

Кроме главнокомандующих фронтами, на этот совет генерал Брусилов пригласил генералов Алексеева, Рузского, Гурко и Драгомирова.

После мартовского переворота ген. Гурко был назначен главнокомандующим западного фронта вместо генерала Эверта, а генерал Драгомиров — главнокомандующим северного фронта вместо генерала Рузского.

Но оба они на своих местах долго не оставались.

На заседании, бывшем в Петрограде в зимнем дворце, они оба выступили с резкой критикой деятельности военного министерства и Временного Правительства, указывая, что эта деятельность ведет к гибели армии.

Вслед за этим был смещен генерал Гурко, а несколько позднее—генерал Драгомиров.

За два дня до заседания от г. Керенского был по телеграфу получен запрос о том, кого именно пригласил генерал Брусилов на заседание.

В ответной телеграмме был сообщен перечень приглашенных.

Вслед за этим г. Керенский прислал телеграмму, что он считает недопустимым присутствие на заседании генералов Гурко и Драгомирова; что, если они будут, то он, Керенский, на заседании не будет...

Этот факт очень характерен для оценки личности г. Керенского.

Мелочный, злобный, интересы дела ставивший ниже своего мелкого самолюбия и тщеславия.

Он знал отлично, что оба эти генерала были одними из лучших боевых генералов, выдвинутых войной. Но он также знал, что они оба прямолинейны и резки, и не хотел допустить их присутствия на заседании, дабы избежать резкой критики.

Генерал Брусилов приказал послать соответствующие телеграммы обоим генералам. Но было поздно, так как они уже выехали в Могилев. Пришлось, по приезде их в ставку, им объявить, что г. Керенский не хочет их видеть на заседании.

Накануне заседания генерал Брусилов был чем-то занят и отложил мой доклад до следующего дня.

На другой день, как всегда, в 9 часов утра я пришел к нему с докладом.

Только что начался доклад, как по телефону сообщили, что подходит экстренный поезд, в котором ехал г. Керенский.

Надо сказать, что после вступления на пост премьер-министра кн. Львова, Керенского в ставке еще не было; таким образом он появился в Могилеве в качестве пред-

седателя Временного Правительства впервые и, повидимому, ожидал торжественной встречи.

Генерал Брусилов спросил меня, как быть. Я ответил, что доклад у меня небольшой; но что если он задержится на вокзале, то не успеет прочитать всех необходимых для заседания материалов, которые я ему принес, и он к заседанию может оказаться недостаточно ориентированным.

Генерал Брусилов решил на вокзал не ехать, а послал встретить г. Керенского своего генерала для поручений, который должен был доложить, что верховный главнокомандующий извиняется, что не встретил, но что у него срочная работа, и он просит председателя Временного Правительства приехать на заседание к двум часам дня, т.-е. к часу, назначенному для заседания самим Керенским.

Окончив доклад, я прошел к себе.

Минут через десять прибегает взволнованный адъютант генерала Брусилова и говорит, что верховный главнокомандующий просит меня срочно притти к нему, так как надо ехать на вокзал.

Надев шашку, выхожу в переднюю и вижу генерала Брусилова, уже спускающегося с лестницы.

— В чем дело?

— Керенский прислал своего адъютанта сказать мне, что он ждет меня в вагоне и просит приехать немедленно. Поедем вместе.

Приезжаем на вокзал.

Адъютант Керенского пошел докладывать и через несколько минут вернулся и сказал, что председатель Временного Правительства нас ожидает.

Входим в салон-вагон.

Г. Керенский, небрежно развалившись, сидит на диване.

При нашем входе, едва приподнявшись, здоровается и, обращаясь к ген. Брусилову, говорит: „Генерал, доложите о том, что делается на фронте . . .“ Ген. Брусилов делает краткий доклад.

Г. Керенский выслушал и, сказав, что будет на заседании в два часа дня, нас отпустил.

Впоследствии мне передавали, что г. Керенский, действительно ожидавший почетного караула и торжественной встречи, был страшно обозлен и возмущен тем, что генерал Брусилов осмелился даже не приехать его встретить.

Возмущенно он в присутствии приехавших с ним заявил:

„При царе эти генералы не посмели бы себя так нагло держать. А теперь позволяют себе игнорировать председателя правительства! Я им покажу.“ И послал за ген. Брусиловым.

Из приглашенных на совет не приехал с фронта генерал Корнилов, приславший телеграмму, что боевая обстановка ему не позволяет покинуть фронт.

Заседание проходило под председательством генерала Брусилова.

На заседании очень сильную и яркую речь произнес генерал Деникин.

Речь была настолько резкая, что генерал Брусилов, перебив генерала Деникина, сказал: „нельзя ли короче и затрагивайте только вопросы, касающиеся поднятия боеспособности армии".

Генерал Деникин тогда заявил, что он просит или дать ему возможность высказаться полностью, или он ничего больше говорить не будет.

Генерал Брусилов попросил его продолжать.

Генерал Деникин подробно разобрал отношение Временного Правительства и, в частности, военного министерства к армии и офицерскому составу с момента революции, указав, что в развале армии в значительной степени виновно Временное Правительство; указал, что оно своим попустительством все время позволяло прессе и агентам большевиков оскорблять корпус офицеров, выставлять их какими-то наемниками, опричниками, врагами солдат и народа; что Временное Правительство своим несправедливым отношением к офицерам их превращает в каких-то париев.

Закончил свою речь генерал Деникин указанием, что те, которые сваливают всю вину в развале армии на большевиков, лгут; что прежде всего виноваты те, которые углубляли революцию, и „вы, г-н Керенский"; что большевики— только черви, которые завелись в ране, нанесенной армии другими.

После речи генерала Деникина Керенский встал и, обращаясь к нему, сказал: „Позвольте мне вас поблагодарить за откровенно и смело высказанное вами мнение".

Это было театрально, но . . . возразить ничего г. Керенский не сумел.

После генерала Деникина начал говорить ген. Рузский, указывая, что Временному Правительству нужно особенно беречь корпус офицеров, на котором всегда зиждилась и будет зиждиться мощь армии, что русские офицеры всегда были близки к солдатам, заботясь о них и разделяя с ними на походе и в бою все радости и горести; что Временное Правительство совершает ошибку, потворствуя преследованию офицеров в печати и на всевозможных митингах; что действия Временного Правительства могут повести к гибели корпуса офицеров . . .

Г. Керенский прервал генерала Рузского и в очень резкой форме стал говорить, что нападки на Временное Правительство несправедливы; что в развале армии виновны во многом генералы, саботирующие новый строй; генералы, которые при старом режиме не смели возражать, а теперь стараются дискредитировать власть [1].

Генерал Алексеев, который перед заседанием сказал мне лично, что он отведет душу и скажет всю правду истинным виновникам развала армии, после прерванной речи генерала Рузского сказал: „После того, что сказано генералами Деникиным и Рузским, я ничего добавить не могу. Я всецело присоединяюсь к тому, что они сказали“.

Заседание так и не выработало ничего конкретного.

Преседатель Временного Правительства вместе со своими спутниками уехал в Петроград в тот же день.

На другой день была получена из Петрограда телеграмма, что, согласно постановлению Временного Правительства, генерал Брусилов освобождается от должности верховного главнокомандующего, а на его место назначается главнокомандующий юго-западного фронта генерал Корнилов.

До приезда генерала Корнилова мне предлагалось вступить во временное исполнение должности верховного главнокомандующего.

---

[1]) В этом Керенский был, несомненно, прав. *Ред.*

М. И. СМИРНОВ.

(Бывш. начальник штаба части Черноморского флота.)

Адмирал А. В. Колчак во время революции в Черноморском флоте [1].

Настоящие мои воспоминания касаются одного из периодов деятельности А. В. Колчака — периода революции в Черноморском флоте.

Отличительными чертами А. В. Колчака были: прямота и откровенность характера, чистота убеждений, горячий патриотизм и доверие к сотрудникам. Презрение к личной опасности и ненависть к врагу выделяли его на войне среди окружающих. В отношении к подчиненным адмирал был строг, вспыльчив и в то же время бесконечно отзывчив. Он являлся кумиром молодых офицеров, старшие же не всегда его любили, т. к. системой его управления военными частями была требовательность и взыскательность по отношению к старшим начальникам и возложение на них ответственности за состояние их частей. Вспыльчивость его характера иногда переходила в резкость, не стесняясь положением лица, с которым он говорил.

Адмирал не принадлежал ни к каким политическим партиям и всей душой ненавидел партийность; он любил деловую работу и презирал демагогию. Он готов был работать со всяким, кто хотел и умел практически работать для пользы отечества и для достижения поставленной адмиралом цели [2].

А. В. Колчак был предан престолу и отечеству. Известие об отречении государя его крайне огорчило, и он считал, что отечество идет к гибели. Особенной ненавистью с его стороны пользовались социалисты-революционеры, он считал их опасным болезненным наростом на здоровом

---

[1]) „Историк и Современник". Историко-литературный сборник. Кн. IV. Берлин, 1923 г.

[2]) Это не помешало ему впоследствии „работать" некоторое время вместе с эсерами. Впрочем, у него были все основания к тому, ибо в дни Самарских и Уфимских учредилок эсеры весьма энергично способствовали „достижению поставленной адмиралом цели". *Ред.*

организме народа. Керенщину и Керенского он стал презирать после первого свидания с последним в начале революции.

В начале февраля я был вызван в Могилев, в штаб верховного главнокомандующего, для совещания по разработке оперативной директивы Черноморскому флоту. По пути в Могилев я остановился на два дня в Петрограде, где мне необходимо было переговорить в различных учреждениях морского министерства по вопросам, касающимся Черноморского флота.

В Петрограде и в Могилеве я был поражен ростом оппозиционного настроения по отношению к правительству, как среди петроградского общества, так и среди гвардейских офицеров и даже в ставке. Вернувшись в Севастополь. я доложил об этом адмиралу Колчаку, высказав мнение, что рост оппозиционного настроения мне представляется весьма опасным.

Главнокомандующий Кавказской армией в. кн. Николай Николаевич пригласил адмирала Колчака прибыть к 25 февраля ст. ст. в Батум для обсуждения вопросов, касающихся совместных действий армии и флота на Малоазийском побережьи. Адмирал вышел в Батум на эскадренном миноносце; я сопровождал его. После совещания с в. кн. мы были приглашены завтракать к нему в поезд, а затем вернулись на миноносец, где была получена шифрованная телеграмма из Петрограда от графа Капниста с надписью: „Адмиралу Колчаку, прошу расшифровать лично“.

Телеграмма гласила: „В Петрограде произошли крупные беспорядки, город в руках мятежников, гарнизон перешел на их сторону“.

Обсудив со мной содержание этой телеграммы, адмирал решил не сообщать о ней никому во флоте до получения более подробных сведений. Чтобы нежелательные слухи не проникли во флот и не произвели смятение умов, адмирал немедленно послал секретное телеграфное приказание коменданту Севастопольской крепости (комендант был подчинен командующему флотом) прекратить почтовое и телеграфное сообщение Крымского полуострова с остальной Россией и передавать только телеграммы и почту, адресованные командующему флотом и в его штаб [1]). Вечером адмирал и я обедали у в. кн. После обеда адмирал прошел в личный вагон в. кн. и наедине показал ему полученную телеграмму. В. кн. сказал, что он пока не получил никаких известий.

---

[1]) Как видим, Колчак и тогда отличался большой „решительностью“. *Ред.*

В тот же день ночью мы вышли в Севастополь, куда шли полным ходом. В Севастополе адмирал получил телеграмму от председателя Государственной Думы Родзянко, сообщавшую, что вследствие произведенного восставшими ареста членов правительства Государственная Дума образовала временный комитет, взявший на себя восстановление порядка в столице. Телеграмма заканчивалась призывом к флоту соблюдать спокойствие и продолжать боевую работу и выражала надежду, что все скоро войдет в нормальное русло.

Для выяснения обстановки я пошел на прямой телеграфный провод и вызвал к аппарату в Могилеве из ставки капитана 1 ранга Бубнова, как заведывающего в ставке делами Черноморского флота. Капитан Бубнов сообщил мне, что государь выехал в Царское Село, в ставке же обстановка не ясна, поэтому пока директив не дается. Я доложил об этом командующему флотом.

Адмирал собрал совещание старших начальников, которым сообщил полученные известия. Выслушав мнение присутствовавших, адмирал решил отдать приказ по флоту, в котором изложил полученные известия с призывом ко флоту, портам и населению районов, подчиненных командующему флотом, напрячь все силы для исполнения патриотического долга — успешного завершения войны, соблюдать спокойствие, верить начальникам, которые будут сообщать все полученные верные сведения, и не верить посторонним агитаторам, желающим произвести смуту, чтобы не допустить Россию до победы.

На совещании адмирал дал указание начальникам частей—сообщать подчиненным о ходе событий, чтобы известия о них приходили к командам от их начальников, а не со стороны, от смутьянов и агитаторов; при этом начальники должны разъяснять подчиненным смысл событий и влиять на них в духе патриотизма. Все важные сведения, получаемые в штабе флота, должны немедленно сообщаться старшим начальникам. Редактирование этих сведений и сообщение их дальше было возложено на мою обязанность. Прекращение почтовой и телеграфной связи Крымского полуострова с остальной Россией не могло быть полезно долгое время; наоборот, это могло внести подозрительность и дать почву для агитаторов; поэтому связь была снова восстановлена.

Опубликование первых известий не произвело заметного влияния на команды и на рабочих. Служба шла нормальным порядком, нигде никаких нарушений не происходило. Это явилось новым доказательством того, что революционной подготовки в районе Черного моря не было.

Через два дня пришли первые газеты из Петрограда и Москвы. Появилось много новых газет социалистического направления, призывавших к низвержению государственного строя и разложению дисциплины в армии и во флоте. Во мгновение ока настроение команд изменилось. Начались митинги. Из щелей выползли преступные агитаторы.

На лучшем линейном корабле „Императрица Екатерина II" матросы предъявили командиру требование убрать с корабля офицеров, имеющих немецкие фамилии, обвиняя их в шпионаже в пользу неприятеля. Мичман Фок, прекрасный молодой офицер, был дежурным по нижним помещениям корабля; ночью он обходил помещения и проверял дневальных у артиллерийских погребов. Матросы предъявили ему обвинение, будто он собирался взорвать корабль. Горячий молодой офицер счел себя оскорбленным и застрелился у себя в каюте. Узнав об этом, адмирал Колчак отправился на этот корабль, разъяснил команде глупость и преступность подобных слухов, в результате которых погиб молодой офицер, храбро сражавшийся в течение всей войны. Команда просила прощения и больше не поднимала вопроса об офицерах с немецкими фамилиями.

В тот же день адмирал приказал прислать в помещение Севастопольских казарм по два представителя от каждой роты с кораблей, береговых команд и гарнизона Севастопольской крепости. Этим представителям адмирал сказал речь, указав на необходимость поддержания дисциплины и продолжения войны до победного конца. Речь произвела желаемое впечатление, хотя один матрос пытался выступить с резкими возражениями, которые произвели тяжелое впечатление на адмирала.

По возвращении его на корабль, я доложил ему только что полученную телеграмму об убийстве матросами командующего Балтийским флотом вице-адмирала А. И. Непенина. Это известие еще ухудшило состояние духа А. В. Колчака, и он высказал мысль, что при таком настроении команд и крушении дисциплины нельзя продолжать вести войну, и он не может нести ответственности за боевые действия на море.

К вечеру с некоторых кораблей поступили известия, что настроение команд улучшается, команды заявляют о необходимости воевать и беспрекословно подчиняться офицерам. Казалось, что речь адмирала делегатам от команд оказала хорошее влияние.

Вскоре пришло известие об отречении государя от престола и его прощальный приказ армии и флоту, повелевающий повиноваться новому правительству. При этом произошел следующий случай. Я находился в телеграфной

каюте, когда принимали манифест об отречении государя императора Николая II; по окончании передачи манифеста следовали слова: „сейчас передадим вам манифест Михаила Александровича“, и в этот момент где-то на линии порвался провод. Сообщение было прервано на несколько дней. Через сутки известие об отречении государя стало проникать к командам. Создалось опасное положение, дававшее повод к обвинению, что начальство скрывает известие об отречении государя. Так как последние слова телеграфной передачи сообщали о манифесте Михаила Александровича, то адмирал Колчак решил отдать приказ о приведении команд к присяге на верность государю императору Михаилу Александровичу. На некоторых кораблях уже начали приводить к присяге, при чем присяга происходила без всяких осложнений. В это время было восстановлено действие прямого провода и получен манифест в. кн. Михаила Александровича, но об отречении от престола. Дальнейшее приведение к присяге было приостановлено,—это также не вызвало никаких внешних осложнений.

Итак, не было больше императора, а было Временное Правительство. Необходимо было решить, что делать офицерам. Манифест об отречении и прощальный приказ государя не только освобождали воинских чинов от присяги ему, но и повелевали служить новому правительству. В сознании морских офицеров твердо сидела мысль о необходимости довести войну до победного конца и остаться верными союзникам, с которыми мы были связаны кровными узами на поле брани. Некоторая, меньшая часть офицеров даже поддалась мысли, что Временное Правительство поведет войну более энергично, чем прежнее. Надо сказать, что последние составы правительства со Штюрмером и Протопоповым были крайне непопулярны. Вместе с тем падение дисциплины и сознание, что от офицеров фактически отпала возможность применения каких-либо мер принуждения по отношению к подчиненным, делали продолжение войны невозможным, если не совершится перемена к старому.

Мне, по должности флаг-капитана оперативной части, работавшему в реальной обстановке и постоянно занимавшемуся учетом имеемых сил и средств и соответствием их с боевыми задачами,—было особенно ясно, что чем дальше идет война, тем необходимо большее напряжение сил и средств, следовательно,—тем строже должна быть дисциплина и ответственность. Поэтому с первых дней революции и с падением дисциплины для меня было ясно, что войну вести нельзя и что она проиграна. Свое мнение я доложил командующему флотом. Адмирал мне ответил, что

он его разделяет, но считает своим долгом сделать последнюю попытку к оздоровлению команд, если же она не удастся, то сложить с себя командование флотом.

Психология морских офицеров в это время может быть обрисована следующим образом. Офицеры присягали и служили царю и отечеству. Царь отрекся от престола и повелел служить новому правительству. Царя больше не было, но оставалось отечество. Большинство офицеров флота считало, что без царя отечество погибнет[1]). Что оставалось делать? Могло быть два решения: одно — оставить свои корабли и должности и уйти. Было ясно, что при таком решении часть офицеров останется, но корабли потеряют боеспособность. Это отечества не спасет, а, наоборот, даст социалистам оружие для дальнейшей агитации и приблизит наступление анархии. Другое решение — оставаться и во имя родины исполнять служебный долг — противодействовать агитации и стараться влиять на команду, несмотря на сознание безнадежности этого.

Адмирал Колчак решил встать на второй путь. Сомнения в том, что офицеры за ним не пойдут, не было.

Сознавая громадную нравственную ответственность за флот и не считая возможным ее нести, если флот откажется исполнять боевые приказы, адмирал послал официальное письмо или телеграмму (точно не помню) верховному главнокомандующему и морскому министру, в котором донес, что он будет командовать флотом до тех пор, пока не наступит одно из следующих трех обстоятельств: 1) отказ какого-либо корабля выйти в море, или исполнить боевой приказ, 2) смещение с должности без согласия командующего флотом кого-либо из начальников отдельных частей, вследствие требования сверху или снизу, 3) арест подчиненными своего начальника.

В случае если наступит одно из этих трех обстоятельств, адмирал сложит с себя командование флотом и спустит свой флаг.

Дисциплинарная власть и меры принуждения по отношению к подчиненным от офицеров отпали. Совершилось это само собой, без всякого приказания, силой событий, в числе которых одним из главных был знаменитый приказ № 1 совета солдатских и рабочих депутатов. Было ясно, что еслибы офицер попробовал наложить дисциплинарное взыскание на матроса, то не было сил для приведения этого наказания в исполнение. Для поддержания хотя бы внеш-

---

[1]) Отмечаемая здесь автором реакционность командного состава Черноморского флота делает вполне понятным поведение матросов, о котором повествуется ниже. *Ред.*

него порядка необходимо было приложить все старания для усиления нравственного влияния офицеров на команду.

Адмирал приказал всем офицерам флота, Севастопольского порта и Севастопольской крепости собраться в морском собрании. Там А. В. Колчак произнес речь, в которой очертил офицерам положение, указал на падение дисциплины и на фактическую невозможность вернуть офицерам дисциплинарную власть. Но необходимо продолжать войну. В целях воздействия на команду и поддержания в ней патриотического духа адмирал призывал офицеров удвоить работу, теснее сплотиться с матросами, разъяснить им смысл событий и удерживать их от занятия политикой. После речи адмирала произнес речь командующий Черноморской (пехотной) дивизией майор Свечин. Он сказал, что вследствие отсутствия императорской власти долг патриота обязывает его исполнять приказания новой единой российской власти — Комитета Государственной Думы и что во имя блага родины офицеры не должны допустить проявления какой-либо другой государственной власти, стоящей рядом и не подчиненной первой. Поэтому, если образовавшийся в Петрограде совет солдатских и рабочих депутатов будет претендовать на власть, то он со своей дивизией пойдет в Петроград и разгонит совет. После генерала Свечина говорил начальник штаба его же дивизии, подполковник генерального штаба А. И. Верховский (впоследствии — военный министр в кабинете Керенского). Он очень витиевато говорил, что совершилось великое чудо — единение всех классов населения, что рабочий (!) — Керенский и помещик — князь Львов, стали рядом для спасения отечества, что совет солдатских и рабочих депутатов состоит из таких же русских патриотов, как и все мы и т. п.

Две эти речи были характерны, как выразители мировоззрений двух групп офицеров. Я наблюдал за впечатлениями каждой из этих групп. Свечину выражали одобрение кадровые офицеры, из которых состояло огромное большинство морских офицеров и—меньшинство сухопутных. Верховскому выражали одобрение офицеры военного времени. После речи Верховского появились на эстраде морского собрания матрос, солдат и рабочий и заявили, что они выбраны на митинге и уполномочены заявить офицерам, что матросы, солдаты и рабочие считают необходимым энергичное продолжение войны с неприятелем, что они будут повиноваться офицерам и соблюдать дисциплину [1]). Они про-

[1]) Это были, очевидно, депутаты одного из тех „патриотических" митингов, которые во множестве устраивались в первые месяцы революции кадетами и черной сотней при благосклонном содействии социал-оборонцев. *Ред.*

сят офицеров выбрать своих представителей и прибыть на совещание с выборными представителями матросов, солдат и рабочих для выработки мероприятий к поддержанию дисциплины. Речи этих трех человек были приветствуемы собравшимися и тут же были произведены выборы по одному офицеру от каждой части флота порта и крепости для переговоров с представителями команд и рабочих. К этому времени на площади перед морским собранием собралась большая толпа, состоящая преимущественно из матросов и солдат; толпа устроила шумную овацию адмиралу Колчаку и офицерам. Казалось, что некоторое, временное спокойствие и порядок установлены.

Представители офицеров и команд собрались на совещание. На нем было установлено, что применение дисциплинарной власти офицерами фактически невозможно, но все сознавали необходимость поддержания дисциплины и исполнения приказаний начальников.

Тут же было выработано положение о комитетах в морских и береговых частях, подчиненных командующему Черноморским флотом. На каждом корабле, в каждой береговой части флота, а также в каждом полку должен был быть избран комитет, в который офицеры выбирали своих представителей, а матросы и солдаты — своих. Задачами комитетов являлись: 1) поддержание дисциплины в частях, 2) заботы о продовольствии и обмундировании, 3) заботы о просвещении людей. Никакими оперативными и боевыми вопросами комитеты не имели права заниматься.

Постановления комитетов вступали в силу только после утверждения их командиром части. В случае неутверждения постановление передается для рассмотрения в Центральный Исполнительный Комитет Совета Депутатов Флота, Армии и Рабочих Черноморского флота и затем восходит до командующего флотом. Вышеуказанный Центральный Исполнительный Комитет занимается теми же вопросами, но в отношении всего флота его решения не приводятся в исполнение без утверждения командующим флотом.

Этот проект был представлен на утверждение адмирала Колчака и утвержден им. В разговоре со мной он высказал мнение, что утвердить проект необходимо, как временную меру, ибо в противном случае внезапно выросшая пропасть между офицерами и командой еще больше расширится. В то же время адмирал считал, что вести войну при постоянном существовании комитетов нельзя, и если не наступит такое событие, при котором возможно будет распустить комитеты и вернуть дисциплинарную власть офицерам, то продолжение войны будет невозможным.

На следующий день утром в Севастополь прибыл член Государственной Думы социал-демократ Туляков[1]). По его словам, он приехал, чтобы „устроить“ революцию в Черноморском флоте, так как до него дошли слухи, что Черноморский флот не признает Временного Правительства. Это был не „интеллигент“, а настоящий рабочий. Увиденный им порядок и спокойствие поразили его, и он объезжал все части и говорил патриотические речи, призывая матросов слушаться своих офицеров. Вскоре из Севастополя отправились в Петроград выбранные офицеры, матросы, солдаты и рабочие с целью заявить Временному Правительству о своей верности. Среди них были капитан 1 ранга Немитц и подполковник ген. штаба Верховский, — оба они мгновенно сделались „преданными революции“.

Через несколько дней адмирал Колчак вышел в море с частью флота; я сопровождал его. В море на кораблях все было в порядке, будто революции не было. Служба неслась исправно.

В судовые комитеты и в центральный комитет были выбраны лучшие, наиболее патриотичные люди из команды. Председателем центрального комитета был избран летчик, вольноопределяющийся Сафонов, — человек хорошо настроенный, стремившийся к порядку и к поддержанию дисциплины. Он обладал красноречием и хорошо влиял на остальных.

В первый период своего существования комитет действительно содействовал поддержанию порядка. Члены его вели пропаганду за продолжение войны, устраивали процессии с плакатами „Война до победы“, „Босфор и Дарданеллы России“ и т. п. Красных флагов в Севастополе не было поднято. С самого первого дня революции в городе были подняты национальные флаги, но почему-то перевернутые, т.-е. верхняя полоса была красной, а нижняя белой.

По возвращении депутации, ездившей в Петроград, выяснилось, что некоторые ее члены посетили не только Временное Правительство, но приветствовали и совет солдатских и рабочих депутатов. Вернувшись в Севастополь, они восхваляли этот совет.

Капитан 1 ранга Немитц побывал у военного и морского министра Гучкова. Из слов Немитца было видно. что Гучков принял какие-то решения относительно состава старших начальников в Черноморском флоте. Как я узнал впоследствии, Немитц говорил Гучкову, что адмирал Колчак пользуется большим влиянием и любовью во флоте, но

[1]) Меньшевик-оборонец. *Ред.*

остальные старшие начальники никуда не годятся и необходимо их сменить.

Действительно, почти одновременно с возвращением Немитца в Севастополь пришла телеграмма от Гучкова адмиралу Колчаку, в которой Гучков настойчиво просил заменить начальника штаба флота Погуляева другим офицером. Мотивировалось это тем, что оставление на ответственных должностях офицеров свиты невозможно и может вызвать нежелательные последствия. Адмирал ответил, что находит мотивы для смены Погуляева недостаточными. Тогда пришла вторая телеграмма от Гучкова с указанием, что в совете солдатских и рабочих депутатов имеются документы, делающие невозможным оставление Погуляева на ответственной должности. Адмирал Колчак принужден был согласиться на смену адмирала Погуляева и предложил мне принять должность начальника штаба.

С этого времени для меня началась тягостная работа. Ни о какой организации или боевой работе нечего было и думать. Флот постепенно разлагался. Постоянно днем и ночью приходили известия о непорядках в различных частях флота. Обычным приемом успокоения являлась посылка в часть, где происходят непорядки, дежурных членов центрального исполнительного комитета для „уговаривания“. Результаты обычно достигались благоприятные. Наиболее частая причина непорядков заключалась в желании матросов разделить между собой казенные деньги, или запасы обмундирования и провизии. Члены комитета в большинстве случаев действовали добросовестно. С каждым днем члены комитета заметно правели, но в то же время было очевидно падение их авторитета среди матросов и солдат, все более и более распускавшихся.

В середине марта министр Гучков вызвал адмирала Колчака в Петроград и затем в Псков на совещание главнокомандующих и командующих армиями, состоявшееся под председательством генерала Алексеева. В Петрограде адмирал был во время первой демонстрации гарнизона против Временного Правительства вследствие ноты Милюкова о целях войны. Во время демонстрации адмирал находился в заседании Временного Правительства, куда он был приглашен.

В Севастополь адмирал вернулся с убеждением, что российская армия уже тогда совершенно потеряла боеспособность, а Временное Правительство фактически не имеет никакой власти. Члены его бессильны и неспособны для управления государством. Особенно плохое впечатление у у него осталось о Керенском, которого адмирал коротко охарактеризовал: „болтливый гимназист“.

Немедленно по прибытии адмирал решил поделиться своими впечатлениями с офицерами и командой, с целью вызвать в них патриотический подъем. Адмирал произнес две речи, полных вдохновения, сжатых, ярких, заставлявших сердце сжиматься от ужасного положения, в котором находится Россия. Одну речь он произнес в морском собрании для офицеров, другую — в помещении цирка, куда были собраны представители команд. Позже эти речи были напечатаны московской городской думой в нескольких миллионах экземпляров и распространены по всей России.

Слова адмирала произвели громадное впечатление. Многие слушавшие рыдали. Команды решили выбрать из своей среды лучших людей в числе сначала 500 чел. (впоследствии дополненных еще 250 чел.) для посылки на фронт, чтобы воздействовать на солдат как словами, так и личным примером. Не знаю, имела ли существенное влияние на фронте „Черноморская делегация". Слышал только, что некоторые ее участники пали смертью храбрых в боях на суше.

Но на состояние Черноморского флота посылка этой делегации, сравнительно небольшой, отразилась очень плохо. Уехали лучшие, наиболее убежденные и патриотичные люди. Многие из них принадлежали к составу комитетов, где они успели втянуться в работу и поправеть. Пришлось произвести добавочные выборы в комитеты, после чего состав их значительно ухудшился. После отъезда делегации большевики обратили больше внимания на Черноморский флот и прислали своих специальных агентов-разлагателей, и разрушительная работа пошла ускоренным темпом. Хотя внешний порядок соблюдался, но чувствовалось, что все может внезапно сокрушиться.

Не помню точно, в какой день, но кажется 20 мая вечером, ко мне в каюту на „Георгие Победоносце" без доклада вошли матрос, солдат и рабочий, с краснобелыми повязками на рукаве, означавшими, что они принадлежат к центральному исполнительному комитету. Один из них показал мне письменное постановление комитета об аресте помощника по хозяйственной части капитана над Севастопольским портом генерал-майора Петрова и потребовал от меня отдачи приказания о производстве ареста. На вопрос о причинах такого желания комитета мне ответили, что ген. Петров отказался исполнить требование комитета о распределении запасов кожи между матросами. Я сказал, что не вижу причины для ареста, ибо за хозяйство порта несет ответственность ген. Петров и сложить ее, подчинившись требова-

ниям комитета, он не имеет права [1]). После этого прибывшие члены комитета потребовали в грубой форме провести их к командующему флотом. Я ответил, что адмирал не находится на корабле. На это один из них сказал: „Да что тут разговаривать, мы сами поедем к командующему флотом на квартиру".

Все трое вышли из моей каюты. Я сейчас же предупредил адмирала по телефону, что к нему едут эти три человека. Адмирал выслушал их доклад, отказался дать приказание об аресте ген. Петрова и прогнал их от себя. Затем адмирал вызвал к себе лейтенанта Левговта, члена комитета, и предложил ему воздействовать на комитет в смысле отмены решения.

Я же вызвал к себе одного матроса и одного рабочего, известных мне своим разумным влиянием на комитет, и просил их воздействовать на своих коллег. Вскоре мне сообщили по телефону, что комитет собрался для обсуждения вопроса, и после принятия решения несколько его членов прибудут к командующему флотом для доклада. Адмирал вызвал меня к себе на квартиру. Около полуночи к нему прибыли три члена комитета, во главе с лейт. Левговтом и вторично потребовали ареста ген. Петрова. Адмирал ответил, что он категорически не разрешает арестовать ген. Петрова, а Левговту указал на его поведение, как недостойное офицерского звания.

Через некоторое время после ухода от адмирала членов комитета было получено известие, что ген. Петров все же ими арестован.

До этого в Черноморском флоте не было ни одного случая ареста офицеров матросами. Адмирал сейчас же послал телеграмму председателю Временного Правительства князю Львову о том, что вследствие самочинных действий комитета он не может нести ответственность за Черноморский флот и просит отдать приказание о сдаче им должности командующего флотом следующему по старшинству флагману. Такая же телеграмма была послана верховному главнокомандующему ген. Алексееву.

На следующий день были получены две телеграммы: одна, адресованная центральному комитету; в ней приказывалось освободить ген. Петрова и сообщалось, что для разбора дела в Севастополь едет один из членов правительства; действия комитета были названы контр-революционными.

---

[1]) Причина ареста ген. Петрова изложена автором с излишней деликатностью. На самом же деле (См. Н. Авдеев. „Революция 1917 г. Т. II, стр. 168. Гиз. 1923) Ц. К. Севастопольского Совета арестовал старшего помощника капитана над портом ген.-майора Петрова, обвиняя его в содействии поставщику порта Дикенштейну, спекулировавшему кожами". *Ред.*

Телеграмма состояла из трескучих фраз, столь милых сердцам членов Временного Правительства. Другая телеграмма была адресована адмиралу Колчаку; в ней заключалась просьба остаться в должности и обещание Временного Правительства оказать содействие водворению порядка. Обе телеграммы были подписаны кн. Львовым и Керенским.

Генерал Петров был немедленно освобожден. Чувствовалось, что телеграммы Временного Правительства все же возымели действие на матросов, было заметно, что они присмирели и подтянулись. Я убежден, что если бы Временное Правительство в тот момент воспользовалось этим случаем и уничтожило бы комитеты или хотя бы сократило их компетенцию, то это было бы проведено в жизнь. Лучшие из матросов понимали, что дело так продолжаться не может и тяготились комитетами; если бы Временное Правительство выказало твердость, то эти лучшие элементы безусловно одержали бы верх над худшими. Но Временное Правительство было в руках Петроградского совета солдатских и рабочих депутатов, и действия его были парализованы.

Вскоре было получено известие, что в Севастополь через Одессу едет Керенский. Адмирал Колчак вышел на миноносце в Одессу, чтобы встретить Керенского и в пути настроить его на принятие решительных мер. Однако, Керенский не настроился.

По прибытии в Севастополь Керенский побывал на нескольких кораблях, здоровался за руку с матросами, стоящими в строю, говорил им много речей, призывая к продолжению войны и сохранению дисциплины во имя „защиты революции". Был в центральном исполнительном комитете, где, вместо того чтобы сократить его, он лишь похвалил членов комитета за исполнение распоряжения Временного Правительства об освобождении ген. Петрова.

Вечером в морском собрании Керенский произнес несколько речей собравшимся офицерам. Надо отдать справедливость, что его речи производили действие на матросов и, вообще, на людей мало развитых и неспособных к самостоятельному и логическому мышлению. Но это действие через короткое время исчезало, так как слушатель забывал содержание речи, потому что смысла в ней было мало,— был лишь фонтан трескучих фраз. На меня Керенский произвел впечатление неврастеника, человека неуравновешенного и увлеченного демагогией.

После отъезда Керенского наступило временное спокойствие, но чувствовалось, что оно кратковременно. Адмирал Колчак говорил, что связь и доверие между ним и командами пропали. Он выразился, что Керенский просил его и

комитет „забыть прошлое и поцеловаться, но ни он, ни комитет целоваться не склонны". Председатель комитета вольноопределяющийся Сафонов во время происшествия с ген. Петровым в Севастополе не был и вернулся туда уже после происшествия; возможно, что при нем комитет не встал бы на такой путь.

В начале июня в Севастополь прибыло несколько матросов балтийского флота с „мандатами" от центрального комитета балтийского флота. Вид у них был разбойничий — с лохматыми волосами, фуражками на бекрень, — все они почему-то носили темные очки. Было ясно, что это большевистские агенты. Они стали собирать митинги и открыто вести убийственную пропаганду. Содержание их речей было таково: „Товарищи-черноморцы, что вы сделали для революции? У вас всюду старый режим [1]), вами командует командующий флотом, бывший еще при царе! Вы слушаетесь офицеров! Ваши корабли ходят в море и подходят к неприятельским берегам, чтобы их аннексировать. Народ решил заключить мир без аннексий, а ваш командующий флотом посылает вас завоевывать неприятельские берега! Вот мы, балтийцы, послужили для революции, мы убили своего командующего флотом и многих офицеров!"

Вначале эта пропаганда не действовала, она казалась чрезмерно крайней. Члены черноморского комитета следили за прибывшими, не допускали их самостоятельно устраивать митинги и на митингах говорили речи против балтийских делегатов. Конечно, действительной мерой был бы арест их, но в нашем распоряжении не было силы, которая смогла бы произвести арест. Я неоднократно вызывал к себе членов Черноморского центрального комитета и убеждал их арестовать и выслать из Крыма балтийских делегатов. Члены комитета уверяли меня, что опасности нет, что матросы на митингах высмеивают их, и они скоро сами уедут. На деле оказалось не так.—Балтийские делегаты переменили тактику,—они сообщали комитету, что приедут на митинг, устроенный в определенном месте, сами же ехали в другое место, собирали толпу и там говорили преступные речи. Эта новая тактика имела полный успех. Через два-три дня положение круто изменилось, матросы окончательно развратились, и центральный комитет потерял всякое влияние на них.

8 июня во дворе Севастопольского флотского экипажа собрался митинг, на котором присутствовало тысяч 15 людей. Балтийские матросы агитировали и наэлектризовали толпу. Толпа требовала отобрания оружия от офицеров и

[1]) Это, как видно из предыдущего, вполне соответствовало истине. *Ред.*

ареста их. Вечером пришло известие, что на берегу начались аресты офицеров.

Адмирал Колчак решил сделать последнюю попытку повлиять на команды. Утром 9 июня он поехал в помещение цирка, где было назначено собрание делегатов команд. Адмирал намеревался воззвать к их патриотизму. Когда он взошел на возвышение, где сидели члены комитета, никто не встал. Затем адмирал сказал председателю, что желает обратиться к командам, но председатель ответил, что не может предоставить слова. Адмирал считал дальнейшее пребывание на собрании для себя унизительным и уехал на корабль.

Около 2 часов дня было получено известие, что на некоторых кораблях матросы отобрали от офицеров оружие, а через несколько времени была принята радиотелеграмма, что делегатское собрание приказывает судовым и полковым комитетам отобрать от офицеров оружие. Стало ясно, что центральный комитет и делегатское собрание плыли по течению и подчинялись требованиям митинга, бушевавшего в помещении экипажа. Это был первый случай пользования матросами радиотелеграфом без разрешения начальства.

Адмирал решил, что мер борьбы больше нет, так как на половине кораблей оружие уже отобрано, и сопротивление на остальных кораблях поведет только к убийству офицеров. Поэтому он дал радиотелеграмму кораблям, находившимся на Севастопольском рейде, приблизительно следующего содержания: „Мятежные матросы потребовали отобрания от офицеров оружия. Этим наносится оскорбление верным и доблестным сынам родины, три года сражавшимся с грозным врагом. Сопротивление невозможно, поэтому, во избежание кровопролития, предлагаю офицерам не сопротивляться“ (цитирую по памяти).

Затем адмирал приказал поставить команду „Георгия Победоносца“ во фронт и сказал ей вдохновенную, патриотическую речь, в которой указал гибельные для родины последствия поступков команд, разъяснил оскорбительность для офицеров отобрания от них оружия, сказал, что даже японцы не отобрали от него Георгиевское оружие после сдачи Порт-Артура, а они, русские люди, с которыми он делил тягости и опасности войны, наносят ему такое оскорбление. Но он своего оружия им не отдаст.

Прекрасная речь адмирала произвела мало впечатления на распропагандированных людей. Лучшие из числа служивших в штабе матросов рассказывали мне, что после речи адмирала матросы обсуждали ее, говоря: „чего он рассердился, зачем ему сабля, все равно она висит у него в шкафу, и он одевает ее только на парадах. Для парадов мы будем ее ему возвращать!“ И с такими людьми Керен-

ский и многие другие мечтали о какой-то „сознательной дисциплине“ без наказаний, не существующей нигде в мире!

Через некоторое время члены судового комитета „Георгия Победоносца“ пришли в каюту к адмиралу все же с требованием сдачи им оружия. Адмирал прогнал их из каюты, затем вышел на палубу и бросил свою саблю в море. После этого он вызвал к себе старшего из флагманов Лукина и сказал ему, что он передает ему командование флотом. Свой флаг командующего флотом он приказал спустить, согласно морского обычая, в полночь. А. В. Колчак послал телеграмму князю Львову, что вследствие происшедшего бунта он не считает возможным продолжать командование флотом и передает командование к.-адм. Лукину.

Вечером прибыла на корабль комиссия из 12 членов центрального исполнительного комитета и сообщила, что комитет постановил, что адмирал Колчак должен сдать должность командующего флотом, а я — должность начальника штаба, а комиссия должна присутствовать при передаче должностей. Адмирал сказал, что он уже сдал должность к.-адм. Лукину; я вызвал следующего по старшинству в штабе флаг-капитана распорядительной части капитана 1 ранга Зарина и передал ему должность начальника штаба. При передаче присутствовали члены комитета, — они искали каких-то контр-революционных документов. Конечно, в присутствии членов комитета я никаких оперативных секретов своему заместителю не рассказывал.

Вскоре после передачи должностей, адмиралом была получена телеграмма за подписями князя Львова и Керенского, смысл который был следующий:

1. Вице-адмиралу Колчаку и капитану 1 ранга Смирнову, допустившим явный бунт в Черноморском флоте, немедленно прибыть в Петроград для доклада Временному Правительству.

2. К.-адм. Лукину вступить во временное командование Черноморским флотом и восстановить порядок.

3. Для расследования обстоятельств бунта и наказания виновных назначается комиссия, выезжающая из Петрограда в Севастополь.

Адмирал считал себя оскорбленным содержанием телеграммы. Поставленное ему и мне пред лицом всей России обвинение в допущении бунта было явно нелепым и не свидетельствовало о сознании долга и чести лицами, подписавшими телеграмму. С самого начала революции Временное Правительство возглавило бунт и делало все от него зависящее, чтобы этот бунт „углубить“. Мы всеми мерами боролись против распространения этого бунта во вверен-

ных нам частях, но без поддержки со стороны правительства эта борьба была безуспешна.

В ту же ночь мы получили сведения, что многотысячный митинг, бушевавший на берегу, требовал ареста адмирала Колчака и моего, но там оказался один из наших сторонников — солдат Царскосельского гарнизона Киселев, человек огромного роста, внушительного вида, умевший говорить толпе. Видя, что на митинге страсти разгорелись, Киселев предложил передать вопрос об аресте на обсуждение делегатского собрания, которое заседало в это же время в цирке. Делегатское собрание постановило собрать на следующий день, когда страсти успокоются, представителей от всех судовых и полковых комитетов для решения вопроса о нашем аресте.

На другой день утром адмирал Колчак переехал на берег в свою квартиру, а я съехал с корабля в гостиницу Киста. К вечеру пришло известие, что собравшиеся представители комитетов большинством голосов решили нас не арестовывать.

Около полночи адмирал Колчак и я выехали в Петроград. На вокзале нас провожали главный командир Севастопольского порта вице-адмирал Васильковский и многие офицеры флота, устроившие адмиралу при отходе поезда овацию. Один из провожавших крикнул: „Мужество и доблесть, сознание долга и чести во все времена служили украшением народов. Ура!“

Адмирал был в крайне подавленном настроении духа. В вагоне он мне сказал, что обвинение, поставленное ему Временным Правительством, его глубоко оскорбило, что ему тяжко сознание, что он, которому было вверено командование флотом, смещен по требованию взбунтовавшихся матросов, что он не может примириться с мыслью, что не будет принимать активного участия в великой войне, от исхода которой зависит все будущее России. Я старался успокоить адмирала; мне самому было тяжело за Россию, но Временное Правительство я глубоко презирал.

В том же поезде, в котором мы ехали, ехал также в отдельном вагоне американский адмирал Глэкон, прибывший накануне в Севастополь с целью переговорить с адмиралом Колчаком о возможном содействии нам со стороны американского флота, который мог бы быть послан в Средиземное море для действий против Дарданелл.

Глэкон подъезжал к Севастополю, когда там уже произошел бунт. Увидев, что на вокзале его встречают матрос, солдат и рабочий, он сказал состоявшему при нем русскому морскому офицеру, лейтенанту Д. Н. Федотову: „Кажется,

нам здесь нечего делать; распорядитесь о прицепке моего вагона к поезду, уходящему вечером".

Адмирал Глэкон спросил адмирала Колчака, не согласится ли он прибыть в Америку, т. к. возможно, что американский флот будет действовать против Дарданелл для открытия сообщения с Россией; в этом случае опыт адмирала мог бы быть использован. Адмирал согласился на это.

Через несколько дней после прибытия в Петроград адмирал Колчак и я были приглашены в заседание Временного Правительства в Мариинский дворец для доклада о событиях в Черноморском флоте.

В заседании адмирал высказал, что вооруженные силы, вследствие допущенной правительством антигосударственной агитации, разлагаются и более непригодны для войны, что имеется только два выхода — или заключить мир, или прекратить преступную агитацию, ввести смертную казнь и привести вооруженные силы в порядок [1]).

После речи адмирала князь Львов предложил высказаться мне. Я сказал, что правительство обвиняет нас в допущении бунта, но бунт допустили не мы, а само правительство и в частности сам военный и морской министр Керенский. Я указал, что по предыдущей службе я имел случай плавать на английском и французском флотах, принадлежащих так называемым демократическим странам; у них дисциплина строже и наказание жесточе, чем у нас было при императорском режиме; что вооруженная сила основана на строгом законе и строгих взысканиях за проступки. Сознательная же дисциплина, провозглашенная Временным Правительством, недоступна массам, она возможна только для единичных высококультурных людей. За столом в заседании против меня сидели Керенский, Чернов и Церетели. После моих слов князь Львов сказал, обращаясь к адмиралу Колчаку и ко мне: „Благодарю вас, мы обсудим". Мы вышли из заседания.

Через несколько дней я узнал, что Керенский в наказание за дерзкие слова, произнесенные мною в заседании совета министров, приказал сослать меня в Каспийское море, но адмирал Колчак вступился за меня, и это распоряжение было отменено

Популярность адм. Колчака в России была очень высока. Какие-то неизвестные организации разбрасывали по городу листки с призывом к военной диктатуре, выдвигая в диктаторы адмирала. В листках писалось: „Суворовскими зна-

[1]) Того же, как мы видели, желали Деникин, Корнилов, Лукомский... Это—общий голос всех будущих „освободителей" России от большевизма. *Ред.*

менами не отмахиваются от мух. Пусть князь Львов передаст власть адмиралу Колчаку“ и т. п.

Вскоре состоялось постановление Временного Правительства о командировании адмирала Колчака в Соединенные Штаты Америки. Постановление это было вызвано просьбой чрезвычайного посла Америки сенатора Рут. Многие общественные организации патриотического направления приглашали адмирала принять участие в их работе. Надеясь быть полезным в России, адмирал не хотел ехать в Америку и затягивал отъезд насколько возможно. Однако, Керенскому не нравилась популярность адмирала, и он решил от него избавиться. Однажды, придя домой, адмирал застал там курьера с собственноручным приказом Керенского — немедленно отбыть в Соединенные Штаты Америки и донести, отчего он до сего времени не выехал.

27 июля 1917 г. адмирал Колчак отбыл за границу.

Кн. С. П. МАНСЫРЕВ.

Мои воспоминания.

О Государственной Думе [1]).

Во время своей деятельности в разных общественных организациях [2]) я убеждался с каждым днем, что пропаганда социалистических партий, в особенности социал-демократов-меньшевиков и социалистов-революционеров, делает неустанно свое дело; на моих глазах у людей, ничего общего ранее с социализмом не имевших, в речах стали проскальзывать разные партийные лозунги и пожелания, против которых редко кто решался возражать: такое „обновление" было в моде. Но всякие лозунги еще туда-сюда; гораздо больше поражал явный упадок национального чувства. Уже взгляд на наших врагов был совсем иной, чем приблизительно год тому назад; уже без негодования начинали говорить даже об отдельных случаях братания на фронте, уже явно чувствовалась усталость от войны и растущее равнодушие к успехам или неуспехам нашей армии.

В широких кругах оборонческое настроение видимо слабело, а вместе с тем больший и больший успех приобретали призывы к „свободе, братству, равенству" и т. д. На моих глазах росла страшная опасность не только от развала власти, но и от увеличивающегося обезличения русской интеллигенции в смысле национальном и проникновения в массы социалистического „всечеловечества". Необходимо было с этим всячески бороться; но какая группа могла оказаться пригодной для этой цели?

В 1916 году ясно виделось, что у правых кредита в массах нет почти никакого; октябристов народ совсем не знает; может быть, кадеты? — Но не они ли всем своим предыдущим поведением содействовали такому повороту общественной идеологии? Оставалась наша группа прогрессистов (куда примыкали т. н. радикалы-демократы) и

---

[1]) Автор „воспоминаний" — член Государственной Думы, входивший во фракцию прогрессистов. Из его воспоминаний, напечатанных в заграничном журнале „Историк и Современник", мы берем последние главы, относящиеся к февральской революции и предшествовавшему ей периоду. *Ред.*

[2]) Речь идет о 1916 г. *Ред.*

карауловцы; но у последних только и было два интеллигентных думца — сам Караулов, да некий Савватеев, совершенно непригодный по своим свойствам для пропаганды и широких выступлений.

Я решил попытаться действовать среди прогрессистов. В одном из фракционных собраний наших я изложил свою программу действий. Отметив, что все мы должны считаться с возможностью и даже неизбежностью революции в близком будущем, я указывал на настоятельную необходимость теперь же принять все меры к тому, чтобы эта революция оставалась только политическою, без всякого уклона в сторону социального переустройства. Для этого необходимо всячески бороться со всеми проявлениями интернациональной идеологии, стараться поднять в широких массах сознание народного значения войны, доказать необходимость ее успешного исхода для будущего широкого развития России и в экономическом, и в культурном отношениях, разъяснить всю пагубность для нас поражения, всю ошибочность и преступность того взгляда, что война возникла по воле империалистов и капиталистов и служит только для удовлетворения их вожделений, принося народу лишь смерть и разорение, т.-е. бороться с пораженчеством. Наконец, при неизбежной критике промахов и недочетов правительства, направлять растущее негодование не в сторону требования теперь же всяческих программных „свобод“, а исключительно в сторону требований более решительной, реальной и деятельной помощи нашей армии, изобличая беспощадно безобразия тыла, в значительной мере происходящие с ведома и попустительства правительства. Таким путем можно было бы, не идя против растущего оппозиционного настроения — это было в данное время немыслимо, — направить его по патриотическому пути и, в противовес социалистическим группам, создать из непримыкающих к ним слоев группу прогрессивно-национальную.

Как реальные средства я рекомендовал: во-первых, немедленное же основание газеты в противовес полусоциалистическому „Дню“ и партийно-кадетской „Речи“; во-вторых, ряд лекционных поездок в разные местности России и попутное образование на местах центров или ячеек для борьбы с социалистическими и интернационально-кадетскими организациями; в третьих, упорную пропаганду изложенных идей в петроградских кругах и интеллигентских и рабочих, рекомендуя для этого расширение и усиление деятельности уже существующих, вполне пригодных для того организаций, — т. н. „Прогрессивного кружка“ и „Общества 1914 года“.

Мои тезисы произвели впечатление; последовало очень оживленное их обсуждение, и все они были единогласно одобрены и приняты; но... тем дело и ограничилось; прогрессисты остались верными себе. Начну с газеты. Как раз к этому времени приехал в Петроград В. Л. Бурцев, с которым я и поспешил повидаться. К моей радости, он, давний и последовательный противник существующего строя, политический эмигрант и ярый изобличитель провокации со стороны и полицейских агентов, и партийных Азефов — совершенно согласился со мной и с увлечением ухватился за мысль о соответствующей газете. Вопрос был, конечно, в деньгах, но, к счастью, у прогрессистов недостатка в богатых людях не было: ведь нашими софракционерами были А. Коновалов и гр. А. А. Орлов-Давыдов, про которых шутя говорили, что они, вместе взятые, могут купить всю Думу, да и Государственный Совет в придачу... Начались переговоры, в которых принимал близкое участие и наш лидер—И. Н. Ефремов. Говорили, говорили, и кончилось дело тем, что гр. Орлов-Давыдов, уже ранее бывший в сношениях с Керенским при женитьбе своей на Пуаре, вместо нашей газеты стал снабжать крупными деньгами эс-эрские кружки (ведь надо же было их задобрить на всякий случай — он был обладателем чуть не 150.000 десятин), а Коновалов, после некоторых колебаний, дал деньги на газету М. Горькому[1]), интернациональный и пораженческий облик которого был уже тогда вполне ясен.

Так Бурцев и не добился ничего, и его газета „Общее Дело" осуществилась лишь через год слишком — в сентябре 1918 года.

С лекционными поездками также ничего не вышло. Я уже упоминал, что мне за время войны пришлось много разъезжать с лекциями, но это случалось всегда по приглашению каких-нибудь местных кружков или организаций: я и теперь не отказывался ехать куда угодно, но просил только, чтобы эти поездки осуществлялись под флагом фракции, а для этого было недостаточно какое-нибудь письменное полномочие; нужны были сношения с местными деятелями, нам сочувствующими, которые бы и приняли на себя заботы по подготовке лекций на местах. На поверку вышло, что ни у кого из фракции таких местных деятелей нет, и писем писать абсолютно некому. Тем не менее, в 1916 году летом я читал ряд лекций в Николаеве, Кие-

---

[1]) Ответственность за правильность этого сообщения целиком возлагаем на автора. Считаем нужным отметить, что в это время никаких газет Горький не издавал. „Новая Жизнь" начала выходить лишь после революции, и направление ее, несмотря на все шатания и недоговоренности, было определенно враждебно Коновалову и прочей „прогрессивной братии". *Ред.*

ве, Кременчуге, Житомире, Витебске, — но делал это за свой личный страх, без малейшей поддержки фракции, и, конечно, результат был вовсе не тот, как если бы за мною определенно стояла известная общественная группа. Кроме меня, ни один из членов фракции с места не тронулся, да и в Петрограде лекций никто не читал, а недостатка в лекторах у нас также не было.

Поучительна история нашей деятельности в двух указанных мною общественных организациях. „Прогрессивный кружок“ возник еще в начале 1915 года из нескольких лиц, отделившихся от бывшего ранее политического салона А. Н. Брянчанинова. В числе других основателей его были М. П. Чубинский, М. П. Федоров, Е. П. Семенов и я. Вскоре к нам примкнул известный всему Петрограду Д. Н. Шубин-Поздеев (избранный, но не утвержденный столичным городским головой), проф. М. М. Ковалевский, несколько городских деятелей (симпатичнейший городской голова гр. И. И. Толстой, председатель Думы С. В. Иванов и др.) и многие члены Государственной Думы, по преимуществу из прогрессистов и октябристов, но были и кадеты и некоторые националисты. Собрания с политическими докладами и прениями происходили по любезному приглашению Шубина-Поздеева у него в доме. Председателем кружка был И. Ефремов, товарищем — я; в числе членов совета был, между прочим, и А. Зарубин. Кружок привился, и с каждым разом его собрания бывали все оживленнее и многолюднее. Уже у нас стали бывать очень многие ученые, литераторы, адвокаты, — вообще, сливки столичной интеллигенции; бывали и некоторые сановники — из либеральных. После сделанного мною во фракции тактического предложения я, И. Ефремов, В. Ржевский и др. стали в кружковых собраниях вести определенную пропаганду по намеченному пути; казалось, что все участники собраний были нашими сторонниками и все шло как будто бы хорошо: пропаганда нашла для себя благодатную почву. Но в конце 1916 года в кружке стали чаще и чаще появляться другие лица: Керенский, известный рабочий Гвоздев (одно время бывший министром труда во Временном Правительстве) и даже М. Горький, который свое двухчасовое выступление посвятил всяческому оплевыванию всего русского народа и непомерному восхвалению еврейства. И что же? „Наша“ публика, — та, которую мы уже считали проникшейся нашими мыслями, надежный оплот прогрессивного национализма, только что приветствовавшая наши выступления, — бешено аплодировала и Горькому, и истерическим воплям Керенского, угрожавшего близящейся „классовой борьбой“, и другим

субъектам, откровенно восхвалявшим пораженчество. Я вскоре понял, что общественно-национальное чувство в наших высоко-интеллигентских кругах — мираж, обман зрения, а скрывается за ними в действительности — голая, мертвая пустыня. Так оно, при восприятии ими нашей „великой, бескровной“, — и оказалось в скором времени.

В самом начале 1915 года в Петрограде образовалось „Общество 1914 г.“, имевшее подзаголовком „Общество борьбы с немецким засилием“. К участию в нем пригласил меня думец М. Судиенко, и я принял предложение. Когда я вошел в Общество, то сразу же мне стало казаться, что оно стоит на ложном пути. Председателем его был В. П. Кочубей, членами совета — очень видные лица частью из аристократического, частью из купеческого мира — не только ультра-правые, но даже более того—в прямом смысле черносотенные. Вели они общество по линии травли лиц, имен, почти что к погромам. Мне, конечно, это претило, и я решил было отказаться от всякого соприкосновения с ними, но из расспросов узнал, что в члены общества записывается очень много мелкой буржуазии, прикащиков, ремесленников, даже рабочих. Это был как раз тот элемент, с которым я стремился сблизиться,—и я решил, что моя обязанность—не умывать рук, а всячески стараться направить общество на иной путь.

Вскоре мне пришлось убедиться, что мракобесническое направление совета вовсе не соответствует настроению большинства членов, а их числилось уже около 1.500 человек. Вся эта масса была инертна и неразвита в политическом смысле; она готова была к восприятию всякой пропаганды, но у совета умелых пропагандистов и опытных ораторов вовсе не было. В результате двухмесячной своей деятельности я достиг того, что самые ярые из членов совета ушли, он пополнился иными лицами, примыкавшими ко мне, а благодаря моей роли председателя общих собраний, весьма многолюдных, я видел, что крайние правые совсем потеряли всякое влияиие, и мне предстоит обширное поле действий. Не могу без умиления и высшего наслаждения вспомнить, как целые полтора года члены, число которых дошло уже до 8.000 человек, жадно схватывали и горячо поддерживали мои выступления, в которых я развивал мысль о необходимости активной, а не покорной любви к родине, призывал к самодеятельности, указывал на долг каждого—сплотиться для общей борьбы за народные интересы, предостерегал от увлечений социализмом и интернационалом.

Конечно, наши интеллигентские круги сторонились от общества: ведь ни под какую рамку партийного трафарета его подвести нельзя было; его усердно замалчивали, но это

меня не смущало, по крайне мере, — противодействия нет. На призыв мой к прогрессистам поддержать общество откликнулось два-три человека, да и те являлись только для того, чтобы помолчать; из прочих думцев горячо отозвался только М. А. Караулов, который никогда никакими условностями или рамками не стеснялся, а действовал всегда непосредственно. Он был все время моим драгоценным и очень популярным в обществе сотрудником. Но — увы! — стоило только мне и Караулову на короткое время уехать из Петрограда, как обнаружилось, что здание мы строили на песке.

Вернувшись в августе 1916 года, после двухмесячной отлучки, я заметил, что в обществе видную роль играют какие-то новые лица, и роль эта идет совсем в разрез с прежними заданиями. Приглядевшись, я увидел, что в члены попало несколько человек эс-деков, стремящихся устроить настоящую провокацию в целях распада общества. На мое счастье, один из таких провокаторов был вскоре изобличен в растрате общественных денег, исключен из общества, и с ним вместе ушли его единомышленники; пропаганда их была непродолжительна и последствий не имела. Но сейчас же обнаружилось то же устремление уже с другой стороны. К моему удивлению, наши трудовики с самим Керенским, ранее только издевавшимся над обществом, вдруг обнаружили к нему особливый интерес, а вскоре в члены записался некий Н. Кулябко-Корецкий, седовласый старец, слепой, с весьма внушительной патриархальной наружностью и недурной оратор. Он постарался вкрасться в доверие к совету, очень ухаживал за мною, а под шумок вводил целыми партиями в общество всевозможных эс-эров, с которыми имел партийные связи.

И вот, на моих глазах те тысячи человек, которые каких-нибудь 3 месяца перед тем с доверием слушали меня, казалось, уже понимали, что такое государственные и национальные интересы, — стали быстрее и быстрее склоняться в сторону эс-эровской идеологии и очутились во власти партийно-кружковых организаций. Некоторая, более устойчивая часть членов старалась этому препятствовать; начались распри, несогласия, скандалы, и общество перед самой революцией потеряло всякий смысл и значение. Эс-эры могли торжествовать победу: они взорвали изнутри единственную для них опасную чисто-народную организацию.

Так плачевно кончились все попытки, во первых, оживить деятельность фракции прогрессистов, а во вторых, сплотить кого-либо для защиты государственно-национальных интересов при близящейся революционной грозе.

А гроза, действительно, приближалась. Сверху разруха продолжалась и после убийства Распутина дошла до апогея. Сильно стал обостряться продовольственный вопрос, говорили о небывалом расстройстве транспорта. За единичными исключениями все общественные круги открыто бранили правительство. Толки об измене были у всех на языке. Возникло несколько забастовок. Протопопов превосходил самого себя бестактностью и нелепостью своих распоряжений, а Дума, вернее, прогрессивный блок делал „политику". Почти сплошь последний месяц перед революцией был занят в Думе принципиальными пререканиями между А. Шингаревым и министром земледелия А. А. Риттихом по вопросу о хлебной торговле: твердые ли цены на хлеб (иначе, монополия) или свобода торговли.

Шингарев, при сочувствии блока, видимо побеждал, но правда была не на его стороне, что и обнаружилось почти сейчас же после революции, когда хлебная монополия была введена, и цены на хлеб сделали бешеный скачек вверх, а недостаток в хлебе стал повсеместным.

Еще 25 февраля, т.-е. за два дня до революции, происходило вечером в Думе соединенное заседание двух комиссий—городской и сельско-хозяйственной—по этому вопросу. А в тот же самый день императором был подписан указ о роспуске Думы...

Волнения в Петрограде, как известно, начались 23 февраля, но, насколько помню, ни в широких думских кругах, ни в обществе им особенного значения не придавали. Нормального хода жизни они не нарушали [1],—а меч над Россией висел уже на волоске. Так, 24-го я был в заседании „общества помощи военнопленным", разговор был все время сосредоточен на подготовке приближавшегося общего собрания, а утром на улицах была стрельба; 25-го назначено было очередное собрание у Брянчанинова, на которое я не попал, так как был в думской комиссии, но знаю, что там был поставлен вопрос о Триесте и Фиуме; а 26-го, менее чем за 12 часов до революции, было мирное общее собрание членов „Общества славянской взаимности", где читался годовой отчет и происходили выборы совета... О событиях почти ни слова. Только когда я с этого собрания возвращался домой пешком, меня поразила какая-то жуткая тишина и пустота на обычно-оживленных улицах — Литейном, Бассейной, Знаменской. Встречались одинокие конные патрули.

---

[1]) Утверждение немного рискованное. Ибо даже по полицейским данным в этот день бастовало около 90.000 рабочих, а на улицах с утра до вечера происходили столкновения полиции с многочисленными рабочими демонстрациями. *Ред.*

Господи, думал ли кто-нибудь, что этот вечер будет последним в нормальной жизни несчастной России!

* * *

В 11 часов утра 27 февраля было назначено очередное заседание бюджетной комиссии по рассмотрению сметы тюремного управления. Не предвидя ничего чрезвычайного, около 11 часов я вышел из дома — я жил очень близко от Думы по Кавалергардской улице—и уже подходил к Таврическому дворцу, когда столкнулся с П. К. Граном, начальником тюремного управления; он шел мне навстречу.

— Вы куда же,—спросил я,—разве заседание отменено?

— Да что вы, разве не знаете: Дума распущена, около входов стоит полиция и во дворец не пускает; я пришел, но меня не пустили.

Я был совершенно поражен и молчал,—и как раз в эту минуту на недалеком расстоянии от нас послышались одинокие ружейные выстрелы, скоро перешедшие в оживленную перестрелку и сопровождавшиеся смутным гулом, как будто от криков толпы. Мы смотрели друг на друга.

— А ведь это недалеко, как будто на Кирочной,—сказал Гран и прибавил:—ну, надо спешить домой, а то там могут перепугаться.

Он быстро направился к себе на угол Кирочной и Таврической, я же поспешил в Думу, с бокового входа — на Таврической. Там полиции не оказалось; я вошел свободно и сейчас же встретился с некоторыми думцами, которые меня забросали новостями: войска отказались от повиновения офицерам, в казармы явилась толпа рабочих, офицер, пробовавший их недопустить, убит на месте; толпа с вооруженными солдатами вышла из казарм, пошла к Литейному; по пути к ней присоединяются войсковые части...

Известий было так много, и так они сбивчиво и противоречиво сообщались, что я был совершенно сбит с толку и не знал, кому и чему верить. Меня поразило, что между членами Думы, бывшими во дворце в большом числе, не было ни одного сколько-нибудь значительного по руководящей роли: ни членов президиума, ни лидеров партий, ни даже главарей прогрессивного блока. Остальные были столько же осведомлены, сколько и я—и, несмотря на то, что в течение еще по крайней мере двух часов во дворец пришло еще много думцев, — все они сообщали лишь со слов других, сами не были очевидцами, и потому положение дела в наших глазах ничуть не выяснилось.

В Думе царило общее смятение и растерянность и, вместе с тем, полное недоумение и негодование перед неожи-

данным роспуском. Повидимому, этот роспуск и для самих членов правительства был долгое время секретом: ведь указ о роспуске помечен был 25-м, между тем 25-го до поздней ночи вместе с нами сидели министр земледелия А. Риттих и один из товарищей министра внутренних дел. Наконец, только что встреченный мною П. Гран... как же он не знал ничего о том, что стало фактом за два дня перед тем? К чему этот роспуск? Чем он вызван и зачем объявлен с таким запозданием? Чувствовалось всеми, что во всей этой загадочной истории есть и какое-то колебание власти, и ее растерянность, и даже трусость.

Наконец, уже во втором часу дня явился в Думу секретарь И. И. Дмитрюков; от него мы впервые услышали последовательное повествование о событиях с утра 27-го, а также о посылке двух телеграмм М. Родзянко государю с настойчивым требованием немедленного образования ответственного министерства и с указанием на крайне тревожное положение дел в столице. Ответа ни на первую, ни на вторую телеграмму не получено. Совет министров бездействует, председатель его кн. Голицын в полном смятении, а усмирение беспорядков возложено на ген. Хабалова. Тем не менее, Дмитрюков считает, что беспорядки будут скоро подавлены, потому что приняты меры.

Как раз в это время вбегают два думца из крестьян, фамилий не помню, и кричат, что солдатами и рабочими взят арсенал, оружие разграблено и им вооружены рабочие, разросшиеся в громадную толпу... Эти два вестника, по их словам, были очевидцами происшедшего и с большим трудом пробрались в Думу, так как половина Шпалерной и весь Литейный полны народом. По их словам, часть толпы, покончив с арсеналом, стала громить окружный суд, большинство же с криком: „в Кресты" направилось по Александровскому мосту...

Между думцами была полная растерянность; революции ждали почти все, но что она разразится теперь,—не ожидал никто, ни даже наши думские социалисты; по крайней мере, между нами все время было три-четыре трудовика и эс-деки— Бурьянов и Хаустов[1]); все они недоумевали вместе с нами... Чувствовалась у всех совершенная неподготовленность к каким-либо действиям и совершенное отсутствие плана; даже оживленные разговоры прекратились, а вместо них слышались вздохи и короткие реплики, вроде: „дождались" или же откровенный страх за свою особу.

Вдруг меня требуют в думскую приемную. Иду туда и нахожу там двух рабочих, моих единомышленников по

[1]) Меньшевики-оборонцы. *Ред.*

обществу 1914 года. Они мне сообщают, что настроение толпы очень возбужденное; большая часть настаивает итти в Таврический дворец и требовать указаний от Думы, что им делать, а также просить ее взять в свои руки власть, так как правительство ничего не делает. Другая, меньшая часть—мои собеседники сказали даже: „отдельные горланы"— говорит, что с Думой надобно „расправиться", потому что там одни „цензовые элементы". Слово „буржуй", очевидно, еще не получило в тот день общепризнанного „права гражданства".

Удручающе подействовала на меня беседа с рабочими: они ищут нашего указания, они пришли к нам с полной верой в нашу силу,—а мы? Мы не только не готовы к деятельной роли, но даже и не знаем ничего толком. Кое-как успокоил своих собеседников и сказал им, что как раз теперь думцы „совещаются" о том, что делать, а при этом спросил: „да что же сами рабочие, разве не готовились к сегодняшнему выступлению. Ведь, помнится, еще около месяца тому назад начались толки о выборах в Совет Рабочих Депутатов на случай волнений?".

Ответили мне, что никаких выборов до сих пор не было, поговорили только о том и замолчали, и что рабочие в массе совсем не организованы; держатся сплоченно, но особняком от других, только социал-демократы; „да разве их большинство?"—прибавили рабочие. Замечу, что один из собеседников был путиловец, а другой с завода Парвиайнен [1]).

Простившись с ними, я вернулся в Екатерининский зал, а там уже была опять новость: Кресты взяты толпой, выпущены все арестанты, толпа направилась в Литовский замок... Окружный же суд, также как и дом предварительного заключения, освобожденный от арестантов, пылает в огне. Думцы с нескрываемым возмущением говорят об исчезновении наших главарей...

Но вот в половине третьего начинают появляться и они: прибыл Родзянко, Милюков, С. Шидловский и другие... Но, увы, нам от этого опять мало пользы: быстро прошли они все мимо, говоря на-ходу, что спешат на совещание старшин (так называлось заседание президиума с лидерами фракций; туда же приглашались члены президиума блока).

Наконец, в четвертом часу выходит Родзянко и торжественным голосом приглашает всех членов Думы на частное совещание в полуциркульном зале. Быстро направляемся

---

[1]) С своей стороны мы тоже заметим, что на этих и других работавших „на оборону" заводах было не малое количество спасавшихся от фронта патриотических лавочников. Само собой разумеется, что подобного рода „рабочие" ни в малейшей мере не отражали настроение масс. *Ред.*

туда — всего набралось до 200 человек, — и Родзянко берет слово. Он очень кратко сообщает, что волнения в столице, возникшие на почве продовольственного недостатка, в течение четырех дней усиливались, пока не вылились сегодня в вооруженный бунт; что правительство совершенно бездействует и как бы отказалось от власти, что на две телеграммы свои к государю он ответа не получил и что медлить с подавлением бунта невозможно. Члены Думы должны обсудить положение и наметить меры к прекращению беспорядков. Первым высказывается Н. В. Некрасов, в общем представлении—крайний левый между кадетами и неизменно кокетничающий с трудовиками. Он соглашается, что положение очень серьезно и что поэтому президиум Думы (в который входил и он сам) должен не медля ни минуты ехать к председателю совета министров кн. Голицыну и, указав на одного из популярных генералов, напр., Поливанова или Маниковского, просить о наделении их диктаторскими полномочиями для подавления бунта [1]).

Ему резко возражает М. А. Караулов:

„Я совершенно не понимаю Некрасова: почти вся Дума, в особенности его фракция вот уже полгода честит членов правительства дураками, негодяями и даже изменниками,— а теперь он предлагает ехать к этим „изменникам" и просить помощи... у кого? Ведь вы слышали, что они все перепугались и попрятались; что же, кн. Голицына из под кровати будем мы вытаскивать? Надобно, чтобы мы сами перестали болтать, а что-либо сделали; сумеем—хорошо, а не сумеем—тогда нас надобно всех отсюда вон".

Потом говорил октябрист Савич: речь долгая, нудная и без всякого практического вывода; в переводе на обыкновенный язык: „с одной стороны, нельзя не признать, с другой,— надо сознаться..."

Еще два-три оратора—почти с тем же результатом.

Потом говорит В. Дзюбинский (трудовик). По его мнению, момент очень ответственен, бунт все усиливается, правительство окончательно дискредитировано и даже, по слухам, некоторые его члены уже арестованы. Если Дума действительно является народным правительством, то ее прямой долг — действовать самой. Она должна образовать какой-нибудь комитет, с наделением его неограниченными полно-

[1]) Весьма характерно, что как только революция стала очевидной, первым движением думских вождей было—искать генерала „для подавления бунта". Таково было стремление не только октябриста Родзянко, на первых порах возведенного было чуть не в герои революции, но и Некрасова, через несколько месяцев окончательно перекрасившегося в розовый цвет, ставшего правой рукой Керенского и порвавшего с кадетами из-за своей „левизны". *Ред.*

мочиями для восстановления порядка. Этого ждет именно от нее, а не от других большинство населения.

За ним просит слово П. Милюков, на которого и устремляются с упованием все взоры. Он не согласен ни с Некрасовым, ни с Дзюбинским. „Конечно, ехать к представителям правительства не нужно, да и бесполезно—они сами выпустили из рук власть. Но брать эту власть в свои руки Дума также не может. Она является учреждением законодательным и, как таковое, не может нести функций распорядительных (следует краткая, но точная экскурсия в область государственного права). Но, главное, мы уже потому не можем сейчас принимать никаких решений, что размер беспорядков нам неизвестен так же, как неизвестно и то, на чьей стороне стоит большинство местных войск, рабочих и общественных организаций. Надобно собрать точные сведения обо всем этом и тогда уже обсуждать положение, а теперь еще рано".

Милюков не кончил еще говорить, как в зал вбегает Керенский, ранее отсутствовавший, в сильном возбуждении. Он говорит, что громадные толпы народа и солдат идут к Таврическому дворцу и намерены требовать от Думы, чтобы та взяла власть в свои руки. Он просит дать ему автомобиль, на котором он, по уполномочию Думы, поедет в толпу, попытается ее успокоить и сообщить ей решение Думы.

Общее недоумение и растерянные взгляды: ведь у нас все еще разговоры, а никакого решения пока нет.

Не успевает Керенский кончить, как его прерывает вбежавший в перепуге думский служитель; он кричит, что передовые части солдат уже подошли к дворцу, хотели войти в него, их не пустил отряд караула, всегда находящийся около подъезда, и что начальник караула тяжело ранен выстрелом и унесен в приемный покой. Керенский поспешно убегает. Начинаются беспорядочные разговоры о „думском комитете".

Я беру слово и говорю, что мы делаем шаг исторической важности и что раньше, чем мы придем к окончательному решению, нам необходимо откровенно спросить самих себя: сумеем ли мы справиться с властью, которую на себя принимаем, и достаточно ли в нас самих для того силы и твердости. Во время моих слов из круглого зала доносятся крики и бряцание ружей; оказывается, что солдаты уже вошли во дворец. Родзянко на-спех ставит вопрос об образовании комитета — крики „да". Он спрашивает, доверяет ли совещание образование комитета Совету старейшин, — вновь утвердительные крики, но уже немногих оставшихся в зале, так как большинство успело разойтись по другим залам. Совещание закрылось,—Рубикон перейден.

*
* *

Я вышел в круглый зал, и первое, что мне бросилось в глаза, — это группа в 7 — 8 оборванных человек, стоявших в стороне и о чем-то оживленно говоривших между собою. Я спросил, кто это такие; мне ответили, что это—выпущенные из Крестов. Я с некоторыми другими подошел и стал прислушиваться к разговору: оказывается, идет речь о „Совете Рабочих Депутатов“. Вскоре к группе стали подходить еще разные личности, из которых кое-кого я узнал, как бывавших иногда в „Обществе 1914 года“ во время его развала, а также некоторые из думских эс-деков: Хаустов, Ягелло... Уже говорили о том, что Совет Рабочих и Солдатских Депутатов следует считать сформированным, по преемству с 1905 года, и Хрусталев-Носарь должен считаться его председателем. Группа, возросшая уже человек до 30-ти, направилась из зала по коридору и остановилась у дверей обширной комнаты, служившей для заседаний бюджетной комиссии; кто-то сказал: „Вот здесь будет удобно“, — и все вошли в комнату. Стоявший у дверей служитель их безмолвно туда пропустил. Но через несколько минут из дверей показались двое, быстро направившиеся в кабинет Родзянко, где заседал Совет старшин. Вернулись они скоро, и я слышал, как, отворив дверь в комнату, где продолжали сидеть все остальные, пришедшие объявили: „Сказал, что можно“.

Оказывается, сами собравшиеся усумнились в возможности захватным правом воспользоваться комнатой во дворце и послали спросить о том председателя Думы, который им ответил: „Пускай сидят“.

Таким образом с первых же часов допущено было постоянное присутствие в здании Думы организации, ничего общего с Думой не имеющей, а самочинно присвоившей себе наименование „Совета Депутатов“, но фактически бывшей лишь сброцной кучкой подозрительных субъектов. Итак, начало двоевластию было положено с нашего же собственного благословения.

Между тем, залы дворца все больше и больше наполнялись солдатами и народом; уже в Екатерининском зале разбивались кучками, кто-то влезал на стул, что-то кричал, чего в суматохе нельзя было разобрать; слышались возгласы: „довольно, так его, правильно...“. Что делалось в совещании старшин, мне неизвестно, но было ясно, что никакого шага для того, чтобы установить хоть какой-нибудь порядок в здании, предпринято не было; члены Думы затерялись в толпе пришлых, служители куда-то исчезли, а из „главарей“ никто не показывался. Кавардак был полный и, глав-

ным образом, в буфете. Его брали с боя пришлые и в какой-нибудь час растащили все, что имелось на-лицо,—конечно, бесплатно. Поминутно слышны были новости: арестован Щегловитов, Трепов, Раев... Протопопов скрылся... громят полицейские участки... сжигают все дела... там-то и там-то убили того или другого полицейского...

Я решил сходить домой посмотреть, что там делается, так как недалеко от моей квартиры было охранное отделение, которое также могли разгромить. На улицах толпы; появились красные флаги, здесь и там слышалась русская марсельеза в ужасном беспорядочном исполнении—еще не научились.

В 7 часов вечера я опять пошел в Думу. Картина мало изменилась, только едва я вышел на улицу, как меня сразу же озарил свет от пожара: горело охранное отделение, около которого весь тротуар и часть улицы была забросана разорванными и целыми бумагами и делами в синих обложках, а кругом то и дело слышались одиночные выстрелы. Большею частью стреляли впустую, просто в воздух; какой-то хулиган выстрелил в землю из револьвера мне под ноги.

В Думе я нашел прежние толпы; появились на колоннах великолепного Екатерининского зала какие-то огромные плакаты, большею частью написанные крупными буквами от руки; поминутно бросались в глаза девизы: „В борьбе обретешь ты право свое“, „Пролетарии всех стран“, и т. д.. Прочие же помещения (кабинеты, комиссионные комнаты, канцелярии) буквально все кишели народом. Я сунулся было в кабинет секретаря, но продраться между солдатами не удалось; оказывается, там поместилась военная комиссия Думы, руководимая нашим сочленом Б. А. Энгельгардтом. Пошел в финансовую комиссию—там восседают М. Караулов, М. Пападжанов и М. Аджемов: заняты приемом поминутно приводимых солдатами арестованных, опросом их, снятием показаний с приведших и—безапеляционными распоряжениями о дальнейшем: отпустить или заключить под стражу. Пригласили и меня к ним присоединиться; я сел и начал „опрос“.

Бестолочь невообразимая: солдаты и рабочие походя хватают на улицах того или другого за какое-нибудь слово, а иногда и просто по виду — если не понравится. Вся процедура снятия показаний сводилась ни к чему: надобно было всех „захваченных“ просто освободить, а Энгельгардту (раз он уж принял на себя как бы главное командование гарнизоном) строжайше запретить эти бессмысленные аресты при помощи надежно настроенных войсковых частей, в которых тогда, как и через несколько дней, еще недостатка

не было[1]). Но это хулиганство не прекращалось, а наоборот, солдатам, приводящим арестованных, говорились комплименты и непременно увещания — трудиться для „закрепления революции“.

Помню, например, как в вестибюле дворца, уже часов в 10 вечера, появился какой-то седовласый тип, на костылях, одетый в мундир поручика; он с помощью нескольких солдат привел человек 30 обезоруженных, но в форме жандармских офицеров и полицейских чиновников. Остановившись в круглом зале, он громогласно возвестил, что просит доложить о себе „руководителю революции, депутату Керенскому“. Пошли за ним; Керенский явился и с горделивой осанкой остановился перед стариком. Тот, вытянувшись елико возможно, держа руку у козырька, рапортует: „Имею честь доложить, что мною схвачены в разных местах, обезоружены и приведены 30 врагов народа. Головы их передаю в ваше распоряжение“. Приняв „рапорт“, Керенский внушительно ответил: „Благодарю, поручик, рассчитываю на вас и впредь... Уведите их!“ — и важно удалился. Ни один вопрос: за что, при каких обстоятельствах были схвачены злополучные, задан „руководителем“ не был; куда вести их — тоже никто не знал. Но толпа поняла по-своему это приказание: набросилась на приведенных и стала их неистово избивать кулаками и прикладами, так что некоторые из „врагов народа“ здесь же повалились замертво, а других вытолкали за двери и куда-то действительно повели... — судьба их осталась неизвестной...

Два дня я просидел в „следственной“ комиссии, но потом это бессмысленное занятие мне так опротивело, что больше я туда не приходил. Через несколько дней и сама комиссия прекратила свое существование, не оставив никаких следов своей деятельности, ибо никакого правильного производства не было, — допросы писались на клочках бумаги, которые тут же в беспорядке и валялись, а потом выбрасывались вон. Я захватил себе домой четыре таких клочка, и жалею, что они погибли в моем архиве, — это были любопытные документы.

Между тем, уже с пяти часов стало известным из отпечатанных экстренно летучек, что Комитет Думы избран; в него вошли представители всех фракций, входящих в прогрессивный блок, а кроме того, и члены фракций социал-демократов, трудовиков и прогрессистов. Остались не

[1]) Утверждение более чем рискованное. Вряд ли к тому времени имелась в Питере хоть одна часть, которую можно было бы использовать для борьбы против революции, в частности, для защиты от арестов деятелей и слуг царизма. *Ред.*

вошедшими только крайние правые, правые националисты и польское коло. Прочтя состав комитета, я сразу же пришел в уныние; это были те же главари и деятели архикомпромиссного блока, сдобренные Чхеидзе и Керенским, которым, несомненно, до Комитета и дела никакого не будет. Ни одного лица с твердой волей, мало-мальски активного и способного водворить порядок, в Комитет не попало. Чхеидзе, действительно, сразу отказался от участия в Комитете, а Керенский, после некоторых колебаний, заявил, что он в него входит, как представитель „демократии“ (т.-е., в сущности, для контроля действий остальных). Некоторые члены Комитета в первые три дня революции очень мало показывались, — может быть, они были заняты и очень важными делами (не мне судить), но знаю, что никого из них в стенах Думы я почти не видал и какого-нибудь порядка в самой „приявшей власть“ Думе никто и не думал восстанавливать.

Зато самозванный „Совет Рабочих Депутатов“ (надобно отдать ему справедливость) работал во-всю. Уже к вечеру 27 февраля от него были разосланы посланцы на петроградские заводы, а также в войсковые части для спешных выборов депутатов, и уже на следующий день явилось более 120 человек, избранных главным образом с заводов и фабрик. Совет стал превращаться из самозванного в реальное, основанное как-никак на волеизъявлении рабочих, учреждение. Пребывание же в здании Думы для него было в высшей степени выгодным: Дума кишела народом, поминутно являлись депутации от всевозможных общественных организаций и войсковых частей, приходивших не только для приветствий с избавлением от „старого режима“, но и за указаниями, что им делать, и за разъяснениями насчет ближайшего будущего. Некоторые, но очень немногие из этих депутаций после долгого ожидания проникали в Думский Комитет, но огромное число так и не могло этого добиться; зато в „Совете“, заседавшем беспрерывно и днем и ночью, являвшиеся находили самый радушный прием, с ними подробно беседовали, их снабжали инструкциями, им разъясняли настоящее и наводили на будущее,—конечно, с соответствующей точки зрения, и создавалось общее впечатление, что указания получены от самой Думы, „возглавившей революцию“, с ведома и согласия которой „разъяснители“ сидели рядом с ней, в одном и том же доме. А помимо того, целый день разъезжали посланцы из Совета в качестве пропагандистов на заводы и в войсковые части; повсюду шли спешные выборы депутатов, число которых росло весьма быстро, а депутаты выбирались, конечно, сообразно полученным от Совета инструкциям.

А Комитет, говорят, делал „высшую политику", совершенно забыв о пропаганде, и ни 27, ни 28 февраля от него не было командировано ни одного лица для беседы или пропаганды на места, в которых в эти дни чувствовалась особенная необходимость. В распоряжении Комитета было более сотни думских же членов, которые слонялись без дела и никуда не могли приткнуться. Только первого числа раскачался Комитет — уже в то время, когда плоды советской, притом явно пораженческой пропаганды стали обнаруживаться. Но и с того же дня стало безусловно ясно, что Комитет совершенно закрывал глаза на вполне реальную и очевидную опасность непомерного роста социалистической пропаганды, а намеревался бороться исключительно с фантомом контр-революции справа[1]). Это была роковая недальновидность и, я сказал бы даже, политическая тупость.

Н. Николаеву и мне первого марта были даны именно в этом смысле инструкции при командировке нас в село Ивановское, верстах в 30-ти по Шлиссельбургскому шоссе, где была расположена автомобильная часть. Оттуда явилось несколько солдат, заявивших о контр-революционном настрении своих офицеров. Нам сказали (именно Некрасов), что надлежит совершенно ликвидировать это настроение, не останавливаясь даже перед арестами офицеров. Приехав туда, мы сейчас же выяснили, что никакого контр-революционного настроения нет, а за таковое солдаты принимают желание офицеров поддержать дисциплину, офицерство же само встретило нас громким „ура" в честь новой власти. Из расспросов оказалось, что и здесь уже побывали пораженческие агитаторы, но были встречены холодно. Пользуясь случаем, мы с Николаевым в речах своих резко подчеркивали, что вся полнота власти после революции перешла к Думскому Комитету, а им уже передана составленному Временному Правительству, и что никакие другие организации, в том числе и Совет Рабочих и Солдатских Депутатов, к этой власти касательства иметь не могут. Кроме того, оба мы предостерегали от неизвестно кем посланных агитаторов и убеждали не поддаваться их интернационально-пораженческой пропаганде. После наших речей последовало братание солдат с офицерами, вся часть была выставлена шпалерами по нашему пути в стройном порядке, и мы уехали, провожаемые овациями.

---

[1]) Все это, говоря словами Марка Твена, „сильно преувеличено". На самом деле пропаганда Совета, в большинстве своем эсеро-меньшевистского, совсем не была „пораженческой". Что же касается думцев, то, по свидетельству самого же Мансырева, „первейшей их заботой было подыскание подходящего генерала для подавления бунта". См. стр. 266. *Ред.*

Такой же результат был достигнут в тот же день вечером при поездке моей с депутатом Милютиным и Симоновым в 1-ый, 2-ой и 3-ий запасные пулеметные полки, расквартированные на Охте; и про эти полки нас также в Думе предупреждали, что там ведется офицерами злостная агитация за восстановление старого режима. Бедные члены Комитета, опасаясь реставрации, сами своими действиями всецело способствовали укреплению той силы, которая позже их же и смела.

То же повторилось и на следующий день, 2 марта. В Думе я говорил речи 86-ой и 88-ой дружинам, а потом ездил в Петроградский полк. Настроение солдат везде было хорошее, радостное и дружное. Вечером я побывал в канцелярии Измайловского полка, куда меня просили заехать офицеры. Здесь же находилось человек 5, присланных из Совета Рабочих Депутатов, а также избранные депутаты полка. Мне рассказали, что незадолго явились какие-то два субъекта, которые назвались членами Совета Рабочих Депутатов и вели пропаганду между солдатами в смысле требования окончания войны, читали „приказ № 1" и убеждали не повиноваться офицерам и зорко следить за их поведением. Солдаты сами усумнились, привели агитаторов в канцелярию и там потребовали от них полномочий, но таковых не оказалось, и их вытолкали вон. Меня просили разъяснить, какой смысл и значение имеет этот приказ № 1. Я, разумеется, сделал все возможное, чтобы опорочить его в глазах солдат, и добавил, что, насколько известно мне, Совет Рабочих и Солдатских Депутатов и сам к приказу относится отрицательно. Двое из бывших здесь же членов Совета подтвердили мои слова и заявили, что не только лично им ничего не было известно о составлении этого приказа, но что в их присутствии, несколько часов тому назад, в заседании Совета сам Чхеидзе (избранный председателем вместо Носаря) категорически утверждал, что приказ исходит не от Совета, а от некоторой его части, не посчитавшей нужным при составлении выслушать мнение Совета, а потому и принявшей за него ответственность только на себя. Тогда меня стали спрашивать и офицеры и солдаты: „А что же смотрит военный министр Гучков? Как он тотчас же не запретил печатание и распространение приказа?". Вот на этот вопрос, признаюсь, мне было стыдно и больно отвечать,—и все, что я мог сказать, это то, что Гучков, вероятно, не успел этого сделать...

Но, тем не менее, изгнанные из полка агитаторы успели достигнуть своего. На следующий день (3 марта) я и член Думы св. Д. Попов поехали для беседы в тот же Измайловский полк. В 1-ой, 2-ой и 3-ей ротах, а также в учебной команде

дело сошло вполне благополучно; нас внимательно слушали аплодировали и даже выносили на руках. Но в 4-ой роте, мы заметили, что речи наши воспринимаются несколько иначе: слушали, но кое-где слышались реплики недоброжелательного свойства. А после нас на эстраду вышел какой-то оборванец-солдат, уже средних лет (типичный дезертир), и стал убеждать слушателей не верить нам — мы-де посланы „капиталистами", начавшими войну, и являемся врагами народа...

Произошла суматоха: большинство все-таки было на нашей стороне, но и сочувствующих оборванцу оказалось достаточно. Раздавались крики: „вон, буржуи"... — и даже два-три возгласа об аресте. Это был первый признак начавшегося разложения армии.

* *
*

В моих воспоминаниях я намеренно не касаюсь главных исторических фактов русской революции: отречения царя и в. кн. Михаила, образования Временного Правительства и первых его действий, взаимоотношений Совета Рабочих и Солдатских Депутатов с правительством и Думой, наконец, военных и матросских бунтов на фронте и положения последнего. Во-первых, это уже достаточно освещено другими, а во-вторых, обо всем этом я мог бы писать лишь по наслышке, так как, слава богу, к руководящим в то время сферам я никакого касательства не имел. Цель моя—охарактеризовать и выяснить роль Думы во время переворота и после него, а действий Временного Правительства я касаюсь лишь постольку, поскольку они имели отношение к той же Думе и ее Комитету, из недр которого первое Временное Правительство и вышло.

Первое, что я могу сказать о сумбурных двух неделях после революции, — это то, что общее впечатление получалось такое: все столичное население, весь Петроградский гарнизон, а также все сколько-нибудь сознательные общественные круги вне столицы всеми своими помыслами стремились к Думе; она была популярна, как никогда, авторитет ее стоял необычайно высоко, и именно в ней, а не в ком нибудь другом, видели панацею исцеления России от всяких зол и бед.

Совет Рабочих и Солдатских Депутатов нигде никаким авторитетом, кроме партийных социалистических организаций, не пользовался, и роль его вне Думы была мало заметна [1]); бороться с захватом им власти было еще очень

[1]) Это тоже сильно преувеличено. „Всеми помыслами стремились" к Думе (и то не к всей, а к ее левому крылу) главным образом обывательские элементы. Среди рабочих и гарнизона гораздо более популярен был Совет, роль которого была более чем „заметна" вне Думы. *Ред.*

легко, тем более, что и Совет, разросшийся чуть не до 1.500 человек, из которых две трети были солдаты, а только треть—рабочие, далеко не представлял собою однородного целого.

Было бы тяжело, да, пожалуй, и бесполезно перечислять теперь все роковые ошибки, сделанные Временным Правительством в течение первого же месяца его существования и, на мой взгляд, систематически шедшие навстречу социалистическо-интернациональной идеологии, неминуемо приведшей к большевизму. Но я считаю нужным еще раз подчеркнуть, что и продолжавший существовать Думский Комитет не только не боролся против этих ошибочных шагов, не только не воздействовал на правительство, хотя бы предостерегающим образом, но или держался в рамках полного бездействия, или беспомощно плелся в хвосте событий, обсуждая их уже post factum [1]).

Например, отношение к фронту. Приказ № 1 тотчас по его изготовлении был, конечно, целыми тюками отправлен на фронт; за ним туда нахлынула масса агитаторов, и уже в начале марта на ближайшем к Петрограду северо-западном фронте ярко сказались последствия этого, — падение дисциплины, отказ войск от наступления, нескончаемые митингования по ничтожным поводам, наконец, смещения и аресты офицеров. Необходимо было немедленно же принять меры. Но Комитет в это время занят был другим: он распределял всех сколько-нибудь активных членов Думы на комиссарские места в столичные учреждения и в провинцию, — конечно, в первую голову из тех, которые входили в прогрессивный блок или склонны были ему сочувствовать; прочие оставались под подозрением. А про фронт впервые вспомнили лишь 12 марта, и только 15-го немногие оставшиеся на-лицо думцы были приглашены на совещание о плане фронтовых поездок; в действительности, они были осуществлены еще позже, например, на западный фронт меня, в числе прочих, командировали лишь 18-го, на юго-западный — несколько групп депутатов отправлены были только с 5 по 10 апреля, а на румынский — так и не был послан никто: все пригодные для того лица оказались занятыми другими, более спокойными делами. Тот же фронт жаждал и газетного осведомления о событиях; там царила полная неизвестность о происходящем, все были сбиты с толку и терялись в массе сбивчивых, разноречивых и часто ложных известий. За газетами стали в Думу приезжать с фронта и офицеры и солдаты уже 3—4 марта. А Комитет удосужился и этот вопрос поставить только 13-го, и на

[1]) Задним числом. *Ред.*

следующий день была образована газетная комиссия, на которую возложено снабжение и Петроградских и фронтовых частей газетами, — уже тогда, когда и те и другие были завалены разными изданиями, зачастую подпольными, от Совета Рабочих и Солдатских Депутатов...

Скоро в Петрограде объявился Ленин со своими присными; пошли митинги у дворца Кшесинской, большевистская опасность проявилась наглядно; а спустя почти месяц (5 апреля), при командировании меня и св. Филоненко на юго-западный фронт, председатель Комитета С. Шидловский дал нам следующую инструкцию: мы обязаны были находиться в постоянном контакте и действовать в полном единомыслии с одновременно едущими с нами четырьмя представителями Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, отнюдь не обнаруживая каких-либо разногласий с ними. После получения такого напутствия оба мы хотели было отказаться от почетной миссии, но после решили, что все-таки наше присутствие будет в известной мере полезно, и мы сможем воспрепятствовать кое-каким эксцессам наших спутников.

Отправились мы 9 апреля, при чем сопровождавшие нас „товарищи" предупредительно заехали за нами на квартиру, сопровождали до вокзала и сели вместе с нами в вагон; с этого дня и до возвращения нашего (21 апреля) они ни на минуту не покидали нас: мы все время были как бы под конвоем. Впрочем, в этом была и своя хорошая сторона. Железные дороги были уже в значительной мере „демократизованы", и если бы не наши спутники, мы бы, во-первых, не могли бы ни найти места (несмотря на то, что нам было дано отдельное купэ), ни избегнуть опасности быть из него прогнанными. В первую же ночь в наше купэ стали ломиться какие-то солдаты, а так как им не отворяли, то они стали ломать двери прикладами, грозя покончить с засевшими „буржуями". Но один из сопровождавших нас (некий Иоффе, юный ротный фельдшер) вышел и стал уговаривать ломившихся; он долго с ними говорил, но все-таки убедил, и нас оставили в покое.

За время пути до Каменец-Подольска мы разговорились „по душе", и я убедился, что, в сущности, наши охранители — ребята вовсе не плохие; у них была и душа и даже некоторый здравый смысл; но эти качества совершенно исчезали перед их абсолютным невежеством и затверженными партийными формулами: какие-то попугаи, которых физически нельзя заставить говорить по-иному... На многих митингах мы выступали совместно. Выйдет один из наших товарищей и начинает нести ахинею: „без аннексий и контрибуций... капиталисты начали войну... пьют нашу кровь..." и т. д. Выступаешь после него, понятно, совсем

в ином стиле. После речи подходит говоривший и, горячо пожимая руку, выражает полное согласие со сказанным. Ну, думаешь, переубедил его — и начинаешь исподволь натаскивать его на правильные мысли для будущего выступления; он соглашается вполне, и вот на следующем митинге даже сам заявляет: „ну, теперь слушайте, я буду говорить солидарно с вами“. Действительно, сначала идет как-будто хорошо, но затем бедняга запутается и опять: „буржуи... контр-революционная гидра... война дворцам...“. И так в течение двух недель нашей совместной поездки.

Но я должен сказать по справедливости, что в то время юго-западный фронт далеко не представлял собою ту картину разложения, которую мы видели в Петрограде и ближайших к нему местностях. Мы посетили свыше 25 полков, не считая отдельных небольших отрядов, а также разных митингов, составлявшихся по пути из солдат и местных жителей; в общем впечатление получилось очень благоприятное: настроение патриотическое, полная готовность к наступлению, недурная дисциплина и даже отсутствие резкого антагонизма между солдатами и офицерами; бывали кое-какие недоразумения, но мы их сравнительно легко ликвидировали.

В Каменец-Подольске на заседании местного совета солдатских депутатов наши спутники коснулись того же вопроса о взаимоотношении правительства и Совета и, по обыкновению, понесли свое, — что, дескать, правительство — власть исполнительная, а Совет — и законодательная, и распорядительная, а потому Совет выше, и правительство должно ему подчиняться. Тут я уж вышел из пределов „инструкции“ и в очень резком тоне стал возражать; говорил я долго и, к моему удовольствию, а также удивлению, видел, что все присутствующие на моей стороне; а когда я кончил и предложил резолюцию в том смысле, что правительство — единственная в стране власть и что все обязаны подчиняться только его распоряжениям, то она была единогласно принята, а мой злополучный оппонент, подойдя ко мне, заявил: „правильно, совершенно правильно; ведь и я это самое хотел сказать“.

В Каменец-Подольске мы познакомились с Брусиловым, тогдашним главнокомандующим фронтом, и сообщили ему наши наблюдения. Он подтвердил, что, действительно, в общем его фронт пока благополучен, но что хуже других настроение в VIII армии, которою командовал Каледин, и просил нас отправиться туда. Мы в тот же день поехали в Черновицы, где был штаб армии. Каледина я застал весьма озабоченным и как-то удрученным. Он жаловался, что ему

сильно портит соседняя IX армия, откуда за последние дни начинают в большом числе проникать агитаторы, и, несмотря на все меры, он не может этому воспрепятствовать, так как встречает мало поддержки и в комитетах, и в некоторых начальниках отдельных частей; он жаловался, что появились между офицерами, в особенности между вновь присылаемыми из столицы, новые типы, склонные подлаживаться к солдатам, заискивающие в них и не только не поддерживающие дисциплину, но содействующие ее упадку. Он особенно был недоволен так называемою Поливановской комиссией, действовавшей тогда по инициативе Гучкова и явно игравшей на „демократизации“ армии, т.-е. на поддержке розни между офицерами и солдатами [1].

В пределах VIII армии мы объехали до 12 полков и отдельных частей; действительно, настроение было несколько хуже, чем встреченное нами до тех пор; попадались полки (напр., 443), в которых антагонизм между командованием и нижними чинами принимал довольно резкие формы; но по справедливости должен сказать, что если в этом агитация сыграла известную роль, то не менее виновато в данном случае было и начальство: полковой командир производил очень невыгодное впечатление своим безучастным отношением к подчиненным и как-то совершенно стушевывался в жизни полка; отдельные офицеры также далеко не соответствовали своему призванию, но, повторяю, это было не общее явление, и в массе юго-западный фронт производил впечатление хорошее. Такое же заключение вынесли и два других думца — кн. Шаховский и Кузьмин, которые объезжали VII армию и с которыми мы встретились в Киеве уже на обратном пути.

Все мы были согласны, что фронт сам по себе еще здоров, но что его систематически и непрерывно портит центр, т.-е. Петроград, своими колеблющимися, нерешительными и явно играющими в руку социалистам действиями и распоряжениями. Нам казалось, что будь хоть немного более властной энергии и патриотизма наверху, военная обстановка была бы поправима.

* * *

Мы приехали в Петроград 21 апреля, — как раз в тот самый день, когда Ленин и его присные сделали свою первую пробу, — демонстрацию на Мариинской площади, — и сразу

[1]) Ни Поливановская комиссия, ни Гучков, конечно, в последнем не повинны. Их задачей было не сеяние розни, а восстановление „дисциплины“, т.-е. подчинения солдат офицерам. Что касается „демократизации“, то в нее они лишь „играли“. Эта игра была вынуждена, ибо без „демократических“ уступок нельзя было овладеть солдатами. *Ред.*

окунулись в разлагающуюся, смрадную атмосферу столичных соглашательств. До какой степени поразительна была разница между здоровою, стойкою обстановкой на фронте, в которой мы отдыхали около двух недель, и бессмысленным, преступным политиканством, нескончаемой болтовнею и жадной погоней за властью и влиянием, которые мы нашли здесь! Когда мы в самый день приезда пытались увидеть членов Комитета для доклада о поездке, никого из них в Думе не оказалось; на следующий день мы удостоились кое-кого лицезреть, но наш доклад их, очевидно, совсем не интересовал: все их помыслы были сосредоточены на назревающем министерском кризисе и на гадании: какой состав министерства может образоваться в близком будущем. Лишь через 4 дня удосужились созвать совещание членов Думы для выслушания докладов лиц, ездивших на разные фронты.

А через два дня, 27 апреля, состоялось торжественное заседание членов Думы всех четырех созывов: предполагалось подвести итоги „сильных“ 11-ти лет деятельности Думы, поднять ее явно клонившийся к упадку престиж и авторитет; говорилось много речей — все прекрасными ораторами, но правдива и откровенна была из них только одна речь—косноязычного М. Скобелева: „Дума уже умерла, мы имеем дело с призраком, и так как мы — люди с трезвыми взглядами, то ни пугаться этого призрака, ни даже считаться с ним не стоит“.

Жестокие, но правдивые слова: возражать на них было нельзя... Захватив выпущенную из рук прежним строем власть, Дума в лице своего Комитета, а потом Временного Правительства, обнаружила полное непонимание задач момента, полное отсутствие воли и энергии к удержанию этой власти, совершенную бесплодность и никчемность бессистемных, противоречивых и чисто декларационных потуг законодательства; она совершенно проглядела с самого же первого момента настоящую, грозную опасность от партийно-социалистического натиска, черпавшего силы в безграничной темноте народной и в сплоченности бывших подпольных деятелей, которые выплыли наверх при новой обстановке; вместо борьбы с этими темными силами она все время стремилась к соглашательству и компромиссу с ними, и с ними же (к явной гибели для всего государства) все время занималась донкихотской борьбою с призраками контр-революции, последовательно сметая и дезорганизуя все то, что стояло на пути к осуществлению идеалов Циммервальда и социальной перестройки общества. Она с величайшим усердием уготовала путь для победоносного пришествия большевиков, и по справедливости ей принадлежит крупная доля заслуги в подготовке превраще-

ния когда-то великой и обильной страны в пустыню, полную ужасов неописуемых и невероятных.

В сущности, здесь мои воспоминания о Государственной Думе и заканчиваются. С образованием в начале мая 1917 года министерства „спасения революции" (не России) всякое ее значение в жизни страны кончается, и дальше идет полгода агонии, полуживого прозябания. Все сколько-нибудь видные думцы разъехались по местам, другие цепко держались за „властные" посты и, хотя вполне сознавали, что их деятельность не только бесполезна, но даже при данных условиях вредна, не желали и не могли расстаться с преимуществами своего положения. Комитет где-то существовал, не обнаруживая себя абсолютно ничем; совещания членов, предполагавшиеся сначала еженедельно, собирались все реже и реже, участников в них было меньше и меньше, говорилось и обсуждалось на них то, что давным-давно было известно маленьким детям на улице; а когда в начале июня в Горьковской пораженческой газете „Новая Жизнь" появились ехидные намеки на то, что в Думе-то именно контр-революция и кроется, то господа из Комитета совсем перепугались и совещаний больше не созывали.

За полною бесполезностью Думы в газетах одно время все чаще и чаще писалось о необходимости ее формального роспуска; это же говорилось и в Совете Рабочих и Солдатских Депутатов. Потом писать и говорить перестали: уже не стоило. Сочли более удобным просто физически выдворять Думу из дворца: сначала заняли одну комнату, потом несколько, потом объявили, что все залы (Екатерининский, полуциркульный, круглый) находятся исключительно в их распоряжении, потом упразднили буфет, почтовое отделение, взяли всю левую половину здания, дальше заняли канцелярии, кабинет председателя, выселили служащих из квартир и, наконец, в распоряжении Думы оставили только библиотеку и маленькую комнату для распорядительного комитета. Впрочем, и последнему угрожала ежедневная опасность: каждый день являлось несколько неизвестных субъектов, всегда вооруженных, и один за другим требовали, чтобы мы убирались, куда знаем. Приходилось убеждать, доказывать, просить.

Наконец, вся советская орава решила перекочевать в Смольный. Во дворце стало свободно — и пусто. Из членов Думы на-лицо оставалось только не более 10 человек, которые бродили, как сонные мухи, по опустевшим залам; хозяевами положения были немногие оставшиеся сторожа, которые диктовали свои условия распорядительному комитету.

Во время большевистского переворота я в Петрограде не был и приехал только после восстановления железнодорожного движения, 5 ноября. На следующий день пошел в комитет — и через полчаса был не совсем вежливо выпровожен оттуда вместе с делопроизводителем. Мы были последними, покинувшими Таврический дворец. Прощай, Государственная Дума. Мы отцвели, не успевши расцвесть.

С. И. ШИДЛОВСКИЙ.

Воспоминания [1]).

1.

Первые дни революции.

Утром 27-го мне сообщили, чтобы я непременно приехал в Думу.

По доходившим до меня сведениям я знал, что в Петрограде неспокойно, по улицам ходят толпы рабочих, в некоторых местах города поставлены войска, и что все это брожение возникло на почве недостатка хлеба в некоторых лавках на Выборгской стороне. Проехать в Думу утром 27 февраля из того отдаленного района Петербургской стороны, где я жил, было не так легко; пришлось раздобывать автомобиль под флагом Красного Креста, который был за мною прислан.

При въезде на Троицкий мост я был остановлен чем-то вроде заставы из уличной толпы, которая после краткой задержки пропустила меня дальше из уважения к флагу Красного Креста. На другом конце моста я также был остановлен, но уже военной заставой, которая также пропустила меня, так что мне не пришлось открывать свое звание члена Государственной Думы, дававшее в первые дни революции беспрепятственный пропуск повсюду.

Приехав в Думу, я застал весьма возбужденное настроение, во-первых, из-за происходивших в городе беспорядков, в которых чувствовалось нечто более грозное, чем в обычных, преходящих волнениях, а во-вторых, вследствие получения председателем Думы указа об ее роспуске на неопределенный срок. Все отлично знали, что государя ни в Петрограде, ни в Царском Селе нет, и что, следовательно, заранее подписанный указ был оставлен председателю совета министров для передачи по назначению в случае надобности [2]).

---

[1]) «Воспоминания» члена IV Государственной Думы, левого октябриста Шидловского, выпущенные за границей двумя небольшими томиками, в общем написаны довольно скучно и начинаются с давно прошедших времен. Мы из них заимствуем более интересную часть второго тома, относящуюся к февральской революции. *Ред.*

[2]) Это подтверждает М. Родзянко. См. стр. 35. *Ред.*

Атмосфера была такова, что Государственная Дума не собралась в официальное заседание для выслушания указа о роспуске, а, собравшись в полуциркульном зале в частное заседание, приступила к обсуждению создавшегося положения. Недоверие к правительству было таково, что никто даже и не заикнулся о поддержке его в целях восстановления порядка, а стали делаться разные предложения относительно установления какого бы то ни было порядка.

Большинство этих предложений в памяти моей не удержалось; помню я только хорошо предложение, внесенное членом Думы Некрасовым, столь прославившимся впоследствии в рядах Временного Правительства, о том, что надлежит установить военную диктатуру, вручив всю власть популярному генералу, которого он здесь же назвал. Это был пользовавшийся большою популярностью среди прикосновенных к военному делу членов Думы начальник главного артеллерийского управления генерал Маниковский.

Предложение это не было принято и даже не подвергалось голосованию, и частное совещание вынесло известное постановление о том, чтобы не разъезжаться и поручить избрание Временного Комитета совету старейшин.

Во время этого заседания все время доставлялись председателю Государственной Думы сведения о ходе событий, сводившиеся к тому, что движение разрастается, некоторые воинские части присоединились к толпе и в беспорядке, смешавшись с нею, бродят по городу, что занят арсенал, подожжено здание окружного суда и т. д.

Через несколько времени доложили, что толпа уже вошла в сквер внутри ограды дворца и стоит в некоторой нерешительности перед подъездом. Решили, что нужно выйти и говорить с толпою. Все бросились на подъезд, уже занятый толпою, и в результате некоторой давки удалось попасть на ступени лицом к лицу с пришедшими четырем членам Думы: Чхеидзе, Скобелеву, Керенскому и мне.

Начал речь к толпе Чхеидзе, за ним говорили Скобелев и Керенский; что они говорили, точно не помню, но помню отлично, что это были типично трафаретные, митинговые, революционные речи. Им отвечал стоявший как раз перед ними в первых рядах толпы рабочий совершенно в их духе; он, между прочим, сказал, что им не нужно таких, как Милюков, а вот только что говорившие перед толпою ораторы — их вожди.

После этих речей толпа ворвалась в Таврический дворец и начала там хозяйничать.

Весьма быстро Совет Рабочих Депутатов занял самую обширную из всех думских комиссионных комнат и начал весьма энергично выживать все думские учреждения из за-

нимавшихся ими комнат, вселяя туда свои вспомогательные учреждения. Государственная Дума постепенно и без всяких церемоний вытеснялась из своих помещений.

В городе продолжался хаос, все возраставший. Толпа начинала все более и более хозяйничать и бороться с воображаемым противником. Говорю — воображаемым, потому что со стороны представителей старой власти никаких мало-мальски серьезных мер для восстановления порядка принимаемо не было, и они оказались совершенно растерявшимися и не имевшими в своем распоряжении никакой реальной силы.

Попытка применить воинскую силу для водворения порядка закончилась неудачно, так как на Знаменской площади отряд казаков отказался итти против бунтовщиков и присоединился к ним. Группы лиц, никому неизвестных и никем неуполномоченных, стали заниматься арестами тех деятелей старого режима и офицеров, которых по их соображениям надлежало арестовать; всех арестованных приводили затем в Таврический дворец.

Первым был приведен еще 27 числа бывший министр юстиции Щегловитов и помещен в министерском павильоне, где очень быстро к нему присоединилось столько разного народа, что все оказалось переполнено, и арестованных стали отводить в ближайший манеж Кавалергардского полка, тоже быстро переполнившийся.

Много народа было, конечно, отпускаемо, так как никаких оснований для их ареста не было [1]), но делать нужно было это очень осторожно в те ночные часы, когда все затихало, и не раз отпущенные лица на следующий день снова приводились арестованными какой-нибудь другой шайкой. Некоторые из наиболее видных сановников просили их не выпускать из-под ареста, считая себя в большей безопасности в здании Таврического дворца [2]).

Войск находилось в это время в Петрограде очень много, но это были запасные батальоны, носившие имена гвардейских полков, численностью каждый в несколько тысяч человек. Это были запасные и ратники весьма почтенного возраста, проводившие время в праздности, весьма мало дисциплинированные и на организованные воинские части мало похожие. Некоторые из них с первого же момента слились с толпой, но не в виде воинских частей, а в виде отдельных людей с винтовками, так что хозяйничавшие в

[1]) Этим, большей частью неосновательным предлогом либеральные думцы широко пользовались для защиты слуг царского режима от „самоуправства“ революционных „шаек“. *Ред.*

[2]) Еще бы. Здесь они были под защитой „своих“. *Ред.*

городе толпы представляли собой какую-то мешанину из солдат, рабочих и обычной городской черни, ничем, кроме проснувшихся инстинктов разрушения, не руководившихся.

Постепенно стали прибывать в Петроград воинские части из пригородных местностей, весьма быстро воспринимавшие дух петроградского гарнизона и обращавшиеся в то же дезорганизованное состояние. Значительно позднее, когда в Петроград стали прибывать части с фронта, то они внешностью своей поражали отвыкших от вида настоящих войск петроградцев, но к тому времени аппарат разложения войск был революционными организациями до того усовершенствован, что через несколько дней и свежие войска делались похожими на петроградские.

Первые же дни революции воочию показали мне и убедили меня в том, что культурный ход революции в России невозможен и удержать ее развитие в известных рамках немыслимо, почему и Государственной Думе ни захватить руководство ею, ни стать во главе ее не удастся.

В то время, когда в Петрограде хозяйничали уличная толпа и ничем от нее не отличавшиеся войска, Совет Рабочих и Солдатских Депутатов не терял времени. Очень удачно поместившись в Таврическом дворце вместе с Государственной Думой и, таким образом, для плохо разбиравшейся публики сделавши возможным отожествление себя с последней [1]), Совет сразу принял целый ряд мер для устранения возможности проявления Государственной Думой своей самостоятельности.

Были захвачены Советом все почтовые и телеграфные учреждения, радио, все петроградские станции железных дорог, все типографии, так что без его разрешения нельзя было ни послать телеграмму, ни выехать из Петрограда, ни напечатать воззвания. Все эти репрессивные меры, главным образом, имели в виду Государственную Думу, которой с большим трудом и только в единичных случаях удавалось избежать этой цензуры.

Таврический дворец представлял собой и днем и ночью самый деятельный муравейник, входил и выходил из него, кто хотел, навезли туда оружия, целые кучи провизии, и в залах его происходило нечто чрезвычайно похожее на подготовку крепости к осаде. Заседания Временного Комитета Государственной Думы и Совета Рабочих Депутатов шли беспрерывно день и ночь.

Выехав из дома в Думу 27 февраля утром, я попал снова домой лишь 10 марта; все это время шло заседание

[1]) Конечно, эта весьма сомнительная по своей ценности возможность менее всего интересовала Совет. *Ред.*

Комитета. Когда писался журнал Комитета, то старания разделить все это время на отдельные заседания оказались неосуществимыми, и пришлось написать один общий журнал, охватывавший все это время,—журнал, к счастью, сохранившийся до сих пор.

В состав Временного Комитета входили и Чхеидзе и Керенский, одновременно состоявшие членами Совета Рабочих Депутатов; сначала думали, что этой связи будет достаточно для установления известной согласованности в действиях обоих учреждений, но этого оказалось мало, и Совет Рабочих Депутатов избрал несколько человек для сношений с Временным Комитетом, которые и приглашались в заседание последнего, когда было нужно.

Впрочем, и эти лица были поставлены Советом в такое положение, что самостоятельно ничего решать не могли, а должны были докладывать своему пленуму, от которого и получали надлежащие директивы. При таких условиях, конечно, никакой быстроты в решениях добиться было нельзя, и это очень задерживало совместную работу.

2.

Временное Правительство. Министры. Шингарев. Петроградские войска. Преображенский полк.

Ввиду того, что большинство министерств осталось без министров, Временный Комитет Государственной Думы назначил в министерства комиссаров из числа членов Думы, которые должны были не столько управлять министерствами, сколько сидеть в них, что было, конечно, нелегко вследствие царившего везде возбужденного настроения и брожения.

Тем временем шли переговоры о сформировании Временного Правительства, был выписан из Москвы не возбуждавший ни с какой стороны сомнений кандидат на пост председателя правительства, князь Львов. Состав Временного Правительства как-то наметился сам собою, никаких особых обсуждений кандидатур отдельных лиц на тот или иной пост не производилось, и портфели были распределены главным образом между членами Думы, специализировавшимися в ней на том или другом ведомстве.

Как и откуда возникла кандидатура М. И. Терещенко на пост министра финансов, я совершенно не помню. Известный депутат А. И. Шингарев чрезвычайно неохотно принял пост министра земледелия, считая себя к этой специальности неподготовленным, и жалел, что не ему доста-

лось министерство финансов, в котором, по его словам, он чувствовал бы себя как дома.

А. И. Шингарев был очень популярным депутатом и составил себе известную репутацию как превосходный оратор, обладающий каким-то особенно подкупающим тембром голоса.

Князь Львов, назначенный главою правительства, пользовался такою всероссийской репутациею, что если бы был в России произведен плебисцит и если бы плебисциты являлись, действительно, правильным способом выражения общего мнения, то, несомненно, он получил бы большинство голосов[1]).

Он по своим убеждениям совсем не так лев, как многие думают, но у него была слабость, род недуга, к левым элементам, особый вид благосклонного попустительства по отношению к крайним левым элементам, которыми он всегда бывал окружен во всех состоявших под его руководством земских организациях.

Эти левые очень искусно пользовались этой его слабостью и вели свое дело под его фирмою не только для него незаметно, но при убеждении с его стороны, что они этого не сделают. Такая слабость была присуща очень многим общественным деятелям, но князю Львову в особенности, и, во всяком случае, он был совсем не из того теста, из которого пекутся руководящие деятели в революционное время.

Он был чересчур мягок по природе, был в состоянии жить иллюзиями, но до конца ногтей он—человек порядочный и честный, что, впрочем, в революционное время вообще не особенно ценится.

Вл. Н. Львов, вошедший в состав Временного Правительства в качестве обер-прокурора св. синода, был человек неуравновешенный до ненормальности. Ему во всякую минуту могла притти в голову любая мысль, утром — левая, вечером — черносотенная, и он всецело ей отдавался до следующей смены мыслей.

Говорить с ним и стараться убедить его в чем либо — вещь совершенно безнадежная, но, при всей невозможности с ним делать дело, он всегда оставался человеком порядочным и на сознательную гадость неспособным.

Временное Правительство первого состава было образовано Временным Комитетом Государственной Думы по соглашению с Советом Рабочих и Солдатских Депутатов, о чем было объявлено во всеобщее сведение, так что держав-

---

[1]) Это утверждение страдает чрезмерной категоричностью. Князь Львов был известен лишь „образованному обществу". При действительно правильном способе выражения мнения всей страны, он, конечно, не получил бы большинства голосов. *Ред.*

шееся еще некоторое время в публике мнение, что Временный Комитет и есть правительство, совершенно ошибочно.

Временный Комитет, создав правительство, никаких дальнейших посягательств на власть не делал, в распоряжения правительства не вмешивался, но считал себя законным держателем верховной власти, которая могла сменить правительство или отдельного министра, если бы это потребовалось; поэтому он считал себя обязанным следить за действиями правительства и быть в курсе всего предпринимавшегося.

В первое время происходили периодические заседания правительства при участии членов Временного Комитета и с известным числом представителей Совета Рабочих Депутатов.

Присутствие последних и их участие было с юридической стороны совершенно неправильно [1]), но вызывалось действительным положением дела, так как фактически Советы считали себя представителем народа и приобретали все большее значение.

Правительство против этого не протестовало и весьма скоро очутилось слугою Совета, утративши всякую самостоятельность и разорвавши связь с Государственною Думою. Этому много способствовала теория предоставленной правительству абсолютной полноты власти, настойчиво проводившаяся Керенским, Милюковым и Вл. Львовым.

Правительство, обязанное своим происхождением Государственной Думе и ею назначенное, стало считать себя своего рода диктатором и даже при всех дальнейших изменениях в своем личном составе стало сначала испрашивать разрешения Думы, затем только доводить до сведения по собственной инициативе, затем извещать Думу по ее требованию и, наконец, совершать все эти изменения самостоятельно без всякого участия Думы.

Все это, конечно, отнюдь не служило признаком эмансипации власти от влияния Государственной Думы, а доказывало совершенно другое, а именно — постепенное подпадение ее под влияние Совета Рабочих Депутатов, представлявшего в то время силу реальную, тогда как Дума являлась только силою юридическою.

Принятие правительством теории Керенского и Милюкова о полноте его власти было, разумеется, громадной ошибкой, так как лишило правительство единственной опоры, притом совершенно законной, для противодействия влиянию Совета,

---

[1]) „С юридической стороны" вся вообще революция была совершенно неправильной. Но, увы, она мало считалась с юридическими заклинаниями филистерского тупоумия! *Ред.*

слугою которого в конце концов и стало Временное Правительство.

Государственная Дума в результате этого, конечно, утратила не только влияние, но и всякую связь с Временным Правительством, осведомляясь об его действиях и предположениях теми же путями, которыми это мог делать всякий обыватель. Само Временное Правительство, столь способствовавшее своему порабощению Советом в корне неправильной теорией полноты власти, скоро фактически погибло, ибо с уходом князя Львова и заменою его Керенским оно никак не могло доказать источник своей власти.

Государственную Думу очень озабочивало участие в действиях толпы дезорганизованных солдат, которых во что бы то ни стало нужно было привести в подобие воинской части. Но для этого не было офицеров, совершенно отстраненных или отстранившихся от дела. Позднее, после отречения Николая II, офицеры стали считать себя свободными от присяги, и дело пошло немного лучше.

Всякое лицо офицерского звания или носившее офицерский мундир было принимаемо в Таврическом дворце с открытыми объятиями, и таким лицам очень легко давали назначения комендантов и на другие подходящие должности; весьма скоро обнаружилось, что эти лица в большинстве случаев недостойны никаких должностей, и они были быстро устранены по мере увеличения кадра офицеров в распоряжении Думы.

В это время мне пришлось принять личное участие в одном эпизоде, имевшем отношение к войскам. Когда сорганизовался Временный Комитет Государственной Думы, и председателю Думы было предложено председательство в нем, он согласился не сразу и после долгих уговоров просил дать ему еще полчаса подумать одному; для этого он удалился в соседний кабинет товарища председателя.

В это время меня вызвали к телефону, и знакомый голос моего племянника, бывшего офицером в Преображенском полку, спросил меня, узнаю ли я его голос, и на утвердительный ответ просил меня от имени всех собравшихся в офицерском собрании офицеров-преображенцев передать председателю Думы, что они только что постановили предоставить себя в распоряжение Думы.

Придавая большое значение такому заявлению офицеров первого полка русской армии, я решился нарушить уединение Родзянко и пошел к нему. Он очень обрадовался этому, вышел в соседнюю комнату, где Комитет ожидал его решения, и объявил, что согласен принять должность председателя Временного Комитета, а меня просил сейчас же съездить в полк и поговорить с офицерами.

В офицерском собрании я застал в полном сборе весь офицерский состав полка и значительное количество важных генералов из командного состава гвардии. Я поблагодарил их от имени Государственной Думы и сказал им то, что в таких случаях говорить полагается; затем началась беседа на злободневные темы, при чем более или менее разбиравшимся в том, что происходило, оказался лишь один офицер в сравнительно небольших чинах, остальные же ничего не понимали.

По окончании беседы я вернулся в Таврический дворец, сказав офицерам, что на следующий день — дело было вечером — к ним приедет заведывающий военным отделом, член Думы полковник Энгельгардт для того, чтобы дать им дальнейшие указания.

Каково было мое удивление, когда на следующее утро я увидел на улице весь Преображенский полк шедшим в строю, в образцовом порядке, с оркестром во главе, без единого офицера, с каким-то никому неизвестным штабс-капитаном во главе!

Моментально телефонировали в казармы, и, когда узнали от офицеров, что полк ушел без их ведома, сейчас же были посланы автомобили с тем, чтобы привезти офицеров к их полку. Но офицеры во-время не попали и приехали в Таврический дворец слишком поздно, когда полк, уже выслушав речь Родзянко, в таком же порядке шел обратно в казармы.

Вечером в тот же день в Таврический дворец явилось несколько солдат-преображенцев, в большинстве унтер-офицеров с георгиевскими крестами, вызвали меня и сказали, что они явились в Думу потому, что их вызвали. Когда я им сказал, что Дума их не вызывала, то они предъявили мне повестку, приглашавшую Преображенский полк выбрать от каждой роты по одному человеку и прислать в такой-то день, к такому-то часу в Таврический дворец.

При ближайшем рассмотрении оказалось, что это — повестка от Совета Рабочих Депутатов, решившего привлечь в свой состав депутатов от каждой роты, приняв название Совета Рабочих и Солдатских Депутатов.

Разъяснив дело пришедшим преображенцам, я воспользовался случаем выяснить только что происшедшее в полку и спросил солдат, почему вечером все офицеры заявляют о своей преданности Думе, а утром это же самое делают нижние чины в строю без своих офицеров. На это мне было отвечено в самой корректной форме, что офицеры их, вообще, держат себя как-то странно, все собираются в своем собрании, о чем-то толкуют, принимают какие-то решения, но солдатам ничего не объясняют и, кроме узко служебных, никаких сношений с ними не имеют.

Подробные разъяснения, отнюдь не в виде жалоб, отношений офицеров с солдатами в Преображенском полку нарисовали мне такую картину, существование которой я не считал возможным даже в самом глухом полку армии, а не не то что в первом полку гвардии.

Мне потом рассказывали офицеры других гвардейских частей, что им давно уже было известно о существовании в Преображенском полку таких дисциплинарных взысканий, которые никакими уставами не были предусмотрены и с чувством человеческого достоинства совершенно несовместимы.

3.

Прием депутаций Временным Комитетом. Приказ № 1.

Дней через 10—15 после событий 27 февраля 1917 года в здании Таврического дворца стали появляться различные депутации от отдельных гарнизонов и других воинских объединений, расположенных вне Петрограда. Депутации эти состояли из офицеров различных чинов и солдат, посланных для изъявления готовности уполномочивших их частей на оказание полной поддержки Государственной Думе, могущей на них вполне рассчитывать.

Церемониал приема таких депутаций был следующий. Депутация являлась в помещение, занимаемое Временным Комитетом Государственной Думы, и если председатель Думы был налицо, то он выходил к ней, выслушивал речи и приветствия, отвечал на них, а затем несколько времени происходила беседа с отдельными членами депутации, и давались ответы на ставимые ими вопросы. Если председателя не было налицо, то вместо него выходил дежурный член Комитета, находившийся налицо всегда и днем и ночью, и прием производился по тому же церемониалу. По окончании приема в Комитете депутация выходила в кулуары, где улавливалась Советом Рабочих Депутатов и отводилась в занимаемое им несравненно лучшее по сравнению с Временным Комитетом помещение, и там подвергалась соответствующей обработке.

Расскажу также правду о происхождении приказа № 1.

В один прекрасный день из Совета Рабочих Депутатов во Временный Комитет дошло сведение, что там очень озабочены распространившимся слухом, что в ближайшую ночь ожидается избиение во всех казармах всех офицеров. Временный Комитет, обеспокоенный этими слухами, пригласил к себе из Совета Рабочих Депутатов тех лиц, которые были им упомномочены для сношений с Комитетом, и приступил к совместному обсуждению дела.

Подтвердилось, что, действительно, такие слухи доходили до Совета, и было решено обратиться к войскам с воззванием с целью предупреждения этого печального явления. Проект этого воззвания взялся написать тут же присяжный поверенный Н. Д. Соколов, представитель Совета Рабочих Депутатов.

Проект был им написан, прочтен и забракован Временным Комитетом, нашедшим, что, если бы даже у солдат и не было намерения перебить офицеров, то они бы, несомненно, это сделали, получив подобное воззвание. Текст соколовского проекта был другой, а не тот, который появился на следующий день под названием приказа № 1. Соколов по обсуждении его проекта, видя отрицательное к нему отношение присутствовавших, по обыкновению так же легко отказался от него, как и принял труд составления проекта, и заседание окончилось, не приняв по этому вопросу никакого решения.

Через некоторое время в помещение Временного Комитета ворвался никому неизвестный человек в солдатской шинели и предъявил текст приказа № 1, заявив, что его необходимо издать сейчас же. Временный Комитет, разумеется, отказался его подписать, заявив, что по этому вопросу только что было общее заседание, на котором издание приказа или воззвания не утверждено.

Неизвестный ушел весьма недовольный, бросив уходя в виде угрозы слова: „Ну так мы его сами издадим", и приказ на следующий день появился. Представители Совета Рабочих Депутатов и потом категорически отвергали свое авторство и говорили, что подобный текст у них не обсуждался, и признавали необходимым поправить дело изданием последующего приказа, что и было сделано ими очень неудачно — разъяснением, что приказ № 1 относится только к войскам петроградского гарнизона.

Вот истинная история происхождения приказа № 1. Мне кажется, что он был измышлен и издан какою-нибудь подпольною группой из состава Совета Рабочих Депутатов, в котором в то время числилась не одна тысяча человек [1]). Во всяком случае, приказ № 1 свое дело сделал, хотя все-таки весьма сомнительно, чтобы, если бы он не был издан, ход обстоятельств изменился.

Войска, наводнявшие город, весьма мало были похожи на настоящие войска; это были банды людей известного воз-

[1]) Предположения Шидловского насчет „подпольных групп", конечно, вздорны. Приказ № 1 был составлен по постановлению Совета, а текст его утвержден Исполнительным Комитетом. Верно лишь то, что запутанное думцами большинство Совета впоследствии пыталось отречься от своего приказа. *Ред.*

раста, весьма мало знакомых с дисциплиной, в виде общего правила ничего не делавших и обуреваемых единственным, страшным желанием отправиться домой, т.-е. прекратить войну во что бы то ни стало.

Самолюбия, хотя бы национального, у них не было совсем, соображений о том, что мы, как русские, связаны известными обязательствами со своими союзниками и не можем в каждый данный момент повернуться и уйти домой, они совсем не понимали и знали только одно — домой и домой.

Это настроение, знаменовавшее полный упадок национального чувства, прекрасно учитывалось нашими противниками-немцами и будущими владыками-большевиками, которые и поставили прекращение войны во что бы то ни стало и немедленно первым лозунгом своим после захвата ими власти.

Этот столь близкий сердцу мобилизованной России лозунг и был тем кличем, вокруг которого объединились солдаты и благодаря которому пошли за большевиками охотно; большевикам же пришлось его выкинуть, как единственное средство, которое могло, действительно, быть в то время популярным для уловления в сети простого народа.

Во всяком случае, немедленное прекращение войны, а следовательно, и брест-литовский мир были теми средствами, которыми можно уловить жаждавшее возвращения домой человечество, и никакой другой лозунг не сыграл в руках большевиков такой роли, как немедленное прекращение войны [1]).

4.

Отречение Николая II и Михаила. Первое вооруженное выступление против Временного Правительства.

27 февраля 1917 года, когда вспыхнула в Петрограде революция, государя не было ни в городе, ни в Царском Селе, где оставалась его семья.

Я не помню в точности, в каком именно месте фронта находился в это время государь, но известие о свержении его правительства застало его на фронте [2]). По получении этого известия первым движением государя было соединиться с семьею. Он сел в поезд и поехал в Царское Село,

---

[1]) Во всех этих рассуждениях много преувеличений и искажений. Никто, например, не требовал „немедленного прекращения войны". Верно лишь то, что армия видела в революции путь к прекращению войны, а в большевиках — единственную партию, желающую и способную осуществить эту задачу,— одну из важнейших задач революции. *Ред.*

[2]) Как видно из воспоминаний Лукомского, он находился в это время в Могилеве. *Ред.*

но, так как новою временною властью были приняты все меры, чтобы не допустить его в Петроград из опасения значения личного его появления, поезд его не был пропущен ни по Варшавской, ни по Витебской дороге; государь попробовал тогда достичь своей цели кружным путем — по Николаевской дороге.

Там его поезда также не пропустили, и он повернул обратно через Дно на Псков. На станцию „Дно" был дан приказ ни в каком случае не пропускать царского поезда в Псков, так как не желали снова допустить государя на фронт.

Приказ этот исполнить не удалось, так как шедший впереди царского поезда поезд с частью железнодорожного полка занял всю территорию станции „Дно" вооруженной рукой, восстановил действие всех запертых стрелок и пропустил царский поезд в Псков, куда государь и прибыл в штаб главнокомандовавшего северным фронтом генерала Рузского.

Между тем, в Петрограде было решено потребовать отречения Николая II от престола, при чем лучшим выходом признавалась передача престола наследнику при регентстве великого князя Михаила Александровича до совершеннолетия первого. Как-то раз пришел я во Временный Комитет часов в семь утра, поспавши немного в чьей-то расположенной недалеко от Таврического дворца квартире.

Сразу же Родзянко сказал мне, чтобы я готовился через час ехать вместе с ним к государю предлагать ему отречение от престола. Государь в это время еще не доехал до Пскова и, по нашим сведениям, находился где-то между Малою Вишерой и Дном.

Вопрос о поездке был решен поздно ночью в мое отсутствие и разработан был весьма мало. Не была предусмотрена возможность нашего ареста, возможность вооруженного сопротивления верных государю войск, а с другой стороны, предусматривалась возможность ареста нами государя, при чем в последнем случае не было решено, куда его отвезти, что с ним делать и т. д.

Вообще, предприятие было весьма легкомысленное, но делать было нечего, и, попросив друзей взять на себя труд уведомить мою семью о причинах моего исчезновения из Петрограда, я стал ожидать часа отъезда.

Проходил час, другой, третий, неоднократно звонили по телефону на станцию Николаевской железной дороги, спрашивали, готов ли поезд, но из этого ничего не выходило, и всегда по каким-то причинам ничего не было готово.

Наконец, пришел во Временный Комитет председатель Совета Рабочих Депутатов Чхеидзе и объявил, что Совет

решил не допускать поездки Родзянко к государю, пока ему не станет известным содержание того документа, который Родзянко собирается дать подписать государю.

Во Временном Комитете был уже заготовлен черновик этого документа, кажется, составленный Милюковым и изложенный в двух абзацах. Первый заключал в себе самое отречение от престола, а второй — передачу его сыну.

Чхеидзе было предложено ознакомиться с содержанием документа здесь же и затем распорядиться предоставлением нам поезда.

Чхеидзе ответил, что он не может дать свое заключение по содержанию и форме документа без предварительного рассмотрения его в пленуме Совета. Нужно сказать, что как раз накануне Чхеидзе и Керенскому сильно нагорело от Совета за то, что они, присутствуя в заседании Временного Комитета, позволили себе выразить одобрение какому-то пустяшному мероприятию от имени Совета, не доложив его предварительно, и поэтому они были в подобных делах сугубо осторожны.

Чхеидзе взял с собою упомянутый черновик и пошел в Совет, который в это время представлял уже толпу в несколько сот человек самого разнообразного народа, митинговавшего круглые сутки.

Время, между тем, шло; прошел день, наступила ночь, а Чхеидзе обратно не являлся. Наконец, поздно вечером пришел Чхеидзе и довел до нашего сведения решение Совета, который обеспечивал возможность проезда Родзянко при соблюдении двух условий.

Во-первых, с нами должен поехать и Чхеидзе, против чего мы совсем не возражали, а во-вторых, Совет соглашался только на первый абзац нашего текста, а второй отвергал совершенно.

Тогда Родзянко и я заявили, что такого отречения мы государю не повезем, так как считаем невозможным предложить ему бросить престол на произвол судьбы, не указывая преемника или не давая указаний насчет того, как поступить с ним. На этом предприятие и закончилось, и Родзянко никуда не поехал.

Тем временем образовалось Временное Правительство, и в первый же день его деятельности пропал куда-то Гучков, назначенный военным министром. Так как состояние войск петроградского гарнизона внушало серьезные опасения, и необходимо было принять какие-то меры, что без военного министра было сделать очень трудно, то Гучкова искали по всему городу днем с огнем, но отыскать либо узнать, куда он пропал, не удавалось.

Точно так же исчез с горизонта и Шульгин. Спустя день обнаружилось, что Гучков с Шульгиным без ведома Временного Комитета и Совета Рабочих Депутатов умудрились похитить на Варшавском вокзале паровоз и вагон и укатили в Псков, откуда весьма скоро возвратились, привезя с собою подлинный акт отречения государя.

Шульгин мне рассказывал впоследствии, как все произошло. Приехав в Псков, они увидели императорский поезд, стоявший на запасном пути.

Встречены они были генералом Рузским, который сказал им, что отречение государем уже подписано. Государь, узнав о прибытии Гучкова и Шульгина, пригласил их завтракать, от чего они уклонились; через несколько времени они были приняты им.

Кто-то из государевой свиты при этом прочел им текст уже подписанного отречения, и когда они сделали несколько несущественных замечаний редакционного характера, то были внесены соответствующие исправления; затем все было переписано заново и снова подписано государем.

Никаких разговоров на злободневные темы при этом не было, и государь казался не только спокойным, но даже апатичным, относившимся совершенно безразлично к происходившему.

Когда члены Думы спросили генерала Рузского, был ли государь в таком же настроении и раньше, когда впервые подписывал отречение, то он ответил, что нет, и выразился так, что был, мол, шум...

Кто собственно был автором текста отречения, мне неизвестно; во всяком случае, не кто-нибудь из сопровождавшей государя свиты, среди которой не было лица, способного его составить; вероятнее всего, это был генерал Рузский или кто-нибудь из его ближайших сотрудников [1]).

Гучков и Шульгин, пробыв недолгое время в ставке Рузского и получив на руки подлинный экземпляр отречения, пустились в обратный путь.

Когда они приехали на Варшавский вокзал в Петрограде, то встретившие их лица из железнодорожной администрации заявили им, что рабочие железнодорожных мастерских осведомлены об их поездке к государю, и в настоящее время происходит митинг в мастерских; рабочие— в чрезвычайно возбужденном настроении, при чем они требуют, чтобы ездившие к государю лица немедленно были доставлены на этот митинг и приняты меры для устранения возможности неявки их.

---

[1]) Как видно из напечатанных выше воспоминаний Лукомского, текст отречения был заготовлен, по просьбе Николая, в ставке и передан в Псков по прямому проводу еще до прибытия туда Шульгина и Гучкова. *Ред.*

При этом было добавлено, что ввиду крайне возбужденного настроения рабочих нельзя даже поручиться за безопасность и целость ездивших лиц.

Гучков и Шульгин решили пойти на митинг, но непременно желали предварительно передать в надежные руки находившийся у них в руках подлинный акт отречения государя, а обстановка была такова, что сделать это открыто не представлялось возможным.

Тогда они пошли на очень рискованный шаг и, будучи фактически арестованы рабочими немедленно по выходе из вагона, передали какому-то совершенно им неизвестному человеку в форме инженера путей сообщения акт отречения, сказав, что это — документ первостепенного государственного значения, и просили передать его возможно скорее комиссару министерства путей сообщения, члену Государственной Думы Бубликову.

На митинге, несмотря на крайне тяжелые условия, Гучкову и Шульгину удалось, так сказать, отгрызться, и поздно вечером они оба приехали в Таврический дворец и рассказали Временному Комитету о всех своих похождениях.

Немедленно бросились искать по телефону Бубликова, что тоже по условиям того времени было нелегко, и, наконец, узнали, что Бубликов документ получил и везет его в Таврический дворец, где он и был благополучно получен.

Надлежало вступить в переговоры с великим князем Михаилом Александровичем, в руки которого должен был перейти престол.

Михаил Александрович жил в Гатчине, никакого участия во всем происходившем не принимал и, как известно было лицам, мало-мальски его знавшим, всемерно уклонялся от вмешательства в какие бы то ни было дела государственные, всецело предавшись конскому спорту.

Он был приглашен председателем Думы в Петроград. Рано утром на Миллионную, в квартиру князя Путятина, выехал Временный Комитет Государственной Думы и только что прибывший глава Временного Правительства князь Львов, и там состоялось свидание с великим князем.

Относительно условий, на которых ему надлежало согласиться вступить на престол, среди присутствовавших не было единомыслия. Одни считали, что Михаилу Александровичу надлежит принять престол безусловно, оговорив в манифесте свое отношение к ответственному министерству и полной конституционной свободе, другие же полагали, что ему надлежит поставить свое согласие в зависимость от воли учредительного собрания, как это и было им сделано в опубликованном им манифесте.

После долгих споров и рассуждений, которому из двух решений отдать преимущество, великий князь просил дать ему время обдумать свое решение и удалился во внутренние комнаты, пригласив с собою Родзянко и князя Львова.

Совещание их продолжалось около часа, по истечении которого Михаил Александрович вышел и объявил свою волю принять престол только в случае желания учредительного собрания. После этого Временный Комитет уехал в Таврический дворец, и у в. князя осталось всего несколько человек для составления текста манифеста.

Таким образом закончилось царствование в России династии Романовых.

Здесь уместно упомянуть об эпизоде, происшедшем немного позднее, но имевшем большое значение в дальнейшем ходе событий. Когда на фронте началось разложение, то военачальники, озабоченные возможным сохранением порядка в войсках, возбудили вопрос о сохранении в фронтовых войсках известного рода наказаний, отмененных вообще; может быть, это был даже вопрос о смертной казни, я точно не помню.

Во всяком случае, шел вопрос о допущении на фронте таких наказаний, которые в тылу были отменены, и распространился слух о том, что правительство князя Львова на это идет.

Петроградский гарнизон вообще очень заботился о том, чтобы не попасть в иные, более строгие условия жизни, и неизменно на всяких митингах постановлял в первую голову, чтобы его не смели никуда переводить, а тем более отправлять на фронт.

Эта мысль, очевидно, поддерживалась теми революционными элементами, в расчеты коих входило сохранить воинские части, находившиеся в Петрограде, в таком состоянии, в которое они пришли в процессе революции, так как тогда они не представляли никакой для них опасности, а, наоборот, давали чрезвычайно благодарный материал для пропаганды.

Эта пропаганда и разложение армии, несомненно, составляли первую цель революционных партий. Так вот, когда распространился слух о том, что правительство собирается пойти навстречу требованиям военного командования, было решено оказать известное давление на правительство, произведя демонстрацию перед Мариинским дворцом, где обычно происходили заседания Временного Правительства.

Собралась толпа, к которой присоединились Финляндский полк и какой-то флотский экипаж, разумеется, не

в качестве воинских частей, а в виде значительного числа солдат с винтовками, рассеянных среди толпы[1]).

Временное Правительство не решилось или не могло принять какие бы то ни было меры и телефонировало в Таврический дворец, приглашая в заседание как Временный Комитет Государственной Думы, так и представителей Совета Рабочих Депутатов.

Между тем, собравшаяся толпа настолько возросла, и характер ее демонстраций принял такой вид, что проникнуть в Мариинский дворец немедленно выехавшим членам Думы было очень нелегко. Тем не менее, они приехали туда, и началось совместное заседание с правительством.

Что именно говорилось на этом заседании, представляет весьма мало интереса; кто-то выходил на балкон к толпе и говорил какие-то речи, но ни к чему, разумеется, это не повело.

Я сидел в этом заседании рядом с военным министром Гучковым. В самый разгар заседания подошел к Гучкову один из старых лакеев Мариинского дворца, носивших еще, кстати сказать, придворную форму, и сообщил ему на ухо, что его желают видеть и говорить с ним несколько солдат, ожидавших ответа в одной из отдаленных комнат.

Гучков обратился ко мне, сказав, что скучно слушать все, что здесь говорят, и предложил мне пойти вместе с ним поговорить с пришедшими солдатами. Я согласился, и мы с Гучковым пошли.

Пришедшие солдаты оказались депутатами от Преображенского полка и гвардейского экипажа, посланными своими частями к военному министру с просьбою довести до его сведения, что если им прикажут, то они моментально разгонят собравшуюся перед Мариинским дворцом сволочь. Они именно так выразились.

Гучков благодарил их, поговорил с ними, при чем выяснилось, что солдаты этих частей искренно возмущены происходящим и с удовольствием водворят порядок. Объявив им, что предложение их будет немедленно доведено до сведения правительства, мы возвратились в заседание.

Гучков подошел к председателю князю Львову, что-то сказал ему на ухо, и после этого заседание как-то было скомкано и вскоре закрыто, а правительство отправилось заседать уже без приглашенных гостей.

---

[1]) Память здесь явно изменяет автору. Речь идет, очевидно, о демонстрации перед Мариинским дворцом 20 апреля, вызванной не вопросом о тех или иных наказаниях на фронте, а нотой Милюкова союзным державам, где заявлялось о „всенародном стремлении довести войну до решительной победы". *Ред.*

Результатом заседания было опубликованное вскоре декларативное заявление правительства, что оно готово скорее пожертвовать своею жизнью, чем пролить хотя бы одну каплю крови. Эта резолюция была принята большинством всех голосов против Гучкова и Милюкова, которые стояли за то, чтобы использовать предложение упомянутых полков и разогнать демонстрантов вооруженной силой.

Такое решение правительства отнюдь не служило доказательством не только его силы, но даже способности проявить таковую и представляло какую-то теорию непротивления злу, в результате которой правительство и погибло так бесславно, не сделав ни одной попытки поддержать свой авторитет.

5.

Главный Земельный Комитет. „Селянский министр" — Чернов.

Когда власть приняло Временное Правительство, и министром земледелия стал Шингарев, то он в первую голову провел через правительство и издал положение о земельных комитетах. Во главе дела стоял главный земельный комитет при министерстве, а затем шла целая сеть комитетов губернских, уездных и волостных, которым было предоставлено разрешение всех земельных дел.

Ближайшими сотрудниками по управлению министерством Шингарев пригласил исключительно эс-эров, и никто из его товарищей по партии, т.-е. кадетов, в числе его помощников не был. Кроме того, Шингарев издал постановление, на основании которого частные хозяйства обязаны были весь свой урожай сдавать в казну, имея право оставлять в своем распоряжении только семена и необходимое для питания рабочих и скота продовольствие, вычисленное на основании приложенных к постановлению норм.

Нормы эти были так нелепо малы, что, конечно, их держаться было невозможно: так, например, круп на 1 человека в месяц полагалось столько, сколько рабочий съедал в самом скромном хозяйстве в день и т. п.

Мне удалось как-то поймать на ходу Шингарева и спросить его, что это значит, и входит ли в его соображения в эту минуту страшной нужды в хлебе ликвидировать частные хозяйства, не могущие существовать при соблюдении его постановления.

Он мне ответил, что совершенно не собирается разрушать частные хозяйства, а про нормы сказал, что, дескать,

вы просто их не соблюдайте, если это невозможно, кто, мол, вас там будет проверять.

Председателем главного земельного комитета был назначен профессор Посников, член четвертой государственной думы, председатель ее финансовой комиссии, человек уже старый, зачислившийся во фракцию прогрессистов.

В аграрном вопросе мы с ним стояли на совершенно противоположных полюсах. Он был столь ярым поклонником общины, насколько я был и остаюсь ее противником; в смысле работы он был не особенно практичным деятелем и интересовался лишь принципиальной ее стороной, и если ему удавалось настоять на своем принципе, то до деталей ему уже дела не было; между тем, нередко эти детали сводили почти на-нет самый принцип.

В состав главного земельного комитета входило несколько членов Государственной Думы по избранию последней; в их число попал и я. Главный комитет был весьма многолюден и не представлял собою постоянно действовавшего органа, а должен был собираться периодически; для постоянной же работы из числа его членов надлежало избрать комитет из 12 лиц.

Я отправился к Посникову и прямо заявил ему, что считаю себя вправе быть избранным в этот комитет, хотя отлично сознаю, что я остальным членам совсем не к масти, но что, по-моему, элементарная справедливость требует, чтобы было допущено в комитет хотя бы одно лицо, представляющее мнение, которого держалась до тех пор Дума, что присутствие его не может быть опасно для дела, потому что один человек повлиять на большинство не может.

Посников, как истинно порядочный человек, признал мои доводы правильными, предложил мою кандидатуру и поддерживал ее, так что я с большим трудом и в хвосте всех был избран в состав комитета.

Занятия комитета шли очень нерегулярно, никаких повесток не рассылалось, и несмотря на то, что я очень старался не пропустить первого заседания, все-таки попал на него с опозданием. Вместо законных 12 членов я застал там целую толпу; оказалось, что первым делом комитета было увеличение своего состава кооптированием 40 человек, на что он, в сущности, даже и права не имел.

Для чего этот деловой орган был обращен в митинг, мне неизвестно; знаю только, что это не имело персонального характера привлечения известных лиц или учреждений, а так просто решили увеличить состав на сорок человек, считая, вероятно, работу толпою более продуктивною.

Настроение царствовало в комитете чисто эс-эровское; в его составе находилось несколько членов этой партии, имевших некоторую известность в литературе своими трудами по аграрному вопросу, были земские статистики, были люди, ничего общего с аграрным вопросом не имевшие, и были крестьяне, партийная принадлежность которых неизвестна мне, но крепко объединенные страстным желанием поживиться даром чужим добром.

Как только шингаревский закон о земельных комитетах дошел на места, таковые немедленно сорганизовались, но вдруг оказалось, что в этом законе недостает немногого, а именно, не указано точно, что именно должны делать эти комитеты, и не определены пределы их компетенции. Через несколько времени в Петроград потянулись целые вереницы делегатов от комитетов, преимущественно волостных, уполномоченных разузнать, что собственно им делать. Не может быть, говорили они, чтобы можно было делать все, что угодно; дайте нам инструкцию, что можно и чего нельзя делать, и мы сейчас же начнем работу.

Оказалось, что в центре тоже не знают, что можно и чего нельзя, но были согласны, что необходимо выработать инструкцию, что очень напоминало времена старого режима, когда путем инструкций нередко давались указания, совершенно не вытекающие из текста закона; тогда это объяснялось желанием правительства обойти законодательные учреждения, так как законы вырабатывались последними, а инструкции утверждались министрами.

Таких же случаев, чтобы в законе была пропущена компетенция вновь создаваемых учреждений, я не знаю. Как-никак, приезжие уполномоченные были отпущены по домам с обещанием, что инструкция будет им выслана, но до самого конца существования Временного Правительства они не только ее не получили, но даже в центре ее не выработали, да никто за выработку ее и не принимался. Волостные земельные комитеты начали делать, что только им заблагорассудится, и за это нельзя было быть на них в претензии, потому что такое самоуправство логически вытекало из того положения, в которое они были поставлены самим законом.

Работа в центральном земельном комитете шла своим порядком. По каждому принимавшемуся решению мне приходилось оставаться при особом мнении, но нужно отдать справедливость, что слушали меня внимательно и никаких выпадов по моему адресу не делали.

Условия работы были весьма тяжелы, так как бывало чрезвычайно трудно узнавать, когда будут заседания, и попадать в них; повидимому, церемониальной частью руко-

водила какая-нибудь партийная организация, потому что эс-эры всегда бывали обо всем осведомлены.

Вскоре после учреждения земельных комитетов в Петрограде состоялся крестьянский съезд, совершенно эсэровский по составу, который Чернов и К° считали своим во всех отношениях.

Ленин, пребывавший в это время в Петрограде на легальных основаниях, обратился с просьбой к эс-эрам допустить его на этот съезд и разрешить ему обратиться к съезду с речью, и ему это было разрешено. Как раз в тот день, когда Ленин должен был выступить на крестьянском съезде, происходило заседание главного земельного комитета, на котором присутствовали все эс-эровские воротилы.

Вдруг среди заседания вбегает какой-то человек, начинает обходить всех эс-эровских тузов и что-то им на ухо сообщать, после чего они немедленно подымаются с мест и торопливо исчезают. Оказывается, что Ленин произнес речь на крестьянском съезде и закончил ее предложением принять резолюцию, им тут же оглашенную.

Резолюция была, конечно, составлена в самом левом духе, соответствующем большевистской политике, и была принята аудиторией настолько сочувственно, что крестьяне пожелали немедленно ее вотировать.

Тогда был послан гонец за отсутствовавшими эс-эрами, чтобы как-нибудь помешать принятию этой резолюции вместо предложенной социалистами-революционерами, считавшими принятие своей формулы надежно обеспеченным.

Эс-эры и их лидеры лезли из кожи, чтобы уговорить съезд отказаться от резолюции Ленина и принять внесенную ими, но этого сделать им так и не удалось; с большим трудом удалось им только изменить категорически-повелительную формулу Ленина в пожелание, и в таком виде она была принята подавляющим большинством.

Этот эпизод еще лишний раз доказывает, до какой степени ненадежный материал с партийной точки зрения представляют крестьяне и как легко они поддаются радикализму, раз идет вопрос о понятных им материальных интересах.

Смена на министерском посту Шингарева Черновым ничем не отразилась на работе главного земельного комитета. Шингарев никогда его не посещал, Чернов — крайне редко, деятели в нем как были эс-эры, так и остались; при этом обнаружилось, что Чернов, с аграрною политикой которого довольно часто не соглашалось правительство, в состав которого он сам входил, своими постановлениями отвергавшее некоторые его предложения, с этим не считался.

Не имея возможности проводить свои мысли через свое министерство, он вел свою пропаганду через своих партийных агентов, так что получалось нередко противоречие между политикой министерства и политикой министра Чернова.

Судить об этичности такого поведения Чернова предоставляю читателю, но документы, удостоверяющие такое его поведение, существуют, надлежаще подобранные, и хранятся до поры до времени в надежном месте.

Чернов, повидимому, пользовался среди эс-эров очень большою славою. Когда вспыхнула революция в конце февраля 1917 года, его в России не было, и я помню, с каким уважением к его имени мне говорили, что вот скоро приедет Виктор Чернов; в выражении, с которым эс-эры произносили эти слова, так и слышалось, что „вот приедет барин, барин нас рассудит“.

Приехал, наконец, Чернов, и я, конечно, не замедлил пойти его послушать, как только представилась возможность попасть на заседание, в котором он должен был говорить.

Увидел я мужчину среднего роста, скорее полного, чем худого, с седоватыми, курчавыми волосами и с бегающими глазками. С большим вниманием выслушал я его речь, и у меня невольно возник вопрос, да тот ли это Чернов, про которого так много говорили его единомышленники.

Чисто митинговая речь, без всякого содержания, сказанная хлестко, с цитатами из разных авторов, с претензией на глубокомыслие, но совершенно без всяких мыслей, в общем, так себе, балалайка, да еще рядового свойства.

Потом мне пришлось слушать его не раз, видеть его ближе в роли министра, и первоначальное впечатление, произведенное им на меня, не только не сглаживалось, а как будто даже усиливалось.

Я не забуду никогда той притворно-скромной интонации, с которой он, будучи министром, говаривал: „Куда мне, скромному *селянскому* министру“, подчеркивая свою, якобы, принадлежность к бедному, забитому крестьянству, с которым он решительно ничего общего не имел ни по природе, ни по психологии, ни по пониманию вещей.

Он был прежде всего типичный революционер подполья, эмигрант. Если, может быть, он имел какие-нибудь достоинства в этой области, то в качестве открыто выступающего деятеля и организатора был полным ничтожеством — таково мое глубокое убеждение. Кажется мне почему-то, что и его единомышленники сделали это открытие, познакомившись с ним не по циммервальдским речам его, а увидевши его на деле.

Я думаю, что большевики, сами того не подозревая, оказали России колоссальную, незабываемую услугу тем, что разогнали собравшееся под председательством Чернова Учредительное Собрание.

От него ничего хорошего ждать было нельзя, а худого оно наделало бы отнюдь не меньше большевиков, притом не объявляя никакой диктатуры и террора, а я считаю, что если стране и суждено пережить тяжелый кризис, то выгоднее получить всех скорпионов сразу, чем постепенно.

Когда Совету Рабочих и иных Депутатов стало тесно в Таврическом дворце, он стал искать себе подходящее помещение в городе, при чем находил Смольный институт, в который он потом все же перебрался, неудобным по отдаленности от центра.

Первый свой натиск Совет направил на Зимний дворец, находившийся в ведении художественного совета. Представителю Совета Рабочих Депутатов в художественном совете Н. Д. Соколову было поручено провести этот вопрос, но как Соколов ни старался и какие комбинации ни предлагал, все они были единогласно отвергнуты, и Совета Рабочих Депутатов так в Зимний дворец и не пустили.

Я помню, что когда мы возвращались вместе с Соколовым домой после решительного заседания по этому вопросу, то он с горечью заметил: „Максимализм в политике — максимализм в искусстве", желая этим сказать, что нами в решении этого вопроса была допущена такая же крайность, как та, преобладание которой уже начинало замечаться в виде усиления большевистского настроения в Совете Рабочих Депутатов, членом которого он состоял.

6.

Керенский. Общая характеристика.

Керенский, сыгравший столь видную роль в составе Временного Правительства, был впервые выбран в Думу четвертого состава. До этого он в широких кругах был совершенно неизвестен, выступая от времени до времени в качестве присяжного поверенного во всяких политических процессах и в делах, в которых можно было собрать материал для антиправительственной пропаганды.

В этой области, если не ошибаюсь, он принимал весьма энергичное участие в выяснении истории с рабочими на Ленских золотых приисках, ездил туда, опрашивал рабочих и, вообще, собирал обвинительный против администрации материал.

В Государственной Думе его первые дебюты показали в нем молодого, не всегда достаточно уравновешенного, но очень горячего оратора, начинавшего свои речи сравнительно спокойно, но затем, с появлением на его губах пены, способного доходить до высших степеней неистовства.

Законодательной работою Думы он интересовался весьма мало, как и прочие его товарищи—социалисты, и появлялся на кафедре исключительно по запросам и в тех случаях, когда представлялась возможность говорить, по их словам, народу через голову Думы.

У нас в России всегда было много народа, который, принадлежа по своим политическим взглядам к весьма умеренным кругам, питал некоторую слабость к радикальным натурам и был способен ими увлекаться и переоценивать таковые.

Керенский в Думе принадлежал именно к таким лицам, которыми многие увлекались и которых ценили не по достоинству.

Правый фланг Думы в подавляющем большинстве относился к нему отрицательно, но и то не лично, а как к человеку, принадлежавшему к заведомо враждебному лагерю; среди же партий, так сказать, левого центра были люди, которые принимали его всерьез, и неоднократно были делаемы попытки каких-то новых междупартийных соглашений с привлечением к ним Керенского, из которых никогда ничего не удавалось.

Во всяком случае, личность Керенского в Думе переоценивалась, и известная вера в него у других, лучше знавших его, членов Думы держалась вплоть до того момента, когда, попав в правители государства, он показал всем свою истинную натуру, делающую его для мало-мальски крупной роли совершенно непригодным.

Авантюристом, преследующим какие бы то ни было личные цели, он никогда не был, но зато и не обладал ни одним из свойств, необходимых крупному деятелю в какой бы то ни было отрасли.

Пафос и горячность еще никогда ничего не создавали, а твердости, знания людей и основательности в нем не оказалось.

В первые дни революции Керенский оказался в своей тарелке, носился, повсюду произносил речи, полные добрых желаний, не различал дня от ночи, не спал, не ел и весьма быстро дошел до такого состояния, что падал в обморок, как только садился в кресло, и эти обмороки заменяли ему сон. Прийдя в себя, он снова говорил без конца, куда-то уносился, и так продолжалось день и ночь.

Он был так же, как Чхеидзе, и членом Временного Комитета Государственной Думы, и членом Совета Рабочих

Депутатов, принимал это совместительство всерьез, старался служить промежуточным звеном, связывавшим эти два учреждения, лично гораздо больше симпатизируя Совету, но удавалось это ему плохо.

Когда он вошел в качестве министра юстиции в состав Временного Правительства, он самым искренним образом считал себя, как и неоднократно говорил, заложником пролетариата в буржуазном правительстве.

Своим назначением он был очен доволен, и я отлично помню, как в помещении Временного Комитета он, лежа в кресле, горячо говорил о том, на какой недосягаемый пьедестал он поставит в России юстицию.

Речь эта была горяча, искренняя, но оратор, повидимому, забыл, что такими речами ничего не создашь, а нужно уметь творить, к чему, как оказалось, способностей у него не было.

Свою роль заложника у буржуазии Керенский принимал очень серьезно и, пользуясь тем, что за ним стоял Совет Рабочих Депутатов, представлявший реальную силу, не раз и не два, а в виде системы оказывал сильное давление на своих коллег по правительству, если они собирались поступить несогласно с его мнением.

Постепенно его роль в правительстве приняла совершенно ненормальный характер, он из рядового министра превратился в какого-то исполнявшего обязанности министра-уполномоченного Советом, имевшего право veto [1]) по отношению ко всем действиям правительства, которое с таким положением весьма малодушно примирилось и тем самым выкопало себе яму, в которую потом и свалилось.

Керенский сам не понимал, что для руководства страной, хотя бы находящейся в состоянии революции, необходима больше, чем когда-нибудь, авторитетная власть и что он занятой им позицией сам подрывает не только авторитет настоящего, но и всякого будущего правительства, в том числе и своего собственного, если ему суждено быть; между тем, обстоятельства шли так, что усиление власти Керенского в какой угодно форме, до диктатуры включительно, делалось все возможнее.

Последовал частичный министерский кризис, после которого Керенский стал военным министром и главнокомандующим армией. Совмещение таких должностей само по себе нелепо и, в сущности, невозможно в разгар военных действий, особенно, когда, подобно Керенскому, являешься сторонником войны во что бы то ни стало до победного конца, а он, несомненно, держался такого взгляда.

---

[1]) Запрета. *Ред.*

Взяв на себя такую неосуществимую задачу, Керенский, разумеется, не мог не остаться самим собою, то-есть верующим в беспредельную силу слова, и поэтому свел всю свою деятельность к речам.

Речи эти производили впечатление, зажигали, может быть, тех, до ушей которых они достигали, но заменить собою творческую работу они не могли. На фронте кое-где под влиянием его речей войска проявляли чудеса храбрости, но только в пределах действия этих речей, общий же развал, происходивший наряду с другими причинами и от неумения и непригодности власти, продолжался.

Наконец, Керенский очутился во главе правительства. Временное Правительство, первоначально поставленное Государственной Думой и не сумевшее использовать тот авторитет, который оно должно было себе создать даже ценою своего падения в самом начале, постепенно отошло от власти, которая очутилась в руках Керенского, до того ею ослепленного, что он не заметил весьма опасного для него расслоения Совета Рабочих Депутатов и возраставшего влияния товарищей-большевиков.

Вообще, по мере, если можно так выразиться, карьеры Керенского все более вырисовывались слабые стороны его натуры, и хотя увлекавшихся им людей было еще довольно много, но зато увеличивалось и количество убеждавшихся в том, что ему с делом не справиться.

Все более очевидным становилось, что за его речами, которыми он увлекался все более и более, нет и тени того, чем он в этих речах старался казаться, что он, в сущности, — человек слабовольный, увлекающийся внешностью, любящий театральность, и, вообще, не более, чем простой актер, безумно любящий свое театральное дело, но особенным талантом не отличающийся.

Достаточно вспомнить его появления на улице, — а это он очень любил, — не иначе, как в каком-то особенно великолепном автомобиле[1]) с развевающимся над ним громадных размеров флагом, не иначе, как в сопровождении большой военной свиты; всей этой обстановкою он, несомненно, наслаждался.

Жизнь в Зимнем дворце тоже доставляла ему известное удовлетворение, хотя лично он в своих привычках и манерах не имел ничего общего с тем парадом, которым он себя окружал.

В своих речах, к которым у Керенского была большая склонность, он, несомненно, играл, как актер, может быть,

---

[1]) Об этом автомобиле сам Керенский писал в своей „Гатчине“: „Я приказал подать мой превосходный дорожный автомобиль...“. *Ред.*

сам того не сознавая, при чем особенную слабость он имел к амплуа трагика.

Я не могу сказать, чтобы он был талантливым трагиком, мне приходилось видать на сцене трагиков с европейской репутацией, которым он, конечно, в подметки не годился, но в провинции, во второстепенных труппах, таких трагиков встретить можно. Мне почему-то кажется, что Керенский в юности, наверное, был большим любителем сценического искусства, играл в любительских труппах и поражал уездных барышен силою своей экспрессии.

При этом, желая все-таки оставаться беспристрастным, я должен сказать, что притворства сознательного со стороны Керенского не было, и, всегда играя, он бывал искренно убежден, что он не играет, а делает дело, и что именно таким образом дела делаются.

За это, для таких натур, как он, неизлечимое убеждение пострадали и он и верившая в него Россия, что доказывает, что и человечеству в крупном масштабе свойственны ошибки в понимании и оценке людей, ничем не отличающиеся от ошибок никогда ничего не видавших уездных барышень.

Керенский считал себя героем и крупным деятелем, не будучи ни тем, ни другим; в этом — капитальный его недостаток, которому очень способствовало и то, что таковым же считали его многие люди.

В способность масс справедливо оценивать как отдельных людей, так и, вообще, отдельные факты я верю очень мало, а в революционное время, когда наступает состояние массового неравновесия, своего рода массовый психоз, эта способность утрачивается совершенно.

Карьера Керенского в роли спасителя отечества служит лишним доказательством правильности моего воззрения, подтверждаемого целым рядом исторически известных фактов. Поговорка „суд народа—суд божий“ по существу неправильна и является, может быть, пережитком давнишних времен, от которых теперь и следа не осталось.

7.

Государственное Совещание в Москве.

Керенским или состоявшим под его председательством правительством в последние месяцы его существования были устроены два учреждения, смысл и значение которых мне не совсем понятны и до сих пор.

Это были созванное в августе 1917 года в Москве Государственное Совещание и собранное после него в Петрограде нечто вроде парламента с мало известными фун-

кциями, получившее в общежитии название предпарламента. Мне пришлось участвовать в обоих этих учреждениях, и впечатлениями о них, пожалуй, интересно поделиться.

Государственное Совещание было созвано в Москве, в Большом театре, и так как мне предстояло в качестве члена Думы принимать в нем участие, то я с большою старательностью стремился в правительственных кругах узнать, в каких целях оно собирается.

Разузнать это было очень трудно, так как никто определенного ответа дать не мог, но все-таки отчасти выяснилось, что правительство хочет этим путем нащупать, так сказать, общественное настроение для того, чтобы знать, какого направления ему держаться: более правого или более левого.

Ввиду того, что месяца через два должно было собраться Учредительное Собрание, избираемое на основании четырехчленной формулы, казалось бы, по мнению правителей России, лучше всего гарантирующей подлинность народной воли, было совершенно лишним разузнавать временно эту волю путем созыва такого произвольно составленного народного представительства.

Однако, дела правительства шли все хуже и хуже, оно, в сущности, не знало, что делать, и поэтому решилось на созыв московского совещания, надеясь занять им внимание и просуществовать как-нибудь до открытия Учредительного Собрания. К тому же, глава правительства Керенский так любил речи и, вообще, всякие эффекты, что такая форма общения с народом, в действительности оказавшаяся по внешности очень эффектной, его невольно привлекала.

За несколько дней до открытия Государственного Совещания в Москве по инициативе Государственной Думы было созвано совещание общественных деятелей, вокруг которого объединилась вся правая половина Государственного Совещания, состав которого был определен правительством путем предоставления права участия в нем различным группам населения согласно составленному на этот предмет расписанию.

Чем руководствовалось правительство при составлении этого расписания, мне неизвестно; знаю только, что правых и левых в совещании было почти поровну, так что средний проход театрального партера составлял весьма ясно заметную границу между этими двумя половинами.

Центральное положение занимала группа кооператоров, так что, если бы дело доходило до голосования, то присоединение ее к той или другой половине давало бы перевес, но до голосования дело не доходило, и все совещание свелось к вступительной речи Керенского, речам некото-

рых министров по их отраслям, речи Корнилова, заявлениям или речам групп и заключительной речи опять Керенского.

Предварительные заседания совещания общественных деятелей проходили довольно оживленно в обсуждении происходившего и в попытках объединиться с некоторыми левее стоявшими группами, что, в общем, к благоприятным результатам не привело, так как события не дошли еще до того, чтобы правые могли достаточно полеветь, а левые достаточно поправеть в целях найти общий язык.

В совещании общественных деятелей мне пришлось впервые увидеть генерала Юденича, тучного генерала, упорно промолчавшего все время, пришлось увидеть там же бывшую знаменитость Г. С. Петрова, когда-то гремевшего духовного оратора, и, боже, в каком виде! Он попросил слова и произнес торопливым, захлебывающимся голосом речь, в которой и тени не осталось от бывшего оратора ни по форме, ни по смыслу.

Наконец, открылось заседание Государственного Совещания. Обстановка, действительно, была эффектна. Красивый театральный зал, великолепно освещенный, с поднятым занавесом, на сцене, на первом плане к левой стороне — длинный стол, за которым сидело правительство, к правой — трибуна для оратора; за ними — целый ряд стульев, занимавший все пространство очень глубокой сцены, для лиц, которым не нашлось помещения в партере.

Весь партер и первые два яруса лож заняты были членами совещания, а выше, до райка включительно — публикой. Всей церемониальной частью заведывала комиссия под председательством министра, не помню чего [1]) Никитина, человека, не знаю чем известного, но только не любезностью. Настроение зала было повышенно торжественным.

Свою вступительную речь Керенский говорил совсем не так, как обычно; очевидно, для такого торжественного случая он выбрал другую манеру, вместо обычной для него торопливости и некоторого захлебывания он медленно выпускает фразу за фразой, отчего лицам, привыкшим его слушать, речь его кажется на этот раз искусственной и деланною.

Передавать содержание его речи, да и вообще речей, в Государственом Совещании произнесенных, я не буду, так как они были тогда целиком напечатаны в газетах. Остановлюсь только на некоторых эпизодах, никакого отношения к речам и к целям этого совещания не имевших.

---

[1]) Почт и телеграфов. *Ред.*

Правительство, т.-е. все министры во главе с Керенским, разместилось за большим столом на сцене, а за креслом Керенского стояли все время, вытянувшись, руки по швам, два офицера, его адъютанты. Находившиеся в числе участников Совещания офицеры были возмущены тою ролью, которую заставляли играть лиц, носивших офицерскую форму, и в первый перерыв послали сказать этим адъютантам, что, если они хотят исполнять лакейские обязанности, то пусть снимут военную форму; если же они — в форме, то должны блюсти офицерское достоинство. В результате после перерыва оба адъютанта оказались уже сидевшими.

Керенский произнес речи вступительную и заключительную. В последней он хотел, повидимому, ответить на усмотренный им в речах упрек в отсутствии энергии и силы и поэтому пустился во вся тяжкая в смысле красноречия.

Он не то рычал, не то кричал: „Вы крови хотите, так я вам дам крови", на что послышался из верхних ярусов чей-то плаксивый женский голос: „Не надо".

Одним словом, трагические эффекты были пущены во-всю, но ни на кого, кроме истерических девиц, никакого впечатления они не произвели, и Керенский выяснился в истинном свете присущей ему слабости гораздо сильнее, чем до этого совещания.

Покойный генерал Каледин, один из умнейших наших генералов, сказал мне в перерыве после речи Керенского, которого он слышал и видел в первый раз: „Я редко видел человека, который бы так старался доказать свою силу и вместе с тем оставлял такое яркое впечатление безволия и слабости".

Присутствовавшие в качестве зрителей американские врачи, стоявшие во главе находившейся тогда в России американской краснокрестной миссии и, разумеется, ни слова не понимавшие по-русски, на мой вопрос, как им все происходящее нравится, ответили: „Это — все великолепно, но мы, к сожалению, не могли понять, что говорилось, но на нас, как на врачей, речь Керенского произвела такое впечатление, как будто человек говорил под влиянием какого-нибудь наркотического средства, которое перестало действовать раньше, чем он окончил свою речь".

Это, может быть, бессознательная, но злая и меткая характеристика красноречия Керенского, всегда старавшегося вогнать себя в состояние исступления, знаменующее, по его мнению, силу.

Особое значение было придано выступлению на Государственном Совещании генерала Корнилова. Еще до его выступления носились какие-то неопределенные слухи о контрах его с Керенским, о том, что не то Керенский хочет его аресто-

вать, не то Корнилов хочет арестовать Керенского, одним словом, нечто весьма смутное.

Корнилов, бывший тогда верховным главнокомандующим, действительно приехал в Москву довольно необычным образом; во-первых, на очень короткое время, в своем специальном поезде, под охраною своего конвоя, состоявшего из каких-то восточных людей в белых папахах.

Поезда Корнилов в Москве не покидал, жил в нем и только выезжал один раз в Большой театр для произнесения своей речи, и то под охраною своих собственных телохранителей.

Вообще, во всем его приезде было что-то ненормальное, доказывавшее, что происходит какое-то скрытое брожение.

Корнилов был встречен весьма бурными овациями правого фланга Государственного Совещания и произнес речь, чрезвычайно бесцветную; нужно сказать, что покойный генерал оратором не был, но даже по содержанию эта речь не блистала особыми достоинствами.

8.

Заговор Корнилова.

Около этого времени группа молодых офицеров из ставки пожелала переговорить совершенно конфиденциально с некоторыми из более видных членов Думы; было устроено совершенно тайно небольшое собрание, на котором офицеры заявили, что они уполномочены Корниловым довести до сведения Думы, что на фронте и в ставке все готово для свержения Керенского и что нужно только согласие Государственной Думы на то, чтобы весь замышляемый переворот велся от ее имени и, так сказать, под ее покровительством.

Члены Думы отнеслись к этому предложению с большою осторожностью, стали подробно расспрашивать офицеров о том, что организовано, да как, и после продолжительного допроса пришли к единогласному заключению, что все это поставлено до такой степени несерьезно, что никакого значения придавать делаемому предложению нельзя, и поэтому отказались даже разговаривать по этому предмету с Корниловым. Из всех членов Думы поехал к Корнилову в его поезд один Милюков, имевший с ним разговор, содержание которого мне неизвестно.

Относительно Корнилова нужно сказать, что общераспространенное мнение о нем, как о человеке выдающемся, было весьма далеко от истины. Не может быть сомнения, что он был человек безумной храбрости, предприимчивости, но талантов, присущих крупному вождю, он не выказал,

может быть, потому, что не имел случая, но вернее потому, что не обладал ими.

Его репутация храбрости была твердо установлена как в армии, так и среди руководящих кругов ее, но в смысле командных способностей он принадлежал к той группе генералов, карьера которых ограничивается максимум начальником дивизии.

Он был первоклассным начальником боевой части, но не обладал ни достаточными способностями, ни достаточным умом для более крупной роли руководителя.

Таково было мнение специалистов военных, которых ни в коем случае нет оснований подозревать в ревности к Корнилову, которого они хорошо знали и любили.

С политической стороны Корнилов, затеявший весь свой поход против Керенского, оказался сущим младенцем по наивности, непониманию обстановки и мягкости характера, отдавшей его в руки окружавших авантюристов весьма невысокого разбора.

Весь заговор против Керенского был создан совсем не Корниловым, а кучкою людей из штаба, которые вовлекли его в эту авантюру.

Корнилов, которого нужно судить только как военного, а не как политика, так как в политике он ничего не понимал, совершил величайшую ошибку, непростительную для вождя; он оказался совершенно неосведомленным об истинном настроении состоявших под его командой армий, вследствие чего его затея провалилась даже с чисто военной точки зрения.

Я далек от мысли возводить на Корнилова, как на человека, какие бы то ни было обвинения в чем либо предосудительном; он был честен безупречно, храбр бесконечно и движим самыми высокими побуждениями в желании спасти родину, но умным человеком он не был и в сложных политических обстоятельствах совершенно не разбирался.

Не нужно забывать, что в это время уже назревало намерение большевиков захватить власть, и в Совете Рабочих Депутатов происходило соответственное брожение. Если бы Керенский спелся с Корниловым в смысле взаимной работы по ликвидации большевиков, то, конечно, октябрьского переворота не произошло бы; было ли бы это лучше, или нет, — вопрос другой.

Весь секрет — в том, что оба эти человека были совсем не государственные люди по своим способностям и отпущенным им господом богом талантам; поэтому такую простую вещь, как взаимная работа, делать не могли, предпочитая заняться взаимоистреблением. Большевикам это было только на руку.

Покушение Корнилова на свержение Керенского форменно провалилось даже без особенного усилия со стороны этого последнего, до такой степени оно было легкомысленно задумано. Но Керенскому этот эпизод, несомненно, вскружил голову и заставил относиться еще пренебрежительнее и легкомысленнее к его истинным врагам — большевикам, такою легкою жертвой коих он скоро сам пал.

Керенским после Московского Государственного Совещания было создано еще одно учреждение, членом которого мне довелось быть и которое называлось Предпарламентом. Как оно называлось официально, я совершенно не помню [1]), для чего оно было создано, мне тоже никогда не было понятно.

Вероятнее всего — для того, чтобы было перед кем произносить речи. Другого смысла это просуществовавшее несколько недель учреждение не имело, так как высказываться и выносить постановления оно не имело права.

Припоминается мне что-то весьма смутное о том, что Керенский уподоблял Предпарламент своего рода пульсу общественного настроения, который ему в таком виде легче было щупать, но наверно утверждать, что он именно так относился к этому учреждению, я не берусь.

Во всяком случае, в Предпарламенте говорили, говорили без конца, и 25 октября 1917 года тоже собирались говорить, когда в этом учреждении появились войска и без церемонии вытолкали прикладами всю публику на улицу, положив этим конец как Предпарламенту, так и вообще всему режиму Керенского...

---

[1]) Речь идет о Временном Совете Республики. *Ред.*

Н. П. КАРАБЧЕВСКИЙ.

Что глаза мои видели [1]).

Окунувшись снова в сутолоку повседневной адвокатской жизни, сталкиваясь с множеством людей, поглощенных исключительно своими личными, не всегда почтенными интересами, улавливая нетерпеливое настроение тыла, жаждущего как можно скорее отделаться от повседневных неудобств, сопряженных с продолжением войны, чуя, наконец, что под шумок всюду ведется настойчивая революционная пропаганда по трафарету 1905—1906 годов, и сознавая, что на этот раз ее результаты могут быть гораздо острее, я переживал мучительные часы ночной бессонницы.

Оторванный в течение дня неотложной текущей работой, казавшейся мне теперь пустой и ненужной, мой мозг начинал обыкновенно тревожно работать ночью, когда, лежа в постели, я тщетно силился уснуть.

Прямой уверенности в том, что не пройдет и двух месяцев, как все вокруг развалится, и прахом пойдут все жертвы и успеяния родины в этой беспримерной войне, конечно, у меня не было, но какое-то гнетущее предчувствие огромной беды меня уже не покидало.

Все этому способствовало.

Шептуны более чем когда-либо шептали и предрекали. Государственная Дума эффектнее, чем прежде, пускала фейерверки своих трескучих словоизвержений, не соображая их ни с моментом, ни с ближайшей государственной задачей. Как крысы, бегущие с обреченного на гибель корабля, уходили все сколько-нибудь „приличные“ сановники и министры. Тень Распутина более зловеще, чем когда-либо, витала в закоулках Царскосельского дворца, и „прогрессивный паралич“ Протопопова царствовал безраздельно в своем фантастическом величии.

---

[1]) 2 тома. Берлин, 1921 г. Мы приводим здесь салонную „causerie“ (болтовню) известного русского адвоката, как дающую чрезвычайно характерную картинку тех чувств и настроений, которые возбудила Февральская революция в наших либерально-буржуазных кругах. Небезынтересен также и нарисованный автором образ будущего председателя Временного Правительства. *Ред.*

— Пока мы у власти,— отпускал он направо и налево,— революция будет подавлена в самом корне, за это я ручаюсь!

И ему твердо верили в Царском Селе; благословляли даже судьбу, пославшую, наконец, России как раз в нужную минуту столь просвещенный, имевший и на Западе блестящий успех, государственный ум. Государю приписывали следующую фразу относительно выбора Протопопова:

— Чего еще они от меня хотят? Я взял товарища председателя Государственной Думы... Раз он был ими избран, значит Дума ему доверяла и ценила его. Иностранная пресса в течение его поездки с Милюковым и другими думскими выдвигала его преимущественно... Союзники от него в восторге... Кого мне было еще искать? Они не знают сами, чего хотят!..

А в это время бойкотируемый Думой, высмеиваемый в печати, игнорируемый общественными организациями Протопопов в действительности был уже сумасшедшим. Он без толку носился в Парголово к бурятскому врачевателю Бадмаеву, бывшему приятелю Распутина, где, как говорят, имел таинственные совещания с „нужными“ людьми.

Революционный авангард тем временем не дремал. Момент слишком благоприятствовал. В руках „оппозиции“ был такой отличный козырь: раздувать опасения сепаратного мира, будто бы не только замышляемого, но чуть ли не готового уже к подписи в Царском. Эта версия усиленно пускалась в ход яко-бы ради подъема патриотического настроения обленившегося тыла.

Настоящего войска в Петрограде больше не было. Гвардия, спасшая Париж своим наступлением в Восточной Пруссии, более не существовала. Оставались от нее только вновь сформированные запасные батальоны, немногого стоящие.

Но и это было только каплею в море по сравнению с массою того призывного, с военной точки зрения сорокалетнего хлама, который без всякой энергии муштровался на площадях и в переулках Петрограда.

Некоторый недостаток в продовольствии также начинал ощущаться: более или менее длинные хвосты уже начинали вытягиваться по улицам у мясных и хлебных лавок.

Люди со средствами, однако, не терпели еще недостатка ни в чем. Пиры еще задавались, и лучшие рестораны изобиловали не только посетителями, но и всем, чем можно было удовлетворить их изысканные аппетиты.

Театры и кинематографы, как всегда, были переполнены. Всюду чувствовалось, что „тыл“ не стесняется в средствах.

Приток их ощущался и в таких общественных слоях, где раньше они были только в обрез.

А шептуны-предсказатели все накликали неизбежность революции. Они не уставали твердить о полном расстройстве транспорта и о быстро имеющем надвинуться голоде не только для Петрограда, но и для боевой северной армии.

О каком-либо правительственном курсе в это время смешно было не только говорить, но даже помышлять.

С каждым новым назначением власть все распылялась и распылялась, превращаясь в нечто абсолютно мифическое. Бедный царь ездил в Ставку и обратно, сжимал в своих объятиях неразлучного с ним любимого сына, и — увы! — не чувствовал и не сознавал, что под его ногами уже звучит зловещая пустота. Незримой для него подземной работой пропасть подкопана была уже под его ногами. Еще шаг, другой, — и уже безразлично, твердый или осторожный, — и подкоп неминуемо обрушится, и пропасть поглотит его.

Все, кто были наиболее преданы и близки ему, уже были устранены или сами оставили царя.

Убийство Распутина в великосветской ночной засаде, с цитированием при этом таких имен, как кн. Юсупова, в. кн. Дмитрия Павловича и монархиста Пуришкевича, и почему-то подозреваемых яко бы соучастников их, таинственных агентов английского посланника Бьюкенена, пробило первую кровавую брешь в царскосельском гнезде.

„Никому не позволено заниматься убийствами“! — была, будто бы, резолюция царя на ходатайствах великих князей об отмене высылки в. кн. Дмитрия Павловича [1]).

* * *

Убийство Распутина оправдывалось главным образом решимостью устранить опасность сепаратного мира. Но и после этого убийства все осталось по-старому. Власть не обновлялась, и те же опасения эксплоатировались по-прежнему.

Петроград продолжал пока-что усиленно веселиться и либерально судачить, носясь со стишками по адресу „стоящего у власти“ Протопопова:

„Про то Попка знает,
Про то Попка ведает!“.

Глупые стишки обошли вскоре всю Россию, и шарада их тайного смысла услаждала сердца доморощенных патри-

[1]) Подробности об этом см. у Палей (стр. 345). *Ред.*

отов. Гадали еще о том, будет ли предан суду Сухомлинов, бывший военный министр, и притом не иначе, как в качестве „изменника“, хотя все отлично сознавали, что этот слабовольный рамолик мог быть повинен в чем угодно, только не в измене. Не все ли равно, раз по настроению общества жертва была необходима!

Протопопов долго не решался освободить Сухомлинова от предварительного заключения в Петропавловской крепости, куда его демонстративно засадил Штюрмер, гораздо более Сухомлинова близкий к измене.

Когда Сухомлинова выпустили из крепости под домашний арест, стали толковать: „толпа ворвется в его квартиру и растерзает его“. Но толпа и не думала о нем. Спекулирующие якобы возмущенным патриотическим чувством искали только предлога подчеркнуть лишний раз наличность измены у самого подножья трона.

Пробовали пошатывать и самый трон, правда, выделяя еще самого царя, но так обидно, что лучше бы не выделяли.

Так работал тыл.

* *
*

Когда революционный эксцесс извергается, как лава из кратера огнедышащей горы, предостерегающие явления, естественно, предшествуют. У нас еще накануне „великой революции“, т.-е. глубочайшего переворота для всей России, явных предзнаменований того, что должно было случиться, для непосвященного в подпольную работу еще не обнаруживалось.

Широкая публика ничего не подозревала [1]).

26 февраля, в субботу [2]), состоялся, много раз откладывавшийся по случаю запоздания в изготовлении художником Головиным декораций, юбилейный бенефис драматического артиста Ю. М. Юрьева.

Зал был переполнен избранною публикою. Лермонтовский „Маскарад“, обставленный с небывалою, даже для императорского театра, роскошью, в Мейерхольдовской постановке, переносил зрителей в область, чуждую тревол-

---

[1]) Речь идет, разумеется, о „высокопоставленной“ и обывательской публике. *Ред.*

[2]) Дни автором явно перепутаны: в субботу было не 26, а 25 февраля, а 26-е число приходилось в воскресение. Так как через полстраницы автор заявляет, что и на следующий день он был в театре, и так как невероятно, чтобы 27 февраля, в день победы революции, он не заметил последней, то, очевидно, здесь речь идет не о воскресенье 26 февр., а о субботе 25 февраля. *Ред.*

нениям дня, чуждую политике, всецело погружая душу в круг личных, интимных страстей и переживаний.

Отдыхали глаза, наслаждался слух чудным лермонтовским стихом, и уличная сутолока еще не врывалась в театральное зало, как это неизбежно случалось два-три дня спустя.

Бенефициант был в ударе, и ему много аплодировали. Когда его чествовали при открытом занавесе, режиссер подал ему первым „подарок от государя императора", вторым — от „вдовствующей императрицы Марии Федоровны". Оба эти подношения удостоились бурных оваций, одинаково демонстративных и по адресу бенефицианта и по адресу царственного внимания к русскому заслуженному артисту. Отмечали только, что государыня Александра Феодоровна, не посещавшая русский драматический театр и вообще редко показывавшаяся публично, ничем не откликнулась.

Случилось так, что и на другой день мы были в театре, на этот раз, — в Мариинском, где был наш абонемент в балете.

Днем у моей жены были визитеры, главным образом, из военных. Разговоры были характерные. Заезжий провинциальный „уполномоченный", бывший кирасир, редко наезжавший в Петроград, возбужденно толковал: „Говорю вам, и казаки в рабочих стрелять не будут, о солдатах и говорить нечего. Я побывал в военных кругах Петрограда, против Думы никто не пойдет!"

В это время усиленно поговаривали о том, что Думу по высочайшему повелению распустят и что она решила добровольно этому не подчиниться.

Другой военный, бывший лейб-улан, теперь штабной, возмущаясь этим, все-таки возлагал надежду на казаков и советовал „уполномоченному" не болтать вздора.

Артиллерийский полковник, стоявший со своей вновь сформированной батареей в Петергофе, приехал на воскресенье в Петроград, чтобы побывать в балете, и не хотел верить ни роспуску Думы, ни серьезным военным столкновениям.

Под вечер полковник Б., состоявший уже при четвертом министре внутрених дел (начиная с Хвостова) „для поручений", телефонировал нам и дружески советовал не ехать сегодня в балет, особенно в автомобиле, так как кое-где предвидится стрельба, толпа может нагрянуть и в освещенный a giorno Мариинский театр.

— У страха глаза велики! — решила жена, подбодренная спокойствием артиллерийского полковника и бывшего лейб-улана, приглашенных к нам в ложу. Обнаружить за-

ранее трусость казалось ей позорным, и мы поехали, и притом, как всегда, в автомобиле.

По дороге, на Дворцовой набережной, встречали конные наряды казаков, но в общем все, казалось, было спокойно; выстрелов не слышали. Говорили, что на Выборгской стороне идут столкновения рабочих с полицией, и казаки, будто-бы, уже хлещут встречных нагайками.

В зале театра, несмотря на первый, самый балетоманский абонемент и участие выдающейся балерины, было пустовато. Ясно было, что страх уже обвеял театральных завсегдатаев. К Кюба ужинать после спектакля, как бывало аньше, не поехали.

Военные спешили восвояси: один — в Петергоф, к своей батарее, другой—в главный штаб за вестями.

Обратный путь к дому совершили еще благополучно, заметили только, что Морская и Невский проспект необычно пустынны. В такой час они обыкновенно еще кишели народом.

Кто-то в театре передал пущенный по городу слух, что будто-бы на чердаках домов всюду расставлены полициею пулеметы. Вероятно, этот слух и разогнал публику.

На следующий день и в последующие два дня революция была уже в полном ходу.

Понеслись по городу автомобили, наполненные вооруженными бандами солдат, с красными отметинами.

На окраинах и мостах, ведущих к окраинам, завязывались настоящие сражения. Из тюрем выпускали уже арестантов. Горело здание судебных установлений, сжигались судебный и прокурорский архивы.

С опасностью для жизни бывшие в здании суда адвокаты спасали ценные портреты наших старейшин, украшавшие комнату совета присяжных поверенных.

У Таврического дворца, где собралась Государственная Дума, войска, переходившие на сторону Думы, образовали компактную охрану и явились ядром, бесповоротно решившим судьбу России.

По Знаменской улице, мимо наших окон, носилась на открытых автомобилях вооруженная молодежь из студентов, рабочих и гимназистов; к ним примыкали девицы в наряде сестер милосердия.

Уже к вечеру первого дня было ясно, что мечты Протопопова о подавлении революции не осуществились. Сам он через черный ход сбежал из своей министерской квартиры, пока толпа врывалась в соседнее помещение департамента полиции, чтобы громить его. Некоторое время он укрывался у знакомого зубного врача, но тот побоялся дольше держать его, и он явился „сдаться“ в Думу.

Городовых тем временем беспощадно убивали. Полицейские дома и участки брали приступом и сжигали; с офицеров срывали ордена и погоны и обезоруживали их; протестовавших тут же убивали.

К нам во двор вечером пришли „брать автомобиль“. Перепуганный шоффер скрылся, но автомобиль пришлось выдать, так как банда была вооружена, и его взяли бы силой.

В соседних домах автомобили и оружие забирали всюду, и налеты эти сопровождались обыкновенно победными выстрелами.

Мне передавали, что в группе молодежи, отбиравшей мой автомобиль, кто-то сказал:

— Тут не надо стрелять, зачем беспокоить Н. П.! — назвал меня кто-то по имени и отчеству.

Кто был этот благодетель: студент, рабочий или помощник присяжного поверенного?.. Тщетное любопытство... Тогда все перемешалось.

На соседнем дворе убили дворника за то, что он не сразу раскрыл ворота. Лазили по чердакам, все искали пулеметов и оружия.

К нам с обыском в особняк милостиво не пришли: спросили только у дворника: не ставила ли полиция пулемета на чердаке. Поверили на слово, что пулемета не имеется.

Легенда о пулеметах на чердаках домов сыграла вообще не малую роль.

Была ли верна подобная версия или это была только провокационная сказка, не берусь решать[1]). Но рассказы относительно пулеметов давали отличный повод обстрелять любой дом и забраться в него с самыми разнообразными целями и намерениями.

Жертв революции, т.-е. убитых, по крайней мере, в первые дни, было мало (городовые, которых беспощадно убивали, конечно, не в счет), почему ее прославили даже „бескровной“ [2]), впоследствии она выросла уже в „великую“.

Власти, войско, полиция,—все, что призвано охранять „существующий порядок“, сдало страшно быстро. Пошла настоящая феерия. Ко дворцу Государственной Думы стали стекаться толпы, как толпы правоверных в Мекку.

---

[1]) В действительности полицейские пулеметы на чердаках, на колокольнях, на каланчах далеко не были „легендой“ и „провокационной сказкой“. Они довольно энергично „работали“ в воскресенье, 26 февраля, а частью и в следующие дни. *Ред.*

[2]) А это уже безусловная легенда. Если скинуть со „счета“ любезных автору городовых, то одни лишь убитые ими рабочие и солдаты насчитываются сотнями, — число не столь уж малое, чтобы иметь право говорить о „бескровности“ революции. *Ред.*

Тут был центр, гвоздь, Синай и таинственные еще пока, под облачной завесой, скрижали „нового завета“.

Имя Родзянко было на всех устах. Одна из наших горничных, Марина, недалекая, но считавшая себя образованной, потому что вела знакомство с „распропагандированным“ писарем из штаба, вечно бегала к Думе и приносила в буфетную новости.

— Как Родзянко только показался, сейчас ему „ура“ по всей площади... Милюков тоже нынче говорил, про проливы поминал, ему в ладоши хлопали...

Только ленивый не говорил тогда перед Думой, и всех „одобряли“ одинаково. Раз Марина выпалила и такую новость: „А хорошо, если бы Вильгельм согласился царствовать над нами... Он умный, не то что наш!...“.

Наконец, пришла весть об отречении царя.

В первую минуту как будто все ожили: вступит на престол Михаил, будет конституция, будет ответственное министерство, фронт не развалится, все пойдет своим чередом, спокойствие восстановится.

Не тут-то было.

„Прозорливые“ вожди революции убедили в. к. Михаила отказаться впредь до созыва Учредительного Собрания. Говорили, что Керенский и Набоков запугивали его, уверяя, что он тотчас же будет убит.

У менее прозорливых тут уж совсем руки опустились...

Выходя на улицу, все нацепляли красные банты и ленточки; особенно старательно—обезоруженные офицеры.

Я и мои близкие этим не согрешили.

Было противно тотчас же перекрашиваться.

Великие князья по очереди спешили засвидетельствовать свое почтение перед революцией. Командир флотского гвардейского экипажа в. к. Кирилл Владимирович сам привел свой экипаж в Думу для присяги Временному Правительству. В. к. Николай Михайлович носился по городу в штатском платье и имел сияющий вид. Окончательно олибералившиеся тем временем газеты беспощадно хлестали „лежачего“, отрекшегося царя, выливая на него и на его семью ушаты грязи, перетряхивая всю распутиновщину и сдабривая ее пикантною ложью.

Иначе, как на „демократической республике“ никто уже не хотел мириться.

„Великая“ разыгралась во-всю.

* * *

Часов в 10 утра 3-го марта меня вызвали к телефону.

— Кто говорит?

— Н. П., с вами говорит министр юстиции А. Ф. Керенский. Сегодня в ночь сформировано Временное Правительство. Я взял портфель министра юстиции...

— Поздравляю вас.

— Н. П., забудем наши разногласия. Вы должны помочь мне сформировать состав министерства и сената... Я хочу поставить правосудие на недосягаемую высоту...

— Прекрасная задача!

— Не можете ли вы собрать ваших товарищей по совету [1]) сегодня же? Я хотел бы посоветоваться, чтобы наметить кандидатов...

— Помещение нашего совета погибло при пожаре здания судебных установлений.

— А вы не хотите принять меня у себя!

— Буду рад, если это вас устроит: в котором часу?

— После трех, можно?

— Буду ждать.

Перезвонившись с делопроизводителем, я распорядился оповестить членов совета и просил их собраться к трем часам у меня, в помещении моей канцелярии.

К трем часам почти все, находившиеся в Петрограде, товарищи по совету были в сборе.

„Определенно-левые" ликовали. Остальные, в том числе и я, без энтузиазма принимали совершившийся факт, с твердым намерением помочь правосудию удержаться на должной высоте.

Общим оттенком настроения было изумление перед столь быстрой сменой декораций. На это, повидимому, не рассчитывали наиболее оптимистически настроенные вожди революции. Члены Государственной Думы, решившие не подчиняться приказу о роспуске Думы, имели при себе, как говорят, яд, на случай неудачи и захвата их правительственными силами, что представлялось им довольно вероятным.

В 3 часа в мою канцелярию без доклада суетливо проник громоздкий, но озабоченно-подвижный граф А. А. Орлов-Давыдов, член Государственной Думы, какими-то таинственными, психологическими нитями очень привязанный к Керенскому.

— Здравствуйте, что скажете? — встретил я графа, которого знал хорошо, так как был одно время его адвокатом.

---

[1]) Здесь, а также и дальше, речь идет о так называемом „совете присяжных поверенных", возглавлявшем тогда адвокатское „сословие". *Ред.*

— Я от Александра Федоровича... Он просил меня предупредить вас, что немного запоздает, его задержали в Думе... Вы мне позволите дождаться его у вас?.. Я должен потом ехать с ним...

Я провел графа в соседнюю комнату, и он расположился там курить и терпеливо ждать.

Довольно скоро после этого в передней послышалось движение. Швейцар суетливо распахнул двери моего рабочего кабинета, где заседали мы, и в него быстрыми шагами вошел Керенский. Он был в черной рабочей куртке, застегнутой наглухо, без всяких признаков белья. За ним следовал молодой присяжный поверенный Д. в военно-походной форме, как „призванный“, работавший в какой-то военной канцелярии.

Керенский отрекомендовал нам его, как „офицера для поручений“ при нем, министре.

Граф Орлов-Давыдов не выдержал и высунул свою густо обросшую волосами любопытствующую физиономию из двери, чтобы насладиться зрелищем.

От имени совета присяжных поверенных я приветствовал нового министра юстиции, высказав ему пожелание быть стойким блюстителем законности, в которой так нуждается Россия.

Он отвечал тепло и искренно, называя нас своими „учителями и дорогими товарищами“, после чего облобызался с каждым из нас.

Мы усадили его в кресло. Одну секунду он был близок к обмороку. Я распорядился подать крепкого вина, и он, глотнув немного, оправился.

Я сидел рядом с ним и дотронулся до его похолодевшей руки. Он крепко пожал мою.

Какая-то глубокая, затаенная жалость в эту минуту мирила меня с ним.

— Уже закружилась голова, — подумал я, — что-то будет дальше!..

— Я устал, ужасно устал! — как бы отвечая на мою тайную мысль, окончательно очнувшись, начал Керенский.— Три ночи совершенно без сна... Зато свершилось... Свершилось то, чего мы даже не смели ждать...

Партийные его товарищи,—а их было несколько в составе совета,—тотчас же стали расспрашивать о подробностях сформирования Временного Правительства.

Керенский перечислил всех, при чем отметил, что самым радикальным является он, министр юстиции и генерал-прокурор, и что в деле правосудия не будет места никаким компромиссам, за это он ручается. Основательную чистку именно надо начать с нашей юстиции. Сенаторы и судьи

несменяемы; он, конечно, высоко ценит этот принцип, но с большинством, не нарушая принципа, можно будет справиться... хотя бы путем предложения повышенных пенсий...

— Александр Алексеевич нам это устроит, не правда ли? — обратился он с этими словами к члену совета Демьянову, бывшему тут же, и продолжал. — Я назначаю вас, А. А., директором департамента министерства юстиции по личному составу... Надеюсь, вы соглашаетесь... Господа, вы одобряете?..

Никто не возразил, в том числе и сам Демьянов.

А. А. Демьянов, очень милый и мягкий, несмотря на свою ярую партийность, человек, был из адвокатов, делами не заваленных, и в качестве члена докладчика по советским делам, отличался значительной ленцой, с вечными затягиваниями по изготовлению решений в окончательной форме.

Иных отличительных черт его мы не знали.

— Н. П., — порывисто обратился ко мне Керенский, — хотите быть сенатором уголовного кассационного департамента? Я имею в виду назначить несколько сенаторов из числа присяжных поверенных...

— Нет, А. Ф., разрешите мне остаться тем, что я есть, адвокатом, — поспешил я ответить. — Я еще пригожусь в качестве защитника...

— Кому? — с улыбкой спросил Керенский, — Николаю Романову?..

— О, его я охотно буду защищать, если вы затеете его судить.

Керенский откинулся на спинку кресла, на секунду призадумался и, проведя указательным пальцем левой руки по шее, сделал им энергичный жест вверх. Я и все поняли, что это намек на повешение.

— Две, три жертвы, пожалуй, необходимы! — сказал Керенский, обводя нас своим, не то загадочным, не то подслеповатым взглядом, благодаря тяжело нависшим на глаза верхним векам.

— Только не это, — дотронулся я до его плеча, — этого мы вам не простим!.. Забудьте о французской революции, мы в двадцатом веке, стыдно, да и бессмысленно итти по ее стопам...

Почти все присоединились к моему мнению и стали убеждать его не вводить смертной казни в качестве атрибута нового режима.

— Да, да! — согласился Керенский. — Бескровная революция, это была моя всегдашняя мечта[1])...

---

[1]) Впоследствии Керенский с пафосом заявлял, что он не хочет быть Маратом русской революции. Повидимому, это было благотворным резуль-

Выбор двух товарищей министра прошел довольно быстро. Было ясно, что только признак явной принадлежности к его политической партии улыбался новому министру, причем и из этого круга лиц он старательно обходил имена сколько-нибудь яркие.

Обычная ошибка всех, так или иначе добравшихся до власти: боязнь сколько-нибудь сильных людей подле себя, — подумал я после того, как предложенная мною кандидатура прис. повер. Тесленко из Москвы и М. В. Беренштама из Петрограда были им мягко отвегнуты.

В конце концов в товарищи министра юстиции попали два хороших человека и недурных юриста, но, с моей точки зрения, абсолютно непригодные для предстоящей определенно-быстрой, не терпящей отлагательства работы. Оба были скорее тяжкодумы, с невинною наклонностью к неторопливому, о хороших вещах, собеседованию.

Прокурором петроградской судебной палаты кто-то предложил Переверзева. Я попробовал отстоять его, расхвалив его деятельность на фронте, и сказал: „Оставьте его на фронте, пусть он носится там на коне и творит хорошо налаженное дело". Но Керенский уже ухватился за предложенную кандидатуру: — „Пусть носится на коне здесь!.. Это для прокурора от революции будет даже эффектнее. По вашим же словам он энергичный".

— У него энергия мирная, какая идет брату милосердия, для прокурора нужна другого сорта энергия, нужен и опыт и навык,—попробовал я еще.

Кандидатура Переверзева была принята.

Побеседовали мы еще с полчаса и напились чаю.

Керенский, между прочим, нам объявил, что завтра он в качестве генерал-прокурора отправится в сенат для объявления об отречении царя и об образовании Временного Правительства, о чем должно последовать сенатское определение для опубликования.

— А если они (т.-е. сенаторы) вас не признают, так как царь при своем отречении указал на своего преемника?!.. — заметил я.

— Тогда мы, — трогая большим пальцем свою грудь, — их не признаем! — лаконически отрезал Керенский.

Относительно ближайшей деятельности министерства юстиции он посвятил нас в свои планы. Будет немедленно

татом дружеских увещаний Карабчевского и его друзей. Не в пример „кровожадному Марату" Керенский всегда питал отвращение к пролитию царственной и аристократической крови, что, однако, нисколько не мешало ему посильно содействовать пролитию плебейской крови наступлением на фронте, введением смертной казни для солдат и т. д. *Ред.*

образован целый ряд законодательных комиссий для пересмотра законов уголовных, гражданских, судопроизводственных и судоустройственных, при чем положение об организации адвокатуры должно расширить ее автономию и обеспечить полную ее независимость.

Из ближайших законодательных декретов: еврейское равноправие во всей полноте и равноправие женщин, с предоставлением им политическях прав. Наконец, не терпящее ни малейшего отлагательства учреждение особой, с чрезвычайными полномочиями, следственной комиссии для расследования и предания суду бывших министров, сановников, должностных и частных лиц, преступления которых могут иметь государственное значение.

— Председателем этой комиссии я решил назначить московского присяжного поверенного Н. К. Муравьева, — продолжал Керенский, оживляясь от мысли о том, сколько благого им уже предначертано. — Он как раз подходящий. Докопается, не отстанет, пока не выскребет яйца до скорлупы. К тому же и фамилия для такой грозной комиссии самая подходящая... Трепетали же перед Муравьевым Виленским и перед министром юстиции Муравьевым, пусть и наш Муравьев нагонит им трепета...

На прощание Керенский, как бы уже окрыленный оказанным ему дружеским приемом, снова расцеловался с нами.

Граф Орлов-Давыдов выскочил из своей засады и, опередив Керенского, помчался к подъезду.

Оставаясь с товарищами в продолжавшемся еще нашем заседании, я не видел дальнейшего, но домашние рассказывали, что у подъезда собралась кучка любопытных, приветствовавшая Керенского при его появлении. Тут были дворники и прислуга нашего и соседних домов, и случайно остановившиеся прохожие. Керенский, стоя в автомобиле, произнес им краткую речь, начав ее словами „товарищи“. Граф Орлов-Давыдов, взгромоздившись в автомобиль, отстранил шофера и сам стал управлять им.

Словоохотливая наша горничная Марина, все восприни мавшая, знавшая графа, как бывавшего у нас раньше, побывав на митингах у дворца Кшесинской, принесла в буфетную новость: „Объясняли так, что князья и графья заместо дворников улицы будут мести... Наш графчик не даром к самому Керенскому шофером подсыпался... Метлы в руки брать охоты нет!“...

* * *

Стоит-ли описывать, что было дальше?..

В здании министерства юстиции во всех углах и утром, и по вечерам, заседали комиссии. Либеральные профессора-юристы наслаждались в них своим собственным, долго сдерживаемым красноречием. Уголовники Чужбинский и Люблинский побивали в этом отношении все рекорды, не уступал им только все еще красноречивый А. Ф. Кони, который после переговоров с Керенским согласился принять должность первоприсутствующего сенатора в уголовном кассационном департаменте.

Товарищ нового министра А. С. Зарудный, председательствуя, руководил прениями, не отказывая и себе в удовольствии высказывать свое мотивированное суждение по поводу каждого высказанного мнения.

Общая комиссия подразделялась на специальные, а эти последние—на подкомиссии и на бюро докладчиков.

Кто только в них не заседал? Тут были и вновь испеченные сенаторы из адвокатов и из бывших прежде в загоне либеральных судебных деятелей, и вновь назначенные прокуроры, и председатели палат и окружных судов, и некоторые чины прежнего министерства, зарекомендовавшие себя так или иначе либерально, но адвокаты всюду преобладали.

В работах министерских комиссий Керенский лично не принимал участия, но раз он выступил с програмною речью в общем собрании всех этих комиссий.

Появился он с помпой, в сопровождении двух очень молодых военных адъютантов, которые, став по его бокам, старались выразительно делать „стойку“, поднимая и опуская глаза в том же темпе, как делал это он, произнося свою речь [1].

Его проводили аплодисментами.

Наряду с этим административный строй нового министерства был и остался в хаотическом состоянии. Самый внешний вид когда-то аккуратно содержимого помещения выглядел теперь неряшливо, чему не мало способствовали загрязнившиеся красные тряпицы, развешенные кое где в виде революционных эмблем.

Курьеры и сторожа бестолково мыкались от двери к двери, не понимая, кого нужно просителям, которые толпились массами в министерских коридорах и расходились, не добившись толка.

Все вместе взятое производило впечатление какого-то временного пристанища пришлых людей.

---

[1]) Эти адъютанты сопровождали Керенского и на «демократическом совещании» (см. «Воспоминания» Шидловского). Повидимому, они были специально выдрессированы для своей «почетной» роли. *Ред.*

Почти такое же впечатление получалось и при посещении других правительственных учреждений и канцелярий.

Мне случилось быть на Мойке в доме бывшего военного министра, где принимал теперь Гучков. Та же картина. Только сам новый министр в огромном, аккуратно прибранном кабинете производил, в противовес растерянности чинов министерства, впечатление некоторого, отчасти даже философского спокойствия. Он выслушивал всех внимательно и тотчас же довольно находчиво клал свои резолюции.

Я лично знал его, и он со мною пооткровенничал.

— Вот, как видите... Я без охраны. Каждую минуту могут ворватьзя, убить или выгнать отсюда... К этому надо быть готовым.

Своим мужеством он подкупил меня. Я сочувственно пожал ему руку.

В министерстве иностранных дел, где принимал теперь Милюков, традиции оказались сильнее революции. Все было мертвенно чинно и пустынно.

Я имел у нового министра аудиенцию в качестве „председателя чрезвычайной комиссии по расследованию германских зверств и нарушения правил и обычаев ведения войны".

Настроение нового руководителя нашей внешней политики было радужное, в себе уверенное. Он, казалось, уже предвкушал плоды победы...

План моих работ по комиссии он одобрил и поощрил меня к скорейшему выпуску нового издания, которое я хотел озаглавить: „Горе побежденным".

При выходе из его кабинета я столкнулся с английским посланником Бьюкененом. По словам лично мне знакомого дежурного чиновника министерства, где весь состав служащих оставался прежний, Бьюкенен ежедневно бывал здесь и по часам беседовал с Милюковым.

Новый министр иностранных дел, погруженный в мечты о проливах и Босфоре, чувствовал себя на своем посту, как дома. Он и помолодел и приосанился.

Повидимому, ему и на ум не приходило, что не сегодня— завтра „улица" его уберет с гамом и криком, с бряцанием оружия, и ему ничего больше не останется, как находчиво скаламбурить: „не я ушел, а меня ушли"!

Пришлось мне проникнуть и в кабинет председателя Временного Правительства, министра внутренних дел князя Львова. Очаровательное впечатление производила его личность, и вместе с тем тревожные опасения, что он не на своем месте, проникали в сознание.

Самое помещение на площади Александринского театра казалось уютной, барской стариной, с своими аккуратно

расставленными пузатыми креслами, диванами и стульями. Оставаясь в нем, не хотелось верить, что за его стенами все уже беспорядочно, взбаломученно, заплевано и безнадежно растерзано.

Сам князь Львов на своем посту отнюдь не имел вида ликующего представителя нового, победного режима. Какая-то сосредоточенно-покорная грусть, казалось, проникала уже все его существо. Движения и слова его были медленны и как-то застенчиво-сдержанны, точно их каждую секунду кто-нибудь намеревался грубо прервать.

Когда зашла речь о Керенском, я высказал откровенно о нем свое мнение. Князь на это задумчиво промолвил:

— Вы хорошо его знаете, ведь он из вашего адвокатского круга... Вы верно судите: он был на месте со своим истерическим пафосом, только пока нужно было разрушать. Теперь задача куда труднее... Одного истерического пафоса не на долго хватит. Теперь и без того кругом истерика, ее врачевать надо, а не разжигать!..

* * *

Участь отрекшегося царя и всей его семьи, арестованных в царскосельском дворце, не могла не интересовать всех честных людей.

Я живо представлял себе печальный трагизм их положения и, естественно, интересовался их судьбой.

Непосредственно вслед затем, как Керенский впервые посетил царскосельских узников, мне пришлось с ним видеться. Нас было несколько в его кабинете, все товарищей, присяжных поверенных, когда он только что вернулся из Царского Села. Мне показалось, что Керенский был несколько взволнован; во всяком случае, к чести его должен отметить, что он не имел торжествующе-самодовольного вида.

По его словам, с государем или, как он называл его, Николаем II он имел довольно продолжительную беседу. Царь представил ему и наследника.

Кто-то спросил Керенского: правда-ли, что наследник упорно допрашивал его: вправе ли был отец отречься за него от престола? На это Керенский с усмешкою сказал: „Не думаю, чтобы он меня принял за адвоката. Он со мною ни о чем не консультировал. Повидимому, он очень привязан к отцу...“.

Относительно государыни он обмолвился: „Она во всей своей замкнутой гордыне. Едва показалась и... приняла меня по императорски...“.

Я поинтересовался знать: как он, Керенский, титуловал царя.

На это Керенский живо, в свою очередь, спросил меня:

— А как бы вы, будучи на моем месте, его величали?

— Разумеется, „вашим величеством“, — сказал я с настойчивостью.—То, что он был царем и царствовал в течение 22 лет, отнять вы у него не можете.

— Я уже не помню, как обмолвился... — не желая, видимо, ответить прямо, оборвал Керенский затронутую тему.

На самых первых порах обстановка, в которой содержался царь и его семья, еще носила следы почетного плена и не была слишком стеснительна. Охрана была только вокруг дворца, внутри же пленники могли видеться не только между собою, но и с своею небольшою свитою, оставшейся им верной. Вырубова до перевода ее в Петропавловскую крепость бывала неотступно при государыне.

Гучков, в качестве военного министра, начальником внутреннего караула дворца назначил бывшего лейб-улана П. П. Коцебу, старший брат которого долгое время состоял адъютантом великого князя Николая Николаевича.

Светски-дисциплинированный, беспартийно-тактичный, Коцебу своим внимательным отношением к положению царственных пленников был вполне на месте. Он исполнял свой долг, повинуясь данной ему инструкции, но вместе с тем не допускал в своих приемах ни малейшей бравады, дурного тона или непочтительности, чем снискал себе скоро расположение всей царской семьи.

П. П. Коцебу, наш давний, хороший знакомый, нередко бывал у нас. После оставления им Царского Села он кое-чем поделился с нами.

— Ужасно было тяжело! Я поседел за это время, — начинал он обыкновенно свое повествование.

Бывший гвардейский офицер полка ее величества, лично известный царю и царице, должен был в качестве их тюремщика чувствовать себя действительно убийственно. По его словам, он не отклонил возложенной на него миссии только в надежде скрасить своим присутствием, сколько возможно, участь заключенных.

На первых порах это ему удавалось.

Государь, свалив с своих плеч бремя самодержавия, казался спокойным. Он весь ушел в тихий уют своей семейной обстановки.

Только одна царица оставалась по прежнему горделиво-неприступной и теперь уже казалась какою-то не от мира сего, ушедшею целиком в свою затаенную, далекую от окружающего думу.

Когда еще Вырубова была при ней, они вдвоем производили впечатление экзальтированных духовидиц. Вырубова крестилась перед каждою дверью, перед каждою встречею.

За время Коцебу, т.-е. почти на первых порах царского плена, разыгрался следующий эпизод:

В Царское прибыл из Петрограда спешно по железной дороге небольшой отряд каких-то вооруженных, не то солдат, не то добровольцев, предводительствуемый весьма, повидимому, энергичным „полковником“. В их распоряжении было и три пулемета.

Оставив отряд на вокзале, „полковник“ отправился во дворец, где вызвал Коцебу для переговоров. Он заявил ему, что в интересах „углубления революции“ установившийся режим содержания царя и его семьи недопустим. Не имеется даже уверенности, что царь уже не скрылся. Он с „товарищами“ уполномочен принять охрану царя, препроводив его в Петропавловскую крепость. Коцебу попросил „полковника“ подождать ответа, сам же отправился в помещение своего караульного отряда. Здесь он объяснил солдатам о цели появления самовольного, как он полагал, авантюриста, желающего силой захватить царя, и спросил их, обещают ли они исполнить свой долг по охране царя и готовы ли в случае надобности оружием отразить попытку захватить его.

В числе „товарищей“ нашелся один, который вызвался „уладить дело“ с „полковником“, переговорив с ним наедине. Повидимому, личность „полковника“ была ему хорошо известна по каким-то партийным отношениям. Сам вызвавшийся был призывной, из очень красных-непримиримых.

Его переговоры с полковником увенчались для всех неожиданным успехом. Полковник как-то разом сдал, секунду задумался, а затем сказал, что во всяком случае должен убедиться, что слухи об исчезновении Николая II ложны. Ему должны показать отрекшегося царя.

На это предложение Коцебу пошел. Вызвав графа Бенкендорфа, бывшего при царе, он переговорил с ним, и было решено, что государь покажется, пройдя коридором, в конце которого будут находиться желающие видеть его.

Когда „полковника“ провели в условленное место, под охраной караульных и самого Коцебу, и сообщили, что царь сейчас покажется, он, по словам Коцебу, очень заволновался. За ним зорко стали наблюдать, чтобы он не выхватил из кобуры револьвера.

Государь показался в дверях, выходящих в коридор, и довольно долго постоял в них. Затем он медленно пересек коридор и скрылся в противоположных дверях, кивнув на прощание головой.

Минута была полна жуткого трагизма.

Как передавал нам Коцебу, „полковник“ при появлении царя и пока тот не скрылся, все время дрожал, как в лихорадке, и весь изменился в лице. Когда царь скрылся, он

молча вышел из дворца и со своим отрядом и пулеметами немедленно покинул Царское Село.

— Не была ли это попытка преданных царю лиц захватить его с целью освобождения и, быть может, даже восстановления его царственных прав, под вымышленным предлогом препровождения в Петропавловскую крепость?

Коцебу на этот мой вопрос ответил отрицательно. Личность „полковника" была ему совершенно неизвестна и не отличалась симпатичностью. Было более вероятно, что имелось в виду убийство царя во имя все упорнее выдвигавшегося тогда лозунга „углубления революции" [1]).

Я расспрашивал Коцебу о том, как переносит царь свое пленение, что говорит о своем отречении, каково вообще его отношение ко всему случившемуся.

Коцебу весьма неохотно вдавался в интимные подробности, тем не менее однажды обмолвился:

— Я не только преклонялся пред достоинством его поведения, я завидовал ясности его духа и глубокому смирению, с которыми он переносил свои несчастия... Отречение он считал актом, необходимым для счастья своей страны... Когда я заметил ему, что были войсковые части, которые остались ему верными до конца, государь тотчас же перебил меня словами: „Да, все остались мне верными, но после моего отречения им только и оставалось присягнуть Временному Правительству. Кровь пролилась вопреки моей воле..."

Когда пошел слух о том, что армия готовится к наступлению на немцев и что в Галиции одержана крупная победа, царь, — по словам Коцебу, — истово перекрестился и сказал: „Благодарение богу! Лишь бы эта несчастная война хорошо кончилась для России, все остальное сейчас не важно...".

Однажды Коцебу решился спросить государя: каковы его личные виды и желания относительно его и семьи его дальнейшей судьбы?

Царь на это тотчас же ответил: „Мое желание—не покидать России, но ради здоровья сына я предпочел бы поселиться на южном берегу Крыма... Если же мое присутствие

---

[1]) Судя по всем данным, речь идет об известной „экспедиции" Мстиславского. Получив сведения о том, что Временное Правительство назначило на 9 марта вывоз Николая II в Архангельск для отправки за границу, Исполнительный комитет поручил Мстиславскому и Тарасову-Родионову с отрядом солдат отправиться в тот же день в Царское Село и воспрепятствовать увозу быв. царя. Выяснив надежность находившихся во дворце солдат и приняв меры к усилению охраны, Мстиславский вернулся обратно в Петроград. Весь эпизод изложен у Карабчевского крайне „неточно" и сильно расходится с разсказом самого Мстиславского (см. Мстиславский. „Пять дней". *Ред.*

в России может вредить государственному спокойствию, переселение за границу я приму, как изгнание...“

И с царицей Коцебу однажды попробовал заговорить на ту же щекотливую тему, он предложил ей: „Ваше величество, вы написали бы королеве английской, чтобы она позаботилась о вас и о детях ваших“.

Алексанра Феодоровна вся встрепенулась, окинула его быстрым взглядом и сказала: „Мне не к кому обращаться с мольбами после всего пережитого нами, кроме господа бога. Английской королеве мне не о чем писать...“

Коцебу, подозреваемый в слишком большом мирволении царственным пленникам, вскоре был сменен. На его место Керенским был назначен Коровиченко, бывший военный юрист, потом присяжный поверенный, во время войны призванный на военную службу.

Когда я попенял Керенскому за то, что он удалил от царской семьи Коцебу, который, благодаря своей воспитанности, был здесь на месте, он мне сказал: „Ему перестали доверять, подозревали, что он допускал сношения царя с внешним миром. Коровиченко вне подозрений, но он человек мягкий и деликатный, ненужных стеснений он не допустит“.

Позднее, когда и Коровиченко кем-то заменили, Керенский как-то посмеиваясь обмолвился: „Беда мне с этим Николаем II, он всех очаровывает. Коровиченко прямо-таки в него влюбился. Пришлось убрать. А на этом многие играют: требуют непременно отправить его в Петропавловскую...“

Я резко заметил: „Это была-бы гнусность...“—Керенский не возразил, и я тут же спросил его: „Отчего Временное Правительство не препроводит немедленно его с семьей за границу, чтобы раз навсегда оградить его от унизительных мытарств?“ Керенский не сразу мне ответил. Помолчав, он как-то нехотя процедил: „Это очень сложно, сложнее, нежели вы думаете...“ [1]).

---

[1]) Об усилиях Временного Правительства увезти царскую семью за границу см. в этом же томе ст. Керенского „Царская семья и Временное Правительство“. *Ред.*

А. Ф. КЕРЕНСКИЙ.

Царская семья и Временное Правительство [1]).

Опровергать старческие бредни о том, как 2 марта — в первое мое официальное, как министра юстиции, свидание с Советом присяжных поверенных во главе с Карабчевским, — я проявил желание повесить царя, делая даже символический жест у своей шеи, и отказался от своего намерения, лишь сконфуженный великим идеалистом и противником смертной казни Карабчевским, — опровергать всю эту чепуху я не буду. Пусть защитник Брешко-Брешковской, Сазонова и их самоотверженных товарищей в революционной борьбе с спокойной совестью на склоне своих лет утешается мыслью, что лишь его могучее красноречие превратило мои кровожадные мечты в твердое решение добиться немедленной отмены в России смертной казни.

Гораздо существеннее другое измышление почтенного автора, касающееся уже не отдельного лица, а Временного Правительства в его целом.

Правда ли, что мы могли и не захотели спасти жизнь царской семьи своевременной отправкой ее за границу вообще и в Англию — в частности? — Этот вопрос интересовал очень многих, обсуждался в иностранной печати, и я считаю своевременным теперь объяснить, почему в конце лета 1917 года Николай II и его семья оказались не в Англии, а в Тобольске.

Вопреки всем сплетням и инсинуациям, Временное Правительство не только смело, но и решило еще в самом начале марта отправить царскую семью за границу. Я сам 7 марта (20) в заседании московского Совета, отвечая на яростные крики: „Смерть царю, казните царя“, — сказал:

---

[1]) Из статьи «Отъезд Николая II в Тобольск» в сборнике статей «Издалека» (Париж, изд. Я. Поволоцкого и К°). Мы приводим этот отрывок, в дополнение к воспоминаниям Карабчевского и княгини Палей; в нем бывший глава Временного Правительства с несомненностью устанавливает, что правительство это приложило все старания к отправке царской семьи за границу, и не оно виновато в том, что эти усилия не привели к успеху и что таким образом не был создан за границей чрезвычайно опасный центр объединения международных контр-революционных сил для борьбы с русской революцией. *Ред.*

„Этого никогда не будет, пока мы у власти. Временное Правительство взяло на себя ответственность за личную безопасность царя и его семьи. Это обязательство мы выполним до конца. Царь с семьей будет отправлен за границу, в Англию. Я сам довезу его до Мурманска“. — Это мое заявление вызвало в некоторых советских кругах обеих столиц взрыв возмущения. Не успел еще я вернуться в Петроград, как глубокой ночью вооруженная, с броневиком, как потом оказалось, самозванная советская делегация ворвалась в Царскосельский дворец и требовала предъявления ей царя, с явной целью его увоза. Сделать это ей не удалось [1]).

Но Временное Правительство после этого изъяло охрану царя из ведения военного министерства и ком. войсками ген. Корнилова и возложило эту тягчайшую обязанность на меня — министра юстиции.

Впредь случаев, подобных описанному, не повторялось. Однако, признавая пребывание б. царской семьи у самой столицы и вообще в России необеспеченным от всяких случайностей при всяких возможных политических потрясениях и переменах, Временное Правительство озабочено было подготовкой выезда обитателей Александровского дворца за границу и вело соответствующие дипломатические переговоры с лондонским кабинетом.

Однако, уже летом, когда оставление царской семьи в Царском Селе сделалось совершенно невозможным, мы, **Временное Правительство, получили категорическое официальное заявление о том, что до окончания войны въезд бывш. монарха и его семьи в пределы Британской империи невозможен.**

Утверждаю, что если бы не было этого отказа, то Временное Правительство не только посмело, но и вывезло бы благополучно Николая II и его семью за пределы России, так же, как мы вывезли его в самое тогда в России безопасное место — в Тобольск. Несомненно, что если бы корниловский мятеж или октябрьский переворот застали бы царя в Царском, то он бы погиб не менее ужасно, но почти на год раньше.

---

[1]) Эта якобы „самозванная“ делегация на самом деле была послана Исполкомом Совета, чтобы воспрепятствовать предполагавшемуся Керенским увозу Николая II в Англию. Ни явного, ни тайного задания о безусловном увозе куда-либо бывш. царя у нее не было. *Ред.*

КНЯГИНЯ ПАЛЕЙ.

Мои воспоминания о русской революции.

(Перевод под редакцией В. А. Кряжина).

Печатаемые ниже воспоминания кн. Палей были опубликованы в „Revue de Paris“ 1923, № 11—16. Автор их—вдова бывш. вел. князя Павла Александровича Романова, дяди Николая II, старейшего члена „императорской фамилии“ и в то же время главы придворной оппозиции. Вполне солидарная со своим мужем, кн. Палей дает не мало материала, освещающего борьбу „оппозиции“ с распутинщиной и „непримиримостью“ Николая II. Здесь же мы находим почти исчерпывающую характеристику отношения придворных оппозиционеров к революции. Перевод записок дан со значительными сокращениями, а именно, — переведены только первые три части. Остальные главы записок представляют чисто личный интерес и посвящены исключительно семейным отношением кн. Палей.

Ред.

I.

Мы приехали в Царское Село 25 ноября старого стиля 1916 г., и едва попали в наш милый прекрасный дом, как великий князь получил большую, но, увы, последнюю радость. Он был назначен кавалером ордена св. Георгия при обширном высочайшем рескрипте, где были превосходно освещены все его заслуги.

Но меня весьма удивило и удивляет то, что государь, видевший великого князя двое суток тому назад, сам не сообщил ему об этой новости.

Подобное отличие являлось в России заветной мечтой каждого военного.

Мой муж не забыл обещания, данного великому князю Александру. Семейный совет состоялся у кн. Андрея в его дворце на Английской набережной. Там было решено, что князь Павел, как старейший в роде и любимец их величеств, должен взять на себя тяжелую обязанность говорить от имени всех. Князь был крайне озабочен. Он совершенно ясно отдавал себе отчет в том, насколько трудна и неблагодарна возложенная на него задача и как мало у него шансов на успех. Тем не менее, как только императорская

фамилия 3/16 декабря прибыла в Царское Село, он попросил аудиенцию и был принят в тот же день за чаем.

Я ждала его два долгих часа, не находя места от волнения. Наконец, около семи часов вечера он пришел, бледный и утомленный. — „На мне нет сухой нитки, — едва мог он выговорить, — и я окончательно потерял голос". Действительно, он охрип. Несмотря на сильное желание поскорее узнать все, я упросила его отдохнуть и отложить подробный отчет о своем разговоре. И только после обеда, за которым присутствовали девочки с гувернанткой, князь сообщил мне и Владимиру о том, что говорилось во дворце. Сейчас же после чая князь начал обрисовывать государю мрачную картину современного положения, он рассказал о немецкой пропаганде, которая с каждым днем становится все более смелой и нахальной, о ее развращающем влиянии на армию, в которой беспрестанно арестовывают зачинщиков и сеятелей смуты, иногда даже офицеров. Он указал, насколько велико возбуждение в общественных кругах Москвы и Петрограда, где раздаются все более смелые голоса, слышится все более резкая критика. Он говорил о недовольстве народа, принужденного уже в продолжение нескольких месяцев стоять в „хвостах", чтобы получить хлеб, цена на который возросла втрое. Наконец, он подошел к пункту, наиболее щекотливому, о котором труднее всего было говорить, — тем более что князь, истинный патриот, желал только счастья родине и в данном случае приносил в жертву свои личные убеждения и традиции. Он сказал, что собравшийся фамильный совет возложил на него обязанность почтительнейше просить его величество даровать конституцию, „пока еще не поздно!". Это будет служить доказательством того, что государь предупреждает желание своего народа. — „Вот, — сказал в. кн. воодушевляясь, — вот великолепный случай для этого: через три дня — шестое декабря, — Николин день, объяви в этот день, что дарована конституция, что Штюрмер и Протопопов отстранены, и ты увидишь, с каким восторгом и любовью твой верный народ будет приветствовать тебя". Государь некорое время оставался в раздумьи; государыня отрицательно качала головой; затем, стряхнув утомленным жестом пепел со своей папиросы, он произнес следующие слова: „То, о чем ты меня просишь, невозможно. В день своей коронации я присягал самодержавию, и я должен передать эту клятву нерушимой своему сыну". Видя, что он потерпел неудачу с этой стороны и что всякая новая попытка ни к чему не приведет, князь приступил к другому вопросу. „Хорошо, если ты не можешь дать конституцию, дай, по крайней мере, министерство доверия, так как — я тебе это опять говорю —

Протопопов и Штюрмер ненавистны всем". В этот момент, набравшись мужества, в. князь объявил, что назначение этих двух министров тем более подвергается критике, что все знают о том, что оно сделано под влиянием Распутина. Затем вел. князь сказал государю и государыне о том злополучном влиянии, которое не без основания приписывается старцу. Государь замолчал и курил, не произнося ни слова. Тогда заговорила государыня. Она говорила долго, волнуясь, часто прижимая руку к сердцу, которое у нее болело. Для нее Распутин был только жертвой клеветы и зависти тех, которые хотели бы стать на его место. Для нее это был друг, молившийся богу за них и ее детей. Что же касается того, чтобы пожертвовать добросовестными министрами для того, чтобы угодить некоторым личностям, об этом нечего даже и думать. В. князь потерпел неудачу во всех направлениях, так как на все, о чем он просил, был дан решительный отказ. Я очень желала, чтобы подобные разговоры больше не происходили, потому что боялась за нервы и слабое здоровье в. князя.

Шестого декабря, в день тезоименитства государя, вел. князь был принят во дворце, как будто не было и тени никакого разговора. Это — печальный и памятный день 6/19 декабря, когда столько надежд было обмануто, потому что носились слухи, что государь прочтет Думе манифест если не о конституции, то, по меньшей мере, о министерстве доверия. Он, конечно, не сделал ни того, ни другого и 7/20 декабря вместе с в. кн. уехал в ставку.

II.

Когда в. князь уехал, я с новым жаром принялась за работу в госпитале. Жены офицеров, дамы, жившие в Царском Селе и даже в Петрограде, собирались вокруг меня. Наши разговоры за чаем все время вертелись вокруг текущих событий, и внутренняя политика страны являлась часто их темой. Рассказывали, что Протопоповым, страдавшим специфической болезнью, овладевали иногда приступы настоящего безумия. Будучи некогда лидером левой [1]), он внезапно переменил свои политические взгляды, найдя более выгодным стать на сторону правительства. Он был презираем и ненавидим всеми. Его подозревали в том, что он ездил в Стокгольм для того, чтобы вести предварительные переговоры с Люциусом и германскими банкирами о

[1]) Под „левой“ автор, очевидно подразумевает думский „прогрессивный блок“, в числе лидеров которого был и Протопопов. *Ред.*

сепаратном мире. А общественное мнение в данный момент, в полном согласии с их величествами, было за войну до победного конца. Так как Протопопов был обязан своим быстрым повышением Распутину, то убеждение, что этот последний был платным агентом Германии, возрастало. Это-то убеждение и привело к драме во дворце Юсупова в ночь на 16/29 декабря, — драме, о которой я расскажу то, что знала о ней в то время, и которую я считаю началом революции.

В субботу вечером 17/30 декабря был концерт в Царскосельской управе. В. князь был в Могилеве еще с 7/20 декабря, а Владимир, страдая болезнью горла, не мог его сопровождать. Чувствуя себя в этот вечер лучше, он попросил разрешения итти со мной на концерт. Около восьми часов вечера раздался звонок телефона, и, несколько минут спустя, Владимир ворвался в мой будуар с криком: „Старец мертв, мне только что сообщили об этом по телефону; боже мой, теперь можно будет вздохнуть свободно! Еще не знают о подробностях. Во всяком случае, он исчез из дому уже сутки тому назад. Может быть, нам удастся узнать что-либо на концерте“. Никогда я не забуду этого вечера! Никто не слушал ни оркестра, ни артистов. Новость распространялась с быстротой молнии. Во время антракта я заметила, что взгляды особенно часто останавливались на нас, но я была слишком далека от истины, чтобы понять причину. Наконец, Яков Ратьков-Рожнов подошел ко мне и, говоря, очевидно, на тему дня, сказал мне: „Кажется, виновниками этого поступка являются люди из высшей аристократии, называют Феликса Юсупова, Пуришкевича и... одного великого князя...“ Сердце у меня сжалось, — я знала, что существовала давнишняя дружба между в. князем Дмитрием и князем Юсуповым, женатым на прелестной русской княжне Ирине, двоюродной сестре Дмитрия. „Боже мой, только бы это не был он“, — пробормотала я. Владимир возвратился ко мне с теми же подробностями, и к концу вечера имя великого князя Дмитрия было у всех на устах. Мы возвратились домой около половины первого, и лакей, ждавший нас, сказал мне, что из Петрограда звонила по телефону жена князя Виктора Кочубея и умоляла позвонить ей, как бы поздно ни было. Как только меня соединили с княгиней, она спросила меня: „Где твой сын Владимир?“ — „Здесь, со мной, — ответила я в изумлении. — „Слава богу! прошел слух, что это он убил Распутина, и я дрожала за тебя; прощай, спокойной ночи“. Очевидно, народная молва смешала двух единородных братьев. На другой день доктор Варавка, который лечил Владимира, пришел навестить нас и смеясь рассказал, что на вопрос: „Арестован ли Влади-

мир?“ он ответил: „Да, по моему приказанию, так как у него сильная ангина, и вот уже восемь дней, как он не выходил из комнаты“.

На следующий день, в воскресенье, вся Россия и весь свет узнали, что Распутин исчез. Его семья, беспокоясь от того, что он долго не возвращается, и зная, что князь Юсупов увез его к себе, дала знать в полицию. С другой стороны, выстрелы, раздавшиеся во дворце на Мойке и услышанные прохожими и городовым, направили подозрение в эту сторону. Государыня, охваченная страшной тревогой, отдала самые строгие приказания во что бы то ни стало найти тело Распутина. Все почитательницы последнего были в состоянии неописуемой ярости. Я несколько раз звонила Дмитрию и, не говоря о том, что о нем везде трубят, держала его в курсе всего, что говорилось. Мой муж должен был вернуться на следующий день, в понедельник. В 11 часов я приехала на Царскосельский вокзал, чтобы встретить его и отвезти домой. Едва мы остались одни в автомобиле, как он спросил меня: „Что это за слухи об убийстве старца? Кто его убил? Вчера в Могилеве называли графа Стенбока?“ Видя мой растерянный вид, мое волнение, он взял меня за руку и сказал: „Ну, что такое? Скажи, что с тобой? да говори же...“ Я, едва дыша, пробормотала: „Говорят, что это Феликс Юсупов, Пуришкевич и потом... Дмитрий“. В. князь так побледнел, что я думала, что ему сделается дурно. „Это невозможно. Я сейчас же вернусь, сяду на поезд и поеду к Дмитрию, я хочу поговорить с ним. Мне, как отцу, он скажет все“. Я приложила все старания, чтобы убедить его отдохнуть, переодеться и поговорить с в. князем Дмитрием по телефону или заставить его приехать в Царское. Как только он пришел домой, он вызвал сына по телефону и сказал ему, чтобы он тотчас же приехал повидаться с ним. Дмитрий ответил, что по приказанию государыни генерал Максимович взял его под домашний арест в его дворце и что он просит отца приехать к нему в Петербург. В это время я узнала из других источников, что тело Распутина найдено в проруби на Неве, около Елагина моста, и я сообщила эту новость в. князю Дмитрию, который, казалось, был этим очень взволнован. Никогда, я думаю, телефон так не работал, как в этот день.

Было решено, что в. князь и я поедем к Дмитрию на следующий день к завтраку, но отец поедет вперед, чтобы поговорить с сыном наедине. Часовые были поставлены у дверей, но они пропустили в. князя так же, как через час и меня. Первыми словами в. князя к Дмитрию были: „Я знаю, что ты связан словом, и не буду задавать тебе

никаких вопросов. Скажи мне только, что это не ты убил его". — „Папа, — ответил Дмитрий, — клянусь тебе памятью моей матери, что руки мои не запятнаны кровью". В. князь вздохнул свободнее, так как до сих пор ужасная тяжесть сжимала ему сердце. Дмитрий был до слез тронут благородством своего отца, который, не задав ему ни одного вопроса, поверил данному слову. Я, как было условлено, приехала в половине первого, и во время завтрака не было сделано ни одного намека на драму. Тем не менее, все трое были печальны и сосредоточены.

Я думаю, что все еще ясно помнят подробности этого ужасного дела, и постараюсь говорить о нем возможно меньше. Молодой князь Юсупов поехал к Распутину и пригласил его на ужин, на котором присутствовали в. кн. Дмитрий, Пуришкевич со своим доктором и один офицер по фамилии Сухотин, всыпали сильного яду в вино и пирожные, но яд не действовал, и гости прошли в верхний этаж, а Распутин остался наедине с Юсуповым. Распутин был убит выстрелами из револьвера, его тело было увезено на автомобиле и брошено в прорубь на Неве, возле Елагина моста. Трудно себе объяснить этот акт, особенно принимая во внимание обычай гостеприимства, так широко практикуемый и священный в России, но этот специальный случай надо рассматривать только с точки зрения высоты преследуемой цели: спасения их величеств вопреки их собственной воле.

Ясно, что, возвратясь в Царское, мы ни о чем другом не говорили. Муж сообщил мне, что, не спрашивая об именах и подробностях самого дела, он спросил у него, какие побудительные причины заставили его принять участие в этом деле. Дмитрий признался, что главной целью было открыть глаза государю на действительное положение вещей. „Я надеялся, — сказал он, — что мое имя, замешанное в этом деле, избавит государя от трудной задачи удалить Распутина от двора. Я думал, что государь сам не верил в чудесное влияние Распутина ни в отношении своего сына, ни в отношении политических событий; но он понимал, что удалить его своей собственной властью значит создать конфликт с государыней. Я надеялся, что, освобожденный из-под влияния Распутина, государь станет на сторону тех, кто видел в старце первопричину многих несчастий, как напр., назначение неспособных министров, влияние темных сил на двор и т. д." — Кроме того, муж сообщил мне о впечатлении, которое поразило его недавно, и которое подтверждает мысли его сына. Как я говорила выше, он уехал из Могилева в воскресенье, около 7 часов вечера. В этот день в 5 часов, он пил чай с государем, и был поражен, не по-

нимая причины, выражением особенной ясности и довольства на лице государя, который был весел и в хорошем расположении духа, чего давно уже с ним не было. Ясно, что государыня все время держала его в курсе трагического происшествия, что он знал все, включая подозрения, накоплявшиеся против Юсупова и Дмитрия. Государь ни слова не сказал об этом в. князю Павлу, который позже объяснял себе это хорошее настроение государя внутренней радостью, которую тот испытывал, освободившись наконец от присутствия Распутина. Любя настолько свою жену, что он не мог итти против ее желаний, государь был счастлив, что судьба таким образом освободила его от кошмара, который так давил его.

Когда тело Распутина было найдено, государыня приказала отвезти его в Чесменскую богадельню, на пятой версте между Петроградом и Царским Селом; оно было набальзамировано и помещено в ярко освещенной часовне. Г-жа Вырубова и другие почитательницы Распутина несли дежурство около тела. Государыня приехала с дочерьми и долго плакала и молилась. Она положила на грудь Распутина маленькую икону, на обороте которой все они расписались: Александра, Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и Анна (Вырубова). Позже, после революции, когда тело Распутина было вырыто и сожжено, а пепел развеян по ветру, один американский коллекционер купил эту икону за очень большую сумму. Любопытно отметить, что это странное и таинственное существо прошло через все четыре стихии: воду, землю, огонь и воздух.

Спустя три дня, в три часа ночи, в Царскосельском парке, около арсенала, недалеко от станции Александровской, было совершено погребение Распутина. Государь, министр Протопопов, генерал Воейков и офицер Мальцов несли гроб. Государыня была крайне печальна. Так закончилась эта драма, которую многие рассматривали, как освобождение страны, и которая однако была только началом самой ужасной из трагедий.

III.

Государыня побуждала императора строго наказать виновных; но в данном случае наиболее виновный — Феликс Юсупов — отделался ссылкой в деревню, в одно из своих имений, в то время как в. кн. Дмитрий получил приказание отправиться в Персию, в сопровождении адъютанта государя графа Кутайсова, прикомандированного к нему генерала Лейминга и камердинера. До самого отъезда в. князь

Дмитрий содержался под арестом в своем дворце в Петрограде, с запрещением выходить или принимать кого бы то ни было. В ночь на 23 декабря/5 января он уехал, и никто, даже отец, не мог обнять его на прощанье. Большое возбуждение царило среди родни государя и в городе. Было решено подать государю просьбу, в которой умолять его не наказывать в. кн. Дмитрия так жестоко и не ссылать его в Персию, ввиду его слабого здоровья. Это я составила текст прошения. Ссылка эта казалась в тот момент верхом жестокости, но бог хотел, чтобы она спасла драгоценную жизнь Дмитрия, так как те, которые остались в России, погибли от рук большевиков (б. ч.) в 1918—1919 г.г. Прошение было подписано греческой королевой Ольгой,— бабушкой Дмитрия, в. князем Павлом и всеми членами императорской фамилии. Государь, ознакомившись с этой бумагой, написал на полях ее: „Никто не имеет права убивать; удивляюсь, что члены дома обращаются ко мне с подобными просьбами. Подписал: Николай“, и он вернул прошение в. князю Павлу.

Этот исторический документ находился в моем царскосельском доме, и я не знаю, что с ним потом случилось.

В 8 часов утра на первый день Рождества ко мне вошла горничная с запиской от моей дочери Марианны, на которой стояло „спешно“. Дочь признавалась мне, что в день отъезда Дмитрия она не могла устоять против желания проститься с ним в последний раз, и в час ночи, т.-е. за час до его отъезда, нарушив запрещение, проникла к нему. Она пробыла с ним и, проводив его до дверей, которые он покидал навсегда, вернулась к себе. Двадцать четыре часа спустя, 24-го декабря, вернувшись из Царского, после очень тщательного обыска в ее переписке, дочь была арестована по приказанию министра вн. дел. Протопопова. Она писала мне через одного надежного человека, чтобы я не беспокоилась, что она ни в чем не нуждается и воспользуется этими днями вынужденного отдыха, чтобы позаботиться о своем здоровьи. Я тотчас же сообщила обо всем этом в. князю, и мы с княгиней Марией решили поехать на автомобиле в Петроград, чтобы навестить Марианну и побыть с ней. Прибыв на Театральную площадь, 8, где жила моя дочь, мы натолкнулись на двух часовых, которые пропустили нас, записав наши имена. У Марианны мы нашли весь Петербург! Дамы, которых она едва знала, приходили выразить ей свою симпатию. Офицеры в отставке приходили, целуя ей руку. Никто не мог объяснить себе этой строгой меры по отношению к той, единственной виной которой было желание пожать руку друга, уезжающего в ссылку. Несомненно, дочь приняла добрых шестьдесят человек, при-

шедших к ней в знак протеста! Я уверена, что приказание пропускать всех было дано для того, чтобы записать фамилии лиц, которые тем самым брались под подозрение. Два дня спустя, по настоянию моего старшего сына и других лиц, Протопопов освободил ее, что доказывает только, что этот бесполезный арест исходил не от верховной власти, а был произведен по личной инициативе министра. И подумать только, что такие незначительные факты вырывали бездну между верховной властью и обществом...

После отъезда Дмитрия отношения между в. князем и государем с государыней сделались натянутыми. Его не приглашали больше к чаю, и визиты, которые он делал, посвящались исключительно служебным вопросам. Их величества, казалось, были недовольны князем за то, что он просил о снисхождении своему сыну, а князь был оскорблен ответом, написанным на полях прошения. Так прошел январь, и можно сказать, что с каждым днем положение вещей становилось хуже. Даже газеты, несмотря на цензуру, давали знать о глухом недовольстве. Революционная пропаганда в запасных полках усиливалась с каждым днем. Английское посольство, по приказу Ллойд Джоржа, сделалось очагом пропаганды. Либералы, князь Львов, Милюков, Родзянко, Маклаков, Гучков и др., находились там постоянно. Именно в Английском посольстве и было решено оставить законные средства и стать на путь революции [1]). Надо сказать, что во всем этом английский посол в Петрограде сэр Джордж Бьюкенен утолял личную злобу. Государь не любил его и становился с ним все более и более холоден, особенно с тех пор, как английский посол стал в дружеские отношения с его личными врагами. В последний раз, когда сэр Джордж испросил аудиенцию, государь принял его стоя и не предложил ему сесть. Бьюкенен поклялся отомстить, и, так как он был близко связан с одной великокняжеской четой, то у него явилась мысль совершить дворцовый переворот.... Но события опередили их предположения, и он и лэди Джорджина без малейшего стыда отвернулись от своих утративших прежнее положение друзей. В Петербурге в начале революции рассказывали, что Ллойд Джордж, узнав о падении царизма в России, сказал, потирая руки: „Одна из целей, которую преследовала Англия, ведя войну, достигнута...“. Странная союзница Великобритания, которой всегда надо было бы опасаться, потому что на протяжении трех веков русской истории враждебность Англии проходит красной чертой.

---

[1]) Революция, как это указывает и автор, предполагалась в виде дворцового переворота. Весьма характерно, что именно перечисленные здесь „либералы“ настойчивее всех твердили о „германском происхождении“ революции. *Ред.*

Я счастлива отдать должное Палеологу, французскому послу в России: он был лойяльным и верным до конца. Его положение в это время было очень щекотливым. Он получал из Парижа формальные приказы поддерживать во всем политику своего английского коллеги. И тем не менее, он отдавал себе отчет в том, что эта политика идет в разрез с французскими интересами. Я знала его с давних пор, и узы искренней дружбы связывали его с князем и со мной. Он был принужден лавировать между своим английским коллегой и личными убеждениями и пытался всеми средствами улаживать дела возможно лучше.

Четвертого февраля, в годовщину смерти князя Владимира, а также великого князя Сергея, убитого в Москве в 1905 г. по вдохновению и под руководством Савинкова (того самого Савинкова, которого так радушно принимают наиболее замкнутые круги и самые прекрасные женщины Парижа, какой ужас!), так вот, 4 февраля, как я сказала, мы пошли в Петропавловскую крепость в Петрограде, чтобы присутствовать на панихиде по двум великим князьям. После торжественного богослужения мы позавтракали у вдовы в. кн. Владимира, которая несколько дней спустя уехала на Кавказ, откуда во время большевистской революции ей удалось бежать на итальянском корабле. После завтрака в. княгиня начала говорить в унисон всем людям, которые были недовольны и раздражены верховной властью. Она щадила государя, но государыня, с которой у нее отношения никогда не были хорошими, была в ее глазах полна недостатков, и она не стеснялась говорить об этом. Она тоже подписала прошение о снисхождении в. князю Дмитрию и рассматривала отказ государя, как личное оскорбление. Со всех сторон слышались угрожающие и дерзкие голоса, и теперь можно понять, как трудно было государю бороться среди возрастающей враждебности, опирающейся на ряд ошибок и злую волю части русского общества. Одна знатная русская дама, княгиня В. (Васильчикова. *Ред.*) позволила себе написать государыне письмо неслыханной дерзости. Я видела это письмо, написанное небрежным и торопливым почерком на листах, вырванных из блок-нота. Она писала между прочим: „Уйдите от нас, вы для нас иностранка“. Естественно, что государыня чувствовала себя смертельно оскорбленной.

IV

Заседания в Думе становились все более и более бурными. Теперь уже не стеснялись ругать правительство, метя постоянно в государя и государыню при критике их ми-

нистров. Мы вели совершенно уединенный образ жизни в тишине Царского, так как назначение генерал-инспектором гвардии давало возможность в. князю жить где угодно. Тем не менее мы были в курсе развивающихся опасных событий, а чтение газет делало нас нервными и беспокойными. Снабжение Петрограда съестными припасами становилось все более и более слабым. „Хвосты" у булочных в сильные морозы заставляли народ роптать. Все это революционеры предусмотрели и подготовили заблаговременно. Государь был в ставке, и мы приближались к роковым дням конца февраля. Уже 23 февраля на бурном заседании Думы Шингарев и Скобелев, — первый — кадет, второй — социалист-революционер [1]), — кричали и требовали, чтобы правительство ушло, если оно не в состоянии кормить население. Правительство не трогалось с места, не сдавалось Думе и, казалось, не знало об ее существовании!

24 февраля (9 марта) вспыхивают забастовки, и рабочие массами ходят по улицам, но все еще спокойно, и народ, этот добрый малый, кажется, шутит и смеется со взводами казаков, которые объезжают город. Именно в этот день появилось первое красное знамя, эта гнусная тряпка. Несмотря на эти признаки, о которых нам сообщали по телефону, газеты не говорили ни о забастовках, ни о начинающихся беспорядках. 25 февраля раздались первые выстрелы и послышались мятежные крики: „Долой правительство!.." На некоторых улицах начинаются беспорядки, подавляемые войсками, оставшимися еще верными правительству; но уже в воскресенье, 26 февраля (11 марта) разразилось настоящее сражение. Полки держались стойко, и вечером нам сообщили по телефону, что все спокойно, и только патрули объезжают улицы.

В понедельник, 27/12, полное отсутствие газет заставило нас опасаться худшего. В Царском мы не нуждались ни в чем, но в Петербурге нехватало хлеба. Я повторяю, что все это было устроено революционерами [2]). Дочери из города телефонировали мне, что стрельба все усиливается, и полки начинают переходить на сторону мятежников. Около двух часов приезжает из Петрограда письмоводитель нашего нотариуса, очень умный, храбрый, честолюбивый, но беспринципный молодой человек. Я знала его благодаря работе в ко-

[1]) В действительности Скобелев был тогда с.-д. меньшевиком. Как видим, высокопоставленные дамы могут с полным правом, перефразируя Грибоедова, сказать о себе: „не мастерицы партии мы различать". *Ред.*

[2]) Разумеется, это вздор. Революционеры не имели никакого отношения к продовольственным затруднениям, которые к тому же на многих заводах, производивших собственные заготовки продуктов, даже не чувствовались. Вообще, совершенно неправильно утверждение, будто революция явилась результатом продовольственного кризиса. *Ред.*

митете помощи нашим военнопленным, где я была председателем, а он — моим заместителем. Я буду говорить о нем позже. Он приехал, чтобы сообщить нам о важных событиях текущего момента, и чтобы покорнейше просить в. князя настаивать на возможно скорейшем возвращении государя из Могилева. „Еще не все потеряно, — сказал он, — если бы государь захотел сесть у Нарвских ворот на белую лошадь и произвести торжественный въезд в город, положение будет спасено [1]). Как можете вы оставаться здесь спокойными?" В эту минуту вошел князь Михаил Путятин, управляющий Царскосельским дворцом, и мы с общего согласия решили, что государь, конечно, в курсе дела, что он знает, что ему следует предпринять, и что лучше всего предоставить ему самостоятельность в его действиях. Увы, увы, не были ли мы правы! Снова раздался звонок телефона. Мятежники только что взяли штурмом арсенал. В этот момент мы почувствовали, что почва действительно качается у нас под ногами. Тюрьмы открыты, и все беглецы из острогов становятся во главе движения. К концу дня 27/12 Петропавловская крепость очутилась в руках революционеров. Мало-по-малу полки переходят на сторону наших врагов, и в Царском Селе рассказывают, что первый стрелковый полк, расквартированный в этом городе, ушел, чтобы присоединиться к мятежникам. 28 февраля (13 марта) здание суда, полицейские участки, дом министра двора графа Фредерикса были объяты пламенем! [2]) В это время правительство не находит другого решения, как только распустить Думу до после-пасхи. Этот приказ заставили подписать государя, который все еще находился в Ставке [3]). Другой декрет, исходивший от революционеров, гласил: „Государственной Думе не расходиться. Всем депутатам оставаться на своих местах" [4]). Родзянко, один из бунтовщиков, наиболее ответственных за несчастье России, решается предупредить государя и командующих армиями о серьезности положения и требует назначения лица, которое пользовалось бы доверием народа. Дума идет еще дальше в своей революционной дерзости. Она формирует Временный Исполнительный Комитет, в составе: Родзянко, Керенского, Шульгина,

---

[1]) С этим позволительно не согласиться. Вряд ли поздоровилось бы Николаю, если бы он вздумал воспользоваться чудодейственными свойствами белой лошади. Настроение его «подданных» было не совсем подходящим для таких карнавалов. *Ред.*

[2]) Они были разгромлены и подожжены еще накануне, 27 февраля. *Ред.*

[3]) Приказ о роспуске Думы (в трех вариантах) был подписан заблаговременно. См. воспоминания Родзянко. *Ред.*

[4]) Сиятельная дама имеет в виду „революционный декрет совета старейшин Государственной Думы. Подробности об этом см. у Родзянко. *Ред.*

Милюкова, Чхеидзе и других зачинщиков смуты, который совещается с образовавшимся в то же время Советом Рабочих Депутатов.

Во вторник, 28 февраля (13 марта), около десяти часов утра меня попросил к телефону посол Франции: „Я беспокоюсь о вас, милый друг, — сказал он, — у нас здесь прямо ад, всюду перестрелка! Спокойно ли у вас в Царском?“ Я ответила ему, что у нас царит самое безмятежное спокойствие. Я посмотрела в окно и увидела чистое голубое небо; лучезарное солнце заставляло снег сверкать тысячами огней; ни малейший шум не нарушал эту безмятежность природы... но увы, это продолжалось не долго. После завтрака я пошла в маленькую, милую церковь Знаменья, куда в продолжение всей войны я ходила ежедневно, чтобы помолиться и успокоиться. Я заметила необычное волнение. Солдаты, растрепанные, в фуражках, запрокинутых на затылок, с руками в карманах, разгуливали группами и хохотали. Рабочие бродили с свирепым видом. В тревоге я поспешила вернуться домой, чтобы скорее увидеть князя и детей. Мужа я застала в состоянии крайнего волнения. Ему не давала покоя полная неизвестность о судьбе государя, которого он обожал. Он шагал вдоль и поперек своего рабочего кабинета и нервно крутил усы. Он задавал себе вопрос, не должен ли он поехать к государыне, которую не видел со дня отъезда сына, как вдруг раздался звонок телефона, и из дворца сообщили, что государыня просит в. князя немедленно приехать. Было четыре часа дня. Тотчас был подан автомобиль, и через несколько минут в. князь был у государыни. Она приняла его очень сурово и, спросив о подробностях того, что творится в Петрограде, резко сказала ему, что если бы императорская фамилия поддерживала государя вместо того, чтобы давать ему дурные советы, тогда бы не могло случиться того, что происходит сейчас. В. князь ответил, что ни государь, ни она не имеют права сомневаться в его преданности и честности, и что сейчас не время вспоминать старые ссоры, а необходимо во что бы то ни стало добиться скорейшего возвращения государя. Государыня сообщила, что он возвратится завтра утром, т.-е. 1/14 марта. Великий князь обещал встретить его на вокзале и уехал, убедившись, что ни она, ни дети, которые в то время были больны, не подвергаются никакой опасности и находятся под хорошей охраной.

Около семи часов вечера распространился слух, что толпа волнующихся и угрожающих рабочих покинула фабрики в Колпине и направляется к Царское. Немного испугавшись, мы с в. князем решили пойти к вдове бывшего

министра в Персии, де-Спрейер, нашему другу уже в продолжение трех лет, которая работала вместе со мной в лазарете, и которая на случай возможных волнений часто предлагала мне свое гостеприимство. Владимир и две мои дочери с гувернанткой-француженкой Жакелиной должны были пойти к семейству Михайловых, где шли усиленные приготовления, чтобы принять их наилучшим образом. Мы ушли из дому около девяти часов вечера. Патрули с белыми нашивками на левом рукаве объезжали город. Мы не знали, были ли это войска, оставшиеся еще верными, или те, которые уже перешли на сторону восставших. Два раза наш автомобиль останавливали, но как только узнавали, что едет в. князь, ему отдавали честь и пропускали. Г-жа Спрейер уступила нам свою комнату, и в течение всего времени, пока мы оставались под ее кровлей, оказывала нам бесконечное внимание и предупредительность. Мы с трудом заснули. Время от времени раздавались ружейные выстрелы, и я представляла себе наш дворец объятым пламенем, и все прекрасные коллекции разграбленными и уничтоженными. Увы, позднее, после ссылки государя в Тобольск, когда ничто больше не удерживало нас в Царском, именно эти коллекции, эти богатства погубили нас, так как вместо того чтобы бежать, пока еще было время, мы остались, будучи не в силах расстаться с дорогими нам вещами. Могла ли я предполагать, что самое драгоценное и самое любимое из моих сокровищ — жизнь князя Владимира — будет принесено в жертву!?

На следующее утро за в. князем приехал автомобиль, чтобы отвезти его в царский павильон для встречи государя, который должен был прибыть в $8^1/_2$ часов утра. Подождав некоторое время, в. князь возвратился к г-же Спрейер, чрезвычайно встревоженный, — государь не приехал! На пол-пути между Могилевом и Царским Селом революционеры, во главе с Бубликовым[1]), остановили царский поезд и направили его на Псков.

Мы возвратились домой около одиннадцати часов утра, и я была очень удивлена, найдя наш дворец на месте, лакеев в ливреях и коллекции нетронутыми.

В это время произошли важные события в Петрограде. Таврический дворец, где заседала Дума, все время кишел народом. Офицеры, солдаты переходили на сторону мятежников и являлись предлагать свои услуги. Даже один из

---

[1]) Бубликов был первым «революционным» комиссаром путей сообщения. Поезд, конечно, был остановлен настоящими революционерами, а не самим Бубликовым. *Ред.*

членов царской фамилии, в. князь Х. [1]), пришедший во главе своего полка, чтобы отдаться в распоряжение мятежников, ждал больше часа во дворе, пока г. Родзянко соблаговолил принять его и пожать ему руку. Возвратясь к себе, этот князь велел поднять красный флаг на крыше дома. Бывшие министры: Штюрмер, Горемыкин, Щегловитов, Сухомлинов, генерал Курлов и митрополит Питирим с пинками, издевательствами и оскорблениями были приведены в Думу. Не могли найти спрятавшегося Протопопова, но на следующий день он явился добровольно. Графиня Клейнмихель, салон которой был центром общества и дипломатического корпуса, была грубо приведена в Думу, а ее дом захвачен и разграблен. Г-жа Елена Нарышкина, урожденная графиня Толь, жившая в гостиннице „Астория", была на грузовике привезена в Думу; там их обеих держали в течение суток.

Около четырех часов дня, все еще 1/14 марта, к нам приехали князь Михаил Путятин, г. Бирюков — чиновник из министерства двора — и Иванов, тот самый, о котором я говорила выше. На пишущей машинке Владимира составили манифест о даровании императором конституции. В. князь был того мнения, что надо испробовать все, чтобы спасти трон. Когда манифест был составлен, князь Путятин побежал во дворец и поручил генералу Гротену,— второму коменданту дворца, просить государыню подписать его в отсутствие государя, пока тот не приедет. Нельзя было терять ни одной минуты. Несмотря на мольбы Гротена, который, говорят, даже стал перед ней на колени, государыня отказалась дать подпись. Тогда в. князь Павел поспешно подписал манифест, и Иванов отвез его в Петроград, где собрал подписи в. князей Михаила Александровича и Кирилла Владимировича. Манифест был тотчас же отвезен в Думу и вручен Милюкову, который, пробежав его глазами и положив в портфель, сказал: „Да, это очень интересный документ". Он, должно быть, сохранил его до сих пор, так как эта, важная в тот момент, бумага не увидела еще света. Злой рок судил, чтобы этот документ попал в руки такого недобросовестного человека, как Милюков [2]).

---

[1]) Речь идет о Кирилле Владимировиче, нынешнем „императоре всероссийском" за границей. *Ред.*

[2]) Чрезвычайно любопытный рассказ кн. Палей об этой попытке спасти монархию не подтверждается другими источниками; не подтверждается он и Милюковым в его «Истории революции». Сам по себе, однако, эпизод этот представляется вполне правдоподобным. По крайней мере, великолепный жест Александры Федоровны, отказывающейся подписать „конституцию" уже после фактического низвержения монархии, чрезвычайно гармонирует с той ее характеристикой, которую дает опубликованная переписка ее с Николаем II в дни революции. *Ред.*

Факт, о котором я расскажу ниже, докажет, что этот человек был лишен какой бы то ни было честности.

Посылая этот манифест в Думу, в. князь в письме к Родзянко умолял его испробовать все способы для спасения государя, о котором было известно только то, что его поезд был возвращен со станции Дно в Псков. Родзянко ни разу не подтвердил получения этого письма. Впрочем, и все его поведение во время революции было отвратительно. Покинутый всеми, он в настоящее время живет в Сербии и говорит о себе самом, что он — „разлагающийся политический труп“ [1]).

V.

2/15 марта Милюков произносит в Думе [2]) нескончаемую речь, в которой заявляет, что государь собирается отречься от престола в пользу своего сына, назначив регентом в. князя Михаила. Какой-то горлан слева кричит ему: „Но ведь это опять та же династия.“ — „Да,— предупредительно отвечает Милюков, — это та же династия, которую вы не любите и которую я тоже не люблю, но в данное время большего нельзя и желать“. Самое слово „отречение“ до слез сжимало нам сердце. Это казалось нам чудовищным, невозможным, одна мысль об этом приводила нас в ужас. Подавленные важностью и быстротой событий, мы провели очень печальный вечер.

В четверть пятого утра 3/16 марта камердинер в. князя доложил, что офицер императорского конвоя желает говорить с ним во что бы то ни стало. Быстро встав и одевшись, мы приняли офицера, который был бледен, как смерть. Это был друг. Он доложил, что командир сводного полка послал его к в. князю, чтобы сообщить, что новый комендант Царского Села безуспешно пытался дозвониться к нему по телефону и желает его немедленно видеть. Офицер рыдал. Мы поняли, что все кончено. В. князь был бледен. Он отвечал, что готов принять нового коменданта, и, пять минут спустя, артиллерийский полковник по фамилии Больдескул, с огромным ярко-красным бантом на груди, явился к нам в сопровождении адъютанта, тоже с красным бантом. Отдав

---

[1]) В настоящее время Родзянки уже нет в живых, он умер в январе 1924 г. в сербском городе Н. Саде, бойкотируемый и травимый эмигрантами, как „крамольник“ и „революционер“. Насколько враждебны были отношения к нему белогвардейцев, показывает тот факт, что незадолго до своей смерти при поездке в Белград он был избит врангелевскими офицерами. *Ред.*

[2]) Это было, конечно, не на заседании Думы, а на одном из митингов в думском зале. *Ред.*

честь и извинившись за неурочный час (половина пятого утра), полковник прочитал нам следующий манифест:

„В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу родину, господу богу угодно было ниспослать новое тяжкое испытание России. Начавшиеся внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа, все будущее дорогого нашего отечества требует доведения войны во что бы то ни стало до победного конца.

Жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок час, когда доблестная армия наша совместно с славными союзниками нашими сможет окончательно сломить врага. В эти решительные дни в жизни России сочли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы, и, в согласии с Государственной Думой, признали мы за благо отречься от престола государства Российского и сложить с себя верховную власть.

Не желая расстаться с любимым сыном нашим, мы передаем наследие наше брату нашему великому князю Михаилу Александровичу и благословляем его на вступление на престол государства Российского.

Заповедуем брату нашему править делами государственными в полном и ненарушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях на тех началах, кои будут ими установлены, принеся в том ненарушимую присягу во имя горячо любимой родины.

Призываем всех верных сынов отечества к исполнению своего святого долга перед ним повиновением царю в тяжелую минуту всенародных испытаний и помочь ему, вместе с представителями народа, вывести государство Российское на путь победы, благоденствия и славы.

Да поможет господь бог России.

Николай.

Город Псков. 2 марта 1917 года, 15 часов“.

Великий князь и я были ошеломлены. Очнувшись, я вся дрожала, и зубы у меня стучали. Как мы ни предугадывали это крушение всего нам дорогого, теперь мы не могли этому поверить. Однако, листок пергамента был перед глазами и огненными буквами говорил нам об ужасной истине.

После ухода полковника мы даже не подумали о том, чтобы снова лечь спать. Падение империи — так как мы великолепно понимали, что это было именно падение — предстало перед нами во всем своем ужасе. Напрасно мы убе-

ждали себя, что князь Михаил продолжит традиции. Мы знали, что он был человеком бесхарактерным, всецело находившимся под дурным влиянием своей жены, г-жи Брасовой, да, кроме того, мы любили „нашего“ государя, избранника и помазанника божия, и не желали никого другого.

В тот же день, 3/16 марта, в одиннадцать часов князь пошел к государыне. Это может показаться неправдоподобным, но бедная женщина не знала об отречении своего мужа. Никто из окружающих не имел смелости нанести ей этот удар. Все пятеро детей были больны корью; две старшие и младшая девочки уже поправлялись, но великая княжна Мария (третья) и наследник чувствовали себя очень плохо. В. князь тихо вошел к ней и припал долгим поцелуем к ее руке, будучи не в силах произнести ни слова. Сердце его готово было разорваться. Государыня, в простом костюме сиделки, поразила его своим спокойствием и ясностью взгляда. „Милая Алиса, — сказал наконец князь, — я хотел быть рядом с тобой в такую тяжелую для тебя минуту“... Государыня посмотрела ему в глаза. „Что с Ники?“—спросила она. — „Ники здоров, — поспешил ответить князь, — но будь мужественна, как и он: сегодня, третьего марта, в час ночи он подписал акт об отречении от престола за себя и Алексея“. Государыня содрогнулась и опустила голову, как будто молилась, потом, выпрямившись, сказала: „Если Ники это сделал, значит это было нужно. Я верю в милосердие божие: бог нас не оставит“. Но в то же время крупные слезы текли у нее по щекам. — „Я больше не государыня, — сказала она с печальной улыбкой, — но я останусь сестрой милосердия. Так как государем теперь будет Миша, я займусь своими детьми, госпиталем, мы поедем в Крым“... В. князь оставался с ней до завтрака, почти полтора часа. Она хотела знать подробности того, что происходило в Думе, и по поводу в. князя, который самолично явился туда третьего дня, сказала по-английски: „Даже *X* [1]), какой ужас“... Муж вернулся домой в очень нервном состоянии, и я сделала все возможное, чтобы успокоить и ободрить его.

В это время в. князь Михаил находился в Зимнем дворце в Петрограде. Очень немногие знают, что командующий войсками генерал Хабалов, увидев массу народа, бросившегося к Зимнему дворцу, предложил в. князю стрелять в толпу, ручаясь за некоторые полки, оставшиеся верными. Михаил решительно воспротивился этому, заявив, что он

---

[1]) Кирилл Владимирович. *Ред.*

„не желает проливать ни одной капли русской крови“ [1]. Он тайно покинул дворец и укрылся на Миллионной улице у своего друга князя Путятина, двоюродного брата того самого, о котором я говорила выше.

Вот доказательство того, что эту революцию задолго предвидели и тщательно подготовили: в первый же день все частные автомобили, находившиеся в Петрограде, были реквизированы в несколько часов. Наш прекрасный автомобиль исчез одним из первых, и после того, как в нем разъезжали члены Временного Правительства, именно на его долю выпала честь встретить Ленина при его прибытии на Финляндский вокзал.

К находившемуся у князя Путятина в. князю Михаилу, который с часа ночи являлся царем, прибыли с визитом князь Львов, Гучков, Родзянко, Милюков, Керенский и другие лица и убеждали его отказаться от престола в пользу народа, который впоследствии сам изберет его или кого-нибудь другого. После нескольких минут колебания, этот бесхарактерный князь уступил, к великой радости изменников отечества; а Керенский, эта марионетка, которую по ошибке приняли на минуту всерьез, бился в истерическом припадке.

VI.

Хотя подробности отречения Николая II от престола и известны, я считаю нужным привести их здесь, чтобы напомнить о том, что все несчастья, обрушившиеся на Россию, начались именно с момента отречения. Несчастье и вечный позор тем, которые его добивались и вызвали!

Покинув ставку 27 февраля/12 марта, чтобы возвратиться в Царское, государь узнал, что поезда на Петроград больше не ходят [2]. Было решено, что он поедет в Псков, куда царский поезд прибыл вечером 1/14 марта, и где государь получил от генерала Алексеева телеграмму, в которой тот извещал его о развитии революции и умолял пойти на все возможные уступки. Генерал Рузский, командовавший северным фронтом и находившийся в Пскове, настаивал на том, чтобы государь последовал совету Алексеева. Эта телеграмма была получена в Пскове перед приездом государя, а час спустя Рузский получил от Родзянко вторую, в которой гово-

[1]) Если этот факт верен, то он, как и отречение от престола, объясняется не „благородством“ Михаила, а боязнью за свою жизнь. Но повидимому, автор здесь просто путает: „в это время“ (3 марта) зимний дворец был в руках народа, а Хабалов сидел под арестом. *Ред.*

[2]) В действительности поезда ходили нормально. Исключение было сделано лишь для царского поезда, который дальше станции „Дно“ не пустили. *Ред.*

рилось, что все уступки слишком запоздали и что единственное средство спасти династию—это отречение. Очевидно, Родзянко разослал такого же рода депеши командующим армиями, потому что в. князь Николай, генералы Брусилов и Эверт телеграфировали государю и все трое, хотя и в различных выражениях, советовали ему уступить. Одновременно с получением этих телеграмм государь узнал, что его любимый конвой изменил ему и перешел на сторону мятежников. Это был для него очень тяжелый удар. Если бы вы только знали, как государь и государыня баловали чинов конвоя, как они нянчились с их семьями и детьми, как они засыпали их подарками, то вы поняли бы, как должна была опечалить их такая черная неблагодарность.

После полудня 2/15 марта Рузский снова приходит в царский вагон и продолжает убеждать государя отречься. Он повторяет ему беспрестанно одно и то же: „Ну, ваше величество, решайтесь". Наконец, государь уступает. Он составляет телеграмму к Родзянко, говоря, что приносит эту жертву своей горячо любимой родине и отрекается от престола в пользу своего сына, с условием, что последний будет жить с ним до совершеннолетия. Он передает эту депешу Рузскому и возвращается к себе в купэ. Рузский, видя, что государь не упоминает о регентстве в. князя Михаила, добавляет то, что считает необходимым, и просит министра двора графа Фредерикса показать телеграмму государю. Фредерикс приносит исправленную телеграмму обратно, вместе с другой, адресованной генералу Алексееву, где государь сообщает о своем отречение и о назначении в. кн. Николая верховным главнокомандующим. Фредерикс добавляет, что государь просит не отправлять этих телеграмм до приезда Гучкова и Шульгина, посланных к нему Думой. Двадцать минут спустя государь одумывается, и посылает адъютанта, чтобы взять от Рузского телеграммы обратно, но тот не желает возвратить их и дает честное слово (честное?) в том, что не отправит их до прибытия парламентеров.

Как только они прибыли, государь велел позвать их и объявил об отречении от престола за себя и за сына. Это привело посланцев Думы в замешательство, так как полученные ими инструкции имели в виду отречение только государя, но не наследника.

Лишь много спустя мы узнали, почему государь решился на двойное отречение. Он призвал своего врача профессора Федорова и сказал ему: „В другое время я не задал бы вам подобного вопроса; но теперь момент очень серьезен, и я прошу вас ответить мне с полной откровенностью: будет ли мой сын жить и сможет ли он когда-нибудь царство-

вать?“ — „Ваше величество,—ответил Федоров,—я должен признаться вам, что его императорское высочество наследник не доживет и до шестнадцати лет“... Получив этот удар прямо в сердце, государь принял непоколебимое решение. Тот самый монарх, который столько колебался, дать или не дать конституцию или даже ответственное министерство, одним росчерком пера подписал акт огромной важности, гибельные последствия которого для России неисчислимы. В час ночи Гучков и Шульгин увезли акт о двойном отречении в пользу в. князя Михаила, отрекшегося в свою очередь под давлением революционеров. Это-то отречение и привело к несчастьям, которые мы терпим в настоящее время, и которые унесли столько невинных жертв и повергли Россию в состояние печали и разрушения.

VII.

Около шести часов вечера 3/16 марта командиры запасных полков, которые стояли в Царском, собрались у в. князя, чтобы поговорить о новом положении, создавшемся благодаря отречению в. князя Михаила. Этот император на час обнародовал следующий манифест:

„Тяжкое бремя возложено на меня волею брата моего, передавшего мне императорский Всероссийский престол в годину беспримерной войны и волнений народа.

Одушевленный единой со всем народом мыслью, что выше всего благо родины нашей, принял я твердое решение в том лишь случае воспринять верховную власть, если такова будет воля великого народа нашего, которому и надлежит всенародным голосованием через представителей своих в Учредительном Собрании установить образ правления и новые основные законы государства Российского.

Посему, призывая благословение божие, прошу всех граждан державы Российской подчиниться Временному Правительству, по почину Государственной Думы возникшему и облеченному всей полнотой власти, впредь до того, как созванное в возможно кратчайший срок на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования Учредительное Собрание своим решением об образе правления выразит волю народа.

Подписал: Михаил.

Петроград, 3 марта 1917 года“.

Военные, собравшиеся на совет к в. князю Павлу, предвидели, что раз монархия пала, будет чрезвычайно трудно держать войска в руках и заставить их повиноваться. Некоторые роты целиком переходили на сторону вос—

ставших. В Петрограде сформировалось Временное Правительство, и у в. князя было решено следовать последним наставлениям государя, который советовал подчиняться этому правительству, помогать ему во всем и стремиться только к одной цели — довести войну до победного конца. Из всего этого видно, что государь не думал больше о себе, и только судьба горячо любимой России занимала его мысли. Лишь недавно, благодаря сообщению нашего бывшего посла в Лиссабоне Петра Боткина, узнали мы удивительное послание государя к войскам после отречения, когда он возвратился из ставки [1]). Вот это послание, которое доказывает прекрасную и благородную душу несчастного монарха:

„В последний раз обращаюсь к вам, горячо любимые мною войска. После отречения за себя и за сына моего от престола Российского, власть передана Временному Правительству, по почину Государственной Думы возникшему.

Да поможет бог вам, доблестные войска, отстоять нашу Родину от злого врага. В продолжение двух с половиной лет вы несли ежечасно тяжелую боевую службу, много пролито крови, много сделано усилий, и уже близок час, когда Россия, связанная со своими доблестными союзниками одним общим стремлением к победе, сломит последнее усилие противника. Эта небывалая война должна быть доведена до полной победы.

Кто думает теперь о мире, кто желает его, тот — изменник Отечеству, его предатель. Знаю, что каждый честный воин так мыслит. Исполняйте же ваш долг, защищайте доблестную нашу Родину, повинуйтесь Временному Правительству, слушайтесь ваших начальников.

Помните, что всякое ослабление порядка службы только на-руку врагу.

Твердо верю, что не угасла в ваших сердцах беспредельная любовь к нашей Великой Родине. Да благословит вас господь бог и да ведет вас к победе святой великомученник и победоносец Георгий.

Николай.

Ставка. 8/21 марта 1917 года“.

Вечером 3 марта в. князь Павел опять навестил государыню. Она была спокойна, безропотна и бесконечно прекрасна. Уже чувствовалось подобие ареста, потому что двор Александровского дворца был полон солдатами с белыми нашивками на рукавах. Они были там по приказанию

[1]) Судя по дате и по самому содержанию приводимого ниже „послания“, оно написано Николаем не по возвращении из ставки, а перед самым отъездом его оттуда в быв. Царское Село. *Ред.*

Временного Правительства ради так называемой безопасности государыни и детей, но на самом деле из опасения, чтобы друзья не помогли им бежать. Наконец, государыня получила сведения от мужа, уехавшего снова в Могилев, чтобы проститься с войсками и встретить государыню-мать, которая выехала из Киева, желая повидаться с сыном.

Когда в. князь, выходя от государыни, очутился на высоком подъезде, возвышавшемся над всем двором Александровского дворца, он обратился к толпе собравшихся солдат со следующими словами: „Братцы, — сказал он им, — вы уже знаете, что наш возлюбленный государь отрекся от трона своих предков за себя и сына в пользу своего брата, и что этот последний отказался от власти в пользу народа. В настоящий момент во дворце, который вы охраняете, нет больше ни императрицы, ни наследника престола, а есть только женщина-сиделка, которая ухаживает за своими больными детьми. Обещайте мне, вашему старому начальнику, сохранить их здравыми и невредимыми. Не стучите и не шумите, помните, что дети еще очень больны. Обещайте же мне это.“ Тысячи голосов раздались в ответ: „Мы обещаем это вашему императорскому высочеству, мы обещаем это тебе, батюшка, в. князь, будь спокоен, ура!“, и в. князь сел в автомобиль, немного успокоившись. Тем не менее, на следующий день, 4/17 марта, произошла резкая перемена. Антинациональная пропаганда, поддерживаемая авантюристами из Временного Правительства, глухо рокотала вокруг дворца. Мы с Владимиром пошли побродить вокруг царского дома, чтобы уяснить себе состояние умов солдат и чтобы убедиться в полной безопасности дворца. С болью в сердце услышала я, как один казак из конвоя, гарцовавший на лошади, кричал другому: „Что ты скажешь обо всем этом, товарищ?“ — „Я нахожу, что это ловко сделано. Довольно потешились, теперь наша очередь!“ С первого взгляда можно было заметить изменившееся настроение людей. Робкие и благоразумные вчера, они были дерзки и наглы сегодня. Эти несознательные существа слепо шли по тому направлению, которое указывало Временное Правительство.

VIII.

Прошел слух, что старый генерал Иванов с пятьюстами георгиевскими кавалерами идет на помощь государыне; действительно, он дошел до Колпино, где был задержан гораздо более многочисленными войсками восставших; поэтому 4/17 марта Временное Правительство, испугавшись, объявило государыню с детьми и всеми окружающими на

положении арестованных[1]). Объявить государыне об аресте явился генерал Корнилов. Князь Путятин и генерал Гротен были арестованы в царскосельской управе, куда оба они отправились по служебным делам, — по поводу снабжения дворца продовольствием. Были также арестованы начальник дворцовой полиции полковник Герарди и граф Татищев. Всех их препроводили в одну из царскосельских гимназий, где с ними очень плохо обращались, не давали пищи, а затем вскоре их заключили в Петропавловскую крепость в Петрограде. С государыней оставили только обер-гофмейстерину двора, г-жу Нарышкину, графа и графиню Бенкендорф и фрейлину графиню Гендрикову. Осталась также и г-жа Вырубова, которая была тоже больна корью. Новый военный министр Гучков назначил комендантом дворца капитана Коцебу, надеясь, что он, согласно своему обещанию, будет держать себя, как настоящий тюремщик; но Коцебу, к своей чести, занял это место только для того, чтобы притти на помощь заключенным и смягчить по мере возможности их существование. Он пропускал к ним письма, не просмотренные цензурой, передавал известия, сообщенные по телефону, украдкой покупал им то, в чем они нуждались и т. д... Поэтому, как только Керенский пронюхал о благородном поведении Коцебу, он удалил его из дворца и поместил туда своего друга Коровиченко — человека из простонародья. Однажды мы попросили его притти к нам, чтобы непосредственно получить новости о царской семье. Этот субъект явился по первому зову, уселся, положив ногу на ногу, и закурил папиросу в нашем присутствии, даже не спросив разрешения.

Как ни печальны эти воспоминания, но следует упомянуть, сколько офицеров и генералов погибло в эти трагические дни. Одним из первых среди убитых был генерал граф Густав Штакельберг, муж моей нежно любимой подруги. Революционные солдаты силой ворвались в их дом на Миллионной улице и принудили генерала следовать за ними в Думу. Едва они вышли, как раздался выстрел. Испуганные солдаты вообразили, что это погоня и принялись стрелять. Граф Штакельберг попытался бежать вдоль улицы, но солдаты убили его в нескольких шагах от дома. И этот чудный, благородный и самый миролюбивый чело-

[1]) Этот эпизод революционной борьбы изложен автором неверно: не 4-го, а лишь 7 марта Вр. Правительство постановило «признать отрекшегося императора Николая II и его супругу лишенными свободы и доставить отрекшегося императора в Царское Село». Вызвано же было это постановление не испугом перед уже ликвидированным Ивановым, а давлением Исп. Комитета С. Р. и С. Д., который еще 3 марта принял решение об аресте семьи Романовых. *Ред.*

век был одной из первых жертв. Граф Менгден, граф Клейнмихель, генерал Шильдкнехт, инженер Валуев и многие другие были убиты в начале этой революции, которую князь Львов осмеливается называть „бескровной“. В то время говорили, что убивают главным образом офицеров с немецкими фамилиями [1]). Считаясь с этим, Франция не должна была бы допускать ни одного человека с эльзасской или лотарингской фамилией.

5/18-го марта, в половине двенадцатого вечера, великий князь Павел, мой сын Владимир и я собрались у меня в будуаре. Раздался неизменный звонок телефона. Я подошла. Это был Волков, камердинер государыни, который раньше долго служил у в. князя. Он сказал мне: „Ее величество государыня просит ваше высочество немедленно притти к ней“. — „Боже, что еще случилось?“ — воскликнула я. — „Успокойтесь, княгиня, ничего дурного, может быть, это даже лучше: военный министр Гучков и командующий армиями генерал Корнилов приказали сообщить ее величеству, что придут навестить ее сегодня в полночь“. Удивленный этим ночным визитом, великий князь немедленно велел подать автомобиль (два автомобиля, остававшиеся в Царском, были взяты у нас только большевиками [2]), и вместе с Владимиром уехал в Александровский дворец. Он думал, что вдвоем они смогут быть более полезны: разве можно что-нибудь предугадать в подобные минуты? Я решила не ложиться спать до их возвращения и ждала их. Они вернулись в половине третьяго ночи и вот что рассказали мне. Прибыв во дворец, они были встречены обер-гофмаршалом двора графом Бенкендорфом, Коцебу и графом Адамом Замойским, роль которого в эти дни испытаний была удивительна. Граф Замойский остался в качестве бессменного дежурного адьютанта при ее величестве до возвращения государя, и, несомненно, разделил бы их заключение, если бы Временное Правительство разрешило ему это. — Великий князь тотчас же вошел к государыне и нашел ее одну, в платье сиделки, и совершенно спокойной. Она тоже рассказала ему, что Гучков и Корнилов, производившие смотр Царскосельскому гарнизону, попросили при-

---

[1]) О подобных убийствах рассказывает и Воронович (см. ниже). Однако, приводимые им факты менее всего дают основания относить погибших к разряду «чудных, благородных» людей. Так, например, «благородный граф» Клейнмихель широко практиковал порку солдат. В большинстве случаев эти «чудные» люди пожали плоды ими же самими взрощенной в сердцах солдат ненависти к себе и подозрительного отношения ко всему немецкому. *Ред.*

[2]) Весьма характерная «мелочь». Члены императорской семьи и после февральской революции продолжали пользоваться приличествующими их «сану» привилегиями. Понадобился второй, октябрьский переворот, чтобы положить конец этому опасному раболепству. *Ред.*

нять их в полночь. Она не могла, конечно, и думать об отказе, несмотря на все свое, вполне естественное, отвращение к этим людям. Великий князь пробыл с ней в течение двух часов. Наконец, около половины второго ночи — мое личное мнение таково, что они умышленно заставили государыню ждать с целью унизить ее — Гучков и Корнилов были введены к ее величеству.

Оба они показались в. князю антипатичными и отталкивающими до последней степени. Свой бегающий и лживый взгляд Гучков прятал за черными очками, в то время как Корнилов, с ярко выраженным калмыцким типом и выдающимся скулами, смотрел все время вниз. Оба имели крайне смущенный вид. Наконец, Гучков решился спросить у государыни, нет ли у нее каких-нибудь желаний? „Да,—ответила она,—прежде всего я прошу вас возвратить свободу невинным, которых вы увели из дворца и которые содержатся под арестом в гимназии (князь Путятин, Гротен, Герарди, Татищев и др.), а затем я прошу, чтобы мой госпиталь ни в чем не нуждался и продолжал функционировать". Когда Гучков и Корнилов уходили, великий князь пошел за ними и сказал: „Ее величество государыня не призналась вам в том, что ее крайне беспокоит охрана, окружающая дворец. Уже двое суток люди кричат, поют, позволяют себе приоткрывать двери и заглядывать внутрь. Не угодно ли будет вам призвать солдат к порядку и благопристойности? Они чорт знает что себе позволяют!" Оба пообещали сделать страже соответствующее внушение (Временное Правительство, не располагая никакой реальной силой, действовало только убеждениями). Гучков и Корнилов ушли, и великий князь не удостоил их пожатия руки [1]).

На следующий день великий князь подал Гучкову заявление об отставке его от должности генерал-инспектора гвардии, а Владимир—от чина поручика его величества гусарского полка. Им было слишком противно служить этим новым пришельцам. И он очень хорошо сделал, так как три дня спустя генерал Алексеев, который в течение всей войны был в очень тесной дружбе с государем, а теперь продолжал нести свои обязанности в Могилеве и совершенно перешел на сторону Временного Правительства, прислал великому князю телеграмму следующего содержания:

„Вы отрешены от должности генерал-инспектора гвардии.

Алексеев".

---

[1]) Повидимому, речь идет о поездке Корнилова в Царское Село для объявления бывш. императрице распоряжения Вр. Правительства об ее аресте. Но это было не 5-го, а 8-го марта. *Ред.*

Великий князь ответил следующей телеграммой:

„Я подал в отставку за четыре дня до вашей телеграммы.

Великий князь Павел Александрович".

Начинались унижения и оскорбления самолюбия. Это не был еще организованный грабеж, узаконенная кража большевиков, но их зародыши уже носились в воздухе. В своих бесконечных речах, во время которых слюна брызгала у него изо рта, Керенский не упускал ни малейшего случая, чтобы оскорбить царскую фамилию: „Нам не надо больше Распутиных и Романовых", — кричал он перед ошеломленной и оцепеневшей толпой.

3 марта, простившись, — увы, навеки, — со своей матерью и войсками, и не выпускаемый из виду своими тюремщиками, государь прибыл в Царское Село[1]). Он вместе со своим верным гофмаршалом князем Валей Долгоруким подъехал на автомобиле к ограде парка, — к ближайшему въезду во дворец. Ограда была заперта, хотя дежурный офицер не мог не узнать о приезде государя. Государь ждал в течение десяти минут и произнес следующие слова, которые я узнала от матери князя В. Долгорукого: „Я вижу, что мне здесь больше нечего делать..." Наконец, дежурный офицер соблаговолил побеспокоиться и приказал открыть решетку, которая тотчас же опять закрылась. Государь сделался пленником вместе со своей женой и детьми.

IX.

Все министры государя, так же как и г-жа Вырубова, едва выздоровевшая от кори, были заключены в самые темные и сырые камеры Трубецкого бастиона Петропавловской крепости. К ним применяли самый строгий режим, который существовал для приговоренных к смертной казни.

Милюков, министр иностранных дел в начале революции, очень скоро стал непопулярным и должен был уступить свое место министру финансов, юному Терещенко, прозванному Вилли Ферреро или вундер-кинд. Но за время своего короткого министерства Милюков успел совершить очень скверный поступок. Король Англии, беспокоясь за своего двоюродного брата — государя и его семью, телеграфировал их величествам через посредство Бьюкенена о том, чтобы они как можно скорее выезжали в Англию, где они найдут для себя спокойное и безопасное убежище. Он даже добавлял, что германский император поклялся, что прика-

[1]) Здесь — опечатка или ошибка в хронологии. В Царское Село Николай II был доставлен не 3-го, а 9 марта. *Ред.*

жет свом подводным лодкам не нападать на пароход, который будет везти царскую фамилию. Что же делает Бьюкенен по получении этой телеграммы, которая, собственно говоря, была приказом? Вместо того, чтобы вручить ее адресату, — что было его обязанностью, — он совещается с Милюковым, который советует ему не давать этой телеграмме дальнейшего хода. Самая элементарная честность, особенно в „свободной стране", требовала вручения телеграммы тому, кому она предназначалась. В своей газете „Последние Новости" летом 1921 года Милюков признался, что все это верно, и что сэр Джордж Бьюкенен сделал это по его просьбе и „из уважения" к Временному Правительству". Пусть каждый по совести оценит поступки этих „честных людей" [1]).

Жизнь августейших пленников была однообразна, печальна и лишена всех радостей; ограничения — очень суровы. Временное Правительство отпускало им кредиты с величайшей скупостью. Все письма вскрывались, разговоры по телефону были запрещены. Грубые и часто пьяные часовые были расставлены повсюду. Единственным развлечением государя было разбивать лед на маленьком канале, который шел вдоль ограды царского парка.

Наша жизнь в Царском очень изменилась. Каждый день приносил новые притеснения. То это были газеты, которые нападали на великих князей, опубликовывая вздорные и лживые сведения, то это было Временное Правительство, конфисковавшее удельные имущества, созданные имп. Павлом I для нужд великих князей. Благодаря этому мы лишились порядочных доходов. Что касается журналистов, то они прибегали ко всевозможным уловкам, чтобы проникнуть во дворцы, оставшиеся еще обитаемыми. В газетах появилось несколько интервью с великими князьями. Все они, вероятно, были неверны, так как по ним выходило, что великие князья одобряют революцию. Мы дали самые строгие приказания, чтобы к нам не пропускали ни одного журналиста, и, тем не менее, мы попались, как и другие. Однажды лакей приносит великому князю визитную карточку, говоря, что какой-то офицер, приехавший из Пскова, просит разрешения видеть нас, чтобы сообщить важные новости по поводу великой княжны Марии, дочери великого князя. Имя офицера нам ничего не говорило, все же мы были далеки от мысли, что все это ложь. Но как только мы увидели входившего субъекта, мы поняли, что попались в ловушку. Молодой человек ярко выраженного еврейского типа, с курчавыми и слишком длинными волосами, затя-

[1]) См. ниже заметку Милюкова: „О выезде Николая II заграницу". *Ред.*

нутый в форму, которой он никогда не носил, подвигался по направлению к нам с блок-нотом и карандашем в руке. Великий князь рассердился, повернулся к нему спиной и вышел. Я на одну минуту осталась с ним, не попросила его садиться и, уверяя, что нам нечего сказать, кроме того, что мы глубоко несчастны, постаралась как можно скорее выпроводить его. А на следующий день появились четыре столбца интервью, в котором великий князь высказывался об их величествах в возмутительных выражениях. Великий князь был сражен и вне себя от отчаяния. Он послал опровержения во все газеты, но те отказались поместить их. Только „Новое Время", хотя тоже бывшее в то время революционным, очень изменив текст, соблаговолило оставить там следующую фразу: „Мог ли я, сын императора Александра II, — царя-освободителя, выражаться подобным образом о моем государе?" Я отдаю дань уважения журналисту Михаилу Романову, который приходил к нам и поместил это опровержение.

В это самое время и произошел один эпизод, который показался бы нам скорее смешным, если бы мы были расположены смеяться. В 1915 году великий князь отдал на хранение в кабинет государя свое завещание, подписанное его величеством и скрепленное министром двора. Желая внести туда некоторые изменения, великий князь обратился к Василию Маклакову, которого он немного знал, спросьбой извлечь этот документ из места, где он находился. Маклаков охотно взялся исполнить это и затребовал от Керенского возвращения завещания. Последний вложил его во второй конверт и надписал: „Генерал-адъютанту Павлу Романову". Это было грубо, неблаговоспитанно и лишено всякой логики, потому что, если Керенский имел возможность манипулировать с завещанием великого князя, то при ком, спрашивается, был великий князь генерал-адъютантом? Мы оценили по достоинству это проявление логики. Но каково же было удивление и негодование мужа, когда он увидел, что Керенский позволил себе сломать восковые печати, скреплявшие завещание, и ознакомиться с его содержанием!

Керенский из министра юстиции сделался военным министром и корчил из себя маленького Наполеона. Он усвоил себе фантастическую форму и был положительно комичен, подражая маленькому капралу. Весь цвет осужденных на каторгу за убийства и грабежи, все политические ссыльные и изгнанники из Сибири и всех частей света стекались в нашу несчастную столицу. Савинков, Коллонтай, Чернов, Ленин, бабушка Брешко-Брешковская (эта сумасшедшая старуха), Бронштейн-Троцкий поспешили приехать

и были приняты с почестями, достойными их преступлений, на вокзалах, расцвеченных красными флагами.

Керенский очень долго был на фронте, где его слюнявое красноречие не могло заставить солдат итти в сражение, и они предпочитали выходить из окопов и брататься с немцами. Они только и делали, что повторяли: „Без аннексий и без контрибуций". Совершенно не понимая того, что это значит, солдаты воображали, что война кончилась, и не скрывали своего неудовольствия из-за невозможности возвратиться домой. Наконец, 18-го июня бывший генерал-адъютант государя Брусилов — рьяный слуга Временного Правительства, а в настоящее время Советов — сделал последнюю попытку наступления, которая привела к позору и поражению под Тарнополем и Калущем.

X.

В течение всего апреля я продолжала бродить вокруг дворца. Погода была теплая и ясная, и августейшие пленники часто выходили на двор. Я старалась разглядеть их, но они всегда держались вдали от ограды, и мне приходилось слушать только злословие толпы. Однажды вечером, в конце апреля, я увидела массу народа, бегущего по направлению к городской управе; вмешавшись в толпу, я спросила у одного солдата, который имел более добрый вид, чем другие:

— Почему такое сборище? Что вы здесь делаете?

— Нас собрали сюда потому, что должны решить судьбу Николая Романова и его семьи. Их не хотят оставлять больше в Царском, а пошлют в Сибирь.

Очень взволнованная я прибежала домой, который был отделен от управы только одним прудом, и рассказала своим обо всем, что я только что слышала. Муж, взволнованный не меньше меня, умолял не вмешиваться больше в толпу и не мучиться напрасно, так как мы ничем абсолютно не могли помочь им. Мой милый князь! предчувствовал ли он, что позднее мне придется собрать все силы, чтобы перенести сверхчеловеческое горе?

На каждом происходящем митинге слышалась марсельеза, но не та прекрасная марсельеза, которую поют во Франции и которая постоянно вела французский народ к победе. Это была заунывная, монотонная и печальная песня, печальная, как все русские песни, которые навевают неясную грусть и предчувствие страданий. Ни один митинг (а их было много, так как эта первая русская революция представляла собой совершенно бесполезную

болтовню), не обходился без этой руссифицированной марсельезы.

По мере того как я пишу, печальные воспоминания встают передо мной. Однажды вечером я проходила сзади Большого дворца, возле китайского моста, и встретила взвод стрелков, который шел сменить караул около пленников. Один солдат их же полка проходит мимо и кричит им: „Товарищи, еще одна ночь трудной работы для вас! будьте спокойны, мы скоро освободим вас от этих бездельников!“

Должна сознаться, что мне очень не хотелось уезжать. Тем не менее, и главным образом для того, чтобы заставить великого князя решиться на отъезд, я попросила свидания со всемогущим Керенским. Он извиняясь ответил мне, — единственный раз он был вежливым, — что он слишком занят и не может сам притти ко мне, но что он примет меня в Большом царскосельском дворце. Порядочно взволнованная, я прошла в комнаты, в которых раньше жил министр двора граф Фредерикс с женой и куда я часто ходила. Некто вроде адъютанта, с длинными, сальными и приглаженными волосами, в пенснэ и с флюсом, завязанным носовым платком сомнительной чистоты, встретил меня и провел в рабочий кабинет. Я ждала в течение пять минут. Наконец показался Керенский и непринужденным, фамильярным тоном попросил меня сесть. Это был тип министра, которого Роберт де Флер и де Кайявет так остроумно изобразили в своем произведении „Король“. Я немедленно изложила причину своего визита. „Я пришла,— сказала я, — просить вас позволить нам уехать из России: великому князю Павлу, нашим детям и мне“.—„Уехать?—резко спросил Керенский. — Куда?“ — „Во Францию, где у нас есть дом, друзья и где мы еще сможем быть счастливы“...—„Нет,—ответил он,— я не могу разрешить вам уехать во Францию. Что скажут Советы Рабочих и Солдатских Депутатов, если я позволю уехать великому князю, бывшему великому князю, — тотчас же поправился он,—такого положения? Вы можете ехать на Кавказ, в Крым, в Финляндию, но не во Францию“.—„Значит, мы вам нужны? спросила я — „О, что касается меня, то я вас отпустил бы хоть сейчас, но что скажут Советы?“ [1]). Я хотела встать, но он удержал меня и начал едко критиковать самодержавный государственный строй, благодаря которому совершено столько, с позволения сказать, преступлений и беззаконий... У меня была только одна мысль— поскорее уйти от этой жалкой личности и никогда, никогда больше не встречать его.

---

[1]) Заявление, чрезвычайно характерное для Керенского. Вряд ли можно сомневаться в его искренности. *Ред.*

29 мая я попросила нашего друга Михаила Стаховича помочь мне спрятать в Гельсингфорсе, в Финляндии, кассу с драгоценностями и ценными бумагами. Будучи после революции генерал-губернатором Финляндии он был в состоянии оказать мне эту большую услугу. Итак, он увез меня в своём вагоне специального назначения, и я сохранила об этих трех днях, проведенных в его генерал-губернаторском дворце, самые трогательные и благодарные воспоминания.

Михаил Стахович играл очень важную роль в Государственном Совете. Будучи талантливым оратором и октябристом по партийной принадлежности, он желал добиться больших свобод и ответственного министерства. Благодаря этому он был в оппозиции, и так как он часто навещал нас в Царском до революции (и очень часто после), то государыня однажды сказала мне: „Вы мой друг, и тем не менее вы встречаетесь со Стаховичем и Маклаковым“ (Стахович накануне привез к обеду Маклакова). — „Ваше величество,—сказала я,—у вас нет друга более преданного, чем я. Стахович тоже не из числа ваших врагов! но, чтобы быть в курсе событий, надо принимать гостей, встречать новых людей, слышать новые речи“. Стахович, действительно, был очень хорошо осведомлен о положении дел на фронте и в тылу. Мы любили слушать, когда он говорил, потому что это был ясный ум, золотое сердце и большой патриот.

В апреле 1917 года, когда убийства в Финляндии прекратились, Керенский предложил Стаховичу должность генерал-губернатора Финляндии. Хотя это значило принять участие во Временном Правительстве, среди членов которого был только один достойный уважения — князь Львов, и по поводу которого мы никогда бы не сошлись во мнениях, Стахович счел долгом принять это предложение и оставался в этой должности до тех пор, пока вмешательство местных советов не сделало его положение невыносимым. В начале августа он возвратился в Петроград и незадолго до падения Керенского был назначен послом России в Испании, в то время как его сотоварищ Маклаков был назначен послом в Париже. Этот последний находится там до настоящего времени и занимает, кажется, в посольстве если не пост, то, по крайней мере, помещения [1]).

---

[1]) Это помещение он занимал до осени 1924 г., когда оно было передано французским правительством полномочному представительству СССР. во Франции. *Ред*

XI.

Однажды в конце апреля посол Франции попросил разрешения видеть нас. Прошел слух об его близком отъезде, и этот отъезд нашего друга очень нас печалил. Действительно, он пришел для того, чтобы проститься с нами! Положение становилось для него тягостным. Все, что творилось вокруг, глубоко его возмущало. М. Палеолог рассказал нам, что даже Альберт Тома, — этот воинствующий социалист [1]), — возвращаясь с фронта, где он видел только дезертирство, беспорядок и неповиновение, а в тылу—только грубость и неопрятность, сказал ему, опускаясь на кушетку: „Все, что здесь происходит, ужасно“. — „Нет, нет,—с жаром продолжал посол,—со времени представления в Мариинском театре, где меня заставили пожать руку Кирпичникову, я чувствую, что мне здесь не место“. Этот Кирпичников был первым солдатом, который поднял восстание среди гренадеров, убивая многих безоружных офицеров... и этого-то героя печального образа Временное Правительство осмелилось представить послу, тому самому послу, которому император Николай II сказал, обнимая его: „В вашем лице я обнимаю мою дорогую, благородную Францию“.

М. Палеолог был замещен Нулансом, которого я имела честь узнать только в 1921 году в Париже, потому что в то время, о котором я говорю, мы не выезжали из Царского.

Так прошли май и июнь 1917 года. Собственно говоря, рассказывать об этом времени нечего, потому что не происходило ничего особенного, кроме несуразностей правления Керенского, который внушал всем глубокое презрение.

Он назначил себя военным министром и министром президентом. Он буквально разрывался, — ездил на фронт, говорил там речи, возвращался обратно, опять говорил, уезжал в Москву, в Севастополь, куда его призывало волнение моряков, и производил впечатление белки в колесе. Борис Савинков занимал пост товарища военного министра, а после предприятия Корнилова, покончив с последним, получил назначение генерал-губернатором Петрограда.

В это время Ленин не довольствовался разговорами. Он действовал почти открыто, и его приверженцы с каждым

---

[1]) Один из наиболее правых и откровенных социал - патриотов. Во время войны был министром труда во Франции и заведывал военным снабжением. После окончания войны был „рукоположен“ империалистами Антанты в председатели „бюро труда“ при Лиге Наций. Автор, со своей точки зрения, вполне прав, называя этого господина „воинствующим социалистом“, но его воинственность целиком направлена против социализма. *Ред.*

днем становились все более многочисленными. Керенский, ослепленный своей мнимой славой, ничего больше не видел и не слышал. Не отказывая себе ни в малейшей фантазии, он поселился в Зимнем дворце и спал на кровати императора Александра III. Этот возмутительный поступок создал ему еще больше врагов, чем раньше. Владимир написал на эту тему едкую сатиру в стихах под названием „Зеркала“, где он огненными словами клеймил Керенского. Терещенко, министр иностранных дел, получил приказание выслать моего сына из Петрограда. Я не знаю, почему этот проект, который, может быть, спас бы ему жизнь, не был приведен в исполнение.

Многие монархисты начинали желать захвата власти Лениным и его сторонниками, для того только, чтобы свергнуть ненавистного Керенского. Они исходили из принципа: „чем хуже, тем лучше“ [1]). Наконец, 4 (17) июля большевики „испробовали свои силы“, напав на Временное Правительство; нападение на этот раз не имело успеха, потому что массы, хотя и развращенные, не доросли еще до большевизма [2]).

Советы Рабочих и Солдатских Депутатов, перед которыми Керенский трепетал, отозвали с фронта лучших командующих армиями, хотя те и признали Временное Правительство. Многие признаки доказывали, что Керенский был только болтливым полишинелем, который двигался потому, что Советы дергали его за веревочку. Он выдумал создать женские батальоны, большая часть которых погибла в октябре, в момент прихода большевиков, в то время как их вдохновитель убежал в автомобиле секретаря посольства Соединенных Штатов.

В четыре часа утра 4 июля я услышала, что кто-то стучит в дверь, и узнала голос моей дочери Марианны фон-Дерфельден, которая просила меня открыть ей как можно скорее. Я отдернула одну из густых занавесок, и комната тотчас же была залита солнцем; открыв дверь, я увидела перед собой дочь, бледную, как смерть, и еще более прекрасную, чем всегда. „Мама,—сказала она,—одевайся скорее

[1]) Эти „желания“ разделялись и некоторыми „социалистами“, также надеявшимися, что большевики сломят себе шею на другой же день после захвата власти. Надо полагать, что и те, и другие не особенно довольны результатом, получившимся в действительности. *Ред.*

[2]) Здесь много „неточностей“, повидимому, заимствованных сиятельным автором у демократических и социалистических историков революции. В действительности, как известно, движение началось еще 3 (16) июля; оно началось, несмотря на попытки большевистского ЦК удержать массы от преждевременного выступления; но благодаря стараниям того же ЦК вылилось лишь в мирную демонстрацию и, несомненно, доказало, что рабоче-солдатский Питер уже на стороне большевиков. *Ред.*

пусть одеваются также великий князь, Мария, Владимир, малыши и Митя (барон Бенкендорф, наш старый друг, живший у нас летом). Необходимо, чтобы вы покинули Царское как можно скорее!“.. Разбуженные таким образом, мы протирали глаза, ничего не понимая. — „Почему? Что такое случилось? Почему ты здесь в четыре часа ночи, и зачем эти два автомобиля, которые производят такой адский шум?“

„Умоляю вас, одевайтесь скорее, — все повторяла Марианна,—большевики идут в Царское; получив в Петергофе подкрепления из Кронштадта, они хотят начать свое наступление на Петроград отсюда .

Это рассуждение не выдерживало критики, тем более, что, если большевики идут из Петергофа в Царское, то это значило рисковать встретить их на дороге, и таким образом броситься прямо в пасть волка! Но Марианна так бесповоротно решила нас увезти,—ведь юность и очаровательна своими порывами,—что, несмотря на страх, мы приказали подать автомобиль, и помчались целым караваном, вместе с двумя другими нашими спутниками. Куда она нас везла? Мы узнали об этом только дорогой. Она рассчитывала спрятать нас на один-два дня у одного богатого торговца керосином, М. М... Он принял нас по-царски, но великий князь и я почти не были рады этому. Поэтому к вечеру, увидев, что, несмотря на несколько ружейных выстрелов и прошедших церемониальным маршем полков, все было спокойно, мы настояли на возвращении в Царское, где, впрочем, также была абсолютная тишина.

Эти происки и попытки большевиков заставляли нас дрожать за жизнь пленной царской семьи. Все было разрушено: не было больше ни армии, ни чести. Революционеры отлично понимали, что если армия останется нетронутой, то революция рано или поздно погибнет. И, чтобы спасти революцию, они не поколебались принести в жертву армию. Может ли более ужасный позор и угрызения совести висеть над человеческим сознанием? Но у русских революционеров нет совести!

Все больше подтверждался слух об отправлении царской семьи, но куда — неизвестно. Мы не знали, что и думать. Хотя время от времени я и переписывалась с великими княжнами Ольгой и Татьяной, но было совершенно невозможно задать им такой вопрос. Впрочем, они и не смогли бы мне ответить. Однажды мы узнали, что отъезд назначен на 30 июля (12 августа), день рождения наследника. Мой муж попросил у Керенского свидания со своим царственным племянником, но Керенский, — этот ничтожный человек, — не удостоил его даже ответом. Только брат го-

сударя, великий князь Михаил, живший в Гатчине, добился пятиминутного свидания в присутствии Керенского. Естественно, что в присутствии третьего лица (да еще подобного Керенскому) братья не могли ни о чем поговорить. Они только крепко обнялись в последний раз и постарались сократить свое свиданье, чтобы скрыть друг от друга охватившее их волнение. Дабы избежать возможных демонстраций, Керенский тщательно скрывал час отъезда их величеств. На следующий день после их отъезда в Тобольск нас пригласили на обед граф и графиня Бенкендорф, которых освободили после того, как они в течение долгих пяти месяцев разделяли заточение со своим государем. Вот что они рассказали нам в то же самое утро, и, слушая их, мы горько плакали.

Керенский сначала убедил царскую семью в том, что они, согласно собственному желанию, поедут в Крым. — Этот человек был воплощением лживости! — Каково же было изумление царской фамилии, когда им посоветовали „взять как можно больше мехов и зимней обуви“! И только в день, назначенный для отъезда, им объявили, что Совет Рабочих и Солдатских Депутатов избрал местом их пребывания город Тобольск в Сибири! Отчаяние семьи было безгранично. Все они обожали Крым и надеялись, что южное солнце и прекрасная природа заставят их, если не забыть, то, по крайней мере, легче перенести их мучительные испытания. А отъезд в Сибирь был ссылкой и низкой местью жалких и злобных людей, которые посылали их туда, где раньше жили каторжники...

Отъезд был назначен на час ночи с 31 июля на 1 августа. Керенский суетился и бегал, приказывал подавать поезд и отменял приказание, проявляя свою обычную бестолковость. Государь и его семья попросили придворного священника отслужить молебен, и, поцеловав в последний раз икону пресвятой девы, принесенную для этого из церкви Знаменья, сидели одетые, терпеливо ожидая часа отъезда. Государь, привыкший повелевать, подчинялся силе событий. Изнемогая от усталости и волнения, они оставались готовыми к отъезду до шести часов утра. Наконец, они покинули дом, в котором жили с первого дня брака, где родились их дети и где они были счастливы; они разлучались с верными слугами, которые горько плакали, прощаясь с ними. Они покидали все это счастливое прошлое для того, чтобы отправиться в неведомую страну, которая казалась им далекой, холодной и печальной... Наконец, в шесть часов утра Керенский с важным видом объявил, что „все готово“. Царская семья села в какой-то автомобиль, потому что прекрасные царские машины обслуживали представителей

Временного Правительства, и проехали от Александровского дворца к царскому павильону между двумя шеренгами революционных солдат. По своей великой доброте государь, у которого тогда было немного денег, приказал дать от себя по пятьдесять копеек каждому из них, за то, что их потревожили ночью. А их было там несколько сот человек...

Прибыв на вокзал, их величества заметили, что поезда у платформы не было, а он стоял так далеко на путях, что его едва было видно. Керенский объяснил этот факт, как меру предосторожности. И бедная государыня с больным сердцем должна была итти в течение десяти минут по насыпи, увязая в песке! Подойдя к вагону — это не был уже царский вагон — государыня не могла достать ступеньки, так велико было расстояние между ней и землей! Не могли даже подумать о том, чтобы принести складную лестницу для того, чтобы облегчить ей этот подъем! После больших усилий бедная женщина взобралась и, обессиленная, всей своей тяжестью упала на площадку вагона.

Между тем, постель императора Александра III совсем не была для Керенского ложем из роз. Против него начинали группироваться силы, и на Московском съезде 14/27 августа он встретил грозного соперника в лице генерала Корнилова. Последний после тщетной попытки водворить порядок среди петроградских войск принял на фронте командование сначала восьмой армией, потом — юго-западным фронтом и, наконец, был назначен главнокомандующим. Он очень быстро отдал себе отчет в том, что Керенский ведет Россию к гибели. Поэтому на съезде в Москве 14/27 и 15/28 августа [1]), он выступил против него, и под крики правых и военных „Да здравствует генерал Корнилов"! произнес речь, ежеминутно прерываемую слева. Он наглядно доказал опасность, указав сначала на наступление неприятеля на Ригу, затем на антимилитаристическую пропаганду и полную дезорганизацию армии. Он настаивал на необходимости восстановить власть офицеров, уничтоженную знаменитым приказом №1. Речь вызвала продолжительные аплодисменты, и Керенский ему ее не простил. Поэтому, когда Корнилов из ставки через посредство Савинкова потребовал от Керенского введения во всей России осадного положения, он сделал вид, что согласен, и подписал декрет о военной реформе.

Корнилов требовал этого по причине происков крайних партий и взятия Риги немцами. Советы, становившиеся все более и более большевистскими, во-время узнали об этом

---

[1]) Автор опять путает. „Государственное Совещание", о котором здесь идет речь, происходило не 14 и 15, а 12 — 14 августа. *Ред.*

постановлении и воспретили Керенскому проводить его в жизнь. Этот последний, чтобы порвать с Корниловым и понравиться Советам, не побоялся взять на себя роль провокатора. Керенский объявил Корнилова и его помощника генерала Лукомского изменниками отечества и сместил их. Он распространил слух, что Корнилов двигается на Петроград, чтобы уничтожить „завоевания революции" и разогнать Советы. В действительности третий кавалерийский корпус под командой генерала Крымова шел по приказу Корнилова, чтобы принудить правительство не подчиняться Советам. Керенский выпускает обращение ко всей стране против главнокомандующего. Корнилов пользуется тем же средством и посылает из Могилева потрясающий манифест. Мы всей душой были с Корниловым, так как этот, хотя и революционный, генерал был тем не менее патриотом и желал спасения страны. В этой борьбе на жизнь и смерть Керенский и Советы одержали верх, и Корнилов с Лукомским были отправлены из Могилева в Быхов, где их заключили в тюрьму. Если бы Корнилов, как мы этого ждали и надеялись, действительно пошел со своей „дикой дивизией" на Петроград,—как знать,—может быть, тогда эта отвратительная русская революция и потерпела бы крах [1]).

Вся эта корниловско-керенская история имела для нас весьма скверные последствия. 27 августа мы ждали к обеду г-жу Нарышкину, урожденную графиню Толь, с сыном. Около шести часов, желая поговорить кое с кем из своих в городе, я заметила, что ручка телефона вертится без малейшего сопротивления. Никто не отвечает. Полагая, что аппарат испорчен, я иду к телефону в прихожей: тот же результат. В этот момент я вижу входящим полковника Машнева, который заменил в должности коменданта Царского Села нашего ночного посетителя Больдескуля. Он вызвал нас, великого князя и меня, и с печальным и испуганным видом объявил нам, что им получен приказ Временного Правительства держать нас под домашним арестом. На наш естественный вопрос: „почему?" он поднял руки к небу, пожал плечами и сказал: „Почему? Знают ли они сами, почему хотят того или другого? Это полный хаос. Керенский положительно сошел с ума. Отдано распоряжение обрезать провода ваших телефонов, и взвод солдат придет сегодня вечером нести караул и занять все выходы

---

[1]) В этом „дамском" рассказе о корниловском выступлении масса путаницы. Было бы слишком скучным заниматься ее распутыванием. Ограничимся поэтому лишь одним замечанием: контр.-революционные намерения Корнилова не были только простым „слухом": в своем „ультиматуме" Вр. Правительству Корнилов открыто требовал передачи ему всей власти, разгона Советов и роспуска самого правительства. *Ред.*

из дворца. Специальный комиссар приедет сегодня к девяти часам вечера, чтобы объявить о вашем аресте. Будьте уверены, ваше высочество, я сделаю все, что в моей власти, чтобы возможно скорее возвратить вам свободу". Он уехал, а пять минут спустя революционные солдаты, оборванные, растрепанные и грязные, заняли все посты. В это время на станцию был отправлен автомобиль, чтобы отыскать г-жу Нарышкину с сыном. Мы не знали, каким образом их во-время предупредить о том, чтобы они не ходили к нам и тем самым избежали бесполезных неприятностей. Несколько мгновений спустя, они приехали и казались испуганными, когда мы рассказали им о наших новых неприятностях. Мы посоветовали им тотчас же уехать, но солдаты, позволившие им войти, не выпускали их обратно.

Пришлось смириться и ждать дальнейшего. Можно представить себе, что обед не был очень веселым, хотя каждый из нас старался не показывать вида. В девять часов нам объявили, что комиссар Керенского, по фамилии Кузьмин, в сопровождении десятка конвойных желает говорить с Павлом Александровичем Романовым — бывшим великим князем, его женой, и с князем Владимиром Палей. Мы вошли в рабочий кабинет в. князя и с нами одиннадцать субъектов. Кузьмин вынул из кармана три бумаги, которые он прочел последовательно каждому из нас. Там было сказано, что в виду возможных волнений и приближения генерала Корнилова в целях монархической реставрации, Временное Правительство сочло нужным взять под домашний арест (следовало имя каждого из нас), и что царскосельскому гарнизону поручено нас охранять. Великий князь взял бумагу и посмотрел подпись: „Генерал-губернатор Петрограда Борис Савинков". Итак, это проклятое существо, которое приказало убить брата великого князя, принималось теперь за него самого и его семейство. Нас заставили что-то подписать,—не важно, что. Мы были во власти этих низких существ, которые пользовались этим, чтобы делать нам зло без всякого повода и без всякого вызова с нашей стороны. Кузьмин сообщил нам, что бывший великий князь Михаил со своей супругой подверглись той же участи в Гатчине.

Я попросила Кузьмина принять меры к тому, чтобы г-жа Нарышкина могла беспрепятственно вернуться к себе. Он ответил, что все те, кто находится в доме, арестованы, но что он тотчас же займется освобождением ее и барона Бенкендорфа, который жил у нас. Г-жу Нарышкину с сыном поместили в комнатах для гостей, и надо было дать им все необходимое для ночлега. В четыре часа утра пришли сообщить, что они свободны. Не будя нас, они сели в наш автомобиль и уехали в Петроград, где нашли

свою квартиру переполненной агентами Керенского, производившими обыск. Какая ужасная ночь! Г-жа Нарышкина не забудет об этом визите!

На следующий день Кузьмин снова пришел, с целью возвратить свободу Бенкендорфу и его камердинеру с семьей. Все они уехали в Петроград после трехмесячного пребывания у нас. Кузьмин спросил наших девочек, одной из которых было в то время тринадцать лет, а другой—одиннадцать, хотят ли они пользоваться свободой и жить в одном из флигелей дворца, но с условием, чтобы не иметь никаких сношений ни с родителями, ни с братом. Обе с негодованием отвергли это предложение и просились разделить наше заточение. „Каковы, маленькие революционерки!“ — пробормотал Кузьмин, и мы так никогда и не узнали, было ли это с его стороны комплиментом или упреком по отношению к ним.

XII

Наше заключение длилось в течение восемнадцати дней — с 27 августа (9 сентября) по 13/26 сентября. Пока мы сидели в комнатах, нас оставляли в покое, и наша жизнь казалась совершенно не изменившейся. Но как только мы хотели пошевельнуться, пойти подышать свежим воздухом, начинались притеснения. Нам отвели для прогулок французский цветник перед домом со стороны сада. Единственная дверь, которая туда выходила, была открыта и охранялась большим количеством вооруженных часовых, так же как и аллеи, окружавшие цветник. Кузьмин начертил план сада, где мы могли свободно ходить. Один солдат, которого, видимо, забыли предупредить о том, что аллея, идущая вдоль ограды, входит в разрешенный круг, прицелился в меня из ружья за то, что я рискнула пойти туда. Я продолжала подвигаться вперед, уверенная в своей правоте. „Ты не видишь, что ли, буржуйка, что я хочу стрелять в тебя?“ — закричал он мне. — „Прежде всего, я запрещаю тебе называть меня на „ты“, дурак“,—сказала я и продолжала итти. Ошеломленный, он опустил оружие.

Потом явился дежурный унтер-офицер, который извинился передо мной и принялся объяснять солдату топографию сада. Мы заметили, что солдаты становились ужасны, когда они собирались вместе, взятые в отдельности они начинали тотчас же уверять в своей преданности и верности. В продолжение этих восемнадцати дней я часто разговаривала с ними. Когда Керенским было распространено известие о приближении Корнилова, солдаты сделались осо-

бенно нервными. Один из них спросил меня: „Скажите, барыня, вы за Керенского или за Корнилова?“ Несмотря на все неблагоразумие моего ответа, я сказала: „Без сомнения, за Корнилова“.—„Ну вот,—спокойно возразил солдат,—а я нахожу, что его следовало бы расстрелять“. Он не донес на меня, потому что в то время считалось возможным говорить все и высказывать свои мнения.

И я, и дети постоянно беседовали с нашими тюремщиками. Только великий князь гулял, не произнося ни слова, молчаливый и серьезный, и скоро возвращался. С самой ранней юности он был военным, солдатом в душе, и вид этого беспорядка, этого неповиновения, этой неисправной формы причинял ему страдание. Он думал о своем отце — императоре Александре II,—как должен был бы страдать тот, если бы видел с неба, что сделали изменники с его дорогой Россией...

Через каждые двадцать четыре часа происходила смена взвода, офицера и унтер-офицера, которые несли караул. И вот, я утверждаю под честным словом, что из восемнадцати офицеров, которым по очереди поручали надзор за нами, по меньшей мере четырнадцать со слезами на глазах уверяли в своей верности старому режиму [1]). Они пользовались моментом, когда доктор Обнисский, домашний врач великого князя, который один имел к нам доступ, приходил навестить своего августейшего пациента. Дежурный офицер должен был присутствовать при ежедневных визитах доктора (чтобы этот последний не принес великому князю ничего другого, кроме своих забот). Я видела офицеров, которые плакали, целуя руки великого князя и прося прощения за свое вынужденное присутствие. И великий князь был так бесконечно добр, что сам еще утешал и ободрял их. В присутствии солдат офицеры снова становились осторожны, бесстрастны и высокомерны. Мы неосмотрительно пригласили одного из них к завтраку, и несколько часов спустя, по доносу одного из солдат или слуг, офицер был отозван.

Однажды, когда я прогуливалась перед домом, дежурный офицер, который ходил сзади меня и, казалось, до сих пор не замечал меня, пробормотал, обгоняя меня: „Я предан великому князю и вам на всю жизнь... не отвечайте ничего“, поспешно добавил он, видя, что один солдат приближается к нам. Таким образом, эти образованные, воспитанные молодые люди трепетали перед мужиками, которыми они командовали... Разве это было нормально и допустимо?

---

[1]) Повидимому, это утверждение соответствует истине. Офицерство действительно на три четверти (14 из 18) было настроено вполне реакционно. Впоследствии это проявилось с полной отчетливостью. Именно офицерство стало главной боевой силой белогвардейских восстаний. *Ред.*

И не должно ли было такое положение вещей привести к бедствиям?

Моя дочь Марианна упросила Кузьмина похлопотать об ускорении нашего освобождения. Кузьмин отыскал Керенского и убедил его в том, что солдатам надоело нас стеречь, и что они хотят уйти. Всегда робкий перед силой и заносчивый перед безоружными, Керенский уступил, и Кузьмин явился объявить нам о том, что мы свободны и что солдаты в течение часа очистят дворец.

Нас освободили, и было как раз время, чтобы бежать из Царского, так как это первое предупреждение означало, что даже великий князь Павел, который был когда-то таким популярным среди войск, и которого до сих пор не тревожили, больше уже не был в безопасности... Увы, это был не единственный случай, который мы упустили! Мой сын Александр привел нескольких преданных офицеров, предлагавших свои услуги, чтобы помочь нам бежать. Один из них, по фамилии Бриггер, которого я встречала у молодого Юсупова, по поручению своего начальника отыскал князя и сказал ему: „Ваше высочество, опасность для вас и вашей семьи становится с каждым днем все больше. Я умоляю вас выслушать меня и положиться на меня. Я—авиатор, и мой начальник, полковник Сикорский—изобретатель „Ильи Муромца"—в курсе моих планов. Я спущусь ночью на одну из лужаек царскосельского парка, которую мы с вами вместе выберем. Вы придете туда с княгиней, вашими детьми и небольшим количеством багажа. Аппарат мой — настоящая комната с двумя креслами. Через четыре часа мы будем в Стокгольме"... Великий князь печально посмотрел на него. „Милый друг, вы видите, что я тронут до глубины сердца, но то, что вы только что предложили мне, похоже на фантазии Жюль-Верна! Каким образом хотите вы, чтобы мы исчезли и никем не были замечены хотя бы самые незначительные сборы? Ведь за нами следят, шпионят, слуги не спускают с нас глаз... Нас захватят на месте, и наша судьба, да и ваша также, будет еще более тяжелой, чем в настоящее время..." Бриггер ушел в отчаянии. Поручение, которое возложил на него Сикорский, потерпело неудачу. Я увидела его только через месяц после его визита; а два месяца спустя он убежал от нашествия большевиков. Что касается Сикорского, который был русским подданным, но поляком по национальности, то он возвратился на родину, где в настоящее время считается одним из наиболее славных командующих армиями.

Итак, мы остались в Царском, ожидая чуда, т.-е. лучших дней... но с каждым днем становилось все ужаснее...

29 октября (11 ноября) в Царском Селе царило большое оживление. Туда прибыли полки казаков[1]) и раздавали листовки, призывавшие население к спокойствию и поддержке правительства. Верховые гонцы быстро скакали по дороге, идущей вдоль ограды нашего дворца. К вечеру послышалась глухая канонада, которая к рассвету прекратилась. Утром 30 октября (12 ноября), при ясной и солнечной погоде, стрельба возобновилась ближе и сильнее, чем накануне. Вдруг около полудня во всех церквах Царского сразу зазвонили. Этот гул пушек, смешанный со звоном колоколов, казались как бы борьбой добра со злом... Увы, зло победило добро! Колокола умолкли, а канонада становилась все сильнее и сильнее.

Я гуляла с моими девочками в саду, как вдруг страшный взрыв раздался над нашими головами. Стекла домов задрожали. Мы инстинктивно пригнулись к земле, как бы для того, чтобы избежать удара. Управляющий делами великого князя, артиллерийский полковник Петроков сказал мне: „Княгиня, это неразумно. Вы каждую минуту можете быть убиты, кроме того, больше не может быть никаких сомнений в том, что большевики останутся победителями. Мне только что донесли, что казаки отступили, а Керенский, который еще сегодня утром был здесь, позорно бежал на автомобиле... Большевики сейчас являются, вероятно, уже хозяевами Царского". Действительно, стрельба постепенно уменьшалась и к шести часам вечера совершенно прекратилась. В девять часов вечера полковник Петроков пришел сообщить нам, что большевики вошли в Царское и захватили дворец вдовы великого князя Владимира, который находился напротив нашего. Это была жуткая ночь. Я просыпалась и вскакивала при малейшем шуме, но нас пока оставили в покое.

На следующий день, 31 октября (13 ноября), около четырех часов дня, я была в саду с моим сыном Александром, который приехал навестить нас еще 29 и не мог уехать обратно. Вдруг мы увидели отряд солдат, моряков и красногвардейцев (вооруженные рабочие), который под предводительством военного мерным шагом подвигался к нашему дому[2])...

---

[1]) Это был отряд Краснова — Керенского, шедший „усмирять" только что взявшие в свои руки власть Советы рабочих и солдатских депутатов. *Ред.*

[2]) Дальнейшие главы «воспоминания» посвящены аресту быв. кн. Павла Александровича и его сына, а также бегству кн. Палей за границу. Главы эти изобилуют ненужными подробностями и представляют чисто интимный интерес, а потому целиком опущены. *Ред.*

П. МИЛЮКОВ.

О выезде из России Николая II [1]).

Разрешение на выезд покойного государя из России было дано Временным Правительством в связи с самым фактом его отречения. Немедленно же, во исполнение этого решения, я вошел в переговоры с английским правительством. Сообщенное в „Nachrichtenblatt" заявление сэра Дж. Бьюкенена („Король и правительство будут счастливы предоставить эксъимператору России и его семье убежище в Англии... до окончания войны и т. д.") не есть предложение Вр. Правительству, а **ответ** на предложение Вр. Правительства.

Дело об отъезде царя потом затянулось. Причина затяжки, как я понимаю ее, была, несомненно, политическая и заключалась в сопротивлении Совета раб. деп., оказывавшего давление на некоторых членов Вр. Правительства. Имел ли кто-нибудь из членов Вр. Правительства, помимо меня, прямые переговоры по этому поводу с сэром Дж. Бьюкененом, мне неизвестно. Но, разумеется, английское посольство имело и другие источники информации о русских настроениях, помимо наших ежедневных свиданий в министерстве иностранных дел с сэром Дж. Бьюкененом, г. Палеологом и маркизом Карлотти. К этим настроениям сэр Джордж относился чрезвычайно внимательно, как я имел случай неоднократно убеждаться. Поэтому я не могу сказать, чтобы меня очень удивило, когда однажды, на мой вопрос, что же делается для подготовки выезда Николая II за границу, сэр Джордж ответил мне, что английское правительство более не настаивает на своем предложении. Я не могу, к сожалению, точно сказать, когда именно я поставил этот вопрос и получил упомянутый ответ. Не знаю я и того, в какой форме и когда сделано было то заявление, о котором сообщает А. Ф. Керенский [2]). Очевидно это — не тот ответ, который я лично получил от сэра Джорджа... Факт этот имел место уже после оставления мною министерства, т.-е. после 15 мая нового стиля.

---

[1]) „Последние Новости" от 8 сентября 1921 г.

[2]) См. выше, стр. 337. *Ред.*

Недоставление Николаю II телеграммы английского короля от 19 марта, посланной адресату еще как царствующему императору, произошло по соглашению между мною и сэром Джорджем и явилось одним из доказательств внимания английского правительства к совершившемуся в России перевороту. Предложение же испанского правительства объ обезпечении будущей судьбы царя являлось излишним ввиду наших переговоров с Англией. Если память мне не изменяет, это предложение, о котором говорится в телеграмме кн. Кудашева от 23 марта, никогда не было сделано мне формально.

Царская семья во время революции [1]).

1. Убийство Распутина. Царские министры.

Через два дня после нашего возвращения из Новгорода [2]), именно, 17 декабря началась „бескровная революция“ убийством Распутина. 16 декабря днем государыня послала меня к Григорию Ефимовичу [3]) отвезти ему икону, привезенную ею из Новгорода. Я не особенно любила ездить на его квартиру, зная, что моя поездка будет лишний раз фальшиво истолкована клеветниками.

Я оставалась минут 15, слышала от него, что он собирается очень поздно вечером ехать к Феликсу Юсупову знакомиться с его женой Ириной Александровной. Хотя я знала, что Распутин часто видался с Феликсом Юсуповым, однако мне показалось странным, что он едет к ним так поздно, но он ответил мне, что Феликс не хочет, чтобы об этом узнали его родители. Когда я уезжала, Григорий Ефимович сказал мне странную фразу: „Что еще тебе нужно от меня, ты уже все получила...“

Вечером я рассказала государыне, что Распутин собирается к Юсуповым знакомиться с Ириной Александровной. „Должно быть, какая-нибудь ошибка“, — ответила государыня, — „так как Ирина — в Крыму, и родителей Юсуповых нет в городе“. Потом мы начали говорить о другом.

Утром 17 декабря ко мне позвонила одна из дочерей Распутина (которые учились в Петрограде и жили с отцом). Она сообщила мне с некоторым беспокойством, что отец их не вернулся домой, уехал поздно вечером с Феликсом

[1]) Из книги «Страницы моей жизни». Эти мемуары, принадлежащие перу пресловутой фрейлины императрицы и приятельницы Распутина А. Вырубовой, написаны чрезвычайно тенденциозно и зачастую явно неправдиво. Читая их, следует всегда иметь в виду меткий отзыв о Вырубовой бывш. английского посла в России Бьюкенена: „Будучи слишком глупой, чтобы составить себе ясное представление о людях и вещах, она сделалась бессознательным орудием в руках Распутина и тех, с которыми она имела дело“. *Ред.*

[2]) Автор путает: из Новгорода они (бывш. императрица и Вырубова) вернулись утром 12 декабря. *Ред.*

[3]) Распутину. *Ред.*

Юсуповым. Известие это меня удивило, но в данную минуту особенного значения я ему не придала. Приехав во дворец, я рассказала об этом государыне. Выслушав меня, она выразила свое недоумение. Через час или два позвонили во дворец от министра внутренних дел Протопопова, который сообщал, что ночью полицейский, стоявший на посту около дома Юсуповых, услышав выстрел в доме, позвонил. К нему выбежал пьяный Пуришкевич и заявил ему, что Распутин убит. Тот же полицейский видел военный мотор без огней, который отъехал от дома вскоре после выстрелов. Государыня приказала вызвать Лили Ден (жену морского офицера, с которой я была очень дружна и которую государыня очень любила). Мы сидели вместе в кабинете императрицы, очень расстроенные, ожидая дальнейших известий. Сперва звонил великий князь Дмитрий Павлович, прося позволения приехать к чаю в пять часов. Императрица, бледная и задумчивая, отказала ему. Затем звонил Феликс Юсупов и просил позволения приехать с объяснением то к государыне, то ко мне; звал меня несколько раз к телефону; но государыня не позволила мне подойти, а ему приказала передать, что объяснение он может прислать ей письменно. Вечером принесли государыне знаменитое письмо от Феликса Юсупова[1]), где он именем князей Юсуповых клянется, что Распутин в этот вечер не был у них. Распутина он действительно видал несколько раз, но не в этот вечер. Вчера у него была вечеринка, справляли новоселье и перепились, а уходя в. кн. Дмитрий Павлович убил на дворе собаку. Государыня сейчас же послала это письмо министру юстиции. Кроме того, государыня приказала Протопопову продолжать расследование дела и вызвала военного министра генерала Беляева (убитого впоследствии большевиками), с которым совещалась по этому делу.

На другой день государыня и я причащались в походной церкви Александровского дворца. Государыня не пустила меня вернуться к себе, и я ночевала в одной из комнат на 4-м подъезде Александровского дворца.

Жуткие были дни. 19-го утром Протопопов дал знать, что тело Распутина найдено. Полиция, войдя в дом Юсуповых на следующее утро после убийства, напала на широкий кровяной след у входа и на лестнице и на признаки того, что здесь происходило что-то необычайное. На дворе они в самом дел нашли убитую собаку, но рана на голове не могла дать такого количества крови... Вся полиция в Петро-

[1]) Опубликовано в четвертом томе „Красного Архива“ вместе с другим письмом (к матери), в котором Ф. Юсупов признается в убийстве Распутина. *Ред.*

граде была поднята на ноги. Сперва у проруби на Крестовском острове нашли галошу Распутина, а потом водолазы наткнулись на его тело: руки и ноги были запутаны веревкой; правую руку он, вероятно, высвободил, когда его кидали в воду, пальцы были сложены крестом. Тело было перевезено в Чесменскую богадельню, где было произведено вскрытие. Несмотря на многочисленные огнестрельные раны и огромную рваную рану в левом боку, сделанную ножом или шпорой, Григорий Ефимович, вероятно, был еще жив, когда его кинули в прорубь, так как легкие были полны водой.

Когда в столице узнали об убийстве Распутина, все сходили с ума от радости; ликованию общества не было пределов, друг друга поздравляли: „Зверь был раздавлен",— как выражались,— „злого духа не стало". От восторга впадали в истерику.

Во время этих манифестаций по поводу убийства Распутина, Протопопов спрашивал совета ее величества по телефону, где его похоронить. Впоследствии он надеялся отправить тело в Сибирь, но сейчас же сделать это не советовал, указывая на возможность по дороге беспорядков. Решили временно похоронить в Царском Селе, весной же перевезти на родину. Отпевали в Чесменской богадельне, и в 9 часов утра в тот же день (кажется, 21 декабря) одна сестра милосердия привезла на моторе гроб Распутина. Его похоронили около парка, на земле, где я намеревалась построить убежище для инвалидов. Приехали: их величества с княжнами, я и два или три человека посторонних. Гроб был уже опущен в могилу, когда мы пришли; духовник их величеств отслужил краткую панихиду, и стали засыпать могилу. Стояло туманное, холодное утро, и вся обстановка была ужасно тяжелая: хоронили даже не на кладбище. Сразу после краткой панихиды мы уехали. Дочери Распутина, которые совсем одни присутствовали на отпевании, положили на грудь убитого икону, которую государыня привезла из Новгорода. Вот правда о похоронах Распутина, о которых столько говорилось и писалось. Государыня не плакала часами над его телом, и никто не дежурил у гроба из его поклонниц.

Ужас и отвращение к совершившемуся объяли сердца их величеств. Государь, вернувшись из ставки 20 числа, все повторял: „Мне стыдно перед Россией, что руки моих родственников обагрены кровью мужика" [1]).

---

[1]) Весьма характерная для Николая II фраза. Его огорчает не столько самое убийство Распутина, его ближайшего друга и советника, сколько то, что аристократические руки его „высокородных" родственников запачканы

Их величества были глубоко оскорблены злодеянием, и если они раньше чуждались великих князей, расходясь с ними во взглядах, то теперь их отношения совсем оборвались. Их величества ушли как бы в себя, не желая ни слышать об них, ни их видеть.

Но Юсуповы и компания не окончили своего дела. Теперь, когда все их превозносили, они чувствовали себя героями. В. кн. Александр Михайлович отправился к министру юстиции Добровольскому и, накричав на него, стал требовать от имени в. князей, чтобы дело это было прекращено. Затем, в день приезда государя в Царское Село, сей великий князь заявился с старшим сыном во дворец. Оставив сына в приемной, он вошел в кабинет государя и также от имени семьи требовал прекращения следствия по делу убийства Распутина; в противном случае оба раза он грозил чуть ли не падением престола. Великий князь говорил так громко и дерзко, что голос его слышали посторонние, так как он почему-то и дверь не притворил в соседнюю комнату, где ожидал его сын. Государь говорил после, что он не мог сам оставаться спокойным, до такой степени его возмутило поведение великого князя; но в минуту разговора он безмолвствовал. Государь выслал великих князей Дмитрия Павловича и Николая Михайловича, а также Феликса Юсупова из Петрограда. Несмотря на мягкое наказание, среди великих князей поднялась целая буря озлобление. Государь получил письмо, подписанное всеми членами императорского дома, с просьбой оставить в. кн. Дмитрия Павловича в Петрограде по причине его слабого здоровья. Государь написал на нем только одну фразу: „Никому не дано права убивать". До этого государь получил письмо от в. кн. Дмитрия Павловича, в котором он, вроде Феликса Юсупова, клялся, что он ничего не имел общего с убийством.

Расстроенный, бледный и молчаливый, государь эти дни почти не разговаривал, и мы никто не смели беспокоить его. Через несколько дней государь принес в комнату императрицы перехваченное министерством вн. дел письмо княгини Юсуповой, адресованное в. княжне Ксении Александровне. Вкратце содержание письма было следующее: „Она (Юсупова), как мать, конечно, грустит о положении своего сына, но „Сандро" (в. кн. Александр Михайлович) спас все

„подлой" мужицкой кровью. Конечно, кровь такого „мужика", как Распутин, не отличалась особым благородством. Но полюбуйтесь на это „царственное" презрение к „мужику", как к низшему существу, не признающее исключений даже для личных интимных друзей и „святых". Еще более великолепна забота о чистоте рук со стороны человека, на совести которого кровь многих тысяч расстрелянных по его личному приказу „мужиков". *Ред.*

положение; она только сожалела, что в этот день они не довели своего дела до конца и не убрали всех, кого следует... Теперь остается только „ее“ (большими буквами) запереть.—По окончании этого дела вероятно вышлют Николашу и Стану (в. кн. Николая Николаевича и Анастасию Николаевну) в Першино, их имение... Как глупо, что выслали бедного Николая Михайловича!“

Государь сказал, что все это так низко, что ему противно этим заниматься. Императрица все поняла. Она сидела бледная, смотря перед собой широко раскрытыми глазами... Принесли еще две телеграммы их величествам. Близкая их родственница „благословляла“ Феликса на патриотическое дело. Это постыдное сообщение совсем убило государыню; она плакала горько и безутешно, и я ничем не могла успокоить ее.

Я ежедневно получала грязные анонимные письма, грозившие мне убийством и т. п. Императрица, которая лучше нас всех понимала данные обстоятельства, как я уже писала, немедленно велела мне переехать во дворец, и я с грустью покинула свой домик, не зная, что уже никогда туда не возвращусь. По приказанию их величеств с этого дня каждый шаг мой оберегался. При выездах в лазарет всегда сопутствовал мне санитар Жук; даже по дворцу меня не пускали ходить одной, не разрешили присутствовать и на свадьбе дорогого брата.

Мало по малу жизнь во дворце вошла в свою колею. Государь читал по вечерам нам вслух. На Рождество были обычные елки во дворце и в лазаретах; их величества дарили подарки окружающей свите и прислуге; но великим князьям в этот год они не посылали подарков. Несмотря на праздник, их величества были очень грустны: они переживали глубокое разочарование в близких и родственниках, которым ранее доверяли и коих любили, и никогда, кажется, государь и государыня всероссийские не были так одиноки, как теперь. Преданные их же родственниками, оклеветанные людьми, которые в глазах всего мира назывались представителями России, их величества имели около себя только несколько преданных друзей, да министров, ими назначенных, которые все были осуждены общественным мнением. Всем им ставилось в вину, что они были назначены Распутиным. Но это сущая неправда[1]).

[1]) „Сущей неправдой“ является в действительности это голословное отрицание Вырубовой общеизвестных и документально установленных фактов. См. „Воспоминания“ Белецкого, где этот матерой полицейский волк раскрыл самый механизм, с помощью которого Распутин, через посредство послушной императрицы, диктовал назначения министров Николаю II. *Ред.*

Штюрмер, назначенный премьером, был рекомендован государю еще после убийства Плеве (см. гр. Витте, стр. 288). Он принадлежал к старому дворянству Тверской губернии, а не был из немецких выходцев. Он много лет прослужил при дворе, так что государь хорошо его знал, считал его за порядочного, хотя и недалекого человека, который не изменит своим убеждениям. Полагаю, государь назначил его за неимением под руками кого-либо другого, будучи занят в то время исключительно войной.

Протопопов был назначен лично государем под влиянием хорошого впечатления, которое он произвел на его величество после его поездки за границу в должности товарища председателя Государственной Думы. Ее величество, получая ежедневно письма от государя из ставки, однажды прочла мне письмо, в котором говорилось о Протопопове, представлявшемся государю по возвращении из-за границы в ставке. Государь писал о прекрасном впечатлении, которое произвел на него Протопопов, и (как всегда — под впечатлением минуты, что характеризовало все его назначения) что он думает назначить его министром вн. дел. „Тем более, — писал государь, — что я всегда мечтал о министре вн. дел, который будет работать совместно с Думой...“ Протопопов, выбранный земствами, — товарищ Родзянко. Я не могу забыть удивление и возмущение государя, когда начались интриги; однажды за чаем, ударив рукою по столу, государь воскликнул: „Протопопов был хорош и даже был выбран Думой и Родзянко делегатом за-границу; но стоило мне назначить его министром, как он считается сумасшедшим!“ Под влиянием интриг Протопопов стал очень нервным, а мне казался, кроме того, очень слабохарактерным. Во время революции он сам пришел в Думу, где его и арестовали по приказанию Родзянко. А позже он был убит большевиками. Протопопов дружил с Распутиным. Дружба его имела совершенно частный характер. Распутин за него всегда заступался перед их величествами, но это и все [1]).

Н. Маклакова государь в первый раз встретил во время Полтавских торжеств, в бытность Маклакова черниговским губернатором. После длинного разговора с ним на пароходе, государь решил назначить его министром вн. дел. Государь был им очарован и говорил: „Наконец, я нашел человека, который понимает меня и с которым я могу работать“. Доклады Маклакова были радостью для государя, он никогда не тяготился приездами его в Крым или на

[1]) „Будучи слишком глупой“, Вырубова не замечает, как сама же опровергает себя и разоблачает своих друзей. *Ред.*

„Штандарт“ и воодушевлялся, занимаясь с ним. Но настало время, когда в. кн. Николай Николаевич и другие стали требовать его удаления, и, по рассказам самого Маклакова, которые мне передавали, государь лично ему об этом сообщил на докладе. Маклаков расплакался... Он был один из тех, которые горячо любили государя, не только как царя, но и как человека, и был ему беззаветно предан. По желанию в. кн. Николая Николаевича Маклакова сменил князь Щербатов, начальник коннозаводства, которое было близко и знакомо ему, как кавалеристу. Но, несмотря на протекцию в. кн., он остался на посту всего только два месяца, так как оказался мало сведущим в делах министерства вн. дел.

Щербатова заменил Хвостов. Государь знал о нем, как об энергичном губернаторе, и еще в 1911 году, после убийства Столыпина, он прочил его в министры вн. дел. Во время войны Хвостов был правым членом Думы, стал произносить громовые речи против немецкого засилья. Государь взял его, сказав, что „уж его в шпионстве не заподозрят“. Хвостов производил неприятное впечатление. С первых же дней он познакомился с Распутиным, надеясь посредством этого знакомства приобрести доверенность их величеств. Он спаивал его, заставляя его выпрашивать всевозможные милости. Когда же тот наотрез отказался, решился с помощью своего товарища Белецкого и известного расстриженного монаха Илиодора устроить покушение на Распутина. Последний выдал обоих, министра и его товарища, прислав со своей женой все документы и телеграммы Хвостова. После этого он был отстранен от должности [1]).

Ген. Сухомлинова государь уважал и любил еще до его назначения военным министром. Блестяще проведенная мобилизация в 1914 г. доказывает, что Сухомлинов не бездействовал. Главными его врагами были: в. кн. Николай Николаевич, генерал Поливанов и знаменитый Гучков. Многие усматривали в походе против военного министра во время войны дискредитирование власти государя, находя, что эта интрига еще опаснее для престола, чем сказки о Распутине. Сухомлинову приписывалось бесконечное множество злодеяний. По проискам его врагов и клеветников и Думы, генерала Сухомлинова арестовали еще при государе и заключили в крепость. Затем, во время революции, судили и приговорили к пожизненной каторге.

---

[1]) Вырубова еще раз опровергает себя, признавая, что Хвостов был устранен вследствие ссоры с Распутиным. *Ред.*

2. Революция и отречение Николая II.

Последующие два месяца после убийства Распутина государь оставался в Царском Селе. Он был поглощен заботами о войне, и их величества глубоко верили в ее блестящее окончание. О мире, повторяю, ничего не хотели слышать, были планы и надежды победоносно окончить войну весной, так как сведения о тяжелом продовольственном положении в Турции и Германии подтверждались. С середины декабря до конца февраля было затишье на фронте, и государь находил свое присутствие в ставке излишним. Он получал каждый день к вечеру сведения по прямому проводу. В биллиардной государя были военные карты: никто не смел входить туда: ни императрица, ни дети, ни прислуга[1]). Ключи находились у государя. Когда начались снежные заносы, вопрос о продовольствии сильно волновал их величества.

В это же время в. кн. Александр Михайлович писал письмо за письмом, требуя свидания с императрицей для личных объяснений. Писал он и в. кн. Ольге Николаевне о том же. Императрица сперва не хотела принять его, зная, что начнется разговор о политике, Распутине и т. д. Кроме того она заболела. Так как в. кн. настаивал на свидании, то государыня приняла его, лежа в кровати. Государь хотел быть в той же комнате, чтобы в случае неприятного разговора не оставить ее одну. Нового в. князь ничего не сказал, но потребовал увольнения Протопопова, ответственного министерства и устранения государыни от управления государством. Государь отвечал, как рассказывал после, что пока немцы на русской земле, он никаких реформ проводить не будет. В. кн. ушел чернее ночи, и вместе того, чтобы уехать из дворца, отправился в большую библиотеку, потребовал себе перо и чернила и сел писать письмо. Окончив, он передал письмо на имя в. кн. Михаила Александровича и отбыл.

На другой день приехал ко мне герцог Александр Георгиевич Лейхтенбергский. Взволнованный, он просил меня

---

[1]) Это утверждение вряд ли заслуживает доверия. Вот, например, что рассказывает Деникин в своих „Очерках русской смуты".

„Генерал Алексеев, которому я задал этот мучительный вопрос (об измене б. императрицы) весною 1917 года, ответил мне как-то неопределенно и нехотя:

— При разборе бумаг императрицы нашли у нее карту с подробным обозначением войск всего фронта, которая изготовлялась только в двух экземплярах—для меня и для государя. Это произвело на меня удручающее впечатление. Мало ли кто мог воспользоваться ею...

Больше ни слова. Переменил разговор..." (том I, вып. I, стр. 17).

передать его величеству его просьбу, от исхода которой, по его мнению, зависело единственно спасение царской семьи, а именно: чтобы государь потребовал вторичной присяги ему всей императорской фамилии. Я ответила тогда, что я не могу об этом говорить с их величествами, но умоляла его сделать это лично. О разговоре государя с герцогом Александром Георгиевичем, одним из самых благородных людей, я узнала от государыни только то, что государь сказал ее величеству: „Напрасно Сандро так беспокоится о пустяках! Я не могу обижать мою семью, требуя от них присяги!“

Боялись ли, что государь догадается о серьезном положении, не знаю, но стали торопить его уехать на фронт, чтобы потом совершить величайшее злодеяние. 19 или 20 февраля к государю приехал великий князь Михаил Александрович и стал доказывать ему, что в армии растет большее неудовольствие по поводу того, что государь живет в Царском и так долго отсутствует из ставки. После этого разговора государь решил уехать. Недовольство армии казалось государю серьезным поводом спешить в ставку, но одновременно он и государыня узнали о других фактах, глубоко возмутивших их и которые их сильно обеспокоили. Государь заявил мне, что он знает из верного источника, что английский посол сэр Бьюкенен принимает деятельное участие в интригах против их величеств и что у него в посольстве чуть ли не заседания с князьями по этому случаю. Государь добавил, что он намерен послать телеграмму королю Георгу с просьбой воспретить английскому послу вмешиваться во внутреннюю политику России, усматривая в этом желание Англии устроить у нас революцию и тем ослабить страну ко времени мирных переговоров. Просить же об отозвании Бьюкенена государь находил неудобным: „Это слишком резко“,—как выразился его величество.

На другой день утром, придя к государыне, я застала ее в слезах. Она сообщила мне, что государь уезжает. Простилась с ним, по обыкновению, в зеленой гостиной государыни. Императрица была страшно расстроена. На мои замечания о тяжелом положении и готовившихся беспорядках государь мне ответил, что прощается не надолго, что через десять дней вернется. Я вышла потом на четвертый подъезд, чтобы увидеть проезжавший мотор их Величеств. Он промчался на станцию при обычном трезвоне Федоровского собора.

Мне в этот день очень нездоровилось. Утром я с трудом занималась в моем лазарете. Несмотря на сильный жар, на другой день, 22 февраля, я превозмогла себя и

встала к обеду, когда приехала моя подруга Лили Дэн. Вечером императрица с девочками пришла к нам, но у меня сильно кружилась голова, и я еле могла разговаривать. На следующий день императрица нашла, что у меня появились подозрительные пятна на лице, привела доктора Боткина и Полякова, которые определили корь в очень сильной форме; заболела и в. к. Татьяна Николаевна. Дорогая императрица, забыв все свои недуги, одев белый халат, разрывалась между детьми и мною.

Вспоминаю, что в полусне я видела государыню постоянно возле моей постели: то она приготовляла питье, то поправляла подушки, то говорила с доктором. Подозрительно стали кашлять Мария и Анастасия Николаевны. В полузабытьи я видела родителей и сестру, и помню, как долетали до меня их разговоры с государыней о каких-то беспорядках и бунтах в Петрограде, но о первых днях революции и восстании резервных полков я вначале ничего не знала. Знаю одно, что, несмотря на все происходившее, государыня была вполне спокойна и мужественно выслушивала все доходившие до нее известия. Когда моя сестра пришла и рассказывала государыне происходившее в Петрограде, говоря, что пришел всему конец, императрица только улыбнулась и старалась успокоить мою сестру [1]).

Ее величество рассказывала мне после, что преданный им князь Павел Александрович первый привез ей официальное известие о революции... Революция в стране во время мировой войны!.. И тут ее величество не потеряла присутствия духа. Сознавая, что ничего спасти нельзя, она никого из министров не вызывала и к посольствам с просьбой о защите ее и детей не обращалась, а с спокойствием и достоинством прощалась с приближенными, которые понемногу все нас покидали.

Никогда не забуду ночи, когда немногие верные полки (сводный, конвой его величества, гвардейский экипаж и артиллерия) окружили дворец, так как бунтующие солдаты с пулеметами, грозя все разнести, толпами шли по улицам ко дворцу. Императрица вечером сидела у моей постели. Тихонько, завернувшись в белый платок, она вышла с Марией Николаевной к полкам, которые уже готовились покинуть дворец.

На следующий день полки с музыкой и знаменами ушли в Думу, гвардейский экипаж—под командою в. кн. Кирилла

---

[1]) Как видно из опубликованной переписки Николая и Александры Романовых, последняя смотрела на революцию, как на временную неприятность, и даже уже после отречения Николая „чувствовала, что армия восстанет“ на защиту его самодержавных прав. См., напр., „Красный Архив“. Т. IV. *Ред.*

Владимировича: те же полки, те же люди, которые накануне приветствовали государыню: „Здравия желаем, ваше императорское величество!"—Караулы ушли; по двору бродили кучки революционных солдат, которые с интересом все рассматривали, спрашивая у оставшихся слуг объяснения. Особенно их интересовал Алексей Николаевич. Они ворвались к нему в игральную, прося, чтобы им его показали. Императрица продолжала оставаться спокойной и говорила, что опасается только одного: чтобы не произошло кровопролития из-за их величеств.

Дня два-три мы не знали, где государь. Наконец, пришла телеграмма, в которой он просил, чтобы ее величество и дети выехали к нему. В то же время пришло от Родзянки по телефону „приказание" ее величеству с детьми выехать из дворца. Императрица ответила, что никуда ехать не может, так как это для детей грозит гибелью; на что Родзянко ответил: „Когда дом горит—все выносят!"[1]). О предполагаемом отъезде императрица пришла сказать мне вечером, она советовалась с доктором Боткиным, как перевезти меня в поезд; врачи были против поездки. Мы все-таки приготовились ехать, но ехать не пришлось.

Во время всех этих тяжких переживаний пришло известие об отречении государя. Я не могла быть с государыней в эту ужасную минуту и увидела ее только на следующее утро. Мои родители сообщили мне об отречении. Я была слишком тяжело больна и слаба, так как в первую минуту почти не соображала, что случилось. Лили Дэн рассказывала мне, как в. кн. Павел Александрович приехал с этим страшным известием и как после разговора с ним императрица, убитая горем, вернулась к себе, и г-жа Дэн кинулась ее поддержать, так как она чуть не упала. Опираясь на письменный стол, государыня повторяла: „abdiqué"[2]) (Лили не говорила тогда по английски). „Мой бедный дорогой страдает совсем один... Боже, как он должен страдать!" Все сердце и душа государыни были с ее супругом; она опасалась за его жизнь и боялась, что отнимут у нее сына. Вся надежда ее была на скорое возвращение государя: она посылала ему телеграмму за телеграммой, умоляя его вернуться как можно скорее. Но телеграммы эти возвращались ей с телеграфа с надписью синим карандашем, что „местопребывание адресата неизвестно". Но и эта дерзость не поколебала ее душевного равновесия.

Дни проходили, и не было известия от государя. Ее величество приходила в отчаяние. Помню, одна скромная жена

[1]) Родзянко в своих воспоминаниях ничего не упоминает об этом разговоре. *Ред.*
[2]) Отрекся.

офицера вызвалась доставить государю письмо в Могилев и провезла благополучно; как она проехала и прошла к государю,—не знаю.

В первый вечер после перехода дворца в руки революционных солдат мы услышали стрельбу под окнами. Камердинер Волков пришел с докладом, что солдаты забавляются охотою в парке на любимых диких коз государя. Жуткие часы мы переживали. Пока кучки пьяных и дерзких солдат расхаживали по дворцу, имератрица уничтожала все дорогие ей письма и дневники и собственноручно сожгла у меня в комнате шесть ящиков своих писем ко мне, не желая, чтобы они попали в руки злодеев.

* * *

Наше беспокойство о государе окончилось утром 9 марта. Я лежала еще больная в постели, доктор Боткин только что посетил меня, как дверь быстро отворилась, и в комнату влетела г-жа Дэн, вся раскрасневшаяся от волнения. „Он вернулся!“ воскликнула она и, запыхавшись, начала мне описывать приезд государя, без обычной охраны, но в сопровождении вооруженных солдат. Государыня находилась в это время у Алексея Николаевича. Когда мотор подъехал ко дворцу, она, по словам г-жи Дэн, радостная выбежала на встречу царю; как пятнадцатилетняя девочка, она бысто спустилась с лестницы и бежала по длинным коридорам. В эту первую минуту радостного свидания, казалось, было позабыто все пережитое и неизвестное будущее... Но потом, как я впоследствии узнала, когда их величества остались одни, государь, всеми оставленный и со всех сторон окруженный изменой, не мог не дать воли своему горю и своему волнению и как ребенок рыдал перед своей женой.

Только в 4 часа дня пришла государыня, и я тотчас поняла по ее бледному лицу и сдержанному выражению все, что она в эти часы вынесла. Гордо и спокойно она рассказала мне обо всем, что было. Я была глубоко потрясена ее рассказом, так как за все 12 лет моего пребывания при дворе я только три раза видела слезы в глазах государя. „Он теперь успокоился, — сказала она, — и гуляет в саду; посмотри в окно!“ Она подвела меня к окну. Я никогда не забуду того, что увидела, когда мы обе, прижавшись друг к другу, в горе и смущении выглянули в окно. Мы были готовы сгореть от стыда за нашу бедную родину. В саду, около самого дворца, стоял царь всея Руси, и с ним преданный друг его, князь Долгорукий. Их окружало 6 солдат, вернее, 6 вооруженных хулиганов, которые все время толкали государя, то кулаками, то прикладами, как будто

он был какой-то преступник, прикрикивая: „Туда нельзя ходить, г. полковник, вернитесь, когда вам говорят!“ Государь совершенно спокойно на них посмотрел и вернулся во дворец.

В то время я еще была очень больна и едва держалась на ногах; у меня потемнело в глазах, и я лишилась чувств. Но государыня не потеряла самообладания. Она уложила меня в постель, принесла холодной воды, и когда я открыла глаза, я чувствовала перед собой ее и чувствовала, как она нежно мочила мне голову холодной водой. Нельзя было вообразить, видя ее такой спокойной, как глубоко была она потрясена всем, виденным в окно. Перед тем, как меня покинуть, она сказала мне, как ребенку: „Если ты обещаешь быть умницей и не будешь плакать, то мы придем оба к тебе вечером“.

И в самом деле, они оба пришли после обеда, вместе с г-жей Дэн. Государыня и г-жа Дэн сели к столу с рукоделием, а государь сел около меня и начал мне рассказывать. Государь Николай II был доступен, конечно, как человек, всем человеческим слабостям и горестям, но в эту тяжелую минуту его глубокой обиды и унижения я все же не могла убедить себя в том, что восторжествуют его враги; мне не верилось, что государь, самый великодушный и честный из всей семьи Романовых, будет осужден стать невинной жертвой своих родственников и подданных. Но царь с совершенно спокойным выражением глаз подтвердил все это, добавив еще, что „если бы вся Россия на коленях просила его вернуться на престол, он бы никогда не вернулся“. Слезы звучали в его голосе, когда он говорил о своих друзьях и родных, которым он больше всех доверял и которые оказались соучастниками в низвержении его с престола. Он показал мне телеграммы Брусилова, Алексеева и других генералов, членов его семьи, в том числе и Николая Николаевича: все просили его величество на коленях, для спасения России, отречься от престола. Но отречься в пользу кого? В пользу слабой и равнодушной Думы? Нет, в собственную их пользу, дабы, пользуясь именем и царственным престижем Алексея Николаевича, правило бы и обогащалось выбранное ими регентство!.. Но, по крайней мере, этого государь не допустил! „Я не дам им моего сына“,—сказал он с волнением.—„Пусть они выбирают кого-нибудь другого, например, Михаила, если он почтет себя достаточно сильным“!

Я жалею, что не запомнила каждое слово государя, когда он рассказывал о том, что происходило в поезде, когда прибыли депутаты из Думы с требованием его отреченья.

Когда государь с государыней Марией Феодоровной уезжал из Могилева, взорам его представилась поразительная картина: народ стоял на коленях на всем протяжении от дворца до вокзала [1]). Группа институток прорвала кордон и окружила царя, прося его дать им последнюю памятку,—платок, автограф, пуговицу с мундира и т. д. Голос его задрожал, когда он об этом говорил. „Зачем вы не обратитесь с воззванием к народу, к солдатам?“—спросила я. Государь ответил спокойно: „Народ сознавал свое бессилие, а ведь тем временем могли бы умертвить мою семью. Жена и дети — это все, что у меня осталось! Их злость направлена против государыни, но ее никто не тронет, разве только перешагнув через мой труп“... На минуту дав волю своему горю, государь тихо проговорил: „Нет правосудия среди людей“. И потом прибавил: „Видите ли, это все меня очень взволновало, так что все последующие дни я не мог даже вести своего дневника“.

Я поняла, что для России теперь все кончено. Армия разложилась, народ нравственно совсем упал, и моему взору уже предносились те ужасы, которые нас всех ожидали. Все же не хотелось терять надежды на лучшее, и я спросила государя, не думает ли он, что все эти беспорядки непродолжительны. „Едва ли раньше двух лет все успокоится“,—был его ответ. Но что ожидает его, государыню и детей? Этого он не знал. Единственно, что он желал и о чем был готов просить своих врагов, не теряя своего достоинства, это—не быть изгнанным из России. „Дайте мне здесь жить с моей семьей самым простым крестьянином, зарабатывающим свой хлеб, — говорил он, — пошлите нас в самый укромный уголок нашей родины, но оставьте нас в России“ [2]). Это был единственный раз, когда я видела русского царя подавленным случившимся; все последующие дни он был спокоен.

Ежедневно я смотрела из окна, как он сгребал снег с дорожки, как раз против моего окна. Дорожка шла вокруг лужайки; и князь Долгорукий и государь разгребали снег навстречу друг другу: солдаты и какие-то прапорщики ходили вокруг них. Часто государь оглядывался на окно, где сидела императрица и я, и незаметно для других улыбался нам или махал рукой. Я же в одиночестве невыносимо страдала, предчувствуя новое унижение для царственных узни-

[1]) Это, повидимому, плод больного воображения. Даже Лукомский, подробно описывающий сцену прощания Николая с его приближенными, ничего не говорит о каком-либо проявлении народом верноподданнических чувств к Николаю II. См. выше, стр. 219—220. *Ред.*

[2]) Николай II имел в виду свое „укромное“ имение „Ливадия“ в Крыму близ Ялты. *Ред.*

ков. Императрица приходила ежедневно днем; я с ней отдыхала, она была всегда спокойна. Вечером же их величества приходили вместе. Государь привозил государыню в кресле, так как к вечеру она утомлялась. Я начала вставать; мы сидели у круглого стола; императрица работала, государь курил и разговаривал, болел душой о гибели армии с уничтожением дисциплины [1]).

Комендантом дворца был назначен некий П. Коцебу, бывший офицер уланского ее величества полка, за некрасивые истории оттуда прогнанный. Я знала его с детства и была рада, что он, а не другой, был назначен, так как у него было скорее доброе сердце, и он любил их величества. Он часто заходил ко мне, отвез даже письма моим родителям в Петроград и первый предупредил меня о готовящемся моем аресте, сообщив, что меня увезут, как только я поправлюсь. Ее величество была в ужасе и умоляла Коцебу оказать содействие к тому, чтобы меня не трогали, доказывая ему, что я больная женщина и что разлука со мной в эту тяжелую минуту была бы равносильна разлуке с одним из ее детей. Коцебу отвечал уклончиво,— да он ничего и не мог сделать.

21 марта я с утра очень нервничала, я узнала, что Коцебу не пропускают солдаты во дворец, вероятно, за его гуманное отношение к арестованным, а тут еще доктора принесли мне из ряду вон выходящую газетную статью, в которой говорилось, будто я с доктором Бадмаевым, которого, между прочим, не знала, „отравляю государя и наследника". Императрица вначале сердилась на грязные и глупые статьи в газетах и с усмешкой мне сказала: „Here Ania keep them for your collection" (собирай их для своей коллекции).

Около часу вдруг поднялась суматоха в коридоре, слышны были быстрые шаги. Я вся похолодела и почувствовала, что это идут за мной. И сердце меня не обмануло. Перво-на-перво прибежал наш человек Евсеев с запиской от государыни: „Керенский обходит наши комнаты,— с нами бог". Через минуту Лили, которая меня успокаивала, сорвалась с места и убежала. Вошел потом скороход и доложил, что идет Керенский. Окруженный офицерами, в комнату вошел с нахальным видом маленького роста бритый человек, крикнув, что он министр юстиции и чтобы я собралась ехать с ним сейчас в Петроград. Увидав меня в кровати, он немного смягчился и дал распоряжение, чтобы спросили доктора, можно ли мне ехать; в противном случае

---

[1]) В этом, как известно, он был не одинок. Вместе с ним „болели душой" все Временное Правительство и все социал-оборонцы. *Ред.*

обещал изолировать меня здесь еще на несколько дней. Граф Бенкендорф послал спросить доктора Боткина. Тот, заразившись общей паникой, ответил: „Конечно, можно“. Я узнала после, что государыня, обливаясь слезами, сказала ему: „Ведь у вас тоже есть дети, как вам не стыдно!“ Через минуту какие-то военные столпились у дверей, я быстро оделась с помощью фельдшерицы и, написав записку государыне, послала ей мой большой образ Спасителя. Мне в свою очередь передали две иконы на шнурке от государя и государыни с их подписями на обратной стороне. Как мне хотелось умереть в эту минуту!..

Я была настолько слаба, что меня почти на руках снесли к мотору; на подъезде собралась масса дворцовой челяди и солдат, и я была тронута, когда увидела среди них несколько лиц плакавших. В моторе, к моему удивлению, я встретила Лили Дэн, которая мне шепнула, что ее тоже арестовали. К нам вскочило несколько солдат с винтовками.

Через несколько минут мы очутились в царском павильоне [1]), в комнате, где я так часто встречала их величества. Нас ожидал министерский поезд,—поезд Керенского. По приезде в город нас заставили пройти мимо Керенского, который сидел с каким-то господином и иронически на нас смотрел; нас посадили в придворное ландо, которое теперь обслуживает членов Временного Правительства.

Помню, каким мрачным нам показался город; везде беспорядочная толпа солдат, у лавок—длинные очереди, а на домах—везде грязные красные тряпки. Подъехали к министерству юстиции. Там—высокая, крутая лестница,—было трудно подыматься на костылях. Ноги тряслись от слабости. Офицеры привели нас в комнату на третьем этаже без мебели, с окном во двор; после внесли два дивана; грязные солдаты встали у двери. Я легла, усталая и убитая горем. Темнело...

Вечером влетел Керенский и спросил Лили, став спиной ко мне, топили ли печь? Не помню, что она ответила; он вышел. Нам принесли чай и яйца и затопили печь. Стоявший у двери солдат Преображенского полка оказался добрым и участливым. Он жалел нас и, когда не было посторонних, вечером и ночью бранил новые порядки, говоря, что ничего доброго не выйдет. Мы не спали, ночь тянулась, нам было холодно и страшно [2])...

---

[1]) На Царскосельском вокзале *Ред.*

[2]) Остальная часть книги посвящена дальнейшим перипетиям жизни Вырубовой, закончившимся ее бегством за границу при Советской власти. Мы не печатаем этой части, как носящей почти исключительно личный характер. *Ред.*

В. Б. СТАНКЕВИЧ.

Воспоминания [1]).

1. Первые дни революции.

Я был так занят и увлечен военными делами, что не заметил, как подошла весна 1917 года. В политических кружках я почти не бывал, хотя всю зиму провел в Петрограде, — отчасти потому, что был переобременен военной работой, отчасти же потому, что мои взгляды и устремления совершенно расходились с настроениями политических кругов. Я искал разрешения вопроса в технической стороне дела. Но это не встречало ни малейшего сочувствия или отклика. Для русской общественности это составляло уже пройденный этап отношения к войне... Правда, настроения самих политических кружков были весьма пестры. Даже в среде наиболее близких мне представителей общественности я наталкивался на самое различное отношение к вопросам дня. Так, помню, Н. Н. Суханов дал мне при встрече Кинтальские резолюции [2]), которые я возвратил ему с ироническими замечаниями относительно интернациональных чудаков. М. Е. Березин, б. т. председателя II Гос. Думы [3]), встретил мои пылкие технические выкладки сухим замечанием, что не о новом способе продолжения войны надо думать, а о том, как войну кончать. Мякотин удивился, когда я высказал пессимистическия соображения о возможности нам быстро добраться до Константинополя. — Но

---

[1]) Автор этих воспоминаний — бывш. комиссар сев. фронта, а затем верховный комиссар в ставке (при Керенском). Из его мемуаров мы заимствуем лишь две главы, относящиеся к Февральской революции. В интересах экономии места в них сделаны большие сокращения — выброшены почти все „философские" и лирические отступления автора от нити рассказа. *Ред.*

[2]) Речь идет о постановлениях так называемой второй циммервальдской конференции социалистов — противников войны, состоявшейся весной 1916 г. в швейцарской деревушке Кинтале (первая конференция происходила в сентябре 1915 г. в Циммервальде). Резолюции ее носили половинчатый характер с большим уклоном к социал-пацифизму, требовавшему простого прекращения войны, а не превращения ее в гражданскую войну. Для социал-оборонцев и такие взгляды были в лучшем случае лишь „чудачеством". *Ред.*

[3]) Член „трудовой группы", политический единомышленник Станкевича. *Ред.*

был один вопрос, в котором все сходились: отношение к правительству.

Необходимость смены правительства считалась аксиомой политической тактики. Ощущение фронта, глухое недовольство полуразбитой армии воплотилось в тылу в яркую оппозиционность.

Носившееся над всем фронтом настроение—„войну нельзя продолжать“ — в интерпретации наиболее слышного в тылу политического настроения получало добавление: „пока существует теперешнее правительство“,—основной лозунг, звучавший ярко и ощутимо во всей деятельности прогрессивного блока. Речи в Государственной Думе и политические слухи, тысячами ходившие по городу, несомненно, производили большое впечатление на армию. Офицерская среда с полной уверенностью присоединялась к оптимистическим ожиданиям нового правительства, которое сумеет лучше вести войну, сумеет возбудить народную энергию. И нам казалось, что и солдатская масса воспринимает также политические настроения. Разве солдаты не просили меня дать им речь Милюкова против Штюрмера или речь Львова на земском съезде в Москве [1])?

В воздухе носились настолько отчетливые ожидания каких-то событий, что однажды, будучи дежурным в батальоне в один из тревожных дней, когда, по всеобщему уверению, что-то должно было произойти, я звонил Керенскому из казарм, чтобы он имел в виду, что я дежурю в войсковой части, ближайшей к Таврическому дворцу.

Какого-нибудь участия в заговорщических кружках того времени я не принимал. Лишь в конце января месяца мне пришлось в очень интимном кружке встретиться с Керенским. Речь шла о возможностях дворцового переворота. К возможностям народного выступления все относились определенно отрицательно, боясь, что раз вызванное народное массовое движение может попасть в крайне-левые русла, и это создаст чрезвычайные трудности в ведении войны. Даже вопрос о переходе к конституционному режиму вызывал серьезные опасения и убеждение, что новой власти нельзя будет обойтись без суровых мер для поддержания порядка и недопущения пораженческой пропаганды. Но это не колебало общей решимости покончить с безобразиями придворных кругов и низвергнуть Николая. В качестве кандидатов на престол назывались различные имена, но наибольшее единодушие вызывало имя Михаила Александровича, как

---

[1]) Эти речи с резкими нападками на правительство были запрещены цензурой. Однако они в большом количестве печатались и распространялись нелегально. *Ред.*

единственного кандидата, обеспечивающего конституционность правления.

Я был настолько оторван от общественной жизни, что 26 февраля лишь вечером узнал, что в городе происходили какие-то демонстрации. М. Н. Петров прибежал ко мне в страшном волнении, рассказал о событиях, о стрельбе на улицах, стал говорить о необходимости военного выступления против правительства и побудил меня к тому, чтобы я отправился к Березину и просил его связать меня с президиумом Государственной Думы и выяснить вопрос, что могло бы быть, если бы мне удалось собрать офицеров и убедить их подписать резолюцию о подчинении батальона Государственной Думе. Я хорошо знал весь офицерский состав нашего батальона и унтер-офицерский. И мне казалось, что после тех предварительных разговоров и нащупываний, которыя я имел и которые дали хороший результат, можно было в несколько дней подготовить подобную демонстрацию. Березин обещал принести мне ответ на следующий день около 6 часов.

Но я не получил его ответа. На другой день рано утром я собирался, по обыкновению, в батальон. Вдруг раздался звонок по телефону, и от имени Керенского мне сообщили, что Дума распущена, Протопопов объявлен диктатором, что в Волынском полку произошло выступление, полк перебил офицеров, вышел с винтовками на улицу и направился к Преображенским казармам (в этих казармах был расположен мой батальон). Не тратя ни минуты времени, я схватил свое боевое снаряжение и помчался в батальон. На углу Литейного и Кирочной я увидел толпу людей, сосредоточенно глядевших вдоль Кирочной улицы. Я подошел: в конце Кирочной, как раз против Преображенских казарм, клубилась серая, беспорядочная толпа солдат, медленно подвигавшаяся к Литейному проспекту. Над их головами видны были два или три темных знамени из тряпок.

Я направился к толпе, но меня остановил какой-то унтер-офицер, поспешно бежавший от толпы:

„Ваше благородие, не ходите, убьют! Командир батальона убит, поручик Устругов убит, и еще несколько офицеров лежит у ворот. Остальные разбежались".

Я смутился и завернул в школу прапорщиков в начале Кирочной; пытался связаться по телефону с батальоном и Государственной Думой, но не получил ниоткуда ответа. Тем временем толпа надвинулась на училище, ворвалась в помещение. Но был дан только один случайный выстрел в коридоре. Солдаты разобрали винтовки и пошли дальше. Я вышел из училища и пробовал убеждать солдат итти

к Таврическому дворцу. Но мои слова были встречены недоверием: „Не заманивает ли в западню“...

На улице меня солдаты задержали, отняли оружие. Пьяный солдат, припоминая обиды, нанесенные ему каким-то офицером, настаивал на том, чтобы меня прикончить. Но в общем толпа была мирно настроена. Один солдат из моего батальона заверил, что он меня знает: „Это наш, хороший“, и меня отпустили с миром.

Когда я пришел в батальон, в нем уже не было ни души, — все разбрелись по городу. Несколько солдат в учебной команде мирно пили чай. Я стал с ними разговаривать. Неопределенные ответы, неопределенные вопросы. Было ясно, что солдаты не верят мне и знают, что я также не верю им.

Уже вечером я отправился в Таврический дворец. На дворе нестройные кучки солдат. У дверей напирала толпа штатских, учащейся молодежи, общественных деятелей, стараясь войти в здание. Я быстро получил пропуск и стал искать Керенского. Его я нашел в просторной зале, где кроме него был только Чхеидзе, с поднятым воротником, оба в волнении. Чхеидзе все время бегал из угла в угол. Керенского вызвали в соседнюю комнату, откуда он вышел с сообщением, что заняты почта и телеграф, но что необходимо туда послать подкрепление. Я заявил, что никакого подкрепления нельзя послать, пока солдаты не приведены в порядок. Чхеидзе торопливо подошел ко мне и сказал, что верно, что прежде всего нужен порядок, нужно строить полки или что-то в роде этого. Я спросил кого-то из окружающих, где остальные члены Думы. Мне ответили, что разбежались, так как почувствовали, что дело плохо. Впоследствии я убедился, что это была ошибка, так как, напр., Родзянко был в то время в штабе и говорил по проводу с фронтами. И дело было не „плохо“, но только оно не сосредоточивалось в Таврическом дворце, который только сам считал себя руководителем восстания[1]). На самом же деле восстание совершилось стихийно, на улицах. Окружный суд уже догорал. На Литейном и Невском были баррикады, и, по существу, уже весь город был вне власти прежнего правительства. Но полный розмах восстания стал ясен на следующий день с утра. На улицах немолчно, повсюду, повидимому, беспричинно и бесцельно, происходила стрельба из пулеметов, винтовок и револьверов. Казалось, винтовки стреляли сами собой. Казалось, громадные запасы

[1]) Вот одно из многих свидетельских показаний, опровергающих распространяемую Милюковым и подобными ему буржуазными „историками“ басню о руководящей роли Думы в восстании. *Ред.*

взрывчатого вещества, накапливаемые против противника, приобрели свойство взрываться сами собой в тылу, раня и убивая кого попало. И запасы противо-человеческой ненависти вдруг раскрылись и мутным потоком вылились на улицах Петрограда в формах избиения городовых, ловли подозрительных лиц, в возбужденных фигурах солдат, катающихся бешено на автомобилях.

К Думе трудно было уже протолкаться,— солдаты, матросы, рабочие массами шли туда. Несмотря на строгий контроль и пропуск только с разрешением, выдаваемым в комендантской комнате, толпа спорадически отталкивала часовых и вливалась во дворец. Все коридоры, комнаты полны спешащими, требующими, недовольными, усталыми от ожидания, от неизвестности и неопределенности.

Все свое время я делил между батальоном и Думой, стараясь, и не безуспешно, навести какой-нибудь порядок в своей части. Были трения из-за командира батальона—прежний был убит в первый момент восстания, когда он, во главе учебной команды, вышел навстречу восставшим. Новый — старший в чине, выбранный офицерами и представителями от рот, не понравился. Откуда-то взялись какие-то агитаторы из солдатской же среды и стали сеять смуту, призывая не верить офицерам. Пришлось согласиться на другого кандидата—почти бессловесного прапорщика: по моему предложению, весь батальон — и солдаты и офицеры — вышли в полном строевом порядке на двор. Там я от имени Государственной Думы представил батальону нового командира, произнес примирительную речь и предложил с музыкой в строю пройти к Таврическому дворцу. Картина нашего шествия была настолько внушительна, что произвела впечатление даже в те дни, когда дворец осаждался со всех сторон солдатами. Чхеидзе, бесконечно выступавший с приветствиями частям, был настолько поражен нашей, действительно внушительной и растянувшейся чуть ли не на версты манифестацией — все в безукоризненном строю, с офицерами на местах, с оркестром музыки, — что пал на колени и, схватив красное знамя первой роты, стал в восторге целовать его, как символ уже победившей революции.

Но я не обольщался и чувствовал, что под этим наскоро сколоченным порядком нет еще армии, что разложение идет глубже, что мы живем не уже новым порядком, а только инерцией старого. Но надолго ли хватит этой инерции? Для характеристики моих настроений, несомненно, еще сравнительно бодрых—офицеры в батальоне говорили мне, что они чувствуют себя спокойными только при мне, и, вероятно под их влиянием, представители рот избрали меня помощником командира батальона — могу привести ма-

ленький разговор с Керенским. В один из первых дней, когда еще велись переговоры относительно составления правительства, Керенский, увидя меня около кабинета Родзянки, подошел ко мне и заявил:

„Знаете ли, мне предлагают портфель министра юстиции... Брать или не брать?“ Вопрос был в той плоскости, что демократические партии вообще отказались от участия в правительстве, и Керенскому приходилось итти против настроений своих друзей.

— Все равно,—ответил я,—возьмете или нет,— все пропало.

— Как все пропало? Ведь все идет превосходно.

— Армия разлагается... Но, быть может, вы еще спасете. Конечно, брать...

И я поцеловал его.

Я стал слишком военным, чтобы воспринимать что-либо помимо соображений, как это отразится на судьбе военных операций. И для своего отношения к событиям в первый же день я нашел формулу: „Через десять лет будет хорошо, а теперь — через неделю немцы будут в Петрограде“.

И я склонен утверждать, что такие настроения были, в сущности, главенствующими. И притом не только в сравнительно правых группах.

Официально торжествовали, славословили революцию, кричали „ура“ борцам за свободу, украшали себя красными бантами и ходили под красными знаменами... Дамы устраивали для солдат питательные пункты. Все говорили „мы“, „наша“ революция, „наша“ победа и „наша“ свобода. Но в душе, в разговорах наедине — ужасались, содрогались и чувствовали себя плененными враждебной стихией, идущей каким-то неведомым путем. Буржуазные круги Думы, в сущности, создавшие атмосферу, вызвавшую взрыв, были совершенно неподготовлены к „такому“ взрыву [1]). Никогда не забудется фигура Родзянко, этого грузного барина и знатной персоны, когда, сохраняя величавое достоинство, но с застывшим на бледном лице выражением глубокого страдания и отчаяния, он проходил через толпы распоясанных солдат по коридорам Таврического дворца. Официально значилось: „солдаты пришли поддержать Думу в ее борьбе с правительством“, а фактически — Дума оказалась упраздненной с первых же дней [2]). И то же выражение было на лицах всех членов Временного Комитета Думы и тех кру-

[1]) Это утверждение верно только во второй его части. Что же касается причин „взрыва“, то созданная Думой „атмосфера“ была в лучшем случае причиной лишь второстепенного характера. *Ред.*

[2]) Весьма правильное утверждение. *Ред.*

тов, которые стояли около них. Говорят, представители прогрессивного блока плакали по домам в истерике от бессильного отчаяния... Даже заглядывая в столовые, где бесплатно с полным радушием круглые сутки кормили солдат, я видел, что гостеприимные хозяйки словно откупались от солдатчины, прикармливали их, но чувствовали безнадежность этого, так как солдаты сосредоточенно сидели и жевали, не выпуская из рук винтовок, не разговаривая даже между собой, не делясь впечатлениями, но каким-то стадным чувством сознавая что-то общее, думали по-своему, по иному, непонятному и не поддающемуся истолкованию.

Все это особенно резко сказывалось на положении офицерства. События, навалившиеся на него, были так резко и грубо ломающими все установленные порядки механизированной армии... И дело не в приказе № 1 — 2-ой, не в тех или иных мерах; не в тех или других выражениях воззваний. Дело было в том, что солдаты, нарушив дисциплину и выйдя из казарм не только без офицеров, но и помимо офицеров, даже убивая их, исполняющих свой долг, оказалось, по официальной, повсеместной, всенародной и обязательной для самих офицеров терминологии, совершили великий подвиг освобождения. Если это—подвиг и если офицерство теперь само утверждает это, то почему же оно не вывело солдат на улицу, — ведь ему это было легче и безопаснее сделать. Теперь, после факта победы, оно присоединилось к подвигу. Но искренно и надолго ли? — Ведь в первые минуты оно растерялось, попряталось, переодевалось... Пусть на другой день пришли все офицеры... Пусть некоторые из офицеров прибежали и присоединились через пять минут после выхода солдат. Все равно, тут солдаты вывели офицеров, а не офицеры солдат, и эти пять минут составили непереходимую пропасть, отделяющую от всех глубочайших и основных предпосылок старой армии.

Но армия вышла не только из рук командного состава— даже избранного, даже признанного революцией. Она не была в руках и того среднего и руководящего общественного мнения, которое, волей или неволей, санкционировало переворот, как осуществление его требований. Обычно историю первых дней революции представляют в виде разлада между Советом Рабочих и Солдатских Депутатов и Временным Комитетом Думы. Действительно, противоположность между обеими организациями сказывалась с каждым днем принципиальнее и глубже по существу и ощутительнее во вне. В сущности, только формальная связь личности Керенского соединяла оба института, оспаривавшие друг у друга руководство революционным движением. Но Временный Комитет Думы имел слишком законченную и опре-

деленную идеологию, стремился к слишком отчетливой власти, чтобы вместить в себя бурный наплыв революционной стихии, чтобы долго находиться на его гребне. Напрасно он оказывал революции громадные услуги, покорив ей сразу весь фронт и все офицерство. Он сам немедленно затапливался стихией, забывался. Ведь даже в Таврическом дворце он был, сравнительно, мало заметным.

Образование Временного Правительства мало изменило положение дела. 3 марта, узнав в Таврическом дворце об образовании Правительства, я немедленно отправился в свой батальон сообщить об этом солдатам и офицерам. Я обходил роту за ротой, произносил коротенькие речи о необходимости правительства и о личном составе Временного Правительства. Мне припоминается, что слова о необходимости правительства воспринимались довольно сухо. Не особенно дружно приветствовали и отдельных министров. Ни крупнейший авторитет председателя совета министров Г. Львова, ни прежние заслуги перед армией нового военного министра Гучкова, ни сокрушающие удары, которые нанес старой власти Милюков, теперь министр иностранных дел, ни заслуги по организации Военно - Промышленного Комитета Коновалова, ставшего министром торговли и промышленности, ни Некрасов, министр путей сообщения, ни Терещенко, министр финансов, ни Шингарев, министр земледелия, — не вызывали энтузиазма, хотя я говорил о них с воодушевлением, так как хорошо знал, что значит в России переход власти в их руки[1]). Но в аудитории чувствовался холодок. Лишь когда я называл Керенского, тогда слушатели вдруг вспыхивали истинным удовлетворением: в нем они чувствовали „своего" министра. Но Керенский был один. Остальным министрам толпа уже не доверяла. Но и к Керенскому было личное доверие несмотря на то, что он стал министром за то, что он — общепризнанный герой революции.

Поэтому, несмотря на образование Временного Правительства, Совет Рабочих и Солдатских Депутатов или, вернее, его Исполнительный Комитет вскоре стал, бесспорно, единственным вождем революции. Это было понятно для рабочей среды. Но почему Исполнительный Комитет завоевал армию? Ведь все офицерство было не на его стороне? Но это и было как раз причиной популярности Комитета. Солдатская масса, особенно после приказа № 1, восприняла Комитет, как анти-офицерскую организацию

---

[1]) Как видим, уже в первые дни революции солдатская „толпа" тоже недурно понимала, „что значит" переход власти в руки буржуазного Временного Правительства. *Ред.*

и именно поэтому встала около него. Солдатской же массе уже принадлежало руководящее положение в армии.

Естественно, что весь ужас перед разгулявшейся стихией проектировался на Комитете, и комната № 13 Таврического дворца стала фокусом озлобленного и тревожного недоверия. Особенно ярки эти настроения были около товарища председателя С. Р. и С. Д. — Керенского. Он был единственный человек, который с энтузиазмом и с полным доверием отдался стихии народного движения, чувствуя гораздо более и шире, чем другие, и сознав с первого дня все историческое величие совершающегося переворота [1]). Единственно он со всей верой в правду говорил с солдатами „мы"... И верил, что масса хочет именно того, что исторически необходимо для момента. Но, понимая, что с каждым днем масса уходит куда-то в сторону, что около Временного Правительства образуется пустота, что пена гребня несется где-то в сторону, увлекаемая совершенно непредвидимыми водоворотами, — он часто очень резко отзывался о руководителях Исполнительного Комитета.

Я сперва воспринимал события так же, как Керенский, и для себя лично счел наиболее соответствующим вести борьбу с анархией в самом гнезде ее. Поэтому я предложил офицерам нашего батальона послать своего представителя в Совет. Офицеры согласились и единогласно выбрали меня. Преодолевая довольно жестокое сопротивление мандатной комиссии, доказывающей, что представители от офицеров не допускаются в Совет, я все же настоял на своем праве и проник в это грозное собрание. Но Совет оказался просто толпой солдат, довольно дружелюбно настроенных. Я попробовал выступить — меня встретили солдаты моего батальона аплодисментами. Попробовал говорить о необходимости революционной дисциплины. То же одобрение. Почему в Совете настроения более мягкие и приятные, чем в батальоне [2])?

И все яснее чувствовалось нечто иное, более глубокое и беспокойное, чем вопрос о распределении влияний левых и правых кругов общественности. Чувствовалось, что масса ушла не только от среднего общественного мнения, от кругов, которые в свою пользу оспаривали власть у ста-

[1]) Эта восторженная характеристика Керенского далеко не верна. Особого энтузиазма и доверия революционная стихия ему не внушала. Во всяком случае он не был способен понять ее, а тем более руководить ею. *Ред.*

[2]) По той простой причине, что в первые дни в Совет попадали преимущественно наиболее „интеллигентные" солдаты: вольноопределяющиеся, писаря и т. д. Только значительно позднее солдатская масса научилась различать политические партии и выбирать депутатов по партийному признаку. Но и после этого она долго еще шла по ложному пути, отдавая свои голоса эсерам, пока, наконец, не поняла их контр-революционную природу. *Ред.*

рого правительства, но что она вообще никем не руководится, что она живет своими законами и ощущениями, которые не укладываются ни в одну идеологию, ни в одну организацию, которые вообще против всякой идеологии и организации, так как это по природе своей—анархическая стихия. Ведь не только офицеры прибежали через пять минут после того, как солдаты вышли на улицу, но лишь через пять минут прибежали и деятели прогрессивного блока, и меньшевики, и большевики [1]). Я часто чувствовал раскаяние, почему я не презрел предостережения унтер-офицера и не бросился со всех ног к толпе, окружавшей мой батальон, и не повел ее к Думе. Керенский часто говаривал своим друзьям, что он сделал ошибку, что не отправился в казармы Волынского полка, как только узнал о беспорядках там. Но ведь это безразлично, все равно, это было бы с опозданием на пять минут и не изменило бы того факта, что масса двинулась сама, повинуясь какому-то безотчетному внутреннему позыву. Кто вызвал солдат на улицу? Ни одна партия, при всем желании присвоить себе эту честь, не могла дать на это ответа [2]). Кто мог предвидеть выступление? — Как раз накануне его было собрание представителей левых партий, и большинству казалось, что движение идет на убыль, и что правительство победило [3]). С каким лозунгом вышли солдаты? Они шли, повинуясь какому-то тайному голосу, и с видимым равнодушием и холодностью позволили потом навешивать на себя всемозможные лозунги. Кто вел их, когда они завоевывали Петроград, когда жгли Окружный суд? Не политическая мысль, не революционный лозунг, не заговор и не бунт, а стихийное движение, сразу испепелившее всю старую власть без остатка: и в городах, и в провинции, и полицейскую, и военную, и власть самоуправлений. Неизвестное, таинственное и иррациональное, коренящееся в скованном виде в народных глубинах, вдруг засверкало

[1]) Насчет большевиков автор глубоко заблуждается. В противоположность всем остальным „через пять минут революционерам“ они в течение всей войны (так же как и до нее) вели систематическую работу по подготовке революции. С первых же дней движения большевики приняли в нем энергичное участие, руководя им и стараясь превратить забастовку и демонстрации в вооруженную борьбу с царизмом. См., например, подробный рассказ об этом у Шляпникова в его книгах: „Канун 17 года“ и „Семнадцатый год“. *Ред.*

[2]) Разумеется, солдаты вышли на улицу не по официальному приглашению той или иной партии, — революции так просто не делаются. Но большевики имеют все права присвоить себе и здесь значительную долю чести, так как солдаты вышли на улицу лишь после усиленной агитации руководимых большевиками демонстрантов и специальных большевистских агитаторов. *Ред.*

[3]) Большевики, как известно, не разделяли взглядов этого „большинства“. *Ред.*

штыками, загремело выстрелами, загудело, заволновалось серыми толпами на улицах. К этому неизвестному подошли и попробовали его взять в руки. И, не умея формулировать возражения, не зная, как оказать сопротивление, масса стала повторять чужие лозунги и чужие слова, дала расписать себя по партиям и по организациям. И, естественно, наименее требующее организованности оказалось наиболее по душе. Совет, это собрание полуграмотных солдат, оказался руководителем потому, что он ничего не требовал, потому что он был только фирмой, услужливо прикрывавшей полное безначалие [1]).

Но удержит ли Совет движение, когда он начнет требовать? Прочен ли слой хотя бы советской идеологии на бушующем море народной раскаленной лавы?

Мне кажется, что яснее всего эту тревогу ощущал Н. Н. Суханов, который, пытаясь и будучи действительно наиболее способным занять место идеолога революции в ее первом развитии, чувствовал, что движение не укладывается ни в какие схемы. Он был уверен, что Временное Правительство не удержится у власти. Но что будет дальше? Должно быть, движение налево. Но умеренная демократия, во главе с Керенским, не хочет понять всей глубины народного бунтарства, не уясняет того, что если бы не Исполнительный Комитет, на который столько нападают, весь фронт сгорел бы в первые же дни революции, так как только Комитет придает кое-какую государственность и организованность массовому движению. Что было бы без него? Хаос!...

2. Исполнительный Комитет.

В начале марта я вошел в состав Исполнительного Комитета к полусерьезному, полушутливому негодованию Суханова, который находил, что здесь не место „геометрам и фортификаторам". В Комитете я представлял наиболее правую из допускавшихся там групп—группу трудовиков. Весь март и апрель я был одним из усидчивых и постоянных посетителей заседаний, распростившись, хотя не без колебаний, со своей фортификацией. Фактически я ограничивался ролью только наблюдателя, так как после трех лет перерыва политическая работа была для меня слишком чужда и необычна.

---

[1]) Довольно своеобразная „философия". Революционная самодеятельность масс кажется Станкевичу каким-то непостижимым чудом. Даже для такой простой вещи, как сплочение рабочих и солдат вокруг своих, им же созданных революционных организаций, он ищет каких-то поистине „иррациональных" толкований. *Ред.*

В это время Исполнительный Комитет имел чрезвычайный вес и значение. Формально он представлял собой только Петроград, но фактически это было революционное представительство для всей России, высший авторитетный орган, к которому прислушивались отовсюду с напряженным вниманием, как к руководителю и вождю восставшего народа. Но это было полнейшим заблуждением. Никакого руководительства не было, да и быть не могло.

Прежде всего, Комитет был учреждением, созданным наспех и уже в формах своей деятельности имевшим множество чрезвычайных недостатков.

Заседания происходили каждый день с часу дня, а иногда и раньше, и продолжались до поздней ночи, за исключением тех случаев, когда происходили заседания Совета, и Комитет, обычно в полном составе, отправлялся туда. Порядок дня устанавливался обычно „миром“, но очень редки были случаи, чтобы удалось разрешить не только все, но хотя бы один из поставленных вопросов, так как постоянно во время заседаний возникали экстренные вопросы, которые приходилось разрешать не в очередь. Между прочим, вопрос об организации работ Комитета ставился на очередь систематически ежедневно, но он получил свое разрешение лишь к концу апреля, т.-е. ко времени, когда само влияние Комитета стало заметно падать. Вопросы приходилось разрешать под напором чрезвычайной массы делегатов и ходоков как из петроградского гарнизона, так и с фронтов и из глубины России, причем все делегаты добивались во что бы то ни стало быть выслушанными в пленарном заседании Комитета, не довольствуясь ни отдельными членами его, ни комиссиями. В дни заседаний Совета или солдатской секции дела приходили в катастрофическое расстройство.

Пробовали было провести разделение труда устройством разных комиссий. Но это мало помогло делу, так как центр тяжести попрежнему лежал на пленуме, хотя бы потому, что комиссиям некогда было заседать, ввиду перманентности заседаний Комитета. Важнейшие решения принимались часто совершенно случайным большинством голосов. Обдумывать было некогда, ибо все делалось второпях, после ряда бессонных ночей, в суматохе. Усталость физическая была всеобщей. Недоспанные ночи. Безконечные заседания. Отсутствие правильной еды—питались хлебом и чаем и лишь иногда получали солдатский обед в мисках без вилок и ножей.

Технические недочеты, неспособность или невозможность организовать правильную работу увеличивались политической дезорганизованностью, а в начале—и соотношением личных сил. Главенствующее положение в Комитете все-

время занимали социал-демократы различных толков. Н. С. Чхеидзе—незаменимый, энергичный, находчивый и остроумный председатель, но именно только председатель, а не руководитель Совета и Комитета: он лишь оформливал случайный материал, но не давал содержания. Впрочем, он был нездоров и потрясен горем—смертью сына. Я часто улавливал, как он сидел на заседании, устремив с застывшим напряжением глаза вперед, ничего не видя и не слыша. Его товарищ—М. И. Скобелев, всегда оживленный, бодрый, словно притворявшийся серьезным. Но Скобелева редко можно было видеть в Комитете, так как ему приходилось очень часто разъезжать для тушения слишком разгоревшейся революции в Кронштадте, Свеаборге, Выборге и Ревеле... Н. Н. Суханов, старавшийся руководить идейной стороной работ Комитета, но не умевший проводить свои стремления через суетливую и неряшливую технику собраний и заседаний. Б. О. Богданов [1]), полная противоположность Суханову, сравнительно легкомысленно относившийся к большим принципиальным вопросам, но зато бодро барахтавшийся в груде деловой работы и организационных вопросов и терпеливее всех высиживавший на всех заседаниях солдатской секции Совета. Ю. М. Стеклов, изумлявший работоспособностью, умением пересиживать всех на заседаниях и, кроме того, редактировать советские „Известия“ и упорно гнувший крайне левую, непримиримую линию [2]). К. А. Гвоздев [3]), выделявшийся рассудительной практичностью и государственной хозяйственностью своих выводов и негодовавший, что жизнь идет так нерассчетливо сумбурно; встревоженно, с недоумением и, наконец, с негодованием смотревший, как его товарищи рабочие стали так недальновидно проматывать богатства страны. М. И. Гольдман (Либер) [4]) — яркий, неотразимый аргументатор, направлявший острие своей речи неизменно налево. Н. Д. Соколов, как-то странно не попадавший в такт и тон событий и старавшийся не показать виду, что он сам понимает и видит это не хуже, а может быть, лучше других. Г. М. Эрлих, которого я более всего помню окруженным толпой делегатов перед дверьми Комитета. Потом к ним присоединились: Дан, воплощенная догма меньшевизма, всегда принципиаль-

---

[1]) Руководитель группы меньшевиков - оборонцев. *Ред.*

[2]) Это, разумеется, неверно. Крайне левую и непримиримую линию вели в Исполкоме большевики, линия же Стеклова проходила тогда посередине между большевистской и меньшевистской. *Ред.*

[3]) Ярый меньшевик - оборонец, председатель рабочей группы созданного Гучковым и Коноваловым военно-промышленного комитета. *Ред.*

[4]) Бывший бундовец, один из наиболее правых меньшевиков - оборонцев. *Ред.*

ный и поэтому никогда не сомневавшийся, не колебавшийся, не восторгавшийся и не ужасавшийся—ведь все идет по закону—всегда с запасом безконечного количества гладких законченных фраз, которые одинаково легко и ровно укладывались и в устной речи, и в резолюциях, и в статьях, и в которых есть все, что угодно, кроме действия и воли [1]). Все делает история—для человека нет места. И. Г. Церетели, полный страстного горения, но всегда ровный, изящно-сдержанный и спокойный, идеолог, руководитель и организатор Комитета, отдававший напряженной работе остатки надорванного здоровья.

Но все это были марксисты. Народники не дали для Комитета ничего похожего, даже когда появились их первоклассные силы—А. Р. Гоц, В. М. Чернов, И. И. Бунаков, В. М. Зензинов. Они все время предпочитали держаться в стороне, скорее присматриваясь к Комитету, чем руководя им. Народные социалисты—В. А. Мякотин и А. В. Пешехонов—старательно подчеркивали свою чужеродность в Комитете. Из трудовиков только Л. М. Брамсон, организатор и руководитель финансовой комиссии, а впоследствии комиссии по Учредительному Собранию, оставил очень значительный след в деловой работе Комитета. Усиленно выдвигали меня, как офицера с некоторым техническим знанием и вместе с тем давно участвовавшего в общественной работе. И, несомненно, передо мной были большие возможности в смысле влияния на работы Комитета. Но я был оглушен событиями и, ярко воспринимая их, не нашел способности реагировать на них. В одинаковом со мною положении был, кажется, и С. Ф. Знаменский, тоже офицер и представитель трудовиков.

Большевики в Комитете были вначале представлены, главным образом, М. Н. Козловским и П. И. Стучкой, один—короткий, полный, другой—длинный, сухой, но оба одинаково желчные и злые...

Противоположностью им явился потом Каменев, отношения которого ко всем были так мягки, что, казалось, он сам стыдился непримиримости своей позиции; в Комитете он был, несомненно, не врагом, а только оппозицией. Больше всех производил впечатление большевик-рабочий П. А. Залуцкий. Чрезвычайно мягкий, даже милый, но всегда печальный и озабоченный, как если бы кто-либо из близких был долго и безнадежно болен, и это заглушало все остальные восприятия от мира и толкало на самые отчаянные решения, лишь бы скорее избавиться от этого гнета и, наконец, зажить по-хорошему.

---

[1]) Это типично для всего меньшевизма. *Ред.*

Военные вначале были представлены В. Н. Филипповским и несколькими солдатами.

Филипповский просидел первые трое суток революции в Таврическом дворце, ни на минуту не смыкая глаз, и с тех пор стал неизменной принадлежностью Комитета и эсеровской фракции. Солдаты были выбраны на одном из первых солдатских собраний, причем естественно попали наиболее истерические, крикливые и неуравновешенные натуры, которые в результате ничего не давали Комитету, не пользовались никаким влиянием в гарнизоне и даже в своих собственных частях. Потом, после допольнительных выборов, в Комитет вошел ряд новых представителей, с Завадье и Бинасиком во главе. Последние добросовестно, насколько были в силах, старались справиться с военными делами. Но оба, бывшие, кажется, мирными писарями в запасных батальонах, никогда не интересовавшимися ни войной, ни армией, ни политическим переворотом, были только наиболее ярким доказательством, насколько условно можно воспринимать утверждения, что Исполнительный Комитет руководил революцией.

В общем, историю Комитета в организационном и личном отношении следует разделить на два периода: до и после приезда Церетели. Первый период был периодом, полным случайности, колебаний и неопределенности, когда всякий, кто хотел, пользовался именем и организацией Комитета, и более всего это удавалось Стеклову, наиболее талантливому, усидчивому и солидному члену Комитета. Это—период сумбура, когда были возможны случаи, что заседания Комитета—правда, по маловажным вопросам—происходили в составе одних интернационалистов и большевиков, под председательством Стеклова. И левые и правые чувствовали Комитет одинаково своим или одинаково чужим учреждением, по возможности пользуясь им, но не сознавая обязанности нести ответственность за него.

В результате получались „забавные" случаи. Напр., однажды каким-то способом, чуть ли не благодаря вниманию барышни-регистраторши, было задержано письмо на бланке Комитета с печатью к крестьянам какого-то села, которым давалось полномочие „социализировать" соседнее помещичье имение. Несмотря на весь радикализм в социальных вопросах, весь Комитет был до глубины души возмущен этим случаем. Произвели специальное расследование, и оказалось, что такие письма выдавал член аграрной комиссии, эсер Александровский, считавший себя вправе проводить свои тенденции и взгляды от имени Комитета. Но зачем брать такие мелкие примеры? Сами советские „Известия", в сущности, были не чем иным, как таким пись-

мом Александровского. В общем тоне статей, в подборе хроники, в том, что помещалось и что не помещалось, в опечатках, наконец,—везде чувствовалась рука редактора и его помощников, проводящих свои взгляды, но отнюдь не взгляды Комитета. И громадным большинством Комитета „Известия“ воспринимались, как нечто чужое, как безобразие. Но некому было об этом подумать, и некому было приискать какой-нибудь выход из положения. Но когда я составил формальное заявление с протестом против всего направления „Известий“, то под ним подписались сразу все лидеры Комитета до Суханова включительно [1]), и Стеклов был без сожаления смещен.

Такое положение дел приводило к тому, что, хотя официально Комитет поддерживал правительство, и большинство постоянно настаивало на незыблемости этой позиции,— тем не менее Комитет сам расшатывал авторитет правительства своими случайными мерами, необдуманными шагами. Для предотвращения недоразумений была образована особая делегация Комитета, которая раза два в неделю ходила в Мариинский дворец беседовать с правительством... Но что могла сделать эта делегация, если в то время, как она беседовала и приходила к полному единодушию с министрами, десятки Александровских рассылали письма, печатали статьи в „Известиях“, разъезжали от имени Комитета делегатами по провинции и в армии, принимали ходоков в Таврическом Дворце, каждый выступая по-своему, не считаясь ни с какими разговорами, инструкциями или постановлениями и решениями. В конечном счете, от Комитета всегда всего можно было добиться, если только упорно настаивать. И в этом смысле Комитет руководился и определялся не теми, кто в нем сидел и решал вопросы, а теми, кто к нему обращался.

Резко изменился характер Комитета с появлением Церетели. Вошел он туда в качестве члена 2-ой Думы только с совещательным голосом. В первый день он скромно отказался высказать свое мнение, так как еще не присмотрелся к обстановке. На следующий день он произнес пространную речь, словно нащупывая позицию, при чем не угодил ни левым, так как явно тянул в сторону компромисса и соглашения с правительством, ни правым, так как речь его во многих отношениях дышала еще нетронутым „сибирским“ интернационализмом. На третий день Церетели явился уверенным в себе вождем Комитета и Совета, и, в принципе сохраняя интернационалистические тенден-

---

[1]) Повидимому, везде и всюду, где идет речь о „всем Комитете“ и о „всех лидерах“ его, большевики автором в расчет не принимаются. *Ред.*

ции, на практике резко проводил оборонческую линию поведения и линию органического сотрудничества и поддержки правительства [1]). С больной грудью, часто теряя от напряжения голос, с болезненно-воспаленным лицом и глазами—он спокойно, уверенно и смело вел Комитет, который сразу из сборища случайных людей превратился в учреждение, в орган. Но поразительно, как раз в момент, когда Комитет организовался, когда в нем выделились и начали функционировать отделы, когда ответственность за работы взяло на себя бюро, избранное только из оборонческих партий,—словом, когда Комитет научился управлять собой,—как раз в это время он выпустил из рук руководство массой, которая ушла в сторону от него [2]).

3. Приятие войны.

Манифест [3]) издан, слово сказано, и „через горы братских трупов, через реки невинной крови и слез, через дымящиеся развалины городов и деревень, через погибшие сокровища культуры" протянута рука к народам всего мира.

И скоро получен был ответ.

Прежде всего откликнулась союзная демократия. В Комитете появились встревоженные лица французских социалистов—Кашена [4]), потом Тома, английского трудовика Гендерсона, итальянских социалистов. И сразу почувствовалось, что для них наш манифест казался отнюдь не новым словом, а уже давно пройденным этапом, наивностью, о которой трудно серьезно говорить. Они делекатно и вежливо, лавируя между нашей принципиальностью и политической неопытностью, напомнили русской демократии, что на фронте идет война, что увлечение красивыми лозунгами может привести к гибели всех завоеваний русской революции, что свобода в опасности, что не о мире еще надо думать, а о войне. Они привезли с собой настроения уже давно воюющей демократии, они имели уже готовые возра-

---

[1]) „В принципе"—интернационализм, на практике—оборончество; на словах—революция, на деле—ее тушение. Но ведь это же—большевистская характеристика меньшевизма. Простодушный Станкевич даже не подозревает, какую медвежью услугу оказывает он Церетели своей „похвалой". *Ред.*

[2]) Эти два события находятся между собою в тесной причинной связи. Последовательная соглашательско-оборонческая политика эсеро-меньшевистского Совета не могла не оттолкнуть от него революционно и пацифистски настроенные массы. Здесь нет ровно ничего „поразительного". *Ред.*

[3]) Речь идет об известном воззвании Петроградского Совета к народам всего мира от 14 марта 1917 года. *Ред.*

[4]) Впоследствии порвал с оппортунизмом и вошел в ряды французской компартии. *Ред.*

жения на все сомнения, ответы на все вопросы. Они заставили и русскую демократию стараться говорить на одном с ними языке. И горячие призывы Тома, чтобы русская армия добилась своего Вальми [1]), и рассудительная энергия Гендерсона, внушительной жестикуляцией подкреплявшего доводы о необходимости разгромить Германию— производили свое впечатление. Русская революция, столь нестойкая и примитивная идеологически, уступала перед международным натиском накопившейся вражды, и слова о мире сами собой превращались в слова войны.

Суханов невольно стушевался на четвертый план. Стеклов, единственно владевший свободно, хотя и варварски, французским языком, и тот не упоминал в своих репликах о манифесте к народам всего мира. Церетели как-то раз упомянул, что русская интеллигенция настроена циммервальдистски, но встретил такие удивленные взгляды со стороны собеседников-иностранцев, что слова завязли на устах. Трезвостью, реализмом, приводящей в отчаяние практичностью веяло от этих испытанных парламентариев-министров. Да и как не притти в отчаяние, когда Гендерсон привез русской демократии приглашение на сентябрь месяц на съезд тредъюнионов, где, между прочим, предполагалось рассмотреть и вопрос о войне... А в Комитете далеко не одним большевикам казалось, что в сентябре о войне и помину уже не должно быть! Ясно было, что механизм мирового общественного мнения решительно отказывался следовать за молниеносностью русских событий.

Но еще поучительней был отклик, полученный из Германии. Уже в первые дни революции радиотелеграф поймал фразу:

— „Привет товарищам, ура!“.

Было решено, что это, несомненно,—отклик германской демократии. Но подтверждений не получилось. Подлинное же мнение большинства германской социал-демократии привез представитель датских социалистов Боргбьерг. Он появился как-то таинственно, произнес небольшую речь с явными недомолвками, потом на неделю куда-то стушевался. Потом явился опять и заявил, что может приблизительно изложить мнение германских социалистов. Но это мнение отнюдь не произвело впечатления ответного рукопожатия, а, скорее, попытки спекульнуть на русской революции. Германские социалисты отказывались обсуждать вопросы о Польше и о Лотарингии. Лишь для Эльзаса соглашались на плебисцит по отдельным общинам...

---

[1]) Так называется селение, под которым во время Великой Французской Революции революционная армия одержала решительную победу над реакционной армией пруссаков. *Ред.*

Выводы из этих посещений иностранцев оказали громадное влияние на русскую демократию. Тем более, что значение этих выводов было подчеркнуто и оттенено своими „иностранцами", в особенности Плехановым, который привез иностранные настроения уже, так сказать, переведенными на русский язык, уже примиренными с основами русской идеологии. Несомненно, что роль Плеханова могла бы быть более значительной, если бы не старые счеты и споры с ним марксистов из Комитета. По формальным основаниям ему было отказано в праве решающего голоса в Комитете и было предложено войти туда, и то в виде особого исключения, лишь с совещательным голосом... Такое вхождение, конечно, не лишало бы его возможности влиять на все дела в Комитете—ведь Церетели 2 месяца руководил Комитетом, пользуясь только правом совещательного голоса... Но Плеханов отказался.

Приезд Ленина не мог изменить впечатления, что путь манифестов и воззваний к международной солидарности безконечно долог и труден. Во-первых, самый приезд в немецком запломбированном вагоне произвел гнетущее впечатление. Но и первое выступление Ленина с его программой показало, что его путь—путь явного безумия даже с точки зрения довольно воспаленного воображения тогдашних руководящих кругов демократии. В первый же день он выступил в заседании Совета и произнес речь, которая очень обрадовала его противников.

— Человек, говорящий такие глупости, не опасен. Хорошо, что он приехал, теперь он весь на виду... теперь он сам себя опровергает [1]...

Так говорили руководители Комитета, расходясь после первого выступления Ленина. Масса тоже не восприняла практического значения лозунгов Ленина, находясь в идейной власти оборонческих кругов. Да и самая фигура Ленина производила неприятное впечатление прямым контрастом красивым фигурам Церетели, Плеханова, Авксентьева. Иное впечатление, чем Ленин, произвел Троцкий, который сразу захватил Совет своей огненной речью и неукротимым темпераментом. Если масса не сразу признала своего идеолога, то она сразу почувствовала своего вождя... Но Троцкий явился значительно позже.

Если путь „протянутой руки" не давал должного результата, не открывал даже перспективы мира, то неудача его не давала все же никакой новой ориентации, никакой новой

[1]) Речь об известных „тезисах" Ленина, в которых впервые был поставлен вопрос о создании республики Советов. *Ред.*

точки зрения. Еще в середине апреля большевики не считали безнадежным поставить в Комитете вопрос об организации братания на фронте в день первого мая, и вопрос снят был с очереди лишь после аргументации Церетели, что братание устроить нельзя, так как неизвестно, как к этому отнесется противник, и так как нет никакой технической возможности выяснить это. И извне позиция Комитета попрежнему оставалась неясной, давая возможность различным недоразумениям: был случай, что делегат, приехавший на фронт (западный) с полномочиями от Комитета, решил сам организовать „показное“ братание с противником, и только сношения П. М. Толстого по прямому проводу с Петроградом выяснили недоразумение: делегат был отозван. Оказалось, это был известный агитатор и пропагандист в крестьянской среде. Теперь он решил попробовать свои силы на фронте и был в полной уверенности, что его действия соответствуют позиции Комитета.

Гораздо поучительнее и богаче положительными выводами был второй путь к миру—путь дипломатии. Если Комитет не вошел в правительство, если он не поставил никаких военных или мирных условий для своей поддержки правительства, то он все же не лишил себя права влиять на власть в желательном направлении.

Первым поставил этот вопрос Суханов. На другой день после принятия манифеста пленумом Совета, Суханов выдвинул вопрос о необходимости побудить правительство, чтобы оно подчеркнуло свое согласие с мирными тенденциями демократии. Это было тем более необходимо, что первые шаги Милюкова были направлены в диаметрально противоположную сторону. Заявление Временного Правительства о войне 27 марта звучало в полный унисон с манифестом 14 марта,—русская власть тоже заявила, что она отказывается от политики завоеваний и принимает формулу самоопределения народов. Но этого показалось мало. Это заявление было предназначено только для внутреннего читателя. Явное несогласие с этим заявлением Милюкова возбуждало подозрения, что во вне Россия обращена иным ликом. Сухое, лаконичное извещение правительства, что оно не намеренно обращаться к союзникам ни с какими мирными нотами, подкрепило подозрения. И Комитет потребовал, чтобы такая нота, формально меняющая международный смысл русского участия в войне, была послана заграницу. Так как в правительстве целый ряд министров был против воинственности Милюкова (в том числе и Гучков), то нота была обещана. Полное согласие

между Комитетом и правительством казалось настолько установленным, что Церетели предполагал произвести своеобразную военную демонстрацию: после опубликования мирной ноты правительства вынести в Совете решение поддержки „займа свободы“ [1]). Правительство учитывало это и, со своей стороны, старалось средактировать документ, который должен был удовлетворить демократию, причем левая часть Правительства выдержала весьма суровый бой с Милюковым из-за некоторых выражений. И когда текст ноты был установлен окончательно, некоторые министры при встрече с членами Комитета утверждали, что Комитет будет поражен, насколько далеко пошло правительство ему навстречу. И не подлежит никакому сомнению, что если бы текст ноты был заранее показан Церетели или кому-нибудь из руководящих членов Комитета,—в него были бы внесены соответствующие поправки, или была бы предпринята кампания для подготовки общественного мнения к этому акту. Но этого не было сделано.

Текст в Комитете был получен одновременно с передачей его в печать, после посылки в Париж и в Лондон. Комитет в экстренном заседании стал обсуждать ноту, и после первого прочтения всеми единодушно и без споров было признано, что это совсем не то, чего ожидал Комитет. В особенности резали слова о том, что после революции „всенародное стремление довести мировую войну до решительной победы лишь усилилось благодаря сознанию общей ответственности всех и каждого“.

Потом, при дальнейшем детальном разборе, стали раздаваться голоса, что, в сущности, нельзя требовать, чтобы правительство разговаривало с союзными правительствами языком Манифеста к народам мира, что дипломатия имеет свой собственный язык. Церетели стал добросовестно расшифровывать ноту и указывать на то, что многие вопросы в ней выражены вполне соответственно общим мирным тенденциям демократии. Скобелев ставил вопрос еще шире, доказывая, что вообще нельзя требовать полного совпадения стремлений демократии и позиции Правительства. Демократия воодушевлена революционным пылом... Но русская революция, попадая за границу, должна сходить со своих ширококолейных рельс и приспосабливаться к узкой иностранной колее... Но все-таки ряд выражений комментировался и

[1]) Так назывался выпущенный Вр. Правительством заем, который был предназначен главным образом на покрытие расходов, связанных с продолжением войны. За исключением большевиков, разоблачавших истинные цели этого займа, все политические партии его поддерживали. *Ред.*

ими, как неосторожный и легко поддающийся изменению [1]). Около 5 часов ночи заседание было прервано до утра.

Возбуждение Комитета объяснялось тревогой, что нота может вызвать самочинные выступления масс. Но, быть может, как раз эта тревога и послужила причиной этих выступлений [2]), так как будоражащее известие о том, что Комитет всю ночь заседает над неудачной мирной нотой правительства, о которой столько говорили, и от которой ждали первого практического шага к миру, облетела весь город, все казармы. На другой день, 20 апреля, когда Комитет собрался обсуждать ноту, стали поступать сведение о том, что Финляндский полк вышел из казарм и с оружием в руках и со знаменами с надписями: „Долой захватную политику", „В отставку Гучкова и Милюкова", двинулся на Мариинскую площадь. Немедленно были посланы Скобелев и Гоц, которым удалось убедить солдат очистить площадь. Как оказалось, полк был выведен именем Исполнительного Комитета по инициативе солдата Линде [3]), бывшего раньше членом Исполнительного Комитета. Но брожение перекинулось на другие части, захватило рабочих. В ответ началось сильнейшее движение и среди обывателей, в особенности группирующихся вокруг партии народной свободы. И к вечеру уже начались столкновения между различными группами демонстрантов.

Правительство предложило Комитету совместное заседание для обсуждения положения дел. Заседание состоялось в тот же вечер и продолжалось с 9 до 4 часов утра. Это была первая встреча Правительства и Исполнительного Комитета со дня, когда на ночном заседании в начале марта решено было образование Временного Правительства. Лишь восстание масс, направленное уже и против Правительства

---

[1]) Речь идет о ноте союзным правительствам от 18 апреля, в которой Милюков от имени народа клялся в преданности союзникам, верности заключенным б. царем договорам и готовности воевать „до решительной победы". Нота являлась наглым вызовом Совету и провокацией по отношению к рабочим и солдатам. Однако премудрые меньшевистские соглашатели, в заботе о добрых отношениях с Милюковыми, сразу же выразили готовность объявить ее „вполне соответствующей общим мирным тенденциям демократии". Это и было сделано через день после опубликования правительством довольно двусмысленного „разъяснения" ноты. *Ред.*

[2]) Предположение само по себе явно вздорное, так как демонстрации начались после того, как содержание ноты стало известным из газет (она была опубликована 20 апреля). Но чрезвычайно показательно это стремление Станкевича искать причину выступления не в самой ноте, а в каких-то случайных обстоятельствах. Повидимому, его лично милюковская нота вполне удовлетворяла. *Ред.*

[3]) Беспартийный интеллигент. В августе того же года в должности пом. комиссара убит на фронте солдатами 444 полка, отказавшегося выступить на передовые позиции. *Ред.*

и против Комитета[1]), заставило их попытаться действительно сговориться. Но сговора не было. Уже началось с того, что возникли прения о допущении журналистов. Комитет согласился на закрытое заседание, но, когда правительство заявило представителям печати, что оно согласилось на закрытое заседание только под давлением Комитета, Комитет стал настаивать на открытых дверях. Тогда правительство заявило, что уже оно настаивает на недопущении журналистов. Правительство осыпало Комитет упреками, если не за сегодняшнее выступление, то, во всяком случае, за прежнее систематическое расшатывание авторитета правительства. Особено резко и раздраженно говорил Шингарев. Керенского не было. Милюков производил на Комитет впечатление конченного человека, которого было просто жаль. Он сидел все время молча и сделал только одно заявление: он прочел телеграмму, полученную из Парижа, в которой сообщалось, что французское министерство иностранных дел не сочувствует созыву междусоюзнической конференции для обсуждения вопроса о целях войны. Милюкову казалось, что телеграмма имела решающий характер в смысле довода в его пользу. Но громадному большинству Комитета, привыкшему уже к мысли о необходимости и возможности „давить" на свое правительство, казалось непонятным, почему нельзя оказать давление на союзные правительства... Для всех было ясно, что во всяком случае в первую очередь надо было считаться с такими заявлениями, как солдатский бунт, грозящий смести все зачатки народной организованности. В этом направлении развивали аргументацию представители Комитета. Но в отдельных мнениях были громадные различия, — от Суханова, который, по существу, высказывался за невозможность России дальше воевать, до меня, который просил Правительство лишь не мешать нам постепенно ознакомить массы с действительным международным положением и задачами войны. Но, повидимому, мой тон уже более соответствовал настроению большинства Комитета. — В общем, все это было бесполезным и раздражающим словопрением: четверть часа переговоров Милюкова и Церетели до опубликования ноты могли сделать несравненно больше, чем теперь другие часы... В результате, правительство, сохраняя попрежнему тон раздражения, обещало на следующий день обсудить возможность опубликования и посылки за границу разъяснения ноты.

---

[1]) Утверждение чересчур категоричное. Исполнительный Комитет затрагивался этим движением лишь косвенно, поскольку попустительствовал милюковской „воинственности". *Ред.*

На другой день, однако, движение не улеглось, а продолжалось с новой силой, уже руководимое большевиками.

Для того, чтобы предотвратить участие в нем вооруженных солдат и злоупотребление именем Комитета, Комитет экстренно издал распоряжение о невыводе из казарм солдат иначе, как по распоряжению, скрепленному подписями определенных, поименованных в распоряжении, семи лиц, „семи диктаторов", как шутили потом. И солдатская масса, действительно, оставалась в казармах. Но уже во время обсуждения этой меры в Комитет со всех сторон стали поступать сведения о движении на фабриках и заводах. Наконец, по телефону сообщили, что громадные массы рабочих идут с Выборгской стороны, при чем многие вооружены. Комитет направил на встречу рабочим Чхеидзе, Войтинского и меня. Мы поехали на автомобиле и встретили рабочих уже на Марсовом поле. Рабочие шли довольно стройными колоннами. Впереди каждой колонны шел отряд красногвардейцев, вооруженных разнообразными винтовками и револьверами. За ними, веселыми и дружными толпами, шли рабочие и работницы. Над всеми колоннами развевались знамена с надписями против войны, против Правительства и с требованием передачи всей власти Советам. Чхеидзе с автомобиля произнесь речь, доказывая, что демонстрации не имеют более смысла и цели, так как правительство уже готово разъяснить ноту в желательном смысле; поэтому Чхеидзе пригласил рабочих вернуться назад. Но тут выступили вожаки демонстрации и заявили, что рабочие сами знают, что им надо делать. Демонстрация двинулась дальше.

Движение не улеглось, а, повидимому, еще разгоралось. Казармы и рабочие кварталы были в брожении. На улицах все время двигались манифестации. На вечер было назначено заседание Совета, но многие высказывали сомнение, удастся ли его устроить, не будет ли оно сорвано непредвиденными событиями. И, вероятно, со стороны большевиков были намерения сорвать его [1]). Настроение собравшегося Совета было до крайности напряженное. Потоки и волны каких-то бурных порывов перекатывались над головами многотысячной толпы, наполнявшей зал кадетского корпуса. То и дело ораторов перебивали какими-то массовыми спорами, вспыхивающими в разных концах зала. Кульминационного пункта возбуждение достигло в момент, когда в зале появился Дан и сообщил, что на улицах началась стрельба и имеются жертвы. Поднялся такой шум,

[1]) Эта догадка обнаруживает полнейшее непонимание автором тогдашней линии большевизма, которая шла в направлении терпеливой воспитательной и организационной работы. Разумеется такого нелепого намерения как „срыв" Совета у большевиков не было. *Ред.*

такое движение, что, казалось, еще момент,—и перестрелка начнется в зале. Напрасно Чхеидзе звонил неумолчно,—его слабый голос не был слышен даже на эстраде. Но вот встал, или, вернее, вырос высокий и стройный Церетели и поднял руку. Все сразу замолчало, и тишина переливами захватила всех. Церетели сел, но Чхеидзе мог предоставить слово Скобелеву, который стал не столько говорить, сколько отрывисто диктовать постановление. Тон его декретирующей речи оказался как раз по настроению собранию. И оно с такой же энергией возбуждения почти единогласно приняло ряд постановлений о воспрещении на три дня [1]) всяких выступлений на улицах вообще и особенно выхода с оружием в руках [2]). Движение, не имевшее ни определенных лозунгов, ни общепризнанных вождей, было сломлено.

Но впечатление энергии, проявленной Комитетом, значительно парализовалось впечатлением слабости правительства. Не правительство, а Совет распоряжается в Петрограде. И это впечатление усиливалось еще злосчастным воззванием Комитета „о семи диктаторах [3])“. Удар, намеченный по большевикам, всею тяжестью пал на военное командование, которое приняло это распоряжение Комитета, как прямое вмешательство и вызов по своему адресу. Странным образом из выступления солдатских и рабочих масс в Петрограде, из протестов против излишней воинственности правительства Комитет сделал обратные выводы: сам Комитет стал воинственным. Непосредственно за апрельским выступлением и в связи с ним начались в большинстве Комитета психологические сдвиги, которые привели к полному приятию войны.

Апрельская нота имела по концепции Комитета своей задачей поставить вопрос о мире перед международной дипломатией. Но результатом всех связанных с ней событий было лишь то, что в глазах Европы и всего мира были поколеблены последние остатки веры в прочность и устойчивость новой русской власти. Русская демократия хотела заставить других повторять ее слова, но получилось, что ее вообще перестали слушать, перестали считаться с ней.

Вопрос ставился — если ни братство народов, ни дипломатия не ведут к быстрому миру, то как же достигнуть

---

[1]) Неточно: только на два дня; третий день был добавлен потом. *Ред.*

[2]) Это постановление было поддержано ЦК большевиков, призвавшим рабочих и солдат к прекращению демонстрации. *Ред.*

[3]) Так были прозваны те семь членов Исп. Комитета (Чхеидзе, Скобелев, Бинасик, Филипповский, Скалов, Либер, Богданов), без разрешения которых никто не имел права вызвать какую-либо воинскую часть на улицу. Среди них не было ни одного большевика. *Ред.*

его? И стереотипные, много раз повсюду и всеми повторяемые слова подсказывали готовый ответ: „войной“.

Правда, этот путь был очень труден. Развал армии был общеизвестен. Но все специалисты связывали развал армии только с идейной стороной революции, только с неудачными лозунгами Комитета. Казалось, надо дать иные лозунги, и армия окажется боеспособной. Как ни трудным могло показаться убедить армию воевать, все же это казалось легче, чем убедить международную дипломатию и демократию вступить на путь Манифеста 14 марта.

Перелом мнений совершался в тиши и незаметно. Но в полном и несколько даже неожиданном виде появился он в Комитете по случаю приезда делегатов с северного фронта, 5-ой и 12-ой армий, Виленкина, Ходорова и Кучина. Делегаты произнесли патетические речи о положении армии. о влиянии неясности военной позиции Комитета на нее. Уже тогда раздавался вопрос: „Воюем мы или не воюем?“

И в ответ было сказано полным голосом:

— Мы воюем.

Большевики насмехались над „энтузиазмом“, в котором происходило заседание Комитета. И, действительно, такой подъем редко я видел в нем. Речи делегатов с фронта были встречены овациями. В ответных речах, покрываемых в отступление от обычая, аплодисментами, послышались никогда не бывалые нотки реальной заботы о „своей“ армии. Зазвучали подлинные боевые тона. И тут же, при небывалом единодушии, увлекшем даже кое-кого из интернационалистов, был принят текст составленного Войтинским воззвания — армия должна быть готова по зову начальников и вождей совершать боевые операции, доказать противнику и всему миру силу русского оружия... Даже призыв к наступлению уже явно звучал в воззвании:

> „Нельзя защищать фронт, решившись во что бы то ни стало сидеть неподвижно в окопах. Бывает, что только наступлением можно отразить или предупредить наступление врага. Иной раз ожидать нападения — значит покорно ждать смерти... Помните это, товарищи-солдаты. Поклявшись защищать русскую свободу, не отказывайтесь от наступательных действий, которые может требовать боевая обстановка...“

Воззвание звучало так воинственно, что из армии приезжали делегаты специально для того, чтобы удостовериться, не подложно ли воззвание, — настолько оно казалось необычным для того Совета, в первом номере „Известий“ которого был напечатан большевистский манифест, и кото-

рый до сих пор всегда говорил о войне так сдержанно и с колебаниями [1]).

Правда, наряду с этим воззванием было опубликовано воззвание: „К социалистам всех стран", мирного характера. Но действительность была уже не в этом направлении.

Несомненно, что, помимо соображений международной политики и действительного искания путей к миру, в новых настроениях играли значительную роль соображение внутренней политики. Бездеятельная армия явно разлагалась. Солдаты не понимали, зачем их держат на фронте. Запасные части в тылу отказывались давать пополнение и превращались в вооруженные банды, в преторианцев новейшей формации. Надо было дать армии дело: надо напомнить солдатам о долге, надо найти действительно убедительные мотивы к наведению порядка и дисциплины, — ведь если фронт осужден стоять на месте, к чему повиноваться начальникам? Конечно, быть может, лучшим выходом было бы в смысле внутренней политики, если бы наступление начал сам противник. Но он не наступал. Значит, надо было двинуться на него и ценою войны на фронте купить порядок в тылу и в армии.

Круг развития идей оказался законченным. Война поглотила нестройную толпу разнокалиберных, разноречивых деятелей мартовской революции. Во имя „мира всего мира" был дан лозунг: „вперед на врага".

И все пошло на службу этому лозунгу.

Но психологическая готовность и даже позыв воевать были связаны с необходимостью изменить отношение к власти. Уже во время апрельских бурных дней Церетели както сказал Скобелеву:

— Придется вас, Матвей Иванович, отдать в правительство...

Делалось ясно, что правительственная власть в стране начинает становиться бестелесною тенью, между тем как масса увлекается в какие-то безбрежные политические дали. Странные, дикие и ни с чем несообразные настроения масс врывались иногда в самый Комитет. Вот небольшой, но очень памятный инцидент. В Кронштадтский Совет приехал солдат с фронта и, пораженный нравами кронштадтской вольницы, стал печаловаться на горькую участь солдат фронта, где царили почти что старые порядки. Кронштадтский Совет пришел в страшное негодование и сразу выде-

---

[1]) Это воззвание было принято по докладу Церетели на заседании Совета 30 апреля и опубликовано в „Известиях" 2 мая по старому стилю. Своим острием оно было направлено против начавшегося на фронте и поддержанного большевиками братания русских солдат с немецкими. Документ во всех отношениях исторический. *Ред.*

лил целую делегацию из матросов, солдат и рабочих для поездки в армию и наведения в ней „новых порядков". При этом делегации были даны Кронштадтским Советом полномочия арестовывать на фронте командный состав. Делегация должна была немедленно, после бессонной ночи, ехать на фронт. Но она сочла благоразумнее запастись мандатом и от Петроградского Комитета. Здесь она была выслушана в пленуме Комитета, который, конечно, отнесся ко всей затее резко-отрицательно и не только отказал в выдаче мандата, но решительно протестовал против подобной поездки. Инцидент был мелкий, но он произвел громадное впечатление тем настроением, которое принесли с собой делегаты. Это, несомненно, было массовым психозом. Мы видели, как на наших глазах какой-то нездоровый угар стал спадать с делегатов, — лишь один матрос упорствовал до конца, — как они сами стали признаваться, что никто из них не умеет говорить, что они сами толком не знают, куда и зачем едут. Но все они рассказывали, что ночью у них в Совете было такое настроение, что все чувствовали себя способными переделать весь мир.

Стало понятным, что та психология недоверия к власти, которая потоками исходила из Петрограда, должна была быть изменена энергичным сосредоточением всего авторитета, власти и силы в одном каком-нибудь учреждении. При сохранении двоевластия масса неминуемо должна была уйти и от правительства и от Совета, — ведь 20 апреля солдаты и рабочие вышли против правительства, но уже помимо, а отчасти и против Комитета [1]).

Однако, и после апрельских событий было старание оттянуть момент неизбежного вступления в правительство. Даже уже в ответ на письмо Львова с предложением образования коалиционного правительства Комитет, правда, большинством всего одного голоса, решил в правительство не входить. Но как раз военный вопрос самым непреодолимым образом выдвигал необходимость консолидации и укрепления власти.

После инцидента с „семью диктаторами" Корнилов выразил желание уйти. Из военных кругов была выдвинута тогда мысль о частичном объединении власти для Петроградского военного округа в виде посылки к Корнилову комиссаров от Комитета. Комитет согласился и выбрал Соколова и меня в качестве таких комиссаров. Мы виделись с Корниловым и, казалось, достигли с ним полного согла-

---

[1]) Причина этого была, конечно, не в „двоевластии", как таковом, а в том характере, который оно носило, в склонности „второй власти" — Совета — ко всякого рода уступкам Вр. Правительству и к соглашению с ним за счет интересов революции. *Ред.*

шения. Но на другой день нам сообщили, что Корнилов все же решил уйти в отставку. Вслед за ним ушел Гучков, не пожелавший долее нести ответственность „за тот тяжкий грех, который творится в отношении родины“, как он писал в опубликованном при уходе письме. Правительство вошло в полосу перманентного кризиса: Керенский с тоской говорил, что правительства уже нет, что оно не работает, а только обсуждает свое положение... Власть, разбитая 20 апреля, разваливалась на части. Формула „поддержки постольку-поскольку“ теряла свой смысл уже потому, что не было кого поддерживать — правительство надо было уже воссоздавать, а это было невозможно без участия Комитета.

Быть может, и тут боязнь власти победила бы. Но вести с фронта, привозимые делегатами, становились все мрачнее. Приходили какие-то новые люди, озлобленные, негодующие, требующие заключения немедленного мира, бранящие правительство за медлительность и обман, а Комитет — за нерешимость по отношению к вероломному правительству. Не двинется ли за этими делегатами весь фронт, погружая страну в мрак анархии и полного уничтожения?

И через несколько дней после первого своего решения Комитет поставил вопрос о власти вторично. И даже без прений, просто после заявления Церетели: „Я высказываюсь за коалиционное правительство“... — вопрос был решен положительно. Была выбрана комиссия из представителей всех партий для переговоров с правительством. На другой день утром на квартире Львова начались переговоры. Представители Комитета явились с готовой декларацией, выражающей их стремления. Мне показалось, что когда декларация была прочитана в правительстве, почувствовался вздох облегчения: „только-то“... Терещенко и Некрасов не скрывали своего удовлетворения и предлагали немедленно перейти к вопросу о личном составе. Но Львов сдержанно заявил, что необходимо обсуждение декларации в среде правительства. Представители Комитета отправились ожидать ответа в ближайший ресторан на Садовой, обсуждая за завтраком вопрос о личных кандидатурах. Между прочим, решено было не настаивать на уходе Милюкова, наоборот, скорее склонились к тому, чтобы он остался в кабинете, но не министром иностранных дел. Через некоторое время Церетели был вызван к правительству и вернулся с поправками последнего к декларации. После некоторых переговоров редакционный вопрос был улажен без особых трудностей. Но сразу с переходом к распределению портфелей вопрос начал осложняться, запутываясь с каждым часом.

Формально переговоры происходили в кабинете кн. Львова, на Театральной улице.

Но там только окончательно скрещивались решения, принятые в других местах. Поэтому каждый этап переговоров, каждое предложение, каждая поправка должны были влечь за собой перерыв переговоров для того, чтобы члены правительства и представители Комитета могли столковаться сами. Помимо общих заседаний правительства с делегацией и заседаний отдельно правительства и отдельно делегации, происходило еще перманентное заседание кадетского центрального комитета и Исполнительного Комитета. Кадеты сразу выставили ряд существенных требований: число мест кадет в кабинете должно быть не менее числа мест демократии; помимо исправленной декларации Комитета, должна быть новым правительством принята декларация осуждения анархии, причем текст этой декларации, предложенный кадетами, был по тону явно неприемлем для представителей Комитета; далее, при обсуждении вопроса о личных кандидатах, было выставлено требование, чтобы портфель министра земледелия находился в руках кадет. Противоположные влияния шли из Таврического дворца. Там Комитет, оставшись без лидеров, вошедших в делегацию для переговоров, попал под влияние Стеклова и начал формулировать свои требования и ставить условия вхождения представителей Комитета в правительство, тоже настаивая на том, чтобы целый ряд существеннейших портфелей — военный, внутренних дел, иностранных дел, и, конечно, земледелия — непременно были в руках демократии. К этим двум влияниям присоединились побочные. Уже в разгаре переговоров явились представители крестьянского съезда со своими требованиями. Эсеры выставили ультимативным условием: „Чернов — министр земледелия“... Народные социалисты: „министр земледелия — кто угодно, только не Чернов“. Среди социал-демократов большое брожение возбуждал вопрос относительно министра труда. Чхеидзе настаивал, чтобы Церетели непременно оставался в Совете, так как, с его уходом в правительство Совет выйдет из рук Комитета... Правительство настаивало на входе именно Церетели, считая его единственно солидным кандидатом демократии. Шингарев ни за что не хотел отказаться от продовольственного дела, так как хотел увидеть результаты своих мероприятий по снабжению, которые должны были, по его мнению, сказаться через несколько недель. Военные штабные круги выдвигали кандидатуру в военные министры Пальчинского. Скобелеву хотелось быть морским министром. Правительство настаивало, чтобы военным и морским министром был Керенский. Для некоторых портфелей не находили министров (мин. юстиции), для некоторых министров не находили портфелей (Церетели). К этому присоединились

влияния фронтов, так как, как раз в разгар переговоров, с фронта приехали в Петроград верховный главнокомандующий Алексеев и все командующие фронтами — Драгомиров, Гурко, Брусилов и Щербачев, причем они выступили с резко обличительными речами. Речи эти, очевидно, предназначались для правительства, но правительство справедливо сочло, что речи эти были особенно полезны для Комитета, и предложило устроить соединенное заседание для выслушания голоса фронта.

Заседание проходило за заседанием без результатов. Каждый день назначалось заседание пленума Совета для того, чтобы, как только будет достигнут результат, сообщить ему. Но каждый день приходилось заседание отменять. Наконец, пятого мая к ночи положение настолько запуталось, что была потерена надежда достигнуть соглашения. В кабинете кн. Львова заседала делегация Комитета и крестьянского съезда. В глубине квартиры заседало правительство, Керенский и Некрасов бегали из одной комнаты в другую в качестве посредников. Но с каждой минутой дело запутывалось и становилось безнадежнее. Все мыслимые комбинации были разобраны. Каждое предложение имело уже известный цикл затруднений и возражений. Происходило явное топтание на месте. Нервное напряжение достигло высшего предела и выражалось в чрезвычайном возбуждении и раздражении друг против друга. Уже даже не происходило обсуждение вопроса, просто все говорили в своих углах или, точнее, кричали. Чернов, взъерошенный и разъяренный, набрасывался на прижатого к углу маленького Пешехонова, Гвоздев произносил какие-то последние слова в негодовании на бестолочь всего происходящего... Даже Церетели потерял равновесие и, несмотря на мои пламенные призывы к спокойствию, кричал, кажется, на Чхеидзе... Как вдруг вбежал Керенский и заявил, что решение найдено. В сущности, та комбинация, которую сообщил Керенский, была далеко не новой и имела много возражений против себя [1]). Но все рады были поддаться его настроению. Попыток возражений уже не слушали, недовольных заставили замолкнуть.

Коалиционное правительство было образовано. Война и власть были приняты Комитетом одновременно.

---

[1]) Состав коалиционного правительства был следующий: кн. Г. Е. Львов— председатель и министр внутренних дел; А. Ф. Керенский—военный и морской; В. М. Чернов — земледелия; Н. П. Переверзев — юстиции; М. И. Терещенко — иностранных дел; А. И. Шингарев — финансов; Н. В. Некрасов — путей сообщения; А. И. Коновалов—торговли и промышленности; А. В. Пешехонов — продовольствия; А. А. Мануилов — народного просвещения; М. И. Соколов — труда; Г. И. Церетели — почт и телеграфов; В. Н. Львов— обер-прокурор синода; И. В. Годнев — государственный контролер. Из них 6 социалистов.

А. ПЕШЕХОНОВ.

Первые недели.

(*Из воспоминаний о революции*[1]).

27 февраля.

Петроградская сторона, где я жил, с утра 27 февраля была отрезана от остальных частей города: все мосты и переходы через Неву и Невки были заняты войсками и полицией, которые никого не пропускали через них. К этому полицейскому маневру петербургские власти не раз прибегали и раньше, когда ожидалось какое нибудь уличное выступление. На этот раз оцепление было особенно строгим.

О том, что делается в других частях города, мы могли узнавать только по телефону, который, к слову сказать, все время работал. Таким путем мы узнали, что с утра два полка вышли из казарм и начали восстание; что в Государственной Думе был прочтен указ о роспуске ее, но Дума решила не расходиться [2] и избрала исполнительный комитет, в который вошли представители всех фракций, кроме крайних правых; что восстание разрастается и что им охвачена уже Выборгская сторона; что заключенные из Дома предварительного заключения и из Крестов выпущены, что здание судебных установлений подожжено и т. д.

На улицах, особенно на Большом и Каменноостровском проспектах, была масса народу. Полиции совсем не было видно, — впрочем, и в предыдущие дни она уже почти не показывалась. Настроение у публики было праздничное, радостно-возбужденное. Делились друг с другом сведениями и слухами, охотно заговаривали даже с незнакомыми, собирались кучками. Но активности, попыток прорваться через оцепление и присоединиться к восставшим или самим начать какие либо действия — заметно не было.

---

[1]) „На чужой стороне", кн. I. Берлин—Прага, 1923 г. Печатается здесь с некоторыми сокращениями. *Ред.*

[2]) Как видно из воспоминаний Родзянки, это решение не понималось Думой, как неподчинение указу, — она считала себя распущенной. *Ред.*

Уже к вечеру, часов в пять, я пошел проводить жену к одному из ее пациентов и, возвращаясь назад, на площадке около гренадерских казарм, где сходятся Вульфовы и Архиерейская улицы, обратил внимание на кучку народа, человек в сто, состоявшую, главным образом, из рабочей молодежи, мужской и женской. Было, конечно, не мало и ребятишек. Как оказалось, эта кучка намерена была прорвать цепь гренадер, преграждавшую дорогу к казармам и далее—к Гренадерскому мосту.

Какой то молодой рабочий поднял красное знамя и усиленно звал толпу за собою. Ему помогало несколько товарищей. Я тоже встал под красное знамя. Но толпа переминалась и не решалась двинуться. Наконец, тронулись, но далеко не все,—по крайней мере половина остались около стен в качестве зрителей. Некоторые даже метнулись за угол, видимо, опасаясь, что начнется стрельба. Не успели мы дойти до цепи—и пройти то было нужно сажен сорок, не больше—как наша кучка растаяла: кто отстал, кто прямо повернул назад, и около знамени осталось не больше десятка человек. Пришлось возвращаться, вновь убеждать толпу и ждать, пока она наберется духа.

Так повторялось раз пять-шесть. Солдаты стояли в цепи „вольно“, разговаривали друг с другом; с улыбками посматривали на демонстрантов и даже при приближении их не обнаруживали ни малейшего намерения оказать сопротивленье. Нервно прохаживавшийся вдоль цепи молодой офицер порой останавливался, как будто готовясь что-то скомандовать, но потом опять шел дальше. Когда в один из антрактов я подошел к цепи, то сразу несколько солдат зашептало мне: „Пусть идут!“... „Мы не будем препятствовать!“... „И ружья у нас не заряжены!“... Но толпа все не набиралась смелости, чтобы дойти до них. Пробовали даже составлять цепь из более смелых, чтобы при ее помощи удерживать от бегства более робких, но и это не помогало.

Мне это надоело, и я один совершенно беспрепятственно прошел сквозь цепь и дошел до моста. Вход на него преграждала вторая цепь гренадер, и на другом его конце, от Выборгской стороны, тоже виднелась какая то цепь, но народа по ту сторону Невки не было. Я вернулся назад. Тем временем толпа демонстрантов прорвала все-таки первую цепь, но направилась не к мосту, а в казармы, желая „снять“ гренадер, т. е. увлечь с собою.

У ворот был, конечно, дневальный, но никто не воспрепятствовал толпе открыть ворота и войти во двор. Я тоже вошел туда. Во дворе была масса солдат, среди которых небольшая кучка демонстрантов казалась особенно маленькой. Тут же суетились встревоженные и озабоченные офи-

церы, — все в походной форме, при оружии. Солдаты не обращали на них внимания, но и враждебности к ним не обнаруживали. Демонстранты первым делом пожелали осмотреть карцеры и потребовали освободить оказавшегося там арестованного. Это было немедленно исполнено, но увлечь за собой гренадер им не удалось.

— Кабы солдаты с вами были... А то что же мы одни то пойдем?!

Какой то вольноопределяющийся дал мне и такое объяснение:

— Главное, что командиром у нас довольны, и наших вам едва ли удастся сдвинуть.

Демонстранты перемешались с солдатами, а затем начали понемногу разбредаться. Красное знамя еще колыхалось некоторое время во дворе, но и его, в конце концов, вынесли.

Уже почти смерклось. Я вернулся домой, где застал нескольких знакомых, зашедших поделиться впечатлениями. Часа через два до нас вдруг донеслись какие то крики. Мы бросили чай, за которым сидели, и поспешили все на улицу. Оказалось, что грузовые автомобили с революционерами прорвались через Троицкий мост на нашу сторону, чтобы „снимать" здесь войска и громить полицию. Каждый такой автомобиль народ встречал радостными криками. Некоторые из них останавливались на углу Большого и Каменноостровского проспектов и спрашивали, куда ехать, где находятся полицейские участки и квартируют войсковые части. Толпа наперебой давала указания. Со своей стороны и я попытался напомнить об охранке, которая находилась как раз на Петроградской стороне, и которую, казалось бы, необходимо захватить в первую голову. Но мой одинокий голос совершенно затеривался, — тем более, что солдаты и рабочие на автомобилях, видимо, не могли даже взять в толк, о чем я кричу. Их интересовала больше всего наружная полиция.

Потолкавшись в народе, я решил итти в Таврический дворец, который представлялся центром движения. По дороге, на Каменноостровском проспекте, я сошелся с А. И. Венцковским, который направлялся туда же. Навстречу нам продолжали время от времени мчаться революционные автомобили. Один из них разбрасывал какие то бумажки. Мы подняли и тут же около фонаря прочли несколько строк. Это было гектографированное воззвание Совета Рабочих Депутатов, который просил граждан покормить и приютить солдат, проведших весь день на улице.

Меня не оставляла мысль об охранке. В победу еще не верилось, во всяком случае, ее никак нельзя было считать

обеспеченной. Быть может, завтра же охранка возобновит свою деятельность. Нет ничего невероятного, что даже сейчас она работает. Я поделился этими мыслями с Венцковским, и тот нашел их основательными. Решили попытаться еще раз привлечь к охранке внимание революционеров. Преградив дорогу, мы криками и знаками остановили мчавшийся с Троицкого моста грузовик, наскоро объяснили сидевшим в нем, как важно захватить охранку, и дали ее адрес. Нам обещали, что воспользуются данными нами указаниями после того, как выполнят еще какое то заданье. Но уверенности в том, что они действительно это сделают, у меня все-таки не получилось.

На Троицком мосту, на Французской набережной, на Шпалерной улице, по которым мы шли, и даже на Литейном проспекте, который мы должны были пересечь, публики было очень мало, — только отдельные прохожие. Несколько человек стояло около здания судебных установлений. Оно еще пылало: горела внутренность, и из окон вырывалось пламя, но крыша уже провалилась и самый дом представлял собою остов. Эти продолжавшие еще пылать развалины напомнили нам о грозном характере происходящих событий, которые мы, проведшие весь день на Петроградской стороне, воспринимали слишком уж легко, почти как праздник.

Была уже половина десятого, когда мы подошли к Таврическому дворцу. Здесь было довольно много народа, — главным образом, солдат. За решетку не пускали, и большая часть собравшихся оставалась на улице, но мы как то пробились. Дальше вход уже был свободный.

В Таврическом дворце меня поразили прежде всего тишина и безлюдье. В обширном вестибюле и громадном аванзале виднелось лишь несколько человек. Неужели же это — штаб революции? Таковым, конечно, он еще не был, — последняя шла совершенно стихийно, но нити ее уже начали сосредоточиваться здесь.

Увидав В. И. Чернолусского, я поделился с ним своим беспокойством на счет охранки. Позднее, сходив куда то, он сообщил мне, что к охранке будет послан специальный автомобиль. В разговоре с ним я упомянул также, что офицеров совсем не видно. Неужели все они остаются на стороне власти и никто не перешел на сторону народа? Вот и здесь их нет. Тут я увидал сидевшего в стороне прапорщика.

— О, этот свой человек,—сказал Чернолусский. И он тут же познакомил меня с ним. Это был С. Ф. Знаменский трудовик, известный петроградский педагог. Когда я разговаривал со Знаменским, во дворец вошел какой то полковник.

— Ну, вот, кажется, и офицеры начинают появляться...

Но Знаменский, знавший, как оказалось, этого полковника, был другого мнения:

— Просто пришол на разведку; хочет понюхать, чем тут пахнет...

Полковник, действительно, через несколько минут ушел, и больше офицеров я в этот вечер уже не видел.

Не зная, куда бы себя пристроить, я отворил дверь, из за которой раздавались голоса. Там происходило оживленное заседание. В небольшой комнате сидело человек десять; среди них я заметил А. И. Шингарева и В. Г. Громана. Последний, увидев меня, воскликнул:

— А! Алексей Васильевич! Мы вас кооптируем...

Оказалось, что это заседает продовольственная комиссия, уже образованная Исполнительным Комитетом Гос. Думы и Советом Рабочих Депутатов, — зародыш будущего общегосударственного продовольственного комитета. Я ответил, что не вполне еще ориентировался, и хочу посмотреть, что делается в других местах. Когда я вышел опять в коридор, ко мне подбежал один из партийных товарищей [1]).

— Идите скорее в Совет Рабочих Депутатов, туда требуют представителей партий...

Я разыскал комнату, где заседал Совет, и вошел. Там было человек 40 — 50, по преимуществу интеллигентов, среди которых я увидел несколько хорошо знакомых мне лиц. При моем входе кто то выкрикнул мою фамилию. Я понял было это так, что объявляют о каждом вновь пришедшем. Но оказалось, что это намечают кандидатов в литературную комиссию, и кто-то назвал меня. Пока происходила баллотировка, у меня мысль: если я войду в какой либо исполнительный орган этого Совета, то роковая черта будет мною перейдена, и в случае подавления восстания виселица неизбежна. Но колебаний у меня не было. Напротив, под давлением этой мысли, я тотчас согласился на избрание, хотя и предпочитал, прежде чем браться за какое нибудь дело, присмотреться, что здесь происходит. Кроме меня, в литературную комиссию были избраны: Соколов, Стеклов, Суханов (Гиммер) и Гриневич. Мы тотчас же вышли, чтобы приступить к исполнению возложенных на нас обязанностей. Отыскивая себе место, мы почему то пришли в другую половину дворца и устроились в проходной комнате, которая находилась рядом с кабинетом председателя Гос. Думы, повидимому, в его приемной. В кабинете в это время заседал Исполнительный Комитет Гос Думы.

---

1) Повидимому, „народный социалист“, так как Пешехонов был одним из „вождей“ так называемой народно-социалистической партии (нечто среднее между эсерами и кадетами). *Ред.*

Усевшись около стола, на котором стоял телефон, мы решили, что первым делом должны составить воззвание от Совета рабочих депутатов с указанием на причины начавшейся революции и с призывом поддержать ее. Начали обсуждать содержание, — и сразу же обнаружились разногласия. Одни считали необходимым указать на военные неудачи, другие ни за что на это не соглашались. По мнению одних, следовало сказать о продовольственных неурядицах, другие находили упоминание о них излишним. При этом обсуждение шло до-нельзя вяло, говорили как бы нехотя, мотивов даже не приводили, а отделывались самыми краткими репликами и затем умолкали. Оживленнее всех держал себя Н. Д. Соколов, который не уставал предлагать разные формулы. Но дело подвигалось все-таки туго.

Между тем, в кабинете председателя началось движение. Заседание Исполнительного Комитета было прервано, и некоторые его члены вышли в нашу комнату, — в числе их был Н. В. Некрасов, сообщивший нам, что обсуждался вопрос, принимать ли Думе власть, что большинство считает это необходимым, но что Родзянко просит дать ему четверть часа на размышление. В течение как раз этой четверти часа были получены две телефонограммы, которыя, надо думать, оказали влияние на решение г. Родзянко. Обе телефонограммы были получены при посредстве телефона, который стоял на нашем столе и который, кстати сказать, был поврежден, так что приходилось все время подставлять карандаш, чтобы он не прекратил действия. Принимал телефонограммы Некрасов. Первая была от какого то полка (помнится, от Павловского), который сообщал, что он в полном составе переходит на сторону Гос. Думы. Вторая — такого же содержания—от Петропавловской крепости. Это последнее известие представлялось особенно важным, так как Петропавловская крепость считалась почему то главным оплотом старой власти, и в ней, как уверяли, были сосредоточены крупные и более надежные ее резервы.

Когда возобновилось заседание Исполнительного Комитета, то сразу же послышались аплодисменты. Выскочивший к нам Некрасов сообщил, что Родзянко согласился. Итак, новая власть зародилась. Мы присоединились к аплодисментам, — помнится, что даже Стеклов похлопал... Я взглянул на часы: было около половины двенадцатого.

Заседание Думского Комитета опять было прервано, и в комнате, где мы сидели, все время толпились люди. Наша работа совсем остановилась. Мы ушли и устроились в какой то кладовой, где были свалены старые издания. С трудом, застревая чуть не на каждом слове, мы кое-как дотянули воззвание до конца. Несколько дней спустя, помню, меня

охватило беспокойство: мне казалось, что у нас должна была получиться ужасная галиматья. Я попросил кого-то разыскать эту прокламацию, но оказалось, ничего: воззвание, как воззвание...

Теперь же перед нами стал вопрос, как его напечатать. Один из нас пошел в Совет за указаниями и спустя довольно долгое время вернулся с В. Д. Бонч-Бруевичем, который сообщил, что типография „Газеты Копейки“ уже захвачена, что он сейчас же отправится туда с нашим воззванием, и оно немедленно будет напечатано. Я заговорил было о недопустимости захвата частных типографий, но меня не стали даже слушать. Бонч-Бруевич заявил, что мы можем немедленно приступить к изданию даже газеты, и он ручается за ее печатание. Но этот вопрос решили отложить до завтра, а пока разошлись.

В кулуарах народу было уже гораздо больше. Всех (и меня, конечно) больше всего интересовал вопрос, как идет восстание. Положение, по циркулировавшим здесь слухам, представлялось далеко еще не определенным. Говорили, что значительная часть города и весь его центр занят еще войсками старой власти; рассказывали об упорных боях, которые идут около Николаевского вокзала (чего, повидимому, совсем не было) и т. д.

Не успел я разобраться в этих слухах, как меня подхватил А. А. Демьянов и увлек в финансовую комиссию рабочих депутатов. Не знаю, был-ли я выбран в эту комиссию или меня просто „кооптировали“. Здесь работа шла гораздо оживленнее, чем в литературной комиссии. Начали было с вопроса, откуда и как Совет Раб. Деп. будет доставать деньги на свои расходы. Но я заявил, что это — совершенно второстепенный вопрос, а прежде всего надо подумать, как бы события не привели к финансовому параличу и к приостановлению хозяйственной жизни в городе, что надо позаботиться об охране казначейства и банков, об их функционировании и т. д. В этом смысле и был составлен проект постановлений, которые мы решили предложить Совету.

Было уже четыре часа. Многие намеревались остаться во дворце до утра. Но я, сообразив, что завтра предстоит еще более трудный день, решил добраться, как ни далеко это было, до дому и уснуть хотя несколько часов в своей постели.

Возвращался я через Выборгскую сторону. На улицах было темно и пустынно. С разных сторон доносились выстрелы. На Сампсоньевском мосту кто то присоединился ко мне, и дальше мы шли уже вдвоем. Когда с Сампсоньевского проспекта мы завернули в Вульфову улицу, то чуть не

попали под пулю: огонек блеснул и выстрел грянул почти перед нашими лицами. Начни мы следующий шаг раньше, пуля не миновала бы нас. Это — два каких то революционера залегли в воротах и обстреливали стоявший наискось четырехэтажный дом, на чердаке которого, по их уверению, стоял правительственный пулемет. Хотя никто на их выстрелы не отвечал, они упорно пускали пулю за пулей.

Несколько дальше мы обратили внимание на двух человек, жавшихся около пекарни. Это уже начинала выстраиваться очередь за хлебом. Будничная жизнь переплеталась с великими и грозными событиями, и для многих, конечно, ее заботы и тревоги были ближе и представлялись важнее, чем революция.

До дому я добрался, когда уже рассветало.

2. Я делаюсь комиссаром.

На следующий день я пришел к Таврическому дворцу около 12 часов. Вся улица была запружена народом. Одновременно со мной подошел гренадерский полк в полном своем составе, чтобы заявить о своем переходе на сторону революции. Пока я с трудом пробирался ко дворцу, пришло еще Михайловское артиллерийское училище, — также во главе с офицерами.

За решеткой, хотя у ворот была застава, тоже была масса публики. Впрочем, около самого подъезда еще оставалось свободное место для автомобилей и депутаций. Но народ все прибывал. Между прочим, одного за другим приводили арестованных министров и других сановников. При мне как раз привели митрополита, и его клобук долго виднелся в толпе, пока удалось арестованного провести во дворец. Внутри дворца было также много народа, несравненно больше, чем накануне, хотя и не так много, как в последующие дни. После уличной давки здесь было просторно, но после уличного света и празднично настроенной толпы казалось темно, неуютно, скучно. Я прошел в комнату Совета, — там происходила проверка мандатов, с которыми явились в Совет присланные от фабрик и заводов депутаты. Процедура шла довольно медленно, и ясно было, что Совет откроется еще не скоро. Никого из членов литературного комитета, с которыми было условлено сойтись, я не нашел во дворце. Ко мне подошел один из с.-д. и спросил, не соглашусь ли я отправиться комиссаром на Петроградскую сторону. Я побродил еще несколько времени по кулуарам и потом, неожиданно как-то даже для себя, сразу решил: „еду“!

Тут же, во дворце, я пригласил в помощь себе нескольких интеллигентов, а также нескольких рабочих с Петроградской стороны, которые были присланы фабриками и заводами в качестве депутатов в Совет, но при проверке мандатов оказались избранными сверх нормы. Нам дали легковой автомобиль и грузовик, а также с десяток вооруженных солдат, командовать которыми согласился прапорщик Дюбуа.

Прежде, однако, чем отправиться, я счел необходимым зайти в Исполнительный Комитет Государственной Думы, чтобы получить от него полномочия. Начало уже обозначаться раздвоение власти, и я опасался, что оно дойдет до самого низу. В комитете я встретил П. Н. Милюкова и сказал ему, зачем я пришел.

— Ну что-же, отправляйтесь, — сказал он,—если вы находите это для себя подходящим.

Из разговора с Милюковым я вынес впечатление, что в Думском Комитете вопрос об организации власти на местах даже не поднимался, — во всяком случае, никаких решений и даже предложений на этот счет не имелось. Для меня все яснее становилось, что Совет Рабочих Депутатов решительно опережает Думский Комитет. Ведь вот и вчера, когда последний только еще обсуждал вопрос, принимать или не принимать власть, Совет уже распоряжался, у него был организован ряд комиссий, были назначены некоторые комиссары и т. д. В течение ночи Совет, представлявший собою вчера совершенно случайную и самочинную организацию, успел снестись с фабриками и заводами и потребовать от них присылки депутатов, — и эти депутаты уже избраны, они уже явились. О существовании Совета — притом своего, выборного Совета — знают уже широкие круги населения: его прокламации со вчерашнего вечера разбрасываются и читаются на улицах и т. д. О Думском Комитете массы, вероятно, даже не знают. Знают Думу, но она ведь легко может быть причислена к старому строю и отброшена вместе с царской властью...

Раздумывать, однако, было некогда... Я застал своих товарищей уже разместившимися в автомобилях, и мы немедленно двинулись. Только что мы въехали на Троицкий мост, как наши автомобили были остановлены. В чем дело? Говорят, что мост откуда то обстреливают, — повидимому, из Инженерного замка. Дюбуа немедленно высадил свою команду, рассыпал ее в цепь и повел в наступление. Когда я это заметил, его цепь уже входила на Марсово поле. Было нелепо останавливать автомобили на самом мосту, если они находятся под обстрелом. Еще нелепее было вести наступление, хотя бы и по всем правилам военного искусства,

с десятком солдат против Замка. И было бы уж совсем глупо, если комиссар, еще не доехав до места, растерял свою вооруженную силу. Я догнал Дюбуа и потребовал, чтобы он немедленно прекратил свое предприятие. Мы быстро разместились опять в автомобилях и помчались дальше, решив не обращать внимания на обстрел, который грозил нам.

Еще в Таврическом дворце мы согласились, что займем какой-либо кинематограф. Я остановился на „Элите", который находился на углу Большого и Каменноостровского проспектов и Архиерейской улицы.

Заняв помещение, мы устроили на скорую руку совет, как нам действовать. Решили сразу же разбиться на несколько отделов.

Так, мы учредили продовольственный отдел, имея в виду продовольственные затруднения населения и полагая, что комиссариату придется взять на себя заботу об удовлетворении его продовольственных нужд.

Учредили мы также отдел публикаций, — по тому поводу, что нужно было напечатать объявление, которое мы решили расклеить по улицам. Предусматривали, конечно, неизбежность и дальнейших публикаций от комиссариата, но их было немного.

Но некоторые из образованных нами в самом начале отделов сразу же были завалены такой массой работы, какой мы даже не ожидали. Упомяну, например, о нашей судебной комиссии, о которой мне еще придется говорить дальше.

Распределившись по отделам (за мной осталось общее руководство ими), мы решили вместе с тем, что все мои помощники будут называться товарищами комиссара, и что все мы будем иметь отличительный знак: красную кокарду на шапках.

На это предварительное совещание мы потратили, как мне кажется, минут 20, не больше. Можно было приступать к делу.

Явились мы с пустыми руками, — у нас не было даже письменных принадлежностей, и достать их, когда все лавки закрыты, было трудно. Но около нас уже были люди, горевшие желанием нам помочь. Я даже не знаю, откуда они появились, — вероятно, прямо с улицы: увидели стоявшие около кинематографа автомобили, ну и зашли посмотреть, что тут делается. Так или иначе, но чернильницы, перья, карандаши, бумага немедленно были доставлены. Какия-то дамы из красных лент соорудили нам кокарды. Одна сбегала домой и притащила простыню, на которой тут же при помощи палочки, обмакиваемой в чернила, начали крупными буквами выводить: „Комиссариат".

Я тем временем написал объявление гражданам о том, что революционными властями я назначен комиссаром Петроградской стороны, что моя задача — водворить здесь свободу и установить народную власть, что никаких других революционных властей, кроме меня, здесь нет, и что аресты и обыски могут производиться не иначе, как по моему письменному распоряжению. Я приглашал граждан сохранять спокойствие уважать общую свободу и во всех случаях, когда требуется вмешательство власти, обращаться в комиссариат. Вместе с тем я потребовал, чтобы рабочие фабрик и заводов прислали своих представителей в совет, который будет состоять при мне.

Написав это объявление, я передал его в соответственный отдел, то есть попросту товарищу, который при распределении ролей между нами получил в свое ведение отдел публикаций... Он немедленно отправил его в типографию, в которой у него были связи (к слову сказать, поэтому-то мы и поставили его во главе этого отдела). Тем временем вывеска была готова. Простыню, на которой было только одно слово, немедленно же водрузили над входом в комиссариат. Комиссариат был открыт.

И сразу же я попал в такую „гущу", о какой даже и не помышлял никогда.

3. Обстановка, в какой мне пришлось действовать.

Нужно вспомнить, что представлял собой Петроград на другой день после революции.

Все власти были сметены, все государственные связи (а таковыми являлись почти исключительно полицейские цепи) были порваны, все законы — так большинство населения восприняло революцию — потеряли силу. Громадная масса людей сразу же оказалась в совершенно дезорганизованном состоянии.

Никаких преград не было. Все пришло в движение, бурлило, принимало самые прихотливые очертания. Это был социальный хаос, из которого предстояло создать новое гражданское общество. История редко производит такие социальные опыты, редко представляет такие возможности. Очутившись лицом к лицу с этим хаосом, в самой его гуще, я пережил редкостный и в моей жизни, несомненно, самый интересный период. Но вместе с тем он был и самым напряженным.

В мятущемся хаосе наш комиссариат явился первой, как будто твердой точкой, первым кристалликом. К нему сейчас

же потянулись люди. На следующий день нас обступали уже толпы.

Одни явились, чтобы пристать к нам, поддержать нас, помочь. И таких было очень много. Наши отделы сразу же наполнились сотрудниками, — в громадном большинстве совершенно бескорыстными. Мне кажется, что их перебывало в комиссариате много сотен. Одни пробыли недолго, другие оставались все время, работая нередко целыми днями и даже ночами.

Не мало было у нас и других помощников... Были и такие, которые целыми группами и даже толпами по собственному почину производили обыски, аресты, реквизиции, и потом с торжеством доставляли захваченные ими трофеи в комиссариат. Они, конечно, были уверены, что помогают нам, что выполняют самое настоящее дело, что осуществляют народную власть. Много неприятностей и хлопот было от этих непрошенных помощников, о подвигах которых мне придется еще упоминать дальше.

Громадное большинство нахлынувшего к нам и потом все время осаждавшего комиссариат народа явилось и являлось, конечно, со своими нуждами, требованиями, жалобами. На Петроградской стороне, с прилегающими к ней островами было ведь около 300.000 жителей. Но этим не ограничивался район деятельности нашего комиссариата. К нам то и дело, особенно в начале, обращались граждане и других частей, являлись даже депутации, чтобы я распространил на них свою власть. Являлись также люди из деревень и провинции, требуя распоряжений и указаний.

Уже со следующего утра мы были вынуждены поставить вооруженную стражу у дверей комиссариата и установить вход в него по пропускам. Последние выдавались всем, кто заявлял о какой бы то ни было надобности, но необходимо было предупредить вторжение целых толп и хотя сколько-нибудь оградить комиссариат от праздношатающейся публики.

Маленькая, но характерная для того времени деталь: пропуски выдавались в самом комиссариате, и, таким образом, надо было войти в него, чтобы получить пропуск, а войти нельзя было, не имея пропуска. Я не сразу заметил эту несообразность — да и трудно было заметить. Комиссариат был постоянно набит публикой и, очевидно, как-то проходили в него люди. И проходили, насколько я успевал заметить, все с пропусками. Не знаю, как они ухитрялись добывать их, но по тому времени такие мелочи никого не останавливали, это я по себе знаю. Пропуски требовались всюду, и бывать мне приходилось в самых разнообразных учреждениях, но в первые недели я нигде не брал их. Потом

я уж выправил себе красный билет в качестве члена Исполнительного Комитета Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, которым я пользовался, даже будучи министром. Но в первое время энергии было так много, что при ее только помощи я преодолевал все заставы.

Заметив несообразность, мы, конечно, устранили ее. Сначала пришлось поставить две вооруженных заставы, — одну перед столиками, где выдавались пропуски, чтобы толпа не опрокинула их, а другую — уже при самом входе в комиссариат. А затем наш комендант добыл где то перила и устроил все как следует.

Комиссариат, как я сказал, постоянно был набит публикой. С раннего утра и до позднего вечера я был окружен, прямо стиснут толпой. Бывало, выслушиваешь одних, а другие в это время уже держат меня за одежду, опасаясь упустить момент, когда можно будет привлечь к себе мое внимание. Иногда в течение многих часов мне не удавалось вырваться даже на несколько минут, чтобы выпить стакан чаю или перекусить. А когда мне нужно была куда нибудь съездить, то чуть не силой приходилось пробиваться к выходу.

Чтобы облегчить меня, товарищи устроили мне уголок в самой задней, и стало быть верхней части кинематографа, уставив проход туда рядом барьеров. Но и через них пробиралась толпа. Да и сам я часто не выдерживал характера, спускался вниз и сразу попадал в тиски, из которых трудно было вырваться.

Окруженный постоянно толпой, я часто не знал, что делается в самом комиссариате, и вовсе почти не мог руководить деятельностью отделов. Лишь ночью, когда схлынет, бывало, толпа, удавалось переговорить с товарищами и принять пассивное участие в решении хотя бы наиболее общих и принципиальных вопросов.

4. Уличные толпы.

На улицах, как я уже упоминал, все время была масса народа. Среди этого двигавшегося в разных направлениях или стоявшего небольшими кучками люда то и дело появлялись более или менее значительные толпы, имевшие уже общее устремление. Меня всякий раз охватывала тревога, хотя во многих случаях эти толпы имели совершенно невинные цели. Например, как то на Большом проспекте уже вечером встречаю громадную толпу, которая с криком, гамом, визгом двигалась от Каменностровского проспекта. Я выскочил из автомобиля: что такое? Оказалось, что был

митинг домашней прислуги, а затем кухарки, горничные, прачки и т. д. высыпали на площадь и двинулись, увлекая за собою еще множество публики по улицам. Подобным образом демонстрировали и другие группы населения.

Помню также тревогу, которую возбуждала во мне громадная толпа, которую я не раз встречал на улицах под предводительством человека, который весь был увешан пулеметными лентами. В первые дни он, как настоящий предводитель, разъезжал даже верхом на лошади. Но, повидимому, эта толпа, несмотря на довольно грозный вид ее предводителя, имела невинный характер,—по крайней мере, нашему комиссариату ни разу не пришлось иметь с нею дела. А потом и этого увешанного пулеметными лентами человека, уже в довольно жалком виде, я не раз замечал в числе рядовых участников других толп. Даже зевак он уже не собирал около себя.

Но вообще то толпы причиняли нам массу беспокойства и хлопот. О них еще придется говорить дальше, а сейчас я расскажу лишь несколько конкретных эпизодов, чтобы охарактеризовать тревожное настроение, в каком находились мы и население.

В один из первых же дней,—должно быть, это было в субботу 4 марта,—появились какие то прокламации, приглашавшие весь народ на следующий день на Невский проспект для демонстрации, не помню уже, по какому поводу. От Совета Р. и С.Д. было объявлено, что это провокация, и граждане приглашались воздержаться от участия в демонстрации [1]). Сейчас же пошли толки, что контр-революционеры нарочно зазывают народ, а затем и начнут в него жарить из пулеметов, которые у них спрятаны в квартирах. До нас в комиссариате эти сведения и слухи дошли уже поздно вечером. Никаких мер с своей стороны мы не приняли, хотя и могли бы, конечно, в течение ночи расклеить свои объявления на улицах. Но я совершенно не верил в контр-революцию и не придавал особого значения ни слухам, ни самой демонстрации.

На следующий день, часов в 11, нам сообщили, что от Новой Деревни движется по Каменноостровскому проспекту громадная толпа, очевидно, на Невский, что она все увеличивается, и численность ее определяли уже свыше десяти тысяч. Мы, конечно, встревожились. Совесть у меня была не спокойна,—никаких ведь предупредительных мер мы не приняли. А сейчас ничего и поделать нельзя. Не пускать же в ход оружие? Словами же и убеждениями такую толпу

[1]) Повидимому, упоминаемый Пешехоновым инцидент имеет отношение к распространившимся 4 марта слухам о революции в Германии. *Ред.*

не остановить. А она—все ближе, вот сейчас пройдет мимо комиссариата. Но что-то долго нет... Послали посмотреть, куда же она девалась,—оказалось,—что завернула в „Спортинг-Палас".

Поспешили и мы туда. Народу масса, хотя и много меньше 10 тысяч. Мы застали уже митинг. Прислушались: идут прения. Это меня сразу успокоило: раз публика способна интересоваться спором и если одна часть ее аплодирует одним оратором, другая—другим, то, очевидно, массового психоза нет. Взобрался и я на стол. Многие меня, видимо, узнали и встретили аплодисментами. Я приветствовал „народное собрание" от имени комиссариата, поздравил всех с завоеванной свободой, в частности, со свободой собраний и слова, заявил, что революционная власть стоит на страже этой свободы и что наш комиссариат счастлив охранять такое многолюдное собрание. Я просил граждан, со своей стороны, не нарушать свободы и, в частности, терпеливо выслушивать ораторов, памятуя, что ввиду сложных вопросов, какие стоят теперь перед нами, каждому нужно дать высказаться и в слова каждого вдуматься... Моя речь была встречена очень сочувственно.

Но не успел я сойти со стола, как в толпе произошел какой то инцидент и послышались возбужденные крики. Оказалось, что кто-то заподозрил в своем соседе шпика, другие уже вцепились в него, да и вся публика метнулась в эту сторону. Товарищ, стоявший рядом со мной, шепнул мне: „арестуйте!" Воспользовавшись этой счастливой идеей я немедленно вмешался в инцидент и разыграл роль пристава: арестовал заподзоренного, а наиболее сильно кричавших людей назначил конвоирами и приказал им отвести „шпика" в комиссариат, пригласив туда и того, кто опознал его. А сам я обратился вновь к собранию и просил его в случае каких либо недоразумений немедленно обращаться в комиссариат, который находится вот тут же, рядом.

Этот митинг продолжался потом весь день до позднего вечера. Я несколько раз посылал прислушаться, что там происходит. Менялись вопросы, менялись ораторы, менялась публика, а прения все продолжались... Тревожно начавшийся день прошел совершенно спокойно.

Возьму эпизод совершенно иного рода... Подъезжаю я как-то к своему комиссариату, и мне сразу бросилось в глаза отсутствие перед ним публики, которая постоянно тут толпилась. На выстрелы, которые раздавались, я как то сначала не обратил даже внимания,—ухо в те дни к ним уже привыкло. Не доехав до комиссариата, мой автомобиль остановился. Выхожу и вижу, что на мостовой, как раз против комиссариата, залегли солдаты и обстреливают

один из домов по Архиерейской улице. В этом доме—мне-то это хорошо было известно—помещался лазарет с увечными солдатами. Я бросился останавливать.—В чем дело? Говорят, что в комиссариат и по толпе, стоявшей около него, из этого дома стреляли, что там не иначе, как спрятан пулемет. Вероятнее всего, что публике просто почудилось. Но возможно, что и раздался какой-нибудь выстрел, во всяком случае никого не убивший и не ранивший. Толпа моментально рассеялась, а более смелые и вооруженные из нее начали отстреливаться. К ним присоединились солдаты нашего комиссариата и повели уже правильный обстрел возбудившего подозрение дома... Приостановив стрельбу, я для успокоения своей взволнованной команды послал осмотреть этот дом сверху до низу,—и, конечно, ничего подозрительного в нем не оказалось. К счастию, и из обитателей дома никто не пострадал.

Возьму еще эпизод, который чуть не кончился для нас трагически... Громадная толпа, состоявшая главным образом из солдат, частью вооруженных, частью уже растерявших свое оружие, под предводительством какого-то студента, казавшегося совершенно безумным, осадила как-то комиссариат, требуя, чтобы мы дали ей оружие. Надо сказать, что комиссариат уже начал в это время понемногу собирать оружие, которое нам нужно было для вооружения нашей милиции, да и независимо от этого хотелось уменьшить количество его в публике, нередко совершенно неумевшей обращаться с ним. В самом комиссариате оружия в этот момент было очень немного, но имелись, чего раньше я и не знал даже, в довольно большом количестве бомбы, найденные где-то сотрудниками комиссариата. Дать оружие толпе мы, конечно, отказались. Тогда она решила отобрать его у нас силой. Наша стража еле сдерживала напор и в конце концов, несомненно, не выдержала бы. Позвали меня.

Объясняться со всей осаждавшей нас толпой было, конечно, немыслимо. Я предложил, чтобы несколько человек из нее вошли к нам для переговоров. Сначала ни за что не хотели, но затем студент с несколькими вооруженными товарищами согласился войти за перегородку, которой успели забаррикадировать вход в комиссариат. Пройти дальше он отказался, и мне пришлось тут же, в густой толпе публики, осажденной вместе с нами в комиссариате, и на глазах осаждавшей нас толпы вступить с ним в объяснения. Я не съумел взять надлежащего тона и к тому же во время разговора сделал какое-то неловкое движение,—не то взял студента за руку, не то положил руку на его плечо,—уже не помню.

— Товарищи!—завопил он.—Ко мне! меня арестовать хотят!..

Моментально защелкали взводы у ружей и револьверов и сразу несколько дул было направлено в мою голову. Многие из окружающих—как они рассказывали потом—считали мою гибель неизбежной. К счастию, на выручку ко мне подоспел т. Шах, самый деятельный из моих помощников. Он съумел сразу же привлечь к себе внимание, а я стушевался и мог отойти в сторону. Начатые мною объяснения т. Шах съумел благополучно довести до конца и убедил студента поискать в другом месте нужное ему оружие и не трогать наш комиссариат, выполняющий такое же, как и он, революционное дело. Студент куда то увел свою толпу, и дальнейшие ее подвиги мне неизвестны. Мы же все потом долго не могли успокоиться. Ведь если бы толпа ворвалась в комиссариат и в поисках оружия наткнулась бы на бомбы, то, пожалуй, от комиссариата остались бы одни щепки.

5. Преступные элементы.

Сделавшись комиссаром, я поинтересовался, конечно, узнать, что с охранкой. Мне сказали, что она разгромлена и даже сожжена. Я перестал о ней и думать. Но спустя несколько дней вдруг узнаю, что в помещении охранки остались какие то бумаги, которые понемногу растаскивает публика. Я попросил прапорщика, который сообщил мне это, взять нескольких солдат и съездить туда, чтобы поставить там стражу, если действительно какие нибудь бумаги уцелели. Через полчаса он уже вернулся и привез в качестве образчиков найденных им бумаг три листа со списками провокаторов. Я назначил его комендантом охранки, и он уже помимо меня вступил в сношение с Горьким, которому был поручен разбор архивов политической полиции и который принял в свое ведение бумаги охранки. Привезенные же прапорщиком листки остались у меня.

Возвратившись как то сравнительно рано домой, я застал у сына и племянника в гостях компанию молодежи, главным образом, студентов. В разговоре за чаем я сказал, что могу им показать списки провокаторов, какие велись в охранке. Это всех, конечно, заинтересовало. Когда же стали рассматривать самые списки, то сразу послышались изумленные восклицания. В этих списках студенты университета нашли троих своих товарищей. Это сразу объяснило им случившийся за год перед тем провал одной организации, когда некоторые из них были арестованы. Начали припоми-

нать, где же теперь эти провокаторы. Один вовсе исчез из вида, другой находился где-то на Кавказском фронте в качестве служащего земского или городского союза, а третий, говорят, здесь, работает в Таврическом дворце, состоит адъютантом у Гучкова,—не далее, как вчера его видели.

На следующий день я заехал к Керенскому, который был тогда министром юстиции, и, не застав его дома, оставил ему оказавшиеся в моих руках списки провокаторов при записочке, что такой-то, по имеющимся у меня сведениям, состоит при Гучкове. Через несколько дней, как я узнал, он был разыскан и арестован в военном отделе Комитета Гос. Думы.

Были, несомненно, „примазавшиеся" и в нашем комиссариате.

Но наибольшее количество „примазавшихся" к революции орудовало, конечно, вне связи с революционными властями. Превратившись в революционеров, воры и мошенники усердно занялись, в частности, обысками. Особенно многочисленны последние были в первые две ночи, когда никто не мог себя считать от них гарантированным,—тем более, что граждане до охраны домов и квартир собственными силами еще не додумались. Возбужденные солдаты группами и даже толпами врывались в квартиры, отыскивая спрятанные будто-бы Протопоповым повсюду пулеметы или стрелявших якобы из окон людей, а то и просто контрреволюционеров. К ним то и „примазывались", а иногда и натравливали их воры, грабители и всякие другие проходимцы.

Воры и грабители очень скоро осмелели и начали уже самостоятельно производить „обыски". Наш комиссариат накрыл как-то занимавшуюся этим шайку, которая состояла из семи человек, одетых в солдатскую форму, и имела даже общую квартиру. Захватить удалось только двоих из них, на квартире же было найдено до десятка ружей, свыше 60 очищенных кошельков и бумажников и много ценных вещей.

Обыватели сначала чувствовали себя совершенно беспомощными, а затем все больше и больше обращались в комиссариат за защитой. Товарищи добыли где-то броневик, и уже с ним отправлялись в ночные экспедиции для водворения порядка. Иначе ведь легко можно было наткнуться на вооруженный отпор.

Думаю, что обстановка, в которой нам пришлось действовать, охарактеризована уже достаточно, и я могу перейти теперь к делу, которое в этой обстановке предстояло нам выполнить.

6. Водворение свободы [1]).

Как было уже упомянуто, я объявил гражданам Петроградской стороны, что моя задача—водворить свободу и установить народную власть. Мне нечего говорить, как увлекала меня эта задача. Народная воля—в обоих значениях этого великого слова: и в смысле народной свободы и в смысле народной власти—была ведь мечтой моей жизни. И я был безмерно счастлив, что не только дожил до воплощения ее в России, но и буду лично участвовать в восстановлении основанного на ней строя, хотя бы и в небольшом уголке. Но я понимал, что это—не легкая задача. То, что я видел за последние сутки, еще больше убедило меня в этом и заронило в мое сердце тревогу. Однако, я никак не представлял себе, что задача будет такой трудной и что, в конце концов, для данного момента она окажется неразрешимой.

Я говорю: неразрешимой,—имея в виду, что она осталась неразрешенной не только на Петроградской стороне, но и в других местах,—во всей России. Многие склонны видеть причину этого в лицах, которые взялись за ее разрешение. Я никогда не отрицал значения личности в истории, но думаю, что в данном случае дело не в лицах, а в объективных условиях, во всяком случае,—не столько в „героях", сколько в „толпе", которая в данный момент определяла ход событий. „Герои" ведь не могут итти, куда она не хочет, а если все-таки идут, то перестают быть „героями" [2]).

Какова была „толпа" даже в Петрограде, это лучше всего видно из ее отношения к свободе. С этого я и начну.

Выше я упомянул, что наряду с отделами нами была учреждена „судебная комиссия".

Не успели мы открыть комиссариат, как к нам уже повели арестованных. Наша комиссия еще не сформировалась, и мне пришлось самому, не отходя от столика, на котором я только что писал объявление, разобрать три дела. Двое из арестованных оказались городовыми. Оба уже сняли форму, но одного толпа опознала на улице, а другого разы-

---

[1]) Характерный заголовок. По мнению „социалистов" пешехоновского толка свобода не добывается революционной борьбой, а „водворяется" (а то и просто „даруется") начальством при помощи соответствующих административных мероприятий. *Ред.*

[2]) Это именно случилось в революции с меньшевиками и эс-эрами, которых, как и Пешехонова, при виде даже самой безобидной „толпы" неизменно „охватывала тревога". *Ред.*

скала в его квартире. Арестовывать бывших городовых я считал совершенно бесцельным и решил их освободить, отобрав подписки, что они ни в коем случае не будут исполнять приказаний прежнего своего начальства и немедленно сдадут оружие, если таковое у них еще имеется. Третий арестованный обвинялся в том, что он осуждает революцию. Задерживать этого не было уже ровно никаких оснований... Если он даже сказал фразу, которую ему приписывали и которую он отрицал, то это ведь его право. Иначе, какая же это будет свобода?

Но на толпу, которая уже заполнила комиссариат, мои приговоры производили, видимо, неблагоприятное впечатление [1]). Я вынужден был держаться преднамеренно резкого тона в своем обращении с обвиняемыми и не жалеть самых резких квалификаций по адресу старых властей и самых жестоких угроз по адресу тех, кто осмелится противиться революции. Только таким путем мне удалось при этой первой встрече с толпой поддержать свой авторитет, как представителя революционной власти. Иначе меня самого, вероятно, заподозрили бы, как контр-революционера. А арестованных все вели и вели... На следующее утро, чтобы разгрузить комиссариат, мы вынуждены были перенести нашу судебную комиссию в другое помещение. В ней с утра до вечера работало посменно до 20 юристов, и они едва успевали справляться с делом.

Была прямо какая-то эпидемия самочинных арестов. Особенно памятен мне один день, когда казалось, что все граждане переарестуют друг друга. Временное Правительство еще не было объявлено, и Думский Комитет только что назначил своих комиссаров по министерствам, при чем это распоряжение подписал Родзянко. Получилось такое впечатление, как будто он является главой новой власти. Это вызвало большую смуту в умах и оживленные дебаты на улицах. Когда я зашел в помещение нашей судебной комиссии, там было целое столпотворение. Протискавшись к столу одного из товарищей, который разбирал дела, я прислушался.

— За что вы их арестовали?—спрашивал он тех, которые привели арестованных.

— Да они против Родзянка...

Следующее дело начинается тем же вопросом:

— Почему вы их арестовали?

— Да они за Родзянка...

---

[1]) Первая размолвка между соглашательским „героем“ и революционной „толпой“, которая обнаружила гораздо более правильное понимание пути к свободе, чем „карась — идеалист“ Пешехонов. *Ред.*

И обстановка обоих дел одна и та же: сошлись на улице и заспорили, а потом более сильная сторона арестовала более слабую. В одном случае сильнее оказались сторонники Родзянка, а в другом—его противники. Если одни сами захватывали и тащили в комиссариат своих политических противников, то другие ждали этого от комиссариата. Нас прямо осаждали с требованиями обысков и арестов. Не менее того донимали нас доносчики. Стоишь, бывало, к толпе, а кто-то тащит тебя в сторону и шепчет, что такой-то поп сказал контр-революционную проповедь. Другой самовольно вручает список квартир, в которых, по собранным им сведениям, имеются спекулятивные запасы; третий многозначительно сует в руки бумагу, в которой, как оказывается, подробно изложено, что секретарь такого-то учреждения, собрав в одну комнату некоторых служащих и закрыв дверь, имел с ними несомненно контр-революционное совещание. Иногда, возвратившись ночью домой, я набирал в своих карманах целую пачку таких доносов.

Во всем этом, несомненно, сказывался неостывший еще, а у многих и запоздавший азарт борьбы. Хотелось принять в ней участие, внести свою долю в общую победу, захватить в плен хотя бы одного противника. Еще большую роль играл страх перед контр-революцией. Но многие просто не понимали, что такое свобода. Некоторые так ведь и говорили:

— То была их воля, они нас сажали в кутузки, а теперь наша воля, мы—их...

Если многие, с одной стороны, воспринимали свободу, как своеволие и самоуправство, то, с другой стороны, прямо не умели и не решались ею пользоваться. Полиция приучила, что на все требуются разрешения, и к нам шли за ними. „Оно, конечно, свобода, а все как-то сомнительно". Нередко просили разрешить даже то, на что никогда запрета не было. Является, например, женщина и просит разрешить ей перевезти дрова на другую квартиру.

— Пожалуйста... Кто же вам препятствует?!

Но она добивается непременно письменного разрешения. Меня уже берет сомнение, не чужие ли дрова она увезти хочет. Прошу одного из товарищей сходить и посмотреть на месте, в чем дело. Оказывается,—все в порядке. Но она боится, видите ли, что новыя власти реквизируют ее дрова по дороге.

Нередко нам приходилось разрешать таким образом вопросы, совсем не входившие, казалось бы, в нашу компетенцию. Вижу, например, как-то в окружающей меня толпе священника,—оказывается, приехал из Финляндии.

— В чем дело, батюшка?

— Не знаю,—говорит,—как быть: поминать ли царя и царскую фамилию на ектениях, или не надо? Как будто по теперешним обстоятельствам не следует, но и пропускать боязно... А от начальства нет никакого распоряжения. Приехал сюда, а тут и начальства не найду. Указали вот на вас... как вы скажете?

Обыватели чувствовали себя тем более неуверенно, что грани нового, как я сказал, не были еще изведаны: что можно? чего нельзя?—никто не знал толком. Случилось, что я и сам попадал впросак... Приходит как то женщина, уже не молодая, очень скромно одетая, и просит ей выдать пропуск в Таврический дворец. Такого права у нас не было, но мы давали какие то бумажки, и там они обыкновенно действовали. Спрашиваю: зачем ей туда надобно? Говорит: за разрешением на газету...

— Теперь свобода, гражданка! Можете без разрешения издавать газету.

— Нет, — говорит, — требуют разрешения... В газетах было, что нужно от Совета.

Как так? Газеты мне читать совершенно не удавалось. Обращаюсь к товарищам,—говорят, что действительно такое распоряжение было. Это меня задело и, распорядившись, чтобы женщине выдали пропуск, я немедленно отправился в Таврический дворец. Вхожу в Исполнительный Комитет Совета,—как всегда, идет заседание. Я тоже присел, но мне не сидится. Обращаюсь к одному из соседей и говорю:

— Как бы мне получить разрешение на издание „Русского Богатства"?

— А это мы сейчас вам устроим...—Он взял со стола бумажку (оказывается, и печатные бланки уже имеются), вписал название журнала, подписался за секретаря и дал кому то подписать за председателя. — Извольте!..

Ну, думаю, если так, то надо получить с подписью Чхеидзе,—авось потом для революционного архива пригодится. Я взял другой бланк, вписал в него другое название нашего журнала — „Русские Записки",—попросил еще кого то подписать за секретаря и подхожу к председателю:

— Николай Семенович, подпишите...

Он взглянул и, ни слова не говоря, подписал,—очевидно, дело для него обычное... Дождавшись перерыва, я скандал поднял.

— Что же это, говорю, вы нас и завоеваний 1905 года хотите лишить?! Даже царская власть не решалась после него восстановить разрешительный порядок для периодических изданий, а вы восстановили?

— Ничего,—говорят,—не поделаешь... Низы требуют. Какая же, говорят, это революция, если „Новое Время“ по-прежнему выходит...

Но оказалось, что в самом Исполнительном Комитете имелось по этому поводу разногласие, и распоряжение вслед затем было отменено.

6. Установление власти.

С неменьшими трудностями пришлось встретиться при установлении власти. О том, как я устанавливал „народную“ власть и какие при этом получились результаты, расскажу дальше. Но прежде всего мне предстояло ведь утвердить свою собственную власть.

Когда я объявил о ней, то как будто все сразу ее признали,—во всяком случае, никто ее не оспаривал. Но из предыдущего читателям, конечно, ясно, что вся полнота власти находилась, в сущности, в руках толпы. Она осуществляла ее в форме самоуправства, при чем многие, несомненно, были убеждены, что это и есть настоящая народная власть. Чуть не все наши усилия на первых порах мы должны были направить на ограждение граждан от проявлений этой власти и на ликвидацию неурядиц, какие производила она.

Кроме отыскивания и ареста противников революции, толпа особенно охотно занималась реквизициями. Она достаточно уже настрадалась от продовольственных неурядиц и, естественно, старалась, прежде всего, это дело упорядочить,—конечно, по-своему. Возможно, что некоторую роль в этом случае играла и провокация людей, которые рассчитывали кое-чем при этом поживиться. Так или иначе, но то и дело толпа, отыскав какой-либо „спекулятивный склад“, немедленно его реквизировала, т.-е. сваливала найденные продукты на подводы и тащила к нам, в комиссариат. Конечно, такие реквизиции не обходились без сильной утечки в продуктах [1]). Я уже не говорю о том, что признаки, на основании которых толпа признавала тот или иной склад спекулятивным, нередко были совершенно фантастическими.

Доставлявшиеся нам продукты мы начали было сваливать в самом комиссариате, но скоро убедились, что этак мы весь загромоздим его. Когда были „реквизированы“ же-

[1]) Пешехонов и здесь не может обойтись без того, чтобы не лягнуть „толпу“. Интересно, что он не только не приводит никаких фактов хищений, но, наоборот, признаваясь, что реквизированное всегда доставлялось в комиссариат, сам же устанавливает бескорыстность реквизиций. *Ред.*

лезнодорожные запасы, о чем я расскажу сейчас, то мы решили устроить свой склад в находившемся неподалеку „Спортинг-Паласе“, громадное здание которого в эту зиму пустовало.

Особенно много беспокойства причинили мне спиртные напитки (а толпа наиболее охотно отыскивала и реквизировала именно винные склады). Сначала мы начали было сваливать их тоже в комиссариате, но сразу же явилось опасение, что таким путем мы подведем и его под „реквизицию“,—очень уж соблазнительны были бы для толпы и особенно для охотников выпить значительные запасы спиртных напитков в одном и притом таком доступном месте. Кроме того, нельзя было положиться и на публику, которая постоянно толпилась в комиссариате, да и на солдат, которые были поставлены около продуктов в качестве стражи. Не зная, что делать, я как-то даже отправил несколько подвод с винами в находившуюся по соседству с комиссариатом Петропавловскую больницу, предписав ее администрации принять их на хранение. Больницу-то—рассчитывал я — авось, громить не станут. Потом мы вошли в соглашение с одной из общественных организаций—помнится, с Союзом городов — и стали передавать вина в ее склады.

Приемом, хранением и затем расходованием оказавшихся в распоряжении комиссариата продуктов заведывал наш продовольственный отдел. Это и было одно из тех, совершенно непредусмотренных нами в начале дел, которыми ему пришлось заниматься.

Само собой понятно, что мы считали своим долгом предупреждать и останавливать самовольные „реквизиции“, но это редко удавалось. Пока до нас дойдут сведения, что там-то громят склад, и мы явимся туда, толпа, обыкновенно, уже кончала дело, а иногда и совершенно неожиданно для нас являлась к комиссариату с рекзизированными продуктами.

Для иллюстрации приведу такой случай. На Карповке у одной из вновь строившихся железных дорог имелись большие продовольственные запасы. На другой же день после того, как я объявил о своей власти, ко мне явился заведующий этим складом, принес книги и предложил принять находившиеся в его ведении запасы. Я назначил его же заведующим этим складом, в чем и выдал ему удостоверение, предписав вместе с тем никому не выдавать продуктов без моего письменного разрешения. По соглашению с ним мы решили также поставить около склада своих часовых. Спустя день или два нам вдруг сообщают, что громадная толпа сбила наших часовых и громит склад. Мы

наскоро собрали свои небольшие вооруженные силы, вызвали даже имевшийся в нашем распоряжении броневик и бросились туда, но опоздали: толпа, нагрузив продукты на грузовики и конные подводы (тоже, вероятно, „реквизированные" ею на улице) с торжеством везла их к комиссариату.

Самоуправство толпы постепенно начало ослабевать. Решающую роль в этом отношении, как можно думать, сыграло появление на улицах милиции, которую, хотя и с грехом пополам, нам удалось кое-как создать. Но возможно, что толпа и сама по себе начала остывать. Так или иначе, но этот самый сильный и опасный претендент на власть, видимо, слабел. И мы уже более спокойно могли заниматься своим делом, постепенно совершенствуя свою организацию.

Но были и другие претенденты, с которыми мне все время пришлось вести борьбу.

В самом начале я упомянул о гектографированном воззвании, которое было разбросано по улицам вечером 27 февраля и в котором Совет Р. Д. просил граждан приютить и накормить солдат. Этот листочек вызвал самый горячий отклик в публике. Тут же на улице начались сборы денег и стали складываться организации для устройства чайных, тут же отыскивали для них помещения, добывали необходимую утварь, продукты и т. д. [1]). В эту же ночь Петроградская сторона покрылась целою сетью таких чайных, в которых солдат и других революционеров кормили и поили чаем, а в некоторых они и уснуть могли. Эти чайные продолжали функционировать и в дальнейшие дни. Содержались они за счет добровольных пожертвований, для чего около каждой почти чайной на тротуаре стоял столик, на который жертвователи и клали деньги. По этим столикам и можно было узнать, где находятся чайные. В деньгах не только не было недостатка, но был даже избыток.

Сделавшись комиссаром, я признал необходимым подчинить эти чайные некоторому контролю и предложил им зарегистрироваться в комиссариате, объявил вместе с тем, что буду выдавать продукты тем из них, которыя обяжутся доставлять в комиссариат свои отчеты. Почти все чайные зарегистрировались, а некоторые ежедневно присылали нам отчеты и даже сдавали нам на ночь свои кассы. Заведывал чайными наш продовольственный отдел.

С течением времени нужда в чайных стала слабеть, и они начали закрываться. А затем я предложил закрыть и

[1]) Тоже один из видов ненавистного Пешехонову „самоуправства" „толпы". *Ред.*

остальные, когда выяснилось, что они сделались базами для бродяжничающих и не желающих вернуться в свои части солдат.

Несколько больше хлопот причинили мне самочинные организации, пытавшиеся взять в свои руки власть... Так, на Петроградской стороне, как вскоре же мне стало известно, имелся другой комиссариат, возникший чуть ли не раньше моего появления здесь. Он имел пребывание в здании Городской управы на Кронверкском проспекте. Происхождение его, как мне передавали, было таково: собравшийся 28 февраля кружок интеллигентов, видя воцарившееся вокруг безначалие и понимая, как оно опасно, решил взять в свои руки власть на Петроградской стороне. Но фактически он занялся только продовольственным делом, некоторые нити которого, поскольку оно находилось ранее в ведении городского управления, действительно оказались у него в руках. Как претедент на власть, этот комиссариат мне представлялся совершенно не опасным, и я несколько дней оставлял его в покое, а затем вступил в переговоры и предложил людям, работавшим в нем, войти в состав моих сотрудников. Они сначала было заартачились, отстаивая свой приоритет, но потом уступили. Несколько лиц из них я включил в состав своего совета, членами которого, кроме депутатов от рабочих, считались и мои ближайшие помощники.

Другой самостоятельный и не признававший моей власти комиссариат возник на Крестовском острове. Я ничего не имел бы против, если бы этот остров даже отделился от Петроградской стороны, — район моего комиссариата и без него был достаточно обширен. Но по дошедшим до меня слухам Крестовский комитет чересчур уж своевольничал, производил реквизиции, притеснял местных торговцев и т. д. Имея это в виду, я потребовал, чтобы члены комитета явились ко мне. На совещании с ними выяснилось, что они избраны на собрании местных граждан; в общем это была совершенно приличная публика и только в продовольственном отношении практиковала меры, которые я никак не мог допустить. Мы поладили на том, что Крестовский комитет останется в качестве подсобной для нашего комиссариата организации и, в частности, в продовольственном деле будет проводить нашу политику; со своей стороны я включил двух представителей комитета в свой совет.

Я не мог также не обратить внимания, что вне всякой связи с нашим комиссариатом создается какая-то общая для всей Петроградской стороны организация под названием „гражданских комитетов", — притом, организация выборная. Создавалась она таким путем: вся Петроградская сторона

была разделена кем-то на 16 или 18 районов, в каждом районе назначалось собрание, на которое объявлениями приглашались все проживающие в этом районе граждане и гражданки старше 20-летняго возраста, на этих собраниях производились выборы районных гражданских комитетов, которые затем должны были составить общую организацию. Я поинтересовался узнать, кто начал и руководит этим делом. Оказалось, что в центре стоит кружок местной интеллигенции, до известной степени мне знакомой. Приблизительно такого же состава кружок под флагом „прогрессивно-демократической" группы вел избирательную кампанию при последних выборах в до-революционную городскую Думу, и я в нем участвовал. Ввиду этого я решил ожидать, когда сложится организация «гражданских комитетов» уверенный, что в случае надобности я с нею столкуюсь. Но к этой организации я еще вернусь.

Между тем, на Петроградской стороне начали появляться власти, назначаемые сверху. Они появлялись для меня совершенно неожиданно, и узнавал я о них случайно.

Так, однажды ко мне поступил донос, что управляющий домом страхового общества „Россия" на Каменноостровском проспекте собирает сведения, кто из жильцов имеет оружие, и что им розданы с этою целью особые листки, которые должны заполнить квартиранты. В доносе, конечно, высказывалось предположение, что это делается с контрреволюционною целью. Дом, о котором шла в данном случае речь, очень большой, с барскими квартирами, населен очень состоятельными людьми. Поведение управляющего и мне показалось странным. Я решил расследовать дело на месте.

Управляющий подтвердил, что листки им действительно розданы, но это — не по его инициативе, а по распоряжению коменданта Петроградской стороны, который квартирует в их доме. Я сказал, что такого не знаю и пожелал увидеть его лично. К моему удивлению, это был подлинный комендант, назначенный не то военным министром, не то военным отделом Комитета Гос. Думы, офицер гренадерского полка, князь. Оказалось, что он уже дня три или четыре комендантствует, но за это время только и успел сделать, что раздать через управляющего какие-то листки в своем доме. Я заявил ему, что двоевластия я ни в коем случае на Петроградской стороне не допущу, что я готов признать его комендантом, но лишь в том случае, если комендатура будет при моем комиссариате, и он будет работать в постоянном контакте со мною. Он согласился, — думаю даже, что с радостью, так как, видимо, совершенно не знал, как взяться за дело. Сначала мы относились к нему с опаской,

не зная, что это за человек. Но потом сжились. Для коменданта он был, конечно, недостаточно энергичен, и, как человек, не без слабостей. Возможно, что он несколько упорядочил нашу военную часть. У нас появились „наряды", „постовые ведомости" и т. д., которых я не замечал раньше. Но дальше этого его инициатива, повидимому, не шла. Во всяком случае, единство власти было на этот раз сохранено.

Но подчинить себе начальника милиции, когда таковой появился на Петроградской стороне, мне не удалось... Как я упомянул, нами была уже создана милиция. Похвалиться ею мы, конечно, не могли. Это были добровольцы, несшие службу совершенно безвозмездно, недостаточно дисциплинированные и к делу совершенно непривычные. Да и в самой организации нашей милиции — на мой взгляд — было много неправильного. В частности, товарищ, заведывавший ею, социал-демократ, все время стремился придать ей классово-рабочий, а может быть, даже и партийный характер. Я не раз говорил ему о недопустимости такой постановки, но войти самому в дело и посмотреть, насколько проводятся мои указания, мне никак не удавалось. Кое-как мы при помощи нашей милиции все-таки справлялись с делом и как будто без особого ущерба для безопасности граждан. Во всяком случае, у нашей милиции было одно достоинство: это — достаточно высокий моральный ее уровень. Совершенно недоброкачественных элементов в ней, нужно думать, было очень немного[1]).

Между тем, вопрос об организации милиции встал и перед высшими властями. По этому поводу было созвано как-то совещание, в котором принимал участие и наш представитель. Он, конечно, сообщил, что у нас уже есть милиция и какова она. Я был уверен, что организацию милиции на общих основаниях поручат на Петроградской стороне нам и что во всяком случае хотя часть ее останется в нашем ведении. Иначе ведь комиссариат оказался бы не в состоянии выполнять многие свои функции. Но нас совершенно игнорировали... Вдруг узнаю, что на улицах, кроме нашей, появилась и еще какая-то милиция. Начались недоразумения, и дело легко могло дойти до столкновений. Я поручил товарищу, заведывавшему нашей милицией и все время работавшему над ее организацией, немедленно разыскать штаб этой новой милиции и вступить в переговоры. Я не сомневался, что он всемерно будет отстаивать права комиссариата и даже побаивался, как-бы из-за его неуступчивости у нас не получился конфликт с высшими властями

---

[1]) Ценное признание со стороны противника „классово-рабочей" милиции. *Ред.*

и, главное, как бы не затянулось милицейское двоевластие. Но на следующий день он сообщил мне, что дело улажено, соглашение достигнуто и обе милиции будут объединены. Я успокоился. Но подробностей этого соглашения он мне не рассказал или я их не помню. Вообще, дальнейшее совершенно не сохранилось в моей памяти. Это было уже к самому концу существования комиссариата, и возможно, что вопрос о милиции получил окончательное разрешение уже после его ликвидации. Но у меня почему-то осталось впечатление, что милиция, а вместе с нею и существенная доля собранной мною власти в последний момент из моих рук выскользнули.

Из сказанного ясно, насколько слаба в то время была связь между высшими и низшими органами власти,—между теми, которые устанавливались вверху или сверху и теми, которые строились внизу. Правильнее, быть может, будет сказать, что никакой связи не было. Вверху даже не знали, что имеются какие-то местные органы власти, а если и знали, то не представляли себе, что это за органы, даже не пытались руководить ими и никогда почти не обращались за содействием к ним. А если в таковом была надобность, то беспомощно опускали руки и в дальнейшем все надежды возлагали на аппарат, который они построят сверху. А эта постройка шла крайне медленно. Если же со своими органами центральная власть и спускалась в некоторых случаях донизу, то они или вклинивались в местную жизнь и разваливали то, что уже сложилось, или же, что бывало чаще, не найдя, за что уцепиться, оказывались совершенно беспомощными, как тот комендант, которого, к его удовольствию, я аннексировал.

Во всяком случае, мы в комиссариате чувствовали полную оторванность. Когда я являлся в центральные учреждения — даже в такие, в которых не раз приходилось бывать, — то меня всякий раз встречали с недоумением. И если мне удавалось добиваться надлежащего внимания, то чаще всего последнее оказывалось мне лично, а не как органу местной власти. В комиссариате никаких указаний, распоряжений и даже запросов от высших властей мы не получали. Раза два обращались оттуда к нам за содействием, но это были совершенно случайные эпизоды. Надо сказать, что и мы, с своей стороны, ни за какими руководящими указаниями к высшим властям не обращались. Все вопросы решались по собственному разумению. Это объяснялось до известной степени тем, что решать их нужно было немедленно. Но не только этим. Еще чем? — не знаю. Может быть, тем, что у нас мало было надежды, что нужные указания мы действительно получим. Во всяком случае, — не тем,

что мы предпочитали своевольничать. Напротив, мы были одушевлены желанием поддержать складывавшиеся над нами власти, итти с ними в ногу. Да и сами мы в очень многих случаях несравненно лучше себя чувствовали бы, если бы мы могли опереться на закон, на циркуляр, на распоряжение высшей власти. Мы чувствовали бы себя тогда сильнее, увереннее...

Даже с ближайшею к нам властью у нас никаких связей не было. Временное Правительство в один из первых же дней, как приняло власть, назначило для Петрограда общественного градоначальника в лице проф. Юревича (медика). Но мы на Петроградской стороне ни разу ни в чем не ощутили, что эта власть появилась, что она существует. И сами к ней не тянулись. Мне не раз приходило в голову, что надо бы съездить, представиться, но все не до того было, пока нужда к этому не принудила.

А нужда была такая. Весь комиссариат наш, не исключая, как я упомянул, милиции, держался на бесплатном труде. Между тем, он выполнял уже громадную работу,— в известной части очень ответственную, в других, — может быть, мелочную, но для населения необходимую. Для характеристики этой последней работы достаточно сказать, что без наших разрешений попы не хоронили мертвых; если мы не удостоверяли подпись, почта не выдавала денег и т. д. Со всякою малостью обыватели шли к нам, — да больше и пойти ведь было некуда. Между тем, время шло, и рассчитывать на бесплатный труд становилось все труднее. Сотрудники начали покидать комиссариат, возвращаясь к своим обычным занятиям, — иначе ведь многим из них прямо есть было нечего. Необходимо было переходить к платному труду, а для этого нужны были деньги. Вводить налоги и сборы мы, в качестве временной власти, считали себя не вправе. Оставалось одно — обратиться к Временному Правительству, и для этого следовало, конечно, итти через градоначальство.

Я туда и отправился. Для Юревича было совершенною новостью, что существуют какие-то комиссариаты. Он очень заинтересовался моею информацией и, видимо, был рад, что нашлись органы, на которые он может опереться. А то ведь он висел прямо в воздухе. Им было обещано, что в наше распоряжение будут переданы суммы, назначенные на содержание полицейских участков, — других кредитов, по его словам, в его распоряжении не было. На этом мы и расстались, выразив надежду, что в дальнейшем будем держаться друг друга. Спустя несколько дней я получил телеграмму, которой градоначальство требовало сообщить ему, сколько письмоводителей, паспортистов, регистраторов и

других служащих прежних полицейских участков находится теперь на службе в комиссариате. Для них то, очевидно, и решили отпустить нам деньги... Господи! неужели же они там до сих пор не знают, что полицейские участки в первую же ночь были разгромлены, и все их служащие не только разбежались, но и попрятались?!. А они им — и только им — хотят платить жалованье!

Этим наши сношения с градоначальством и ограничились... А через несколько дней, как я уже сказал, совершенно неожиданно на улицах появилась конкурирующая с нашей милиция, на содержание которой, вероятно, и пошли полицейские кредиты.

Отсутствие надлежащей связи между различными ступенями складывавшейся власти сыграло, по моему мнению, очень важную роль и явилось одной из причин, почему эта власть ни вверху, ни внизу не смогла утвердиться. Центральная власть при этих условиях оставалась без опоры и не могла даже проявлять себя на местах. Местные власти, не получая поддержки, оказывались не в силах противостоять напиравшему на них самоуправству и своевольству.

А установить связь было трудно и, пожалуй, невозможно, — прежде всего, уже потому, что местные органы, складывавшиеся почти совершенно самочинно, были крайне разнообразны и по своему составу, и по своей компетенции, и по своей влиятельности. Взять хотя бы петроградские комиссариаты, — они даже не во всех частях города имелись и притом были далеко не однородны. Например, комиссариат Выборгской стороны, оказавшийся в руках у рабочих, был, в сущности, исполнительным органом местного совета р. д. Это была власть энергичная, предприимчивая, но уже классового характера. Не знаю, как по своему составу, но по своим приемам она была уже тогда большевистской. Были, с другой стороны, комиссариаты, которые находились всецело в руках интеллигенции и которые представляли из себя совершенно невидные и никому почти неизвестные учреждения. Все время, можно сказать, они просидели в четырех стенах, так и не выйдя на улицу. Если в этих частях города и была какая-либо власть, то таковой скорее являлись местные советы р. д. В провинции царило еще большее разнообразие. Опираться на крайне разнородные и иногда совершенно неизвестные органы, руководить ими и даже просто сноситься с ними центральной власти было, конечно, трудно и едва ли даже возможно.

Мне кажется, — да и тогда казалось, — что наиболее надежный путь для организации местной власти при данных условиях был таков: Временное Правительство должно было немедленно декретировать организационные начала для

нее, установить нормы ее деятельности, преподать ей инструкции, — на основе этого материала местные люди и могли бы действовать. Конечно, не везде и не сразу этот материал был бы усвоен, — пришлось бы, вероятно, прибегнуть еще к посылке эмиссаров-организаторов. Но никаких общих указаний сразу же дано не было, — и неизбежно, конечно, началось местное творчество.

Прибавлю, что у масс в связи с революцией имелась лишь одна организационная идея, унаследованная еще от 1905 года, это — советы. Таковые всюду и возникли. Временное Правительство не считало возможным опираться на эти, хотя и однотипныя, но классовые организации. Но ими именно и воспользовались большевики, чтобы осуществить свою диктатуру.

7. Организация самоуправления.

При установлении власти мне пришлось, таким образом, направить свои усилия, прежде всего, на то, чтобы смягчить проявления воцарившегося в народе самоуправства и своеволия, а затем ограничить их и положить им конец. Наряду с этим я стремился предупредить расхищение революционной власти самозванными и самочинными организациями и раздробление ее между независимыми друг от друга органами. В том и другом направлениях задача, можно сказать, мною была выполнена.

Самоуправство и своеволие, как я уже упоминал, пошли на убыль и затем сошли почти на-нет. Это произошло, главным образом, в силу естественного успокоения населения. Но известную роль, несомненно, сыграл и самый факт появления какой-то власти, особенно когда эта власть в виде милиции показалась на улицах. Имели свое значение, как я думаю, и принимавшиеся нами меры, — вплоть до выездов нашего броневика на места происшествий в случаях какой-либо тревоги. Так или иначе, но в конце нам приходилось иметь дело уже с отдельными эксцессами, справляться с которыми было сравнительно не трудно.

Решительно устраняя одних претендентов на власть и объединяя с собою других, мне удалось поддержать и единство власти. Очень удачным в этом отношении оказался шаг, сделанный мною в самом начале, — именно, вызов к себе депутатов от рабочих. Таким путем я избавился от наиболее опасного конкурента, каковым мог явиться, как это и было в других частях города, районный совет рабочих депутатов. На Петроградской стороне этот совет оказался состоящим при мне, в качестве совещательного органа.

Итак, власть была установлена и собрана. Не могу, конечно, сказать, чтобы это была сильная и прочная власть. Я ставлю перед собой такой вопрос: решились ли бы мы и в состоянии ли бы мы были, если бы такая задача встала перед нами, выселить комитет большевиков из особняка Кшесинской, который они захватили в первую же ночь и который находился ведь как раз на Петроградской стороне? Может быть, решимость у меня и нашлась бы, но я очень сомневаюсь, чтобы нашлись нужные для этого силы. Вероятно, я не встретил бы поддержки даже в самом комиссариате, среди ближайших своих сотрудников. Захват партийными организациями правительственных, общественных и частных помещений очень широко практиковался в те дни, многие видели в этом революционное право и в моем посягательстве на него, вероятно, была бы усмотрена контрреволюционная затея.

Вообще далеко не всегда и не во всем я мог положиться на созданный нами аппарат. Необходимо было считаться с работавшей в комиссариате публикой, в мнениях и настроениях которой было много общего с тем, чему власть должна была себя противопоставить. В частности, разлитое в народе своеволие было привнесено этой публикой и в работу комиссариата. Это не значит, повторяю, что люди хотели своевольничать, что находили в этом удовольствие. Нет! Каждый желал итти в ногу со всеми и был уверен, что так и идет, а на деле нередко получался разброд. Не малое значение в этом случае имела и революционная сумятица, в условиях которой так трудно, почти невозможно сохранять внимание. Многое ведь прямо не доходило до сознания, а и дойдя, не удерживалось в нем, вытесняемое сейчас же другими впечатлениями, заботами, тревогами, делами, — все неотложными и неотступными. Как бы то ни было, не только общие мои указания, но и конкретные распоряжения нередко оказывались невыполненными.

Таким образом, наша власть не могла похвалиться даже внутреннею сплоченностью и дисциплинированностью. Еще менее прочной являлась она вовне. Ее легко, конечно, — особенно при новом подъеме народных волн — могли опрокинуть снизу. В первые дни не раз ведь бывало, что толпа, казалось, вот-вот снесет нас с лица земли. Если ею сметена была власть, существовавшая 300 лет, то что же ей стоило снести наш комиссариат, пытавшийся обосноваться среди бушующих волн?! Но наша власть не могла считать себя обеспеченной и сверху. Какой-нибудь неосторожно вбиваемый оттуда клин мог отбить значительную часть того, что нами было уже собрано, а то и вовсе развалить всю постройку. К концу существования комиссариата это боль-

ше всего меня и озабочивало. Я не говорю уже о том, что нас могли опрокинуть и со стороны, взорвать и изнутри. Но этих опасностей тогда как будто не было, — во всяком случае мысль о них не приходила даже в голову.

Какая ни на есть, — повторяю, — власть была все-таки установлена. Но в мою задачу входило ведь установление не какой-либо власти, а власти народной, власти самого населения в лице выборных его органов.

Сначала я ожидал и был убежден, что основания для организации такой власти будут немедленно указаны свыше. Из членов Временного Правительства я в те дни встречался иногда только с Шингаревым, и каждый раз я его неуклонно спрашивал, когда же будет опубликован закон о местном самоуправлении. Он неизменно отвечал: разрабатывается. И с каждым разом мне становилось все яснее, что разработан он будет еще не скоро. А пока нужно было, стало быть, самим создавать, хотя бы временные и несовершенные, но выборные органы.

До известной степени выборный орган уже имелся: это — состоявший при мне совет, в который входили депутаты от рабочих и представители еще от некоторых групп населения. Но кроме выборных членов в него входили с правом решающего голоса все „товарищи комиссара", т.-е. ближайшие мои помощники, а с совещательным голосом принимали участие в нем и многие другие сотрудники.

Надо сказать, что этот совет в жизни комиссариата не играл сколько-нибудь видной роли. Собирали мы его обыкновенно в ночное время; заседания начинались с 10—11 часов, не раньше, а до этого времени мы все слишком были заняты. Может быть, поэтому заседания имели довольно вялый, тягучий характер. Все приходили усталые, измученные, и я сам, помню, только через силу мог в них председательствовать. Случалось, что я даже сваливал эту обязанность на кого-либо из своих товарищей. Бывали, правда, и более оживленные заседания, когда разгоралась борьба — не скажу партий, ибо фракций в совете как будто не было, — а мнений. Депутаты от рабочих, за исключением тех, которые непосредственно втянулись в работу комиссариата, держали себя по большей части довольно пассивно. Более активную роль играли товарищи комиссара и сотрудники.

В совет мы старались вносить наиболее общие вопросы, какие вставали перед нами. В частности, через совет предполагали проводить обязательные постановления для граждан, но до них дело не дошло. С постановлениями совета я обыкновенно соглашался или же старался найти компромисс, который в состоянии был бы удовлетворить и меня, и большинство совета. Председательствуя в последнем,

я имел возможность делать это своевременно. Во всяком случае, до конфликта и даже до сколько-нибудь резкого расхождения с советом дело ни разу у меня не доходило.

Но считать свой совет органом народной власти — независимо даже от характера, какой он у нас получил, — я, конечно, не мог. Таковым мог быть только орган, избранный всем населением. Чтобы получить его, я, вероятно, организовал бы выборы, — конечно, далеко не совершенные. Но меня смущало то, что всеобщие выборы были уже произведены при организации „гражданских комитетов". Приглашать население опять на выборы — это значило подрывать доверие его к выбираемым им органам. И кроме того, я легко мог нарваться на обструкцию со стороны тех же «гражданских комитетов».

Но и передать власть этой организации я не решался. Во-первых, в таком случае вовсе не было бы преемственности. Никто из лиц, работавших в комиссариате и участвовавших в создании этой власти, не входил в «гражданские комитеты», да и не мог в них попасть, так как во время выборов мы стояли совершенно в стороне от них. Нам пришлось бы передать дело в руки людей, совершенно с ним незнакомых и не имевших даже того опыта, какой был у нас. С другой стороны, меня смущал и состав гражданских комитетов, — почти исключительно интеллигентский. Рабочих в них было очень мало. Поэтому можно было опасаться, что они не встретят поддержки со стороны этой, очень активной части населения. В частности, мой совет мог воспротивиться передаче власти гражданским комитетам и выступить конкурентом их в качестве уже районного совета рабочих депутатов.

В конце концов я остановился на мысли попытаться объединить обе эти организации. Это предложение я и внес, с одной стороны, в свой совет, с другой — в центральный орган «гражданских комитетов». Там и здесь оно встретило довольно сильное противодействие. Деятели «гражданских комитетов» настаивали, что власть должна принадлежать исключительно их организации, указывая, что избирательные собрания, на которых выбирались комитеты, были организованы на основе всеобщего избирательного права и что рабочие на-ряду со всеми гражданами могли участвовать и участвовали в выборах. Рабочие, с своей стороны, относились к «гражданским комитетам» с явным недоверием и обнаруживали склонность обособиться в своем совете. Но противодействие с той и другой стороны удалось все-таки преодолеть, и соглашение было достигнуто. Было решено созвать общее собрание всех «гражданских комитетов» и совета комиссариата и на этом собрании произвести вы-

боры районной думы, которой комиссариат и передаст свою власть.

Когда это собрание было созвано, то соглашение чуть не лопнуло. Рабочие (правильнее, конечно, будет сказать: руководившие ими с.-д.) неожиданно предъявили требование, чтобы, кроме участия в общих выборах, им было предоставленно дополнительно определенное число (если не изменяет память, десять) мест в организуемой думе, которые они заполнят сами. Им уступили, и районная дума (помнится, в составе 60 человек) была избрана. Это была первая районная дума в Петрограде.

В думе немедленно образовались фракции: две с.-д. (большевиков и меньшевиков), с.-р., н.-с. и к.-д. Преобладали, конечно, социалисты, но и кадеты были представлены довольно сильно.

Предстояло избрать голову и управу. Бесспорным кандидатом в головы был бы я. Но я решительно отказался и не поддался никаким настояниям. С своей стороны, я предложил в головы своего партийного товарища Н. Н. Шнитникова, который довольно долго был гласным Петроградской думы и хорошо знал городское хозяйство. Эта кандидатура была встречена менее охотно, так как далеко не все знали Шнитникова, но положились в конце концов на мою рекомендацию. Уговорил я и его согласиться, хотя он не был членом думы. Он и был избран. Остальная управа, уже не помню, была избрана по соглашению между фракциями или на основе пропорционального представительства. Этой управе я и сдал свою власть, а вместе с тем и весь аппарат комиссариата.

Н. ВОРОНОВИЧ.

Записки председателя Совета Солдатских Депутатов [1]).

Глава I.

Зиму 1916—1917 г. я провел в городе Луге (Петроградской губ.), в должности старшего адъютанта управления Виленского сборного пункта кавалерийских частей и начальника команды своего Конно-Гренадерского полка. На эти тыловые должности я был назначен летом 1916 года, по возвращении с Кавказа, где я лечился от последствий тяжелой контузии, полученной на австрийском фронте.

На 24 февраля 1917 г. было назначено заседание наблюдательного комитета Гвардейского Экономического Общества, членом которого я только что был утвержден. Я решил воспользоваться этим случаем и 23 февраля с вечерним поездом выехал из Луги.

Приехав в Петроград около 9 часов вечера, я был очень удивлен тем тревожным состоянием, которое наблюдалось на вокзале. Трамваи не ходили, извозчиков было очень мало. Мне пришлось пройти порядочный конец пешком, прежде чем посчастливилось встретить плетущегося шагом „Ваньку“. С большим неудовольствием согласился он везти меня на Алексеевскую улицу. Когда я уселся в сани, извозчик, обернувшись ко мне, спросил:

— Вы, барин, видно приезжий?

И на мой утвердительный ответ, стегнув свою кляченку, снова обернулся на облучке и начал рассказывать:

— А у нас, в Питере, неспокойно: забастовка начинается. Сегодня весь день бабы и рабочие бунтуют; хлеба в пекарнях, говорят, не хватило; с этого и началось.

Рассказ извозчика подтвердили мне и мои родственники, к которым я приехал с вокзала, хотя они не придавали событиям особого значения.

— Завтра все будет спокойно,—уверяли они,—так как приняты все меры, чтобы обеспечить пекарни мукой.

---

[1]) „Архив гражданской войны“, вып. II. Берлин. *Ред.*

Я спокойно заснул и, когда на следующий день вышел на улицу, в городе действительно царил полный порядок [1]).

Во втором часу дня я на трамвае доехал до угла Невского и Конюшенной и через десять минут сидел уже в кабинете председателя правления Гвардейского Экономического Общества.

Во время заседания к председателю подошел курьер и доложил, что командующий войсками генерал Хабалов требует к телефону присутствующих на заседании командиров полков.

Через несколько минут генерал Б. вернулся и обратился к нам со следующими словами:

— Ввиду начавшихся в разных местах города серьезных беспорядков и объявления в Петрограде осадного положения [2]), командующий войсками приказал всем начальникам отдельных частей, до ротных командиров включительно, немедленно отправиться к своим частям.

Так как почти все члены комитета являлись начальниками отдельных частей, заседание было прервано, и все мы вышли из здания Экономического Общества.

На улице по прежнему было спокойно, но трамваи опять не ходили. Пришлось снова нанять извозчика, на котором я довольно скоро доехал до Варшавского вокзала. По всем улицам, по которым я проезжал, ничего особенного не наблюдалось. Извозчик таинственно сообщил мне, что на заводах опять началась забастовка, что забастовщики разграбили у Нарвской заставы пекарню и разбили несколько трамвайных вагонов.

Приехав в Лугу, я по обыкновению отправился в свою команду на вечернюю уборку лошадей, после чего зашел в управление пункта.

Я очень удивился, застав там в такой неурочный час наблюдающего за пунктом генерала графа Менгдена. Оказалось, что генерал поджидал меня и хотел узнать новости, так как ему только что сообщили о начавщихся в Петрограде беспорядках. Я рассказал ему все, что видел и слышал. Граф Менгден отнесся к моему рассказу очень спокойно и выразил уверенность, что ничего серьезного не будет. Оба следующих дня прошли у нас в Луге совершенно спокойно. Никаких тревожных сведений из Петро-

---

[1]) В этот день бастовало около 200.000 рабочих, и в городе происходили многочисленные манифестации, разгонявшиеся полицией. *Ред.*

[2]) В этот день, 24 февраля, осадное положение, быть может, лишь предполагалось, но не было объявлено: приказ о нем был отпечатан правительством лишь 27 февраля, но так и не был расклеен, так как к этому моменту правительство фактически уже потеряло власть. *Ред.*

града не поступало, однако столичные газеты также не были получены.

27 февраля, часов около 11 утра, меня попросил по телефону начальник гарнизона доложить генералу Менгдену, что у него через полчаса назначено собрание начальников отдельных частей по очень важному делу. Нетрудно было догадаться, что дело это находится в прямой связи с Петроградскими событиями.

Через полчаса мы с графом Менгденом отправились в Управление воинского начальника, где было назначено собрание. Исполнявший обязанности начальника гарнизона полковник Б. сообщил присутствующим, что им получены из Петрограда крайне тревожные известия. Беспорядки приняли угрожающий характер, происходили столкновения рабочих с полицией и войсками, и были случаи, когда нижние чины отказывались стрелять в толпу. Полковник Б. заявил, что необходимо принять меры предосторожности и что он считает своим долгом испросить распоряжений у старшего в чине генерала Менгдена. Граф Менгден сказал, что у него также имеются кое-какие сведения о происходящем в Петрограде, но что он не придает этим событиям особого значения.

— Я уверен, — заявил он, — в преданности государю императору вверенных мне частей! Я в любой момент с их помощью подавлю здесь всякие беспорядки. Но я, тем не менее, хочу знать о настроении других частей гарнизона и особенно — вашей бригады, генерал Беляев, и автомобильной роты, а также хотел бы выслушать соображения господина исправника.

Генерал Беляев (брат военного министра), артиллерийская бригада которого, предназначенная к отправлению во Францию и только что прибывшая в Лугу, успела уже зарекомендовать себя несколькими скандалами, ответил, что он так же уверен в своих солдатах, как генерал Менгден в своих кавалеристах. Командир автомобильной роты откровенно сознался, что он не уверен в благонадежности своих солдат. То же самое заявил и командир запасного артиллерийского дивизиона.

Присутствавший на собрании исправник сказал, что, так как в Луге нет никаких фабрик и заводов — он ручается за полный порядок в городе, если только его не нарушат войсковые части. В конце концов было принято решение воспретить всякие отпуска и командировки нижних чинов в Петроград, дабы изолировать гарнизон от беспокойной столицы. Кроме того было решено усилить наблюдение за двумя неблагонадежными частями—автомобильной ротой и запасным дивизионом.

Мы вернулись к себе, и весь остальной день прошел в обычной работе. Генерал Менгден приказал мне собрать к 3 часам дня начальников команд и усилить дежурную часть. На мой вопрос, что ему известно о положении в Петрограде, Менгден со спокойной улыбкой ответил, что там никаких особенных перемен не произошло.

Однако я предчувствовал, что события гораздо серьезнее, чем это кажется спокойному графу.

Я боялся, что наша полная оторванность от Петрограда может привести к очень печальным последствиям, и решил во что бы то ни стало быть в курсе событий. Отправившись к себе в команду, я вызвал рядового В. (студента-электротехника, имевшего связи с Петроградскими эс-эрами) и, оставшись с ним с глазу на глаз, предложил ему выехать в Петроград и узнать как следует, что там творится. В. дал мне слово в точности исполнить это поручение и обещал на следующий же день вернуться обратно.

Отправив В., я решил поговорить со своими солдатами и приказал вахмистру собрать всю команду. У меня в команде было около 300 старых солдат, которых я знал уже несколько лет: многие из них были моими новобранцами, а большинство унтер-офицеров—моими учениками по учебной команде. Отношения с ними были у меня самые хорошие, я знал, что пользуюсь их полным доверием и что всякое мое приказание будет ими беспрекословно исполнено.

— Ребята,—обратился я к ним,—в Петрограде происходят беспорядки, чем они кончатся,—неизвестно, нужно быть готовыми ко всему. Я прошу вас не волноваться зря, не верить никаким слухам и продолжать занятия обычным порядком. Я обещаю, что буду сообщать вам всю правду о том, что произойдет в Питере, но хочу, чтобы и вы обещали мне вести себя так же благопристойно, как и до сих пор. Помните, что всякая неосторожность, всякий необдуманный шаг в такое время могут привести к непоправимой беде!

Солдаты дружно обещали мне не поддаваться никаким слухам и соблюдать полный порядок. И я ни минуты не сомневался в том, что они это обещание сдержат.

Только что я распустил солдат и вышел из казармы в канцелярию подписать кое-какие бумаги, как в канцелярию влетел страшно взволнованный незнакомый мне офицер 2-й особой артиллер. бригады, в чине поручика.

— Кто здесь начальник?—крикнул он.

— Что вам угодно?—обратился я к нему.

— Ваши солдаты безобразничают, курят на улице и не отдают чести офицерам! Вот этот сукин сын даже толкнул

меня, и возбужденный поручик дернул за рукав вошедшего вместе с ним солдата.

Это был один из самых тихих и послушных солдат моей команды, которого я никак не мог заподозрить в умышленном нарушении дисциплины.

Я обратился к нему с вопросом, как это могло случиться?

Солдатик мой, покраснев от смущения, начал рассказывать, что он возвращался из города и, пройдя пунктовую гауптвахту, остановился, чтобы за углом свернуть „цыгарку“. В это время его кто-то окликнул и обругал. Он повернулся и нечаянно толкнул его благородие, который и стал его разносить за неотдание чести.

Поручик перебил рассказ солдата и повышенным тоном заявил мне, что я не имею права сомневаться в словах офицера и должен немедленно арестовать провинившегося нижнего чина.

Я в свою очередь не выдержал и резко предложил поручику изменить способ разговора со старшим в чине. После этого я предложил ему подать рапорт о происшедшем, а пока предоставить мне самому судить, арестовывать ли немедленно подчиненного мне солдата, или нет.

Во время этого разговора в дверях канцелярии столпилось несколько солдат, и я услыхал их глухой ропот недовольства.

В воздухе пахло электричеством. Несмотря на все ухищрения начальства изолировать гарнизон от Петрограда, в солдатской массе уже носились определенные слухи о начавшейся революции. Это должны были понимать, но, к сожалению, не поняли наши офицеры. В такой момент они не нашли ничего лучшего, как поднимать дисциплину и придираться к солдатам.

Незадолго перед визитом артиллерийского поручика, вахмистр доложил мне, что „их сиятельство ротмистр Клейнмихель приказали всыпать сто розог одному из гусар за неотдание чести“.

Мои солдаты уже знали об этом, и случай с артиллерийским офицером еще более взволновал их.

В небольшой квартире графа собралось около 30 офицеров. Настроение их было приподнятое.

Менгден, сообщив вкратце о решениях, принятых на сегодняшнем совещании командиров отдельных частей, предложил высказаться относительно мер предосторожности, на случай возникновения беспорядков в автомобильной роте и запасном дивизионе.

Почти все начальники команд предложили окружить расположение Виленского пункта заставами, запретить нижним

чинам отлучку из казарм и не допускать в расположение пункта солдат посторонних частей.

Некоторые из офицеров высказались за необходимость усилить занятия и подтянуть солдат.

Ротмистр граф Клейнмихель похвастался тем, что он уже начал такое подтягивание и только что выпорол двух гусар.

Но другие офицеры высказались против такой системы поднятия дисциплины, а гр. Менгден выразил ретивому ротмистру порицание, указав, что прибегать в настоящий момент к порке—это все равно, что зажигать спичку в пороховом погребе.

Бедный граф Менгден и не предполагал, что он сам через день станет жертвой такой „неосторожности“ Клейнмихеля.

Попросив начальников команд как можно чаще посещать вверенные им части, генерал сказал, что никаких застав выставлять не надо.

— Я уверен в том, что все кончится благополучно. Если в Петроградском гарнизоне и вспыхнут беспорядки, они будут быстро ликвидированы прибывшими с фронта казаками. А у нас, в Луге, по-моему, опасаться нечего. От вас, господа, зависит поддержание порядка в ваших командах. Запасный дивизион и автомобилисты не посмеют выступать, если будут знать, что кавалеристы остались верными своему долгу и присяге.

С этими словами генерал распрощался с нами.

Глава II.

28 февраля прошло у нас в Луге опять совершенно спокойно. Из Царского Села приехала графиня Менгден. По ее словам, в Петрограде началась настоящая анархия, и в Царском приняты чрезвычайные меры для охраны дворца и царской семьи.

Генерал Менгден сказал мне, что из ставки в Петроград посланы десять тысяч отборных солдат—георгиевских кавалеров и главноначальствующим назначен генерал-адъютант Иванов, бывший главнокомандующий юго-западным фронтом.

— Но я по-прежнему спокоен,—сказал граф,—и уверен, что все кончится благополучно. Я надеюсь, что генерал Иванов обнаружит тех мерзавцев, которые довели народ до восстания, и результатом происходящих событий будет принятие тех реформ, которые было необходимо уже давно провести.

После этих слов генерал перешел к обычным деловым вопросам и назначил на следующий день, 1 марта в 11 часов утра, смотр маршевому эшелону моей команды, предназначенному к отправлению на фронт.

В команде шли деятельные приготовления к смотру, собирали седла и вьюки, чистили лошадей и амуницию.

Весь день я тщетно прождал возвращения В. из Петрограда.

Наступило 1 марта.

По обыкновению я в начале девятого часа утра пришел в команду, поздоровался с людьми, обошел конюшни и отправился в канцелярию.

Здесь меня поджидал только что прибежавший с вокзала В.

По его лицу я увидел, что он привез очень важные новости.

Выпроводив из канцелярии вахмистра и писарей, я остался с ним вдвоем.

В. вынул из обшлага шинели два обтрепанных №№ „Бюллетеней Петроградских журналистов“ и воззвание Родзянко.

Просмотрев их, я понял, что революция—уже совершившийся факт. То, что мне рассказал В., было лишь деталями к тому, что я узнал из бюллетеней.

Я тотчас отправился в Управление, где уже находился генерал Менгден. Он был по-прежнему совершенно спокоен.

Мне хотелось предупредить его о том, что произошло в Петрограде, и я решил показать ему привезенные В. бюллетени и воззвание Родзянки. Я положил их в папку, поверх тех бумаг, которые граф должен был подписать, положил папку на его письменный стол и вышел в находившуюся рядом с его кабинетом комнату адъютанта.

Через несколько минут отворилась дверь из генеральского кабинета и в ней показался, весь бледный от негодования, Менгден, держа в руках листки бюллетеня.

— Возьмите от меня эту гадость,—сказал он,—протягивая мне измятые листки.

Сказав это, он быстро вышел, хлопнув дверью.

Тотчас вслед за ним в комнату вошел ротмистр граф Клейнмихель. Вид у него был очень озабоченный.

— Ты не знаешь, что происходит в Петрограде?—спросил он, присаживаясь на край письменного стола.

Вместо ответа я протянул ему бюллетени.

— Что же теперь будет с нами?—воскликнул он, быстро пробежав листок.

— Ничего особенного,—ответил я;—надо только понять то, что произошло.

Он нервно забарабанил пальцами по столу, еще раз посмотрел на бюллетени и, не сказав ни слова, повернулся и вышел.

Впоследствии я узнал, что Клейнмихель правильно понял то, что произошло в Петрограде, и, отправившись к своим гусарам, круто изменил свое постоянное обращеиие с нижними чинами, перейдя от порки к задабриванию их деньгами. Однако такое задабривание не спасло его от ужасной мести ненавидевших его солдат.

Я собрал бумаги и пошел к Менгдену.

— Потрудитесь сообщить начальнику гарнизона, чтобы он немедленно собрал у себя всех начальников отдельных частей,—приказал он мне, подписав бумаги.

Я передал по телефону полковнику Б. приказание генерала, и через полчаса мы с графом приехали в управление воинского начальника, где уже собралось все начальство.

Лица у всех были встревожены.

Командир автомобильной роты доложил, что у него в роте уже со вчерашнего дня начались волнения. На вечерней перекличке солдаты отказались петь гимн, а сегодня в 12 часов дня собираются устроить митинг.

Исправник принес целую пачку тех самых бюллетеней, которые граф Менгден утром назвал „гадостью“.

На этот раз генерал счел нужным бегло ознакомиться с их содержанием.

— Господа, — сказал он, закончив чтение: — я вижу, что события в Петрограде таковы, что прибывающим с фронта войскам придется выдержать настоящий бой с изменниками. Я не сомневаюсь, что фронт останется верным его величеству, и все наши усилия должны быть направлены к тому, чтобы лужский гарнизон оказался не на стороне мятежного Петрограда, а с верными войсками действующей армии. Если автомобильная рота желает присоединиться к мятежникам— мы ей мешать не будем! Если запасный артиллерийский дивизион захочет последовать ее примеру—скатертью дорога! Они не явятся подкреплением для бунтовщиков, ибо у них нет оружия. Но главное ядро гарнизона, вверенные мне кавалерийские части, присоединятся к фронту, а не к развращенному тылу! Я принимаю решение—всячески воспрепятствовать кровопролитию между частями гарнизона, но приму также все меры, дабы оградить вверенные мне части от присоединения к бунтовщикам!

Растерявшийся исправник стал просить Менгдена назначить конные патрули для охранения порядка в городе, но граф категорически отказал, заявив, что ни один солдат из кавалерийских команд не выйдет за пределы расположения Виленского пункта.

Затем, раскланявшись с командирами частей, генерал напомнил мне, что пора ехать на смотр моей команды.

Из управления воинского начальника мы отправились прямо на площадку перед нашими казармами, где был уже выстроен в конном строю подлежавший отправлению на фронт эшелон. Генерал с обычным спокойствием ласково поздоровался с командой, которая дружно ответила на его приветствие. Солдаты любили графа Менгдена и заглаза называли его не иначе, как „наш старик". Смотр прошел великолепно. Генерал остался очень доволен выправкой людей и состоянием лошадей, несколько раз благодарил и меня, и вахмистра, и солдат.

Было без четверти 12, когда я вернулся со смотра в управление пункта. Минут через 10 ко мне вошел дежурный писарь и волнуясь доложил, что из полицейского управления только что передали по телефону о том, что автомобилисты и запасный дивизион выкинули красный флаг и идут в город „подымать кавалерию". Я тотчас пошел к Менгдену и сказал ему, что в Луге началось то, что уже вчера произошло в Петрограде. В первый раз за эти дни Менгден потерял свое обычное спокойствие.

— Что же нам делать? Неужели придется стрелять по этим мерзавцам? — обратился он ко мне,

— Ваше сиятельство,—ответил я,—разрешите мне высказаться. Революция в Петрограде произошла, это факт несомненный. Во что выльется она на фронте—для меня также ясно. Никакие георгиевские кавалеры не помогут. Я сомневаюсь, чтобы какие-либо уступки спасли правительство и государя, которому придется отречься от престола. Что могут сделать наши команды? Если даже все наши солдаты согласятся выступить против остального гарнизона, то это будет лишь бесцельное кровопролитие, за которое потом жестоко поплатятся наши офицеры. Мне кажется, что нужно во что бы то ни стало избежать крови. Пускай автомобилисты и артиллеристы придут к нам. Что они могут сделать? У них, кроме шашек, нет никакого оружия—придут, поговорят и уйдут к себе. Нам же нужно постараться сохранить полное спокойствие в своих командах. Я не сомневаюсь, что все наши солдаты уже решили присоединиться к Петрограду. Так пусть же они знают, что офицеры будут вместе с ними,—и тогда у нас все обойдется благополучно. Я ручаюсь за свою команду и берусь удержать ее от всякого выступления. Прикажите начальникам других команд немедленно отправиться к своим солдатам,—и я уверен, что у нас порядок не будет нарушен.

Генерал помолчал несколько секунд.

— Но не могу же я,—снова обратился ко мне старик,— верой и правдой прослуживший трем государям, изменить своему долгу и присяге! Что же вы мне посоветуете делать? Я сам против кровопролития. Если нужно, я готов принести себя в жертву: пусть меня убьют,—и это, пожалуй, будет для меня единственный способ с честью выйти из положения!

Мне стало так жалко этого честного старика, который, будучи убежденным монархистом, тем не менее открыто возмущался теми безобразиями, которые творились правительством Штюрмера и Протопопова. Я попросил его отправиться домой и там, у себя на квартире, спокойно подождать конца событий. Я умолял его не выступать перед возбужденной толпой и не рисковать жизнью. Граф молча согласился и тяжелой походкой, сразу состарившись на несколько лет, вышел из канцелярии и отправился к себе на квартиру.

Проводив Менгдена, я пошел в команду, где в это время люди обедали. Вскоре на улице послышался глухой шум приближающейся толпы.

Из окна я увидел, как к крыльцу команды подскакал верховой артиллерист с красной повязкой на левом рукаве.

— Выходи все из казармы,—прокричал он и поскакал к следующей команде.

Я вышел из канцелярии в казарму и увидел, что мои солдаты находились в полном смущении. Они не знали, что им делать. Несколько человек бросились было к выходным дверям, но заметив меня, остановились в нерешительности.

Я вышел на середину казармы и громко крикнул:

— Кто хочет—иди на улицу, остальные—собраться ко мне!

И вся казарма, загудев, как пчелиный рой, бросилась не к дверям, а ко мне, и вскоре толпа солдат окружила меня. Я вкратце сообщил им, что произошло в Петрограде, и прочел выдержки из „бюллетеней“ и воззвание Родзянко. Громкое „ура“ раздалось мне в ответ.

— Ваше В-дие, прикажите, что нам делать,—послышались отдельные голоса.

Я напомнил солдатам данное ими мне обещание и посоветовал отправить к артиллеристам по одному человеку от каждого взвода,—узнать, что они от нас хотят, а остальным предложил спокойно оставаться в казарме. Совет мой был принят, как приказание, и немедленно приведен в исполнение.

Я снова вызвал В. и попросил его отправиться в автомобильную роту, где, по моим сведениям, заседал „Военный комитет“, руководивший восстанием гарнизона. В. должен

был установить с ним связь и узнать, какие меры принимаются комитетом для поддержания в городе порядка.

Между тем, на площади перед управлением пункта собрался митинг. Пришедшие с красным флагом артиллеристы призывали кавалеристов „присоединиться к народу“ и итти в город для манифестации.

Кавалеристы не знали, что им предпринять. Некоторые из них присоединились к манифестантам, но бо́льшая часть преспокойно вернулась в казармы. Вернувшиеся с митинга солдаты моей команды (посланные от взводов) остались очень недовольны:

— Болтают, а что—и не поймешь! Никто ничего толком пояснить не может!

То, что происходило в городе, мне очень не нравилось. Еще в 1905 году, возвращаясь с японской войны, я видел в Сибири, во что может вылиться стихийное неорганизованное выступление солдатской толпы. Я видел, что сейчас повторяется то же самое: нигде не было заметно руководителей, офицеры также отсутствовали, и солдаты были предоставлены самим себе.

Прошел час. Я по-прежнему оставался в канцелярии и проверял арматурные списки. Вдруг дежурный унтер-офицер доложил мне, что артиллеристы снова пришли и обезоруживают соседнюю команду. Люди мои переполошились.

Я построил их и сказал, что старым солдатам будет стыдно дать себя разоружить новобранцам-артиллеристам. Эти слова подействовали, и все мои ребята заявили, что они такого сраму не допустят.

В один миг дежурный взвод был в полной готовности. К оружейному складу, в котором хранилось два пулемета и запасные винтовки, я выслал усиленный караул, дежурный взвод построил у входа в казарму, а остальным людям приказал быть наготове. Сам я с дежурным по команде вышел на крыльцо и стал поджидать артиллеристов.

Они не заставили нас долго ждать. Толпа человек в сто, состоявшая почти исключительно из новобранцев, т.-е. 18—19-летних парней, подошла к казарме. Из толпы отделился вольноопределяющийся и, подойдя ко мне, взяв под козырек, вежливо предложил немедленно выдать все имеющееся в команде оружие. Я спросил, по чьему распоряжению он требует разоружения целой воинской части? Вольноопределяющийся смутился и начал городить какой-то вздор о том, что „они“ получили сведения о неподчинении гвардейцев Госуд. Думе и поэтому „они“ решили нас обезоружить.

Между тем толпа, в которой, кроме новобранцев, я заметил нескольких гимназистов и двух-трех подозрительных штатских, опьяненная легким успехом в соседней команде,

у которой они без всякого сопротивления отобрали штук 40 винтовок, начала высказывать явное неудовольствие затянувшимися переговорами.

— Да что с ним, золотопогонником, разговаривать,— раздались голоса,—дай ему в ухо и вали в казарму!

Но в этот момент на крыльцо высыпали мои ребята и несколько человек из дежурного взвода с винтовками. При виде их настроение толпы несколько изменилось. Рядом со мной появился запасной унтер-офицер Шашков и спросил предводителя артиллеристов, зачем они к нам пожаловали?

Вольноопределяющийся снова повторил требование о выдаче оружия.

— Ах ты, щенок лопоухий,—закричал на него Шашков:— да ты понимаешь, с кем разговариваешь? Ты еще с голой з... бегал, когда меня „дяденькой" величали, и вдруг ты от меня винтовку требуешь! Да я тебе такую винтовку пропишу, что ты до самого своего полигона катиться будешь!

— Ребята,—обратился он к стоящим на крыльце солдатам,—а ну ка покажите сoплякам дорогу на полигон.

И по его команде, человек 20 безоружных солдат со смехом и прибаутками врезались в толпу, и через несколько минут все оружие, отобранное в соседней команде, очутилось у нас в казарме. Штатские типы моментально исчезли, а новобранцы и гимназисты стояли и беспомощно смотрели на своего предводителя, который растерянно разводил руками. Я подошел к нему и стал уговаривать прекратить это бессмысленное разоружение кавалеристов.

— Если бы мы захотели действовать против вас,—сказал я,—то поверьте, что несколько сот старых и хорошо вооруженных солдат легко справились бы со всем вашим дивизионом. Но мы не хотим ненужного и бессмысленного кровопролития. Отправляйтесь к себе в дивизион и скажите тем, кто вас послал, что они делают глупость. Хорошо, что дело кончилось мирно, а ведь могло дойти и до драки. Что бы из этого получилось?

Вольноопределяющийся согласился со мной и обещал повлиять на своих товарищей. С трудом приведя в порядок свою разношерстную команду, он увел ее в город, а мои солдаты со смехом веселой гурьбой вернулись в казарму.

Глава III.

В казарме царило непринужденное веселье. Солдаты предвкушали удовольствие, как они будут срамить соседнюю команду, выдавшую оружие сoплякам-новобранцам.

В это время раздались одиночные выстрелы. Мы насторожились. Посланные на разведку скоро вернулись и смеясь

стали рассказывать, что артиллеристам удалось разоружить еще одну команду. Не умея обращаться с винтовками, новобранцы, ставя курки на предохранительный взвод, подняли пальбу, которая нас всполошила. Уже стемнело. В. все еще не возвращался, и я решил не уходить из казармы до тех пор, пока в городе не наладится хоть какой-нибудь порядок. А порядка этого не было. По улицам ходили толпы солдат, среди них стали попадаться пьяные. У пожарного депо толпа убила двух городовых. Где-то около вокзала разграбили лавку.

Часов в 6 вечера мне сказали, что граф Менгден обходит казармы и произносит речи, которые очень не нравятся солдатам. Я испугался за него и решил во что-бы то ни стало уговорить графа вернуться домой. Не успел я выйти из команды, как встретил Менгдена, окруженного офицерами и выходящего из соседней казармы. Я присоединился к его свите и вошел вместе с ним в команду Кавалергардского полка. Начальник команды построил солдат, и генерал обратился к ним с горячим призывом—вспомнить славные традиции полка, образумиться и оставаться верными присяге. Солдаты спокойно выслушали графа, но ни одного обычного возгласа „постараемся", „рады стараться" не раздалось в ответ по окончании его речи. Гробовым молчанием проводили кавалергарды „своего старика".

Выйдя из кавалергардской казармы, Менгден хотел итти в следующую, но я попросил его зайти в управление пункта подписать срочные бумаги. Генерал согласился, и мы всей гурьбой отправились в управление. По дороге Менгден рассказал мне, что он был арестован у себя на квартире артиллеристами. Его привезли в запасный артиллерийский дивизион, где тотчас же освободили и даже извинились перед ним. Настроение его снова было бодрое и уверенное.

— Я очень сожалею,—обратился он ко мне,—входя в свой кабинет, что вы помешали мне поговорить с теми мерзавцами, которые приходили к нам с красными тряпками. Вы увидите, что завтра в Петрограде все будет кончено, и мы только осрамимся перед фронтом.

Я не успел ему ничего ответить, как в кабинет вбежал весь белый от страха ротмистр Ч. и сказал, что перед управлением собралась толпа солдат, которая хочет арестовать всех офицеров.

В канцелярии послышался шум, загудело сразу несколько голосов, раздался стук прикладов. Я вышел из генеральского кабинета и увидел, что канцелярия переполнена солдатами разных частей, причем преобладали артиллеристы. У большинства из них в руках были винтовки.

— Что вам нужно, ребята?—спросил я их, стараясь сохранить спокойствие.

— Нам нужно арестовать офицеров,—раздалось мне в ответ несколько голосов.

Я огляделся по сторонам и вздохнул с облегчением, заметив в толпе несколько солдат своей команды, которые старались пробраться поближе ко мне.

— Ну что ж, арестовывайте, если хотите,—ответил я и стал слегка дрожащими руками закуривать папиросу.

Наступило молчание.

— Нет, этого не надо,—раздался вдруг чей-то голос и все хором загудели: „не надо, этого не трогать“.

— Кого же вы хотите арестовать?—снова спросил я.

— Нам нужно тех офицеров, которые из немцев, потому много есть господ офицеров, которые немцы и шпионы!

С этими словами из толпы выдвинулся слегка подвыпивший унтер-офицер одного из гвардейских полков Гусев и, вынув из кармана записку, начал перечислять офицеров с немецкими фамилиями. Таковых у нас было несколько, и первым в списке значился генерал граф Менгден. Я стал уговаривать солдат и, видя, что в канцелярию все прибывают наши кавалеристы, обратился к ним, говоря, что грех трогать старика, который за всю свою долголетнюю службу никогда не обижал солдат. Толпа стала колебаться, но тут выскочил какой-то артиллерист и заявил, что „военный комитет“ приказал арестовать генерала Менгдена за то, что он не признает нового революционного правительства и призывает к этому же своих солдат. Я спросил, куда хотят поместить арестованного генерала, и полупьяный Гусев, только что отбывший в карцере наказание за буйство, со смехом ответил:

— В тот самый карцер, в котором он меня гноил.

Вслед за этими словами несколько человек, под командой Гусева, направились к кабинету Менгдена. Я снова обратился к артиллеристу, говорившему от имени „военного комитета“, и спросил его, нельзя ли подвергнуть Менгдена домашнему аресту, причем выразил уверенность, что все солдаты Виленского пункта поручатся за него и что он никуда из своей квартиры не скроется. Кавалеристы охотно поддержали меня и, пожалуй, дело так бы и окончилось, но в это время из кабинета графа раздались возмущенные голоса. Оттуда выскочил Гусев и, угрожающе размахивая винтовкой, подбежал ко мне со словами:

— Вы нарочно заговаривали нам зубы, чтобы дать ему время удрать!

Артиллерист также подошел ко мне и, укоризненно качая головой, сказал:

— Вот вы хотели ручаться, что он никуда из дому не скроется, а он уже убежал!

Толпа снова загудела, но в это время из кабинета послышались крики:

— Вот он, держи его, тащи его сюда!

Оказалось, что, услыхав приближающиеся к его дверям шаги, Менгден потушил электричество и спрятался за печку. Гусев торжественно вывел графа Менгдена в канцелярию, снял висевшее на вешалке теплое генеральское пальто и подал его с наглой усмешкой графу, приговаривая:

— Закутайтесь, ваше сиятельство, в шубку, а то в карцере холодновато будет!

Генерал беспомощно озирался на своих солдат, надеясь, что кто-нибудь из них вступится за него. Но солдаты стояли нахмурившись, избегая глядеть на своего начальника. Прятание за печку погубило графа.

Подойдя ко мне, Менгден по-французски попросил передать его жене, что он арестован. Я хотел успокоить его, но в это время несколько солдат с грубой бранью бросились на графа и закричали:

— Не сметь говорить по-немецки!

Графа вывели.

Гусев снова вытащил свою записку и начал громко выкликивать других офицеров с немецкими фамилиями. Из них в управлении оказались трое: фон-Зейдлиц, барон Розенберг и Сабир, а двое—полковник Эгерштром и граф Клейнмихель—отсутствовали. Гусев тотчас отправил несколько человек обыскать их квартиры и приказал во что бы то ни стало разыскать и привести их на гауптвахту. Между тем, солдаты-кавалеристы, переговорив между собой, заявили, что они берут Зейдлица, Розенберга и Сабира на поруки и не допустят их ареста. Артиллеристы согласились, и взятые на поруки офицеры были тотчас же освобождены.

Когда эта сцена кончилась, ко мне подошли несколько солдат моей команды и стали настойчиво звать в казарму, говоря, что они хотят сообщить мне что-то очень важное. Я вышел с ними и, как оказалось впоследствии, избежал благодаря этому страшной опасности: когда я пришел в казарму, мне сказали, что Гусев, обозленный на меня тем, что я заступался за Менгдена, а также считая меня главным виновником своего ареста (так как я в качестве старшего адъютанта подписал приказ об этом), стал подговаривать артиллеристов учинить надо мною немедленную расправу.

Скоро вернулся В. и передал мне, что в автомобильной роте действительно заседает „военный комитет", находящийся в связи с комитетом Государственной Думы. По словам В., комитет чувствует себя очень растерянно, ибо в его

распоряжении нет ни одного человека, которому можно было бы поручить установление порядка в городе. Все офицеры сидят у себя по квартирам, боясь показаться на улицах. Часть из них арестована солдатами, караулы в тюрьме, казначействе и на винном складе самовольно разошлись, и с минуты на минуту можно ожидать, что начнется грабеж казначейства и винного склада.

Положение становилось угрожающим. Я отправил в „военный комитет“ ординарца с запиской, в которой сообщал, что немедленно выведу свою команду в город, займу караулы и сам буду находиться с дежурной частью на вокзале, как в центральном пункте города.

Спустя короткое время в команду прибежали перепуганные писаря управления и рассказали мне, что граф Менгден, полковник Эгерштром и ротмистр граф Клейнмихель убиты на гауптвахте солдатами. По их словам, дело произошло следующим образом: арестованного генерала Менгдена поместили в ту самую камеру, из которой накануне вышел Гусев. Вскоре на гауптвахту привели Эгерштрома и Клейнмихеля. Их посадили в одну камеру с Менгденом. Гусары команды Клейнмихеля и другие солдаты подходили к дверям карцера и подсмеивались над арестованными, особенно над Эгерштромом и Клейнмихелем, которых ненавидели все солдаты пункта. Больше всех изощрялся в этом занятии полупьяный Гусев. Граф Менгден молчал, но Эгерштром и Клейнмихель стали отвечать на глумления Гусева угрозами.

— Подождите, мерзавцы,—сказал якобы Эгерштром,— сегодня вы над нами куражитесь, а завтра мы вас всех за это перевешаем и перепорем!

Эти слова послужили сигналом к самосуду. Моментально двери карцера были выломаны, и озверевшая толпа солдат бросилась на арестованных. Граф Менгден был сразу убит ударом приклада по голове, а Эгерштрома и Клейнмихеля подняли на штыки и потом добили прикладами. Убийство Менгдена произвело на солдат удручающее впечатление. Я слышал, как многие предлагали немедленно разыскать убийцу старика и расправиться с ним. Другие жалели, что не взяли его на поруки вместе с Зейдлицем, Розенбергом и Сабиром. К убийству же Эгерштрома и Клейнмихеля отнеслись совершенно равнодушно, причем все были уверены, что Клейнмихеля убили его же собственные гусары.

Глава IV.

Наступила ночь, но никто не ложился спать. Я решил, что необходимо немедленно принять меры к восстановлению порядка в городе, ибо начавшиеся аресты офицеров и убий-

ство трех арестованных могли через несколько часов принять форму безобразного избиения всех офицеров, а захват толпой винного склада — закончиться самым ужасным погромом. Я снова построил свою команду, высказал солдатам свои опасения и, получив от них в третий раз обещание подчиноваться всем моим распоряжениям, вывел их в стройном порядке на улицу.

Было около 12 часов вечера. По главной улице прогуливались толпы солдат. Обыватели забились по квартирам, боясь высунуться наружу. При повороте на главную улицу я скомандовал „на месте“, вызвал взводных, приказал им вести свои взводы в полном порядке, стал во главе эскадрона и повел его к вокзалу. Взводные подсчитывали ногу, покрикивали на отстающих. Я несколько раз пропускал мимо себя все взводы. Команда шла в образцовом порядке.

Впечатление, которое произвело появление 300 вооруженных рослых гвардейцев, стройно марширующих по городу во главе с офицером,—было огромное. Гуляющие по улицам солдаты останавливались, с недоумением смотрели на нас, невольно подтягивались и машинально следовали за нами. В окнах мелькали испуганные лица обывателей. Подойдя к зданию тюрьмы, я остановил команду, назначил караул и приказал караульному начальнику, совместно с смотрителем тюрьмы, сделать поверку арестантам. У казначейства я оставил второй караул, а на казенный винный склад отправил целый взвод. С оставшимися у меня двумя с половиной взводами я пришел на вокзал и застал здесь форменный содом. Подъезд, буфет, залы всех трех классов и даже никогда ранее не открывавшиеся парадные „царские“ комнаты были битком набиты солдатами. Сидели и лежали на полу, на стульях, на столах, на подоконниках и даже на буфетной стойке. В парадных комнатах оркестр пожарной дружины, окруженный толпой слушателей, играл марсельезу, которую повторял уже в сотый раз. По вокзалу беспомощно метался член военного комитета, солдат автомобильной роты, безуспешно старавшийся уговорить „товарищей“ разойтись по казармам. Никто его не слушался. Большинство из находившихся на вокзале солдат были новобранцы артиллерийского дивизиона, вооруженные отобранными у кавалеристов винтовками. Увидя меня, член военного комитета очень обрадовался:

— Мы получили вашу записку и очень вам благодарны. Комитет просит вас вступить, хотя бы на время, в должность начальника гарнизона.

Затем он сказал мне, что в Лугу с минуты на минуту ожидается прибытие экстренного поезда с членами комитета Госуд. Думы и что необходимо немедленно принять меры

к установлению порядка на вокзале, очистив его от лишнего народа.

Мне пришлось взять на себя этот нелегкий труд. Прежде всего я вывел на платформу оркестр пожарной дружины, и толпа солдат устремилась вслед за ним из парадных комнат. Когда таким образом парадные комнаты опустели, я приказал запереть двери и приставил к ним часовых. Затем я обратился к солдатам, указав им на то, что сейчас в Лугу приедут члены Государственной Думы и что нам нужно устроить им торжественную встречу. Я предложил всем, желающим принять участие в этой встрече, построиться в порядке на перроне, а остальным—отойти в сторону и не мешать.

Желающими оказались все. Старые солдаты довольно скоро построились, но вооруженные кавалерийскими винтовками новобранцы портили весь строй: они не переставали поодиночке и целыми группами выходить из строя, присаживались на платформу, закуривали, а некоторые играли на гармониках. Я заметил, что на вокзал стали прибывать группы безоружных кавалеристов. Все они инстинктивно пристраивались к моей команде, и вскоре число кавалеристов стало уже превышать новобранцев.

Я решил, что настал момент обезоружить их. Я скомандовал „смирно", и мне удалось установить в этой разношерстной толпе кое-какой порядок. В переднюю шеренгу я поставил вооруженных новобранцев, а в затылок им — безоружных кавалеристов. Затем я начал делать репетицию „встречи". По команде „слушай на караул" в рядах новобранцев произошло полное смятение: никто из них никогда ружейным приемам не обучался. Началось обучение. Я вызвал из задней шеренги десяток запасных унтеров и предложил им показывать приемы. Для этой цели новобранцы охотно передали им несколько винтовок. Прошло минут пять, и новобранцы начали уставать. Тогда я предложил уставшим — передать винтовки стоящим в задней шеренге кавалеристам, а самим стать на их место. Новобранцы с радостью согласились — и через каких-нибудь 10 минут оказались разоруженными.

Теперь, когда моя кавалерийская команда достигла уже внушительной численности, я решил разгрузить вокзал от праздношатающихся и прежде всего от новобранцев. Я предложил им итти домой и ложиться спать.

Они, конечно, на это не согласились и заявили, что так как теперь „свобода", то новобранцы должны пользоваться одинаковыми правами со старослужащими, а раз старики остаются на вокзале, то и они останутся здесь.

Однако, находившимся на вокзале старослужащим артиллеристам не понравился такой ответ новобранцев. Не-

сколько фейерверкеров подошли ко мне и попросили дозволить им погнать молодежь в казармы. Я, разумеется, согласился, и вскоре новобранцы в полном порядке под начальством своих дядек и в сопровождении кавалерийских патрулей были отправлены в свои казармы.

Теперь я стал полным хозяином вокзала. К сожалению, в моем распоряжении не было ни одного офицера, которому я мог бы поручить поверку караулов и патрулей. С вокзала, до прибытия экстренного поезда, я отлучиться не мог, что делалось в городе — не знал. Поэтому я очень обрадовался, узнав от члена военного комитета, что поезд придет не ранее 8—9 часов утра.

Было 2 часа ночи. Я оставил на вокзале караул, отпустил половину кавалеристов домой, а с остальными начал обходить город. Проверив караулы и оставив несколько патрулей на окраинах, я вернулся на вокзал и застал там большое смятение. Весь военный комитет прибыл на вокзал и расположился в парадных комнатах. Здесь же находились два офицера—поручик Гуковский и прапорщик Коночадов, предложившие комитету свои услуги. На платформе стояло привезенное из запасного артиллерийского дивизиона орудие и два пулемета. Председатель военного комитета, унтер-офицер автомобильной роты Заплавский, сказал мне, что сейчас получена телеграмма о том, что в Лугу по железной дороге направляется с фронта эшелон георгиевских кавалеров 68-го лейб-Бородинского полка. Этот эшелон входил в состав отряда генерала Иванова и следовал в Петроград для усмирения восставшего гарнизона. Хотя прибывающие по частям эшелоны генерала Иванова и не могли уже оказать никакого влияния на события, тем не менее Петроград распорядился, во избежание могущего произойти бесцельного кровопролития, обязательно задержать и разоружить бородинцев. Военный комитет не знал, что ему предпринять: в эшелоне было до 2.000 человек и 8 пулеметов, в Лужском же гарнизоне было не более 1.500 вооруженных солдат, причем по тревоге можно было собрать самое большое 300—400. В запасном артиллерийском дивизионе все пушки были учебными, и ни одна из них для стрельбы не годилась, а во 2-й особой артиллерийской бригаде пушек совсем не было. Поставленное на платформе учебное орудие являлось бутафорским, к пулеметам не было лент.

На экстренном совещании, было решено попытаться разоружить бородинцев, прибегнув к следующей уловке. Как только эшелон подойдет к вокзалу, три офицера (поручик Гуковский, Коночадов и я) выйдут ему навстречу и начальническим тоном прикажут солдатам не выходить из

вагонов, так как поезд сейчас же отправится дальше. Затем члены военного комитета войдут в офицерский вагон, приставят к нему часовых и предложат командиру полка от имени комитета Гос. Думы немедленно сдать оружие, пригрозив в случае отказа открыть по эшелону артиллерийский огонь. В качестве артиллерии должно было фигурировать бутафорское орудие. Командиру полка было решено указать, что весь 20-тысячный гарнизон Луги примкнул к Петрограду, и всякое сопротивление явится бесцельным. Кроме того, мы решили дать ему слово, что все сданное бородинцами оружие будет отправлено в Псков в сопровождении делегатов от Лужского гарнизона и там возвращено полку.

Мы надеялись, что этот план удастся, но совершенно не знали, чтó нам предпринять, если бородинцы на наши условия не согласятся: вступать с ними в бой мы не могли и не хотели, пропустить их в Петроград было совершенно невозможно. Пока мы об этом рассуждали, дежурный по станции сообщил, что эшелон уже подходит. Думать было некогда, и мы решили действовать согласно принятого плана. К счастью все произошло именно так, как мы предполагали! Бородинцы мирно спали в теплушках, никто из солдат не попытался вылезти из поезда.

Мы быстро вошли в офицерский вагон. Часовой у знамени, увидав вошедших офицеров, беспрекословно пропустил нас.

Разбудив командира полка, мы в самой деликатной форме передали ему ультиматум комитета Государственной Думы. Полковник сначала возмутился, но, узнав о численности Лужского гарнизона и об артиллерийской батарее, якобы занявшей уже позицию и готовой по первому сигналу открыть огонь, пожал плечами и заявил, что он подчиняется силе.

Мы тотчас попросили офицеров передать нам револьверы, но заявили, что холодное оружие (шашки) они могут сохранить. Это заявление вполне удовлетворило и успокоило офицеров, и некоторые из них предложили нам свои услуги для переговоров с солдатами. Однако, солдаты отнеслись очень спокойно к нашему требованию выдать винтовки и вскоре стали сами сносить их к вызванному мной на платформу караулу. Одновременно с этим к хвосту поезда, где находился вагон с пулеметами и ручными гранатами, подошел маневровый паровоз. Вагон этот был мигом отцеплен и под усиленным конвоем отвезен на запасный путь. Через пятнадцать минут бородинцы были обезоружены.

Мы вздохнули с облегчением. Между тем стало рассветать. Бородинцы с недоумением посматривали на совер-

шенно пустынную платформу, на которой лишь кое-где мелькали одиночные силуэты часовых, на стоявшую без прислуги и без замка пушку и спрашивали себя — где же этот грозный 20-тысячный гарнизон и стоящая на позиции батарея?

Офицеры начинали нервничать. Нужно было как можно скорее отправить бородинцев в Псков. Командир полка, узнав, что в Лугу через час придет поезд с членами Государственной Думы, заявил, что он останется ждать их приезда. С трудом удалось уговорить его оставить в Луге нескольких офицеров и солдат для сопровождения возвращаемого нами оружия, а остальных немедленно отправить обратно в Псков.

Через несколько минут эшелон тронулся в обратный путь, и мы послали в Петроград краткую телеграмму с извещением о том, что Бородинский полк разоружен.

Глава V.

Около 9 ч. утра подошел, наконец, экстренный поезд — паровоз и вагон I класса. Из вагона вышли член Государственной Думы Лебедев и полковник генерального штаба Лебедев (впоследствии начальник штаба красной армии). Перед парадными комнатами выстроился почетный караул. Лебедев, подойдя к караулу, приподнял свою бобровую шапку, поздоровался с солдатами и от имени комитета Госуд. Думы поблагодарил их за поддержку, оказанную Лужским гарнизоном революционному Петрограду. Пожарный оркестр заиграл „Марсельезу", и под звуки революционного гимна гвардейцы стройно продефилировали перед депутатом. Лебедев, сопровождаемый членами военного комитета, прошел в парадные комнаты и попросил угостить его стаканом кофе.

— С 2-х часов дня я ничего не ел и не пил, — устало проговорил он.

За стаканом кофе Лебедев начал беседу с членами военного комитета и стал объяснять им цель своего приезда. Он заявил, что положение в Петрограде крайне тревожное. Гарнизон плохо повинуется комитету Госуд. Думы, наблюдались случаи грабежей и самосудов, и Комитет очень боится, чтобы настроение петроградских солдат не перекинулось бы в окрестные гарнизоны. Лебедев предложил немедленно избрать военный комитет, в который вошли бы как офицеры, так и солдаты. Этот новый военный комитет должен временно принять всю полноту власти и сноситься непосредственно с комитетом Госуд. Думы.

Затем Лебедев перешел ко второму и самому щекотливому вопросу, касавшемуся проезда через Лугу царского поезда. Он сказал, что через несколько часов из Петрограда выедут в Псков члены Думы Гучков и Шульгин, которым поручено вести переговоры с государем, и результатом этих переговоров явится приезд государя в Царское Село, где будет издан ряд важнейших государственных актов. Поэтому необходимо обеспечить путь следования царя, и военный комитет должен дать гарантии, что царский поезд не будет задержан в Луге и благополучно проследует дальше.

Военный комитет ответил Лебедеву, что, не будучи поставлен в известность относительно истинной цели поездки Николая II в Царское и не зная, как к этому отнесутся петроградские солдаты и рабочие, он отказывается дать сейчас какие-либо гарантии и окончательное свое решение сообщит Гучкову.

Убедившись в том, что временный военный комитет, состоявший почти исключительно из солдат автомобильной роты, не изменит этого решения, Лебедев предложил воспользоваться временем до приезда Гучкова и избрать новый комитет.

Выборы были назначены в 2 часа дня и к этому времени всем частям гарнизона было предложено прислать в канцелярию автомобильной роты по 2 делегата — одного офицера и одного солдата от каждой роты, батареи и команды. Кроме того, полковник Лебедев пригласил на это собрание всех командиров отдельных частей. К указанному времени в автомобильную роту собралось около 30 офицеров и столько же солдат. Лебедев, торопившийся вернуться в Петроград и поминутно посматривавший на часы, заявил, что собравшихся делегатов достаточно вполне для того, чтобы приступить к выборам. Выборы нового комитета состоялись наспех и самым оригинальным способом. Лебедев предложил избрать 12 человек — 6 от офицеров и 6 от солдат, причем сам же начал намечать кандидатов.

— Вы, генерал, не откажетесь наверно войти в состав комитета?—обратился он к присутствовавшему в числе других командиров отдельных частей генералу Беляеву.

Беляев с готовностью щелкнул шпорами, и избрание его состоялось. Таким образом очень скоро были избраны 6 представителей от офицеров, в число которых попал и я. С выборами представителей от нижних чинов дело несколько осложнилось. Солдаты нехотя выставляли кандидатов, а последние неохотно соглашались баллотироваться.

Впрочем, баллотировка поднятием рук происходила также чрезвычайно упрощенным способом: все первые шесть кан-

дидатов, за которых было поднято всего 4 — 5 рук, были объявлены выбранными, а остальных Лебедев даже и не ставил на баллотировку. Таким образом через пять минут выборы были закончены.

Вслед за выборами Лебедев обратился к членам комитета с речью, в которой указал на то, что новый комитет является единственной законной властью в Луге, которой должны беспрекословно подчиняться все военные и гражданския учреждения. Затем он заявил, что военный комитет должен признавать лишь Комитет Государственной Думы и ту верховную власть, которой Государственная Дума передаст управление страной. После этого Лебедев распрощался и уехал на вокзал.

Пока под председательством Лебедева в автомобильной роте происходили выборы нового военного комитета, в парадных комнатах вокзала велись переговоры между приехавшим из Петрограда Гучковым и старым, несложившим еще своих полномочий, комитетом. Гучков настаивал на том, чтобы ему немедленно было обещано свободно пропустить через Лугу царский поезд. Военный комитет отказывался дать такое обещание до возвращения из Петрограда специально посланного к представителям Петроградского гарнизона члена комитета. Переговоры велись более часа, но не привели ни к какому результату, и расстроенному упорством комитета Гучкову так и пришлось уехать в Псков, не добившись успеха.

С первого же заседания нового военного комитета обнаружилось, что состав его совершенно случайный, и члены его не пользуются авторитетом среди солдатской массы. А между тем, без такого авторитета комитет ни в коем случае не мог выполнить возложенной на него Лебедевым роли единственного органа власти, ибо сильно пошатнувшийся в гарнизоне порядок мог быть восстановлен только энергичными и пользующимися доверием солдат людьми. Гарнизон Луги превышал 25 тысяч и состоял главным образом из артиллерийских и кавалерийских частей. Войска были расквартированы как в самом городе, так и в ближайших окрестностях. Многие из частей, представители которых за дальностью расстояния не успели во-время прибыть в автомобильную роту, не участвовали в выборах военного комитета. Да и вообще большинство частей не имели в комитете своих представителей.

Результаты наспех проведенных Лебедевым выборов не замедлили сказаться: комитет рассылал строжайшие приказы, которых никто не выполнял. Генерал Беляев, избранный председателем комитета, принял на себя обязанности начальника гарнизона, но и его приказы и наряды никем

не исполнялись. В самом комитете работа также не налаживалась.

Вскоре после отъезда Лебедева вернулся из Петрограда член старого военного комитета и привез ряд воззваний только что народившегося Петроградского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов.

Он передал эти воззвания комитету, а генерал Беляев распорядился их немедленно сжечь. Канцелярия комитета находилась в автомобильной роте. Автомобилисты, узнав о сожжении привезенной из Петрограда литературы, возмутились и потребовали немедленного созыва старого комитета. Председатель его решил созвать объединенное заседание обоих комитетов, но без участия Беляева.

Только что открылось это объединенное заседание, как в канцелярию автомобильной роты влетел взбешенный Беляев и стал кричать, что он, как утвержденный Государственной Думой председатель военного комитета, не допустит никаких конспиративных собраний и частных совещаний его членов.

После бурной сцены Беляев принял участие в заседании и ему пришлось выслушать много неприятностей от членов старого военного комитета. Один из них, от имени всей автомобильной роты, заявил, что, если комитет не будет координировать своих действий и распоряжений с Петроградским гарнизоном, то автомобилисты призовут Лужских солдат свергнуть его и избрать новый, который стал бы действительно на страже интересов солдат и рабочих. Это заявление испугало Беляева, и он дал торжественное обещание обратить военный комитет в послушное орудие Петроградского Совета.

Получилось нечто весьма странное: только что давший Лебедеву обещания признавать исключительно комитет Государственной Думы, генерал Беляев счел возможным сразу перейти на сторону Совета Рабочих и Солдатских Депутатов, воззвания которого он несколько часов тому назад приказал сжечь, как опасную для гарнизона заразу. Ни для кого из присутствовавших на заседании не было тайной, что между Госуд. Думой и Петроградским Советом началась настоящая война [1]). Знал это и Беляев, и, тем не менее, он с легким сердцем перешел на сторону Совета.

По окончании заседания один из автомобилистов пригласил меня и Гуковского на собрание автомобильной роты. На этом собрании выяснилось, что солдаты автомобильной роты, запасного артиллерийского дивизиона и позиционных батарей

[1]) В действительности, как известно, „война" была далеко не настоящей. *Ред.*

чрезвычайно враждебно настроены как против Беляева, так и против всего военного комитета. Настроением солдат пользуются какие-то подозрительные типы, призывая их к избиению офицеров, погромам и захвату казенных денег. Автомобилисты доказывали, что во главе гарнизона необходимо поставить людей, пользующихся безусловным доверием большинства солдат и что единственным способом для сохранения в городе порядка явится созыв Совета солдатских и рабочих депутатов.

Было решено немедленно начать агитацию в пользу Совета. Вернувшийся из Петрограда член прежнего комитета сообщил собранию, что члены Петроградского Совета избраны также совершенно случайно и большинство из них никаким авторитетом среди гарнизона не пользуется [1]). Он предложил принять все меры к тому, чтобы избежать такой ошибки при выборах Лужского Совета, так как только пользующиеся абсолютным доверием и авторитетом люди смогут заставить анархически - настроенную массу подчиниться тому органу, который будет выдвинут советом.

Я не мог не согласиться с таким заключением, ибо убедился за последние два дня в том, что то безвластие, которое наступило вслед за переворотом, развращает даже самых благонамеренных солдат. Я также был уверен, что несколько энергичных и пользующихся авторитетом людей смогут сразу изменить положение и заставить эту „вольницу“ подчиниться разумным распоряжениям. Поэтому я изъявил готовность принять самое горячие участие в пропаганде созыва Совета.

На следующее утро генерал Беляев собрал экстренное заседание военного комитета, на котором предложил членам комитета объехать все части гарнизона для того, чтобы представиться солдатам и изложить перед ними программу будущей деятельности комитета. Беляев считал, что такая поездка сразу завоюет комитету симпатии солдат и что после нее все приказы комитета будут исполняться ими. На двух автомобилях мы начали объезд гарнизона.

В кавалерийских частях выступление Беляева, разукрасившегося целым букетом красных лент, имело полный успех. Кавалеристы кричали „ура“ и готовы были присягнуть на верность комитету. В запасном артиллерийском дивизионе картина получилась иная. Громадная толпа в несколько тысяч солдать запрудила плац перед казармами дивизиона. Беляев въехал на автомобиле в середину толпы, встал во весь рост, расправил свои красные банты и начал витиеватую речь о значении революции, о преданности его,

1) Это сообщение было явно вздорным. *Ред.*

Беляева, этому великому делу и о задачах новой революционной армии.

Сидя во втором автомобиле, я заметил, что толпа слушателей Беляева все редеет и солдаты устремляются в противоположный конец плаца. Там на импровизированной трибуне выступал какой-то солдат. Я заинтересовался этим новым оратором, слез с автомобиля и подошел к трибуне. То, что я услышал, было призывом к погрому, и призыв этот возбуждал общее сочувствие толпы. Слова оратора то и дело прерывались возгласами одобрения. Ободренный успехом оратор стал требовать немедленного ареста всех офицеров и дележа „народного достояния", т.-е. хозяйственных и артельных сумм. Затем он предложил свергнуть военный комитет, председателем которого является брат военного министра Беляева, арестованного уже Петроградскими солдатами и рабочими.

Эти слова особенно подействовали на толпу, и часть ее бросилась к автомобилю Беляева с криками:

— Долой председателя, арестовать его!

Возбуждение солдат все росло. Я заметил в толпе нескольких членов прежнего комитета и сказал им, что, по моему, необходимо немедленно выступить перед возбужденной толпой с предложением созвать Совет солдатских депутатов. Нужно было отвлечь внимание толпы, заинтересовать ее новым предложением, чтобы не допустить какой-нибудь дикой выходки. Они вполне согласились со мной.

Я взгромоздился на какое-то возвышение и начал говорить. При виде нового оратора, толпа, движимая простым любопытством, оставила Беляева и погромщика-солдата и бросилась ко мне. Я начал свою речь указанием на то, что народ, завоевавший себе свободу, должен всячески охранять это завоевание. Затем я стал объяснять всю важность избрания народом на роли руководителей тех людей, которые пользуются всеобщим доверием и никогда не обманут своих избирателей. Я указывал на то, с какой осторожностью и обдуманностью нужно избирать таких выборных, и призывал слушателей не верить первому попавшемуся незнакомому горлодеру. Для примера я привел случаи, когда солдаты выбирали артельщиком вора, который, обвешивая своих товарищей, наживал себе состояние. В заключение я предложил толпе, прежде чем решать вопросы о дележе казенных денег, избрать честных и надежных людей, которые явились бы подлинными народными избранниками и могли бы руководить общественными делами и поддержать порядок. А порядок, добавил я, в теперешнее время, когда враги народа хотят воспользоваться безвластием, чтобы вновь закабалить народ, является еще более нужным, чем раньше.

Речь моя вызвала общее одобрение и была покрыта аплодисментами. Я мог поздравить себя с тем, что добился того результата, которого хотел: Беляев и оратор-погромщик были совершено забыты. Добившись этого результата, я выступил вторично с предложением созвать взводные собрания и избрать на этих собраниях по одному делегату от каждого взвода, который бы пользовался общим доверием своих товарищей. Предложение мое было принято, и участники митинга решили, не откладывая дела в долгий ящик, устроить взводные собрания сейчас же после обеда, с тем, чтобы сегодня вечером избранные делегаты могли бы собраться на первое заседание Лужского Совета.

Так как на митинге в артиллерийском дивизионе присутствовали представители почти от всех частей гарнизона, за исключением кавалеристов, то задача пропаганды созыва Совета упростилась. Осталось лишь съездить к кавалеристам и переговорить с ними. Это заняло всего на всего час времени и, таким образом, 2 марта в 8 часов вечера в парадных комнатах вокзала было назначено первое собрание „Лужского Совета солдатских и офицерских депутатов".

Глава VI.

За час до Собранияо Света состоялось заседание военного комитета, все члены которого были очень рады выйти из того ложного положения, в которое их поставил Лебедев. Генерал Беляев, удрученный происшествием в запасном дивизионе, заявил, что он будет счастлив сложить с себя обязанности никем не признаваемого начальника гарнизона.

С 6 часов на вокзал стали прибывать вновь избранные депутаты. Они предъявляли военному комитету удостоверения, к которым были приложены казенные печати. К семи часам собралось около 300 депутатов. Все части гарнизона были представлены. Настроение депутатов было торжественное: они повидимому серьезно поняли всю важность предстоящего собрания.

Кроме делегатов собралось также много публики, и большой зал парадных комнат не мог вместить и десятой части собравшихся. Пришлось предложить публике перейти на платформу и, чтобы дать ей возможность следить за собранием, открыть настежь все двери и окна.

Собрание открыл генерал Беляев, который в длинной речи снова подчеркнул свою преданность революции. Вслед за Беляевым выступил делегат автомобильной роты и предложил немедленно избрать исполнительный комитет, который должен принять от военного комитета всю полноту власти

в городе и гарнизоне. Процедура выборов затянулась до поздней ночи, так как они производились с соблюдением всех формальностей. Было решено, что каждая крупная часть будет иметь своего представителя в исполнительном комитете. Затем депутаты стали сговариваться о взаимной поддержке своих кандидатов, и только после этого начались выборы посредством подачи записок. Подсчет записок закончился к 12 часам ночи, и объявление результатов было встречено громкими аплодисментами депутатов и публики. В исполнительный комитет прошли 4 офицера, 1 врач и 7 солдат.

Совершенно неожиданно для себя, я оказался избран председателем комитета. Впоследствии выяснилось, что этим избранием я обязан солдатам кавалерийских частей и присутствовавшим на митинге в запасном дивизионе артиллеристам и автомобилистам.

Поблагодарив за оказанное мне доверие, я предложил собранию не расходиться до тех пор, пока не будут установлены конституция Совета, обязанности всех его членов и компетенция исполнительного комитета.

Так как настроение депутатов было исключительно деловое, то все эти вопросы были рассмотрены в течение какого-либо часа. Совет вынес единогласное решение, по которому вся полнота власти передавалась исполнительному комитету, ответственному не перед комитетом Гос. Думы, а перед избравшим его Советом. Тут же было составлено особое воззвание к солдатам гарнизона, призывающее их беспрекословно подчиняться всем приказам исполнительного комитета. Членам Совета было вменено в обязанность наблюдать за тем, чтобы распоряжения комитета действительно исполнялись воинскими чинами.

С раннего утра 4 марта началась деятельность вновь избранного комитета. Просуществовавший два дня военный комитет не сумел установить ни в гарнизоне, ни в городе какого-либо порядка. Несение караульной службы хромало. Все важные караулы занимались по-прежнему кавалеристами, которые буквально с ног валились от усталости. В городе же царило полное безвластие: полиция разбежалась, городская управа была распущена каким-то самозванным гражданским комитетом, членов которого никто из граждан не знал.

Этот гражданский комитет начал издавать какие-то постановления, которыя были настолько абсурдны, что обыватели окончательно потеряли головы. Кроме всего этого, на окраинах города появились шайки грабителей и вымогателей. Какие-то типы являлись на квартиры граждан, производили обыски и „реквизировали" ценные вещи. В довер-

шение всего в городе обострился продовольственный вопрос: кончились запасы муки, и пекаря, воспользовавшись этим, сразу подняли цены на хлеб. И обыватели и воинские части требовали от исполнительного комитета скорейшего прекращения безобразий, установления порядка и разрешения целого ряда существенных вопросов.

Между тем, в Петрограде произошли важные политические события: было опубликовано отречение государя и Михаила Александровича, составилось Временное Правительство, Совет Рабочих и Солдатских Депутатов издал столь нашумевший приказ № 1-й. Отклики всех этих событий докатились до Луги. Солдатские массы и обыватели нервничали, более нетерпеливые требовали немедленного проведения в жизнь таких мероприятий, которые могли окончательно разрушить слабый признак порядка, каким-то чудом сохранившийся еще в Луге.

Никаких определенных указаний из Петрограда ни от нового правительства, ни от Совета Солдатских и Рабочих Депутатов не поступало. Ввиду этого исполнительному комитету пришлось проявить собственную инициативу и напрячь все свои силы, чтобы наладить расстроившуюся жизнь в городе и гарнизоне. Для того, чтобы придать своим первым распоряжениям, направленным к установлению порядка, наибольшую авторитетность, исполнительный комитет проводил их через Совет, заседания которого назначались вначале ежедневно, а затем—два раза в неделю. Постановлением Совета была введена строжайшая дисциплина для членов Совета и исполнительного комитета: неявка на одно заседание влекла за собой автоматическое исключение из состава Совета, и воинские части, представителями которых являлись исключенные депутаты, ставились об этом в известность.

Каждый член Совета обязан был на следующий день после заседания Совета собрать общее собрание солдат своей части (взвода, команды) и сделать своим избирателям доклад о том, что обсуждалось и что решено на заседании Совета. Для облегчения депутатов краткий протокол заседания, тотчас по его окончании, сдавался в типографию и через несколько часов рассылался по всем частям гарнизона.

Такой распорядок уже через несколько дней принес положительные результаты. Весь гарнизон был постоянно в курсе всего того, что делалось в Совете, и все постановления Совета и исполнительного комитета стали беспрекословно исполняться солдатами. Выделенная комитетом гарнизонная комиссия спешно выработала порядок несения караульной и внутренней службы, внесла известную

систему в порядок увольнения чинов гарнизона в отпуска, установила обязательность строевых занятий и составила проект о дисциплинарных судах. Большой сумбур в деятельность комиссии внес пресловутый приказ № 1-й, но, благодаря появившемуся вслед за ним приказу № 2-й, удалось благополучно миновать и этот подводный риф.

Исполнительный комитет, перегруженный работой, решил передать ведение нарядов и наблюдение за караульной службой специально назначенному начальнику гарнизона, обязанности которого приходилось исполнять мне, как председателю комитета.

В первый период революции назначения на административные должности, производившиеся Временным Правительством, оказывались сплошь и рядом неудачными. Это происходило не от того, что назначенные люди оказывались непорядочными или неспособными, а потому, что они очень часто являлись совершенно чуждыми и неизвестными местному населению. Политические убеждения и принадлежность к той или другой партии были недостаточны для того, чтобы завоевать к себе доверие широких масс, особенно в провинции.

Учитывая это обстоятельство, исполнительный комитет не стал ожидать назначения сверху, а решил сам представить Временному Правительству своего кандидата. Выбор комитета остановился на пользовавшемся всеобщим уважением гарнизона старом офицере подполковнике Густаве. Назначение это было проведено через Совет и с официальной стороны оформлено военным министром, к которому исполнительный комитет обратился с просьбой об утверждении своего кандидата.

Так как солдаты считали полковника Густава своим избранником и так как новый начальник гарнизона пользовался всемерной поддержкой Совета, все его наряды и приказы стали выполняться беспрекословно. Гарнизонная комиссия, работавшая в полном контакте с начальником гарнизона, оказывала ему громадную помощь, и члены комиссии добровольно несли обязанности „рундов", т.-е. в различное время дня и ночи поверяли караулы и патрули. Вскоре караульная служба в Луге была поставлена образцово, и солдаты стали вполне сознательно относиться к служебным обязанностям.

Введенные Советом дисциплинарные суды оказали также громадное впечатление на умы тех элементов, которые под словом „свобода" понимали полную безнаказанность и отрицание каких бы то ни было обязанностей. Приговоры этих судов печатались в приказах по гарнизону и немедленно приводились в исполнение. Наказания, налагаемые этими

судами, состояли главным образом в назначениях на неприятные и тяжелые хозяйственные работы (чистка отхожих мест, починка дорог, уборка мусора) и в лишениях отпусков на более или менее продолжительный срок. Несмотря на всю незначительность таких наказаний, они больше пугали солдат, чем прежние строгие и усиленные аресты.

Избранные в ротах, батареях и командах комитеты начали свою деятельность под руководством исполнительного комитета. Не дожидаясь приказа по военному ведомству, изданного уже после отставки Гучкова, мы сами определили компетентность этих комитетов, сводившуюся к контролированию ведения хозяйства и наблюдению за добросовестным исполнением воинскими чинами обязанностей службы. Кроме контроля над поведением солдат, комитеты стали также контролировать деятельность офицеров. Это, конечно, вызвало целый ряд нареканий со стороны последних. Однако, даже сами офицеры не могли не признать того, что с введением комитетов прекратились случаи арестов и смещений командного состава.

К сожалению, все эти мероприятия, благодаря которым удалось в несколько дней добиться полного порядка в гарнизоне, были встречены офицерами крайне враждебно. В то время как солдатская масса относилась с уважением к избранному ими Совету и исполнительному комитету, офицерство при всяком удобном и неудобном случае громко критиковало все их решения и старалось дискредитировать в глазах солдат эти учреждения. Издеваясь над Советом, офицеры называли его членов не иначе, как „собачьими депутатами". Но такие действия офицеров достигли совершенно обратных результатов: авторитет Совета еще более поднялся, а престиж офицеров еще более умалился.

Дело дошло до того, что члены Совета потребовали переименования Лужского Совета Солдатских и Офицерских Депутатов — в Совет Солдатских Депутатов. Требование свое они основывали на том, что офицеры бойкотируют Совет и сами отказываются принимать участие в его работах. Переименование состоялось, но это отнюдь не повлияло на отношение солдат к тем офицерам, которые с первых дней революции приняли участие в работе военного комитета и Совета. К сожалению, таких офицеров, которые поняли всю необходимость и важность тесного сотрудничества с солдатами, оказалось очень немного: из 400 офицеров Лужского гарнизона только 25 — 30 человек сочли для себя возможным работать в Совете и комитетах. Все остальные заняли враждебные позиции не только к этим органам, но также и к тем офицерам, которые оказались в лагере „собачьих депутатов".

Самое скверное в поведении офицеров было то, что, думая насолить Совету, они стали пренебрегать служебными обязанностями.

Сплошь и рядом поверявшие караулы члены гарнизонной комиссии доносили, что дежурные по частям и по караулам офицеры и другие должностные лица не оказывались на своих местах. Другие офицеры самовольно уезжали в отпуска, а некоторые, чтобы подчеркнуть свое отношение к комитетам и новым порядкам, демонстративно прекратили посещение строевых занятий. Это являлось дурным примером для солдат, и очень часто, когда члены Совета указывали своим товарищам на необходимость добросовестного отношения к службе, из рядов солдат слышались возгласы:

— Почему вы от нас службу требуете, а офицерам ничего не говорите?

Начальник гарнизона неоднократно пытался повлиять на офицеров, но на созываемых им собраниях выяснялась лишь еще более та непримиримость к „собачьим депутатам", которая царила среди большинства офицеров.

А между тем „собачьи депутаты" всячески старались примирить офицеров с солдатами. После тех эксцессов, которые произошли (правда, в очень немногих частях гарнизона), и комитеты и сами солдаты старались загладить свои ошибки и пытались привлечь офицеров к совместной работе. Поэтому в комитеты и дисциплинарные суды были избраны офицеры, но они отказались принять протянутую им солдатами руку. Этим воспользовались впоследствии те элементы, которым было необходимо довести до крайних пределов вражду между солдатами и офицерами.

Большинство избранных в комитеты и дисциплинарные суды офицеров демонстративно отказалось от этой „чести", другие просто не посещали ни одного заседания этих комитетов и судов. Мне ежедневно приходилось бывать в разных частях гарнизона, и почти всюду я выслушивал жалобы на то, что офицеры не только отказываются работать, но своим примером дурно влияют на малосознательных солдат.

Когда, наконец, гарнизон зажил более или менее нормальной жизнью и когда та бесшабашная „вольница", в которую так легко могла обратиться двадцатипятитысячная солдатская масса, проникнулась сознанием необходимости поддержания известного порядка, внимание исполнительного комитета обратилось в сторону города и уезда.

В середине марта исполнительный комитет предложил ремесленникам, рабочим тигельных заводов и железнодорожникам принять непосредственное участие в работах гарнизонного Совета, который к этому времени уже вынес

постановление о желательности преобразования Совета в „Совет Солдатских, Рабочих и Крестьянских Депутатов“. Прошло несколько дней, пока рабочие сорганизовались и, устроивши ряд предвыборных собраний, избрали в Совет своих представителей. Особенное внимание исполнительного комитета было обращено на привлечение в Совет интеллигентных работников, что вполне удалось ему. Когда состоялось первое совместное заседание солдатских и рабочих депутатов, в исполнительный комитет были введены три представителя от рабочей секции, из коих — два интеллигента.

Эти три новых члены исполнительного комитета, вместе с тремя членами прежней городской управы, составили „временную городскую исполнительную комиссию“, которая и стала исполнять все функции управы, впредь до новых городских выборов.

Глава VII.

Вслед за городом исполнительный комитет приступил к организации деревни. Если в городе после переворота наблюдались растерянность и безвластие, то в деревне царил настоящий хаос. В некоторых волостях крестьяне находились еще в полной зависимости от стражников и урядников, в других, расположенных ближе к городу, старая власть убежала, захватив с собой общественные деньги и важные документы. Уже со 2 марта крестьяне окрестных селений стали обращаться в военный комитет с просьбами „поставить новых старшин“ и установить новый распорядок.

Приближалась весна, и крестьяне хотели воспользоваться „свободой“, чтобы захватить как можно больше помещичьей земли. Так как в Лужском уезде всего лишь 30% земель принадлежало крестьянам, а вся остальная находилась под помещичьими, казенными и монастырскими имениями, необходимо было принять ряд срочных мер для предотвращения самовольных захватов.

Конечно, это было делом государственной власти, а не гарнизонного комитета, но Временное Правительство, не учитывая всей важности принятия экстренных мероприятий, ограничилось лишь назначением уездного комиссара, которому было поручено поддержать порядок в уезде впредь до получения соответствующих инструкций.

Таким комиссаром был назначен бывший председатель земской управы, местный помещик, пользовавшийся не важной репутацией среди крестьян. Крестьянство не признало этого назначения, и уездный комиссар оказался в еще более ложном положении, чем генерал Беляев в роли начальника гарнизона. Впоследствии, когда образовалась крестьян-

ская секция Совета, исполнительный комитет прибег к такому же способу назначения уездного комиссара, как это было сделано ранее в отношении начальника гарнизона: исполнительный комитет представил в министерство внутренних дел нескольких кандидатов. пользовавшихся доверием крестьян, и просил утвердить одного из них в должности комиссара.

Но до этого времени вся роль уездного комиссара сводилась к безрезультатным обращениям в волостные правления, которые сами собой упразднились, и к попыткам удержать крестьян от захвата помещичьих земель.

Однако эти обращения комиссара не имели никакого успеха, ибо крестьяне считали, что комиссар, будучи сам крупным помещиком, защищает свои собственные интересы и нарушает их права, завоеванные революцией.

Обеспокоенные настроением крестьян и видя всю беспомощность комиссара, помещики стали обращаться в исполнительный комитет, прося защитить их от погромов. Исполнительный комитет пробовал обратить внимание Петрограда на ненормальность создавшегося в деревне положения, но в столице считали более важным не организацию народных масс, а составление проектов, осуществление которых можно было ожидать не ранее осени. А деревня в это время требовала немедленных реальных мероприятий и ко всем проектам далекого будущего относилась враждебно. Крестьяне инстинктивно тянулись к нам, просили советов и требовали нашей помощи, и мы не могли отказать им в этой помощи.

Для организации крестьянства Совет избрал особую сельскую комиссию.

Приняв определенный план пропаганды, члены этой комиссии разъехались по волостям, и под их руководством состоялись выборы волостных и сельских комитетов. Для этих комитетов была составлена и отпечатана в большом количестве экземпляров инструкция, предусматривавшая как административную их деятельность, так и временное разрешение жгучего аграрного вопроса.

Крестьянство согласилось с предложением исполнительного комитета и отказалось от самочинных захватов и запашек казенных и помещичьих земель. Помещики в свою очередь охотно пошли нам навстречу и согласились безвозмездно передать в распоряжение крестьянских комитетов пустующие и необработанные участки. Гораздо труднее было сговориться с лесничими. относительно казенных земель. Но комитет вполне понимал их положение ответственных перед министерством чиновников, неполучающих никаких указаний от начальства. В конце концов удалось всетаки добиться от Петрограда разрешения предоставить во

временное пользование на один год крестьянским комитетам пустующие казенные участки. Таким образом удалось предотвратить опасность неорганизованного „черного передела“.

Вернувшиеся из уезда члены сельской комиссии в своих докладах исполнительному комитету указывали на то, что, хотя произведенная в деревнях работа и достигла некоторых результатов, но для прочной организации крестьянства и единства действий волостных и сельских комитетов необходимо созвать уездный крестьянский съезд. С этим мнением вполне согласилась и цензовая земская управа, которая, хотя и приветствовала на словах произведенную исполнительным комитетом работу в деревне, но на самом деле была очень недовольна тем, что крестьяне подпали под влияние Совета.

Среди многих кругов интеллигенции, с которыми мне приходилось сталкиваться в этот период, царило определенное предубеждение против советов. Эти круги негодовали на то, что советы вмешиваются в те дела, которые их не касаются.

Мне часто приходилось спорить с такими господами, доказывая, что советы рождены революцией, что они являются первыми попытками народа создать органы самоуправления и что в первый период революции не было других органов, которые, подобно Советам, могли импонировать массам.

Я указывал и на то, что только Совет мог установить в Луге тот порядок, которому так завидуют приезжающие к нам обыватели других городов. С последним доводом соглашались, но говорили, что теперь, когда порядок установлен — Совету нужно прекратить свою деятельность и предоставить место другим, более сведущим людям.

Выходило так, что, сделав колоссальную черную работу, люди, отдавшие этому делу все свои силы, пожертвовавшие самолюбием и личными делами, должны теперь, по достижении известных результатов, сознаться в своей полной неспособности и уступить место тем, которые до сих пор сидели сложа руки, брюзжали и занимались критикой, а теперь готовы милостиво согласиться принять тяжелое бремя власти.

Но как бы мы ни хотели бросить эту работу, как бы нам ни улыбалась перспектива отдохнуть и перейти на роли критиков, мы на это согласиться никак не могли, ибо понимали, что тогда вся наша предыдущая работа пойдет на смарку и что массы не захотят подчиниться тем людям, которые до сего времени не принимали участия в организационной работе. Но в то же время мы никогда не отказывались работать совместно с теми опытными людьми, которым теперь хотелось стать у власти, и мы неоднократно звали их и просили помочь нам своими знаниями. Однако

они отказывались работать вместе с „собачьими депутатами“ и на наши предложения отвечали словами:

— Или все, или ничего!

Не знаю, поймет ли когда-нибудь наша русская интеллигенция, какую ошибку совершила она в первый период революции, когда необходимо было пожертвовать уязвленным самолюбием, чистосердечно простить темному и несознательному народу все обиды, когда нужно было не играть в обиженных и не отворачиваться от „собачьих депутатов“, а откликнуться на их призыв и итти работать с ними для создания новой, свободной и демократической России. Цензовая земская управа стояла также на той точке зрения, что участие Совета в организации крестьянства было необходимо, но что теперь Совет должен предоставить ей руководить деревней.

Исполнительный комитет предложил земской управе организовать крестьянский съезд, но с условием, что в состав организационной комиссии войдет представитель комитета. Управа согласилась, и началась подготовка к съезду. Совет Солдатских и Рабочих Депутатов составил проект слияния солдат и рабочих с крестьянами, путем создания общего Совета Солдатских, Рабочих и Крестьянских Депутатов. Мне было поручено выступить на предстоящем съезде с докладом этого проекта,

Еще задолго до съезда крестьяне различных деревень не только Лужского, но и соседних Гдовского и Царскосельского уездов присылали в исполнительный комитет делегатов с просьбой командировать к ним инструкторов для проведения выборов и для разъяснения целого ряда других вопросов. Крестьяне обращались к нам также и за литературой, особенно касающейся земельного вопроса. Наша сельская комиссия охотно шла им навстречу, посылала инструкторов и раздавала литературу, и вскоре наш исполнительный комитет приобрел широкую известность среди местного крестьянского населения.

Некоторым земским гласным чрезвычайно не нравилась такая популярность исполнительного комитета, и они все свои усилия направили к тому, чтобы на предстоящем съезде дать Совету генеральное сражение и отвернуть от него крестьянство.

Между тем исполнительный комитет и не помышлял претендовать на захват власти в деревне. Он хотел лишь тесного сотрудничества с крестьянством и создания в уезде такого авторитетного органа, который мог бы выражать волю большинства населения до момента выборов новых демократических земского и городского самоуправлений. Этого не понимали и не хотели понять старые цензовые

земцы, усматривавшие во всех действиях Совета лишь исключительное желание установить над крестьянами власть солдатских депутатов. Исполнительный комитет и не подозревал того похода, который начали вести против него земцы.

Настал день съезда. Чтобы подчеркнуть единение солдат и рабочих с крестьянами, исполнительный комитет решил устроить в день открытия съезда торжественное заседание Совета, на которое пригласить съехавшихся крестьянских избранников.

Как председатель Совета, я обратился к крестьянам с приветствием от имени всего гарнизона и рабочих города Луги и указал на те тесные узы, которые связывают их между собой. Я сказал, что большинство солдат — это те же крестьяне, на время оторванные от своих деревень, но которые и телом и душой принадлежат крестьянству и болеют его нуждами. Эти слова были покрыты горячими овациями всех присутствующих, после чего я объявил заседание Совета закрытым и предложил крестьянам избрать президиум съезда и приступить к обсуждению своих крестьянских вопросов.

Места президиума тотчас заняли земцы, и съезд приступил к избранию председателя. Были названы кандидаты, в число которых попал и я. Я категорически отказался от этой чести, объяснив, что не имею возможности руководить съездом, будучи чрезвычайно занят многочисленными обязанностями председателя исполнительного комитета. Другим кандидатом был намечен исполн. долж. председателя земской управы г. К.

Приступили к баллотировке записками, и результаты ее вызвали большой скандал.

На съезде присутствовало 102 делегата, а записок оказалось подано более 200. Я, несмотря на свой отказ, получил 86 голосов, а К. более 100. Первоначально никто не обратил внимания на такой странный результат, но когда К. занял председательское кресло, разразилась целая буря. Оказалось, что К. пользовался у крестьян неважной репутацией, и большинство делегатов голосовало против него, поэтому крестьяне никак не могли понять, почему он все-таки оказался избранным. Когда через несколько минут кто-то из присутствующих обратил внимание съезда на то, что количество поданных записок почти вдвое превышает число делегатов, крестьяне потребовали перебаллотировки и установили свой контроль над подачей записок.

Я снова обратился к крестьянам с отказом от своей кандидатуры, но мой отказ вызвал бурный протест, при чем некоторые крестьяне указали на то, что они выбирают не меня лично, а председателя того Совета, которому крестьяне

обязаны своей организацией. По окончании подсчета записок оказалось, что я получил снова 86 голосов, а К. на этот раз всего 16.

Началось обсуждение деловых и политических вопросов. Настроение крестьян было прекрасное. Они проявили большую умеренность и полную сознательность.

Многочисленная публика, присутствовавшая на съезде, горячо аплодировала всем вынесенным резолюциям. В особом обращении к Временному Правительству, военному министру и действующей армии съезд, указывая на все тяготы, которые приходится нести крестьянам во время войны, просил тем не менее не прекращать ее до тех пор, пока Вильгельм может угрожать новой свободной России. Братьев-воинов съезд просил потерпеть еще немножко и заверял их, что до возвращения солдат с фронта крестьяне не приступят ни к какому дележу земли. Это обращение было тотчас отпечатано и в большом количестве экземпляров послано на фронт.

На третий день съезд приступил к обсуждению моего доклада о создании единого Лужского Совета Солдатских, Рабочих и Крестьянских Депутатов. Проект предлагал крестьянам избрать по 3—4 депутата от каждой волости в крестьянскую секцию Совета. Крестьянская секция должна избрать несколько членов исполнительного комитета, которые, впредь до избрания нового земского самоуправления, образуют „временную уездную земскую комиссию". Временная земская комиссия будет исполнять все функции управы и явится вместе с тем уездным земельным комитетом.

Этот проект вызвал сильнейшее неудовольствие старых цензовых земцев, которые чувствовали, что у них нет никаких шансов быть избранными в исполнительный комитет, т.-е. во временную управу. Они выступили с критикой проекта и стали упрекать солдат и рабочих в желании подчинить крестьян солдатской диктатуре.

— По проекту крестьянам предоставлено всего 90 мест в Совете,—говорили они, тогда как солдаты и рабочие имеют 300 депутатов. Между тем крестьянское население уезда достигает 200 тысяч душ, а солдат и рабочих в городе всего около 30 тысяч. Мы требуем, чтобы в Совете было пропорциональное представительство и крестьяне имели по крайней мере втрое больше мест, чем солдаты и рабочие.

Нельзя было не согласиться с тем, что принцип пропорционального представительства в проекте Совета был нарушен. Но, составляя свой проект, Совет отнюдь не помышлял забивать крестьян голосами солдат и рабочих. Мы исходили из тех соображений, что крестьянам будет трудно в страдную пору отрывать от работы большое число депутатов

и посылать их в город на заседания Совета. Я указал все это съезду.

— Но мы будем рады,—добавил я,—если крестьяне найдут для себя возможным иметь в Совете равное представительство с солдатами и рабочими.

Началось обсуждение того, могут ли крестьяне иметь 1 депутата на каждые 100 душ, или нет. Оказалось, что при таком представительстве придется избрать 2.000 депутатов. Крестьяне категорически запротестовали против такого громадного числа, и тогда земцы выступили с новым предложением — сократить число членов Совета от солдат и рабочих с 300 до 30. Кроме того земцы предложили такой состав исполнительного комитета — 6 от крестьян, 2 от солдат и 1 от рабочих.

Мне пришлось снова возражать. Я указал съезду, что в принципе такая пропорциональность является вполне правильной, но на деле она неприменима: для поддержания порядка в гарнизоне каждая маленькая команда должна иметь в Совете своего представителя, а для правильного функционирования разных комиссий в исполнительном комитете должно быть не менее 12 членов от солдатской и рабочей секций. Я предложил крестьянам избрать в исполнительный комитет любое количество членов, хотя бы втрое больше, чем от солдат, но просил их не разрушать той организации, которая с таким трудом наладилась. Я указывал на то, что Совет не парламент и не учредительное собрание, что его функции носят исключительно распорядительный и деловой характер, а поэтому можно отказаться от строгого пропорционального представительства.

Крестьяне согласились с моими доводами, но новое выступление земцев сбило их с толку и, в конце концов, была принята резолюция о сокращении числа депутатов солдатской и рабочей секций с 300 до 30.

Я выступил тогда с речью, в которой от имени солдатской и рабочей секций выразил глубокое сожаление тому, что единение этих секций с крестьянской не может состояться, так как солдаты не могут согласиться с принятой резолюцией, которая разрушает всю организацию Совета. Поэтому солдаты и рабочие, сохраняя свою организацию в таком виде, в каком она существовала до сих пор, предоставляют крестьянам организоваться самостоятельно.—Но,— закончил я,—солдаты и рабочие готовы в любой момент всеми своими силами поддержать крестьян, если их поддержка окажется нужной и желательной.

Мое заявление вызвало полное недоумение крестьян. Целый ряд ораторов высказался в том смысле, что они не поняли предложенной земцами резолюции и не считают воз-

можным иметь свой отдельный совет. Другие делегаты заявили, что, только благодаря Совету солдатских депутатов, они имели возможность избрать свои сельские и волостные комитеты и установить в уезде порядок и спокойствие.

— Мы, мужики, ваши отцы, а вы, солдаты, наши дети, и мы не хотим отделяться от вас, сказал один из делегатов: либо у нас будет общий с вами Совет, либо не будет никакого.

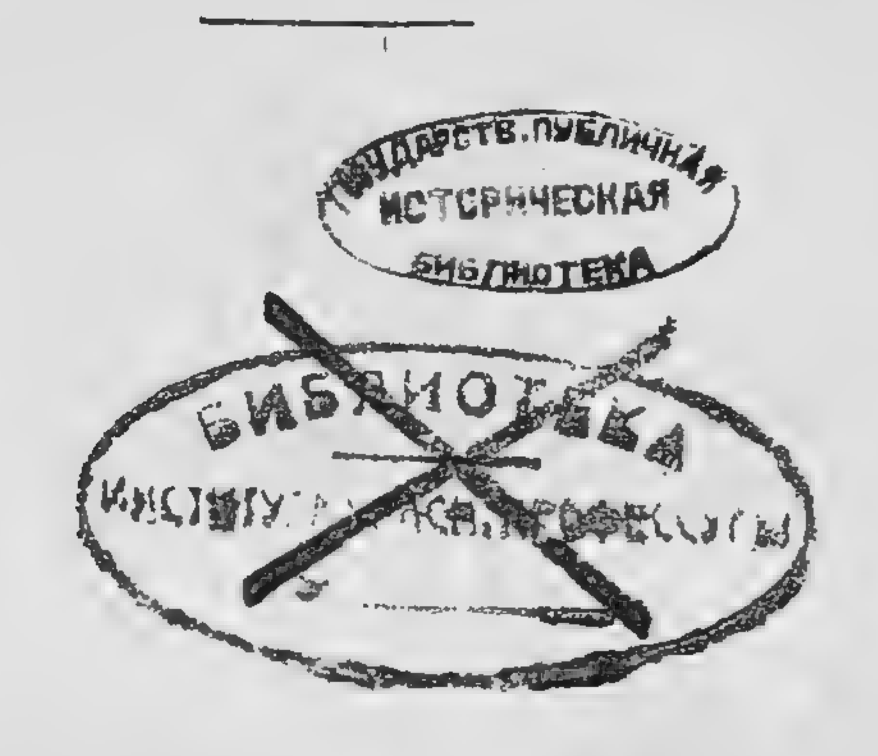
Поднялся такой шум и беспорядок, что пришлось объявить перерыв, во время которого крестьяне окружили земцев и стали их обвинять в желании поссорить крестьян с солдатами.

Кто-то из делегатов поднял вопрос о том, на каком основании присутствуют на съезде члены старой земской управы, которых никто на съезд не избирал.

— Вас выбирали помещики,—кричали крестьяне,—так и идите к ним и предлагайте им ваши резолюции!

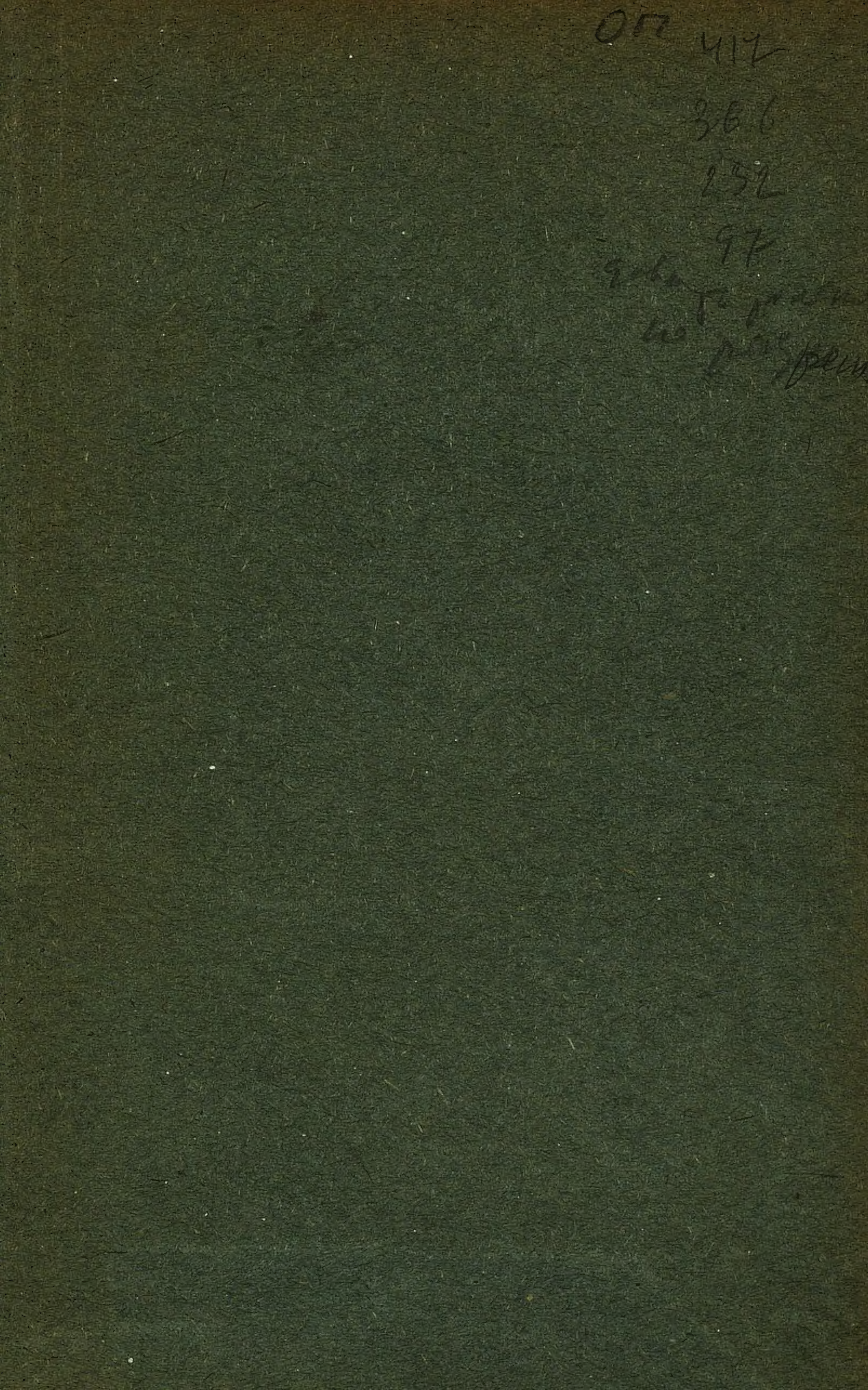
Атмосфера все больше сгущалась, и подконец земцы обратились ко мне с просьбой повлиять на крестьян, чтобы прекратить скандал. Они заявили, что снимают свое предложение и просят съезд, чтобы, независимо от числа избранных в исполнительный комитет крестьянских представителей, старой земской управе было предоставлено одно место во временной уездной земской комиссии. Мне с трудом удалось уговорить крестьян пойти на этот компромисс с земцами.

Вместо снятой земцами резолюции, я предложил новую, по которой крестьянам предоставлялось право иметь в Совете и в исполнительном комитете столько мест, сколько они сами пожелают. Резолюция эта была принята единогласно, а затем крестьяне решили избрать в Совет 60 депутатов и в исполнительный комитет 6 членов от крестьянской секции. Под гром аплодисментов я объявил о переименовании Лужского Совета в „Совет Солдатских, Рабочих и Крестьянских Депутатов“.



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ.

ОГЛАВЛЕНИЕ.


ОП
417
366
252
97

